

**РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**



**НИКОЛАЙ КРАИНСКИЙ.  
ПСИХОФИЛЬМ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

## РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей – святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.  
Аксаков С. Т.  
Александр III  
Александр Невский  
Алексей Михайлович  
Андрей Боголюбский  
Антоний (Храповицкий)  
Баженов В. И.  
Белов В. И.  
Бердяев Н. А.  
Болотов А. Т.  
Боровиковский В. Л.  
Булгаков С. Н.  
Бунин И. А.  
Васнецов В. М.  
Венецианов А. Г.  
Верещагин В. В.  
Гиляров-Платонов Н. П.  
Глазунов И. С.  
Глинка М. И.  
Гоголь Н. В.  
Григорьев А. А.  
Данилевский Н. Я.  
Державин Г. Р.  
Дмитрий Донской  
Достоевский Ф. М.  
Екатерина II  
Елизавета  
Жуков Г. К.  
Жуковский В. А.  
Иван Грозный

Иларион митрополит  
Ильин И. А.  
Иоанн (Снычев)  
митрополит  
Иоанн Кронштадтский  
Иосиф Волоцкий  
Кавелин К. Д.  
Казаков М. Ф.  
Катков М. Н.  
Киреевский И. В.  
Клыков В. М.  
Королев С. П.  
Кутузов М. И.  
Ламанский В. И.  
Левицкий Д. Г.  
Леонтьев К. Н.  
Лермонтов М. Ю.  
Ломоносов М. В.  
Менделеев Д. И.  
Меньшиков М. О.  
Мещерский В. П.  
Мусоргский М. П.  
Нестеров М. В.  
Николай I  
Николай II  
Никон (Рождественский)  
Нил Сорский  
Нилус С. А.  
Павел I  
Петр I  
Победоносцев К. П.

Погодин М. П.  
Проханов А. А.  
Пушкин А. С.  
Рахманинов С. В.  
Римский-Корсаков Н. А.  
Рокоссовский К. К.  
Самарин Ю. Ф.  
Семенов Тян-Шанский П.П.  
Серафим Саровский  
Скобелев М. Д.  
Собинов Л. В.  
Соловьев В. С.  
Солоневич И. Л.  
Солоухин В. А.  
Сталин И. В.  
Суворин А. С.  
Суворов А. В.  
Суриков В. И.  
Татищев В. Н.  
Тихомиров Л. А.  
Тютчев Ф. И.  
Хомяков А. С.  
Чехов А. П.  
Чижевский А. Л.  
Шаляпин Ф. И.  
Шарапов С. Ф.  
Шафаревиц И. Р.  
Шишков А. С.  
Шолохов М. А.  
Шубин Ф. И.

**НИКОЛАЙ КРАИНСКИЙ**

**ПСИХОФИЛЬМ  
РУССКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ**

**МОСКВА**

**Институт русской цивилизации**

**2016**

УДК 82.94 + 94(47).083/84.1/2/3

ББК Т.3(2)6.1.2-4148.1

К 77

**Краинский Николай. Психofilm русской революции** // Составление, предисловие, примечания О. В. Григорьева, И. К. Корсаковой. С. В. Муценко, С. Г. Шевченко / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 624 с.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869–1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.

Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрыва истории России (1917–1920).

Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

ISBN 978-5-4261-0139-5

© Институт русской цивилизации, 2016

© О. В. Григорьева, И. К. Корсаковой. С. В. Муценко,  
С. Г. Шевченко, предисловие, примечания, 2016

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### Непобежденный воин Императорской Российской армии

Николай Васильевич Краинский родился 1 мая\* 1869 года в Киеве. Он был старшим сыном в замечательной многодетной дворянской семье, где выросло шесть сыновей\*\* и две дочери.

Их отец, Василий Евграфович Краинский, уроженец Черниговской губернии, после окончания Горы-Горецкого земледельческого института (Оршанского уезда Могилевской губернии) в 1863 году некоторое время находился на государственной службе, а затем (с 1867) занялся практикой сельского хозяйства, управляя частными имениями или принимая участие в их организации.

Сначала он практиковался в Смеле у графа А. А. Бобринского, который устраивал одни из первых в России свеклосахарных заводов: в селе Михайловское Богородского уезда Тульской губернии, а с 1856 года – в своем имении Смела Черкасского уезда Киевской губернии.

По организационному плану В. Е. Краинского были перестроены с ориентацией на животноводческую сторону хозяйства имения В. В. Тарновского в Черниговской и Полтавской губерниях.

Как ученый агроном, исследователь крупных имений, сельский хозяин-практик, методист, популяризатор, В. Е. Краинский был известен и за пределами России.

---

\* Все даты до 1918 г. даются по юлианскому календарю.

\*\* Братья Краинские: Николай Васильевич (1869–1951); Владимир Васильевич (1870–1919?) – специалист в области кооперации и кредита; Дмитрий Васильевич (1871–1935) – черниговский губернский тюремный инспектор; Сергей Васильевич (1876–1936) – выдающийся ученый агроном, садовод, с 1923 г. ректор Крымского института специальных культур; Андрей Васильевич (1877–1914) – микробиолог, открыл антибиотик стрептомицин (1914); Антоний Васильевич – приват-доцент агрономии университета Св. Владимира.

Результаты его хозяйственной деятельности были представлены в «Земледельческой газете», в «Журнале сельского хозяйства и лесоводства», изданиях «Жизнь и искусство», «Труды Вольного экономического общества», «Киевлянин», «Киевской газете», «Земском сборнике Черниговской губернии», «Журнале сельского хозяйства и лесоводства», а также изложены в отдельно опубликованных сочинениях «Технические и экономические основы Шебекинского хозяйства» (СПб., 1874); «Организация хозяйств в связи с сельскохозяйственным счетоводством» (СПб., 1876); «Новая система скотоводства, соответственно условиям русского сельского хозяйства» (СПб., 1877); «Сравнительная организация хозяйств Курской губернии Белгородского уезда, Тульской губернии Богородицкого уезда и т.д.» (1878), «Основы сельскохозяйственного счетоводства в связи с организацией хозяйства» (в 2 ч.; 1894) и др.

Василий Евграфович разработал единую для всей Империи программу обучения в низших сельскохозяйственных школах, утвержденную Министерством государственных имуществ и действовавшую с дополнениями до 1917 года.

По инициативе Василия Евграфовича в 1880 году в имении Ребиндеров – селе Шебекино Белгородского уезда Курской губернии (ныне Белгородская область) была учреждена Марьинская сельскохозяйственная школа для рабочих на 120 человек. В нее принимались воспитанники не моложе 14 лет, которых три преподавателя обучали полевым работам, столярному и слесарному делу.

Именно в Шебекино и прошли младенческие годы Николая Васильевича. Он был одаренным ребенком, с успехом занимался музыкой, играл на музыкальных инструментах, особенно охотно на виолончели.

Учился Николай в 3-й Харьковской гимназии. Ее отличал высокий уровень преподавания. Но что касается литературы, то тут требуются пояснения.

Гимназические годы юноши пришлись на время «реакции» Государя Императора Александра III. Но в эти же годы все еще будоражили

умы «новые люди» типа Базарова. В старших классах гимназии распропагандированные юноши распространяли издания «Народной воли». Впоследствии Николай Васильевич вспоминал, что еще гимназистом шестого класса он впервые прочитал «В защиту правды» В. Либкнехта, «Автобиографию Александра Михайлова» «Процесс ста девяноста трех», все издания «Народной воли» в зеленых обложках.

Гимназисты и студенты того времени зачитывались Д. И. Писаревым, Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым. Неудивительно, что именно из третьей гимназии вышел будущий либерал, а впоследствии «красный профессор» Н. А. Гредескул, сыновья учителя гимназии – братья Межлауки.

После успешного окончания гимназии (1888) Николай Краинский поступает на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, где на первом курсе «веяния были чисто революционные» и откуда за два года до этого был отчислен террорист Ю. Пилсудский.

Эти обстоятельства накладывали отпечаток на студенчество, но Николай Краинский выбрался из «революционной колеи» благодаря увлечению научной работой. И хотя «душевная отравка» наложила свою печать на его душу, юноша понял, что «революционное мирозерцание не дает человеку счастья».

Студент Н. Краинский активно занимается научной работой по общей патологии и психиатрии под руководством опытных профессоров.

В Харькове обязательное преподавание психиатрии началось с 1877 года, когда приват-доцентом по кафедре нервных и душевных болезней был избран П. И. Ковалевский. Со временем он возглавил кафедру (его преемником на этом посту в 1894 году станет выдающийся психиатр, один из учредителей Харьковского отдела Русского собрания Я. А. Анфимов). П. И. Ковалевский был инициатором и издания первого русского психиатрического журнала «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии», который издавался в Харькове с 1883 по 1896 год. Учениками П. И. Ковалевского были многие известные отечественные психиатры.

Как декан факультета П. И. Ковалевский знал, что студент Краинский – «особенный»: он весьма усердно и тщательно изучает и гистологию, и химию, и физиологию, и общую патологию, и многое другое, причем не только теоретически, но и экспериментально. При этом он не являлся покорным исполнителем велений профессора и ассистентов, а часто вмешивался в споры, причем нередко выходил правым.

По воспоминаниям П. И. Ковалевского, «это не был лакействующий искатель, а самостоятельный работник. Спина его была очень крепка и неспособна была изгибаться. Я в это время имел летом (с мая по август) грандиозную практику на кавказских минеральных водах и брал с собою 2–3 ассистентов, массажиста и студента-химика. Когда Н. В. прошел 4-й курс, я взял его с собою в Пятигорск в качестве химика для анализов. Его вся моя компания горячо полюбила. Это был юноша чистый, честный, обходительный, откровенный и до невозможности прямой в обращении со всеми, и вместе с тем в житейских делах наивный, как ребенок. В июне-июле на Кавказе явилась холера. В станице Солдатской продолжался бунт против медицины. Врача убили. Вызовы врачей на это место безрезультатны. Никто не хотел ехать. Вдруг Краинский вечером является ко мне и заявляет, что он едет в Солдатскую на холеру. Грешный человек, – я его отговаривал, но наутро Краинский уже укатил. Через полтора месяца он вернулся с адресом от жителей Солдатской и иконою – благословением от станицы за спасение».

Этим благословением крестьян и казаков Николай Васильевич дорожил всю оставшуюся жизнь. После эпидемии холеры благодарный народ отнес молодого врача (студента) на руках до станции, а волостной сход крестьян и казачий круг станицы Солдатской Терской области закрепили его деятельность в благодарственных приговорах от 26 июля 1892 года, где, в частности, говорилось: «Смеем думать, что г. Краинский составит из себя гордость врачебного сословия».

И они не ошиблись.

Его выпускное сочинение «Исследование психофизических реакций на тактильные и болевые раздражения у здоровых, нервных и больных



людей» (1892) было удостоено золотой медали Императорского Харьковского университета.

По окончании курса обучения Краинский был принят ординатором в одну из лучших российских клиник того времени – клинику на Сабуровой даче (впоследствии Харьковская городская клиническая психиатрическая больница № 15), где наряду с практической работой занимался и научно-исследовательской деятельностью. Одновременно он трудится в химической лаборатории Харьковского технологического института, выполняя работы, которые впоследствии получили мировое признание.

Доклады Краинского неизменно становились предметом оживленных дебатов на заседаниях Харьковского медицинского общества.

В 1896 году Николай Васильевич успешно защитил в Московском университете докторскую диссертацию на тему «К учению о патологии эпилепсий», в которой впервые обосновал токсическую природу эпилепсии.

В том же году впервые за все время существования Сабуровой дачи губернская управа назначила старшим врачом Харьковской губернской психиатрической больницы не терапевта, а психиатра. Этот пост занял Н. В. Краинский.

Являясь сторонником системы нестеснения (*no restraint*), 3 июня 1897 года Николай Васильевич лично развязал более 120 душевнобольных и сжег их смирительные рубашки вблизи клумбы у главного входа в главный корпус больницы, предварительно произнеся с балкона речь, в которой призвал к гуманности и сочувствию к психически больным. Много внимания новый старший врач уделял реорганизации и укреплению материально-технической базы Сабуровой дачи.

20 декабря 1897 года заседание губернского врачебного совета одобрило проект Н. В. Краинского, в соответствии с которым впоследствии (в 1900 году) было завершено строительство лечебницы Сабуровой дачи (ныне здание Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины).

В должности старшего врача Николай Васильевич работал до 1898 года, когда был откомандирован за границу в клинику Бинсвангера для научного усовершенствования, а затем прикомандирован к клинике В. М. Бехтерева в Военно-медицинской академии. Через несколько лет в книге «Психика и жизнь» Бехтерев развил положения первой крупной самостоятельной работы Н. В. Краинского о применении закона сохранения энергии к психическим явлениям и подтвердил приоритет молодого русского ученого по отношению к немецким специалистам Маху и Оствальду.

В 1899 году Николай Васильевич был назначен старшим врачом Колмовской (в трех верстах от Новгорода) губернской земской психиатрической больницы, где зарекомендовал себя не только прекрасным организатором, общественным деятелем, но и блестящим клиницистом. Комиссия гласных в своем докладе Новгородскому губернскому земскому собранию в 1900 году отмечала: «Колмовская больница представляет собой пример земской психиатрической больницы, которая не переполнена чрезмерно, не страдает теснотой, а потому больные в ней могут содержаться совершенно свободно, согласно правилам современной психиатрии».

Кроме этого, Н. В. Краинский активно публикует свои сочинения. Особенно известной в этот период становится его книга «Порча, кликуши и бесноватые как явления русской народной жизни» (1900) (с предисловием В. М. Бехтерева, который неоднократно бывал и на Сабуровой даче).

Николай Васильевич показал, как на единой основе – сомнамбулизме – у разных народов возникают и развиваются различные заболевания: бесноватость и наваждение в России, эпидемии одержимости в Западной Европе. В своей работе автор доказывал, что и клиническая картина, и трактовка этих заболеваний среди населения, и отношение к таким больным в полной мере зависит от отличий в быту, культуре и мировоззрении разных народов.

Наряду с клинической и научной психиатрией Н. В. Краинский глубоко интересовался искусством. Не удивительно поэтому, что он стано-

вится председателем Новгородского общества любителей музыкального и драматического искусства.

В это время у молодого директора больницы произошли замечательные знакомства, истинный смысл которых открылся только три с половиной десятилетия спустя.

Членом управы и заведующим делами Колмовской больницы был Александр Павлович Храповицкий, родной брат тогдашнего епископа Антония (Храповицкого). Николая Васильевича полюбила мать будущего святителя – Наталья Петровна. Молодой врач бывал у них в имении Ватагино, а Храповицкие навещали его жилище. Епископ Антоний, в котором мать не чаяла души, был в эти годы в Казани, затем в Уфе, и старушка всегда с восторгом говорила о своем сыне, не подозревая, что вот этому-то доктору Краинскому и суждено будет принять последний вздох «великого святителя и заветы верного служения Императорской России».

В 1902 году Н. В. Краинский переводится на должность директора Винницкой окружной психиатрической больницы. В этом же году вместе с И. П. Мержеевским и В. М. Бехтеревым он вошел в созданную Министерством внутренних дел комиссию по вопросу об организации призрения душевнобольных в Российской империи. Тогда же за работы по патогенезу эпилепсии Николай Васильевич был награжден премией Брюссельской академии наук, а через год ученый получил премию Нью-Йоркского общества психиатров по изучению эпилепсии.

В 1903 году Краинский уже директор Виленской окружной психиатрической больницы (в Новой Вилейке, под Вильно). 23 мая 1903 года состоялось торжественное официальное открытие больницы, на котором после зачтения телеграммы с Высочайшим ответом и исполнением гимна Николай Васильевич начал речь такими словами: «Сегодняшний день есть день величайшего торжества и праздник для русской психиатрии. Открывается новая, самая большая в России психиатрическая лечебница, рассчитанная на 1000 штатных кроватей».

Это был стремительный «карьерный рост»: Николай Васильевич занял пост директора лучшей в России, образцовой правительственной

психиатрической окружной больницы, принимавшей пациентов из пяти губерний (Виленской, Ковенской, Витебской, Гродненской и Минской). В достаточно еще молодом возрасте по службе он занимал должность пятого класса, имел ученую степень и две международные премии за свои научные работы. Новая больница была гордостью Министерства внутренних дел, в конце 1903 года ее посетил министр В. К. Плеве. За полтора года Н. В. Краинский получил два очень высоких (учитывая его стаж службы) ордена. Работа шла блестяще.

Несмотря на административные хлопоты, в Вильно Николай Васильевич продолжает активно заниматься наукой. Его работа «Учение о памяти с точки зрения теории психической энергии» (1903) широко использована В. М. Бехтеревым в книге «Психика и жизнь».

Под редакцией Краинского с января 1904 года в Вильно начинает издаваться «Научный архив Виленской окружной лечебницы» – периодическое издание, выходящее от четырех до шести раз в год. В январе этого же года Николай Васильевич участвует в заседаниях IX Пироговского съезда.

В феврале 1904 года Н. В. Краинский был утвержден в звании директора Виленского губернского тюремного комитета и получил «Директорский билет на право посещения тюрем».

Служил он врачом и в виленском обществе исправительных земледельческих колоний и ремесел, приютов для несовершеннолетних преступников, а также вошел в состав Виленского отделения Императорского музыкального общества, где занимал должность вице-директора.

Работая по линии Министерства внутренних дел, Краинский имел возможность лично познакомиться со многими деятелями эпохи – И. Г. Горемыкиным, Д. С. Сипягиным и другими министрами и товарищами министров. Судьба сводила его с такими столпами Империи, как финляндский генерал-губернатор Н. И. Бобриков, работал он и в непосредственном подчинении киевского генерал-губернатора М. И. Драгомирова. Николай Васильевич пользовался личным расположением В. К. Плеве, которого имел честь принимать у себя и отношение которо-

го к Н. В. Краинскому засвидетельствовано в блестящем отзыве, данном в заседании Государственного совета в январе 1904 года. Приказ об этом Николай Васильевич хранил всю оставшуюся жизнь, как «честь, которой редко кто удостоивался на службе Империи».

Когда началась русско-японская война, Н. В. Краинскому «не сиделось спокойно», и он отпросился в четырехмесячный отпуск в Маньчжурию. Министр Плеве отнесся к этой идее сочувственно, так как Николай Васильевич мотивировал свое желание изучением на поле действий военной психологии, и дал просимый отпуск.

29 апреля 1904 года Н. В. Краинский вышел в отставку, а 10 июня выехал на театр военных действий. Судьба свела его в одном вагоне скорого поезда с ехавшим на войну генерал-майором (тогда) князем Г. И. Орбеляни, командиром так называемой Дикой, или Кавказской конной, бригады, который взял его в качестве «бригадного врача-добровольца».

В Маньчжурии он не раз попадал в самые опасные ситуации. Следует заметить, что именно в годы русско-японской войны общество впервые обратило внимание на необходимость специальной организации психиатрической помощи на фронте. В апреле 1904 года при 1-м Харбинском сводном госпитале открыли психиатрическое отделение, а затем и специальный психиатрический госпиталь.

Несколько раз Н. В. Краинскому случалось видеть Государя Императора Николая II. Он представлялся Ему по возвращении из Маньчжурии в памятный день получения известия о падении Порт-Артура. Государь удостоил доктора милостивой беседы, упомянув, что знает о добровольном прибытии Краинского на фронт.

В январе 1907 года Н. В. Краинский вернулся в Вильну и вновь активно принялся за лечебное дело, научную, общественную работу. В это время выходят такие его сочинения, как: «Психология падших людей» (1907), «Энергетика и анализ ощущений» (1907), речь «Душа и Вселенная» (1911), драма «Во мраке ночи» (1912), «Энергетическая теория сновидений» (1912), очерк «Девочка Машка, собачка Джильда и беспокойный психиатр (Психологическая параллель)» (1912) и другие (одних только

книг и брошюр около 20), пользующиеся повышенным вниманием не только читателей-профессионалов.

Особенный резонанс имел доклад «Педагогический садизм», где речь шла о сексуальном садисте инспекторе учебного округа Н. Г. Коссаковском. Публикация этой работы чуть было не довела доктора до дуэли.

Вот что писала самая тиражная газета России «Русское слово» в номере от 28 (15) декабря 1912 года:

«В России. *Вызов на дуэль.*

ВИЛЬНА, 14.XII. Летом текущего года известный психиатр Н. В. Краинский прочел доклад о душевнобольном покойном педагоге Коссаковском, страдавшем, если так можно выразиться, “экзаменационным садизмом”. Результатом этой болезни было 18 самоубийств учащихся. Сын покойного, подпоручик 1-го стрелкового полка, квартирующего в Лодзи, прислал д-ру Краинскому вызов на дуэль за опорочение памяти его отца. Д-р Краинский ответил, что вызов он принимает».

Николай Васильевич активно участвует в работе Пироговских съездов, съездов врачей Минской губернии, в заседаниях Виленского Императорского медицинского общества и т.д.

Особенный интерес представляет серия докладов и книга «Основные принципы энергетики в связи с абсурдами современной физики» (1908), автор которых независимо от Эйнштейна сформулировал два основных положения его теории – об энергетической сущности массы, которую Николай Васильевич считал изменчивой, и закон инерции энергии. С тех пор Краинский пошел по пути, резко расходящемуся со многими классическими теориями.

Понимая необходимость новых знаний в относительно новых для него областях, в 1908–1912 годах маститый доктор берется за активное изучение математики (а также физики, химии) и получает диплом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1912).

А за работу «Энергетика нервного процесса (процесс нервного возбуждения и искусственный нерв» (1914) Николаю Васильевичу присуждают премию имени О. О. Мочутковского.

В 1912 году Краинского избрали профессором Варшавского университета, но Министерство народного просвещения его в этом звании не утвердило.

Согласно данным уже советского личного дела Н. В. Краинского, в 1915 году Николай Васильевич был призван на военную службу, прикомандирован к Красному Кресту и служил в разных психиатрических учреждениях по эвакуации душевнобольных воинов. Состоял консультантом Красного Креста в Киеве, где получил звание приват-доцента кафедры неврологии и психиатрии Киевского университета.

В 1919 году при эвакуации душевнобольных Николай Васильевич заболел сыпным тифом и был эвакуирован в Новороссийск, а оттуда в феврале 1920 года вместе с другими выздоравливающими воинами Добровольческой армии – на остров Лемнос (Греция).

Психиатр Т. И. Юдин писал о том, что в годы Первой мировой войны Н. В. Краинский возглавлял госпиталь для душевнобольных воинов при платформе Чубинской Киево-Полтавской железной дороги.

Но изучение публикаций самого Краинского в эмиграции, его личного архива, записок его родного брата Дмитрия Васильевича открывает несколько иную цепь событий и поступков. Попытаемся ее восстановить.

Во время Великой (Первой мировой) войны Краинский воевал в составе 2-го корпуса (под командованием «доблестного» генерала В. А. Слюсаренко, с которым Николай Васильевич «добровольно вышел на войну») 2-й армии генерала А. В. Самсонова на Мазурских болотах, где была уничтожена вся дивизия, а сам Николай Васильевич чудом вырвался из окружения в составе небольшого отряда.

Затем Краинский жил в своем имении под Киевом, рядом с железной дорогой между станциями Дарницею и Борисполем. Здесь он выстроил великолепный санаторий, в котором с осени 1915 года разместился госпиталь на 350 (!) коек для душевнобольных солдат с Юго-Западного фронта. Николай Васильевич безвозмездно предоставил государству весь санаторий, инвентарь, свои знания, немалые личные средства и неустанный труд на все время войны и руководил госпиталем под флагом

Красного Креста в качестве главного врача. Оплачивалось только содержание больных, которых Николай Васильевич лечил, используя лучшие достижения современной психиатрии\*.

Госпиталь находился в ведении главноуполномоченного Московского района А. Д. Самарина, а ближайшим сотрудником Краинского в качестве уполномоченного, руководившего отправкой в госпиталь душевнобольных с фронта, был известный психиатр профессор В. Ф. Чиж. У Николая Васильевича были «чудесная собственная лаборатория, библиотека», и он продолжал свои научные работы\*\*.

Позднее в качестве приват-доцента Киевского университета он читал студентам лекции по общей психиатрии и психологии и работал в университетской физиологической лаборатории.

В период с февральской катастрофы и до Октябрьского переворота 1917 года Н. В. Краинский жил в Киеве или в своем имении в 20 верстах от него.

Уже с первых дней февраля 1917 года Краинский предвидел грядущую гибель России. Он наблюдал «всю революцию» до прихода большевиков, а в феврале 1919 года, когда за ним пришли, чтобы расстрелять, смог спастись лишь чудом.

При этом, надеясь на возможность вступить в Добровольческую армию, Николай Васильевич в течение долгого времени поддерживал связь со многими скрывавшимися офицерами, в том числе с генералом Ф. С. Рербергом, бывшим командующим Особой армии.

Как только добровольцы вошли в Киев, генерал получил назначение, а Николай Васильевич поступил в Кинбурнский полк седьмой дивизии на должность врача штаба тыла на правах корпусного врача. Когда в Киев для расследования злодеяний большевиков прибыла комиссия

---

\* Отчет о деятельности госпиталя Красного Креста для душевнобольных воинов при платформе Чубинской Киево-Полтавской ж.д. за время с 1 августа 1915 по 1 августа 1916 г. старшего врача госпиталя д-ра мед. Н. В. Краинского. Борисполь: Скоропечатня «Труд», 1917. 33 с.

\*\* Краинский Н. В. **Программа и схема психического исследования душевнобольных.** Борисполь: Скоропечатня «Труд», 1916. 48 с.



при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России генерале Деникине, Н. В. Краинский был включен в число ее членов, что дало ему возможность во всех подробностях познакомиться с уникальными компрометирующими большевиков материалами. За это он впоследствии был объявлен ими «вне закона».

Когда Краинский ближе познакомился с Добровольческой армией, он понял, что дело ее обречено. Тем не менее Николай Васильевич вошел в ряды добровольцев «во имя спасения великой исторической России» от «революционного безумия».

После отступления добровольцев Краинский эвакуировался с воинскими частями из Киева в Одессу. Отсюда 25 января 1920 года он прибыл в Новороссийск, уже заболев сыпным тифом и лишь чудом оставшись в живых (за годы революции он трижды лежал в госпиталях: в 1917 году перенес сыпной тиф, а затем – два приступа возвратного тифа).

С остатками Добровольческой армии в «набитых людьми мрачных трюмах пароходов», заедаемый вшами и измученный болезнью, Н. В. Краинский наконец прибывает на остров Лемнос. Здесь «бурные порывы борьбы сменило унижение изгнания».

Вот что писал епископ Никон (Рклицкий) об этих днях в жизнеописании митрополита Антония (Храповицкого): «Остров Лемнос находится в непосредственной близости от Афонского полуострова, и вполне понятно, что, очутившись там, русские люди, взирая на видневшиеся очертания русских афонских монастырей, мечтали о том, чтобы попасть туда, и многие из них, пережив ужасы революции и Гражданской войны, несомненно, поступили бы в афонские монастыри и остались бы там навсегда. Но, увы, доступ на Афон для русских был закрыт. Все хлопоты о разрешении русским беженцам въезда на Афон оказались безуспешными».

Оправившись от сыпного тифа, после шестимесячного пребывания на острове Лемнос в английском концентрационном лагере на положении непленного военнопленного, 1 октября 1920 года Н. В. Краинскому удается вернуться в Крым, в Русскую армию Врангеля.

А 30 октября (12 ноября) 1920 года вместе с братом Дмитрием Васильевичем он эвакуируется из Севастополя на корабле «Ялта» сначала в Константинополь, а потом в Королевство сербов, хорватов и словенцев.

Здесь же оказались многие русские врачи, в том числе ученик И. А. Сикорского известный невропатолог М. Н. Лапинский, который организовал в 1921 году при Загребском университете медицинский факультет и открыл кафедру и клинику нервных и душевных болезней. С ним Н. В. Краинский работал еще в 1917–1918 годах на кафедре психиатрии и невропатологии Киевского университета. И вот судьба вновь свела их.

В Загребе на кафедре у М. Н. Лапинского в должности ассистента, а потом доцента Николай Васильевич начал работать в 1921 году. Через год он становится начальником госпиталя в г. Лабор (Хорватия), а после его закрытия – врачом в хорватском селе Хашина (с 23 мая 1924 г.). К этому и последующему периоду относится целый ряд работ ученого, в частности «Математические основы естествознания» (1927).

С 1928 года Н. В. Краинский – профессор кафедры психиатрии и экспериментальной психологии Белградского университета, активный участник Сербского врачебного общества. Здесь он издает такие труды, как: «Лев Толстой как юродивый. Психопатологический очерк» (1928); «Логические ошибки и заблуждения в научном творчестве» (1930) и другие.

Л. Н. Толстого Краинский называл не иначе как «великим растлителем земли Русской», «разрушителем русской культуры». «Сеятель разгрома и анархии», Толстой заразил своей проповедью «толпы людей, падших морально и слабых умом»\*.

В 1931 году в Белграде Николай Васильевич вновь становится доктором медицинских наук. В этом же году он публикует здесь одну из самых известных своих публицистических работ в эмиграции «Без будущего. Очерки психологии революции и эмиграции».

Его сочинения одобряли и рекомендовали митрополит Антоний (Храповицкий), Н. К. Рклицкий, генерал П. Н. Краснов и многие другие, но были у них и откровенные недоброжелатели.

---

\* Лев Толстой как юродивый. Психопатологический очерк. Белград, 1928. С. 29, 5.

В 1935 году Н. В. Краинский – руководитель семинара по психологии в Русском научном институте в Русском доме им. Императора Николая II. В последующие годы в Белграде и других центрах эмиграции выходят его работы «Преступления революции» и другие. А «Теория нервного процесса» (1936) до сих не потеряла теоретического и практического значения.

Целый ряд работ (в том числе и монографий) Краинского были опубликованы на немецком, французском, польском, сербском и хорватском языках. Так, на сербском был издан учебник «Криминальная психология», который до настоящего времени не переведен на русский язык.

В частности, на него ссылались в своих трудах и руководствах выдающиеся специалисты В. М. Бехтерев, В. А. Гиляровский, И. Ф. Случевский, Э. Крепелин, Г. Лебон, Л. Бинсвангер, Х. Оппенгейм и многие другие.

В 1933 году Краинского пригласили выступить на XIV съезде польских врачей в Познани с докладом «Мозг как радиоактивный аппарат».

Особые отношения связывали Николая Васильевича с первоиерархом (председателем Архиерейского синода) Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ) митрополитом Антонием (Храповицким), который находился в Сремских Карловцах и в последние годы жизни тяжело болел. При этом врачи долго не могли поставить правильного диагноза, и лишь обращение к Николаю Васильевичу позволило найти ответ на этот вопрос.

Как писала одна из газет русской эмиграции, Краинский принял на себя «подвиг лечения Великого Русского Святителя исключительно по чувству любви и уважения к нему». Николай Васильевич весьма часто ездил в Сремские Карловцы, а после обострения болезни у владыки он «проявил самопожертвование, приезжая каждый день, жертвуя ночами, привозя врачей для консилиума и т.д. Продлению жизни Владыки митрополита последние годы русская паства обязана самопожертвованию Н. В. Краинского».

На исходе жизни митрополита Антония Краинский находился у его постели неотлучно. Беседы с Владыкой произвели на знаменитого врача глубокое впечатление.

В Сербии второй половины 1930-х годов Николай Васильевич ведет не только преподавательскую, научную работу, но и активно участвует в жизни русской эмиграции. 9 ноября 1936 года профессора Н. В. Краинского избирают заместителем председателя Русского комитета в Югославии, а председателем – нового Первоиерарха РПЦЗ – митрополита Анастасия (Грибановского).

15 мая 1938 года в Белграде состоялась встреча представителей различных организаций, стоящих, как отмечалось в газетах, «на монархических позициях». Всего собралось около 600 человек. Среди них были члены легитимно-монархического движения, Корпуса Императорской армии и флота, союза «Молодая Россия», Партии младороссов, Русского общевойскового союза (РОВС) и других. На встрече присутствовал архиепископ Гермоген – заместитель председателя Архиерейского синода РПЦЗ. Фактически проведенное мероприятие стало актом объединения «русских людей, преданных заветам Великого Прошлого Императорской России». На встрече был заслушан, в частности, доклад Н. В. Краинского – «В атмосфере политических бурь и революционного безумия».

Краинский неизменно оставался верным памяти «величайшего в своих поступках и благороднейшего по своим идеалам Русского Монарха» (около 10 лет он состоял членом правления Общества памяти Государя Императора Николая II). Однако в знак протеста против удаления из числа членов Общества Н. П. Рклицкого (будущего епископа Никона) и других разногласий Н. В. Краинский выходит из числа членов правления.

Он постоянно публикуется в эмигрантской периодике (в «Царском вестнике», «Военном журналисте» и др.). Многие его статьи, такие как: «Тризна по русской культуре», «Над могилой Великой России», «Техника непротивления злу в борьбе с революцией», «Грядущий суд», «Палачи Добровольческой армии», «Бредовые идеи смутного времени» и многие другие неизменно вызывали бурную реакцию читателя.

В 1938 году в Белграде выходит брошюра Краинского под названием «Кто погубил Россию», а на следующий год – статья (и брошюра) «Вожди и заветы».

Как воин, офицер, много внимания он уделяет изучению поведения на войне («Военный экстаз и прострация как факторы боевых операций» (1940), «Психика и техника как факторы войны» и другие).

В 1941 году Н. В. Краинский – заведующий русскими учебными заведениями в Сербии, а с октября 1941 года – заведующий учебной частью Русско-сербской гимназии в Белграде.

При немецкой оккупации Югославии в конце 1943 года Николай Васильевич был отчислен из Белградского университета. В это время его дочь, В. Н. Краинская-Игнатова, профессор судебной медицины, была вывезена немцами вместе с семьей из Харькова в Германию. Краинский добивается разрешения и переезжает в Берлин для воссоединения с семьей. Здесь он занимается обработкой своего последнего научного труда «Основы естествознания в связи с теорией нервно-психического процесса».

После взятия Берлина Николай Васильевич вместе с семьей дочери находится в лагере во Франкфурте-на-Одере, где его зачисляют консультантом по нервным и душевным болезням в советский госпиталь.

Современный историк психиатрии И. И. Щиголев вполне резонно высказывает удивление: «До сего времени пока неизвестно, как мог уцелеть в расстрельные годы такой ярый антиреволюционер, как психиатр профессор Н. В. Краинский».

На этот вопрос отчасти отвечает сам Николай Васильевич в своей автобиографии. Ниже мы снова излагаем его версию дальнейших событий со своими дополнениями.

В августе 1945 года Краинский подает ходатайство о получении советского гражданства, а в сентябре 1945 года пишет письмо И. В. Сталину с просьбой разрешить возвратиться на Родину и предоставить ему возможность закончить свой научный труд. Такое разрешение было «благосклонно дано» 1 февраля 1947 года. По дороге на Родину, в Гродно, Н. В. Краинский был приглашен на работу в качестве консультанта санчасти, где проработал до 25 апреля 1947 года. 2 мая 1947 года он с семьей дочери прибыл в Харьков.

Когда-то (в 1939 году) в статье «Вожди и заветы» Н. В. Краинский писал, что «простой смертный с душой русского человека едва ли сможет примириться с пережитой революцией».

Трудно сказать, примирился ли Николай Васильевич с этим в своей душе, ведь «сзади осталась распятая Россия с ее былым величием и мощью». А ему, как участнику трех войн, «пришлось защищать затоптанную и погибающую Россию», в том числе и с оружием в руках.

Поселился Н. В. Краинский на Сабуровой даче и со 2 июня 1947 года был принят на должность старшего научного сотрудника биохимической лаборатории Украинского психоневрологического института (УПНИ). С 1 января 1950 года он был переведен на должность заведующего клиникой, затем ему было разрешено совместительство в качестве врача-психиатра в судебном отделе.

Наконец ВАК при Министерстве высшего образования СССР 12 мая 1951 года утвердила Н. В. Краинского в ученой степени доктора медицинских наук, а приказом по УПНИ от 14 июля 1951 года ему было утверждено (возвращено) ученое звание профессора.

Спустя 5 дней, 19 июля 1951 года, на 83-м году жизни Николай Васильевич Краинский скончался в больнице. Похоронили его сотрудники на ближайшем кладбище от Сабуровой дачи. К сожалению, до настоящего времени могила не обнаружена.

По воспоминаниям коллег о жизни Н. В. Краинского в СССР, это был высокий, слегка сутулый, благородного вида человек высокой культуры, энциклопедически образованный, в совершенстве знавший английский, немецкий, французский и сербский языки (несомненно, и латинский. – *Авт.*). Он играл на виолончели, любил романсы и Шаляпина, всегда ходил с тросточкой, на концерте его воротник неизменно украшала «бабочка». Николай Васильевич был аккуратен, подтянут, обладал даром оратора, его речь отличалась своеобразной плавностью и красотой, как бы на старинный манер. Профессор всегда был пунктуальным, необычайно быстро и правильно принимал диагностические решения.

Николай Васильевич отличался скромностью, питался из больничной столовой, часть денег из своей зарплаты отдавал душевнобольным.

Из вышеизложенного можно заключить, что Н. В. Краинский был гениально одаренный, выдающийся человек, оставивший огромное наследие. За всю свою полную резких перемен жизнь он смог опубликовать около 200 одних только научных сочинений.

В одной из лучших своих работ, вспоминая Великую войну и свой выход из окружения, он писал:

«Кто пошел вперед – спасся, кто предпочел позор – остался.

Кто *не захочет* сдаться – иногда сумеет выбраться».

Думается, что непростая жизнь, служение, идеалы «непобежденно-го воина Императорской Российской армии», наследие подлинного ученого врача, истинно русского патриота-монархиста (неизменно чтившего «Царя-героя») с твердыми убеждениями, пронесенными сквозь все испытания, нуждаются не только в тщательнейшем дальнейшем исследовании, но и в самом широком распространении среди всех неравнодушных соотечественников, ради которых, собственно, Николай Васильевич Краинский и жил.

*О. В. Григорьев, И. К. Корсакова,  
С. В. Муценко, С. Г. Шевченко*

# ФИЛЬМ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРУШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ

### ГЛАВА I Император Николай II и его сотрудники на моем психофильме

Для людей моего поколения трагические события, свидетелями и участниками которых мы были, рисуются в живых образах и психофильмах памяти. Но в них эти картины получают субъективный наряд и личную оценку. Бездушные документы истории и мемуары актеров пережитой драмы воспроизведут для потомства сцены минувшего в других контурах и красках, чем они протекали в действительности, а пышный букет легенд и клеветнических инсинуаций исказит портреты деятелей этого смутного времени. История в лучшем случае зафиксирует деяния людей, но не сможет проникнуть в тайну их душевных переживаний.

Через немного лет сойдут в могилу последние могиканы исторической катастрофы и свидетели мрачных дней русской революции. Переданные потомству легенды превратят большое безобразие в идеологическую драму и в восторженные поиски новых путей к земному счастью. Клоун революции оденет тогу героя, а отважные борцы с революцией будут заброшены презрением и грязью.

На фильме моих воспоминаний, на фоне страшного повального безумия и распыления морали, во всей мощи душевной красоты обрисовывается центральная фигура драмы, мудрого и сильного духом Царя



Николая II, который гордою стопою пошел на плаху, искупая посрамление чести погибающей России и преступление, совершенное над собою когда-то великим и славным русским народом. В надгробный веночек России я хочу вплести жемчужную нить духовного величия, отваги и чести, украшающей этого гиганта русской истории, окруженного в его последний час изменниками и пигмеями русской революции.

В ореоле величия и могущества вступила Россия в эпоху последнего царствования. Твердая рука Императора Александра III сдержала натиск разрушительных сил, и убийцы Царя-Освободителя сошли в подполье.

Тому, кто помнит свои гимназические и студенческие годы периода царствования Александра III, отошедшие теперь в далекое прошлое, русская жизнь кажется прекрасною сказкой. Русская литература конца прошлого столетия зафиксировала ее в искаженных контурах и красках. Большой кумир большого общества, бесталанный Чехов наложил на русскую жизнь того времени печать безвременья и, подпевая предреволюционным напевам, стал полубогом уже начинавшей заболевать русской интеллигенции. Поэтому тот, кто попытается воспроизвести картину русской жизни по творениям писателей этого времени, создаст себе образы, далекие от оригиналов.

Плавно и медленно развертывается в созерцании русского человека лента прошлого и на фоне мощного, здорового организма великой Императорской России начинает обрисовываться легкая струйка той гангренозной заразы, которая на протяжении полувека охватит всю Русскую землю и повергнет в пучину гибели величайший по своей духовной мощи народ и сильнейшую в мире державу. Зловещими фигурами на фоне благополучия золотого века русской культуры николаевского времени выступают первые образы растлителей – ренегаты правящего класса – Бакунин и мститель за грех своего отца, незаконнорожденный Герцен. Это те самые фигуры, которым на дне будущей эмиграции в стенах так называемого русского научного института другой растлитель – патриарх русской революции Петр Струве – будет петь гимн славы и восхваления под одобрение толпы людей, потерявших свое достоинство и честь.

На фоне эпохи великих реформ, в начале шестидесятых годов, выкристаллизовывается русское революционное подполье с его быстро созревающим плодом – «бесами» Достоевского. На поверхность русской жизни выступает прообраз будущего большевизма: грязный, вонючий и наглый «нигилизм» с его «новыми» людьми в образе Марка Волохова из романа Гончарова, ворующего яблоки из чужих садов и вовлекающего в блуд кисейных барышень из дворянских гнезд. Из этого болота-подполья в начале 70-х годов выковывается сначала поток молодого поколения – детей русских помещиков и генералов, смешанных с разночинцами, – который длинной вереницей тянется «в народ», чтобы под лозунгом «Земля и воля» совращать его на бунт и проповедовать сокрушение старого мира.

Ненависть затем закаляет подлую, но сильную партию грабителей и цареубийц под громким титулом «Народной воли». Ее жертвою падает Царь-Освободитель, возвестивший в своем манифесте – «Осени себя крестным знаменем, русский народ» и призвавший его к новой жизни.

Еще в шестидесятых годах прошлого столетия ясно обрисовывается широко захватывающее русское общество так называемое либеральное движение, выступает на сцену тип русского кающегося дворянина и звонким эхо раскатывается по всей России поток трескучих фраз – гимн свободе, новой жизни и призыв к отречению от прошлого. Это новое движение целиком захватывает вновь нарождающееся и идущее на смену впадающего в оскудение прежнего дворянско-помещичьего класса так называемое интеллигентное общество, впитывающее в себя еврейство и пополняемое разночинцами, выдвигающимися из так называемых низов.

Тем не менее эпоха Александра III сдерживает это безумие, и к началу царствования Императора Николая II Россия уже занимает высокое место на арене духовной культуры. Ее искусство было и остается лучшим в мире. Ее наука дает мировых ученых, а техника побивает рекорд, пролагая Великий Сибирский путь под руководством Наследника Престола, а затем молодого Царя. Русская жизнь выдвинула на сцену лучшую

в мире по своим идеалам и образованию интеллигенцию, которая, увы, уже тогда несла в себе отраву самоуничтожения во имя утопических идеалов. Русский гений побеждает необозримые пространства родной земли и ширит свою культуру по дебрям Сибири и Центральной Азии. Присоединенным народам он несет не гнет и порабощение, как несут их так называемые цивилизованные народы Запада, а благосостояние и мир. Народы Востока чтут Белого Царя. Земледельческая по существу страна имела превосходные продукты, а индустрия давала в изобилии сахар, спирт и высокого качества ткани. Семья и Церковь стояли прочно и, казалось, что никакие потрясения не могут превратить русского человека в безбожника и разрушить патриархальные устои семьи и быта.

Но уже подкапывались под русскую жизнь злые силы и готовилось выползти из своих нор подполье.

Когда Император Николай II взошел на прародительский престол, я был уже врачом. В моих воспоминаниях со всею ясностью обрисовывается образ молодого царя, который в первые месяцы своего царствования привлек к себе всеобщее внимание и симпатии. То была волна экстаза, охватившая все русское общество. По всей Русской земле ширились восторженные рассказы о том, как бесстрашный русский Царь, на сан которого в последние десятилетия шла дикая охота подполья, свободно, пренебрегая охраною, ходил по городу пешком один. Бурю восторга вызвал случай, когда Царь, как простой гражданин, зашел в магазин купить себе перчатки. Популярность Царя крепла с каждым днем, а его смелые, полные достоинства речи, раздававшиеся с высоты Престола, привлекали к нему сердца подданных. С открытою душою, весь проникнутый стремлением служить своему народу, Государь Николай Александрович протянул руку своим подданным с призывом их на путь величия и счастья.

Увы! Благородная рука повисла в воздухе...

Первый камень в царский престол бросили не бесы подполья, а наэлектризованная ими привилегированная группа бар-помещиков с фрондирующими отпрысками родовой аристократии. Те самые бары,

от произвола которых освободил русский народ дед молодого Царя. Краса и гордость реформированной русской жизни – земство и общественные организации, охваченные конституционным бредом, – дружно повели кампанию за ограничение царской власти и мечтали о российском парламенте. А третий элемент – так называли земских служащих – толкал честолюбивых земцев на путь борьбы и соревнования с губернаторами и бюрократией.

Благородство молодого Царя было истолковано как слабость и как отступление от твердого курса покойного Императора. Земцы почувствовали пробуждение политической весны. В традиционных адресах, подаваемых Царю по поводу Его восшествия на престол, вместо выражения верноподданнических чувств заявлялось недвусмысленное требование упразднения самодержавия, оказавшего новым течениям столько благоволения.

Дерзкие требования были выражены тверским и черниговским земствами. И совершенно неожиданно, как гром из ясного неба, пронеслась по всей России твердая отповедь молодого Царя, который достойно осадил зарвавшихся политиканов, указав им на бессмысленность их мечтаний и на твердую решимость верховной власти не отступить от заветов прошлого. Царь отверг конституцию.

Это было объявлением войны, но не со стороны короны, а от имени прессы, общественных организаций, всей интеллигенции. Как ножом обрезало популярность Царя. Государь в своей отповеди впервые обнаружил присущую ему твердость и верность заветам своих отцов. С этого момента, как бы по таинственному сигналу, данному из неизвестного центра, сразу сдувается очарование русской общественности своим молодым Монархом. Замолкают восторги, приветствия, и, насторожившись, либеральные элементы затаивают свои вождедения и решаются выжидать. Пресса, еще скованная рамками цензуры, ведет кампанию против правительственной власти и принимает тот левый уклон, от которого она еще не освободится через много лет, даже в унижениях эмиграции.

Корона между тем идет своим путем, охраняя величие и достоинство России. Получив в наследство прочно скованный государственный аппарат, Государь именными рескриптами приветствует стойких старых слуг Престола. Начинается небывалый прогресс хозяйственно-экономической и культурной жизни России, который только впоследствии так подло будет тормозить Государственная дума. При ближайшем участии Государя проводится две крупных реформы: винная монополия и вводится золотая валюта. Цифры показывают колоссальный прогресс в области хозяйства и техники.

В воспоминаниях современников еще жива картина деятельности Государя в первые годы его царствования. Заканчивается Сибирский путь, которому скоро будет предстоять небывалый в истории экзамен переброски миллионной армии на Дальний Восток. Ведется мудрая, полная достоинства внешняя политика. Я был за границей в научной командировке, когда весь мир облетело смелое предложение русского Государя об учреждении международного трибунала в Гааге, который позже воплотится в действительность, а впоследствии идея Самодержца исказится в учреждении еврейско-демократической говорильни народов в лице современной нам «лиги наций». Я помню то колоссальное впечатление, которое произвело в Германии выступление русского Монарха. Оно сразу очертило его как личность сильную, с широким полетом ума и воли.

Русская армия была на полной высоте: она еще не была заполонена влиянием пораженцев периода маньчжурской войны. Во время боксерского движения русские войска блестяще выдерживают экзамен. Под командою отличных военачальников войска быстро покоряют восставшую окраину и оккупированные области, поддерживая славу русского оружия. А через два десятка лет их сыновья, носители тех же славных боевых имен и прежних лозунгов Императорской армии, после тяжких поражений и измены императорскому штандарту, докатятся до звания большевицких спецов или утонут в сраме непредрешенства, получив титул его «вождей».

Во главе мощной Державы уже тогда обрисовывается личность Императора Николая II с его рыцарской природою. Всегда спокойный, выдержанный, прекрасно образованный и воспитанный, владеющий собою Государь проявляет две главные черты своей личности, которые впоследствии будут отрицать и обесценивать его враги: это трезвый ум и твердая воля. Нет нелепее революционной легенды, чем прочно вбитая в мозги русской интеллигенции басня о мнимой слабости воли и бесхарактерности Императора Николая II. Только абсолютные невежды в психологии могут утверждать и думать, что Монарх, с такой последовательностью и твердостью не сделав ни одного ложного шага, не сказав ни одного неосторожного слова, взошедший на плаху, не обладал твердым характером и был слаб духом.

Даже те его ближайшие сотрудники, которые впоследствии, побуждаемые мелкими укорами неудовлетворенного самолюбия, как Витте и Коковцов, сделались Его клеветниками, не могут исказить истины и против своей воли рисуют Государя как умного и твердого человека, в нужные моменты не потакавшего им, а строго осаживавшего зарвавшихся царедворцев. Подлые мемуары обоих сановников представляют собою позорные документы человеческой низости и рабской психики. Но и их авторы не могут не признать, что Государь мудро управлял страну с народом, уже впадавшим в состояние повального безумия. Уже тот факт, что на фоне разнузданной морали отречения, измены и предательства Государь остался так одинок и тверд в своем одиночестве, показывает, как чужда была ему приписываемая врагами податливость и слабость характера.

Государь обладал громадным запасом знаний и поразительной памятью. Именно Николай II отвечает по своим качествам тому идеалу, который построил Платон для монарха. Бред революции требует от монарха качеств необузданного своеволия, смелости и самоуверенности диктатора и чуть ли не жестокости чекиста. Но монарх не есть ни тиран, ни диктатор, ни захватчик власти. Упомянутые доблести можно требовать от людей без роду, без племени, на мгновение выскакивающих на

поверхность истории, не связанных ни с прошлым, ни с будущим народа. Но их нельзя искать в монархе, олицетворяющем народ в его целом и в его историческом развитии. Связанный с прошлым своего народа веками истории, Император Николай II впитал традиции русского монарха от своего венценосного Отца и от своего воспитателя, величайшего ученого и государственного деятеля К. П. Победоносцева.

Впоследствии военные заговорщики, которые предадут своего Царя и Верховного Главнокомандующего, и сановники, которые отрекутся от него, не смогут указать ни на одну ошибку или на неумелое вмешательство Государя в сложное дело водительства русских войск во время Великой войны или в дела управления страной. Этого не сделал даже генерал Алексеев. И только одинокий голос слуги революции полковника Генерального штаба Пронина осмелился на страницах «Нового времени» дать реплику о том, как русскому Царю не следовало брать на себя командование армией, и о том, как Государь, остановивший отступление армии на Западном фронте, не по заслугам получил Георгиевский крест. Даже злейшие враги Государя должны будут воздать Ему должное, а английский государственный деятель провозгласил Императора Николая II наиболее оклеветанным монархом.

Личность Государя Николая II – одна из интереснейших на ленте мировой истории. Меня, как психолога и психиатра, поражает, как на фоне повального безумия, охватившего даже ближайшее его окружение, этот человек остался рыцарем без страха и упрека, не захваченный ни бредовыми идеями своего времени, ни деяниями, свойственными этому проклятому времени.

Объективным материалом, навсегда охраняющим Государя от взводимых на него клевет, служат его резолюции на всеподданнейших докладах, всегда умные, всегда справедливые и благожелательные. Про доброту Государя, про его обходительность с близкими и низшими служащими имеется слишком много единодушных свидетельств. Мы же, современники, слышали об этом на протяжении всей нашей жизни, и наш долг помимо официальных документов об этом засвидетельство-

вать. Когда глупая русская интеллигенция болтала о «Николашке», а революция ширила легенды распутиниады и клеветала на «Николая Кровавого», мы отлично знали цену этим клеветам. Но в левой литературе эти злословия зафиксированы, тогда как бесчисленное множество показаний лиц, непосредственно имевших дело с Императором, остаются в форме устных пересказов, которые скоро забудутся и не перейдут в историю. Клеветы революции и либеральной интеллигенции, конечно, заволакивают светлый образ Государя. Я полагаю, что долг обществ, посвященных памяти Императора в зарубежье, сводился бы к рассеянию этих клевет, а не к охранению памяти Его предателей. Выливание грязи на Династию есть ведь один из главных симптомов революционного психоза.

Нельзя же одновременно чтить и память величайшего Монарха и Его недостойных предателей. Критиками и поносителями памяти Императора Николая II часто выступают и обиженные в своем честолюбии бывшие сановники и родственники лиц, предавших Царя в трагические дни февраля. И однако сквозь весь этот налет просвечивает настоящий образ Государя.

Вероятно, мало кто помнит рескрипт Государя, данный министру народного просвещения Боголепову в 1898 году. Он был упорно замолчан прессою согласно еврейско-революционной тактике замалчивания. В нем была дана целая программа чисто демократического, в хорошем смысле этого слова, развития русской школы с преемственностью всех ее степеней и отбором лучших. Русское либеральное общество забыло заслуги Государя по уравниванию сословий и прав незаконнорожденных. По его же указанию были подготовлены аграрная реформа и аграрный закон для распределения земли не путем грабежа, а на разумных основаниях. Впоследствии эта реформа будет несправедливо присвоена Столыпиным и получит его имя.

Надо признать, что подбор министров и сановников Империи в первое десятилетие царствования был вполне хорош, и если некоторые из них пошатнулись в роковые дни 1905 года, это надо приписать уже по-



вальной заразе того времени. Когда наступило грозное время, то многие из ветеранов старого режима усеяли поле брани своими костями.

Мои современники еще помнят эту галерею государственных деятелей. Многих из деятелей этого периода помню и я лично.

Сделав в молодые годы блестящую по тому времени карьеру и работая по Министерству внутренних дел, я близко сталкивался со многими деятелями этой эпохи. Я лично и по службе знал Горемыкина, Сипягина, Плеве и Святополк-Мирского. Помню Дурново, Крижановского и других министров и товарищей министров. Судьба столкнула меня с такими столпами Империи, как финляндский генерал-губернатор Бобриков, внука которого я даже крестил. Работал я и в непосредственном подчинении киевского генерал-губернатора М. И. Драгомирова. Большинство этих людей были тверды духом и сознанием долга. Были верны Царю и традициям русской истории. Лично я пользовался расположением Плеве, которого имел честь принимать у себя и отношение которого ко мне засвидетельствовано в его блестящем отзыве, данном им обо мне и моей деятельности в заседании Государственного совета в январе 1904 года. Приказ об этом сохранился у меня и поныне, а это честь, которой редко кто удостоивался на службе Империи. Пишу об этом для того, чтобы оправдать свое право говорить о людях того времени, которые прошли через мой психофильм и с которыми была связана и моя личная судьба.

Сохранились в моем психофильме памяти и образы трех последних Императоров. Императора Николая II я видел несколько раз. Я представлялся Ему по возвращении моем из Маньчжурии в памятный день получения известия о падении Порт-Артура. Государь был необыкновенно выдержан, и меня тогда поразило величие Империи, Монарха которой даже такой крупный удар не мог вывести из равновесия. Государь удостоил меня милостивой беседы, сам упомянув, что я отправился на войну добровольно.

Весь материал моих личных воспоминаний дает мне основание утверждать о том твердом курсе, которым шла Императорская Россия под руководством одного из лучших монархов, каких знает история.

Россия шла твердой стопой по пути прогресса и к благу русского народа, пока злые силы не подкопали ее фундамента.

К сожалению, не так обстояло дело в общественных кругах и в революционном подполье: жизнь достаточно сталкивала меня и с этими элементами, и я воспроизведу их так, как они отпечатались в моей психике. Для меня это тоже живые образы, часто появляющиеся в облике «бесов» Достоевского.

В царствование Императора Александра III Россия получила кратковременный отдых от революционных выступлений. Революционные организации, состоящие из убийц и экспроприаторов, долго ютились в подполье и предоставляли дело подрывания основ старого строя либеральной интеллигенции и земским деятелям, то есть тем самым барам-помещикам, с которыми впоследствии так быстро расправилась русская революция. Соединительным звеном между подпольем и либеральным обществом служили писатели и публицисты во главе с Михайловским, а впоследствии – с Максимом Горьким. Либеральное течение оживлялось беседами и спорами за чайными столами в буржуазных, чиновных семьях и дворянских гнездах. В литературе царствовали босяк Горький, пьяница Куприн и душевнобольной Леонид Андреев. Клоунировали псевдопоэт Бальмонт и его свора.

Русская литература Золотого века во второй половине прошлого столетия сменяется тенденциозною, обличающею, где форма и содержание заменяются тенденцией и так называемой идеей. В каждом произведении нового типа вместо отражения жизни должно содержаться поучение о перестройке мира, «обличение». «Обличай, пока есть сила», – вопит один из бесов этого уже большого времени, Добролюбов.

Вся прекрасная русская литература на долгие годы заражается отравой от сотрудников «Отечественных записок» семидесятых годов до серых писаний Чехова и до чисто революционного призыва «Буревестника» Горького, тянется такая глупая тенденция. Это растление еще не успевает отравить другие отрасли искусства: русская музыка, балет, частью живопись, переживают это разложение, чтобы уже мно-

го позже выдвинуть карикатуру Скрябина, Стравинского, татуировку размалеванных физиономий кубистов и восхищение на выставке «Треугольника» намалеванным хвостом осла, обмакнутым в краску. Бред сумасшедшего мешается с мошенничеством и проделками спекулянтов над человеческою глупостью. Русская интеллигенция вся в исканиях «новых путей» и «новых наслаждений». Либеральное интеллигентное общество – плоть от плоти старого мира, носительница сокровищ его духовной культуры, но с душою самоубийцы, усердно подсекает сук, на котором оно держится. Оно дает клич отречения от старого мира. С такую интеллигенцией Россия была осуждена на гибель, и рок предопределил, что уничтожат ее в чрезвычайках и в эмиграции большевики, которых она же создала.

Либеральное течение охватывает не только разночинцев, но проникает в слои родовой аристократии, в семьи высших сановников, заражает целое поколение земцев, этих цензурованных и застрахованных сословными привилегиями помещиков. Вся учащаяся молодежь сплошь охвачена либеральным и социалистическим течением, и временами казалось, что вся Россия, кроме единичных «неисправимых зубров-черносотенцев», – сплошь либеральна, жаждет свобод, уничтожения привилегий и своих прав. За чем же стало дело? В руках правящего либерального класса была судьба России – легко было провести свои вождения в жизнь. Не тут-то было! Поток фраз всегда оставался только пустым набором слов. На деле старая душа царила в этом либеральном теле. Графы, вопившие о миражности титулов, оставались графами. Помещики, кричавшие о раздаче земли крестьянам, продолжали владеть землею, получать деньги за аренду, а либеральные чиновники злоупотребляли властью так, как никогда не позволяли себе этого верные почитатели табели о рангах.

В начале двадцатого столетия революционная идеология созревает. Общество готово к разрушению основ государства Российского. За несколько лет перед тем из подполья выходят и строятся за границей, вне пределов досягаемости для русских жандармов, убийцы и грабители, из

которых впоследствии многим будет суждено стать начальниками государств или самодержавными диктаторами. Некоторых из этих крупных бесов революции я лично видел. Веру Фигнер я видел еще будучи мальчиком в Харькове перед ее арестом. Пилсудский был моим товарищем по медицинскому факультету в Харькове. Встречал я также нескольких членов партии «Народной воли», но близко их не знал. Рядовых членов партий и левых деятелей, как и всякий русский человек моего времени, видел без конца. Ими кишела вся Россия. Ими были набиты ряды студенчества, земских служащих, а либеральные болтуны заполняли среду общественных деятелей. К ним вполне применима характеристика Достоевского. Было среди них много мерзавцев и нечистых на руку. Еще больше было людей глупых и слабовольных, и были самые жестокие фанатики со святым выражением кристально чистых глаз и с кровожадными инстинктами будущих чекистов.

Убийцы и экспроприаторы, вожди партий – эти герои тьмы и не мнили тогда, что через десяток лет они станут властелинами мира и прижмут свою тяжелою пятою бредящий свободой демократический мир. Либеральная интеллигенция рукоплещет за чайными столами убийцам при каждой новой жертве в наивном ослеплении, не думая о том, что не за горами их час искупления – в подвалах чека.

И все-таки императорская власть борется со злом, иногда даже побеждает. Незадолго до японской войны срываются с цепи русские публицисты, и один из самых крупных негодяев русской революции, бездарный публицист Амфитеатров, пишет свой знаменитый пасквиль на русского Императора: «Семья Обмановых». А русская либеральная интеллигенция смакует эту гадость, не понимая, что за ее плечами уже стоит смерть.

Власть на этот раз сдала: уже появлялась тенденция не обострять конфликтов с левыми. Пасквильянт не получил должного возмездия и остался героем глупеющей интеллигенции, чтобы через много лет, пережив вместе со Струве дело рук своих, у порога гроба поучать уморазуму русскую эмиграцию.

В самом начале царствования Императора Николая II ударил колокол революции оттуда, откуда, казалось, его не следовало ожидать. В Петербурге образовался легальный кружок марксистов, задумавших приводить в жизнь идеи немецкого еврея Карла Маркса. В 1894 году появились «Критические очерки» Струве, которые создали ему популярность. Это было началом насаждения марксизма на Русскую землю. Автор «Критических очерков», он же переводчик «Капитала» Маркса, Струве, с тех пор неустанно продолжает дело разрушения России. Возникает триумвират: Ленин, Плеханов и Струве, который впоследствии свалит Императорскую Россию и предаст ее в руки большевиков. В книге Разумника, восхваляющей деяния этих могильщиков России, и в книге Спиридовича приведен материал, достаточный для ознакомления с деятельностью этой тройки.

В 1896 году воскресают социалистические партии, и на съезде в Минске формируется основа будущего большевизма, социал-демократическая партия, манифест которой пишет тот же Струве, будущий полубог русской эмиграции. Мы встречаем его дальше уже за границей, откуда он, копируя Герцена, бьет набат в революционный колокол, взывая к общественным деятелям и земцам. Там же Ленин группирует вокруг себя убийц и будущих палачей России. Воскресает партия социалистов-революционеров, организующая охоту на сановников и деятелей Империи, которая в годы революции даст столь обильную жатву. Я хорошо помню эти живые картины – посещая в те годы за границу с целью научного усовершенствования, я видел деятельность этих бесов.

На навозной куче часто вырастает пышный куст красных ядовитых цветов. Но обманчив их вид, и печальна судьба путника, который не разгадает тайны красного цвета.

Петр Струве уходит в эмиграцию в годы, предшествующие японской войне, и отравляет и без того ослабевшие мозги русской передовой интеллигенции. Он преподает высшие методы разрушения и в грубой площадной брани поносит благороднейшего русского Государя, подготавливая терновый венок на чело Царя-героя.

Он пишет про Царя: «Все равно, кто он. Надменный деспот или презренный трус... Царь Николай стал открыто врагом и палачом народа...», «Презирая нравственную и умственную личность всех этих Александровичей, Николаевичей, Владимировичей...», «Кто внутренний враг? Все население или прямой царь и его клеветы? Вся Россия или помазанник церкви – жалкий человек?» «Когда же будет создано учредительное собрание, – поучает Струве русское офицерство, – вы должны слушать только ему». «Все вышеприведенное, – пишет Струве, – продумано мною... я думал, думал... все ответственно». «Революция должна стать в России правительством». И стала.

В то время когда лучшая часть русского народа и еще не отравленные элементы культурного общества прорезонировали патриотическим порывом на первые боевые удары в Порт-Артуре, революционное подполье стало реализовывать свое старое убеждение, будто бы неудачная война является самым благоприятным фактором для свержения правительства и для революции. Так народилось самое подлое с государственной точки зрения течение пораженчества, официальным идеологом которого выступил находившийся тогда в эмиграции Петр Струве в своем «Освобождении». Он призывает русское офицерство к измене и к предательству Царя. Он пишет: «Господа военные! Нам не нужно вашей пассивной, бессмысленной храбрости в Маньчжурии. Нам нужно ваше политическое дерзание в России. Обратитесь против истинного врага страны. Он в Петербурге, в Москве. Этот враг – самодержавие и самодержавники».

Мрачная фигура Петра Струве очень ярко запечатлена на моем психофильме русской революции. С ним лично судьба столкнула меня уже позже, в эмиграции. Мы страшно ненавидели друг друга, и он хорошо свел свои личные счета со мною, как с неисправимым контрреволюционером. Его разрушительная деятельность слишком твердо закреплена в истории, чтобы ее можно было отрицать, и потому удивительным парадоксом звучала эмигрантская легенда о мнимом раскаянии этого разрушителя России. Передавалась даже легенда о том, что Струве сам как-

то публично сказал, что императорское правительство сделало ошибку, не повесив его. Редко говорил правильно этот бог русской революции, но если он это сказал, то сказал правильно. И жаль, что императорское правительство этого не сделало. И я думаю, что многие роковые ошибки Столыпина и Врангеля суть плод их сближения со Струве.

В розовой атмосфере эмиграции Струве был божок. Странную иронией судьбы он стал почетным галлиполийцем, желанным гостем в стенах офицерского собрания, несмотря на то что он был первым пораженцем и еще во время японской войны призывал офицерство к измене и бунту. Он фигурировал на эстрадах Дома Императора Николая II, и это о нем сказал граф И. И. Толстой, что не место в стенах этого дома палачам Императора Николая II. Пламенные, осеннего возраста женщины млели от благоговения, слушая лживые искажения русской истории, которые преподносил Струве на своих лекциях. Правда, иногда он давал и мягкие краски отдельным страницам из прошлого, но тот, кто имел уши да слышит, хорошо мог уловить настоящий тон этих повествований. Ученый ценз Струве нулевой. Преподаватель Петербургского политехникума по экономическим наукам, он засвидетельствовал свою полную некомпетентность в этих науках страшным экономическим разгромом России. Его научные доктрины сводились к проведению в жизнь марксизма. И вот на больной почве эмигрантского полубреда этот титан разрушения и революции превратился в покаявшегося грешника, ныне вещающего ту правду, которую он отрицал всю жизнь.

Если считать научными работами его публицистические статьи, не лишенные революционного таланта, то его ученые труды не имеют никакой ценности: нет ни одной истины, кроме революционной доктрины, которую бы открыл Струве. Степень доктора он получил только в 1917 году в Киеве и при Керенском сразу скакнул в академики. Увы, это была плеяда опереточных академиков, как и сенаторов имени Керенского. Таким образом, в Императорской России Струве не был ни ученым, ни профессором. Эмигрантская же учебная карьера его проявилась в много-

численных докладах и лекциях. Надо было послушать эту отсебятину, составленную из бессистемного набора мыслей, прочитанных в библиотеке. Это был полубиблиографический винегрет. В помощь своей блуждающей мысли он вытаскивал из портфеля книги, взятые из библиотеки, и прочитывал громко то, что не успевал запомнить и что умел изложить. Удивительно, что охваченные революционной коллегиальностью сочлены слушали этот вздор без всякого возражения. Потом в кулуарах многие пожимали плечами и признавались, что ничего в этом хаосе не поняли. Удивительно было изложение отрывочных мыслей и лишенные синтаксической формы фразы. Я много раз записывал эти обрывки речей оратора без грамматической и логической последовательности: даже передаваемое им прочитанное было полною путаницей. Некоторые доклады, как например, один доклад о мистике, были нечто изумительное – набор невыкристаллизованных фраз. Выступал он по всем решительно вопросам, маскируя свои недостающие мысли цитатами из книг, прочитанных утром в библиотеке. И это давало основание его почитателям из розовой «недорезанной» большевиками интеллигенции говорить об «удивительной» эрудиции этого воображаемого ученого.

Ирония судьбы пошла еще дальше: русское офицерство стало готовиться к выполнению своего долга воскресения России, проникнутое добрыми и честными порывами, потянулось к знанию, чтобы в нужный момент выступить на арену своей деятельности подготовленным. Это были почти сплошь офицеры Императорской армии, служившие в ней хотя и в молодых годах. Ясно, что это будущее воинство должно было быть воспитано в духе исторических традиций почитания эмблем и лозунгов. И вот на кафедре Академии будущих офицеров Генерального штаба вновь появляется тот самый растлитель, который еще в 1904 году проповедовал измену.

Неужели же научно образованные военные руководители не понимают того, что патриотический дух, вложенный в психику будущего офицера Генерального штаба, есть главная основа его продуктивной работы во имя Отечества и тех лозунгов, которые его символизируют?



Какие же основы для этого духа может дать Струве и его адъютанты? Раскаившийся перелет все же остается перелетом, и кто перелетел раз, уже совсем легко перелетит и в другой раз, а главное, никто не может знать, когда перелет был искренен.

Военные не могут не знать, что кроме оружий, раздирающих тело врага, ныне применяются психические яды, отравляющие душу, и первым применившим эти яды для разложения психики русского офицерства был Петр Струве в своих обращениях к офицерству в «Освобождении». Это факт, не подлежащий сомнению, и отрицать его невозможно. Можно теперь преподносить его в другой форме, под фирмой «раскаяния», но можно уверенно сказать, что ожидать от старых растлителей просвещения мозгов их учеников в патриотическом духе – есть абсурд. Хороши будут будущие офицеры русского Генерального штаба, вышедшие из школы растлителя! Что Струве человек неглупый, конечно, отрицать не стану, как признаю и то, что он хороший левый публицист, но не надо смешивать публициста с ученым, а ученая ценность Струве ниже нуля.

Когда я видел, как гибли сотни русских воинов на полях Маньчжурии, над картиной этой гибели мне рисовался зловещий образ буревестника русской революции в облике первого русского пораженца Струве. Когда я видел ужасы Гражданской войны и революции, над ними витал все тот же образ этого страшного разрушителя России. И когда на дне эмиграции совершенно разлагалась русская психика, я чувствовал в этой гибели ядовитое жало «раскаившегося» старца и вместе с ним сожалел о том, что русское императорское правительство своевременно не повесило это произведение революционного ада.

То, что писал этот разрушитель и ненавистник России, было в порядке вещей и его менталитета. Но было удивительно, что вся так называемая общественность в лице земцев и деятелей свободных профессий попали под гипноз этого растлителя. По справедливости можно утверждать, что именно пропаганда «Освобождения» привела к неудачному концу японскую кампанию.

Плоды «Освобождения» были сочны: русские бары, помещики, либеральные чиновники прорезонировали на эти напевы, и дружным напором бросилась русская интеллигенция по пути, указанному Струве.

Так обрисовалась в моем психофильме эта роковая для России фигура будущего деда русского марксизма, автора манифеста организованной социал-демократической партии, первого хулителя Государя Николая II. Это первый пораженец, совращавший Русскую армию, и творец принципа «чем хуже, тем лучше».

Как отклик на призыв растлителя и первого русского пораженца русские курсистки посылают японскому микадо знаменитую телеграмму с пожеланием одержания победы над «варварской» Россией. Это было проявлением безумия будущих матерей, проклявших плод чрева своего и осудивших свое потомство на гибель и рабство сатане. Пораженцы под звуки гимна «Чем хуже, тем лучше» накинулись на Императорскую Россию и вызвали революционный вихрь 1905 года. Вылезают из подполья и принимаются за дело убийцы-экспроприаторы, и первыми жертвами падают министры: Боголепов, Сипягин, Плеве, Бобриков, Великий князь Сергей Александрович. Убивают славного полковника Мина, военного прокурора Павлова, и кровь действительно льется рекой...

Много еще и теперь говорят о проигранной маньчжурской кампании и утверждают, что Императорская армия не выдержала своего экзамена. Я был участником этой войны, и притом в доблестной боевой части – в Кавказской конной бригаде. Эта война нанесена в живых образах на мой психофильм памяти. И только извращенная психика больного общества не видит настоящей причины поражения. Войну проиграла не армия, а все русское общество, одновременно разыгрывавшее уже революцию и вопившее о непопулярности этой войны, о ненужности Порт-Артура и прочих вздор.

Событие в истории России, имевшее на ее судьбу громадное влияние – русско-японская война – никогда не будет правильно освещено, а быть может, исказится на страницах истории еще больше, чем это сделано в наши дни. Эта война красочно отпечаталась на моем психофильме,

и я хочу здесь дать несколько штрихов, которые могут помочь правильному пониманию ее значения.

К концу 1903 года Россия уже находилась в предреволюционном периоде. Русская интеллигенция сплошь была заражена конституционно-либеральным бредом. Были выкристаллизованы все лозунги революции, и подготовка ее шла полным темпом. Делами Дальнего Востока интеллигенция весьма мало интересовалась и не понимала тех задач, которые преследовало императорское правительство, проложившее через весь материк Великий Сибирский путь и естественно стремившееся к выходу в море через незамерзающий порт. Уже тогда, что бы ни предпринимало правительство, все критиковалось и служило поводом к фрондированию и порицанию. Задача между тем была поставлена ясно, а успехи русских войск во время китайской войны и Боксерского восстания, казалось, укрепляли позиции, занятые Россией на Дальнем Востоке. И только теперь, много лет спустя, ясно видно, как правилен был путь царского правительства, и даже большевики стараются вернуться к этим мечтам.

Когда в конце 1903 года слышались вести о неладах с японцами, левые круги сейчас же обратили это в оружие борьбы с правительством. Вместо того чтобы вникнуть в сущность вопроса и изучить его, общественное мнение скоро было все охвачено легендой об авантюрах на Ялу. Склонялось на все лады имя Безобразова и твердилось, что в аферах на Ялу замешаны высокие лица и даже сам Царь. Твердили, что Дальний Восток – совершенно ненужная для России авантюра, что Маньчжурия нам не нужна, и уже заранее предрекали, что война будет непопулярна. Это в один голос твердили либеральная интеллигенция, писала пресса и муссировали за чайными столами, за которыми складывалось тогда общественное мнение. Вот эти-то либеральные веяния и выкристаллизовали в самом начале войны лозунг непопулярности войны, который во время ее разгара пораженцами был возведен в революционный клич «Чем хуже, тем лучше».

В начале японской войны авторитет Императорской армии стоял прочно и агитация велась более или менее скрытно. Я тогда занимал

пост директора правительственной психиатрической больницы, был в очень хороших отношениях с министерством, и, конечно, мне не сиделось спокойно, когда там на востоке разыгрывались события и шла война. Я отпросился в четырехмесячный отпуск в Маньчжурию. Министр Плеве отнесся к этой идее сочувственно, так как я мотивировал свое желание изучением на поле действий военной психологии, и дал просимый отпуск. Князь Святополк-Мирский, который был тогда виленским генерал-губернатором и попечителем моей больницы, дал мне рекомендательные письма к генералу Куропаткину, а корпусный командир в Вильно генерал Разгонов дал мне такое же рекомендательное письмо к генералу Бильдерлингу, который командовал 17-м корпусом.

10 июня я выехал на театр военных действий. Судьба свела меня в Москве в одном вагоне скорого поезда с ехавшим на войну генералом князем Орбеляни, командиром так называемой Дикой, или Кавказской конной, бригады. Мы скоро сговорились, и он взял меня в качестве бригадного врача-добровольца. В этой роли, всегда при нем, вместе с начальником штаба бригады полковником Д. А. Лопухиным я и принял участие в действиях бригады в первый период войны до боев на Шахэ.

То, что я видел, было грандиозно, и мне было странно, что никто на это не обращал внимания. Война велась за десять тысяч верст. Предстояло перебросить миллионную армию на это расстояние по однопутному пути. Выполнение такой задачи было поставлено пред Русской армией впервые. И только идеальный порядок Императорской России и заслуги министра путей сообщения князя Хилкова могли справиться с нею. Эшелоны шли за эшелонами, везлись войска и грузы, и только что выстроенная железная дорога справлялась с этою перевозкою прекрасно. У японцев театр военных действий был под руками, и, казалось, вне сил человеческих было бы сосредоточить войска и задержать наступление японцев в Маньчжурии.

В военных эшелонах атмосфера была чистая, но трещины в психике русских людей уже обозначались. Князь Орбеляни был человек с большими связями и потому был в курсе правительственных веяний. В Ир-

кутске тогда был генерал-губернатором граф Кутайсов, а на его дочери был женат мой старый знакомый, харьковский губернский предводитель дворянства Н. А. Ребиндер, которого я посетил и познакомился с тамошними настроениями. Вся картина передвижения громадной армии за десять тысяч верст по однокорейному Сибирскому пути была изумительна. Совершилось это передвижение без перебоев в полнейшем порядке. Пресловутый «старый режим» блестяще выдержал экзамен. Двигались войска и грузы. В нашем поезде ехала масса офицеров. За Иркутском через Байкал ехали на ледоколе, так как обходной железнодорожный путь еще заканчивался. Путь через Маньчжурию до Харбина, а затем до Ляояна шел уже чужими краями, однако колонизируемыми русскими, и видно было, как ширилась русская культура на восток.

Но на пути от Харбина до Ляояна в соседнем вагоне с нами ехала группа так называемых общественных деятелей с популярными тогда левыми деятелями – будущими кадетами – князьями Долгорукими. И здесь я впервые слышал, как русские князья на пути в действующую армию сеяли семена растления, критиковали самую войну, проповедовали, что она непопулярна, и муссировали «авантюру на Ялу». Это были те ядовитые психические газы, которые в будущем отравили общество и частью маньчжурскую армию... Параллельно Императорская армия в величайшем порядке вливалась в маньчжурские войска, противопоставляя свои силы японцам, оперировавшим почти что у себя дома, и тонкими нитями, пока она концентрировалась, противодействовала натиску японцев. А в глубоком тылу бесы революции и вся русская интеллигенция, к тому времени охваченная либерально-конституционным бредом, ворчала о непопулярности войны, о безобразовских авантюрах и о ненужности для России Маньчжурии и Порт-Артура.

Каждому, кто проезжал тогда Великий Сибирский путь, было ясно, что этот выход к Тихому океану для России был вопрос жизненной необходимости. Увы! Это только через много лет и уже слишком поздно поняли даже большевики. Князья же «Папка» и «Пепка» Долгорукие, как

их тогда называли, развращали ехавших в действующую армию русских офицеров пропагандою об авантюрах и ненужности войны. «Война непопулярна», – долбилось в России. «Идете сражаться за безобразовские авантюры», – твердилось офицерам.

В Ляояне, где высадилась наша бригада, все было на военном положении: сюда уже доносились отзвуки далекой канонады по двум направлениям – к Ялу и по Порт-Артурской линии. Мы пробыли в Ляояне только сутки и выступили на позиции. Я не буду здесь описывать боевых действий, отмечу лишь те черты, которые были той основой, которая легла в основание будущей гибели России.

В то время как боевые части выполняли вполне хорошо свою задачу сосредоточения перевозимой из России армии, в нее незаметно для начальников, чуждых знания революционной стратегии, внедрялись те «бесы революции», которые так характерно были описаны Достоевским и которые держали прочную связь с вождями либерального предреволюционного движения в России. Передовыми частями этих бесов были общественные дворянские и земские отряды с их уполномоченными в лице Гучковых, Ковалевских, Долгоруких и прочих. В медицинские отряды вливались настоящие уже полубольшевицкие элементы, и таким ярким примером служил Харьковский земский отряд, развращавший 10-й корпус, в тылу которого он находился. Здесь было все, до прокламаций, до противомилитаристических брошюр. Критика и критика царила всюду, и так подрывался дух действующей армии, в то время как внутри формирующиеся кадеты будировали идею о непопулярности войны, а из зарубежья шел призыв к измене и пораженчеству. Вся революционная интеллигенция уже мечтала, что на трупах русских солдат, разбитых в Маньчжурии, она воздвигнет конституционную Россию, ибо поражение на войне ослабляет правительство.

На полях сражения Маньчжурии я видел бесконечный ряд подвигов, героизм, стойкость и доблесть русских войск. В течение десятилетия после войны я слышал в интеллигентной России только злословие, критику и порицание японской войны. Осуждали поголовно офицер-

ство, окрещенное в дни первой революции «опричниками». Порицали русскую политику «захвата» на никому не нужном Дальнем Востоке.

Вот та пагубная атмосфера, которая царила над маньчжурской войной: ее проиграла не армия, не доблестный русский солдат и не русские полководцы, а впадавшее в безумие и бредившее русское интеллигентное общество. Роковой клич русской интеллигенции, в безумии своем твердившей: «Чем хуже, тем лучше», был надгробною плитой старой России.

В моих воспоминаниях встают дни лоянских боев, когда наша бригада одиннадцать дней, не расседывая коней, вела авангардные бои. Видел я и смешение 54-й дивизии под Янтаем, и маленькую катастрофу батальона Орловского полка под Анпином, но видел я и доблестные бои корпуса генерала Штакельберга, и стройные бои 184 русских батальонов под Ляояном.

Это были боевые действия доблестной и не заслуживающей хулы своих же русской исторической армии, и только в больной психике русского общества невероятные по своей трудности на отлете, за десять тысяч верст от центра, действия русской почти миллионной к концу войны армии, висящей на тонкой ниточке однопутной железной дороги, могли оцениваться как неспособность армии и негодность ее военачальников.

В атмосфере предреволюционного расположения психики русского интеллигентного общества, конечно, война на Дальнем Востоке была обречена на неудачу, и винить в ней Русскую армию не приходится. И если Русская армия сумела выйти из мукденских боев все же не окончательно разбитой и оцетинилась своими штыками в Телине, не допустив дальнейшего вторжения японцев, она тем выполнила свою задачу и дала больше, чем от нее можно было требовать. Революция 1905 года завершила бесславно японскую войну: нельзя одновременно вести войну и революцию. В истории вся маньчжурская война искажена. Не подведены ее итоги. Армия остановила японское вторжение и сохранила Маньчжурию. Через немного лет Государственная дума, в

глупых речах Шингарева провалившая Амурскую дорогу, затормозила развитие русского движения на Дальний Восток, а завершилась потеря выхода на Восток продажей Маньчжурской дороги большевиками и оттеснением Российской державы за Амур.

Тогда же в Маньчжурии я имел встречу с князем Львовым, будущим предателем России и главою Временного правительства. Это было в Харьковском земском отряде, куда я приехал по делам с позиций и где меня угостили чаем. Это был полубольшевистский отряд, в составе которого были большевики по духу – фельдшера и либералы-врачи. Князь фамиллярно, просто обращался с персоналом и вел либеральные речи с критикою военных руководителей. Он не произвел на меня впечатления умного человека, а его речи звучали странно на фоне боевых действий, из огня которых я только что выехал.

Помню и другой эпизод. На передовых позициях, перед Ампином, где был расположен Орловский полк, которые мы часто обходили с князем Орбельяни, бывшим тогда начальником авангарда, стали жаловаться, что батальоны численно слабеют вследствие большего числа эвакуированных в тыл по болезни солдат. Князь Орбельяни поручил мне объехать передовые линии и выяснить, в чем дело. То, что я выяснил, было ужасно. Оказывается, что из передовых линий, где врачей не было, заявивших о болезни посылали в находившийся в шести верстах в тылу Харьковский земский отряд, и врачи без всякого расчета эвакуировали таких больных. В результате из 1040 штыков, официально числившихся в батальоне, налицо к ляоянским боям оставалось около 750. Я доложил об этом князю Орбельяни, а он – генералу Гершельману. Но тогда еще плохо верилось в злой умысел этих гнезд революции, каким был Харьковский земский отряд. Генерал Гершельман, который впоследствии хорошо изучил революционеров, будучи московским генерал-губернатором, тогда не придавал этому большего значения, хотя некоторые меры все же были приняты.

Однажды, обходя с князем передовые цепи Орловского полка, где отдельные бойцы в полной боевой готовности лежали каждый в выры-



том для него ложементе, я заметил, что у каждого солдата были книжечки. Это оказались противомилитаристические произведения Льва Толстого. Хорошою пищею питали русских солдат на боевых позициях! Эти книжечки раздавал, конечно, Харьковский земский отряд, а батальонный командир полковник Габаев не понимал, что это и есть те ядовитые газы, которыми в будущем будет отравлена вся Россия!

В связи с маньчжурским фильмом в моей памяти обрисовываются еще три типичные для предреволюционного времени фигуры. Первая – это известный левый общественный и земский деятель Харьковской губернии Н. Н. Ковалевский, которого я знал лично и раньше. Это был богатый помещик, ставший, подобно Герцену, мстителем России и обществу за то, что был незаконнорожденным. Поэтому, будучи земским деятелем, он не мог быть членом дворянского собрания, и в этом коренилась основа его ненависти к существующему строю. Когда в Харьковском земстве выкристаллизовалось либеральное движение, он примкнул к нему и очень скоро вместе с другими либеральными деятелями оказался в руках социалистического третьего элемента – земских служащих. Он был уполномоченным земского медицинского отряда, отправляемого на Дальний Восток. И подобрал он его на славу: чисто большевистского типа.

Обратным проездом через Иркутск я виделся с харьковским предводителем дворянства Н. А. Ребиндером, с которым я был знаком с детства, и рассказал ему все подвиги этого отряда. Н. А. Ребиндер отлично понимал положение, но атмосфера тогда была такова, что он просил об этом много не рассказывать. Это было знаком полного бессилия правых элементов в борьбе с нарастающим революционным течением.

В то время председателем губернской земской управы был мой товарищ детства, также известный и очень левый общественный и земский деятель Василий Григорьевич Колокольцов. Он был старше меня, и я помню рассказы в моей семье о том, как молодой Колокольцов попал под влияние нигилистов. Окончив очень тогда революционно настроенную Петровскую академию, он весь проникся левыми тенден-

циями и почти студентом женился на крестьянке. Это был в высшей степени чистый и честный человек, всецело преданный идеям, в круг которых попал. И в Харьковском земстве он шел с левыми. Но, видя безобразия левых во время маньчжурской войны, он прозрел. Однако уже не мог ничего сделать, чтобы приостановить зажженный его единомышленниками пожар.

Уже в эмиграции мы встретились, как старые друзья. Он остановился у меня, и длинные ночи мы разворачивали мрачный фильм своих воспоминаний, беседуя о гибели России, которую одинаково любили. Еще раз он сам обрисовал мне все преступления Харьковского земства во время маньчжурской войны. Он рассказал мне, как знаменитая психиатрическая больница «Сабурова дача», которую я когда-то реформировал, попала в руки революционных бесов и стала штаб-квартирой революции. Это там выдвинулся знаменитый разрушитель Артем, который при мне, когда я был главным врачом этой больницы, был мальчиком при слесарной мастерской.

Суровым приговором Василий Григорьевич осуждал свои прошлые заблуждения и скорбел о гибели России. Он кончил свою жизнь в Париже самоубийством, разочаровавшись в деле спасения России.

Третья, мелкая фигура, был Георгий Михайлович Линтварев, легкомысленный, наивный, но хороший человек, совершенно подпавший под влияние левых и немало потрудившийся над гибелью России. В 1903 году он не был утвержден министром внутренних дел Плеве в должности избранного члена губернской управы. И как раз по этому поводу, будучи вызван к министру, встретился со мной на приеме у министра. Я стоял рядом с ним, когда В. К. Плеве в суровой отповеди указал ему, что «так очень легко спуститься по наклонной плоскости до полного падения»... Эти слова оказались пророческими. Линтварев бесславно закончил свою революционную карьеру, одно время примкнув к белым, и совершенно покинутый революционными бесами.

На моем военном психофильме времен маньчжурской и Великой войны много живых образов лиц, вошедших в историю – то как герои

Императорской армии, то позднее как изменники Императорским знаменам или отрекшиеся и перелетевшие в стан непредрежденных. Куропаткина я видел на войне неоднократно и был о нем до его последних бредовых откровений на закате дней хорошего мнения. Имел я длинную беседу перед его отъездом на войну с генералом Гриппенбергом в присутствии генералов Рузского и Плеве, в которой я докладывал им все, что видел на маньчжурской войне. И в Ляояне, и потом в Вильне я встречался с генералом Ренненкампом. Все это были тогда настоящие царские русские генералы. Некоторых из них потом захватил вихрь революции и превратил в изменников. Но тогда трещин в их психике не было. В Маньчжурии в боях под Ляояном я близко видел будущих ренегатов Империи, тогда полковников Гутора и Клембовского, с которыми был в одном отряде. И если бы тогда цыганка предсказала мне их печальную судьбу большевистских спецов, которые устроили в 1918 году муравьевское побоище и резню офицеров в Киеве, — я бы не поверил.

Так, встречая на протяжении своей длинной жизни людей, я не мог предвидеть, что судьба стасует карты и что одни из них сойдут со сцены жизни героями, а других поглотит бесславие и срам. Когда теперь я читаю историю последних войн и предо мною мелькают образы виденных людей, фигурирующих в роли большевистских спецов, вождей отречения и непредрежденства, в моей психике, как специалиста по душевным движениям и надрывам, рисуется весь ужас пережитой катастрофы. Из героев исторической России люди превращались в прихвостней Керенского, и генералы снимались с ним, стоя навтыжку. Революция, измотав их душу, выбрасывала их в навоз эмиграции без чести, без воспоминаний о великом прошлом, бормочущих какой-то вздор в свое оправдание отречения от Императорского штандарта.

То, чего не могли сломить японские и германские штыки, как тонкие прутья гнула буря революции. Но многие из героев Маньчжурии выдержали испытание до конца, и их славные имена остались незапятнанными. При дальнейшем развертывании моего психофильма мы еще встретимся со многими участниками маньчжурской эпопеи.

Вся революция 1905 года прошла перед моими глазами. Это была страшная катастрофа ничуть не слабее второй – революции 1917 года. Но тогда министры и генералы еще не были изменниками, а армия, казаки и полиция стояли на высоте своего долга. Несмотря на преступления Витте, Дурново усмирил этот страшный бунт при содействии здоровых сил русского народа. Начинается первая катастрофа тоже с измены: слабый умом, капризный и слабовольный князь Святополк-Мирский объявляет «весну революции» и, попав на место Плеве, разлагает власть. По возвращении из Маньчжурии я как-то был на обеде у князя, когда он был министром внутренних дел, и видел его в этой роли. Трещина появляется в верхах на протяжении всей его деятельности. Подготавливается эволюция Витте в сторону революции и слома старого режима. Женитьба премьер-министра на еврейке Матильде не проходит даром.

Из записок любовницы Ленина Крупской мы узнаем, что Ленин, Плеханов, Мартов в революции 1905 года ни при чем, и даже Лейба Троцкий прискакал на пожар 1905 года с опозданием. Один лишь член триумvirата, Струве, действительно подготовил эту революцию, перекочевав в стан либералов и подорвав аппарат власти. Вместе с либералами и общественными деятелями того времени он подвел мину под императорскую Россию. Удар революции 1905 года действительно был страшен. Поток демобилизуемой армии грозил уничтожить все на своем пути. Но генералы Меллер-Закомельский и Ренненкампф своими решительными мерами почти бескровно надели смирительную рубашку на остатки охваченной революционным безумием армии и на железнодорожную сволочь.

В высшей степени характерная сцена воздействия на психологию масс прошла перед моими глазами в Челябинске в конце октября 1905 года, когда по Великому Сибирскому пути двинулись с запада генерал Меллер-Закомельский, а с востока генерал Ренненкампф для усмирения бунтующих по всему протяжению дороги демобилизуемых солдатских масс, смешивающихся с революционной чернью и подстрекаемых революционными агитаторами. Все города по Сибирскому пути после 17

октября волновались. Во многих местах происходили контрреволюционные и еврейские погромы, тогда как в других местах верх брали революционеры. Челябинский вокзал уже две недели походил на сумасшедший дом, где разнузданная солдатня неистовствовала и громила буфеты и станции. Задевали и оскорбляли офицеров, брали силою места в поездах, расхищали склады.

На фоне сплошного безобразия вдруг пронеслась весть о том, что из Москвы через Самару движется усмирительный поезд генерала Меллер-Закомельского с батальоном Семеновского полка, только что усмирившим Москву, с пулеметами и орудиями и беспощадно расправляется с бунтарями. Волнующиеся массы несколько притихли, но ненадолго: неистовства снова пошли вовсю.

В один прекрасный день около полудня к станции тихо подкатил поезд, остановившийся на втором пути. В раскрытые двери теплушек видны были стройные группы солдат с пулеметами наготове, а на платформах стояли орудия в полной готовности. Вся платформа и весь вокзал были заполнены тысячами только что неистовствовавших солдат вперемежку с чернью.

Поезд остановился, и вся масса в любопытстве затихла. Но солдаты в шинелях нараспашку, с папиросами в зубах смотрели на вышедшего на полотно дороги в сопровождении двух-трех офицеров генерала, и ни один из них не отдал чести, не подтянулся. Обе стороны ожидали и мерили друг друга глазами.

Генерал Меллер-Закомельский был невозмутимо спокоен. Ни малейшего лишнего движения, мимика лица не шелохнулась. В трех шагах от генерала стояла группа товарищей солдат (уже тогда это слово употребляли революционеры), курила и лускала семечки, не прореагировав на появление генерала. Генерал пристально посмотрел на ближайшего, который стоял в вольной позе, в шинели нараспашку, с папиросою в зубах и нагло глядел на генерала. Взгляды скрестились... Чья возьмет верх?

Генерал твердо, спокойным голосом сказал:

— Брось папиросу!

Толпа замерла. Солдат смутился, но папиросы не бросил и не стал смиренно. Он слегка заерзал и стал смущенно говорить:

– Да я что же... Теперь свобода... Я ничего...

Генерал так же невозмутимо обратился к стоявшему с ним полковнику:

– Господин полковник, исполните ваш долг!

Из выстроившейся у вагона шеренги подъехавших солдат, стоявших с винтовками у ноги, вышло два и, став по бокам непослушного солдата, арестовали его. Сейчас же вышли члены военно-полевого суда. В две минуты был поставлен приговор. Солдат растерялся. Но было поздно. Тут же его при полном молчании толпы отвели к ближайшему сараю и на глазах у всех расстреляли. Впечатление было потрясающее. В мгновение ока толпа подтянулась и начала быстро рассеиваться. Через четверть часа станция приняла нормальный вид, воцарился порядок, солдаты стали отдавать честь офицерам.

Дежурная часть была поставлена на место, и через полчаса поезд генерала так же бесшумно удалился, оставив за собой отрезвление и порядок.

Психика опытного военачальника победила хаос. А имя генерала Меллер-Закомельского, перед тем усмирившего бунт на Черном море, оказало свое импонирующее действие.

Так же и генерал Ренненкампф с ничтожными жертвами прекратил безобразия с запада, и взбаламученное море вошло в свои береги.

Во всех деталях прошел перед моими глазами сначала революционный, затем превратившийся в контрреволюционный погром в Челябинске, где мне пришлось экспериментально пережить дикую силу толпы. Спасая человека, которого рвала толпа, я был изувечен и брошен на улице как убитый. Об этом эпизоде я напишу в другом месте, описывая мою встречу с Павлом Николаевичем Милюковым. В этом погроме революция мешалась с контрреволюцией, еврейские лозунги – с истинно русскими напевами, а кровь в большинстве невинных жертв человеческого безумия обильно заливала красным цветом драматическую картину их гибели.

Горе человеку, который в эти моменты попыбует протянуть руку помощи ближнему! И когда я, падая на мостовую, подумал: «Вот он, конец» – в моей мысли пронеслась фраза: «Ай да толпа, вот она, толпа!» Я очнулся в арестантской, где вместе с израненными революционерами и контрреволюционерами мы валялись на полу и на нарах, окровавленные и перемешанные. Тут не разбирают, кого берут.

Я видел и переживал эту катастрофу, где тысячи паровозов, как замороженные трупы, стояли брошенные вдоль Великого Сибирского пути. Революционная толпа уже сжигала людей в запертом здании Томского театра, а в железнодорожном депо уже бросали в топки офицеров. Адмирал Дубасов победил взбунтовавшуюся Москву, а Дурново твердою рукою и знанием законов душевных движений масс подавил всю революцию. Революция 1905 года, однако, одержала и роковую победу в форме акта 17 февраля, который повернул Россию на путь Голгофы и преопределил ее гибель.

Много существует мнений относительно этого события, и даже многие сторонники Императора Николая II склонны видеть в этом Его акте или роковую ошибку, или проявление слабости. Но для того чтобы понять этот акт, надо вспомнить, что Россия октябрьских дней 1905 года, или, вернее, двух предыдущих лет, была настоящим сумасшедшим домом. Повальное безумие бушевало по всей Русской земле, а Государь, уже тогда всеми покинутый, остался в полном одиночестве.

В настоящее время мы располагаем историческими документами, исчерпывающим образом объясняющими роковой шаг русского Императора, – это письмо Государя к Матери-Императрице от 1 ноября 1905 года.

Как относился Император Николай II к революции 1905 года? Об этом имеется мало данных в мемуарах – в большинстве недобросовестных, – ибо многие авторы, как, например, Витте, грешили в это подлое время и стремятся в них оправдать себя. Он даже сваливает свою вину на Государя. Можно уверенно сказать, что Государь едва ли не один правильно понимал положение и со свойственным ему благородством стремился вывести Россию из катастрофы. В письме его к матери с не-

обычайной яркостью обрисовывается все благородство, порядочность, патриотизм и ум Николая II как человека и Царя. В спокойных и полных достоинства словах он объясняет, почему решился на манифест. Видно, что он отлично отдавал себе отчет в ситуации и в поступке, который совершал.

Дело в том, что психическая зараза уже проникла в окружение Государя: его доверенные сотрудники изменили вековому курсу русской истории и повернули на конституционный путь. Пошатнулась психика большинства министров императорского правительства, а другая часть оставшихся верными погибла под ударами революционного террора. Император дает этому шатанию строгий приговор. Он пишет: «Противно читать новости. Ничего, кроме новых забастовок в школах, на заводах, убийства солдат, казаков, полицейских. Беспорядки, скандалы, восстание. Но министры вместо того, чтобы действовать решительно, только собираются на совет и, как перепуганные куры, кудахчут об объединенных выступлениях кабинета». Трудно выдумать более умную характеристику поведения этих растерявшихся сановников. Эта фраза снимает всякое обвинение Государя в слабости. И в решительную минуту Он сам поставил Трепова во главе всех войск Петербургского округа. Это был, по Его словам, единственный способ остановить революцию.

«В эти ужасные дни, – пишет Государь, – Я постоянно виделся с Витте. Нередко мы встречались с ним рано утром и расходились только поздно ночью». «Оставалось только два пути. Один – это найти энергичного солдата и подавить движение грубой силою. Другой – дать населению гражданские права, свободу слова и печати и предоставить Думе право утверждать все законы. Это была бы конституция». «Витте очень энергично защищал эту точку зрения. Он говорил, что, хотя в этом и есть известный риск, тем не менее это единственный выход из положения. Почти все, с кем я советовался, также поддерживают эту точку зрения. Витте откровенно заявил мне, что он готов принять пост министра-президента только на том условии, если его программа будет одобрена



мною и никто не будет вмешиваться. Он и Алексей Оболенский (б. финляндский генерал-губернатор) составили текст манифеста. Мы обсуждали его два дня, и наконец с помощью Божией я подписал. Моя дорогая Мама, Вы не можете себе представить, что я пережил в этот момент».

«...Все, с кем я советовался...» Эти слова служат лучшим ответом на злословия, которые упрекают Государя в упрямстве и слабости. Идти наперекор стихии и поручить энергичному солдату подавить движение грубою силою – конечно, не было ни логично, ни в духе просвещенного Императора: так лечат бунт, но не повальное безумие. Это было бы и бесполезно, ибо нарыв безумия уже созрел, и сеть предательства вокруг Царя уже была сплетена.

«Мне не на кого положиться, за исключением честного Трепова. Не было другого исхода, как осенить себя крестным знаменем и дать то, о чем все просят...»

Вот эти-то «все» суть настоящие виновники грядущих бедствий России.

Из трех главных виновников катастрофы 1905 года – Витте, князя Оболенского и князя Святополк-Мирского – я лично знал и служил при двух последних. Князь Алексей Оболенский, между прочим, выдвинул меня на служебный пост во времена Сипягина, когда он был товарищем министра внутренних дел. Это был типичный аристократ-либерал, довольно умный, образованный, но жаждавший лавров со стороны общественных элементов и либеральных кругов. Его отлично характеризует Государь, обладавший необыкновенным пониманием людей. Оболенский, назначенный на пост финляндского генерал-губернатора, получил широкое поле для своей либерально-княжеской политики на окраине. «Внезапно охваченный страхом, – пишет Государь, – он перебрался в Свеаборг со всею семьей. Теперь он так скомпрометирован, что ему нельзя там больше оставаться». Вот как арестовывал трусов бесстрашный и твердый Николай II. Сам он не пошел на компромиссы, чтобы спасти себя и семью. А так всегда поступали либералы: зажгут своими демагогическими речами пожар и первые бегут от расправы. Государь

первый понял, что он имеет дело с повальным безумием, с чем тогда соглашались немногие. Он пишет: «Народ как будто сошел с ума – одни от радости, другие от недовольства».

Один из первых он понял и оценил последствия сделанного шага. «Каждый день я получаю телеграммы со всех концов с выражением благодарности за дарованные свободы, но в то же время многие указывают, что они хотят сохранения самодержавия». *«Почему же эти добрые люди молчали раньше?»* – спрашивает Царь. На этот вопрос психолог ответит: *из трусости!* Царь скоро оценил ошибку Витте: «Странно, что такой умный человек, как Витте, оказался неправ в своих надеждах на быстрое успокоение страны».

Джентльмен слова, Государь не пожелал отменить обещания, данные в минуту сомнения.

17 октября было настоящим днем гибели России. Это был последний день русской славы и величия. Долгие сумерки заволокли жизнь великого народа. От них ему суждено было очнуться в оковах рабства интернационала или в безвыходном унижении эмиграции.

## ГЛАВА II

### Вторая половина царствования Императора Николая II

В мрачный вечер 17 октября 1905 года, когда над Русской землей сгустились черные тучи, в далеком сибирском городе, где я тогда находился в командировке, у подъезда моего дома меня заключил в свои объятия мой домохозяин – типичный русский либерал – и в радостном экстазе провозгласил:

- Поздравляю с конституцией – получен царский манифест!
- И с гибелью России... – мрачно возразил я.

Прошло с тех пор тридцать лет. Занесенная снегом великая Россия спит тяжелым смертным сном, и в кошмарных грезах ее обитателей мешаются обрывки сказки прошлого с мечтами несбывшегося земного рая,

со страшными видениями настоящего, пропитанного кровью, ужасом и смертью. Под тяжелою пятою горячо жданной лучезарной, великой «бескровной революции» стонет русский народ на Родине. Бездомными скитальцами, рассеявшись по чужим землям, вкушают горе побежденных, всюду ненавидимые и всеми унижаемые русские люди.

Выступают из мрака пережитого тени прошлого и длинной вереницею в думах русского человека проходят фигуры, одними признаваемые титанами революции, героями выковывающейся новой жизни, другими – ненавидимые и признаваемые величайшими мерзавцами и мелкими бесами на ленте всемирной истории.

Под грозным молотом большевизма догорает русская либеральная интеллигенция, воспитанная на двух романах крупнейших разрушителей, и у порога гроба лепечет два роковых поставленных ими вопроса: «Что делать?» (роман Чернышевского) и «Кто виноват?» (роман Герцена).

Охваченные безнадежным безумием русские эмигранты под гипнозом своих вождей из «внутренней линии» и отрекшихся от исторических лозунгов русского народа бывших военачальников тупо отвечают: на вопрос «Что делать?» – не предрешать, а на вопрос «Кто виноват?» – большевики.

Падшим людям – а с гибелью Великой Родины все мы падшие – присущ гимн покаяния. Многие твердят о том, что виноваты все мы, и этот клич любят повторять те сошедшие на дно актеры прошлого, на душе которых лежат тяжелые грехи февральской драмы отречения от старого мира и предательства своего Царя.

С октября 1905 года сходят со сцены государственной деятельности сановники и деятели старой России и выступают на арену русской жизни *новые люди*. По большей части это знакомые русской истории по смутному времени 1612 года «перелеты», – так звали людей, быстро меняющих ориентацию и легко перелетающих из одного лагеря междоусобных борцов в другой. И здесь, как во время Французской революции, в Государственной думе будут будировать бывшие чиновники самодержавной Империи и играющая своими титулами аристо-

кратия, быстро пополнявшая в эти дни ряды возникающей кадетской (конституционно-демократической) партии. В течение ближайших лет им придется совершить еще бóльшие метаморфозы, которые доведут их до непредрешенства в эмиграции или до унижительного положения спецов в большевистской России. Многие из перелетов уйдут в ряды парламентских говорунов, а рядом с ними обрисуетя порода честолюбцев-карьеристов, быстро эволюционирующая в погоне за министерскими портфелями, так легко добываемыми при парламентском строе. Среди них редко вкрапленными останутся честные и стойкие сановники, преданные Царю и Родине, понимающие безумие происходящего. В награду они в будущем найдут смерть в казематах Петропавловской крепости и в подвалах чека.

Эпоха после 1905 года, с одной стороны характеризуется реакцией против революции только что пережитой, а с другой стороны, это период систематической подготовки к будущей «великой» революции. С этих пор власть попадает в руки премьер-министров, стремящихся перехватить ее от самодержавного Царя, а с другой стороны, весь чиновный аппарат уже не знает, на кого ориентироваться: на исторического Самодержца земли Русской или уже приступающую к разложению государства Российской Думу. Многие из деятелей этой эпохи проходят в моих воспоминаниях в живых образах, ибо судьба сводила меня с ними и в общественной и в личной жизни.

Революция 1905 года коснулась лично и меня, как деятеля, твердо служившего старой Императорской России и разделявшего идеологию ее руководителей. К этому времени я занимал пост директора лучшей в России образцовой правительственной психиатрической окружной больницы на пять губерний в Вильно. В 30 лет я по службе занимал должность пятого класса, имел ученую степень и две всемирные премии за свои научные работы. Новая больница была гордостью Министерства внутренних дел, и на ее открытии была получена поощрительная телеграмма Государя, в которой он пишет, что ему приятно было прочесть отзыв генерал-губернатора князя Святополк-Мирского

о новом сооружении. Министр Плеве посещает эту больницу в конце 1903 года и дает о ней блестящий отзыв в Государственном совете, как о правительственной больнице, руководимой непосредственно министерством. За полтора года я получаю два высоких по годам службы ордена. И деятельность моя идет блестяще. Но уже перед самой революцией обнаруживается диссонанс в деятельности, идущей в направлении, указанном министром внутренних дел Плеве, и начинающим выкристаллизовываться течением князя Святополк-Мирского. В одном из разговоров со мною князь, бывший попечителем больницы, капризно заявил мне, что только мои выдающиеся научные заслуги заставляют его мириться с моими служебными шероховатостями, которые ему не нравятся. Наступил 1905 год. В моем деле начались безобразия революции, с которыми я справился. Но скоро оказалось, что новый курс для меня неприемлем, и я оставил свой пост, уйдя с государственной службы сначала на широкое поле свободной профессии, а затем в область ученой деятельности. Столкновение, послужившее причиной моего ухода, как нельзя более характерно. Директором Медицинского департамента был тогда Анреп. Это был тип левого чиновника, сейчас же уловившего новый курс. Он насадил мне в число моих сотрудников и подчиненных целый букет левых партийных работников эсеровского типа и между прочим доктора Аптекмана. Последний – бывший государственный преступник, осужденный по процессу 193-х в конце семидесятых годов как член «Народной воли» и отбывший долгую ссылку в Якутской области, крещеный еврей. С наступлением весны 1905 года он сорвался с нареза и, имея протекцию в лице Анрепа, стал революционировать все учреждение.

Однако я держал курс твердо и не давал делу разваливаться. Тогда Аптекман стал вести себя вызывающе-нахально, чувствуя, что старая Россия валится в бездну.

На одном из заседаний совета врачей, в котором уже господствовали левые течения, Аптекман позволил себе некорректную выходку. Я его остановил словами: «Прошу вас соблюдать правила вежливости».

Он подскочил ко мне с нахальным вопросом: «Ну а что вы со мной делаете?» Я ответил ему *по-русски*: «Я тебе, сукин сын, морду набью», и в тот же вечер подал в отставку, так как дело все равно уже было потеряно. Об этом инциденте, пожалуй, не стоило бы упоминать, если бы не последующие события. В виленской лечебнице с моим уходом революция разыгралась как по нотам. Аптекмана арестовали – слишком поздно – и при Столыпине выслали за границу. *А вернулся он в Россию в 1917 году в запломбированном вагоне вместе с Лениным.* Вот как новые чиновники разрушали Россию.

К последующему периоду моей жизни относятся самые разнообразные встречи – от высших кругов до трущоб революции. Обозревая длинную галерею этих лиц, взгляд мой редко останавливается на деятелях положительного типа. Это эпоха большого общественного мнения, излагаемого прессою и Государственной думою.

Эти влияния вначале сдерживаются государственной властью, победившею революцию. Но силы революции только притаиваются теперь, имея хорошие аппараты для разрушения Империи в форме Государственной думы и новых «свобод». Когда созреет заговор окончательного свержения самодержавия, Россия еще стремительнее низвергнется в пучину гибели и срама. В то время, когда Горький пел своего «Буревестника», родовитый русский князь провозглашал весну свободы и гражданских прав в напевах «доверия». По моему мнению, князь Святополк-Мирский был злым гением старой России. Он расшатал власть сначала в Северо-Западном крае, а потом во всей России, будучи министром внутренних дел. Имея большие связи в земских либеральных кругах, будучи личным другом Витте, он не был ни умен, ни самостоятелен. Государь, который по прошлому княжеского рода не мог ожидать от своего министра поворота в сторону оппозиции, скоро разгадал его и отставил от должности. Но было поздно: вожжи были выпущены из рук и впоследствии министру внутренних дел П. Н. Дурново нелегко было исправить ошибки князя.

На моих глазах в окружении Святополк-Мирского выдвинулось несколько лиц, которых я лично знал и которым суждено было сыграть в

ближайшие годы большую роль в надвигающихся событиях. Правителем его канцелярии был Харузин. Это он влиял на князя тогда, сбивая на левый путь и ища популярности. Впоследствии ему пришлось сильно повернуть вправо, и он кончил свою карьеру, будучи потом товарищем министра внутренних дел и сенатором, бесславно и незаметно. Но в это время выдвинулся в окружении князя Святополк-Мирского и Столыпина. При мне он был сначала ковенским предводителем дворянства по назначению, а потом гродненским губернатором, откуда был переведен губернатором в Саратов, а затем назначен министром внутренних дел и премьер-министром. Впервые я услышал о Столыпине очень лестный отзыв от одного из чиновников канцелярии генерал-губернатора, и, поскольку я имел с ним деловые сношения, этот отзыв вполне оправдывался. Это был способный администратор и выдающийся губернатор.

Третье лицо, также выдвинувшееся из этого окружения, был С. П. Белецкий, которого я знал как сослуживца по Вильно. Впоследствии я сошелся с ним и с его семьей близко, как врач, их лечивший, и как хороший знакомый. Это был человек энергичный, умный и дельный, конечно, честолюбивый, которого я лично расцениваю выше, чем это делало общественное мнение того времени.

Витте я встретил лишь однажды в обществе высокопоставленной особы, которую я как врач вез за границу. Это тогда, в 1912 году, был уже дряхлый, озлобленный старик, который вез за рубеж свои мемуары, чтобы потом из глубины могилы сводить свои счета с русским Императором, не угодившим его вожделениям после совершенной Витте ошибки.

Из плеяды деятелей второй половины царствования я близко видел много лиц. Моя врачебная деятельность и имя известного специалиста открыли мне двери домов некоторых высоких сановников, стоявших у кормила власти. Я встречался с широкими кругами профессуры и общественных деятелей и имел возможность наблюдать развитие российской катастрофы во всех ее деталях.

Я помню Штюмера, над личностью и мрачною судьбою которого я не раз задумывался. Я работал с ним в Министерстве внутренних

дел в одной законосовещательной комиссии под председательством князя Алексея Оболенского, членами которой были такие общественные деятели, как Шипов, Львов, будущий обер-прокурор Синода и герой корниловской эпопеи. И я рад, что видел живые образы этих двух гробокопателей России. Непонятно, как личность честного и стойкого Штюмера могла навлечь на себя всеобщую иступленную ненависть. Чтобы ее объяснить, надо вспомнить страничку из прошлого. Когда отповедь Государя Тверскому земству вызвала фрондирование группы общественных деятелей в лице Петрункевичей, Родичева, Долгоруковых, в Тверь был назначен председателем губернской управы Штюмер, и так как это место у левых числилось под бойкотом, он и сделался объектом клевет и ненависти. Впоследствии большевики расправились с ним и расстреляли его. Так гибли верные слуги царские в этот подлый период. Я помню Штюмера в должности губернатора в Новгороде, и кроме самого лучшего мнения о нем в моих воспоминаниях ничего не осталось. Ни одного конкретного обвинения ему никогда и не предъявлялось. Этого левым не было и нужно.

В 1899–1900 годах я был директором Новгородской губернской психиатрической больницы. Земство там было очень левое. Здесь я имел три встречи. Первая – с М. В. Родзянко. Он был председателем ревизионной комиссии и два года ревизовал больницу и мою деятельность. Больница была хорошая, и два года я получал благодарности губернского земского собрания, выраженные единогласно. М. В. Родзянко бывал у меня на приеме в доме, и я близко его знал. Тогда происходила дифференцировка земцев на правых и левых. По родственным связям Родзянко принадлежал к аристократии и правым. Но он, как тогда говорили, был корректен с левыми, и потому его выбирали в председатели ревизионной комиссии. Ничто тогда не предвещало того курса, который впоследствии принял этот деятель.

Вторая встреча повела к моему сближению с семьей будущего моего пациента и друга митрополита Антония. Членом управы, заведующим делами больницы, которой я был директором, был Александр



Павлович Храповицкий, родной брат митрополита. Меня полюбила его мать Наталья Петровна. Я бывал у них в имении Ватагино, и Храповицкие бывали у меня. Антоний, в котором души не чаяла его мать, тогда был в Москве, и старушка всегда с восторгом говорила мне о своем сыне, не подозревая, что жизнь сведет наши пути и что мне суждено будет принять его последний вздох и заветы верного служения Императорской России. Его брат А. П. Храповицкий был левым деятелем.

Сначала все шло хорошо, но позже я видел, что левая деятельность земцев только губит дело, и, перейдя в правительственную больницу директором, сначала в Винницу, я расстался с левыми земцами без особой к ним любви.

Третья новгородская встреча относится к писателю Глебу Успенскому, который был в числе моих пациентов в больнице. Это был полубог левых земцев, хотя тогда уже он был почти живым трупом. Я его получил совершенно слабоумным. Он пользовался всеми возможными привилегиями, и я имел большие неприятности с ним, ибо левые стремились постоянно его посещать, а другие сетовали на то, что он становится объектом любопытства. Разрушительная деятельность Глеба Успенского в предреволюционный период была громадна. Но еще более тяжелое наследство он оставил России в лице своего сына, который стал ближайшим сотрудником Бориса Савенкова по политическим убийствам и экспроприациям.

В Новгородском земстве был сплошной подбор революционеров в качестве служащих.

Вот та галерея людей, большинство которых играли роль в русских событиях и, конечно, никакой симпатии в моей душе к «новым деятелям» я не имел и не имею.

Увертюрой второй половины царствования была скандальная встреча благороднейшего Монарха с членами Государственной думы, которых он назвал «лучшими людьми и народными избранниками». В ответ на рыцарский жест Царя последовал хамский полубойкот и молчание. А затем начинается глупая деятельность и безобразия этого учреждения,

которому Государь со свойственной Ему мудростью дает изумительно правильную оценку. Он презирал Думу и знал ее настоящую цену. Очень правильно выразил качества левых и Столыпин в своей реплике: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия».

Государь пишет своей Матери, что многие настаивают на роспуске Думы, но Он решает ждать, «пока она не совершит что-либо особенно низкое и гадкое». Как это суждение было правильно! И чего другого можно было ожидать от этой толпы невежд и демагогов? Повествовать о похождениях Думы, говоря о деятельности Императора, не стоит. Я лично всегда относился к ней с омерзением и как психолог, специально занимавшийся коллективной психологией, видел в ней все пороки больного коллектива и толпы. Работе правительства и жизни государства она только мешала, и потому все сколько-нибудь важные реформы приходилось проводить в порядке 87-й статьи закона без участия Думы.

Положение Государя с учреждением Думы было трудное, ибо было ясно видно, что рано или поздно Дума приведет Россию к катастрофе. Главное зло было в том, что все присутственные учреждения и чиновники не знали, кого слушаться и кому служить – Царю или Думе, а по психологии людской средний человек служит тому, кому выгоднее и на чьей стороне сила.

В Императорской России был изумительный порядок в составлении сметы и государственного бюджета. Кредиты бывали открыты всегда своевременно. С введением Думы утверждение бюджета задерживается, и начинаются дурацкие речи оппозиции с запросами, дискредитирующими власть. Члены Думы вмешиваются во все дела, влияют на чиновников, а второстепенные министры ставят ставку на Думу и к ней подлаживаются. В ней же готовится заговор против Царя. Центром военного заговора является Гучков. Этот заговор описан в литературе, и так как он не отпечатывается на моем фильме, я о нем говорить не буду. Могу только сказать, что на всем протяжении деятельности Думы, как ее воспринимал я, была глупа, аморальна

и непатриотична. Там господствовали инородцы, а русские все время проповедовали то, что впоследствии и получили: самоопределение народностей с полным подавлением русского национализма.

Еще раз Государь в письме к матери выражает надежду, что «быть может, работа этой Думы будет плодотворнее, так как в нее попало много порядочных людей». Здесь мудрый Государь сделал психологическую ошибку: в коллегии мерзавцев порядочные люди растворяются или сами становятся таковыми.

Я помню впечатление разгона Первой думы и Выборгское воззвание. Правительство поступило необыкновенно мягко и строго законно, забывая, что с беззаконием законом во время революции не борются и что на призыв к разрушению поцелуями отвечать нельзя. Из деятелей Первой думы я раньше близко знал товарища председателя профессора Гредескула, который был моим товарищем по гимназии и личным другом. Судьба развела нас – он пошел налево, я направо. Впоследствии, при большевиках, он был прозван «красным профессором». Это не была крупная личность. В первые годы моей врачебной деятельности он часто бывал у меня со своею первою женой, которая была племянницей крупного либерального чиновника и деятеля Ковалевского. Профессор Гредескул был ограничен, но очень упрям в своем мировоззрении и один из немногих был идейный революционер, не отдававший себе отчета в том, чем заменить срушенный порядок и к какой цели идти. Это был только разрушитель. С введением конституции, как определил ее сам Государь, государственный аппарат как будто бы остался прежним. Законы еще не успели превратиться в декреты, и для охранения их были выделены так называемые основные законы.

Но перелом характеризуется сменой людей – как стоящих у власти, так и чиновников-исполнителей. Со сцены сходят и удалены столпы Империи и победители революции 1905 года. Пресса, вырвавшаяся из тисков цензуры, правит тризну по старой России и клеймит сходящих со сцены людей черносотенцами, а офицеров – опричниками. Был сметен с поста победитель революции Дурново.

Русское императорское правительство спасло Россию от революции 1905 года, но предало ее на растерзание Государственной думе, прессе и общественным деятелям, сформировавшим политические партии. Эта борьба их с правительством и ведет Россию к гибели. В сановном мире начинается альянс членов Думы с левыми элементами и наблюдается проникновение левых в ряды сановников, а позже и в ряды военных.

Страшный террор 1905–1907 годов выбивает лучших представителей власти, а пресса и общественное мнение одобряют эти убийства. На арену выступают *новые люди*, больше заботящиеся о личном преуспевании, чем о победе над нарастающим повальным безумием.

В этом хаосе мыслей, верований и стремлений только две силы оставались вполне определенными: это, с одной стороны, умный русский Царь, понимавший ужас надвигающейся катастрофы, а с другой – революционное подполье, стремившееся разрушить старый мир, чтобы на его развалинах построить земной рай. Глупая русская интеллигенция была полна добрых намерений. Ей казалось достаточным срушить историческую императорскую власть, чтобы обрести земной рай. *Новые люди* были старого происхождения и со старою душою, а потому они плохо прививались в новой жизни. Настоящие «новые люди» в лице большевиков появились позже, тогда, когда Россия уже была разрушена их предшественниками. Эта последняя волна людей состояла из евреев-большевиков, авантюристов, мошенников и настоящих пугачевцев, между которыми редко были вкраплены идейные утописты-фанатики и кристально честные дураки со святыми глазами и кровавыми руками.

После октябрьской реформы преобладающее значение получили коллегии в лице Думы, Государственного совета и Совета министров. Безответственность коллегии прикрывала как глупость, так и преступления отдельных людей.

После короткого периода Витте над горизонтом русской жизни всходит звезда Столыпина. Я не отрицаю, конечно, достоинств этого крупного человека, который, к счастью, не успел написать своих мемуаров. В памяти современников он обрисовывается так, как он представляется

в его смелых и блестящих речах и в проведении реформ, неправильно носящих его имя. Не следует забывать ту руководящую роль, которую в них играл Государь, который просто пишет: «Я приказывал Столыпину». Столыпин завершил ликвидацию русской революции, выполненную его предшественниками, опираясь на Императорскую армию, полицию и жандармерию. Но в этой ликвидации громадную роль сыграли русские патриотические организации – Союз русского народа и Союз Михаила Архангела, в которые входили честнейшие и героические личности, как Дубровин, Крушеван, Пуришкевич (первого периода), Булацель, Иост, Голубев и множество других патриотов. Все они были заплеваны интеллигенцией и прессой и заброшены презрением. А между тем это были честнейшие по своим заслугам люди. Они сделали то, что впоследствии повторили германские патриоты, «выведя в расход» в начале революции евреев Герценштейна и Иоллоса. Немцы вывели в расход Розу Люксембург и Либкнехта. Русские патриотические силы в 1905 году действовали по собственному почину. Их ненавидели левые.

И когда Столыпин оказывается на высоте и претендует на роль временщика, он воображает, что может опереться на умеренные политические партии и сыграть в России роль Бисмарка, воспользовавшись трибуною Государственной думы. Он совершает ряд непростительных действий. Во-первых, ликвидирует все правые патриотические организации и отдельных деятелей, а во-вторых, он дискредитирует крупных старых деятелей: товарища министра Гурко, директора департамента полиции Лопухина и московского градоначальника Рейнбота. Отдавая их на растерзание толпы и общественного мнения, он делает ход влево – конечно, без всякого успеха – и ослабляет Россию в будущей борьбе с революцией. Столыпин окончательно расходится с патриотическими русскими группами, засоряет все министерства новыми людьми полуконституционной идеологии, сближается с Гучковым и оставляет России печальное наследство в лице своего родственника, министра иностранных дел Сазонова. Но он не приобретает расположения левых, как не встречает и доверия революционеров, которые

его выводят в расход. Я лично отношусь к Столыпину самым отрицательным образом и считаю его виновником гибели России в 1917 году. Мудрый Царь хорошо разгадал Столыпина, и если бы министр не был убит, его песня все равно была бы спета.

Отношение Столыпина к Царю – самое недостойное, а претендентство его на роль временщика необоснованное. Он, с одной стороны, вводит в жизнь парламентские методы, а с другой – беззаконие и произвол. Он одержим честолюбием и формирует поколение чиновников-карьеристов оппортунистического типа.

Реформы, носящие его имя, разработаны не им. В его деятельности намечается стремление проведения в жизнь мажордомства и захвата власти, как впоследствии это будут делать все европейские премьер-министры, превращающиеся во временных и мелких самодержцев под парламентарным флагом.

Состав министров при Столыпине склоняется в сторону новых людей, и как при нем, так и при его преемнике Коковцове выделяется лишь небольшая группа министров старого типа, твердых и дальновидных, которые всеми силами стремятся не допустить гибели России, которую они точно предвидят. Таковы министры Шварц, Кассо, Маклаков, Рухлов, Щегловитов. Губернаторы при Столыпине назначаются не твердые, но считающиеся с новым курсом и плавают между правыми и левыми. Приближается к правящим кругам ненавистник Императора Гучков и вкрадывается в доверие офицеров и высших чинов Генерального штаба, подготавливая их к измене Государю.

В период террора и экспроприаций 1905–1909 годов разворачивается перед современниками дикая картина убийств и грабежей, техника и организация которых достигают большой виртуозности. Грабят открыто среди дня банки, пишут угрожающие письма с вымогательством, и если вождения грабителей не осуществляются, убивают лиц не согласившихся на добровольный выкуп. Фанатичные, зараженные психозом убийств интеллигентные девушки выступают в роли палачей, а Савенков с его друзьями посылают на смерть и убийц и их жертвы.

Общею чертою всех экспроприаций является то, что ограбленные суммы не доходят до их идеологического назначения, а разбираются главарями по своим карманам. Нельзя отрицать, что в этих грабежах и массакрациях наряду с крайнею жестокостью проявлялось и террористическое творчество, навсегда зафиксировавшее имена таких деятелей, как Сталин, Пилсудский, Азеф, Савенков.

Два таких эпизода прошли и через мой психофильм непосредственно. Их красочными героями были люди, вся рельефность которых обрисовалась только через десятки лет, когда бандиты стали начальниками государств и повели народы, во главе которых они стали, к гибели.

В 1909 году я был экспертом в военно-окружном суде в Вильно, где разбиралось дело об ограблении почтового поезда на станции Безданы, совершенном польской революционной партией П. П. С. Во главе этой партии стоял Пилсудский, который когда-то был моим товарищем по медицинскому факультету Харьковского университета. Втайне лелея чисто польские националистические и сепаратические тенденции, он шел в своей революционной деятельности против России с русскими эсерами и морочил добродушных русаков, подготавливая их Родине разгром с потерей западных окраин. Польская социалистическая партия, которою он руководил вместе со своими будущими сотрудниками по созданию польской державы, была чрезвычайно свирепою и нашла удобным выбрать за поле для своей деятельности русские области.

Роковою для Пилсудского экспроприацией был акт ограбления транспорта денег государственного банка на Фонарном переулке в Петербурге. Эта экспроприация была хорошо задумана и оплачена обильно кровью многочисленных жертв. Пилсудский ловко увез награбленное, и, как сообщил мне бывший тогда прокурором мой коллега, все деньги были разобраны по карманам, и в кассу партии попали крохи. Но Пилсудский в числе прочих был схвачен и арестован. Его изворотливость и криминальное творчество помогли ему избегнуть судьбы его товарищей, которые были по приговору военно-полевого суда казнены. Он стал симулировать сумасшествие, а императорское правительство было не-

дальновидно, допуская мысль, что столь ловко задуманную операцию разбоя могли совершить сумасшедшие. Чувство законности было еще так велико, что душевная болезнь считалась условием невменяемости даже для бандитов Фонарного переулка!

Пилсудский очутился в больнице Николая Чудотворца на испытании. Во главе больницы стоял поляк доктор Чечотт, и значительная часть администрации была польская. В ближайшие дни после заключения там Пилсудского поступает в больницу в качестве сверхштатного ординатора молодой врач Мазуркевич, которому скоро надлежало доказать свои психиатрические способности. Первые два его дежурства проходят благополучно, а на третий раз он, по праву дежурного врача, входит в камеру Пилсудского, выводит его из больницы, отправляет на специально ожидающий пароход, и Пилсудский бежит за границу.

Как воздаяние за этот подвиг и ныне еще Мазуркевич занимает кафедру психиатрии в Варшаве...

Вся безданская экспроприация была задумана Пилсудским и его товарищами, будущими государственными деятелями послереволюционной Польши. На скамье подсудимых было пять человек, из которых один, Славек-Свирский, симулировал по примеру Пилсудского сумасшествие. Темным вечером на станции Безданы был оцеплен вокзал, принят поезд, убит жандарм, взорваны бомбы и ограблен почтовый вагон. Бандиты скрылись. Через два дня жандарм, обходивший вагоны под Вильно, чутьем узнал в молодой некрасивой женщине фанатического типа бомбистку и арестовал ее и спутников, в том числе и Свирского. У женщины под юбками оказались бомбы, и они не взорвались только благодаря находчивости жандарма, а может, и потому, что в решительную минуту у нее не хватило духу это сделать. На суде передо мною развернулась дикая фанатическая картина ненависти и алчных инстинктов грабежа этой страшной партии. Защитником подсудимых был известный варшавский адвокат Патек, будущий польский посол в Москве. Это был человек очень интересный, образованный, внешне культурный, друг Пилсудского, о чем, конечно, тогда мы не имели представления.



В долгие дни процесса я часто сидел с Патеком за ужином в Георгиевской гостинице, и он однажды озадачил меня вопросом: «А почему бы вам не вступить в масоны?» Этот вопрос был в те времена довольно естествен, потому что, как общественный деятель и врач, я пользовался в Вильно большою популярностью, а Патек представлял себе, что интеллигентный человек не мог быть черносотенцем. К тому же я был в числе других экспертов, из которых Баженов был очень левым и хорошо был знаком с Патеком. Я с изумлением ответил, что совершенно не знаю, что такое масоны. Патек сказал: «А это вот что: в 1905 году мы проиграли революцию потому, что не было твердой руководящей силы, а в будущей революции руководящую роль возьмем мы – масоны».

Сам Пилсудский прошел в этом процессе заочно, так как захватить его не удалось.

Впоследствии, когда Пилсудский уже был маршалом и главой польского государства, была напечатана книга с подробным описанием подвигов шайки Пилсудского в Безданах. И только потом, когда Пилсудскому указали, что теперь хвастаться такими подвигами не следует, – книга была изъята.

О Патеке потом я слышал, что он был назначен в Америку, а дальше его следы в моем психофильме теряются.

В первый период власти Столыпина он энергично продолжал дело Дурново по борьбе с революцией. Учреждение военно-полевых судов решило борьбу с убийствами и экспроприациями в пользу правительства. Но эта мера возбудила и страшную ненависть революционеров против Столыпина и определила ряд покушений на него. Либеральная интеллигенция, втайне радовавшаяся прекращению революционной вакханалии, оставалась верной себе и создала легенду о «столыпинских галстуках» (под этим разумелась смертная казнь через повешение), а повесть впоследствии раскаявшегося левого писателя Леонида Андреева «О семи повешенных» смаковалась интеллигенцией и трогала сердца чувствительных курсисток. Станным образом женские высшие заведения сделались очагами революции и террористического фанатизма.

По своей природе женщины были легко внушаемы и легко впадали в революционную экзальтацию, поддаваясь психической заразе.

После убийства Столыпина на пост премьера вступает бесцветный и неопределенный как по идеологии, так и по тактике министр Коковцов, впоследствии также награжденный Императором титулом графа и так же, как и Витте, написавший замечательные по своей безнравственности мемуары. Он держится осторожно, нерешительно, остерегаясь правых и не решаясь опереться на левых. Делами себя не проявил.

Прошедший хорошую школу ученик и сотрудник Витте, Коковцов был хорошим техническим министром финансов. Он фактически не сделал ничего дурного и потому совершенно непонятно его безобразное отношение в мемуарах к Государю, а впоследствии его недостойное поведение в эмиграции, где он у порога гроба примыкает к левой идеологии и деятелям. Коковцов в своей личной ненависти к облагодетельствовавшему его Государю договаривается до того, что утверждает о душевной ненормальности Царя. До такой глупости и низости не доходили в своей злобе ни один из ренегатов и даже большевики. Коковцов никогда не был обижен, а наоборот, не по заслугам возвеличен. Он также претендует на верховную власть и выражает злобу на Царя за то, что Он иногда поступал вопреки его соображениям.

Весь период от смерти Столыпина до начала войны и самый период войны характеризуется будированием левых элементов против Государя и созданием антидинастических легенд. Центром этого злословия является распутииада, на мотив которой и разыгрывается предреволюционная симфония. Это был повальный бред больного русского общества, подогреваемый мерзавцами, агитирующими против Царя. Это явление совершенно тождественно с легендой бриллиантового ожерелья Марии-Антуанетты как увертюрой Французской революции. Оно особенно разжигается личными ненавистниками и интеллектуальными убийцами императора Гучковым и Милюковым. Сущность распутииады весьма проста. Ввели во дворец Распутина высшие духовные лица с архиепископом Феофаном во главе, проникнутым несколько мистикою, и усмо-

тревние в Распутине – несомненно человеке оригинальном, самобытном и умном – столь распространенный в истории Святой Руси тип мистика-старца, даже полуюродивого. По русскому исторически религиозному мировоззрению устами таких старцев-полупрофетов глаголет истина. И искони веков на Руси такие полумонахи, которым приписывалась способность откровения и пророчества, допускались к русскому Царю. Уже потом высшие представители духовенства будто бы раскусили Распутина и отказались от него. Но Распутин стал вхож во дворец и приблизился к Императрице по совсем особенному случаю. Он обладал, во-первых, несомненным даром предвидения, был настоящим мистиком, а во-вторых, обладал изумительной способностью активного внушения чисто гипнотического типа. И остается историческим фактом, стоящим вне всякого сомнения, что один Распутин мог останавливать кровотечения у Наследника, страдавшего гемофилией тогда, когда лучшие представители медицины оказались бессильными. При этом свое внушение Распутин обставлял формой молитвы и религиозной мистики. Естественно, что мистически настроенная Императрица, бывшая женщиной замечательных и высоких качеств и идеальной матерью, не могла не видеть в этом воздействии на Наследника Престола и сына Перст Божий. Отсюда понятно ее отношение и привязанность к Распутину, который сумел взять древнерусский тон монаха, не боящегося царицы-матушки и режущего ей правду. Распутин был из народа, и в отношении к нему отражалось как бы символически общение Царя с народом. Зарегистрировано несколько получудесных случаев воздействия Распутина на болезнь Наследника, которые я слышал от компетентных медицинских авторитетов.

Мне рассказывало лицо совершенно осведомленное случай, когда Распутин по настоянию разных сфер был временно удален от дворца и когда он предсказал, что не отъедет и нескольких станций, как будет возвращен обратно. Распутин уехал, и в то же утро Государь, въехавший на автомобиле во двор в Ливадии, едва не раздавил попавшего под колеса Наследника. Распутин был сейчас же возвращен. Конечно, констатировано исключительное отношение Императрицы к Распути-

ну: иным и не могло быть отношение матери-царицы к единственному спасителю сына-наследника.

Во всей истории распутиниады нет ни одного указания на близость к Распутину Императора, который не мог не признать благотворного влияния старца на болезнь сына.

Во дворце Распутин вел себя вполне пристойно. Его возненавидели, как придворная челядь всегда ненавидит всякое лицо, чрезмерно приближающееся к Царской семье. В нем видели проявление русской мужицкой мудрости, и факты изумительно подтвердили его пророчества. Исторически констатировано, что Распутин предсказал гибель России и Династии после его смерти и изрек никакими научными доводами не объяснимое пророчество, что Царская семья проедет мимо его дома.

В связи с приближением Распутина как «старца» ко дворцу пошли всевозможные легенды, клеветы и инсинуации. Общественное мнение муссировало и смаковало нелепый вздор чуть ли не о связи с ним Императрицы и царских дочерей. Козлом отпущения явилась фрейлина Вырубова, личный друг Императрицы, и вся Россия не сомневалась в том, что она любовница Распутина. Революция впоследствии цинично потребовала ее медицинского освидетельствования, не сомневаясь, что оно даст посрамление «распутницы» и докажет факт ее связи с Распутиным. Освидетельствование дало неожиданный результат: Вырубова оказалась девственницей. Но и это, конечно, не разубедило впавшее в безумие общество.

Распутину ставили в вину, во-первых, его влияние на Царя, на государственные дела и на назначение министров. Это совершенная чепуха, ибо кроме того, что ему такое влияние приписывалось, никаких фактов не имеется. А те имена, которые связывали с протекцией Распутина, как Штюрмера, Добровольского и Протопопова, были имена людей, вполне соответствующих своему назначению, хотя и неугодных разъяренной революционной толпе. Правда, отмечено заискивание и аристократии, и сановников перед Распутиным, вхожим во дворец и, по легендам, близким к Царской семье. Но это срам не Распутина, а

уже разлагавшихся высших сфер и придворной камарильи. Передавали, что Распутин иногда писал министрам безграмотные и фамильярные записочки с просьбой о протекции. Но не было констатировано случая, чтобы было сделано хоть одно назначение лица, не имевшего прав и стажа, как это потом стало обыкновением во время революции. И здесь мы имеем обычное холопство, наблюдающееся во все времена и во всех сферах, заискивание челяди перед сильными мира и теми, кто считается к ним приближенным.

Что касается мнимого вмешательства в дела государства, то Распутину приписывается, с одной стороны, одобрение правых и патриотически работающих министров и государственных деятелей, а с другой стороны, идея сближения с немцами и сепаратного мира. Ну что же? Это показывает только мудрость русского мужика вопреки глупости русской интеллигенции. Если бы идея Распутина о сближении с немцами восторжествовала, Россия не была бы предана послами союзных держав, вошедших в заговор против Царя, и не упала бы на дно. Союзники не поделили бы ее территории созданием лимитрофных государств. Поддержка же правых течений, стоящих в связи с историческими тенденциями России, не большое преступление и показывает здравый смысл русского мужика.

Последняя сторона – это распутство Распутина. Психопатология давно уже установила близость сексуализма с религиозной мистикой. Секты хлыстовствующих, оргии древних славян, скопища проституток при древних храмах различных культов ведь представляют собою научный факт. Я ничуть не склонен опровергать повышенный и, если хотите, разнузданный сексуализм Распутина. Он даже вяжется с его личностью. Но при чем же здесь Императрица и русский Царь? Разве на кухне буржуазного дома не распутничает прислуга? И разве при всех дворах мира аристократия высшего ранга не блудничает, иногда даже не соблюдая приличных форм?

Говорят, что Распутин блудничал со светскими дамами. Тем хуже для этой дряни, которая отдавалась русскому мужику только потому, что

он был вхож к царице. Но и тут огромный процент рассказов представляется вымыслом. Мне пришлось исследовать одну из так называемых «богородиц» Распутина, о которой кричала вся Россия, госпожу Л. Это была в высокой степени мистическая и интеллигентная женщина психопатического типа. От нее я слышал всю исповедь, как врач-психиатр, и оказалось, что я имел дело с сексуальным мистическим эквивалентом, в котором не было ни следа полового блуда.

Рассказывали, и до сих пор этому вздору верят, что Распутин с княгинями ездил в бани и там они будто бы голые и его голого хлестали вениками. Хороши русские княгини. Конечно, ни один такой факт не констатирован, да и едва ли он имел место.

Если сановники заискивали перед Распутиным – тем хуже для них. Если аристократки отдавались Распутину – срам им, а не Распутину, ибо никому нет дела до личной закулисной половой жизни старца.

Наконец говорят, что Распутин пьянствовал. Верю и не вижу в этом ничего невероятного. Разбалованный и развращенный вырождающейся аристократией, которая сама об этом потом кричала, он любил тонкие вина, красивых женщин. Был фамильярным хамом с тем, кто это допускал. Но нигде нет указаний на фамильярное его поведение с Царицей.

Хам знал, что можно и чего нельзя.

И все это не мешало Распутину быть умным мужиком и смотреть на русское дело честными глазами. То, что говорил Распутин о немцах и революции, было только мудро, и если только такие советы русский мужик давал русскому Царю, то винить его не за что. Судьба приблизила русского мужика к Престолу, и об этом кричала «караул» вся интеллигентная Россия. А когда потом простой полуграмотный крестьянин Калинин на протяжении десятилетий был президентом Российской Республики, а мой бывший фельдшер из разбитных солдатиков Любченко был председателем Украинской Республики – это почиталось в порядке вещей, и никто не возражал ни слова.

Если распутиниада и есть срам, то она срам только для русской аристократии и общества, показывающий их лакейскую природу. А для го-

сударственных воззрений Распутина в смысле русского исторического патриотизма и отношения к немцам это есть лишь свидетельство здравого смысла русского мужика.

Распутина несомненно мешали в интриги и пользовались его именем. Но характерно, что в мемуарах двух ренегатов-сановников, бывших премьер-министров Витте и Коковцова, этих новоиспеченных графов, пасквильничающих на своего Царя, нет ни одного факта, который мог бы указывать на вмешательство Распутина в государственные дела.

Вся распутиниада, таким образом, является плодом большого воображения предреволюционного общества и не имеет под собою реального основания. Как современник, слышавший в свое время много о Распутине из высоких кругов, я могу только сказать, что, не касаясь его блуда с аристократками и пьянства, я вполне разделял его взгляды на грядущую революцию и на войну с германцами. Считаю Распутина очень оригинальной, сильной натурой, пронизанною чисто русским духом и несущою на себе все душевные диссонансы великого народа, к которому и я имею честь принадлежать.

Ненависть к Распутину была повальная в общественном мнении аристократии, высших слоев интеллигенции, и все кричали о «подлом» старце. Между тем нет ни одного факта, который бы иллюстрировал «подлость» Распутина. Если бы даже признать все его выходки, ему приписываемые, фактом, то и в них подлого ничего нет. Распутство же, любовь к вину и к прекрасным доступным женщинам высшего круга было свойством тех кругов, которые в чаянии благ от будто бы приближенного ко двору старца совращали его на кутежи и забавы с аристократками. Усматривали подлость Распутина в его уклоне в сторону заключения мира с немцами. Теперь, когда настоящее подлое поведение союзников стало историческим фактом, едва ли можно назвать путь, которому симпатизировал Распутин по отношению к России, подлым. Я и тогда не раз говорил, что надо повернуть фронт, войти в союз с немцами и сбросить союзников в море: в этом было спасение России.

В то время как Милюков и его единомышленники кричали о подлости Распутина, сами они совершали деяния, для которых едва ли можно подыскать более мягкий термин. Ковался заговор свержения Царя, и в числе главарей заговора был английский посол Бьюкенен. В январе 1917 года («Крестный путь» Винберга, стр. 169) в Петроград прибыла союзная комиссия в лице представителей Англии, Франции и Италии. После совещания с Гучковым, Львовым, Родзянко, генералом Поливановым, Сазоновым, английским послом Бьюкененом, Милюковым и другими лицами эта миссия представила Государю требование следующего рода: «1) Введение в штаб Верховного главнокомандующего союзных представителей с правом решающего голоса; 2) обновление командного состава всех армий по указаниям держав Согласия; 3) введение конституции с ответственным министерством».

Государь с присущею ему мудростью, достоинством и спокойствием положил на этом требовании следующие резолюции: «Излишне введение союзных представителей, ибо Своих представителей в союзные армии с правом решающего голоса вводить не предполагаю». По второму пункту: «Тоже излишне. Мои армии сражаются с бóльшим успехом, чем армии Моих союзников». По третьему пункту: «Акт внутреннего управления подлежит усмотрению Монарха и не требует указания союзников».

Ответ, достойный русского Царя.

И вот в то время, когда вырождающаяся аристократия кричит о подлости Распутина, ее представители совершают самое подлое убийство, которое только можно задумать: пренебрегая всеми традициями морали и гостеприимства, они подло завлекают в ловушку старца и, неумело, жестоко, сами себя обезопасив, травят Распутина, затем в него стреляет впавший в революционное помрачение Пуришкевич. Вся картина убийства такова, какую криминалисты привыкли видеть лишь на глубоком дне берлог падших людей. Этого мало. Они не имеют смелости открыто признать убийство и, отвезя труп и выбросив



его в прорубь Невы, отрекаются от преступления. И только потом хвастливо и бесстыдно признаются в содеянном и смакуют, как они добивали старца.

Надо действительно сжечь все моральные предрассудки, чтобы описывать совершенное ими убийство и им хвастаться. А через несколько лет князь Юсупов, который мотивировал свое преступление защитой морали, сам, по известиям мировой прессы, в эмиграции судится за аморальный поступок в духе настоящей распутниады.

Если сопоставить деятельность Распутина и его убийц, едва ли надо говорить о том, куда перетянут весы подлости, как ее понимает цивилизованное общество.

Едва ли кто знает о дальнейшей судьбе останков Распутина. В дни «власти тьмы» разъяренная и подстрекаемая агитаторами толпа отыскала могилу старца, вырыла труп и приволокла его из Царского Села в Новую Деревню. Здесь, надругавшись над трупом, как обычно это делает разъяренная и садистически разнузданная толпа, она разложила костер, сожгла останки Распутина, а затем, зарядив пеплом пушку, выстрелом рассеяла его над Русскою землею.

Создание предреволюционных легенд с обвинениями монарха и династии есть закономерный симптом революционного психоза. Эти легенды создает само общество, подстрекаемое агитаторами. Сначала сами не верят тому, что говорят, а потом уже сами убеждены в непреклонной истине этих утверждений.

Отношение к Государю русского общества в это подлое время было отрицательное, презрительное, а затем сменилось ненавистью. Сам Государь оставался благородно выдержанным. И Он и Императрица отлично оценивали людей и положение. Царь понимал тяготевший над ним рок и невозможность подавления безумия, охватившего Россию.

Правых министров и деятелей травят, и пресса стирает их с лица земли. Чиновники заражены и обессилены и начинают, побуждаемые инстинктом самосохранения, подлаживаться к Думе. Наконец Милюков в Думе зажигает факел революции.

Все это мы видели и пережили. Я, как и огромное большинство русских, ненавидел этот предреволюционный период, но бороться с ним было невозможно, ибо настроения были стихийны. Столыпин обессилил правые течения, от которых власть отвернулась. Газеты и литература сплошь были левыми и бредили. Клички черносотенца и мракобеса сыпались на всех непокорных революции. В небылицы верили как в факты. И в 1905 году, и в революции 1917 года мы видим одну и ту же картину: разрушение старого строя императорской России либеральной интеллигенцией в тесном единении с еврейством.

На пошатнувшийся государственный аппарат набрасывается революционное подполье и под флагом социалистических партий убивают и грабят бандиты, потом преобразующиеся в титанов революции. Революция 1917 года была неизбежна. Мы снова видим революционное гнездо, на этот раз уже не в подполье, а в сердце государственного механизма. Мы видим две первые безумные и подлые Государственные думы, «праздно болтающие и обагряющие руки в крови». Волнуются народные массы, подстрекаемые помещичьими сыновьями, демонстрируют курсистки, убивают жандармов и городских.

Начинается игра в парламент, выступают на сцену новые претенденты на Бисмарка в роли новоиспеченных председателей Совета министров, претендующих на власть самодержца. Появляются новые чиновники, насаждаемые Столыпиным и не знающие, кого слушать. Центр разрушения сосредоточивается в государственной говорильне. Старые баре со всеми достоинствами и пороками своей среды соблазняются плодом революционной Евы.

Подполье терпеливо выжидало, пока либералы во главе с земцами и общественными деятелями в симбиозе с еврейством не подготовят почвы. Все лавры разрушения России выпадают на долю либеральной интеллигенции, а лавры Февральского переворота – на долю изменников-генералов и думских заговорщиков.

Большевики пришли уже на готовое и, как могильные черви, набросились на труп Великой России. Тщетно ищем мы в аккорде

разрушителей-большевиков: они сидят себе в эмиграции и пережевывают марксистскую жвачку, проделывая лишь иногда охотничьи экскурсии в Россию в погоне за сановниками. Эсеровским эмигрантам принадлежит заслуга внушения Западной Европе легенд об ужасах царского самодержавия.

На этой почве готовится самый подлый акт предательства в ставке, руководимый думскими деятелями во главе с президиумом и членом Думы Гучковым. Армия вступила в Мировую войну уже реорганизованной после японской войны: на поле сражения враг ее не победил.

В стенах же Думы готовился военный заговор, кристаллизовавшийся вокруг Гучкова. Следствием этого заговора является измена командного состава в лице генералов – Алексеева, Брусилова, Рузского и других и всех почти главнокомандующих фронтами.

В ореоле славы и исполненного долга вошли в историю все генералы Отечественной войны 1812 года. Во мраке срама, заклеянные изменою, сходят со страниц истории высшие командиры непобежденной русской Императорской армии Великой войны, в ставке предающие своего Царя, а на чужбине впоследствии отрекшиеся от лозунгов Императорской армии и упразднившие народный гимн.

Много преступных и мрачных фигур проходит перед нами на киноматографической ленте февральских дней. Можно, конечно, говорить о повальном бреде, их захватившем, можно допустить, что они не ведали того, что творили, но дело совершено и прошлого не вернуть. Тлетворное дыхание Государственной думы коснулось армии. Нить заговора через офицеров Генерального штаба новой формации потянулась в ставку, а генерал Поливанов в министерстве подводил под армию мину будущего приказа № 1.

Психологическая драма измены в Ставке уже раскрыта историей. Правда, грязные дела всех ее героев еще не полностью выведены на свет Божий, но зато каждый шаг, жест и слово Государя известны до мельчайших подробностей. И как велик светлый образ русского Царя на фоне измены и подлости этих дней!

Замолчана роковая роль в гибели России ее союзников – Франции и Англии. Ее послы принимают участие в заговоре. Потом поочередно предают Белое движение, а Версальским миром делят Россию, отрезая ее западные окраины и устраивая цепь лимитрофных государств. Это враждебное по отношению к русским народу и державе отношение наблюдается на всем протяжении послевоенной жизни Европы и кладет глубокую пропасть между русским народом и Западной Европой, которая впоследствии породит новые грозные события в жизни народов.

В ставке подсиживали Царя ныне благоденствующие офицеры Генерального штаба, уже тогда бывшие членами революционных организаций и заговорщиками, но все это делали не большевики, и последние неповинны ни в свержении Императора, ни в провозглашении революции. Они опять сидели в эмиграции и склоняли Маркса на все лады.

Две самые позорные для России картины последних дней Империи обрисовываются в воспоминаниях современника с ужасающей яркостью. Это вторжение в вагон Государя двух членов Думы – Гучкова и Шульгина – с требованием отречения.

Не дрогнул Император и в этот жуткий час: «Если это надо для блага России...» – сказал он и подписал.

Вторая картина: прощание Царя в Ставке с его ближайшими сотрудниками. Генерал-адъютанты уже сорвали с погонов вензеля: ни одного порядочного человека среди присутствующих. Ни один холоп не вышел из рядов гнусной толпы и не стал рядом с Государем, чтобы идти с ним на Голгофу. Да, если бы императорский конвой помнил свою присягу – не пришлось бы русским эмигрантам спуститься на дно жизни и в наивном ослеплении спрашивать, почему Царь не приказал расстрелять двух мерзавцев, вызвавших всю эту катастрофу.

На дне неисчерпаемой бездны, порока и низости, когда вся Россия бредила о «слабом Николашке», великий русский Царь, полный ума и твердой воли, сказал: «Нет той жертвы, которой Я не принес бы во имя горячо любимой Мною России». Под гнусный крик «Распни его!» развеяли прах Царя-героя по ветру революции и замели следы царственных могил.

Первый акт разрушения России выполнен без участия большевиков и даже эсеров. Мы видим всю массу русской интеллигенции в роли тарана, пробивающего брешь в старом строе. Мы видим плеяду русских князей, генералов, бар, людей свободных профессий, вьющих заговор, подготовляющих екатеринбургскую трагедию. Мы видим отрекающихся, изменяющих, предающих – и притом людей, считающихся культурными. Не видим мы только русского народа, как деятеля этой вакханалии. Он – эта серая скотинка – правда, скоро стал резать, как скот, своих офицеров на покидаемом фронте. Он, внимая истерическим воплям Керенского, стал дезертировать, чтобы идти делить земли в свои губернии. Но это уже дополнительные аккорды к вступлению, сделанному не им.

Когда обессиленная, распятая героями Февраля Россия уже безжизненным трупом распласталась по шестой части земного простора, поползли могильные черви и, как черные вороны, набросились на нее выродки рода человеческого в союзе с жидовою, чтобы растерзать труп Императорской России.

Совершенно невозможно умолчать о той роли, которую сыграло в гибели России еврейство, но надо быть и справедливым: они ведь всегда были врагами России. На Парижской выставке в еврейском павильоне перед всем миром хвастливо был выставлен перечень того, что дали евреи миру, – перечень их убийств и заслуг по свержению самодержавия в России!

Величайшими преступниками свержения Империи являются Родзянко и Алексеев. И Россия, если она когда-нибудь возродится, никогда не простит им. Кто арестовывал Царя? – Его ближайший сотрудник, доверенный начальник штаба генерал Алексеев. Кто арестовал Царскую семью? – Генерал Корнилов. Кто посылает Царя в ссылку, предвешая екатеринбургское убийство? – Милуков, Керенский, Львов. Кто они – большевики?

Скоро, очень скоро меч возмездия уже будет занесен над головами виновных. Тот же Алексеев раскается и попытается загладить зло, им причиненное, формируя Добровольческую армию, но будет слишком поздно.

В дни ужаса и срама, когда вырождались человечество и еврейство убивали в подвале Ипатьевского дома русского Царя, в том же Екатеринбурге в полном составе при вооружении и пулеметах находилась Академия Генерального штаба с генералами Андогским и Иностранцевым. Почему же эти изменники не выполнили своего долга?

Приказ об аресте Царя и Его Семьи был подписан Временным правительством во главе с князем Львовым. Подвезли Царственных Мучеников к месту казни – не большевики. Когда история сорвет маску с актеров революции, тогда, быть может, сумасшедшие большевики, охваченные бредом и фанатизмом ненависти, покажутся менее преступными, чем герои Временного правительства. Какой бред мог быть у Милюкова? Какой фанатизм, кроме честолюбия клоуна, мог охватывать Керенского? Какая ненависть могла царить в душе обласканных Царем и предавших Его генералов и побудить их препроводить на бойню Царскую семью?

Придет время, когда каждому воздастся по заслугам его и титул цареубийц будет прилеплен тому, кому его надлежит нести перед лицом истории. Большевики убили Царя физически, – герои Февральской революции убили и затоптали ногами целое царство с его традициями и моралью.

Но большевики расправились и с Февралем: они без счета убили в чрезвычайках деятелей февральской эпопеи, они забросали презрением героев Временного правительства, они с брезгливостью отвергли предложение услуг со стороны стремившихся к ним на службу царских генералов, поставив их в ряды спецов, и дальше передней революции их не пустили.

Позором и срамом покрыты последние дни великой России. Черная ночь спустилась над нашей Родиной.

Черные тучи заволакивают по-прежнему небо России.

Непроглядный мрак царит в душе русских людей. Весь мир поклоняется теперь могилам «неизвестного солдата». Но неизвестна только одна могила – могила русского Императора, главнокомандующего всеми русскими войсками во время Великой войны. Только когда рассеется

безумие русского народа, прошлое предстанет грядущим поколениям в настоящих тонах, тогда во всей своей красе обрисуетя облик Царя-героя, который один на фоне страстей и безумия останется чистым, незапятнанным, непоколебимо твердым в своем служении России и долгу.

В чистых красках обрисуетя тогда и настоящая душа русского народа такую, какую она была до часа потрясения на длинном историческом пути. Отброшенные на много десятилетий назад русские люди рады будут возвратиться к тому сказочному прошлому, о котором они теперь вопят в своем безумии, что к старому возврата нет. Воплотится в образы старая русская сказка – о рыбаке и рыбке, о разбитом корыте, и в поте лица своего будет восстанавливать русский человек им разрушенное. Вызванный народной любовью из неведомой могилы образ русского Царя взглядом своих добрых, глубоких глаз призовет грядущие на смену поколения возвратиться не к порокам и безумию прошлого, а к былому величию и славе. Вернутся тогда доблестные воины к знаменам своих предков. Все молодое, новое возвратится к очагам своих отцов. Вспомнит тогда Россия митрополита Антония, чей голос одиноко звучал призывом к отрезвлению и который и на чужбине служил Русской Церкви, Царю и Родине. Православная Церковь благословит русский народ на путь старой славы.

Смыв с себя позор пережитого, оздоровившаяся Россия сплетет своему герою-Царю венок из слез и крови русского народа, и будут видеть потомки в образе Императора Николая II символ величия, славы и мощи России на страх врагам во веки веков.

### ГЛАВА III

#### Первый революционный смерч

Невозможно рассматривать русскую катастрофу вне связи с общим развитием идей и верований культурного мира, где в течение более чем века выкристаллизовывались идеи парламентаризма и республиканско-

го строя параллельно с развитием социал-демократических и коммунистических утопий. С другой стороны, забиравшая все больше силы идея самоопределения народов противопоставлялась империалистической идее объединения разноплеменных народов в большие государственные образования. Крайне напряженно чувствовался еврейский вопрос, а все интеллигентное общество культурных государств жаждало свободы и равенства граждан, не определяя границ этого достижения.

Нет следствия без причины. И русская революция, которую уже называют великою, имеет таковые. Многие вскрыет впоследствии история, но не та история, которую пишут современные политики и публицисты, а научная, обладающая достаточною объективностью и психологической компетентностью.

Подробно будут изучены исторические факты, рассеяны легенды и поверья, привившиеся в воспаленном мозгу заболевшего повальным безумием человеческого общества. Социальная психология установит, что по существу своему революция и острый слом исторически выработанного режима есть проявление повального психоза, тот тип умственных эпидемий, который представляет собой бич в жизни человечества, который разрушает государства и часто ведет народы к гибели.

Статистическое исследование покажет, что в историческом развитии благосостояние России быстро прогрессировало именно в последнее царствование и что причины слома главным образом были психологические. Росло народное богатство и сбережения, ширилось народное образование, и громадная, прекрасная страна, занимающая шестую часть суши, с хорошим и прочным государственным устройством, с определившимися нравами, обычаями и мирозерцанием, стоявшими в согласии с традициями предков, жила спокойно и счастливою жизнью.

Были ненормальности, пороки, столкновения различных течений и сил. Но как вопль о гнилости старого режима, так и радостный экстаз толпы, бредившей о «лучезарной, бескровной и великой» революции, одинаково будут сведены к болезненным проявлениям поваль-



ного психоза. Наука не воплотит в два модных слова *старый режим* только пороки и преступления, как это делает больная фантазия и общественное мнение нашего времени.

Великий и славный народ с широкою открытою душою, со сложными изгибами славянской психики, с добрым гостеприимным сердцем, дал из недр своих немало крупных сил и развил в последние полвека мировую литературу, науку и искусство. Он стал в уровень с народами передовых государств и имел свою несомненную цивилизацию и самобытную мораль, несколько подернутую христианским принципом непротивления злу.

В жизни государства не было застоя и гнили, о которых так широко вещали предреволюционные буревестники. Даже потрясения японской войны и первой революции прошли лишь по верхам интеллигенции и не изменили, несмотря на переход к парламентскому строю, устоев народной жизни. Жизнь народных масс стояла далеко от политики, хотя либеральные течения и демагогические тенденции стремились пребороть инерцию народных массе. Не будет парадоксом утверждать, что Императорская Россия была для граждан самую свободною страной в мире. Свобода была полная для всех, кто не работал нелегально над разрушением государственного строя.

Жизнь была демократична, а образцом доступности и простоты в домашней жизни и в общении со своими подданными были два последних Императора.

Вопреки крику либеральных демагогов взяточничество среди чиновничества в России было минимально. Полиция, деятельность которой я видел на протяжении своей работы в периоды народных бедствий на холерных и чумных эпидемиях, была образцова и не ниже западноевропейской. Администрация была вся с высшим образованием, воспитанная, и государственный аппарат работал с изумительной точностью. Чтобы разрушить его, революции потребовалось много времени, и надо было сместить большинство чиновников старого режима, заменив их новыми людьми. Как наследие крепостного права сохранилось враждеб-

ное отношение к землевладельцам и помещикам, деятельность которых давно была введена в правовые нормы.

Пропаганда революционных партий, сначала «Земли и воли», а затем «Народной воли» и «Черного передела», давно внушала лозунг «Земля – крестьянам», и этот лозунг стал краеугольным камнем революции. Настоящие революционеры были сплошь недоучками – сначала из семинаристов, а позже из студентов, покинувших университет.

Наблюдалось странное явление: Православная Церковь была оплотом государства Российского, а священников Русской Церкви ни в какой мере нельзя было причислить к левым элементам, ибо все левые были в лучшем случае равнодушны к религии. Между тем первыми революционными гнездами еще с шестидесятых годов были духовные семинарии, и много революционеров вышло и из семей священников. Громадную роль в подготовке революции сыграл класс людей свободных профессий: журналисты, адвокаты, врачи, инженеры. Составляя интеллигентный пролетариат и проповедуя предреволюционные истины, они были целиком заражены буржуазными тенденциями, и их слова полностью расходились с делом.

Революция готовилась под лозунгом негодности существующего порядка. При этом выступила очень характерная черта русского духа – это самоуничужение, как говорят, «паче гордости». Идеализировался Запад с его воображаемыми свободами и прелестями парламентского строя. Россия признавалась самими русскими отсталою. Революция стремилась сменить вековой строй на западноевропейский. Идея самоопределения народов получила чисто бредовое искажение. Российская империя, включавшая в свой состав около сотни разных народностей, прекрасно справлялась со своею задачей единения народов в одном государстве. Благодаря особым свойствам русского духа русская власть не угнетала народы, присоединяемые к России, и умела, сохранив национальные особенности племен, приобщить их к Империи. Вся аристократия побежденных народов была зачислена с сохранением титулов к аристократии Империи, и на руководящих

постах стояли люди инородческого происхождения. Только по отношению к двум народностям на окраинах были введены ограничения: по отношению к полякам и евреям. Причины этого лежали в сепаратических и враждебных к России тенденциях поляков и в притязании их на исконно русские земли. Вполне корректным, в согласии с договорами присоединения к России, было и отношение к Финляндии, со стороны которой также отношения не были дружескими. Большим, почти неразрешимым для России был вопрос еврейский. Населяя Западный край, они были ограничены чертою оседлости. По отношению к России евреи всегда были элементом враждебным и одухотворяющим революционные течения. Существовала и ненависть к евреям со стороны русского народа: кличка «жид» всегда была презрительною.

Много добрых начинаний было в фантазии либеральных реформаторов, и много надежд возлагалось на грядущую революцию в смысле организации земного рая.

Революция с первых дней насмеялась над этими мечтами, а действительность показала всю неосуществимость тех идей и принципов, во имя которых она была сделана.

Оздоровевшая от японского поражения Императорская армия в период, предшествовавший второй революции, подверглась тлетворному влиянию Гучкова и масонских сил. Целая плеяда генералов и офицеров Генерального штаба пошла по пути измены и вызвала свою изменою и предательством новый пожар революции; ближайший сотрудник Царя, генерал Алексеев, главнокомандующие фронтами и заговорщики Государственной думы с ее председателем Родзянко во главе изменили Царю.

Я не буду здесь описывать гнусное деяние в ставке и в Петрограде в мартовские дни 1917 года, ибо они прошли мимо моего психофильма.

Для нас, живших в это время в Киеве, а затем в период участия в белых армиях и долгие годы потом трагедия предательства Царя в Ставке и история заговора была неизвестна, так же как не было ясно лицо белых вождей. Мы идеализировали их как борцов с революцией, стремящихся

восстановить историческую Россию. Совершенно не представляли себе быховские вождения семи царских генералов, выработавших программу отречения от старого строя и предопределивших путь белого движения, разошедшийся с таковым Императорской России. Только через много лет нашим глазам открылись преступления Алексеева и Корнилова и их роль в гибели России. Тогда их деяния по организации Добровольческой армии казались рыцарскими и патриотическими. Конечно, уже с самого начала смущало присутствие в их окружении таких людей, как Бурцев, Савинков и Струве. Там, где были эти люди, не могло быть речи о спасении России. Даже убийца Гапона, эсер Рутенберг, очутился в окружении Деникина и играл роль в Одессе. А это приводило в недоумение людей хоть сколько-нибудь знакомых с их прежней деятельностью.

Многие предвидели революцию.

В один из коротких октябрьских дней 1916 года, уже под сумерки, я долго ходил в ожидании поезда у платформы вблизи моего госпиталя с моим коллегой, известным психиатром профессором В. Ф. Чижом. Мы говорили о тех веяниях, которые чувствовались всюду. Профессор Чиж был большим патриотом и любил Россию. Он не раз говорил мне: «Я боюсь вас слушать, ибо все, что вы говорите, осуществляется». Это не было удивительно, ибо психологический анализ событий ясно показывал полное отсутствие защитительных реакций и говорил нам о том, что мы идем к гибели. Разложение русского общества в конце 1916 года было полное, и государственный корабль несся в бездну.

Мы начали обсуждать будущее, и на какую-то мою реплику профессор Чиж вдруг резко остановился, ударил палкою о землю и обратился ко мне со словами:

– Фу, черт возьми! Так что же, Россия погибла?

Я сам был ошеломлен этим вопросом и, на минуту задумавшись, решительно ответил:

– Да, погибла.

– Ну а что будет, если разразится революция? – спросил профессор Чиж.

Я махнул рукою и буквально ответил:

– Я не хочу и думать об этом. Это будет резня и хаос, каких не видел мир.

Я помню, как приблизительно в 1908 году я попал в Вильно в кинематограф, где шел фильм «Севастопольская оборона», патриотического характера. Наблюдая публику, я ясно видел ее враждебное отношение к патриотическому характеру фильма. Я подумал тогда, что всем народам разрешено исповедовать патриотическое чувство, только русский человек должен скрывать его, чтобы не быть обвиненным в черносотенстве.

Другое роковое предвидение, которое я сам не умею объяснить, проявилось в моей психике в декабре 1914 года. Приехав с фронта, я очутился в большом русском обществе, где горячо обсуждалась весть об окружении нами под Лодзью двух германских корпусов. Надеялись на победу. Я сказал моему собеседнику:

– Не верю.

– А что же будет? – спросил он меня.

– Возьмите карандаш и запишите, – ответил я и продиктовал ему пять пунктов:

1. Константинополя нам не видать как своих ушей;
2. Все, что взяли в Галиции, отдадим обратно.
3. Варшава будет взята не позже марта (тут я ошибся на пять месяцев).

Четвертый пункт выпал из моей памяти.

5. Немцы сядут в курьерский поезд в Пскове и поедут в Севастополь.

Причудливую игрою случая эта записка попала в 1919 году в руки профессора А. Д. Киселева в Феодосии, когда Псков и Севастополь были оккупированы немцами. Собеседники удивились, как можно было предвидеть подобные события. А ключ к решению загадки был прост.

Боги революции уже всходили над горизонтом России, и помрачение старых кумиров было полное. Точно предвидели и предсказывали ход событий министры Дурново и Маклаков. Точно знал его и Государь, который не хотел объявлять безнадежную войну своему народу. Ника-

кой самодержец и никакой диктатор уже не мог спасти Россию и вылечить обезумевший народ.

Первые дни революции были самыми подлыми на протяжении всей русской катастрофы.

Мартовское солнце 1917 года посылало свои живительные лучи, пробуждая весеннюю природу, и ярким светом озаряло наступление предвкушаемого русскою интеллигенцией земного рая. Киев ликовал, купаясь в волнах этих лучей и приветствуя зарю новой жизни. Словно в светлый праздник, радостно сияли лица счастьем, громко справляя тризну по «ужасам царского самодержавия». Под звуки эсеровского гимна все отрекалось от старого мира и проклиняло свое прошлое. В своих светлых мечтах русская душа уносилась к обоготворяемому лучезарному образу «бескровной революции». Благорастворение воздушных очаровывало душу, и грезы о гигантских достижениях и всеобщем счастье заражали экстазом радости высыпавшие на улицы людские массы. Неистовым порывом рвалась душа русского человека из мрака прошлого к светлым идеалам будущего, и люди поздравляли друг друга, веря, что настал наконец тот желанный долгожданный день, когда осуществляются мечты борцов за свободу и должен кануть в Лету прошлого ненавистный старый режим произвола исправников и городских.

И он канул в прошлое – этот ненавистный старый порядок, создавший работою тысячелетия великую державу Российскую и ту мощь духовной культуры, которую позже, в унижениях эмиграции, не мог заплевать демократический мир гнилой Европы. Старый порядок пал, залитый кровью жандармов, городских, доблестнейших офицеров Императорской армии и с честью погибших сановников Империи.

Увы, февральские дни были последними днями русского величия и счастья. И долгие годы над пепелищем российского погрома правят пир те страшные силы, которые, скрываясь под масками и псевдонимами, едва ли когда-нибудь откроют истории свое настоящее лицо. И долгие годы потом остатки униженной и ограбленной, замученной в подвалах чека русской интеллигенции будут лепетать о «завоеваниях революции»

и не смогут расстаться с розовыми грезами об ускользнувшем мираже земного рая. Отрава, внедренная в душу русского интеллигента великим растлителем земли Русской, Львом Толстым, – отравка непротивления злу, – будет парализовать тень русского богатыря, выступавшего в былые времена на сцену жизни в години бедствий и полонения земли Русской ее врагами. И на закате своей печальной жизни русские изгнанники будут продолжать твердить о том, что «к старому возврата нет», что, быть может, «все образуется» и на развалинах великой России воцарится новая жизнь по трафарету современных демократий...

В первые дни новой жизни, когда русская душа парила в видениях рая, уже выползали из нор своих и мрачного подполья те силы революции, которые скосили жизнь, налаженную веками, и повергли русский народ в пучину бедствий. По всей России странно прозвучало выплывшее из недр небытия имя первого героя русской революции, до того никому не известное – имя Бубликова, – и резонансом на него на протяжении всей революции отдавалась революционная песенка «Бублички». Забавное мешалось с трагическим. Из каторжных тюрем Сибири и в одиночку, и шумными группами, восторженно приветствуемые сторонниками свободы, потянулись возвращающиеся убийцы и экспроприаторы. Обагранные кровью целых поколений героев русские знамена в величайшем сраме склонились к ногам ведьмы русской революции, полубезумной старухи Брешко-Брешковской, как некогда склонялись перед лицом Царей. Цвет русской интеллигенции приветствовал вселившихся в императорский дворец Керенского и Брешко-Брешковскую.

Уже носились по улицам облепленные товарищами дезертирами автомобили с направленными на еще не обнаруженного противника дулами своих ружей, а взбиравшиеся на тумбы и цеплявшиеся на фонарные столбы митинговые ораторы, пылая злобою, зывали к толпам, жаждающая крови.

Веселую бандою вышли из тюрем выпущенные Керенским уголовные преступники и сразу приступили к делу, работая «под революцию», придавая ей характерный колорит грабежа, разврата и убийств.

Родовитый русский барин, председатель Думы, «волею народа» приняв бразды правления, сформировал тот балаган, который под фирмою «Временного правительства» оповещал мир о том, как он «признал за благо» и как «быть по сему», копируя эти формулы от царской власти.

Едва ли мир видел более глупое и более невежественное правительство, чем эту коллегия, усевшуюся на министерские кресла, раньше занимавшиеся сановниками Императорской России. За шесть месяцев своего существования оно в корень разрушило государственный механизм и предало растерзанную и разрушенную Россию под власть большевиков, приступивших к своим безумным экспериментам и уничтожившим в подвалах чека остатки той интеллигенции, которая создала революцию. Напрасно впоследствии будут сваливать вину в гибели России на большевиков. Погубили Россию не они и даже не бесы революционного подполья, а глупая либеральная интеллигенция, так называемые общественные деятели левого толка, и изменившие генералы и сановники. Даже евреи, в последующие периоды революции и большевизма ставшие властителями СССР, играли в этом свержении режима только косвенную роль.

Князья, дворяне, чиновники, помещики смешались с разночинцами третьего элемента, и, предводимые фельдшерами и писарями, в бесчисленных комитетах принялись за разрушение России.

Жадно потянулись руки опьяненной свободой интеллигенции и общественных деятелей к министерским портфелям, и старая французская пословица «Освободи место, чтобы я его занял» воцарилась во всей ее циничности. Смещенных губернаторов старого режима заменили благодушные земцы для того, чтобы быть беспощадно сброшенными в свою очередь поднимающим голову третьим элементом, а затем гордо шагающим под звуки блоковской баллады о «двенадцати» к диктатуре пролетариата большевизмом.

Потом уже началось то страшное и настоящее, от которого интеллигент, завоевавший революцию, опомнился только в чрезвычайке или в изгнании, очутившись в тоге бывшего человека.



В Ставке Верховного главнокомандующего генералы Императорской армии предали своего Царя, и из уст русского Императора впервые русская революция услышала суровый приговор: «Кругом трусость, измена и предательство...»

Все отрекалось. Этот российский срам закреплен на фотографии, на которой воспроизведены стоящие навтыжку перед шутом революции Керенским царские генералы, командующие фронтами и армиями, в полной военной форме, при царских орденах. Историческая карикатура, воплотившаяся в действительность.

Посланные бесчисленными сформировавшимися партиями агитаторы развалили фронт. Славная, не побежденная врагом Императорская армия превращалась в банды разбойников и дезертиров. Руководимые фельдшерами и писарями, они резали офицеров, как скот, под речи подстрекавшего их главноуправляющего в украденной царской тоге главы армии. Керенский вносил отраву в окопы на поле сражения. Десятки тысяч разбойников покидали фронт и шли в Вятскую губернию делить землю, цинично заявляя, что «он до нашей деревни не дойдет».

Все еще охваченная экстазом интеллигенция одобряла отдачу земли крестьянам и, пожимая плечами, внимала вестям о погромах, видя в них «справедливое возмездие» и следствие «запоздалых реформ». Как и вятский мужик, она думала, что до них очередь не дойдет, и очень удивлялась, когда вслед за экспроприацией домов при обысках у нее стали отбирать последние рубашки. Большевики были логичны: раз собственности нет, то можно грабить не только помещиков. Все стало «дозволенным». Все стало «народным». Длинными вереницами шла прислуга сначала в милицейские участки, а затем в чрезвычайки, чтобы доносить на своих бывших господ. И все завершилось диким воплем: «Мир хижинам, война дворцам и смерть буржуям!»

Не было мира в хижинах, ни даже на кладбищах, где позже стали разрывать могилы и питаться человеческим мясом... Революция превратилась в сплошной порок, безумие и преступление. Страшная и разрушительная сила обезумевших толп вихрем неслась над всей страной

и превращала человека в зверя. Раствление духа началось в верхах русского общества и докатилось до низов.

В предреволюционный период председатель Думы Родзянко со своими верными соратниками Челноковым и Гучковым подготовляли заговор против Царя, а карьеристы Генерального штаба, сановники и генералы разыгрывали пасьянсы с деятелями Думы, чая от будущих властителей России богатых и щедрых милостей. Когда совершилось величайшее преступление в Ставке, опьяненная успехом революции интеллигенция умыла руки и в ослеплении кричала по адресу Царя: «Распни его!»

Отреклись ближайшие сотрудники Царя, изменили генералы Императорской армии, и началось то страшное и подлое, что скоро низвергло в бездну великую державу и обесславilo русский народ. Когда потом в течение десятилетий вырезали в чрезвычайках цвет русской интеллигенции и уничтожали вековые ценности, иностранная демократия в лице своих вождей цинично говорила о торговле с людоедами и о том, что деньги, смоченные русской кровью, дойдя до «культурной» Англии, теряют запах крови. Скупали краденое, и весь мир молчал, внимая ужасам чрезвычайцак. И русский народ в тяжелых страданиях нес возмездие за совершенное.

В дни февраля 1917 года надорвался дух человека, и редко кто не грешил против Царя и Родины. Одни искали кусочек счастья в новой жизни, сулившей рай, другие, обиженные, сводили счета с Империей. А когда разразилась настоящая буря, все одинаково погибли в подвалах чека или влачили свое горе в унижениях эмиграции. Люди, зажегшие пожар, – с душою зайца, – первые очутились в изгнании.

Проклятие Февраля уничтожило честь и славу русского имени.

Когда комитеты проникли в действующую армию и приказ № 1 окрестил ее гибель, быстро пошло ее разложение. Совершалось оно по законам дезорганизации коллектива. Здесь не нужна была уже никакая революционная идеология, никакая весна Святополк-Мирского и никакие поучения Ленина. Все разрушалось само собою, стихийно

и неудержимо. Однако, чтобы дезорганизовать всю Россию, потребовался длинный ряд глупейших мер Временного правительства с клоуном революции Керенским во главе. Надо было уничтожить полицию и ненавистных революционерам жандармов. Убивали и резали всех деятелей старого режима, жгли здания, особенно архивы окружных судов, чтобы замести следы прежних преступлений.

Надо было запаскудить все то, чему на протяжении веков поклонялись предки.

Начало революции было самым мрачным и гнусным по своей преступности и аморальности. Всюду царили ложь, лицемерие, подделывались под новые течения. И вместе с тем в тайниках души царил животный страх перед расправою за прошлое. А главным грехом прошлого была безупречная служба свергнутому режиму.

Слом был силен и неожидан. Хаос наступил почти сразу. Однако помнили еще провал революции 1905 года, и иногда в разрушении проглядывали тревога и осторожность. Настоящий народ еще выжидал, и долго пришлось поработать курсисткам и студентам, пошедшим в народ, чтобы научить его резать поджилки породистому скоту и поджигать усадьбы. Революция шла не снизу, а с верхов. Десятки тысяч юношей-студентов и пламенные курсистки бросились в народ, чтобы его просветить и научить убийствам и грабежу. Это были сыновья и дочери интеллигентов, чиновников и даже помещиков. Политические убийцы, вызванные Керенским из Сибири, потянулись к власти и заняли высшие посты в государстве. Уголовные преступники грабили и заражали своим примером массы. Чернов в царском дворце крал статуэтку со стола Государя, а Вера Фигнер перед зеркалом примеряла платье уже обреченной на казнь Императрицы. Керенский лживо объявил отмену смертной казни. Чернь вступала в свои права.

Журналисты и писатели, охваченные экстазом и жадностью, восторгались революцией и умудрились провозгласить ее «лучезарною и бескровною», в то время когда Русская земля уже заливалась кровью. Сотрудник «Нового времени» грабил редактора и собственника газеты.

Комитеты служащих и кухарок забирали в свои руки предприятия, а домовые комитеты узурпировали права домовладельцев. Рядом с глупостью развивались полное падение морали, ложь и подлость во всех видах. Особенно чувствительною на призыв революции оказалась молодежь, и очень скоро гегемонию в революции получило еврейство. Все гибло и валилось в бездну. Люди имели тенденцию к массовке, и всюду формировались толпы. Царила самая нелепая форма массовки – митинги. На перекрестках улиц, на площадях люди собирались в группы и митинговали. По импровизации лезли на возвышение демагоги и агитаторы и, брызжа слюною, вопили о гнилости старого режима, бесчестили Государя и кричали: «Долой!» Товарищи дезертиры, влившись в толпу, в шинелях нараспашку, луская семечки, глубокомысленно изрекали: «Правильно!» А уличные мальчишки, вскарабкавшись на заборы, радостно забавлялись невиданным зрелищем и вторили крику «долой!».

Пылали усадьбы. Матросы, покинув боевые корабли, составили «красу и гордость революции» и, перерезав и потопив своих офицеров, углубляли революцию. Ученик Психоневрологического института еврей Рошаль взбунтовал матросов Балтийского флота, а газеты воспевали революционные подвиги. Вся ненависть, раздуваемая еврейством, обратилась на Царя, которого презрительно величали «Николашкой».

Легковерие достигло невероятных размеров. Общественное мнение выкристаллизовалось в определенный набор фраз. Выработался особый революционный жаргон. Всюду повторялись одни и те же фразы, выдвигались те же лозунги. Славились выплывавшие на верхи революции марионетки. Говорились пламенные речи, состоявшие из набора фраз без мысли. И только в душе огромное большинство осмысленных и умных людей понимало всю фальшь маскарада, который ловкие мошенники стремились обратить в свою личную пользу.

Формировались партии. Приветствовали пресловутую четыреххвостку: прямая, всеобщая, равная и тайная подача голосов, обещающая отдать русский народ в руки еврейства. Как само временное правительство, так и весь состав новых чиновников был невежествен в смысле

специальных знаний и опыта. А хищники делали только свое дело, пользуясь общей разрухой. Никогда впоследствии, при большевиках, не проявлялось столько глупости; люди, всплывавшие на поверхность, были ничтожны, глупы, порочны, а главное, мелки. Творцы революции Алексеев и Родзянко были похоронены под развалинами старого режима.

Период Керенского был пробой на порядочность людей. Это время не выдвинуло ни одной крупной личности. Деятели старого режима сразу сошли со сцены, хотя систематическая расправа с ними наступила позже, при большевиках. Все идеалы революции не осуществились, уступив место инстинктам личной выгоды, честолюбию и наживе. Временное правительство, вторя реву толпы, ссылало уцелевших жандармов и городских на фронт, где их ждала участь их товарищей. Вне фронта толпа растерзала бывшего начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Янушкевича. Гибли без счета на фронте офицеры, а в тылу – администраторы, полиция, жандармы.

Люди перекрашивались с изумительной быстротой: оказывалось, что они с пеленок были революционерами и только по недоразумению работали на пользу самодержавного режима. Карьера делалась необыкновенно легко, достаточно было нескольких экспансивных речей, надо было ругнуть Царя и отречься от прошлого. Параллельно этим революционным убийствам быстро рос простой разбойнический бандитизм. С наступлением ночи уже нельзя было безопасно ходить по улицам: там открыто грабили.

Особенно безобразничали комитеты: рядом с чиновниками в учреждениях заседали кухарки. В университетах ученые степени присуждали наряду с профессорами студенты. Смаковалась выходка Керенского, который, в роли министра юстиции явившись в окружной суд, приветливо за руку поздоровался с курьерами и высокомерно-холодно обошелся с судьями.

Но непрочны были воздвигаемые кумиры. Они так же скоро свергались, как и воздвигались. Вчерашнего кумира толпа топтала ногами и издевалась над его памятью.

В первый период революции властвовала партия политических убийц и грабителей-эсеров. Но они были слишком нафанатизированы грабежом земли для крестьян и так одухотворены своею программой, что просмотрели грандиозный пожар всеуничтожения. Настоящие революционеры презирали либералов и применяли к ним правило Столыпина: «Мавр сделал свое дело и может уйти». Им было предоставлено только разрушение государственного порядка, что они блестяще и выполнили.

До Киева доходили смутные сведения о возникновении нового правящего органа в виде «совета рабочих и крестьянских депутатов» в Петербурге, который возник самочинно и работал параллельно с Временным правительством. Там кристаллизовались настоящие революционные силы и властвовали еврейские псевдонимы. Там организовались большевистские, а впоследствии коммунистические силы. Советы шли через разрушение старого мира к своим утопиям твердым и умным шагом, совершенно игнорируя и презирая Временное правительство. Они не хотели брать в свои руки власть преждевременно и ждали, пока помещики-земцы сами не выроют себе могилы и не разрушат аппарат власти.

Радостный экстаз первых дней революции длился недолго и сменился месяцами тревоги и смутных ожиданий. Поднимался страх – животный, жуткий страх. Люди, благополучно жившие при старом режиме, поняли, что исхода из созданного ими положения нет.

Физиогномика революции в высшей степени типична. Она охватывает ее внешние формы. Люди высыпают, особенно в солнечные дни, на улицы, которые декорируются красными тканями, дикими плакатами на лейтмотив «долгой!», заполняются процессиями и демонстрациями с господством толп. Люди нацепляют на себя красные банты. Товарищи солдаты, они же дезертиры с фронта, распродают казенное имущество. Шинели нараспашку, распоясанные, шапка набекрень, они лускают семечки, сплевывая шелуху на тротуары. Дерзкая нахальная мимика, вызывающий взгляд. Общая страсть к передвижению и в го-

роде и по железным дорогам. Трамваи облеплены висящими на них и прицепившимися на подножках солдатами. Уличная жизнь беспорядочна и безобразна. Полиция снята и заменена добровольной милицией, почему-то излюбленной студентами. Звание милиционера вдруг становится почетным.

Картина развала внешних форм жизни и душевного разлада грандиозна. Анализ ее труден даже для человека, хорошо знакомого с психологией и социологией. Легко сдувается весь налет внешних форм цивилизации, и быстро меняются сами люди. Удивительно, что делает из них стихия! Чтобы довести до агонии целый народ и мощное государство, потребовались не годы жестокого большевистского режима, а месяцы керенщины, одухотворенной глупостью, безволием и невежеством. Как дым рассеялись предреволюционные идеалы и мечты, остался только ужас и смятение. Сначала сменялись внешние формы жизни, затем разнудывалась психика, и только позже разрушался социальный и экономический строй жизни. Никто не понимал происходящего, и не было никакого предвидения. Люди старого режима, создавшие революцию, потеряли под собой почву, скрывали свои мысли и только ворчали про себя. Немногие скептики предугадывали гибель, борьба с которой была безнадежна.

Улицы в солнечные дни были запружены народом. По ним мчались грузовики с вооруженными до зубов товарищами, готовыми стрелять в врага, которого не было, ибо в те дни все контрреволюционные замыслы хоронились в тайниках души. Жесты были торопливы и выразительны. Лица выражали радость и возбуждение. Незнакомые люди заговаривали друг с другом и повторяли одни и те же фразы. Мало спорили, ибо в эти часы все струны людей звучали в унисон. Демагоги электризировали толпы, подстрекая их на единственно присущую им роль – разрушения и насилия. Раскаты речи, проникнутой ненавистью, приветствовали лучезарный облик свободы. С омерзением топтали все прежнее. Ораторов на митингах чествовали и выносили на руках. Толпе нужен был пафос, жесты, но не смысл слов. В резонанс рула-

дам оратора вторила толпа. Демагогов не надо было учить – они быстро схватывают, как надо льстить толпе и лгать, как надо разжигать ее гнев и натравливать на своих врагов. Кто был этот враг? Конечно, *старый режим!* Все *царское*. И здесь преобладала молодежь, которая впоследствии в эмиграции будет сваливать всю вину на старое поколение. Самыми исступленными ораторами были бывшие политические каторжники, взывавшие к мести. Им вторили евреи-мстители во главе с Троцким. Каторжники кричали о том, что свержение режима – их заслуга. И пели об ужасах царского самодержавия.

Толпа принимала всякого, кто хотел говорить, а что он говорил, было делом второстепенным. Лишь бы оно шло в тон толпе. Толпе нравилось, когда ее называли *народом*.

И, однако, в этих картинах не было ничего нового, ибо они стары как мир. Думая, что они действуют свободно, люди выполняли действия шаблонно, какими они были на протяжении веков в дни бунтов и погромов. В толпе было смешение всех возрастов, полов и званий.

Толпа не может жить без эмблем и символов. Срывались национальные флаги и топтались ногами царские портреты. Их заменяли красные ткани и портреты героев, кумиров революции.

Терпелись все национальные флаги, кроме русского. Толпа бросалась разоружать полицию и освобождать заключенных из тюрем. Типичной картиной того времени был самосуд. На уличный скандал, на задержание мелкого воришки как мухи на мед сбегались люди. Расправа была недолга: молчаливый бандит, товарищ с фронта, спокойно вынимал из кобуры наган и пристреливал воришку, а пораженная, на миг отрезвевшая толпа быстро разбежалась.

Орудие прогресса и культуры – автомобиль – стал эмблемой революции. Во время войны все автомобили реквизировались, и на них по городам катались офицеры штаба с сестрами милосердия. Теперь ими завладели товарищи, и они стремглав носились по улицам без всякого смысла. Раньше лихачи-извозчики катали золотую молодежь с кокотками. Теперь на шикарных краденых автомобилях катались размалеван-



ные матросы с покрашенными проститутками, которые находили выгодным отдаваться товарищам революции.

Слово «товарищ» слышалось всюду. Однажды на открытой сцене артист Соколовский, впоследствии героически погибший на баррикаде в Киеве в борьбе с большевиками, разъяснил его происхождение: «Товар ищи». И действительно, товарищи при обысках искали товар и грабили его.

Убивали офицеров. Между тем огромное число товарищей дезертиров сами себя произвели в офицерские чины и щеголяли в офицерских кокардах. Как бы в насмешку над царившей всюду грубостью люди говорили друг другу уравнильное *вы*, как во время Французской революции употреблялось уравнильное *ты*. Быстро стиралась военная выправка: солдат щеголял нахальным тоном и разнузданностью, а офицеры переодевались в штатское платье. Винтовку с товарищеским шиком носили дулом книзу.

Дворники во имя революционной свободы прекратили уборку улиц, и грязь росла с каждым днем. Дворники стали важными членами домашних комитетов и вселились в квартиры жильцов. Как и во все последующие периоды революции, базар был верным барометром революции. Когда положение было плохое, цены на продукты первой необходимости росли и достигали гомерических цифр. Деревня воевала с городом.

Бабы складывали в сундуки наводнявшие население «керенки» – бумажные деньги, печатаемые во времена Керенского, и накапливали их, не понимая, что скоро они превратятся в груды ненужной бумаги. Ходил анекдот, что торговка на замечание о дороговизне хлеба заметила: «Был Николай-дурачок – стоил хлебец пятачок». Охваченные безумием, все взвинчивали цены. Продукты в лавках периодически исчезали, а потом вдруг появлялись, но втридорога. Винили в этой спекуляции жидов, но и деревенские бабы не клали охулки на руку.

Характерную картину представляли железнодорожные станции.

Орда дезертиров и демобилизованных солдат двигалась к своим домам, все разрушая и грабя на своем пути, без всякого смысла выбивались стекла в вагонах и на станциях, обдиралась обшивка в классных

вагонах, все портилось и загаживалось. На крышах, на буферах вагонов лепились фигуры товарищей в серых шинелях. Несчастных случаев было без счету. Я видел под Киевом раздавленного поездом бравого вахмистра с четырьмя Георгиями на груди. Герой Императорской армии выдержал огонь неприятеля, чтобы погибнуть глупой смертью в товарищеском хаосе. В другой раз на моих глазах сорвался с подножки студент, атакуя подходивший поезд, чтобы захватить место. Он свалился под надвигавшееся колесо, и я видел, как его раздавило поперек туловища. Стоявший тут же носильщик философски сказал: «Готов!». А толпа продолжала лезть в вагон, совершенно не обращая внимания на лежавший под колесами труп. На промежуточных станциях солдаты атаковали поезд, занимали с бою места, а отдельные товарищи взлезали на паровоз и, приставив винтовку к груди машиниста, ревели: «Вези!» Ну и довозились.

Однажды поезд, который взялся везти солдат железнодорожного батальона, со всего разгону въехал в станционное помещение Киевского вокзала. Никакие доводы не действовали на обезумевших людей. Их влекло домой делить награбленную землю, а до немцев какое им было дело?

Продажа спиртных напитков была запрещена, но уже появился на сцене революции самогон, который потом вытеснил царскую монопольную водку и отравил русский народ наряду с другим ядом революции – отравлявшим революционную интеллигенцию и чекистов кокаином.

Безобразны были разгромы винокуренных заводов и винных складов. Толпа громила их, выпуская спирт в канавы, обезумевшие люди ложились на землю и лакали горячую влагу, пока не зажгут потока, напиваясь до смерти. Толпа была пьяна и без алкоголя.

Во время керенщины убийства и грабежи были стихийны и выполнялись или группами бандитов, или толпами.

В Киеве, как и везде, на местах командующих восседали эсеровские офицеры. В предреволюционное время эта партия проникла в войска. С ними солдаты еще временно мирились. Скоро, однако, на эти места воссели солдаты, а одним из корпусов командовала большевичка Евгения

Бош. Во многих частях повыбирали командирами дивизий вахмистров. Таким именно образом на Кавказском фронте был выбран начальником дивизии бывший образцовый царский вахмистр, будущий красный маршал, Буденный. Во всех военных частях правили солдатские комитеты. Летом во времена Корнилова, когда была восстановлена смертная казнь, солдатня на момент опомнилась. Но когда организовались батальоны смерти, никто уже не верил в продолжение войны. Всюду кричали: «Мир без аннексий и контрибуций!» На улицах солдаты кричали о том, как они проливали кровь, и требовали себе за это всяких привилегий.

Город демократизировался, то есть хамел. В несколько недель исчезла нарядность. В витринах магазинов, даже там, где никогда не выставлялись царские портреты, красовались поочередно портреты Керенского и всякой дряни, выплывавшей на время на верхи революции. В ресторанах повально бастовала прислуга, требуя повышения заработной платы, и публика сама себя обслуживала. Требование повышения заработной платы раздавалось тогда, когда никто ничего не производил и не работал. Это вполне подтверждало мудрое предвидение Сионских протоколов. Там говорилось: «Повышение заработной платы никому не принесет пользы». Повывелись из употребления салфетки и скатерти – товарищам они были не нужны, а буржуи теперь были не в моде. Еду подавали отвратительную и в малом количестве. Бичом домашней жизни были уборные. Канализация и водопровод, как и электричество, действовали с перебоями. Клозеты загаживались до невозможности, а чистить их было некому.

В жаргоне выкристаллизовались излюбленные слова: «товарищ...», «извиняюсь...», «определенно...», «пока...», «ничего подобного...». Все, что люди говорили, было или ложью, или сплошным бредом. Сплетни, легенды, слухи, передаваемые по беспроволочному телеграфу человеческой мысли, ширились с небывалой быстротою. Ссорились, пререкались, обвиняли друг друга в провокаторстве. Это слово применялось без всякого смысла. Лгали, лгали и лгали. Наедине с собою некоторые люди отдавали себе отчет в том, что думают. Если

бы мы раскрыли их мозговые коробочки, то были бы поражены тем, что огромное большинство людей ненавидело революцию. Но идти наперекор стихиям в то время было невозможно, ибо это значило идти на верную и бесполезную гибель.

Бичом того времени были обыски. Это были вторжения солдатских банд или революционных бандитов во все частные квартиры под предлогом отобрания и искания оружия, которого фактически ни у кого или не было или которое усердно прятали. Техника обысков, которая по наследству досталась комиссарам большевистской чека, уже тогда была выработана в совершенстве. Каким-то нюхом чуяли, где спрятаны ценности, ибо их только и искали. Изошрялись и в искусстве прятать вещи: зарывали в садах, замуровывали в печи. Но ничто не помогало. Прислуга выслеживала, где хозяева прятали вещи, и выдавала или грозила, издевалась. Иногда самозванно арестовывали, но настоящие аресты появились позже, уже при большевиках, когда сформировалась чрезвычайка.

Уже к лету 1917 года било в глаза типичное для революции явление: чрезвычайное увеличение смертности горожан, которое, казалось бы, непосредственно не вытекало из самых событий. На улицах все время попадались похоронные процессии, а у ворот кладбищ было небывалое зрелище – очереди. По целым часам стояли катафалки, ожидая пропуска. Вымирал слабый элемент, не могущий приспособиться к тяжелым условиям новой жизни. В 1918 годухватила тяжелая эпидемия гриппа, которую прозвали испанкой. Число жертв этой эпидемии было неисчислимо больше убитых и растерзанных толпой, но оно проходило в обычных формах и потому было мало заметно.

Всюду царили сыск, шпионаж, доносы, подозрительность. Конечно, впоследствии, при режиме большевиков, эти явления достигли несравненно бóльших размеров, но и тогда они уже отравляли жизнь. Друг друга арестовывали, подстрекали, ненавидели. Газеты своими подлыми статьями отравляли психику людей, и часто журналисты несли смерть на острие своего пера.

Летом в Киеве еще функционировал Купеческий сад. И здесь особенно ярко проявилась одна из карикатур революции. В промежутке между двумя творениями человеческого гения – увертюрой Берлиоза и симфонией Бетховена – на эстраду выползала неуклюжая фигура бандита-матроса Черноморского флота и в потугах своей первобытной мысли клещами вытаскивала из своей глотки слова. Под суфлера он твердил заученную речь, ругая буржуев и призывая к разделке с ними, а буржуазная публика тупо слушала и аплодировала. Так на эстраде гений сплетался с бандитом.

Постепенно эти уродливые формы несколько сглаживались, но жизнь уже не возвращалась к прежним формам, и исчезла радость бытия. Вяло работал университет, влачили свое существование театры.

Летом 1917 года мне пришлось посетить Москву, сопровождая транспорт душевнобольных солдат с фронта. Там было то же, что и в Киеве. В комитете госпиталя Красного Креста рядом с врачами заседали санитары. В гостиницах не было ни подушек, ни одеял, и во всей Москве нельзя было добыть порции мороженого. По всему пути нас останавливали члены солдатских комитетов и проверяли документы. Эта проверка документов в высокой степени характерна для революции. Она совершенно бессмысленна и заменяет личность человека клочком бумаги. Проявлялись инстинкты, которые совершенно затемняли идеи, во имя которых была сделана революция. Всюду шли борьба и интриги. Экстаз выдыхался, и наступала протрация. В домах царили уныние и разлад. Партии поглощали личности, а личности в свою очередь становились властелинами коллектива.

Верования господствовали над идеями и отстаивались с необычайной страстностью. Словесные формы царили без всякого понимания. Теперь не церемонились и не сдерживались в обращении друг с другом. Повсюду агитировали, внушали, убеждали, но все это касалось только фраз и лозунгов. Газеты развращали публику и выносили на свои столбцы только мерзкое и гадкое. Приспособлялись к запросам черни. Полуинтеллигенция и так называемая *сознательная* демократия из писарей

говорила цитатами, бог весть откуда взятыми. Каждого несогласного со слышанным вздором обвиняли в приверженности к старому режиму. Это обвинение в те времена было страшным. В своих интригах и в сведении личных счетов интеллигенция не стеснялась и тащила своих противников на суд комитетов. Заискивали перед низами. Популярность давала короткий успех и выгоду, которые дорого оплачивались впоследствии, когда человек сбрасывался с высоты. Личность и индивидуальность преследовались, неколлегиальность считалась высшим преступлением.

Авантюристы в этот период революции еще не играли той роли, какую получили при большевиках. Преобладали мошенники. Препрежние пороки учреждений разрослись до невероятных размеров: все честное принижалось и приводилось к молчанию. Вновь образованная милиция показала низвергнутым городским старому режиму, как надо было брать взятки. Чиновники старой формации исчезли. Мир полуинтеллигентов, принявший революцию, получил полную безнаказанность в своих комитетах и хищничал. Беззаконие переходило в анархию. По отношению к революционному вздору критики не существовало. Наиболее легковверные вместе с тем были и самыми яркими защитниками того, во что верили. Разумом ход событий не схватывался. Но сами события протекали так бурно и были так многообразны, что трудно было уловить их нить. А изображение их в романах будущего будет плодом чистой фантазии и только исказит их. Била в глаза сенсация, а обыкновенные происшествия не замечались.

Каждый человек, осуждавший других, не замечал собственного падения. А падали все. Мысль и ум работали слабо. Легко заражались бредом.

С точки зрения психиатрии бред есть ложное суждение, но это суждение не вырабатывается во время повальной эпидемии больным умом, как это бывает у параноиков, а прививается внушением. Окружающая действительность неправильно преломляется в больной психике или воспринимается с предвзятой точки зрения. Материалом для заключений служат устные легенды, клевета и газетные статьи. Чужие фразы повторяются от своего имени. Сами факты до такой степени извраща-

ются, что воспроизвести событие по чужим рассказам становится невозможно. Особенно извращается прошлое. На клевете по адресу Царя и Царской семьи и на распутиинаде отводили душу.

Подражание, как симптом психической заразы, было очень резко. Все действия отливались в общий шаблон. Кто видел одного уличного оратора, тот узнает его жесты и интонацию во всех других.

Проявлялась жадность, погоня за обладанием, которая так резко дисгармонировала с лозунгом революции об упразднении собственности. Все гнались за благами жизни, и никто их не производил. То, что в нормальной жизни называлось подлостью, стало обычным свойством человека. Донести, обвинить человека на политической подкладке ничего не стоило. Искали приюта у революции.

Скоро настал черед и общественных деятелей, вместе с генералами-изменниками устроивших Февральский переворот, получивших титул буржуев и предназначенных впоследствии к «выведению в расход». Буржуем был всякий, кто мыл руки, ходил в приличном одеянии.

Теперь одежда опростилась. Барыня старого режима норовила одеться под кухарку, а мужчина – под товарища рабочего. Но опрощение имело и другой источник – всеобщее обеднение и нужду.

Сравнительно медленно изменялась обыденная домашняя жизнь, которая имела свои особые традиции. Люди еще жили старым укладом, и керенщина касалась его только боком. Сокрушающий удар этой жизни нанес уже второй период революции – период большевиков. Большевики ворвались в семейную жизнь и скоро ее разрушили.

Дикий лозунг революции «Смерть буржуйам!» уже звучал в первые дни революции, но реализовался он уже после керенщины. Во время погрома на фронте в Тарнополе расвирепешшая солдатня творила невероятные зверства. Очень характерно было, что все вдруг почувствовали пролетарское происхождение, которое впоследствии, при большевиках, было условием сохранения жизни.

Интеллигенция очень скоро завершила свой путь к самоубийству. Она готовила себе тот крестный путь, который привел ее в подвалы чека

и в далекое изгнание под охраною штыков белых армий. Тех, кто не попал в эмиграцию, ждал удел советского раба.

Все предъявляли требования, но никто этих требований удовлетворить не мог. Сначала кричали о восьмичасовом рабочем дне, а затем свели работу на нет. В рабочие часы митинговали.

Царская Россия накопила громадные богатства, и потребовалось много времени, чтобы все ограбить и уничтожить.

Золото и серебро исчезли в первые дни революции, и так и не может никто сказать, куда они делись. Транспорт был разрушен, а железнодорожники стали привилегированным элементом революции. Подвозу не было. Началось недоедание. Шутили, что при старом режиме мы привыкли слишком много есть. Все интересы людей сосредоточивались на том, чтобы достать съестное.

Начинавший вводиться социализм в форме карточек ничему не помогал. Чай пили без сахара, и прислуга испытывала большое удовольствие, когда по карточкам получала сахару больше, чем ее хозяйка. Возникли длиннейшие очереди у магазинов, и это стало классическим симптомом революции. От голода люди стали капризными и раздражительными. Низы были грубы, а интеллигенция привыкла к унижениям. Честь и гордость были упразднены: их считали предрассудками старого режима. Люди боялись и не доверяли друг другу.

В психике боролись два влечения: мечты о получении кусочка выгоды в новой жизни и скрытое сожаление о потерянном рае. Царил страх за личную безопасность. Ничего не стоило быть обвиненным в приверженности к старому режиму. Только из животного страха председатель одного из окружных судов, слывший раньше отъявленным черносотенцем, надел красный бант. Но таких людей не уважали. Очень любопытно, что во всех революциях выделяются как деятели фармацевты, парикмахеры, фельдшера, а из интеллигенции – адвокаты. Аристократия и бюрократия сдали свои позиции без боя. Характерно было стремление к славе, почестям и величию. Честолюбцы часто преуспевали. Самоуверенность и наглость новых вершителей судеб



были безграничны. Ничего святого для людей не существовало, хотя еще не наступил период безбожия.

Этот подлый период русской революции получил название керенщины. Но Керенский не только не был вождем, но сам впитал в себя всю грязь революции.

В середине лета поднялось значение Совета рабочих и крестьянских депутатов, который имелся и в Киеве. В Центральном Петербургском совете сконцентрировались будущие вожди большевизма: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Мартов, Урицкий. Этот Совет смотрел через головы Европы и поражал своей смелостью и цинизмом. Его первое творение – это «похабный Брест-Литовский мир». Германцы заключили этот диктант, как впоследствии, выражаясь словами Гитлера, навязали такой же диктант в Версале немцам. Заявления Совета не были трусливым языком керенщины. Это были новые ноты, которые потом на протяжении десятилетий повторяли все цивилизованные государства Европы, аннулируя долги, не выполняя договоров. Но тогда это казалось диким. Акты превратились в ненужные клочки бумаги. Были опубликованы тайные договоры. То, что говорил во время керенщины Совет рабочих депутатов, звучало ужасом. Его проповеди казались неосуществимыми утопиями. Все это реализовалось только впоследствии.

Войска без боя покинули фронт – явление беспрецедентное в истории. Смелости хватало на все. Ныне всеми забытый поручик Шнауэр, вышедший из недр небытия и впоследствии спившийся, вместе с мадам Боценко с Сибирской каторги под руководством умного еврея Иоффе подписали Брестский договор. Эта безудержная наглость ломала, как солому, вековые традиции и методы международных отношений. Хам разнуждывался, а интеллигенция его культивировала.

Не чувствовалось сраму переживаемого, ибо стыда в те дни не существовало. Смешна была картина, когда Временное правительство потребовало себе присягу, само только что нарушив присягу Царю. С небывалым цинизмом издевались над подвигом. Всюду царили трусы и дезертиры. Коллегии в форме комитетов были бесстыдны и безответ-

ственные: пакость, которую никогда бы не решился совершить отдельный человек, коллегия совершала не задумываясь. Спихивая человека, чтобы занять его должность, говорили ему: «Знаете, вы не отвечаете духу времени, вам надо уйти!»

Революция утверждала, что всякий человек может занять любое место в государственном аппарате, что специальных знаний вовсе не требуется, была бы революционная совесть.

В то время как гибнущая русская интеллигенция металась в погоне за синей птицей счастья, еврейство шло своим умным путем и сроднилось с революцией – обращая ее в свою пользу.

На моем психофильме прошел один из красочных деятелей этого периода революции – Шингарев. Этот разрушитель России по заслугам был наказан большевиками. Он был убит матросами в больнице еще до воцарения большевиков, вместе с Кокошкиным. В России в земской медицине существовал институт земских санитарных врачей, имевшихся при каждой губернской управе. В преддверии революции это были своего рода маленькие министры здравия, игравшие роль спецов при ничего не понимающих в медицине земцах. Большинство русских земцев были левыми, и на эти посты обыкновенно выдвигались полуреволюционеры и политические болтуны, ибо заниматься празднословием, статистикой и администрацией много легче, чем бороться с эпидемиями. В Воронежском земстве в качестве земского санитарного врача выделился Шингарев, с которым мне пришлось встречаться по службе в 1906–1907 годах. Это был очень ловкий, крайне честолюбивый человек, никуда не годный врач, болтун без всяких серьезных знаний. Карьеру он сделал на либеральных разговорах – как это ни смешно – в правых кругах воронежских земцев. Тогда эти баре гонялись за популярностью и находились в руках своего третьего элемента. Шингарев быстро сумел получить популярность. Как консультант при губернской управе, он влиял на все назначения, а официально заведовал медицинским делом совершенно безличный помещик, уже проживший свое имение. Очень скоро большое число мест в губернии оказалось за-

нято евреями – врачами и фельдшерицами, в том числе экземплярами из породы бесов Достоевского.

С наступлением 1905 года он ловко стал подготавливать через своих ставленников и через либеральные круги свою кандидатуру в члены Государственной думы. Глупые земцы были у Шингарева в руках. Он обладал приятным характером и одурачил общественное мнение, попав членом в Думу. Здесь его звезда, как тактичного оппозиционера правительству, быстро восходит, и он делается своим в предреволюционных кругах.

В это время одним из центров подготовки революции был Петербургский политехникум. Все почти университеты того времени были левые, и молодые преподаватели делали свою карьеру уже не по ученым заслугам и не по цензу знаний, а по левым политическим убеждениям. Шингарев сходится с доцентами и ассистентами Политехникума и волшебным преобразованием становится специалистом по финансовым вопросам. Мне говорили тогда, что все доклады и материалы для его выступлений в Думе готовили ассистенты Политехникума. Имя Шингарева, как видного члена кадетской партии, становится известным. Он проводит левую идеологию и выдвигается на положение лидера своей партии. Он выступает с оппозицией министру финансов по всяким пустякам и проваливает Амурскую дорогу. Он находится всецело в еврейских руках и становится кумиром левой интеллигенции.

После отречения Государя Шингарев поочередно делается министром финансов и земледелия. Он ничего решительно не понимал в этих делах и проводит все то, что окончательно разрушает Империю. Перед революцией в одном доме я встречал его дочь, которая была врачом. Надо было видеть самоуверенность и апломб этой молодой особы! В своей жизни я встречался с женами и дочерьми царских министров, но ничего подобного этой фанаберии не видал. Своим поразительным невежеством Шингарев, будучи членом Временного правительства, быстро разрушил финансовый аппарат государства. Инстинкт русского человека подсказал диким матросам сорвать с революционного поля этот

красный цветок, и они его просто, без пафоса и без проявления героизма с его стороны, зарезали в больнице. Когда я узнал об этом, я вздохнул свободнее: одним врагом России будет меньше. Возмездие по делам его.

На протяжении Февральской революции чернь выступала на арену в той же форме, как это наблюдалось на протяжении веков во время крушения великих империй. Революция творила своих преступников из обычных средних людей. Воровали в это время все, даже самые культурные интеллигенты.

К началу 1918 года в Киеве царили хаос и анархия. Над городом звучала симфония ружейной трескотни. Стреляли товарищи без смысла и цели, попадая в мирных граждан. Уже осенью 1917 года периодически шли уличные бои, которые причудливо разыгрывались на фоне хаотичной жизни города. Сначала шли бои с украинцами, потом с большевиками. Октябрьский переворот прошел в Киеве малозаметно, ибо и своего смятения было достаточно. О петроградских событиях размышляли мало. Совет рабочих депутатов в Киеве называли «советом собачьих депутатов» и не относились к нему серьезно.

Властей за это время сменилось несколько. В период Временного правительства сначала существовал исполнительный самозванный комитет под председательством доктора Страдомского. Позже его сменила эсеровская городская дума. Параллельно существовал совет рабочих депутатов и Украинская рада. Сыпались декларации, а Рада писала универсалы, вносящие чистую пугачевщину. Про большевиков слышали, и трудно было понять, что еще нового могла придумать Рада. Смутно слышали, что с падением Временного правительства и с бегством Керенского в Петрограде воцарилась твердая власть, о которой давно мечтали. И здесь думали, что было бы хорошо, если бы твердая власть сменила украинскую. Говорили, что большевистское выступление здесь должно начаться с Арсенала местными силами.

Теперь начало выкристаллизовываться украинское движение.

Я родился в пределах Малороссии, окончил гимназию и университет в Харькове, где работал в качестве врача несколько лет. Мое

имение и мой санаторий находились в двадцати верстах от Киева, в Черниговской губернии.

Я утверждаю, что украинского вопроса в той форме, в какой его поставила революция, не существовало. Все мы понимали и любили малорусское наречие, но единственным культурным языком был русский. Сепаратическое движение сливалось с революционным и было искусственно. Кроме небольшой группы самостийников, опиравшейся на полуинтеллигентов и помещиков, причисляющихся к русской аристократии и пользовавшихся всеми благами Российской империи, сепаратистов не было. Решительно никакими ограничениями на всей территории Империи малороссы не были стеснены. И только поскольку сепаратисты вели борьбу против государственного единства, они встречали слабый отпор со стороны правительства.

В украинском движении воплотилась вся гнусность Февральской революции. На верхи его выступили фельдшера, писаря, телеграфисты с бухгалтером земской управы Петлюрой во главе. А с другой стороны в него влились русские бары-изменники с гетманом Скоропадским во главе.

Хам гулял по украинскому полю со всем его цинизмом. Позже, под влиянием страха и искания выгод, к этому движению присоединилась интеллигенция сортом пониже и поглупее. И многие действительные статские советники, по традициям всех революций, перелетели в стан украинцев и стали, как их тогда называли, «щіримі».

Приблизительно через месяц после начала революции ко мне в мой госпиталь, находившийся между Киевом и Борисполем, приехал исполнять требы священник из Борисполя, настоящий хохол, говоривший на местном наречии. Он обратился ко мне с вопросом: «Мыколай Васильевич, скажите мени, пожалуйста, що цэ такэ украинци? Откуда вони взялись?» Оказывается, что и в этом большом селении, где, по преданию, скрывался Мазепа, завелась эта язва и сейчас же обнаружила свое австрийское происхождение.

Во главе украинского движения стал австрийский профессор Грушевский. Это движение началось с низов, а на фронте украинизировал

войска претендент на гетманский престол, бывший кавалергард, приближенный Царя, русский генерал Скоропадский, волею судеб превратившийся в ясновельможного пана Павло Скоропадского. Ему давали оправдание, будто бы эта украинизация спасет фронт от разложения.

Пропаганда отделения Украины велась еще во время войны, и это был один из тех психических ядов, которыми противник стремился разложить Россию. Самый термин «Украина» был мало распространен. Местное население называли «малороссами» или «хохлами». За время революции украинское движение развивалось параллельно с керенщиной и, впитав в себя всю грязь последней, было еще пагубнее для России.

Как и во всех партиях, у украинцев были разные варианты. Тут были и щирые, и самостийники – это были самые глупые и самые некультурные. Были федералисты и всех оттенков социалисты. Из них самой свирепой была партия левых украинских эсеров. Полуграмотные люди занимали все места в аппарате новой власти. Сначала украинцы не имели силы. Они не могли выдвинуть хоть сколько-нибудь выдающуюся личность. Петлюру презирали все, зная, что этот человек был выгнан из семинарии за воровство. Украинцы первые подписали Брестский мир и предали Украину на оккупацию германцам.

В то время интеллигенция еще мечтала об учредительном собрании и подготавливала выборы. Украинская рада существовала только номинально. В конце лета пронеслась весть, что трио в лице Керенского, Терещенко и Церетели официально провозгласило отделение Украины от России.

Я помню одну из безобразных сцен революции летом 1917 года. Я вышел на улицу и заметил большое движение. На одной из улиц трудно было протолкнуться, и я спросил, в чем дело. Мне ответили, что ждут проезда Керенского, приехавшего отделять Украину, и что его ждут, чтобы устроить ему овацию. Я резко повернулся спиной и быстро пошел в другую сторону. Это была единственная фигура, которую я не желал иметь на своем психофильме. Я хотел, чтобы глаза мои не осквернились лицемерием этого гробокопателя России.

Но даже это отделение Украины Временным правительством прошло по верхам общественного мнения и не изменило хода событий. Украинизация наступила позже, и, к стыду русских людей, также была произведена царскими генералами, русскими профессорами, сановниками и помещиками при гетмане.

Украинским движением периода Рады руководили профессор Грушевский и писатель Винниченко. Грушевского я видел однажды проезжающим в карете. Это был глубокий старик с длинной белой бородой и с худым изможденным лицом. Вокруг же Петлюры ютился полуинтеллигентный сброд.

Разные учреждения стали украинизироваться, самые обыкновенные обыватели вдруг почувствовали себя нерусскими и превратились в ширых украинцев. Царские офицеры перестали понимать по-русски. Они пробовали «балакать по-хохлацки», но дело не вышло: Грушевский требовал «галицийской мовы», которой никто из хохлов не понимал.

Украинская рада сразу пошла социалистическим путем, то есть путем экспроприаций. Несколько универсалов, опубликованных Радою, развернули чисто большевистскую программу. По деревням вспыхнули пожары усадеб, и пошла пугачевщина. Старались перещеголять настоящих большевиков.

Что представляли собой настоящие большевики, в Киеве еще хорошо не знали. Пропаганда украинцев сводилась к грабежу усадеб и введению галицийской мовы. К осени 1917 года, с подписанием Брестского договора, Украина была признана раньше, чем договор был расширен на Россию. Наряжались под запорожцев, отпускали чубы (оселдцы), коверкали русский язык. Множество офицеров объявили себя украинцами. Печатались на мове газеты и брошюры. Вместо полков формировались «курени», а если к офицерам обращались по-русски, они нагло отвечали: «По-русски не разумием».

Очень типичную страничку предбольшевистского периода представляет собою Быховское сидение арестованных в городе Быхове генералов Императорской армии, пошедших за изменниками Ставки. Семь царских

генералов вырабатывают программу отречения от старых основ и новые пути для России. По словам генерала Головина, пишущего историю революции, быховская программа, составленная генералами, тождественна с корниловской (Головин. История революции. Ч. 2. Кн. 3. С. 97). А корниловская программа ничем не отличается от таковой Керенского. «Так же, как и Керенский, Корнилов всю душою признавал завоевания революции, так же, как и Керенский, он был сторонником передачи земли крестьянам, так же, как и Керенский, он признает суверенную власть народа, а потому совершенно искренне хотел довести страну до учредительного собрания».

В Ставке после переворота бушующая солдатня из почетного Георгиевского батальона превращается в разбойничью шайку и оскорбляет своих офицеров.

Над быховскими арестантами висит дамоклов меч расправы, постигшей в ближайшем будущем генерала Духонина в Ставке, и общество, еще проникнутое уважением к своим боевым генералам, тревожится за их судьбу. Но сами генералы, выработавшие вошедшую в историю программу измены долгу и присяге, толкают Русскую армию на путь гибели. Головин говорит, что Корнилов многократно во всеуслышание заявлял, что он республиканец.

Многие из эмигрантов помнят Корнилова с красным бантом на груди, как революционного генерала.

Державный гимн в Добровольческой армии впоследствии был заменен Преображенским маршем. От старой армии остались только императорские погоны, за что белое офицерство и получило от большевиков титул золотопогонной сволочи.

## ГЛАВА IV

### **Личная жизнь во время революции и мое отношение к ней**

В первые периоды революции я оставался сторонним ее наблюдателем и переносил ее невзгоды, как и все другие. Поскольку учреждения,



в которых я работал, попадали под переходные периоды, я испытывал все их прелести, но не был активным их деятелем. С приходом в Киев добровольцев я вступил в Белое движение, которое мы тогда идеализировали, и с тех пор воображал себя активным борцом против революции, и потому все дальнейшие события я описываю как участник и активный деятель. Тогда я не знал истинного лица вождей Белого движения и не имел понятия о быховской программе. Я считал Добровольческую армию борющейся за спасение единственной России, которую знала история, – России исторической, *Царской*. И потому, как и все другие монархисты, часто чувствовал на протяжении этой борьбы тот диссонанс и отсутствие ясных лозунгов, которые, по моему разумению, и погубили Белое движение.

По складу моего духа, если бы я мог предвидеть будущее непредре-шенческое течение в эмиграции, отречение от лозунга исторического девиза «За Веру, Царя и Отечество», отречение от державного гимна и все прочее, я бы решительно остался в гибнущей России, и, если бы уцелел, может быть, там лучше послужил бы русскому народу, чем в эмиграции.

Революцию я предвидел во всем ее ужасе и ненавидел ее до глубины души. К либеральным общественным деятелям, неуклонно разрушавшим Россию, я относился с глубоким презрением. С первых дней февральской катастрофы гибель России была для меня совершенно ясна. Ко всем событиям революции я чувствовал одно лишь омерзение. Вот почему странно было бы требовать от меня объективности: я шлю революции, всем ее титанам, фанатикам, мошенникам, а особенно изменникам Царю одно только проклятие.

Я пишу то, что видели мои глаза, не для розового читателя и не для непредре-шенца, а потому хорошо знаю, как этот труд будет встречен. Но надо же иметь мужество хоть раз сказать правду о том, что принято замалчивать и маскировать. Я не вижу жемчужного зерна в навозной куче революции.

В самые первые дни революции я встретил одного своего ученика-студента, который с восторгом стал мне говорить о светлом празднике новой жизни. Я выслушал его спокойно и, посмотрев ему в глаза, сказал: «Разве вы не видите, что все погибло?» Он посмотрел на меня с изумле-

нием и написал мне в своей душе приговор неисправимого черносотенца. Мы молча разошлись. Через месяц я его встретил в другой обстановке, и он сам обратился ко мне со словами: «А как вы были правы!»

К началу революции я жил в своем имении под Киевом, между станциями Дарницей и Борисполем, где мною был выстроен великолепный санаторий, в котором теперь разместился госпиталь для душевнобольных солдат с Юго-Западного фронта в 350 человек! Я предоставил государству весь санаторий, инвентарь и мой труд на все время войны безвозмездно и вел госпиталь под флагом Красного Креста в качестве главного врача. Оплачивалось только содержание больных.

Проведя первый период войны на фронте, я был потом привлечен к обслуживанию психиатрической помощью солдат Юго-Западного фронта и устроил свой госпиталь, вложив в него все достижения современной психиатрии, мой опыт и знания и все мои личные средства, которые были значительны.

Госпиталь находился в ведении главноуполномоченного Московского района А. Д. Самарина, а ближайшим моим сотрудником в качестве уполномоченного, руководившего отправкою ко мне душевнобольных с фронта, был известный психиатр профессор В. Ф. Чиж. У меня была чудесная собственная лаборатория, библиотека, и я продолжал свои научные работы, одновременно поддерживая связь с физиологической лабораторией профессора В. Ю. Чаговца. Позднее я в качестве приват-доцента Киевского университета читал там лекции по общей психиатрии и психологии, работая в физиологической лаборатории.

Будучи тем, что тогда называлось презрительным термином черносотенца, я был среди окружающих течений совершенно одинок и только в лице профессора В. Ф. Чижа имел твердого единомышленника и горячего русского патриота. Все остальное кругом было левое.

У меня был превосходный штат служащих, в большинстве испытанных моих друзей и сотрудников по прежней моей службе в качестве директора больших и хороших окружных правительственных психиатрических больниц. Были люди, которые служили со мною от десяти до

восемнадцать лет. Санитары, выученные мною, были из деревни Александровки, при которой было имение моего отца, часть которого теперь находилась в моем владении. Дело было поставлено самым гуманным образом, и служащие были обставлены хорошо.

Но были среди служащих и неудачно выбранные наспех во время войны. Я не мог отказать моим друзьям, отвергнув их протекции. И между прочим мне всучили ординатора-еврея Сегалина, который оказался убогим существом и ненавистником России. Он показал свои когти с первых дней революции, а впоследствии играл роль у большевиков. Вторая моя ошибка была плодом гуманности моего брата, который был тюремным инспектором в городе Чернигове.

В черниговской тюрьме содержался каторжник фельдшер Иван Иванович Хоменко, убивший в 1905 году исправника. Он был присужден к смертной казни, но помилован и отбывал наказание в тюрьме. Это был революционер-фанатик со святыми глазами, мягким голосом, достаточно интеллигентный и хороший знаток своего дела. В тюрьме он вел себя безупречно и производил впечатление раскаявшегося. Через шесть лет мой брат выхлопотал ему Высочайшее помилование, и Хоменко был освобожден под надзор полиции.

Когда осенью 1915 года я открыл свой госпиталь, то по просьбе брата взял его на поруки и назначил фельдшером в свой госпиталь. Человек это был необыкновенно выдержанный, умный, симпатичный. Дело вел образцово. Он был женат и жил с женою в одном из моих домиков.

Как только разразилась революция, Хоменко снял маску: он оказался левым эсером и быстро вошел в связь с партией.

Как и во всех учреждениях, катастрофа не миновала и моего госпиталя: по революционному трафарету появился комитет во главе с кухаркой Галькою, выросшей на кухне моего отца. Кончилось дело так, как оно кончалось везде: полным разграблением имущества, митингованием, революционными бреднями и, наконец, экспроприацией комитетом под руководством фельдшера Хоменко моего собственного госпиталя. Я отнесся к этому философски: все равно все гибло, и вести дело было

невозможно. Поэтому, сдав госпиталь, забрав часть своих вещей, я переехал в Киев, где у меня была комната, и ушел в научную работу.

Не описываю разгрома моего госпиталя, потому что он ничем не отличался от всех подобных, тогда чинимых по всей России.

В версте от моего госпиталя в своем имении жил мой отец, тогда уже глубокий старик, но его пока не трогали. Как у всякого помещика в Малороссии, у моего отца было два своих жида, Гершко и Берко, оба даже малограмотные, но чрезвычайно предприимчивые и для хозяина полезные. От отца они перешли ко мне и были мне при ведении сложного хозяйства очень полезны и честны. Комиссионную работу они выполняли в совершенстве. С бориспольскими евреями я был в хороших отношениях, и они поставляли мне все для госпиталя. Однако когда во время керенщины в 1917 году я, по установившемуся обычаю, отпустил несколько пациентов-евреев на пасху к тамошним евреям, то они вернулись в госпиталь совершенно распропагандированными. Большинство из них были симулянты.

С первых часов революции еврейская молодежь, в том числе сыновья и дочери моих жидов, сразу стали наглыми и экспансивными революционерами. В то время как молодежь бредила социализмом, их отцы бросились покупать землю, мечтая стать помещиками. Берко сейчас же купил себе хутор, ибо евреи получили право на владение землею, которого раньше вне черты оседлости не имели.

Уехав в Киев, я перестал интересоваться госпиталем, ибо не было приятно видеть, как разрушается все созданное трудом и знанием.

В Киеве во всех госпиталях происходило то же самое: расхищалось казенное имущество и воцарялось полнейшее безделье.

Казалось бы, что кое-что хорошее должна была дать революция. Возникли бесчисленные союзы врачей, в том числе союз психиатров. Конечно, на все руководящие посты выдвинулись евреи. Почти все они превратились в профессоров в нововозникшем «клиническом институте». Я принял участие в этой новой жизни, читал лекции, делал доклады в научных обществах, но мало кто в это время этим интересовался.

В моей длинной жизни, полной приключений и перемен, мне приходилось бывать в разных положениях и вести различный образ жизни. Но этот период революции в Киеве я жил совершенно мещанской жизнью. К счастью, я был совершенно одинок, и это одиночество, пожалуй, было тем, чем я больше всего дорожил. Мне было тогда 46 лет. Никем и ничем я не был связан, никому не отдавал отчета в своих действиях. Я жил на квартире у своего школьного товарища, чиновника Контрольной палаты Заламатьева. Жил он с дочерью и со свояченицей бедно. Мы были дружны и одинаково ненавидели революцию. Комната у меня была студенческая, почти без всякой обстановки; и я, привыкший к очень богатой жизни, нисколько не тяготился этим опрощением. Перезнакомился я с жильцами и часто заходил к ним на чай. Ко мне относились очень хорошо. Дома я целыми днями занимался научно, уходил только в госпиталь, в котором работал, и в физиологическую лабораторию. Долгие вечера проводил со своими хозяевами, иногда играл на виолончели. Позже я стал постоянным фаготистом в опере, и это доставляло мне большое удовольствие.

В госпитале Красного Креста, в котором я был консультантом, положение было сложное – сначала при керенщине, потом при петлюровщине и при большевиках. Я заведовал лабораторией госпиталя, и она всегда была полна студентов и курсисток, особенно евреев, которые меня любили. Оригинально было то, что в ней царил чисто научная атмосфера, и даже в дни большевиков о них не говорили, хотя между посетителями были и большевики.

В Киеве у меня было много знакомых, и ко мне заходило много разных людей. Жизнь моя того времени была неплоха. Об ограбленном имуществе я нисколько не жалел.

Время было опасное, при керенщине больше подлое, при большевиках страшное. Среда, в которой я вращался, была демократическая. В домашней жизни царили полуголод, грязь.

Деньги у меня еще были. Домик, в котором мы жили, был во дворе. Отсюда я наблюдал всю революцию до прихода большевиков

в феврале 1919 года, когда явились меня расстреливать и мне пришлось скрыться, как скрывались многие. После того я перебрался в госпиталь, где помещался в комнате лаборатории. По вечерам, бывало, когда с улицы доносилась редкая стрельба, когда электричество тускло горело со сниженным вольтажом, а в водопроводе не было воды, я сидел в своей комнате за столом и штудировал формулы механики. А за стеной мой школьный товарищ фантазировал на пианино, чрезвычайно музыкально и грустно. Когда я приходил в столовую пить чай почти без сахара, мы вспоминали детские годы – и какой прекрасной казалась нам старая жизнь на фоне революции! Иногда в эту хмурую жизнь врзался флирт: женщины необыкновенно легко отдавались в это время и любили приходиться ко мне. Связи были проходящие, прочных привязанностей не было, жили сегодняшним днем. Для меня будущего не было: я привык к мысли, что все гибнет, и я не видел никакого выхода из создавшегося положения. Нормальный человек в нормальное время имеет свое будущее в своей фантазии. Теперь этого не было. Люди становились равнодушны к своей судьбе: все равно ничего не изменишь. В дни бомбардировок и террора жизнь людей висела на волоске. Знали, что своего жребия не избежишь. Не было даже того страха, в котором проявляется инстинкт самосохранения. Когда я был осужден на расстрел и скрывался, на душе у меня было спокойное равновесие и тупое сознание неизбежности: скрываться вечно ведь нельзя. И если я пробовал заглянуть в ленту будущего, она просто обрывалась.

Утром проснешься голодным и мечтаешь о том, как пойдешь в лавку купить французскую трехкопеечную булку, которая при керенщине стоила уже полтора рубля, а при большевиках – четыре. И какую вкусною она казалась в мечтах! Грезы о съестном занимали в психике огромное место. В фантазии рисовались блюда старого режима, и о них было столько разговоров! Вся Россия переживала «Сирену» Чехова. Обед в кухмистерских стоил три рубля, был невкусен и скуден, а сервировка примитивна.

Мне как врачу приходилось исследовать интеллигентных больных и раньше бывших нарядными женщин. Их белье было до крайности грязно, а тело издавало нестерпимый запах.

В комнате было холодно, и, ложась в постель, я наваливал на себя сверху все теплое из тканей, что у меня было в комнате. Грело свое собственное тело.

Однажды я сидел за своим столом, заваленным книгами, и занимался. На краю стола, между книгами, стояла тарелка с халвой, которую я купил себе как лакомство. Внезапно я услышал шорох и, обернувшись в сторону тарелки, увидел, что в растаявшей халве застрял мышонок. Он так и захлебнулся в липкой массе. В старое время, при царском режиме, я брезгливо выкинул бы всю халву. Теперь брезгливость была буржуазным предрассудком. Я вытащил мышонка и выкинул его на улицу, а халву с удовольствием съел.

Бывали у нас во врачебной компании скромные, убогие пирушки, где царская водка все больше заменялась самогоном.

Керенщину я выдержал без особых для себя инцидентов.

В Киеве постоянно делались регистрации врачей. На одну из таких регистраций во время украинцев явился и я. Какой-то хам обратился ко мне на хохлацком жаргоне. Меня взорвало, и я стал отвечать ему по-английски. Вышел скандал, и я потребовал переводчика.

Заедали мелочи жизни, а на заседаниях домовых комитетов квартиранты грызлись между собою.

Настоящим образом революция задела меня при вторжении первых большевиков. 10 февраля 1919 года я работал, по обыкновению, в лаборатории госпиталя за микроскопом и собирался в обеденное время идти к себе на квартиру. В шесть часов у меня была университетская лекция, которую я читал в аудитории госпиталя. Но случилось так, что в этот день ввиду наступления масленицы наши врачи задумали устроить в складчину блины, и потому я не пошел домой.

Мы сидели за блинами, пили самогон, закусывали селедкой, и было довольно оживленно. В разгар блинов в комнату вбегает моя лаборатор-

ная сестра Соломонова и говорит, что с моего двора через чужой телефон передали, что за мной пришли солдаты, чтобы вести меня на расстрел, и чтобы я домой не возвращался. В те времена люди еще спасали друг друга, и мой друг профессор, узнав об этом, предупредил меня. Пришлось «смыться». Сейчас же я получил предложение от своих друзей скрываться у них. Как травленный зверь, не зная, выследили ли меня, я задним ходом скрылся и прошел благополучно по улицам. Три дня я не смел показать и носа на улицу. Потом мне сообщили, что распоряжение об аресте исходило от самостоятельной группы, в которой, видимо, были санитары из бывшего моего госпиталя. Когда через три дня Таращанская дивизия ушла из Киева, я вернулся в госпиталь.

Так погибли многие мои знакомые, предаваемые прислужгой или своими служащими.

Во время большевиков я держал связь со многими скрывавшимися офицерами, в том числе с генералом Федором Сергеевичем Рербергом, раньше командовавшим армией. Мы мечтали попасть к добровольцам, и, как только они вошли, генерал получил назначение, и я попал к нему сначала членом комиссии по расследованию дел чрезвычайек, а затем, когда он начал формировать 7-ю кавалерийскую дивизию, я поступил врачом Кинбурнского полка. Когда генерал Рерберг был назначен начальником тыла Киевской области, я получил назначение врача штаба тыла на правах корпусного врача, оставаясь в то же время врачом Кинбурнского полка и 7-й дивизии. Когда в Киев прибыла комиссия при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России генерале Деникине для расследования злодеяний большевиков, я был одновременно назначен ее членом и сразу погрузился в тяжелую, но интересную работу. Я работал и в полку и в штабе, а затем в комиссии. С этого времени я прочно связал свою судьбу с Добровольческой армией. Позже генерала Рерберга сменил генерал Розалион-Сошальский, с которым вместе мы совершили наш крестный путь вплоть до эмиграции. Привожу здесь данную мне им аттестацию, как объективную характеристику моей деятельности в Белом движении, засвидетельствованную и подписанную



военным агентом Делегации в Югославии полковником Базаревичем за № 993: она дает мне право говорить правду.

«Широкое образование известного в медицинском мире врача, выдающиеся административные способности, большой опыт двух предшествовавших войн превозмогли все неурядица исключительного времени и исключительной по трудностям для Белой армии работы. Столь необходимая врачебная помощь в частях, мне подчиненных, благодаря деятельному, богато просвещенному начальнику до последней минуты оставалась на должной высоте... Пытливый ум психиатра в связи с незаурядным мужеством в моменты боя заставлял каждый раз находить ученого доктора медицины в самых передних линиях с винтовкою в руках (положения, из которых он выходил неизменно в числе последних, зачастую пролагая себе путь штыком и пулею). Многократно присоединялся с разрешения ближайшего начальства к передовым разъездам или дозорам, идущим на самую рискованную разведку... Так было во время русской Гражданской войны. То же было и в русско-японскую войну 1904–1905 годов. Не изменяется характер деятельности и в дни Великой войны 1914 года».

Не надо думать, что вся революция состоит из событий крупных. Мелочи жизни играют свою роль и переплетаются с событиями исторического значения. Когда мы уже висели на отлете из Киева в ноябре 1919 года, я отлично сознавал, что вся дореволюционная жизнь кончена. Главное, чем я жил до революции, была научная работа.

У меня была великолепная лаборатория и библиотека в моем санатории у платформы Чубинской. Такая же прекрасная агрономическая библиотека была и у моего отца в имении в версте от меня.

Когда ограбили мой госпиталь, я выехал в Киев и вывез с собою самые лучшие приборы, такие как микроскопы, электрические приборы и проч. Но все мои коллекции и огромная часть аппаратуры осталась там. Взял я и кое-какие вещи, в том числе великолепную виолончель, подлинного Страдивариуса. Был со мною и полный комплект одежды старорежимного образца: фрак, смокинг, сюртук и проч. Теперь, при но-

вом порядке, это, конечно, были атрибуты отжившего, и можно было смело сказать, что они никогда больше не пригодятся. Научные приборы я перевез в физиологическую лабораторию, где работал, а домашние вещи были в комнате, которую я снимал.

За несколько дней до отхода из Киева я отдал два своих цейсовских микроскопа на сохранение своим ученицам-медичкам. Если бы я вернулся, я получил бы их обратно, если нет, все же они будут в хороших руках. Ведь микроскоп, с которым я работал всю жизнь, становится как бы частью самого ученого.

А вот на комплект старорежимной одежды я иногда поглядывал с насмешкою. И однажды, когда во двор вошел татарин, скупавший старые вещи, я спустил ему за гроши эти на самом деле новые и хорошие вещи. Чтобы не напоминали о старых временах. Теперь ведь наступает век пиджачка с его демократической физиономией.

Когда я сказал татарину: «Бери, ведь все равно через неделю здесь будут большевики, а при них это не нужно», татарин весь сжался и тревожно спросил: «Как, неужели придут большевики?». И купил комплект буржуазных предрассудков.

Более всего мне было жаль расстаться с моим верховым конем, который на Мазурских озерах нащупал у Гольдапа своими ногами брод и вывел меня с транспортом раненых на 58 подводках и половиною дивизионного лазарета из окруженного города. Коня купил у меня за 600 рублей мой «придворный» поставщик Берко и обещал лелеять его.

Уходя в скитания, я бросил взгляд на свою комнату. Она имела спартанскую физиономию. Посредине стоял громадный простой стол, весь заваленный книгами, бумагами, а в углу были свалены приборы, реактивы и стояла прислоненная к стенке винтовка.

Ничего мне не было жаль. Большевики все равно ожидают и испаскудят русскую науку. Но в углу стоял мой Страдивариус и фагот, на котором я играл в опере. Мне стало жаль виолончели, и я ясно себе представил, как какой-нибудь еврейчик, не признающий буржуазного права собственности, будет на нем испражняться в каком-либо оркестре.

А у меня было много приятелей – оркестровых музыкантов, ибо я любил играть в оркестрах... Станным образом этот мой любимый инструмент послал мне о себе весточку через много лет в эмиграцию. Лет через десять я получил из Харбина письмо от моей племянницы. Она поведала мне, как при отходе добровольцев ее муж, князь Голицын, в Крыму был расстрелян большевиками. Она, особа энергичная и красивая женщина, стала пробираться в Сибирь, где были ее родные, и с большими авантюрами проезжала через Харьков.

В молодости я был женат, и у меня от этого брака была дочь, которую я много лет не видал и встретился с нею уже когда она окончила университет. Мы жили врозь, но встретились друзьями. Она осталась у большевиков и была врачом с хорошими знаниями. Моя племянница ее разыскала, и та встретила ее очень мило. Но... любви покорны не только все возрасты, но и состояния, и даже большевики... И вот в это время моя дочь была невестой врача-большевика. Но самое характерное для этих нравов и времен было то, что во время пребывания у нее моей племянницы моя дочь должна была скрывать ее от своего жениха...

Во время моей смертной борьбы с большевиками я никогда не питал к ним ненависти и даже не всегда питал презрение. Но когда я через много лет читал это письмо, чувство невыразимого отвращения охватило меня по отношению к этому животному, которое не только служило большевикам, но которого должна была бояться любимая им женщина, чтобы им не сделан был донос на нее. И с тех пор семья моей дочери перестала для меня существовать. И если бы мне когда-нибудь пришлось встретиться с нею, я не принял бы ни ее мужа, ни ее детей. Я проклял бы доносчика, которого должна была бояться кузина его жены. И когда я после того однажды получил карточку – кажется, ее дочери, – я не посмотрев бросил ее в мусор. Потомство предателя моей Родины для меня не существует...

Однако моя племянница, героически пробравшаяся через всю Сибирь, проездом через Киев пошла в мою бывшую квартиру и... видела мой Страдивариус, мирно стоявший у моих хозяев. Не пронюхали,

видимо, мои приятели-еврейчики, какое сокровище упустили они в своем неведении.

В моей беспокойной жизни, швырявшей меня по всем бедствиям моей Родины, я всегда считал, что такой человек, как я, не должен быть связан с женщиною глубоким чувством. И когда на моем пути попадались прекрасные женщины с чуткою душой, я своевременно отходил от них. Несколько романов, завязавшихся в моей жизни, были неудачны. Меня влекли к себе женщины второго типа Вейнингера – не женщины-семьянинки, – и дань природе отдавалась без глубоких чувств. Я видел, как часто любимая женщина-семьянинка хоронила в своем муже все чувства и долг гражданина, а древних женщин, говоривших мужу, отправляя его на подвиг: «Со щитом или на щите», я не встречал. Нечего греха таить, я не любил семьи и избегал «порядочных» женщин...

И вот, во времена керенщины – я ведь не был тогда еще стар – я чуть-чуть не нарвался. На моем пути я встретил женщину, которая мне понравилась. И много мне пришлось бороться, чтобы отойти от нее благополучно.

Эта культурная, аристократическая семья при матери-вдове попадала в затруднительные положения. Как-то раз я узнал, что мать находилась в большом затруднении и что ей надо три тысячи. У меня деньги были, тогда еще не обесцененные, и я сейчас же предложил их ей. Я дал их совершенно просто, без всякого раздумывания. Потом эта умная и воспитанная женщина сказала мне однажды: «Как это вы так просто, без всякой расписки дали эти деньги?»

Видите, какие были времена – даже дружеская помощь требовала расписок.

И все-таки я любил женщин и был всегда окружен своими ученицами, любил и флирт, только боялся попасть под их башмак.

Была около меня еще в дореволюционное время одна женщина, которую если я и не любил, то она мне очень подходила по нраву. Шикарная женщина из общества. Я был богат, и стоила она мне много. <...> И

на одном трагическом эпизоде моей жизни, который своевременно прогремел во всей прессе, эта женщина сумела быть до известной степени героической. Мне предстояла дуэль. И в то время, как друзья мои все сетовали и старались отклонить ее по чисто принципиальным мотивам, она мне смело сказала: «Иди!» И я ее долго ценил за это.

Прошла война, прошла революция, и однажды мы сидели за ужином в хорошем ресторане, уже во времени эмиграции, когда столы снова были накрыты скатертями и мы были в хорошем обществе. Шли мирные беседы. Мой взгляд случайно упал на страницу французского издания *Illustration*. Там была гравюра, изображавшая на Нижегородской ярмарке комиссаров с их содержанками, так называемыми «содкомами». Я остолбенел: в одной из фигур я узнал свою бывшую приятельницу. Вот как швыряет карты революция. Я хорошо знал психологию этой интересной женщины! Променяла светское общество на комиссаров, ибо теперь были их времена. <...>

## ГЛАВА V

### Муравьевское побоище

12 января 1918 года киевский кружок врачей-психиатров справлял Татьянин день. Мы отправились в загородное отделение психиатрического госпиталя недалеко от Политехникума. В этот вечер окраины города были пустынно, и всюду шла беспорядочная стрельба, к которой люди уже привыкли. В психиатрической коллегии, как и всюду, отразились веяния времени. Во главе стали люди без знаний, спихнувшие старых врачей и занявшие их места. Группа ловких беспринципных говорунов во главе со старым революционером, доктором Гаккебушем, захватила руководство психиатрическим делом в свои руки, а еврей-врач Розенштейн играл роль комиссара, хотя никем и не уполномоченный. Эти люди «устраивали свои дела» и переводили своих единомышленников с фронта на тыловые места. На это роптать не приходилось, ибо

всюду было одно и то же. Формы этой коллегии были еще терпимы, ибо по существу доктор Гаккебуш был умным и порядочным человеком. Он давно прозрел в душе, понял тайну революции, но возврата ему уже не было – революция захватила его мертвой хваткою.

Пирушка напоминала времена давно прошедшие обычных наших татьянинских встреч, и то, что она происходила под аккомпанемент революционной пальбы, слышавшейся в окрестности, воспроизводило в фантазии феерическую надпись вавилонских дней «Мене, те-кел, фарес».

Говорились тосты. В винных парах уже мешался украинский говор со старым русским, но маски комедиантов снимались при напоминании о старых добрых днях, когда «Gaudeamus» звучало в иной декорации старых студенческих пирушек. И когда душа немного просветлилась под старые напевы, дружеская беседа велась в старых тонах.

Меня уже знали как не особенно податливого по отношению к завоеваниям революции, и я предложил тост за оживление гибнущей России. К удивлению моему, тост был горячо поддержан и принят серьезно всеми. Вот какова, значит, была душа русского интеллигента под маской революционного карнавала. Но мешала какая-то сила сдунуть с себя наваждение революции, и сила эта была повальное безумие.

Сначала говорили речи довольно сносного содержания, потом пили и до глубокой ночи резались в карты, в азартные игры: тыловая зараза делала свое дело. Над этой вечеринкой уже висел грядущий ужас. Ночью возвращаться по улицам было невозможно, и под утро мы разлеглись где кто мог.

Я возвращался в город пешком около девяти часов утра и по обыкновению направился в физиологическую лабораторию университета, где вел свою научную работу. Но накануне мы хорошо выпили, вспомнили студенческие годы, и работа в этот день не клеилась.

В лабораторию уже врывались тревожные вести с улицы. Около полудня послышались выстрелы, и кто-то объявил, что началось большевистское выступление.

Из опыта революции я знал, что если не принимаешь в борьбе активного участия, то в эти часы потрясений лучше всего сидеть дома. Когда разгорается уличный бой, путь домой становится непроходимым.

Я вышел на улицу. Заметно было смятение. Все стремились домой. На тротуарах еще были люди. Слышались выстрелы со стороны Арсенала, откуда, как говорили еще раньше, должно начаться выступление его рабочих. На Караванной улице я видел небольшую кучку людей, стоявшую на тротуаре. Здесь залетная пуля только что ранила проходившую женщину, и ее увезли в больницу. Всюду я видел одну и ту же картину: вокруг трупов лошади, разбитой телеги, как и на окраинах настоящего боя во время войны, всегда, даже с риском быть задержанными, скопляются группы любопытных, расспрашивают о случае, хотят взглянуть. Где-то у Арсенала стреляли, а здесь пуля попадала в случайно проходившую, ни в чем не повинную женщину, смерть которой никому не нужна. Сколько раз я читал о таких случаях, а теперь в ближайшие дни насмотрелся их вдоволь.

Теперь Арсенал был очагом, из которого началось большевистское выступление. На Подоле шевелились еврейская молодежь и русские рабочие. Их называли «местными большевиками».

Официальное движение большевиков на Украину еще не было возведено, и газеты его даже отрицали. Говорили о самовольном вторжении китайских и латышских банд, составлявших фактически большевистский авангард, а затем, говорили, следуют регулярные большевистские войска, состоящие из частей перешедшей на сторону большевиков старой армии под командою царских офицеров и генералов Клембовского и Гутора.

Обоих этих генералов я лично знал и помнил по маньчжурской войне. Клембовский был тогда командиром Тамбовского полка, а Гутор – начальником штаба 9-й пехотной дивизии в отряде, при начальнике авангарда которого, генерале Орбельяни, я состоял. Обоих офицеров я видел в трагические моменты лоянских боев. На моих глазах был разбит на Янзелинском перевале Тамбовский полк, и мне пришлось в

течение долгих часов работать на перевязочном пункте, где было свалено до 800 убитых и раненых. Гутора я видел у Сыкватунской сопки, куда он вел с генералом Гершельманом 9-ю пехотную дивизию на подкрепление после неудачи Нежинского полка. Тогда это были настоящие офицеры Императорской армии, и не могло им прийти в голову, что карьеру свою они закончат большевистскими спецами. Во всяком случае, имена этих генералов были связаны с наступлением большевиков на Киев, и их называл весь Киев.

В эти дни люди в своих домах были пришибленны. Чувствовалось что-то новое. Не понимали, что происходит. Украинцев уже ненавидели, большевиков не знали. Трудно было понять, с кем и где идет бой.

Так начались эти одиннадцать дней непрерывного боя между украинцами и большевиками с пятнадцатидневной бомбардировкой города.

Жизнь в осажденных домах была своеобразна и не лишена интереса. Запирались ворота, организовывались дежурства и охрана от нападения бандитов, которые по ночам врываются в дома, убивали и грабили. Это были не революционеры, а просто преступники и подонки городского населения. Домовые комитеты заседали и «обсуждали положение». Одни жители относились к делу активно, охотно несли дежурства, другие – особенно студенческая молодежь – не желали подчиняться правилам домовых организаций.

Во время последующих непрерывных бомбардировок, когда в комнаты залетали пули и калечили людей в своих квартирах попадающие туда снаряды, – где-нибудь на внутренней лестнице, защищенной от пуль, сбивались в кучу все квартиранты, высиживая так целые часы. Научились прятаться в подвалах, но и это не помогало. Снаряды не признавали никакого порядка и как раз угождали часто в подвалы.

По всему городу шли уличные бои, и безопасных мест не было. Непрерывно трещали где-то близко пулеметы, визжали в вышине летящие снаряды и лопались шрапнели. Первые дни стрельба шла беспорядочно. У украинцев, к которым присоединились украинизировавшиеся части войск с фронта, еще сохранился кое-какой боевой порядок. Они вели бои



все-таки планомерно. Большевики же – местные – представляли собой вооруженные банды рабочих. Они выступали группами и вели беспорядочный партизанский бой. В течение первых дней эти две стороны сражались и днем и ночью среди прохожих и мирной публики, которая по существу не была на стороне ни одних, ни других.

На площади, среди народа, неожиданно появлялись украинцы и большевики, стреляли друг в друга и попадали в публику, которая разбегалась. Бой кончался в одном месте, но сейчас же завязывался в другом. Множество было эпизодов и безобразных сцен. Обывателя больше всего поражало то, что солдаты ни с того ни с сего убивали на улице всякого, кто вздумает сделать замечание по их адресу. Поплатилось несколько торговков, которым не нравилось, что им мешают торговать. В русской революции торговки не сыграли той роли, как французские мергеры времен великой революции: они больше сетовали на затруднения в своей профессии, которые им ставила революция. Они пробовали даже выругать матросов, а те их за это просто пристреливали.

Вечером все сидели по домам. Беда была с хлебом и провиантом. Жизнь уже социализировалась: надо было ходить за покупками, а повсюду стреляли и по улицам летали пули. Лавки и базары, несмотря на беспрерывную бойню, были открыты. Эта картина напоминала ту, описание которой я читал в воспоминаниях о Парижской коммуне.

Цены росли – купить что-либо было трудно, и накапливались длинные очереди. Хлеб в домовые комитеты доставляли по расчету и в ограниченном количестве.

Выступление рабочих началось с забастовки, хотя было непонятно, против кого бастовать и чего и от кого добиваться.

Погасло электричество, и заперли воду. Клозеты забивались нечистотами. Публика должна была ходить по улицам за водою под обстрелом. Сначала боялись, но, когда бой затянулся на много дней, обыденная жизнь вступила в свои права. Когда стрельба обострялась, все шарахались в подворотни и жались к стенкам. Как только стрельба затихала, люди продолжали свой путь, ускоряя лишь шаг. Искали об-

легчения в общении друг с другом: в компании было не так страшно. Все жители домов перезнакомились, завязывались даже флирты. На лестницах происходили собрания, но и здесь отрыгалась керенщина. Разбивались на правых и левых, демагогили и говорили глупые речи. Никто не знал, кто победит, и потому колебались – к кому выгоднее подделаться. Страх сменялся апатией.

Но все вздыхали и желали, чтобы «это скорее кончилось». Кто победит – обывателю было совершенно безразлично: знали, что одни не лучше других. Отдельные люди сильно нервничали. Все были в жутком страхе, только одни владели собою лучше, другие хуже. Одни бравовировали, но были и такие, которые относились ко всему равнодушно. Знали, что каждую минуту могут ворваться в дом, перерезать, ограбить. Соседние дома установили между собою связь и на словах собирались помогать друг другу против нападения бандитов, которые, пользуясь суматохой боев, грабили. Это не всегда или почти никогда не удавалось. Когда соседей грабили, обыватели дома притихали и молча надеялись, что их минет чаша сия. Временами дома были на настоящем военном положении. Оружия во всех домах было много, но в критические моменты им не пользовались, а просто просили пощады. Люди еще не забыли Мировой войны. Ходили на службу и на занятия, несмотря на уличные бои. По целым часам стояли в подворотнях и жадно расспрашивали проходящих, где и что происходит.

Когда очередь боя доходила до нашей улицы, все бросались под прикрытие. Непрерывно поступали сведения об убитых и раненых, по большей части из числа мирных жителей, пораженных шальными пулями. Возвратившиеся из военного госпиталя врачи рассказывали, что в той стороне стреляют особенно сильно, что приходится пробираться под обстрелом, что много людей ранено в палатах госпиталя. На нашей улице из госпиталя Красного Креста, в котором я работал, вышел старший врач, француз на подъезд и был убит пулей на месте. К месту боя под градом пуль подъезжали отряды под флагом Красного Креста, но этот флаг не спасал: несколько санитаров было убито.

На четвертый день боев стали обстреливать город из-за Днепра артиллерийскими снарядами; то подходили настоящие большевистские отряды матросов и красных войск. Еще в самом начале этих боев на Владимирской улице, недалеко от подъезда гостиницы «Прага», снарядом, Бог весть откуда прилетевшим, убило лошадь. Труп ее долго валялся у тротуара, а проходящая публика с любопытством созерцала батальную картину, как во вздутом брюхе трупа лошади копошились бродячие собаки.

Первые дни боев успех клонился в сторону украинцев. Кто ими командовал, мы не знали. Они отбили у большевиков вокзал.

Мой квартал, в котором я жил, был расположен между вокзалом и площадью на Бибииковском бульваре, где стоял памятник графу Бобринскому. Через нас угощали друг друга снарядами две батареи – большевистская от вокзала и украинская с Тимофеевской улицы. Над нашим домом рвались шрапнели, а уличные дети забавлялись тем, что в промежутки между обстрелом подбирали у нас под окнами осколки снарядов и шрапнельные пули, а в квартире моих знакомых была изрешечена вся стена пулями и пробиты листья стоящих в ней фикусов.

Рядом во двор упал неразорвавшийся снаряд. Бомбардировали из-за Днепра. Симфония боя все усиливалась и по временам так обострялась, как редко приходилось слышать на фронте. Со страшным звоном лопались в вышине снаряды. Совсем близко отбивали свою дробь пулеметы. Шел сильный ружейный огонь по невидимому врагу. Сражающиеся на улицах умышленно не убивали прохожих, но тут же на глазах всех один товарищ налетал на другого и убивал его. На углу нашего квартала было стащено несколько трупов. Удивительно, как любопытны люди: под огнем, рискуя жизнью, идут глядеть на это зрелище. Это были оборванные, раздетые и окровавленные молодые парни. Одни говорили, что это украинцы, другие – что это большевики. Одно было ясно: это были русские люди, убивавшие друг друга без смысла и без цели. Лица их застыли без выражения.

Мое внимание кто-то обратил налево по Безаковской улице. У вокзала стоял разъезд украинцев – несколько всадников. Они стояли про-

тив вокзала, который был в руках большевиков. Над нашей головой разорвался снаряд, и разъезд зашевелился: завязывался бой, и толпа быстро рассыпалась.

Время от времени я выходил на улицу и простаивал, как и другие жильцы, у ворот. Картина была однообразная и грустная. Кому было надо, те ходили по своим делам. В кухмистерской обед достать было трудно. Сидели без сахара, хлеб доставался все труднее.

Я почти не испытывал страха: на душе было безразлично и о будущем не думалось. Я считал все погибшим с первых часов революции. К обеим сторонам – и к большевикам, и к украинцам – я относился с полнейшим презрением, а потому активно в дело не вмешивался. Я говорил себе, что все имеет свой конец – должно кончиться и это безобразие. Однако дни проходили, а оно не кончалось. Жители стонали: «Уж пусть кто-нибудь из них побеждает, только бы скорее это кончилось».

Бомбардировка еще усилилась. Особенно обстреливали сквер у Золотых Ворот. Рассказывали о том, как в домах рвались снаряды и убивали людей. Многие случаи были удивительны. В квартире профессора Дитерихса сквозь стену влетел шестидюймовый снаряд, разорвался в комнате, все засыпав и разворотив, а двое людей, лежавших на кроватях, остались целехонькими и невредимыми. Бомбардировка нагоняла страх, но убивала мало людей, да и разрушения ее, по существу, были ничтожны: полевыми орудиями нельзя разгромить город, особенно когда их было мало, как у большевиков. Убитые считались только десятками.

С приходом Красной армии украинцев стали теснить. Однажды сражались у самого моего дома, и я наблюдал, как вели себя солдаты. Недурно. Один из них, подвигаясь вперед вдоль стен домов, зорко наблюдал, потом стрелял и вновь подвигался вперед. Бой вели маленькие и жалкие кучки. Особенно сильна была канонада ночью, но я уже столько ее слышал в жизни, что спокойно раздевался и превосходно спал у себя в комнате.

На пятый или шестой день боев большевики заняли вокзал. Подошел бронепоезд и начал в упор расстреливать город. Большевики знали, что делают, и в один из вечеров разыгралась восхитительная картина, которую я вместе со всеми окружающими с восторгом наблюдал.

Недалеко от дома, в котором я жил, по направлению к Биби-ковскому бульвару высился дом Грушевского, того самого платного австрийского агента, который возмутил всю Украину. Большевики нацелились, и первым же снарядом угодили в дом Грушевского. Семиэтажный дом запылал как свечка. Дом был полон жильцов, и они, говорят, как тараканы бросились спасаться. Картина пожара была грандиозна на фоне наступающей темноты. Дом горел как факел. Каждый раз, когда пытались его тушить, большевики поддавали жару новым снарядом. Публика восторгалась. Слышались реплики: «Так ему, мерзавцу, и надо!». Однако молва говорила, что «мерзавец-собственник», прививавший России социализм, тогда уже передал дом в другие руки.

Несмотря на всюду рвущиеся снаряды, любопытство влекло людей смотреть на зрелище. Пошел и я, чтобы насладиться возмездием, и завернул за угол квартала. Было действительно красиво и жутко. В это время туда, где мы стояли, не стреляли, и на тротуаре собралась порядочная группа. Артиллерист бронепоезда, по-видимому, заметил это и пустил в нас один за другим два снаряда. Мигом сдунуло любопытство, и люди бросились врассыпную.

Дом горел два дня. С этого вечера всюду пылали пожары. Недалеко от нашего квартала помещался дом воинского начальника. Там, как щепки, горели деревянные дома. Было величественно и страшно. В один из вечеров пронесся слух, будто бы из соседнего квартала велено выселить все население. На фоне черного ночного неба внизу было светло, как днем. Озаренные красным отблеском пожара, по тротуарам этого квартала, осыпаемого шрапнельными пулями, сплошной вереницей двигались густой массой люди с узлами на плечах. Их сзади подгоняло пламя, а на пути осыпали пули, и некуда было уйти от

этого ужаса. Такие картины я раньше видел только в кинематографе – помню, из истории карфагенской гибели.

«Несчастные, – думалось мне. – Кому нужны все эти страдания?» Люди гибли во имя происков проходимцев и честолюбцев. Но что было пользы роптать? Люди смирялись и впадали в состояние прострации. Но, даже умирая, они не могли отделаться от политического бреда и все еще спорили. Все ворчали, но громко не могли протестовать. Кто-то должен быть властью, и всякому готов был подчиниться обыватель, вырывший себе во времена Керенского могилу собственными руками.

Десять дней шел безрезультатный бой. Наконец стали говорить, что украинцы собираются уходить. О них никто не скорбел. Они были чужды душе киевлян, и, пожалуй, большевики были милее. На все теперь был согласен русский интеллигент, только не на возвращение царского режима. Так была отравлена его душа бредом революции.

Выборное городское управление презиралось боровшимися за власть сторонами, и никто с ним не считался. Хозяйство города было окончательно разрушено. Железные дороги возили только товарищей с фронта, почта бездействовала, водопровод почти не работал. Электричество зажигали на несколько часов. Трамваи закрывали одну линию за другою, а социалисты – трамвайные служащие – понимали это как переход дела в их руки.

Я видел, как во время сильного обстрела по улице шли два пожарных по направлению к вокзалу с большим белым флагом в руках. Пожарные еще пробовали выезжать на пожары, а санитарные отряды подбирали раненых на улицах.

25 января 1918 года украинцы отошли из Киева. Обыватель собирался отдохнуть. Интеллигенты говорили: «Большевики так большевики, только бы не царь...»

Наутро на столбах были расклеены лживые и глупые плакаты городской управы, призывавшие горожан вернуться к своим мирным занятиям и подчиниться новой власти – большевикам. Эти люди совер-

шенно не понимали, что такое большевики. И, сами того не понимая, выманивали жертвы прямо во власть своих палачей.

Украинцы отошли. Большевики вступили в город. Казалось, враг ушел, и мирным жителям нечего опасаться расправы и мести, тем более что победа большевиков ожидалась благосклонно: уж очень насолили украинцы. У нас в доме поэтому не придали значения рассказу очевидца, который видел, как недалеко на улице солдат-красноармеец остановил прохожего и потребовал документ. Незадолго до вторжения большевиков украинцы по выдавали всем документы на красных карточках, где значилось звание «казак» и имя. Такой документ был выдан и мне. Прохожий показал этот свой вид, который вовсе не означал, что его обладатель был в рядах сражавшихся украинцев. Красноармеец, прочитав документ, без разговоров застрелил прохожего и спокойно отправился дальше.

Люди не понимали и недоумевали, в чем дело. Но скоро такие случаи стали повторяться, и люди поняли, что украинские документы надо уничтожить. Я спрятал свой казачий документ между двумя листиками своей брошюры «Душа и природа» и склеил эти два листика.

Любопытна была эта черта революции. Когда ругали старый режим, кричали о формализме, о стеснении личности и порицали паспортную систему. Но никогда так не требовали документы, как во время революции. Всюду их проверяли и спрашивали. Каждый обыватель должен был носить при себе целые пачки удостоверений – от домовых комитетов, от профессиональных союзов, от разной власти.

Несмотря на тревожные сведения, любопытство выгоняло людей на улицу. Вышел и я, чутьем поняв, что надо одеть штатское платье, которое, к счастью, у меня было достаточно потрепанное. Под ним у меня было военное одеяние без погон, которых тогда уже никто не носил.

Было ясное утро, светлое и теплое. На улицах было полно народу. По первому впечатлению все было благополучно. На Безаковской улице я видел много железнодорожных служащих, которые шли весело и беспечно, шутя друг с другом. Но они были вооружены с ног до

головы. Это были большевики. Они ничем не отличались от тех, кого за этот год мы привыкли видеть во всех ролях. Тут же бродило много подростков, тоже вооруженных, по два-три вместе. Мое внимание остановили шедшие впереди меня трое вооруженных юношей в форме технического железнодорожного училища.

Так вот кто были «местные большевики». Это были железнодорожники, ученики технических школ, рабочие Арсенала...

Дальше в городе уже встречались большевистские войска. Это были знакомые нам товарищи солдаты, но без погон. Довольно много попадалось матросов.

Иногда большевики останавливали прохожих, по преимуществу военных, и требовали документы. Одних отпускали, других уводили. Но картина была довольно мирная, и никто не понимал того ужаса, который уже вступил в свои права. Эти группы вооруженных людей рассыпались теперь по всем улицам и часто заходили в дома.

Так началась охота на людей, которой еще не видали киевляне. Делались обыски под предлогом отобрания оружия, но не было видно, что, собственно, они ищут. Повсюду царили красные флаги и банты, но они уже никого не поражали.

Группами и поодиночке вели арестованных, но это меня не удивляло – со времени Керенского могли арестовать каждого. Между прочим, попался мне навстречу и арестованный матрос, которого вели под конвоем к Мариинскому парку и ко дворцу, где заседал Совет рабочих депутатов и где, как потом выяснилось, заседали самообразовавшиеся суды из жиденят, творивших суд и расправу над задержанными буржуями и офицерами.

Картина была сильная и интересная. Было что-то подозрительное в атмосфере, не пахло миром, который обещала прокламация городской управы.

Только к вечеру по всему городу распространились вести о том, что большевики арестовывают на улице всех офицеров, генералов, даже отставных и глубоких стариков. Арестовывали без всякого разбора,



без предъявления какого бы то ни было обвинения. Вели к Мариинскому парку и во дворец. Там за столиками сидел импровизированный суд из жиденят, студентов, реже рабочих. Допрос был короток: «Вы офицер?». Знак конвойным – тоже добровольцам из молодежи плебейского типа – и осужденных отводили во двор и ставили «к стенке». Здесь впервые и родился этот термин, который потом стал эмблемой большевистской революции.

Этот расстрел и убийства казались невероятными, и в первое время им не верили. Бой ведь шел с украинцами, а не с русскими офицерами, которые по уходе из армии мирно жили в Киеве, не делая против революции никаких активных выступлений.

По всему городу вылавливали военных, главным образом под руководством матросов, и расстреливали в Мариинском парке. Многие спаслись чудом. Были случаи, что людей спасали и красные командиры, сами бывшие офицеры, перешедшие на службу к большевикам. Один такой офицер, бывший во главе отряда, когда от одного из офицеров, проходившего по улице, красноармейцы потребовали документ и когда тот протянул ему свой документ, по-французски сказал ему: «Вы с ума сошли, что даете такой документ, вас расстреляют» – и, воспользовавшись неграмотностью красноармейца, отпустил обреченного. Видно было, что многие офицеры, очутившиеся в рядах большевистской армии, служили там по необходимости. Находились среди большевиков люди, которые шептали арестованным: «Бегите скорей» – и некоторым это удавалось благодаря царившему во дворце беспорядку. Расстреливали матросы, подростки, солдаты, любители. Рубили шашками, издевались, говоря, что отправляют «в штаб Духонина». А потом убитых сваливали в яму, вырытую в Мариинском парке. Без допроса, по «революционной совести». Это было деяние Троцкого – жидовская месть, выполняемая обезумевшими матросами. Избиение длилось три дня и насчитывает 5800 жертв. Описать эти картины во всем их разбойном ужасе невозможно. Человек терял свой образ высшего существа и превращался в зверя.

В Дарнице стоял поезд Муравьева, главнокомандующего большевистской армией. К нему приводили арестованных там офицеров. Он просто давал знак, и их тут же на дворе расстреливали. Через несколько дней те трупы, которые не успели зарыть в Мариинском парке, свезли в анатомический театр. То, что я там видел, неопишимо. Вся зала была завалена трупами людей, зачоченевших в разных позах. На некоторых были остатки одежды: в те времена еще не грабили так чисто, как впоследствии. При мне подвезли несколько ломовых подвод, груженных трупами офицеров. Они были навалены на платформы кое-как, и мне бросилась в глаза торчащая нога штабс-капитана, босая, с искривленными пальцами. Между трупами попадались и чиновники. На полу я видел труп генерала Иванова, с которым еще недавно обедал в ресторане. Его принимали за труп главнокомандующего генерала Николая Иудовича Иванова, на которого он был несколько похож.

Большевики по еврейской традиции работали на уничтожение своего врага, а этим врагом тогда были русские офицеры. Это вовсе не были жертвы народного озлобления, ибо действовал не народ, а красноармейцы, руководимые жидами.

Шли организованные и планомерные убийства, диктуемые Троцким. И его соображения, пожалуй, с точки зрения интересов революции были правильны. Трудно сказать, что было бы, если бы революция не уничтожала так свирепо офицеров, особенно кадровых. Тогда это была самая благородная часть русской интеллигенции, и никто тогда не мог предвидеть, что русские офицеры превратятся в непредрешенцев и изменят своим лозунгам в будущем. Во времена Керенского офицерская каста вела себя лучше всех других. За эти дни было убито десять врачей и много интеллигенции.

Как легко погибали люди в эти дни, показывает следующий пример. Пошел я как-то навестить своих хороших знакомых – Вишневских, живших на Владимирской улице, против Десятинной церкви. Там было жутко в эти дни: стена носила следы пуль.

Мы сидели за обедом вместе с чиновником министерства земледелия Глинкою, который приходился мне далеким родственником по моему знаменитому деду композитору Глинке. Он был в солдатской шинели без погон. Беседа была обычная, и в это время люди разговаривали за столом и ели, как всегда. Мы вышли на улицу вместе. Я вернулся домой, он нет. Через неделю К. К. Вишневская нашла его труп в одной из мертвецких. Он был убит на улице неизвестно кем и как, а главное – зачем?..

Знакомые еще ходили иногда друг к другу и собирались небольшими обществами, а через несколько дней уже не досчитывались своих собеседников. Все это проделывалось просто, без революционного пафоса. Экстаз первых дней революции сменила холодная злоба и ненависть.

Одних судьба щадила, других губила, и не было никаких правил для этого выбора.

Когда я теперь вспоминаю все свои авантюры периода революции, диву даешься – как удалось уцелеть, когда на моих глазах гибли люди к ней вовсе непричастные.

Любителей расстреливать находилось сколько угодно. Во время расстрела в Мариинском парке палачи смеялись, шутили. Участвовали в убийствах и мальчики.

Так как в первый день расстрелов никто ничего подобного не ожидал и многие думали, что, к общему благополучию, все кончено, то люди выходили на улицу погулять и оглядеться после одиннадцатидневного боя, а попадали *к стенке*. Казнимые умирали пассивно: сопротивляться было невозможно. Мольбы о пощаде вызывали только насмешки. Сволочь не знала милости.

Во дворце убийствами руководила еврейская молодежь. Этот народ на протяжении всей истории применял поголовное уничтожение противника. История не знает более жестокого по отношению к ослабшему врагу неприятеля.

Городская эсеровская дума молчала и не нашла в себе мужества протестовать. Эти убийства сваливались на народ. Это, конечно, был вздор, ибо революционная чернь и жидова не есть народ.

Второй вид безобразия этих дней представляли обыски, еще со времен Керенского превратившиеся в повальный грабеж.

Теперь в этих действиях проявилась система. Красноармейцы-латыши оцепляли целые кварталы или двигались толпами по улицам, заходя подряд во все дома. Требовали оружия, а фактически грабили все мало-мальски ценное.

Ворвались и в квартиру моих хозяев. Вошел молодой полуинтеллигентный солдат-латыш и обратился ко мне:

– У вас есть револьвер, мне сказали... – оgoroшил он меня.

У меня действительно был великолепный браунинг и шашка. Ожидая обыска, я спрятал револьвер в рукомойник, наполненный водою, а шашку – в подвале между дров. Знание психологии мне помогло; я понял, что он врет и что ему на меня еще не донесли. Я нагло солгал, что был у меня револьвер, как у военного врача, но что мерзавцы украинцы его отобрали. На этот раз пронесло, и он даже довольно мирно заговорил со мною.

Эти вторжения и обыски длились во все время господства большевиков. Начались отбирания «избытков», но под эту рубрику подходило решительно все. Ночами по лестницам раздавался топот сапог, и гуськом тянулись привидения в серых шинелях с винтовками. Люди трепетали и гибли.

В это время проявила себя семья Пятаковых – богатых евреев-фабрикантов. Все они бросились в революцию и сразу выплыли на ее поверхность. Один из братьев был украинец, другие большевики. В одну революционную ночь приехали в автомобиле какие-то люди, увели и убили Пятакова-украинца. Все тому радовались. Пятаков-большевик забирал власть и фигурировал в совете рабочих депутатов. Впоследствии был членом головки большевизма, и за его подписью печатались большевицкие деньги. Позже его расстрелял как «пса» Сталин.

И все-таки во всей этой феерической картине иногда проглядывала рука возмездия, а его получили очень многие. В те дни произошел эпизод, который передаю так, как он трактовался в те дни.

В Киеве митрополитом был Владимир, раньше бывший митрополитом Московским. Про него в первые дни революции передавали, что однажды, явившись в заседание Синода и увидев будто бы еще со времен Петра Великого по исторической традиции стоявшее на первом месте кресло для «Царя Всея России», он, указав на него пальцем, приказал убрать его. Правда ли это, не знаю, но об этом тогда много говорили. Теперь наступило возмездие: пришла очередь, и революция убрала владыку. Его убили большевики и вытащили на улицу труп, который несколько дней валялся на мостовой неубранный. Какова его дальнейшая судьба, об этом больше не говорили. Но, во всяком случае, убийство митрополита не вызвало даже к себе достаточного внимания. Перед лицом палачей революции все были равны.

Знаменитостью этого времени была большевичка Евгения Бош, тоже жидовка. У нее были дочери, из которых одна потом выбросилась из окна при добровольцах. Бош были фанатичками и развратили много людей, вселив в них большевицкую идеологию. Но выдвигались в это время у большевиков и просто проходимцы из интеллигенции.

Таков был первый большевицкий военно-санитарный инспектор врач-невролог Голубев. При царском режиме он сделал отличную карьеру, преуспевал при керенщине, взошел на горизонт власти при большевиках, затем преуспел при гетмане и окончил свою карьеру, будучи послан с миллионом рублей в Германию для приема военнопленных. Тут уже не было никаких идей: типичный либерал строил только личное благополучие. Другой врач-еврей, Хайкес, царил в совете рабочих депутатов и «теснил» врачей, неистовствуя в большевицком бреде и жидовской расправе.

Рабочие Арсенала скоро сделались орудием в руках этих преступников.

После первых дней эксцессов большевики притихли. Этот месяц владычества «первых большевиков» в Киеве, за исключением первых дней муравьевского побоища, мало отличался от керенщины. По ночам продолжались налеты и нападения на дома. Улица в первые дни нашего шествия давала чисто батальные картины. Несмотря на понимание опас-

ности, людей тянуло на улицы, которые были полны народом. Все было грязно, неубрано. Дворники брали взятки с жильцов и грабили домохозяев, грозя доносами. Снег на улицах не скалывался. На счастье, зима была теплая. Валялись неубранные трупы людей и лошадей. Многие дома стояли без стекол, разбитых от сотрясения воздуха при бомбардировке. На фасадах многих домов зияли дыры, проделанные снарядами. Деревья вдоль тротуаров были сплошь покусаны пулями. Особенно пострадали дома на углу Подвальной и Владимирской улиц: здесь большевики нащупывали какой-то украинский штаб. Высоко торчал остов обгорелого дома Грушевского. На него смотрели люди со злорадством и одобряли за его разрушение большевиков.

К этим местам тянулась публика, как бабочки на огонь. Глаз давно привык к картине разрушения, к грязи и беспорядку и к господству серых шинелей на улице: в них теперь была одета вся Россия. Повсюду бродили патрули. При керенщине картина была мельче и подлее, при большевиках грознее. Имущество царской армии разграблялось. На одном красноармейском молодом командире кавказского типа я видел генеральскую шинель с красной подкладкой, но без погон: она, видимо, была снята с плеча убитого царского генерала. В ту пору опасно было выйти на улицу в хороших сапогах. Товарищи говорили: «Гидра контрреволюции», ставили к стенке, а сапоги снимали. Вид людей был безмерно наглый. Движения и жесты слегка возбужденные. Что закурить папироску, что убить человека в эти времена было одно и то же.

По-прежнему, как и при керенщине, по улицам носились автомобили, облепленные товарищами. Была мода на устрашающие плакаты: картины изображали «смерть буржуя» и «отсечение главы гидры контрреволюции». Творчество это не принадлежало большевикам: за деньги эти плакаты рисовали члены союза художников, оправдываясь тем, что есть нужно. Продавалась интеллигенция по дешевке.

Ставились колонны с портретами Ленина, Розы Люксембург, Свердлова. Всюду красовался призыв: «Мир хижинам, война дворцам и смерть буржуям».

Но «недорезанные буржуи» еще ходили по улицам, маскируясь под плебс, и не понимали, что смерть буржуйам, самая настоящая, уже пришла и приходится строиться к расчету за предреволюционные мечты. Не было и в хижинах мира: ушла старая добрая русская жизнь, и стон уже стоял по всей Русской земле. Не тот стон, о котором фантазировал Некрасов, а самый настоящий народный стон свободного народа, обращенного в рабство.

Чернь выползала из своих нор и грабила.

Но уже не царило над толпою радостное состояние экстаза первых дней: люди становились хмурыми. Ликовала только жидова. Но уже не митинговали всюду, как во времена керенщины. Собrania были организованными, и нельзя было безответственно болтать всякий вздор: чуть не попадешь в тон – к стенке!

Во всех домах переживались кошмарные ночи. Были установлены вооруженные дежурства с целью борьбы с грабителями. Приходилось дежурить и мне. Жуткие это были дежурства, когда всюду шла стрельба, ждали вторжения бандитов или очередного обыска большевицкой власти. Пробовали ввести в домах и определенный «порядок дня». Обыватель, столь прихотливый при Царе, теперь был покорный и смиренный. Он только просил, чтобы грабили его «по закону». Большевики-Пятаковы и Евгения Бош с циничным смехом давали ордера на обыски. Характерно, что командиры вторгнувшихся банд, Муравьев и Ремнев, не были чистыми большевиками. Еще менее большевиками были генералы Клембовский и Гутор. Сами войска – латыши и еврейство – были частью мстителями, а в большинстве – грабителями. А большевики типа Бош, Пятаковых, Хайкеса, Рафеса выкристаллизовались на фоне этого вторжения.

Самое избиение офицеров не было санкционировано никаким декретом. Кексгольмский полк, занявший Киев, весь состоял из латышей, которые руководили казнями и обысками.

Три национальности господствовали в первой волне большевизма: евреи, латыши и китайцы. Евреи были инспираторами и палачами-

мстителями, латыши – зверски жестокими и хладнокровными убийцами, а китайцы – революционными солдатами. Много говорили об исключительной жестокости Муравьева.

Большевики вернулись к методам древности: наложению контрибуции на занятые города и ко взятию заложников. Еврейская мораль Троцкого вспомнила традиции его предков. На Киев была наложена контрибуция в миллион рублей. Налог распределяла особая комиссия, и если кто не платил – его забирали и ставили к стенке.

Пока низвергали Царя, обыватель злорадствовал. Теперь пришла его очередь. Он пробовал протестовать, но скоро замолчал и покорился. Говорили, что генералы перешли к большевикам из страха за себя и за свои семьи, будто бы оставленные заложниками. Печальная судьба для военачальника – оставить потомству и истории свое опозоренное имя. Тем более что как Муравьев, так и Клембовский впоследствии были расстреляны большевиками.

Кто такие были командующие побоищем офицеров в Киеве Муравьев и Ремнев, в точности никто не знал, не выяснено это и до настоящего времени. Запутыванию революционной исторической действительности очень способствует особый род литературы, который создан в последнее время, а именно полуисторических романов и повествований. Таково произведение Чирикова о романе Муравьева. Такие произведения пишутся со слов других, причем автор фантазирует, совершенно не считаясь с действительностью. Такой элемент есть даже у Краснова и особенно у Гуля. Романист может, конечно, фантазировать как ему угодно, но тогда лучше брать не конкретные личности с историческими именами, а просто давать сборный тип героя, который он описывает.

По сведениям лиц, видевших этих двух героев киевского побоища, и Муравьев, главнокомандующий большевистскими войсками, и Ремнев, командовавший 2-ю Советскую армией, оперировавшей против Киева, были офицерами Императорской армии: Муравьев – капитаном автомобильных частей, а Ремнев – ротмистром одного из пе-



тербургских полков. О Муравьеве говорили, что он бывший пристав, а Ремнева считали рабочим. По показаниям лица, знавшего Муравьева еще до революции, это был офицер, по материальным условиям принужденный уйти из гвардии и на фронте служивший в 11-й армии. Он был обижен тем, что ему отказали в Георгиевском кресте, на который он, по его мнению, имел право. Это, следовательно, был мститель, каковых среди деятелей революции было множество. Однако расправа была слишком зверская, ибо он мстил всему русскому офицерству. Свыше пяти тысяч офицеров и интеллигентов погибло в этом побоище. Также различны сведения о судьбе Муравьева: после киевского побоища он исчез, и говорили, что он был расстрелян большевиками и что он даже пытался перебраться к Колчаку.

О Ремневе известно мало. Лицо, его видевшее, говорило, что руки его были полны бриллиантовыми кольцами, а это уже плохо вяжется с идейным мстителем, и с идейным большевиком. Пахнет простым грабителем.

Во всяком случае, никто из этих преступников не был идейным большевиком. Вся идея побоища офицеров принадлежит Троцкому, и акт этот был чисто еврейским актом мести старому режиму. В газетах предшествующего побоищу времени велась агитация необходимости ведения гражданской войны. Это избиение в Киеве было бессмысленно, ибо убивали офицеров *en masse*<sup>\*</sup>, а не на выбор. Членами трибунала была еврейская молодежь и еврейки, которые посылали людей на убой – «к стенке».

Сама вакханалия шла стихийно: психическая зараза охватывала массы. Особенно фигурировали в качестве избивателей матросы. Я сам видел, как арестовывал на улице офицеров мальчишка лет двенадцати, вооруженный, с оттопыренной нижней губой, которая бросилась мне в глаза в момент, когда он остановил офицера, требуя документ.

Сами идейные или преступные фанатики, группировавшиеся вокруг Ленина и Троцкого, не убивали. Они находили ревностных испол-

---

\* Здесь: вообще (*фр.*).

нителей в людях типа Муравьева, а черную работу палачей выполнял революционный сброд.

В этот месяц власти первых большевиков они еще не проявили своей организаторской способности. Даже убийцы-матросы, эта «краса и гордость революций», были только исполнителями. Их идеология дальше убийства и грабежа не шла. Размалеванные, как крашенные кокотки, с награбленными кольцами и браслетами на руках, они развратничали с кокотками, травились алкоголем и кокаином и были рабами жидов.

В середине февраля 1918 года в Киеве стали носиться слухи о скорой оккупации Украины немцами. Большевики молчали и несколько смягчились: побоище офицеров приостановилось. Брестский мир уже был заключен. На севере немцы имели связь с большевиками, на юге они отделяли Украину и взяли под свое покровительство украинскую власть в образе Директории. Говорили, что Украинская рада и Директория вернется под охраню германцев. Втихомолку все мечтали, что придут немцы и наведут порядок. Все три власти: керенщина, украинцы и большевики – ведь были невыносимы.

Давно уже сошла со сцены царская Россия, не было больше ни чести, ни патриотизма. Сами свергнувшись в пропасть, люди теперь мечтали о спасении со стороны немцев, с которыми вели упорную войну два с половиною года.

Большевистские войска и комиссары постепенно ретировались, и их отход проходил малозаметно. Но вот что бросилось мне в глаза – это отход чехов вместе с проходящими через Киев большевиками. Этот акт остается как-то не освещенным и в настоящее время.

Еще во время Великой войны по инициативе злосчастного Гучкова из Российской Императорской армии были выделены образования по национальностям, впоследствии в форме латышских батальонов и польских полков причинившие России большое зло. Также Императорская Россия выполнила чрезвычайно неудачное дело формирования чешских войск и направления их на борьбу с Австрией, которой они только что изменили.

Дивизии, сформированные из пленных чехов, были на Австрийском фронте. С развалом Русской армии они оставались там еще некоторое время, но где они находились в последний период керенщины, не знаю. Теперь, перед приходом в Киев германцев, стали проходить отступающие перед ними чешские войска. Они отходили без боя, но в порядке. Ни большевики, ни украинцы их не трогали и говорили, что они отходят по соглашению с большевиками, чтобы отправиться через Сибирский путь на родину.

Киев пустел от большевистских войск и ожидал германцев.

## ГЛАВА VI

### Немецкая оккупация, украинский пуппентеатр и гетманство

25 февраля 1918 года по старому стилю германцы вступили в Киев, а большевики и чехословаки спешно отошли за Днепр. От одного унижения Русская земля переходила к другому. Два года с половиною грудью защищая фронт против германских войск, остатки Русской армии сами отдавались в руки врага, осуществляя пророчества Федьки Юродивого, сказавшего два года назад: «Германцы напоят своих коней водою из Днепра».

Период нашествия германцев вначале внес мало нового. Они шли вместе с оправившеюся и присмирившею в присутствии германцев Украинскою радою, которая и основала в Педагогическом музее так называемый немцами пуппентеатр. Германцы, будучи врагами России, хотели выделить Украину и искали местную власть, на которую они могли опереться. Таковой не было, и они вынуждены были терпеть Раду. Германцы сразу завели порядок в городе. Войска их были образцовы, не грабили и были корректны по отношению к населению, которое скоро к ним привыкло и видело в них свою защиту. Германцы никогда не оскорбляли русских, как делали это впоследствии союзники. Германцы гово-

рили, что во внутренние дела русских они не мешаются, и предоставили Раде под водительством только что окончившего Политехникум студента Голубовича разваливать Украину. Откуда вынырнула эта карикатура вождя Украины, трудно даже себе представить. Буквально без роду без племени, никаких корней ни в России, ни в Малороссии не имеющий, этот юноша был поставлен во главе Рады, состоящей из набора полунинтеллигентных людей, не имевших понятия о государственных делах. Германцы позволяли социализировать, издавать универсалы, говорить глупые речи и заниматься демагогией. Но они относились к этой сволочи брезгливо и омывали руки от их гнусных деяний. Изображая парламент, Рада бредила сепаратизацией и социальными реформами, по существу сводившимися к грабежу земли и имущества. Это было удивительно на протяжении всей русской революции: все, начиная с фельдшеров, надеяли крестьян землю, им не принадлежащую, и называли этот грабеж «аграрною реформой». Толпа полунинтеллигентов восторгалась новыми идеями, возвещающими социалистический хохлацкий рай.

При германцах, однако, простой грабеж почти прекратился и людей убивали редко. Обыватель узнал, что значит мирное житие, и полюбил немцев. Конечно, для русского самолюбия иностранная оккупация была тягостна, но для украинцев срама вообще не существовало. В Раде фигурировали подонки культурного общества. Честных людей совершенно не было, не было у этих людей ни стыда, ни ума. Она напоминала керенщину, но оттенок ее был еще более хамский.

Немцы все же свели знакомство с верхним слоем киевского культурного общества, с бывшими деятелями русской государственности, с бывшими землевладельцами, которые теперь, как за якорь спасения, ухватились за немцев и Украину.

Когда безобразия Рады перешли всякие пределы, германцы, предварительно сговорившись с культурными элементами, сделали переворот, попросту прогнав пуппентеатр, и посадили на место Рады гетмана. Эта акция была соответственно подготовлена и инсценирована в форме съезда хлеборобов.

Рада была разогнана и послушно разошлась, не оставив в истории революционного движения ни одного имени. Выбор гетмана был инсценирован, и вместо глупого студента Голубовича на украинский престол воссел изменник, русский генерал, бывший кавалергард Императора Павло Скоропадский. Что было простительно дураку-студенту, то не могло пройти безнаказанно генералу, доверенному лицу Русского Царя. И история его накажет, поставив его имя рядом с Мазепою.

Его декларация, составленная с одобрения немцев, восстанавливала в полной мере частную собственность и прекратила социалистические бесчинства. Опираясь на оккупационные войска, он начал восстанавливать порядок, и семь месяцев его владычества были передышкой для Юга России и спасли впоследствии много русской интеллигенции, перебросившейся в эмиграцию. Если бы гетман Скоропадский не надувал общественность, обещая украинское владычество, как переходную ступень к восстановлению Великой России, его имя могло бы войти в историю. Но он соблазнился прелестями гетманского престола и самостийностью и ввел незабываемую карикатуру украинизации Киевской области.

Оценить этот период беспристрастно трудно, как трудно раскрыть и самого гетмана. Близкие ему люди, которым я доверял, уверяли меня, что намерения Скоропадского искренни и что он должен носить маску перед немцами, которые не допускают воскресения России. Однако ход вещей убедил меня в противном, особенно в последние дни его гетманства. Его сторонники утверждали, что он имеет в виду впоследствии воссоединить Украину с Россией, но ведь Малороссия фактически еще не отделилась, и именно Скоропадский, вводя галицийский жаргон, работал на это отделение. Так как этого «собачьего», как его тогда называли, языка никто не знал, то в каждом учреждении сидели переводчики из галицийских полуинтеллигентов, которые переводили бумаги, чиновники же писали их по-русски. Все самое глупое и неспособное коверкало язык и поддельвалось под Украину и тем выплывало на поверхность. При гетмане пал социализм и остался только

сепаратический идеал. Он преследовал русский язык и поощрял самостийничество, окружив себя либеральными деятелями, сторонниками парламента. Бухгалтер Семен Петлюра был немцами посажен в тюрьму, и они дали гетману достаточную возможность вводить порядок в стране. Сюда из Петрограда стекались опытные сановники, и наладить дело было бы легко. Но киевская аристократия малорусского происхождения хотела держать гегемонию в своих руках, и люди общей русской культуры, как Лизогуб и другие, повернули курс на самостийничество.

Целая плеяда бывших русских сановников и генералов вдруг превратилась в «полуцирих» украинцев. Но не дремали и настоящие цирихы из породы полухамов. Когда этой украинизацией занимались хамы, это было понятно, но когда к этому приступили генералы Императорской армии, это было гнусно. Кругом гетмана повторялось то, что раньше проявляли писаря и фельдшера. Они говорили: «Не разуміємо по-руськи!».

Кто хотел выслужиться, коверкал русский язык на галицийский лад. Каким-то образом все даже по рождению превратились в украинцев. У людей обнаруживались качества, которых никто не подозревал. Некоторые из моих знакомых вдруг стали фигурировать в украинских кругах и защищать идею самостийной Украины, не чувствуя, что это ведет только к разрушению России. Иные метаморфозы были поразительны.

Еще в Вильно за несколько лет до революции в высших кругах русского общества я встретил товарища прокурора Л. Это был вылощенный хлыщ, тип генерал-губернаторских чиновников старого режима, с брезгливо отвисшею нижней губой, высокомерным взглядом на людей, стоящих ниже его, и «с карьерою впереди». Неумный экземпляр с напомаженными волосами и изящно зашнурованными ботинками, с выхоленными маникюром руками всегда вращался в «хорошем обществе» и презирал демократию. Был членом Русского собрания, что по тем временам было совсем не популярно, и держался самых правых убеждений, если таковые у него были. Его жена, красивая экзотиче-

ского типа женщина, из породы доступных, любила деньги и наряды. Из тех «светских» женщин, которых иногда бывает трудно отличить от кокоток. В обществе она всегда была окружена поклонниками, а муж при ней был своего рода придатком.

Теперь вдруг Л. становится «щирым украинцем» и служит не за страх, а за совесть бухгалтеру Петлюре. Его при добровольцах арестовывает контрразведка за то, что, будучи председателем судной комиссии над гетмановскими офицерами, заключенными в Педагогическом музее, он настаивал на их расстреле. Впоследствии, во время эвакуации добровольцев из Киева, когда мы грузились на станции, меня разыскала его жена и, зная, что я имел некоторое влияние, умоляла меня спасти ее мужа. Она слезно просила, суля мне «все, чего бы я ни пожелал». Но если бы я даже был настолько неустойчив, что соблазнился чарами женщины, то я «не пожелал бы жены мерзавца». Я ее безжалостно отчитал, вспомнив о прошлом предателя.

Другая метаморфоза. Мой друг детства, инженер путей сообщения, всегда корректный, послушный, бывший одним из первых учеников гимназии. Аккуратный и добросовестный инженер, всегда лояльный, даже несколько слишком почтительный к начальству. Сын начальницы русской гимназии. Правый патриот тогда, когда во главе министерства стоял Рухлов. Теперь он украинец гетманского толка. Один из преданнейших служителей самостийной Украины. Сотоварищ гетмановского министра – самостийника Бутенко. Он был сам по себе недурной человек, и почему он стал изменником России – не постигаю. У многих в это время не было ни чести, ни стыда.

Петлюровцев я презирал до крайности. Но нашлись врачи, к ним подслуживающиеся. Легко перелетали такие врачи с некоторыми именами, как Голубев и Петровский, совершавшие удивительные превращения: то с Петлюрою, то с гетманом, то к добровольцам... На нелепом украинском съезде врачей собрались те самые врачи, которые когда-то были русскими, и горе-гистолог Черняховский коверкал анатомическую номенклатуру на хохлацкий лад. Все лгали и лгали...

На таком съезде был однажды банкет. Старые действительные статские советники теперь извивались перед низами и ломали прекрасный русский язык на фельдшерский лад. За товарищеским ужином все лгали друг перед другом, презирая и себя и других. Лепетали на «мови». Наконец вспомнили приличия и предложили мне сказать речь по-русски. Я вспомнил Наполеона, который на сделанный ему упрек за одну из его старых речей с презрением ответил, что в то подлое время нельзя было говорить другим языком. Рядом со мною сидели два бывших медицинских сановника Сулима и Баранов. Когда я заговорил с ними по-русски, Баранов ответил мне по-хохлацки, а Сулима сжался, со страхом оглядываясь, не донесет ли кто.

В первое время вокруг гетмана собрались русские силы, которые были вполне терпимы по отношению к Украине, но, конечно, не лелеяли мечты отделения ее от России, но верх брали самостийные тенденции.

Германцы держали власть в своих руках и не позволяли формировать как следует ни полиции, ни армии. Они выкачивали все что можно, но не грабили, увозили главным образом съестное и за все платили по курсу две марки за рубль. Они не использовали огромные запасы военного материала, им доставшегося.

Самой свирепой революционной партией были левые украинские эсеры.

Летом 1918 года произошел страшный взрыв складов снарядов на окраине Киева, в области Зверинца, который мы приписывали этой партии. Однако оказалось, что этот взрыв, как и аналогичный ему взрыв снарядов в Одессе, был произведен французскою контрразведкою с целью уничтожить громадные запасы, которые германцы могли вывезти на свой фронт.

На моем психофильме памяти нет более страшной картины, чем эта. Было снесено все, что находилось на пространстве нескольких квадратных верст. Разрушены были целые кварталы в предместьях Киева и вырваны деревья с корнями. Дождь снарядов усеял громадную площадь, и они долетали до Дарницы. Каким-то чудом людей



в этой катастрофе погибло немного. В этот день я был в своем имении в двадцати верстах от Киева, за Дарницей. Но и оттуда эта симфония была страшна. На следующий день рано утром я приехал в Киев и во главе санитарного отряда, состоявшего из женщин-врачей и одной сестры милосердия, Л. С. Соломоновой, отправился на место катастрофы. Мы имели грузовик с необходимыми для подачи помощи средствами и подводу. На ней въехали мы на поле разгрома. Я никак не мог понять потом, как мы ехали на ломовой подводе прямо по неразорвавшимся снарядам, сплошь осыпавшим землю на большом пространстве. Это была одна из самых рискованных работ, которые мне приходилось вести в жизни.

На огромном пространстве беспорядочно рвались то в одном, то в другом месте снаряды. В остатках разрушенных домов, говорили, есть раненые и убитые. Надо было спасать людей, не сумевших выбраться из этого ада. Мы шли их отыскивать. Здесь я вновь убедился, что женщины-врачи в катастрофах более героичны, ибо среди мужчин не нашлось желающих ехать на ту работу. Держались они изумительно, когда мы, ступая по снарядам, как по нагроможденным грудам льда, гуськом пробирались к намеченной цели. То вправо, то вперед, то сзади раздавались оглушающие взрывы и летели во всех направлениях осколки. Еще входя в это преддверие ада, мы натолкнулись на феерическую сцену: вправо от нас, шагах в ста, разорвался снаряд, как будто без всякой причины, ибо никто его не тревожил, и убил человека. Когда мы подошли, он был уже мертв. Труп лежал на спине. Одет он был в железнодорожную тужурку с малиновым кантом. Что делал здесь этот человек, мы потом только поняли. В этой невероятной атмосфере он грабил, подбирая ценное, что разбросал на этом поле вихрь взрывов. Неосторожно наступил он на снаряд, и тот взорвался.

Наша работа была необыкновенно опасна. Надо было насиловать себя, чтобы пойти на место, где время от времени совершенно неожиданно, так что невозможно было предугадать, рвались снаряды и столбы черного дыма и земли взлетали на воздух. Особенно опасно было,

когда приходилось перескакивать через такой участок к намеченной цели, где, думалось, есть еще люди. Спешить было нельзя, ибо буквально на каждом шагу под ноги попадались снаряды. В присутствии трех женщин, с которыми я шел, показать малодушие было невозможно, и я сознавал, что иногда без надобности бравирую: на душе было страшно, но я нарочно шел туда. Женщины держали себя превосходно. Конечно, в душе и они трусили, но шли выдержанно и смело.

Теперь, через двадцать лет, я в эмиграции встречаюсь с одной из моих спутниц, и мы часто вспоминаем эту волшебную картину, удивляясь, как мы выбрались из этого ада живыми. Это Лидия Сархатовна Соломонова.

Всюду под ногами были насыпаны кучи взрывчатого коллоида. Когда мы зашли в полуразрушенные домики на окраине этого побоища, чтобы осмотреть, нет ли здесь раненых, мы нашли двух людей, искалеченных снарядами. Сюда часто долетали осколки рвущихся снарядов и теперь, когда взрывы стали реже. Иногда преждевременно возвращающиеся к своим домам люди сами взрывались, наступив на снаряды. Один из жителей окраины этого поля рассказал нам невероятную историю, свидетельствующую о том, как сильны инстинкты грабежа. Вчера буквально под дождем снарядов и осколков жители окраинных домиков бросились спасаться, покинув свои жилища. В это время железнодорожные бандиты бросились грабить покинутые дома.

Нам предстояло выполнить рискованную задачу. От Иконова монастыря к Лысой горе было сплошное поле разрушения. Долг повелевал идти туда: говорили, что там есть раненые. Кроме нас на этом поле никого не было. Со стороны Лысой горы поле взрывов было оцеплено немецкими часовыми.

Мы пошли, осторожно пробиваясь гуськом. Было жутко. Снаряды рвались одиночно или пачками. Почва под ногами была вся взрыта. Все было так деформировано, что невозможно было разобрать, что здесь раньше было.

Вдруг из-за бугра показались две фигуры в форме железнодорожников, со значками на фуражках. По правде сказать, мое внимание было направлено на отыскание раненых и на то, чтобы скорее пройти это пространство, а потому я не придавал этой встрече значения. Я спросил их, не знают ли они, где находятся раненые и в какую сторону надо идти. Они указали мне путь, и, когда мы пошли, осторожно пробираясь дальше, они пошли за нами. Это были два полунинтеллигента, жирные, откормленные, с тупыми спокойными лицами. Через некоторое время мы вышли на окраину поля, где нас окликнул германский часовой. Показав ему документ, с которым был командирован, я с отрядом двинулся дальше.

Сзади я слышал суету и, оглянувшись, увидел, как германский солдат лупил прикладом этих двух наших непрошенных спутников. Оказалось, это были бандиты из железнодорожных полунинтеллигентов.

Так делали они русскую революцию.

Читая эту книгу, меня могут упрекнуть в слишком суровой оценке деятелей и обывателей революции. Но если внимательно проследить, то на моем психофильме найдется и жемчужное зерно в навозной куче. Правда, эти картины героизма, подвига и самоотвержения и светлые личности количественно теряются в грязи революции, но тем красочнее выступают эти фигуры на фоне всеобщей низости, трусости и стремления к выгоде.

Две такие фигуры русских женщин проходят на моем фильме памяти на протяжении нескольких лет революционной катастрофы. Судьба сводила меня с ними в самые драматические моменты гибели людей, в уличных боях, на фоне киевского пожарища на Зверинце, под градом осколков рвущихся снарядов, на перевязочных пунктах, в авантюрах спасения людей от большевистского террора. Судьба же свела нас ныне в эмиграции, где часто за вечерним чаем в семьях этих героинь мы вспоминаем прошедшие мрачные картины и удивляемся, как вынесло нас из этого ужаса.

Первая из них – это Мария Андреевна Сливинская, супруга моего приятеля, полковника Генерального штаба А. В. Сливинского, вторая – Лидия Сархатовна Соломонова, по мужу Затворницкая, георгиевский кавалер Великой войны и героиня Гражданской войны, впоследствии старшая сестра армии Врангеля.

М. А. Сливинская, с которой я был знаком задолго до войны, всегда была самоотверженною деятельницей на почве благотворительности и общественной помощи. Неисчерпаемой энергии, она бросалась в самое пекло большевистских ужасов и спасала людей. Побывала она в Мариинском дворце, когда еврейчики ставили «к стенке» русскую интеллигенцию и офицеров, бродила она по мертвецким, отыскивая трупы замученных.

В темной ночи среди уличной перестрелки я вдруг слышал ее голос, когда кругом гибли люди. По свойственному мне беспокойному нраву я часто попадал в самое пекло ужасов революционной борьбы и Гражданской войны и много раз совершенно неожиданно встречался там с Марией Андреевной. Я только поражался различию наших психологий. Меня толкала туда какая-то сила, которую мои приятели называли донкихотством, но я был одинок и свободен, Мария же Андреевна была самою правоверною семьянинкой и, по моему разумению, умела совмещать несовместимое: семейный уют с авантюрами революционной катастрофы. Сливинские были близки к графу Келлеру, и через них я назначался в его штаб Северо-Западной армии врачом. Не скрою того, что мне она больше нравилась на фоне тех ужасов, с которыми она так храбро боролась, чем в тоге доброй семьянинки, гостеприимством которой я ныне часто пользуюсь.

Вторая героиня – Лидия Сархатовна Соломонова-Затворницкая, которая теперь так мирно любит и воспитывает свою дочку, тогда была моею постоянною спутницей в часы тревоги и уличных боев. Она была моей лабораторною сестрой в госпитале. Мгновенно мобилизовались ею сестры, когда требовался отряд для вывоза из боя

раненых, – и это тогда, когда ни одна живая душа не отзывалась на призыв идти спасать погибающих.

Я любовался, как спокойно и энергично она со своими спутницами делали свое дело тогда, когда казалось, что уже все гибнет и будущего не существует.

Пусть же эти мои строки будут памятником этим русским женщинам, без всякой помпы выполнявшим свой долг и несшим страшную службу помощи разрушаемой России... Не знаю, удовлетворит ли их уют домашнего очага, но думается мне, что если бы совершилось чудо и вновь бы прозвучал призывный колокол к спасению России, я снова встретил бы их там, куда призовет их высший долг перед Родиной и русским народом.

Летом эсеры убили в Киеве фельдмаршала Эйхгорна. Я случайно был в это время в довольно глухом квартале вблизи дворца Эйхгорна и встретил человека, который так подходил к типу его убийцы: чистый эсеровский тип в солдатской гимнастерке, с большою окладистой бородой и интеллигентным лицом, со святым революционным выражением в глазах. Таковыми бывают только террористы-фанатики. Через минуту улицы оцепили, но было уже поздно. Человек со святыми глазами бесследно исчез. Германцы, раньше столь чуткие к нарушению их прав и к убийству их представителей, на этот раз скушали это преступление, как и убийство в Москве Мирбаха, и это было знаком того, что у них уже начинается разложение.

Сформировалась государственная стража, называемая вартою, формировались и гетманские войска. Но они не имели преемственности с русскими: и форма и чины были другие, а сечевые стрельцы имели уже больше петлюровскую идеологию. Все это было уже поздно, ибо немцы слабели, и чувствовалось их скорое поражение на западе. Появлялось уже предательство в гетманских войсках. В них пробуждался большевистский дух. Изменила бригада Бальбачана, Нагиев переходил от одних авантюров к другим.

Осенью облака сгустились: немцы начали проигрывать кампанию и, заразившись русской революцией, стали валиться сами. Гетман сделал было шахматный ход, объявив русскую ориентацию. Но это было поздно, ему не поверили. Немцы сейчас же наказали его: спустили с цепи собаку, выпустив Петлюру из тюрьмы, и натравили его на гетмана.

Курс гетмана был неустойчив и очень считался с германскими интересами.

Когда был выпущен Петлюра, немцы одновременно поддерживали и его и гетмана. Петлюра соединился с галицийскими войсками и пользовался поддержкою поляков. В ноябре 1918 года начались бои между гетмановскими и петлюровскими войсками при полном нейтралитете германцев. Очень скоро петлюровское восстание охватило всю Украину. Снова была уничтожена собственность, и шли всюду разбои. Захватывали города, жгли помещичьи усадьбы и совершали еврейские погромы. А германцы сами шатались, разлагались, и последние дни их были тяжелы. Их разоружали крестьянские банды, и они едва ушли из Украины. И у них уже был совет солдатских депутатов и группа спартаковцев. Они братались с русскими революционными элементами и продавали военное имущество.

За время гетмана в Киеве формировались отряды Добровольческой, Южной и Астраханской армии, которые посылались к Деникину и Краснову. Также содействовали и отъезду отдельных офицеров. В конце своего владычества гетман стал формировать добровольческие отряды и для себя, но это было уже безнадежно.

Во времена гетмана Милюков с группой своих людей, бывших кадетов, затем склонившихся к эсерам, перекочевал в Киев. Были у них и трения с немцами, и одно время его даже хотели удалить из Киева. Я жил тогда в своем имении под Киевом, которое привел до некоторой степени в порядок после предшествующих погромов керенцев и петлюровцев. Однажды я встречаюсь с профессором Краснопольским, жившим в Борисполе, и он говорит мне: «Не хотите ли завтра в Киеве

поиграть квартет?» Я был виолончелист и любил играть ансамбль. Я, конечно, с удовольствием согласился.

– А квартет-то будет с Милюковым! – сказал он.

Я изобразил знак вопроса.

– Да-да... с тем самым, с Павел Николаевичем. Он ведь играет первую скрипку.

В назначенный час я явился в штаб-квартиру Милюкова. Здесь жила целая компания людей высокоинтеллигентных, глубоко образованных, все с известными именами. Они жили культурной жизнью. В парах революции и переворотов они не забыли тех тонких эстетических удовольствий, которые давала классическая музыка.

Мы познакомились и заиграли квартет. Милюков вполне хорошо играл.

Потом мы вели беседу, и я должен признаться, что Милюков был обаятельным человеком и меня совершенно очаровал как личность. Бросая на него украдкой взгляд, как на человека совершенно чуждой мне идеологии, я не мог понять, почему он создал этот кровавый и безумный карнавал, который называется революцией.

В обществе была интересная средних лет дама, которую звали Марией Владимировной. Я, не зная, кто она, принял ее за жену Милюкова.

Мы как-то с нею заговорили, и она вдруг мне сказала:

– А я ведь вас давно знаю, Николай Васильевич!

Я изумился.

– А помните Челябинск и октябрь 1905 года?

Я продолжал не понимать, в чем дело.

Оказывается, что это была не жена Милюкова, а жена бывшего товарища министра времен Керенского, Степанова, которая, кажется, с ним разошлась...

– Я – дочь Владимира Корнильевича Покровского! Помните?

– Ну как же!

По ассоциации передвинулся психофильм на 13 лет назад, и начертилось на нем лежавшее в архивах памяти.

1905 год. Такой же подлый, как и теперь. Такое же безумие людское. И те же кадеты. Я врач, командированный на чумную эпидемию в Маньчжурию и временно задержавшийся в резерве в Челябинске. Октябрь. День осуществления революционной весны слабоумного русского князя Святополк-Мирского. Светлый праздник свободы манифеста 17 октября, неожиданно превратившийся в душе истинно русских людей и черносотенцев в еврейский погром.

Прорвалась еврейская молодежь и, прежде времени открыв свои карты, возмутила своими манифестациями твердый в русских традициях сибирский элемент. На моих глазах развился этот погром по всем правилам, как он происходит всегда и всюду. Летели перины на улицу, вился белыми снежинками пух и вылетел на улицу из окна разбитый рояль. Вся главная улица была забросана бумагами, тканями, разными вещами. Но людей пока не убивали. По тротуарам в восторге стояла сибирская публика и смаковала, как «истинно русские люди разделали жидов». На заборах праздник приветствовали мальчишки, забавлявшиеся невиданным зрелищем.

На второй день погрома, стоя на улице, я заметил, как быстро приближается толпа, гонящая окровавленного человека, и настигла его в тот момент, когда он упал. То, что произошло на моих глазах, было тождественно со сценой, когда стая гончих собак раздирает зайца. Я бросился в толпу и спас человека. Мне удалось увезти его в больницу, но по дороге меня догнала толпа, и я за то, что спасал человека, которого приняли за революционера, был тяжело изранен и брошен на улице, как убитый.

Когда дело выяснилось, меня отвезли в больницу и констатировали 26 повреждений. Когда я лежал весь перевязанный, поздно вечером ко мне подошла сестра и сказала, что за мной приехали. Я был в недоумении: откуда и кто мог за мною приехать в сибирском городе, где меня никто не знал? Совсем как в романе. Но сестра сказала: «Поезжайте, за вами приехала тройка в экипаже».

Я согласился. Меня вывели под руку, и я действительно увидел тройку, запряженную в фаэтон. Мы уселись и двинулись в путь. Меня



сопровождал господин, объяснивший мне, что утром я, узнав, что толпа собиралась громить дом городского врача, с которым я был знаком, предупредил его и помог ему выехать из города. А теперь он, находясь у своих знакомых на винокуренном заводе за городом и узнав, что со мной и где я, прислал за мною.

Мы ехали по широкому шляху в полном мраке, в лесу, и приблизительно в семи верстах свернули в сторону. На поляне открылось освещенное электрическим светом здание. И я очутился словно во дворце. Это оказалась усадьба и винокуренный завод Покровских, высокоинтеллигентных уральских заводчиков. Меня приняли как родного, как бы за оказанную утром услугу, а затем весть о моем «подвиге» спасения человека широко разнеслась по городу.

Две недели я пролежал у Покровских, и это пребывание было для меня как бы сказкой.

Много прекрасных вечеров провел я в этой культурной семье и много слышал о дочери Марусе, которую там ожидали. Но я ее не дождался и уехал на чуму. Теперь, через 13 лет, это оказалась та самая Мария Владимировна.

Вспомнили прошлое, далекий Урал.

В это время Милюков, все время проповедовавший верность союзникам, менял свою ориентацию на немцев, и М. В. заметила: «Вот и Павел Николаевич ошибся во французах...»

Я еще как-то был у Милюкова и просидел с ним некоторое время. Одно было несомненно, что эрудиция у него была колоссальна, а обращение очаровывающее. Но взгляды его мне были чужды...

Во времена гетмана я стоял в стороне от его движения, хотя среди моих друзей было много его сотрудников. Лично я гетмана даже ни разу не видал, но вся его деятельность прошла перед моими глазами во всех деталях. При нем была восстановлена собственность в полном объеме, и различным комитетам времен Керенского, приложившим руку к грабежу, пришлось вернуть захваченное. Это случилось и с моим имуществом, захваченным комитетом служащих моего госпи-

таля. До революции я содержал его главным образом на мои личные средства, во время революции денег некому было давать, и он пробивался кое-как, а мое личное имущество раскрадывали все, кому было не лень. Когда восстановилась правовая власть, пришлось госпиталь закрыть, и я получил его обратно. Но в каком виде! Инвентарь был разграблен, лошади проданы – и вовсе не большевиками. Тащили врачи, сестры и особенно люди социалистического толка, ибо доктора Гаккебуш и Ершов понасадили туда социалистов «квантум схватишь». А известно, что никто не обладал такою страстью к владению вещами, как социалисты. Сдача мне моего имения произошла за несколько дней до моих именин, которые я праздновал 9 мая.

В Киеве у меня с коллегами-психиатрами были хорошие отношения. Я хорошо понимал, что режим гетмана непрочен и что все равно все полетит к черту, а потому с некоторой долей юмора решил задать по случаю ликвидации захватчиков старорежимный праздник. Деньги у меня еще были, и, очистив авгиевы конюшни от социалистов, я пригласил весь кружок киевских психиатров ко мне на именины. Я не пожалел денег и заказал в Киеве в «Европейской» гостинице отличные блюда осетрины и других яств, накупил старорежимных закусок так, чтобы пахло прошедшими «царскими» временами, и отвез около сорока человек врачей и гостей на платформу, у которой стоял мой госпиталь, с тем, чтобы наутро доставить их обратно в Киев. Приятели выхлопотали нам специальный вагон, и с ними поехали два официанта из «Европейской» гостиницы с вкусными именинными блюдами. Остальное я устроил на славу дома. В это время был еще жив мой отец, знаменитый агроном, живший на покое в своем имении в версте от меня. У него был замечательный повар Андрей, семидесятилетний старик, из потомков бывших крепостных Трепова, усадьба которого была в Борисполе, в семи верстах от моего госпиталя. Вот уж где запахло старыми временами! Андрей был артист своего дела. Я знал, что этот старорежимный праздник последний, и Андрей обещал показать революции, где раки зимуют.

Обед вышел сверхстарорежимный и обошелся мне около пяти тысяч рублей на царские деньги. Андрей действительно удивил моих гостей. Забавно вышло только со спиртом. Еще в начале ограбления госпиталя комитетом служащих я, зная, что социалисты питают страсти к живительному нектару, именуемому спиртом, позвал фактора Берко, солидного еврея, доставшегося мне преименно от моего отца, и сдал ему на хранение 21 четвертную бутылку спирта, чтобы он сберег их на случай ликвидации российского безобразия, тогда именовавшегося «Великой бескровной». Теперь я был уверен, что Берко честно исполнил договор, и потому сказал ему, чтобы он доставил мне спирт для прославления отечественной психиатрии.

– Какой спирт? – получил я недоуменный вопрос.

Но этот номер не прошел. Берко был умный и честный жид. Ему пришлось признаться, что он так поверил в то, что времена «исправников, городских и ужасов царского самодержавия» никогда не вернуться, что этим спиртом хорошо спекульнул.

Что делать! Такие были времена, что даже Беркина честность не выдержала испытания. Получилась трудная задача. О спирте я узнал утром, а надо было достать его к обеду. Поезд приходил около двух часов дня. Но Берко все-таки нашелся. Как еврею не достать и не выручить из беды своего клиента и приятеля!

Сколько надо было этого зелья на психиатрическую братию? Я вспомнил и свой математический факультет, который должен был бы научить меня считать, вспомнил и главу из психиатрии об алкоголизме. Бывал я на многих психиатрических съездах, и пили там члены здорово. Один Крепелин, знаменитый мюнхенский психиатр, бывало, сидит на этих раутах, а перед ним стоит бутылка с розовой водой. Прикидывал я, прикидывал, и поручил Берко достать два с половиной ведра спирта, но он, руководимый житейской мудростью, обещал прихватить на случай нехватки еще ведро самогону, к тому времени сменившего эмблему царского режима – монопольную водку. И Берко

оказался прав: к вечеру пять ведер приготовленной из спирта водки были выпиты, и на подкрепление пошел самогон.

Гостей было много. Были мои соседи Чубинские, приехал из Борисполя священник, отслуживший молебен, а тут невзначай подъехал и начальник уезда Вишневский, впоследствии, как и многие из присутствовавших, расстрелянный большевиками.

Пирушка была знатная. Атмосфера была дружеская. Героем дня был повар Андрей, который был приглашен наверх в мою роскошную залу, где мы расположились, и он повествовал гостям о старых временах, когда повар, десятилетия живший у моего отца, а раньше в семье Трепова, был не на положении социал-демократического равенства, а членом дома.

Много было тостов и искренних, и фальшивых, как всегда, но социалистов в нашей среде не было, ибо эти пары быстро выдыхались при виде роскошных блюд андреевского творчества.

Отец Федор, тот самый, который в дни светлого праздника кепенщины наивно спросил меня: «Що цэ такэ ти украинци и виткеля вони взялись?», теперь сказал осторожный тост на естественном малорусском языке, подперченном русским. Он говорил о том, что и в дни захвата он обслуживал госпиталь, но что все же, думается ему, старый порядок был лучше.

Когда я вернулся в свое имение, почти все мои старые служащие, принимавшие участие в грабеже, пришли ко мне на поклон и старались пояснить мне, что-де «я не я и хата не моя». Некоторых из них я обласкал. Пришел ко мне и мой прежний механик-поляк, которого я привез из Вильно. Он накануне съездил в Киев и привез для моего кинематографа, который я имел в госпитале, фильм, и мы его вечером смотрели.

После обеда гости рассеялись по чудному дубовому лесу, среди которого стоял мой санаторий. Поздно вечером еще раз хорошо покушали за ужином, а потом, погуляв, большинство гостей уселись за карточные столы. Самогон и азартная карточная игра были веянием революции.

Характерно было, что на этом празднике старого режима о политике не говорили и даже забыли о пресловутой Украине, которая теперь воцарилась в Малороссии. Уж очень осточертела революция.

День был великолепен, ночь была прекрасна, и когда мы разбредлись по комнатам спать (часть моих подушек каким-то чудом уцелела), азартные игроки до рассвета не сомкнули глаз. Запели в деревне петухи (они пели даже во время революции, когда человек забыл свои песни), в лесу зазвенели малиновки и застрекотали зеленые лягушки, а дивный утренний рассвет поднял нас, чтобы успеть выпить чаю и идти на платформу к ждавшему нас поезду.

Грандиозный пирог с капустой и громадные блюда осетрины были последними эмблемами остатков того старого режима, который вместе с гетманом закатился, чтобы уже, вероятно, никогда не воскреснуть.

И жид Берко, и старый повар Андрей, и курносая Галька – бывшая председательницей комитета – все далеко осталось позади. Наступали времена настоящие. Большевистские комиссары гордой поступью всходили на арену новой жизни.

Позже, летом, у меня функционировал санаторий. Но здесь уже переливались сложные напевы. Одно время профессор Краснопольский – кадет из Борисполя – вел со мною переговоры по поводу переселения ко мне П. Н. Милюкова, на которого в Киеве косились немцы и которому они собирались предложить покинуть Киев.

Рядом с моим санаторием находился хутор Чубинских, и мы часто просиживали длинные лунные вечера на роскошной веранде моего санатория, окруженного столетним дубовым лесом.

Михаил Павлович Чубинский был тогда министром юстиции при гетмане. Замечательный это был человек: умница, высококультурный, но неисправимо проникнутый левым духом разрушения Императорской России. Он был чистейшим продуктом старого режима с замашками чистокровного барина, помещик до мозга костей на своем собственном хуторе, прекрасно воспитанный на чисто русских навыках. Это был совершеннейший образец русского предреволюционного и культурного

интеллигента. Он был всем обязан Императорской России и был ее неуклонным врагом и вредителем.

Бывший директор Императорского лицея, профессор военно-юридической академии, он воспитывал своего сына в привилегированном лицее. И он стал противником русской культуры и украинским сепаратистом конституционалистического толка! Не имея в себе ни одной черты демократической, ибо он был аристократом духа в полном значении этого слова, он примкнул к демократам, конечно, лишь на словах, ибо во всех своих навыках он оставался баринном. Это был человек выдающийся, который никак не подходил под демократическую гребенку. Михаил Павлович любил поиграть в винт с моим отцом, любил не по-социалистически покушать и, надо отдать ему справедливость, брезгливо относился к социализму. Он рассказывал мне в Киеве, как, получив из рук февральских правителей титул сенатора, он резко отверг сделанное ему предложение быть апостолом социализма. В другой раз он рассказал мне о своих переговорах с полубольшевицкой Радой и также отверг социалистическое сотрудничество. Но зато кадетский кодекс, столь противоречивый его уму, пристрастие к конституции властного по природе честолюбца и стремление к ограничению самодержавных тенденций даже гетмана, он исповедовал до последних дней своей деятельности в России. Во всяком случае, это был один из самых интересных людей русского культурного общества.

Сестра Михаила Павловича, знаменитая певица и примадонна Московской оперы, была красавицей русской (а не украинской) культуры и искусства. Она сохранила даже в эмиграции не только любовь к России, но даже монархические убеждения. Брат, Павел Павлович, был теперь товарищем министра путей сообщения в гетманской Украине. Перед тем это был высокий русский сановник Императорской России, начальник Амурского округа путей сообщения, то есть носитель русской культуры, облеченный доверием Империи. Это также был высококультурный человек и прекрасный инженер. Впоследствии, при занятии

Киева добровольцами, был расстрелян его сын, почти юноша, который раньше часто бывал у меня.

Дело в том, что он неосторожно увлекся во времена большевиков деятельностью своих сверстников и работал в какой-то чисто большевистской организации по автомобильному делу. Он имел и чисто большевистские документы. С приходом добровольцев в Борисполь он по собственному почину явился к командиру с предложением своих услуг. Он позабыл уничтожить свои документы и наивно предъявил их.

Война разговоров в таких случаях не знает, и он был расстрелян на месте.

6 мая 1918 года я сидел у себя в имении и занимался в лаборатории, когда ко мне пришел молодой Чубинский, сын Михаила Павловича, и предложил мне пойти к нашему общему соседу – поляку, хутор которого был в версте от меня. Был чудный день, и мы пошли чрез благоухающие поля в усадьбу с классическим вишневым садом. Наш хозяин был одинок, а собрались мы, чтобы выпить по случаю дня рождения Императора Николая II, томившегося в Екатеринбурге. Превозносили Императора и строили планы о спасении Его и России. Поляк – хозяин, сын министра самостийной Украины, и я – черносотенник, не приявший революции, – были настроены в унисон. Появились за столом закуски, малорусские блюда и классическая «горилка» в образе «николаевской» водки. Молодой Чубинский был тогда во всей красе своих благородных патриотических порывов. Был предан России и ее славному Императору... Когда была выпита николаевская водка, на сцену появился суррогат революции – самогон. Это был символ смены великой Царской России украинским самогоном в виде самостийной Украины.

Несколько позже, в памятный день получения роковой вести о царевом убийстве, мы сидели у меня на террасе, и все фибры души большинства присутствовавших трепетали от возмущения и омерзения. Но сидевший между нами один из гетманских министров на замечание, что завтра надо ехать в Киев на панихиду, запротестовал:

– Служить нельзя.

А когда я заявил, что все равно поеду, последовала реплика, что панихида запрещена и тех, кто попыбует ее отслужить, надо расстрелять...

На следующий день я поехал в Киев и направился к Софийскому собору. По дороге я обогнал честнейшего патриота профессора Линдемана, а ко мне присоединился незнакомый простой человек, который громко возмущался и говорил: «Этой сволочи дело так не пройдет»...

Официально панихида была отменена, но ее все-таки отслужили. А Мазепа XX века, ясновельможный пан Скоропадский, бывший кавалергард Царя, блистал своим отсутствием. Спасибо еще, что не расстрелял присутствовавших.

К этому же времени относится трагикомедия «синих жупанов».

Выйдя однажды летом 1918 года на улицу, я был поражен совершенно неожиданным зрелищем: по Мариинско-Благовещенской улице вступали какие-то странные войска. В строю, с офицерами на местах, они шли стройными колоннами во всю ширину улицы последовательными батальонами, со знаменами и музыкой.

Публика, толпившаяся на тротуарах, с недоумением глядела на необычное зрелище и полусшепотом изумлялась: это оказались украинские войска из бывших русских военнопленных, сформированные в Австрии, отрекшиеся от России, там украинизированные. Теперь они направлялись для поддержки самостийной Украины. Их называли «синими жупанами», так как они были одеты в синие поддевки, без погон, но с австрийскими значками на воротниках. Глубокое отвращение охватило меня, как и большинство публики, молчаливо созерцавшей этот позор измены и отречения.

Я вглядывался в лица офицеров – бывших наших, русских, – и мне ясно виделся в выражениях их лиц стыд.

Теперь они шли против России, отрезая от нее целый народ и громадную территорию. Что должны они делать и против кого воевать?

Австрийцы повторили то, что делали и русские еще раньше, формируя чехословацкие войска из изменников австро-венгерской армии, предательски сдавших в плен русским. Ведь эти войска также направ-



лялись на фронт против Австро-Венгрии! Теперь психические яды, посеянные нами, обращались против нас.

Синие жупаны оказались недолговечными: войска оказались ненадежными, подтвердив верность психологического закона: кто изменил раз – легко изменит и другой раз. Разместившись в казармах, жупаны сейчас же стали рассеиваться по домам, сбрасывая свое маскарадное одеяние.

В ближайшие дни немцы их разоружили и распустили по домам, ибо, пробудившись от своей измены, эти элементы могли легко обратиться против них. Скоро от этого безобразия не осталось и следа. Произошло самоизлечение, показав, что подлость еще не слишком глубоко проникла в психику новоиспеченных украинцев австрийского производства.

Однажды я обнаружил вблизи Броваров десятки брошенных в поле тяжелых орудий, оставленных без всякого присмотра после отхода чехов и большевиков. Я сообщил об этом в Военное министерство, но оказалось, что у власти не было возможности о них позаботиться. Так гибли в это время огромные запасы имущества Царской России.

К осени наступило разложение у германцев, в точности повторяя картину керенщины: солдаты пьянствовали, братались с русскими, распродавали военное снаряжение и оружие, лошадей и пулеметы и едва уходили от грабивших их крестьянских банд. Но эта партизанщина не носила характера борьбы с иноземцами, а вдохновлялась только инстинктом грабежа.

Еще в начале ноября шли бои гетманских войск с петлюровцами около самого Киева. Сражались в рядах войск гетмана русские офицеры. Однажды мы узнали, что около тридцати раненых офицеров брошено без всякой помощи у Жулян. М. А. Сливинская явилась в наш госпиталь и стала требовать, чтобы был послан отряд вывезти раненых. Желających отправиться не нашлось. Тогда кто-то указал М. А. Сливинской, что в лаборатории сидит доктор, который, вероятно, поедет. Этот доктор был я. Конечно, я сейчас же отозвался и, быстро собрав

отряд, отправился на позиции. Мы подобрали тридцать раненых офицеров, отвезли их в наш госпиталь и всех до одного, в том числе двух раненых в живот, выносили. Характерно было в этом эпизоде полное равнодушие даже санитарных учреждений к интересам гетманских войск. Сражаясь против петлюровцев, они ведь шли и против России, отстаивая гетманскую державу.

В другой раз та же М. А. Сливинская, узнав, что на фронте есть раненые, вторично достала мне грузовик, и я, собрав своих неизменных спутников, в том числе Соломонову и Козлову, отправился на боевую линию. Мы обошли весь фронт, подали помощь и опять забрали раненых. Тогда генерал граф Келлер был главнокомандующим и по своему обыкновению ходил по цепям во весь свой рост, но на этот раз это мало imponировало «сердюкам», которые уже были на перелете к петлюровцам. Никогда на боевых линиях я не видел более жалкой картины. Офицерские части были нерешительны и угнетены. Тонкую нитью были разбросаны жидкие цепи без всякого резерва. Сзади стояли германские части и не давали гетманским частям развернуться.

Был ноябрьский морозный, но бесснежный день. Я пошел на передовые линии. Здесь у железнодорожной будки набилась часть сердюковских войск. Невдалеке маячили петлюровские части, но обе стороны не вели в этом пункте перестрелки. Вся будка и весь двор были битком набиты сердюками, глядевшими уже волками. Готовность к измене так и читалась на выражении их лиц. Все это было глупо: достаточно было одного хорошего снаряда, выпущенного с расстояния меньше версты, чтобы смести всю эту толпу.

Я подал требуемую медицинскую помощь и пошел по фронту в соседнюю деревушку. На пути я встретил какого-то генерала, одиноко бредущего к месту, откуда я шел. Я отдал честь. Генерал остановил меня и расспросил про положение. Оказалось, что это был «генерал не у дел», и тем не менее его тянуло к боевой линии, где еще недавно шла перестрелка. Боевой темперамент еще не выдохся из его тренированной Императорской армией и Великой войной психики. Я собрал своих

спутников, и мы вошли в деревню, расположенную на самой боевой линии. Шла редкая стрельба.

Мне указали хату, в которой помещался врач перевязочного пункта. Мы вошли и сделали здесь привал. Врач предложил поставить самовар. У нас с собой были съестные припасы, и мы мирно сели вокруг стола, а доктор стал рассказывать про посещение его графом Келлером, обходившим боевые линии.

Только что закипел самовар, как сильно хлестнуло над хатой и раздался звук лопнувшей над нами шрапнели.

– Нас обстреливают, – сказал вошедший в избу солдат.

В это время новые и новые снаряды хлестали в воздухе. Я поднял своих, приказав собрать вещи.

– Только спокойно, только без суетни!

Когда собрали вещи, я сказал:

– За мной! – и мы вышли.

Я привык хорошо ориентироваться под огнем и сейчас понял, что надо взять влево. Гуськом, не торопясь, я вывел своих спутников, лавируя между падавшими беспорядочно снарядами. Когда мы уже выходили из сферы огня, снаряд ударил в нескольких шагах от нас и зарылся в землю, недалеко от ждавшего нас грузовика.

Отдельные бойцы были рассыпаны по деревне. Бой вели вяло, без всякого подъема. И в ближайшие дни или часы сердюки перешли к петлюровцам.

«Так, – думал я, – вы изменили Императору и России, а теперь чубастые парни, громко именуемые сердюками и бывшие императорскими солдатами, изменяют вам. В порядке вещей. Когда отрекались вы – вы не называли это изменою, а когда предают вас, вы кричите об измене!»

В тылу стояли немецкие части, еще сохранившие порядок и строй. Они бездействовали и наблюдали картину. Немцы уже выпустили Петлюру и предоставляли ему занять Киев.

Через несколько дней в наш госпиталь приехал Пуришкевич. Когда я с ним разговаривал, я сначала не знал, кто он. Но как раз в этот

день мы узнали, что Келлер отказался от поста главнокомандующего. Пуришкевич рассказал мне, в чем дело. Русофильское течение, которое одно время взяло верх, и ориентация на Россию были свергнуты партией Чубинского – Кистяковского, и гетман опять повернул на самостийничество. Келлер заявил, что ему с этим не по пути, а Пуришкевич отказался от звания начальника санитарной части.

Это была моя первая и единственная встреча с человеком, сделавшим первый выстрел революции. Образ его, однако, фигурировал в психике русского обывателя еще с 1905 года как патриота-черносотенца. К парадоксам революции относится и его скачок влево, заражение веяниями революции и участие в гнусном акте расправы с Распутиным.

С первых дней революции широко распространился очень характерный памфлет протрезвевшего Пуришкевича:

Нет ни совести, ни чести,  
Все с г...ом смешалось вместе...  
Лишь одно могу сказать:  
Дождались!.. Е...а мать!

Этот памфлет как нельзя лучше очертил русскую революцию в ее сущности.

Бои вели только русские гетманские офицеры, то есть бывшие царские офицеры. Вся полуинтеллигенция и все хамы были с Петлюрой. Гетман балансировал на политических весах и не знал, куда ориентироваться, сохраняя свое ясновельможное благополучие.

Нам стало ясно, что все гибнет.

Последние дни гетмана были сплошным срамом.

Это деяние немцев – спуск с цепи Петлюры и спокойное лицемерие гетманской агонии в лице сражавшихся за него по недоразумению русских офицеров, было, конечно, их подлым делом. Они несколько исправили его тем, что все-таки не позволили петлюровцам расправиться с офицерами, заключенными в музей, и вывезли много русских.

Затем быстро пошел их развал и смена петлюровских хамов настоящими большевиками 1919 года. Гетман бросил на произвол свои войска и русских офицеров, пытавшихся спасти Киев от нового нашествия Петлюры.

Около тысячи бойцов-офицеров были покинуты начальниками и сами стянулись в Киев, когда украинцы уже входили с согласия немцев в Киев.

Судьба покинутых офицеров была трагична. Граф Келлер пытался организовать их и думал отойти с ними сначала ко мне в имение, в 20 верстах от Киева за Дарницей, а затем мы все должны были пробиваться с боем на Дон и к Деникину. Однако, когда из восьмисот приблизительно офицеров до Софийской площади дошло около двухсот, а затем и те начали растворяться, началась драма Келлера. Немцы хотели его спасти, но предложили унижительные условия, на которые Келлер не пошел. Он был заключен в Михайловский монастырь и во время перевода в другое место заключения подло убит петлюровским конвоем на площади у памятника Богдану Хмельницкому вместе с начальником штаба формировавшейся Северо-Западной армии полковником Пантелеевым. Я уцелел потому, что в это время находился в госпитале, подавая помощь раненым.

Несколько сот офицеров заключили в Педагогический музей, и здесь началась их длительная трагедия: их жизнь в течение долгих недель висела на волоске. В конце концов уцелевшие после взрыва в музее были спасены немцами.

Надо отдать справедливость: германцы вели себя как враги, но сдерживали подлости украинцев. Ведь без них все русские офицеры были обречены на гибель.

Опять почти на два месяца воцарилась Центральная рада и петлюровщина, на этот раз подкрепленная галицийскими войсками под команду Коновальца.

Опять в полной мере воцарились грабежи и убийства в колоссальных размерах. Говорили, что с галичанами пришел цвет украинской ин-

теллигенции. На деле это была самая настоящая сволочь полуинтеллигенции. Именно галичане убивали и грабили так, как впоследствии не делали этого большевики. В мои руки попал точный подсчет жертв вторжения украинцев. За два месяца их владычества они убили на улицах и в застенках свыше пятсот русских офицеров. Убивали их публично на улицах, как собак. Шли обыски, вторжения в квартиры, реквизиции, социализация. По вечерам нельзя было показаться на улицах, и обессиленные немцы не препятствовали этим безобразиям.

Украинизация пошла быстрым темпом. Во всех учреждениях совершенно разучились понимать по-русски, и они наполнились хамами. Жизнь снова стала кошмарною. В один день были сорваны все вывески на русском языке и заменены украинскими, что обошлось городу в шесть миллионов рублей. У украинцев не было чрезвычайок: они просто убивали на улицах. Петлюре с Коновальцем принадлежит новый прием грабежа. В одно прекрасное утро сразу были оцеплены галицийскими войсками все ювелирные магазины и торговли серебряными вещами и были на глазах публики полностью ограблены. Этот метод впервые применили эти господа вместе с Винниченко, которого русская интеллигенция все еще продолжала считать русским писателем. Ограблен был Государственный банк. За два месяца галицийцы награбили: золота и вещей на 88 миллионов рублей; денег и ценных бумаг на 400 миллионов; убили свыше 500 офицеров.

Большевики в 1919 году за восемь месяцев награбили золота на 83 миллиона и убили в чрезвычайках тысячу человек.

Так называемая Директория времен Петлюры прошла в моем психофильме в самых мерзких и жалких тонах.

Одним из сотрудников Петлюры был писатель Винниченко. Он превратился в украинца и его никуда не годные произведения параллельно печатались и на русском, и на украинском языках, так что это все-таки был украинец о двух концах. Еще какой-то Швец, которого называли доцентом какого-то русского университета, состоял членом этой компании. Эта директория занималась гонением на русский язык и требовала

мовы. Но так как никто не знал хорошо мовы Грушевского, то в каждом учреждении сидели полуинтеллигентные хамы, которые дважды переводили русский текст: и тому, кто его писал, и тому, кто его читал.

О «директорах», как о личностях, мало говорили, да и были они, по-видимому, личности совершенно ничтожные. В то время как Петлюра был просто бандит и погромщик, остальные члены упражнялись в чистописании универсалов. Тут они старались перещеголять большевиков экспроприациями и провозглашая избитые тезисы революции. Никакой созидательной деятельности не было. Что же касается Рады, то даже по отчетам ее заседаний нельзя было составить себе представления ни о ее делах, ни о ее мыслях, которых, по-видимому, и не было. Зато разбой и грабеж шли вовсю. Чистили карманы населения по-большевистски. Режим Рады ничем не отличался от большевистского, только слегка выравнивался влиянием немцев, которые сами разлагались.

Мы уже видели сцены керенщины в германских войсках, организацию спартаковцев и совета солдатских депутатов. Много говорили о том, что приехавший депутат Мум, известный по марке шампанского, был социалист.

Уходя из Киева, Петлюра оставил только в анатомическом театре университета 280 трупов убитых, которые я сам исследовал.

Как ни странно, но, когда подводишь итоги жертвам керенщины, петлюровщины и большевиков, приходится признать, что самый, казалось бы, страшный режим большевиков давал меньше жертв: в нем было больше системы и революционного порядка. Большевики едва ли сумели бы теснить буржуазную интеллигенцию сильнее, чем это сделали их предшественники.

По мере того как уходили бесславно немцы, иногда в поспешном бегстве и разоружаемые крестьянскими бандами, надвигались на Украину большевики, уже настоящие и за это время организовавшиеся. Хотя большевики официально признавали самостоятельную Украину, они ее взяли мертвою хваткой.

У немцев также происходил страшный развал: это было начало той керенщины, которая воцарилась у них за тринадцать лет до появления Гитлера. Еще раньше, отравив Россию своим заплombированным вагоном и наблюдая русскую революцию, они хвалились, что с ними подобное случиться не может. Однако в Киеве они заболели той же болезнью. И только опасность быть перерезанными украинскими шайками заставляла их несколько сдерживаться. Так же как и у нас при керенщине, офицерам приходилось заискивать у солдат. Так же напивались и безобразничали в вагонах немецкие товарищи, и только быстрая эвакуация спасла их от окончательной гибели. Болезнь ведь была заразительна. Так же разложились и французские войска в Одессе, повторив почти ту же картину.

Ухода немцев из Украины требовала Антанта и тем предавала гибели огромную область. Обыватели сильно надеялись, что немцев сменят союзники, которые действительно заняли Одессу, чтобы потом там осрамиться так же, как немцы в Киеве. На Украине их страстно ждали. В Киеве несколько месяцев буквально бредили французами, ожидая их еще при большевиках. Но союзники не пришли, а украинцев сменили уже настоящие большевики. Когда же последние приближались к Днепру, украинцы применили по отношению к обывателю оригинальный прием запугивания.

Они говорили, что получили от французов ослепляющие противника фиолетовые лучи. В эту легенду тогда глубоко верили. Опустошенный город без боя был оставлен большевикам.

Затем настала темная ночь большевиков.

## **ГЛАВА VII**

### **Большевики и освобождение**

На этот раз большевики вступили без повального убийства обывателей. Говорили даже о том, что войска вступили в Киев как настоящие



русские, только без погон и уже с пятиконечными звездами на фуражках. В первые дни большевики даже расправились с несколькими бандитами, убив их на месте преступления. Их трупы были выставлены в сквере у Золотых Ворот с приколотой на груди надписью «бандит». Большевики надвигались от Курска по мере того, как отходили немцы, и вступили в Киев около первого февраля.

Первыми пришли полки, сформированные в Черниговской губернии, Таращанской и Богунской дивизии. Они были набраны из буйной деревенской молодежи, уже сплошь зараженной большевизмом. Разместились эти дивизии по домам буржуазии и интеллигенции на правах гостей. В гостиных, в столовых – всюду внедрились товарищи и грабили хозяев, как неприятелей. Были, однако, случаи, когда солдаты держали себя сносно. Буржуй-интеллигент притих. В эти дни с разбойным пафосом ненависти выступил еврей с Подола Лифшиц, будущий деятель чрезвычайки. Как и в прошлый раз, очагом большевизма был Арсенал. В городе царили смятение и страх. По улицам были расклеены кроваво-жидкие плакаты и декреты об экспроприации имущества и потеснении буржуев за подписью коменданта матроса Немцева. Комендант требовал от Киева порядка.

Переживания общества были смутны. В эти дни я лежал больной в госпитале. Ко мне пришел знакомый крестьянин из-под Воронежа, из деревни Петино, в которой я когда-то работал. Он разыскал меня и рассказал, что такое большевики. Эта спокойная речь точно определила весь характер большевизма, и он точно предсказал мне, что будет. Он пробрался через линии большевиков и говорил, что надвигается волна всеобщего разрушения. «Уходите, – говорил он. – С первых дней начнут расти цены на хлеб. В первые дни они не будут свирепствовать, но потом разовьют свою губительную работу».

Ходили слухи о приезде власти из Харькова. Теперь уже фигурировали новые имена. Главой правительства был Раковский, человек смешанной национальности и темного прошлого. Комиссаром просвещения был ассистент Политехникума Затонский, а министром здравия – горе-

психиатр Тутышкин. Много других убийц и бандитов было в этой кампании. Но головкой власти были евреи.

Как-то раз на улице я близко видел Раковского. Он ехал в запряженном паре лошадей фаэтоне, одетый в обычный революционный френч. Вплотную экипаж окружал конвой из конных казаков. Еще гимназистом приготовительного класса такие конвои я видел когда-то сопровождавшими коляску Императора Александра II при приезде его в Харьков, а затем мне вспомнился такой же казачий конвой, сопровождавший коляску Наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева в Харбине во время японской войны. Меняются времена и люди, а историческая декорация превращается в карикатуру: теперь русское казачество составляло почетный караул авантюриста и мошенника, возглавлявшего временно большевистскую Украину. Но, признаюсь, мне тогда не могло прийти в голову, что в будущем ее будет возглавлять мой ротный фельдшер Любченко, во времена Раковского уже сделавший карьеру чекиста и волею судеб скакнувший впоследствии на пост «председателя Советской украинской республики». Тогда Раковский был выбрит на английский манер. Незадолго перед тем в витринах красовалась его физиономия в штатском, с бородою.

Как-то во времена гетмана, когда Раковский стоял во главе большевистского посольства, мне по делам моего госпиталя пришлось посетить эту делегацию и иметь разговор с женщиной-врачом, большевичкой, причем мы поговорили очень резко. Эти типы большевичек-врачей встречались очень часто и были необычайно фанатичны и педантичны в своей большевистской деятельности. Но тогда эта делегация еще не имела вида чека и выглядела как обыкновенная канцелярия.

Организовывались жилищные комиссии. Ограблялось все. Всюду очереди, ордера, – одним словом, настоящий социалистический мундштук на обывателя, который отныне становился рабом. Все же вместо анархии воцарился своеобразный карикатурный, но твердый режим. Янкели и хайки реквизируют кабинеты и рояли, отбирали одежду, вселялись в комнаты и выбрасывали на улицу обитателей целых квартир.

Все лето Киев трепетал под гнетом большевиков. Красный террор свирепствовал, сотни жертв томились и гибли в чрезвычайках. Небывалые насилия давили жизнь. Разбой, грабеж, убийства, обыски не давали обывателю вздохнуть. Кровавые декреты теснили буржуазию. В 24 часа целые дома выселялись на улицу: жильцов, в чем они были, выгоняли на улицу, не позволяя брать с собой никакого имущества. В квартиры вселяли комиссаров, чекистов и советских служащих. По улицам разрешалось ходить только до 9 часов вечера, а часы были переведены на три часа вперед. Странно было видеть заходящее солнце в 12 часов ночи. Всякого запоздавшего хватали и отводили в чрезвычайку. Повсюду шли облавы. Оцепляли целые кварталы, театры, сады, вылавливали буржуев, то есть людей, одетых почище, побогаче. Их гнали в казармы убирать нечистоты товарищей. И бывшие «дамы», сбросив платья, в одних рубахах голыми руками убрали кал товарищей. Красноармейцы очень смеялись такому занятию благородных дам и иногда для развлечения уводили их к себе, чтобы понасиловать и позабавиться.

С наступлением темноты отовсюду слышалась стрельба. На улицах и по дворам шла охота на людей. Жизнь человека стоила недорого, и в анатомическом театре наваливались горы трупов. Но чаще грабили и обирали спокойно, не встречая никакого сопротивления.

Как только спустится на землю ночь, по темным лестницам тяжелой поступью поднимаются фигуры товарищей в серых шинелях с винтовками. Во главе их комиссар. Темной ночью мчатся автомобили по улицам, и горе тому дому, к которому подъедет машина – это последнее творение цивилизации, обращенное теперь на ее разрушение. В ночную пору она означала визит чрезвычайки: обыск, грабеж, арест и смерть. Наутро в газетах кровавый бред и список новых жертв, казненных «в порядке красного террора». Своеобразный язык: ограбить называлось «реквизировать». Ложились спать в девять часов вечера при свете дня, так как время было передвинуто. Привыкли к голоду и часто шутя говорили, что в прежние времена мы слишком много ели. Чуть только донесут, что

в доме есть запас и припрятано несколько фунтов съестного, – сейчас же обыск и конфискация, а попутно и арест.

По приказанию свыше домовые комитеты поставляли от каждой квартиры то по одеялу, то по матрацу – якобы для Красной армии, а попросту для грабежа. На улице люди глядели в оба и озирались кругом, боясь сказать неосторожное слово. Жизнь была сплошным кошмаром, но люди сгибались перед силою и – как ни странно – терпели ее без ропота. А в то же время вспоминали о притеснениях старого режима, блага которого другим казались теперь недостижимым идеалом.

Бешено росли цены, и царила спекуляция. Большевики же не стеснялись и наводняли страну бумажными деньгами за подписью Пятакова. Советские учреждения привлекли к себе тысячи бывших чиновников и интеллигентов, но держали их в черном теле. Во всех учреждениях были вывешены грозные предупреждения, что всякий, кто опоздает на службу, будет передан чрезвычайке. В этих учреждениях во всю мощь царила канцелярщина, отмена которой провозглашалась революцией. Бумаг писалось без конца. Всюду шла проверка документов, бессмысленные регистрации и анкеты сыпались как из рога изобилия. Любопытна была система анкет: заставляли каждого писать про себя все данные, за большинство которых полагался расстрел, а за сокрытие данных в анкетах также грозил расстрел. И все же умудрялись лгать в анкетах. Шли переписи... Квартирные комиссии, сплошь составленные из подростков-евреев и студентов, врываются во все дома, описывали комнаты, мебель и вселяли в них людей «по ордерам». Имуществом хозяев распоряжались вселенные жильцы, а чувство собственности и жажда обладания проявлялись у них столь же сильно, как отрицалось это право по отношению к тем, кто владел вещами «по закону». В домах царями были дворники, швейцары, прислуга. Они шпионили и доносили в чрезвычайки. По их доносам хватали людей и расстреливали без суда.

Весь город изменил свою физиономию. Охамился и опростился. Однако по улицам с нахальным видом и вызывающим выражением лиц

гуляла шикарно одетая еврейская, большевистская и коммунистическая молодежь. Во френчах, в галифе-брюках, в шикарных шнурованных ботинках, со стеклом в руке, они представляли собою золотую молодежь революции, как это наблюдалось и во время Французской революции. Лицо выбрито на английский манер. Удивительно, как в этом наряде все лица коммунистов были похожи друг на друга. И здесь сказывалось влияние психической заразы.

Были те же лихачи-извозчики: раньше они катали золотую молодежь из губернаторских чиновников, теперь мчали по улицам комиссаров. Жизнь – та же, только формы ее другие. Проститутки теперь льнули к чекистам и матросам, которые красились лучше кокоток. Устраивались оргии, в которых кокаин, как яд революции, играл главную роль. Кутили также не хуже прежнего.

Все разрушалось, все гибло, а русский интеллигент все еще лепетал об ужасах царского самодержавия. Все было задавлено, и казалось, что люди должны были бы уже давно осознать весь ужас своего положения.

В июне Харьков был взят, и с этого времени большевики засуетились. Чем грознее становились дела на фронте, тем больше свирепствовали большевики. Объявляли красный террор, декреты публиковались все более жестокие и грозные. Режим в чрезвычайках становился суровее. Носились слухи, что Добровольческая армия сильна, что техника и кавалерия у них превосходны, и люди стали надеяться на освобождение. Втихомолку говорили о добровольцах, которых большевистские газеты называли «золотопогонною сволочью». Повсюду вместе с большевиками воевали «банды». Этим словом всякая власть называла всех своих противников. Говорили о так называемых зеленых. Эти с одной стороны воевали с большевиками, а с другой – сами были бандитами анархического типа.

Близ Екатеринослава воевал и грабил разбойник Махно, вблизи Чернигова – атаман Ангел. В Киеве говорили, что все они находятся в контакте с Деникиным, и газеты этот слух поддерживали, что, конечно, впоследствии оказалось вздором. С запада и с юга действовал

тот же неутомимый Петлюра с галицийскими войсками. Верили еще в какие-то армии на западе, ждали вторжения Юденича в Петроград и говорили, что большевики погибли, будучи окружены со всех сторон кольцом. Неясна была позиция поляков: эти пойдут на все, чтобы напакостить России.

Поляки стояли далеко на западе, не трогаясь по направлению к Киеву, который считали своим.

Обыватели со страхом надеялись и ждали, но никто точно не знал положения. Слухи менялись, надежды разбивались. Людей охватывало чувство отчаяния и безнадежности.

С начала августа большевики заволновались. Упорно ползли слухи о том, что положение их непрочно, что они готовятся к эвакуации. Обострился до крайности террор, посыпались угрозы одна другой свирепее. Насилия валились на головы обывателей, теперь покорных и кротких. Сносили все. Небывалый гнет уже не удивлял людей.

Около 10 августа в Киев прибыл герой чека латыш Петерс, и грозный триумvirат в составе латышей Лациса и Петерса и русского бандита, будущего маршала Ворошилова, вступил в свои диктаторские права. Кровь лилась во славу и углубление революции, и горожане испили чашу страданий до дна. Триумvirат по предложению Петерса постановил захватить побольше заложников из семей офицеров, врачей и специалистов, «дабы, владея их жизнью, воздействовать на добровольцев, по мере надобности их расстреливая».

Среди интеллигенции царил паника. Сотни людей скрывались, они бродили по окрестным лесам и трепетали. Огромные плакаты в красках, написанные меньшевиками-художниками, вывешенные на улицах, сулили кару буржуям. Эта внешняя декорация была характерною на всем протяжении революции.

Теперь весь город был обезображен кровавыми картинами усеечения гидры контрреволюции. На возведенных столбах и в витринах рисовались фигуры Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Ночью в городе никто не спал спокойно: всюду врывались товарищи и грабили.

И все же было ясно, что большевики готовятся к отходу. Призывали и мобилизовали врачей-специалистов. Арестованных буржуев гоняли на принудительные работы, забирая всех интеллигентных людей в эту группу. Советских служащих большевики увозили с собою, забирая и их семьи в качестве заложников. Поднялось массовое бегство. Шло сильное гонение на поляков. В концентрационных лагерях жизнь была тяжела.

Около 20 августа появились объявления о том, что решено разгрузить тюрьмы. Образовалась комиссия под председательством Мануильского, которая ездила по тюрьмам и быстро сортировала – кого уничтожить, кого выпустить и кого взять с собою. Членом комиссии был старый революционер польский еврей Феликс Кон. По счастью, дела заключенных были так запущены, что никто не знал, за что содержится. Мелочь и спекулянтов отпускали. Ни одна комиссия не была так жестока, как эта. За несколько дней она приговорила к смерти около 200 человек. На радостях те, кто были освобождены, стали петь хвалебный гимн Мануильскому и создали ему репутацию человека гуманного. Так часто ликует спасшийся, забывая о погибших. Это было беспросветное время. Все идеалы человека рассеялись как дым. Остался остов человека-зверя, сумрачно глядящего на судьбы мира.

Постепенно и планомерно, выдержанно и умно уходили комиссары. Будь помыслы большевиков направлены на лучшее, они могли бы сделать многое в смысле восстановления жизни при их суровой дисциплине и порядке.

Была взята Полтава. С востока надвигались добровольцы, а с запада – петлюровская армия. Бандит Петлюра хорошо знал Киев и теперь рассчитывал на поддержку украинских низов. Наступление с обеих сторон шло быстро, и киевлянам казалось, что действия обеих армий координированы. Однако в этом они сильно ошибались. Симбиоз двух противоположных девизов: с одной стороны – восстановления единой и неделимой России, с другой стороны – раздробления и разграбления государства, был неосуществим.

У большевиков, несмотря на террористический порядок, царил хаос. Откровенно говорили, что песнь их спета, что у них нет снарядов, что дисциплина, основанная на терроре, не прочна, и предвидели их развал. Они опирались в военных операциях на курсантов, вербуемых из полуинтеллигентов и пролетарской молодежи, и на латышей. Эти дрались хорошо.

Мне было непонятно, почему уходили большевики: у Деникина было мало живой силы, но, говорили, великолепно стояла техника, что также потом оказалось неверным. Никакого союза между всеми стягивающимися к Киеву силами не было. Приписывали большевикам и хитрый план стравить у Киева добровольцев и украинцев, самим улизнув вовремя, но это оказалось вздором.

За два дня до оставления большевиками Киева бои шли с украинцами на западе у Боярки, в 30 верстах, а с добровольцами у Борисполя, в 20 верстах от Киева. С обоих фронтов привозили к нам в госпиталь раненых. Эвакуация большевиков пошла полным ходом, и надо признать, что проведена она была блестяще.

Еще накануне оставления города члены правительства разгуливали по городу и появлялись на митингах. ЦИК (Центральный исполнительный комитет) сел на пароход во главе с Раковским последним. Большевики рассчитались с советскими служащими, заплатив им месячное жалование вперед. Но даже покидаемые большевиками люди продолжали трепетать пред ними. Стали еще осторожнее, ибо теперь они особенно свирепствовали, «хлопая дверью», по выражению Троцкого. Плакаты объявили, что в тюрьмах работает комиссия Мануильского с целью рассортировки заключенных, и пошли оправдавшиеся впоследствии слухи о необычайных расстрелах. Ловили заложников и увозили их.

Два наследства оставили большевики цивилизованной Европе: это система заложников и концентрационные лагеря. Впоследствии они будут применяться всюду. В концентрационные лагеря заключаются люди массами, без всякой вины, только по принадлежности к враждебной иде-



ологии. А заложников брали впоследствии и в Испании. Охотились на людей, и в городе стоял сплошной вопль. Надежда, сомнение, страх...

Кто же были большевики? Все еврейство, все рабочее и полуинтеллигенты, вся прислуга, дворники, половина студенчества и небольшая часть интеллигенции. Пришлою была только головка и войска, а также наводнившая Киев из местечек еврейская молодежь.

Автомобили и грузовики, нагруженные награбленным добром, с рабочими неслись к вокзалу и к пристани. Вся набережная была оцеплена, и там царил порядок, основанный на терроре. Все было завалено тюками и ящиками. Накануне отхода пронеслись зловещие слухи, будто бы дела большевиков на фронте поправились. Как раз в это время под сильным конвоем увозили советских служащих и их семьи. Забрав семью, закабалляли человека. Многие скрывались в эти беспокойные дни: они были бы обречены, если бы большевики задержались. Беглецам предстояла верная гибель. Невозможно же было вечно скрываться!

С утра 27 августа через город стали отходить отступающие обозы и небольшие части войск. Картина была знакомая и обрисовывалась все ярче. После полудня с Соломенского шоссе через весь город шли батареи к цепному мосту за Днепр. Батарея имела полный комплект вещей, но была перегружена багажом и награбленным добром. На орудиях были увязаны тюки, корзины с курами и прочее хозяйское добро. Рядом с орудием ехала подвода с бабами. Войска шли хмуро, не обращая внимания на публику, запрудившую тротуары и наблюдавшую этот отход.

Любопытство, как и всегда, тянуло человека к этой жуткой картине. Шли сумрачно и торопясь. На углу Безаковской и Мариинской остановился кавалерийский взвод во главе с грузином-командиром. Всадники – молодые красноармейцы – спешили и поставили лошадей в палисадник. Они были достаточно оборваны и не имели боевого вида. После короткого привала кавказец скомандовал: «Садись», и когда молодой парень замешкался, тот замахнулся на него нагайкой: «Не зевай!»

Войска прошли через город спокойно, но спешно. Публика глядела на них с осторожностью и с опаской. Вслед за войсковыми частями

потянулись отставшие и дезертиры. Десятками они искали приюта, где спрятаться, и толпами осаждали госпиталь, прося приюта под видом больных. Красноармейцы, лежавшие в госпиталях, боялись, чтобы их не бросили, и сильно волновались. От прежнего солдата-героя не осталось даже воспоминания. В составе больных был сброд бандитов, представлявших собой диких животных. Служба врачей в этих госпиталях была каторгой. Больные были разнузданны, делали что хотели, терроризировали персонал, грабили имущество, скандалили и проявляли инстинкты разрушения.

Но опасения больных были напрасны: порядок эвакуации и система ее проведения были изумительны. Все больные были эвакуированы своевременно. Приехала фанатик – женщина-врач, большевичка, которых среди женщин-врачей было очень много, и сделала все точно, умно и методично, без лишних разговоров. Эти женщины-фанатики, опившиеся кровью, были столь же отвратительны, сколь и героичны. В течение двух часов больные моего госпиталя были увезены: вагоны-трамваи пришли вовремя, а мы спешили скорее сплавить эту сволочь. Я по долгу главного врача руководил посадкою больных в вагон – ведь лечим же мы бешеных. Дикого вида товарищ в солдатской шинели сыпал по матери и кричал, чтобы трогались скорее. Глядя мне в глаза, он нагло орал:

– Что? Ждешь Деникина?

Я со злорадством глядел на зверя и спокойно командовал посадкою, пока не отошел последний вагон трамвая.

На улицах заметно было смятение. Быстро пустели тротуары, и запоздалые прохожие торопились домой. Начинался самый страшный период междувластия, когда из нор выползают бандиты и грабят.

Большевики уходили. Мечтания стали фактом. Но именно теперь боялись верить счастью:

– Неужели правда? Уходят? Ушли!

Все указывало на то, что скоро должен войти в город невидимый победитель. Но мы не знали – кто он? И этот вопрос пробуждал тревогу.

В ожидании было что-то зловещее. Все так измучились, пострадались, что боялись верить фактам.

Кто победитель? Кто войдет?..

В психике рисовались два образа: один – русского героя, возвещающего Единую и Неделимую Россию, а другой – бандита Петлюры. В сердцах царила надежда, в уме таилось сомнение.

Бои затихли. Не слышалось больше канонады. На город спустился великолепный тихий вечер. Голубое небо было ясно. Улицы как будто вымерли, но у ворот и подъездов теснились люди и ждали. Еще с утра по городу ходили слухи один другого глупее. Передавали, что над городом летал аэроплан и сбрасывал прокламации добровольцев с предупреждением о том, чтобы горожане не беспокоились, что город будут шадить и излишней стрельбы по городу не будет.

К нам подходили отставшие красноармейцы. Как скоро они преобразались и забывали о том, как грабили и убивали русских людей! Теперь это были кроткие овечки с невинным видом, искренне уверявшие, что они ни в чем не повинны, и слезно просили принять их в госпиталь. Они просили скрыть, что они красноармейцы. Я отклонил их просьбы: я знал этих животных, теперь одетых в овечьи шкуры. Их осталось слишком много в городе, а это было не к добру. Кто знает, как повернутся события?

Я стоял у подъезда госпиталя и ждал. Около семи часов вечера высоко над домом разорвалась шрапнель. Был слышен свист полета снаряда, сопровождаемый ударом металлического тембра. За этим снарядом последовал другой, и – дело началось. Никто не понимал, что это значит. По городу стреляли, но кто? Снарядов, однако, не боялись, скорее им радовались; ведь это было освобождение. Снаряды рвались на востоке, со стороны Днепра, и можно было думать, что добровольцы отрезали посадку на пароходы. Улицы мгновенно опустели. Бомбардировка была знакома многострадальному Киеву. Как оказалось позже – это большевики посылали свой последний привет Киеву. Стреляли долго, с небольшими перерывами, хотя неприятеля в городе и не было.

Обыватель думал, что две армии-победительницы вместе выполняют задуманный маневр и сошлись под Киевом по выработанному заранее плану. Спрашивали себя, что будет дальше. Трудно было допустить, чтобы две армии случайно в один и тот же вечер пришли отбивать Киев у большевиков. Неужели же большевики умным маневром свели двух врагов, чтобы они уничтожили друг друга?

Так и осталась неразгаданной эта загадка.

Добровольцы или украинцы? Этот вопрос висел над Киевом всю ночь. А в эту ночь здесь не было ни большевиков, ни добровольцев, ни петлюровцев. Но она не принесла покоя освобожденному городу.

Торжественно и радостно было у меня на душе, когда я, широко открыв окно в своей лаборатории, созерцал тишину наступившей ночи. Из окон госпиталя открывался вид на вокзал, на товарную станцию и на горы за железнодорожной линией. Горело электричество. После короткой паузы снова загремели пушки, и одиночные снаряды чертили небо по направлению к вокзалу. Снаряды летели через нас, рвались над зданием, но я не испытывал ни малейшего страха: так быть должно, таковы законы революции.

То глухо, то звонко ударяли взрывы, и так далека была мысль, что в комнату сейчас может ворваться снаряд и оборвать все мечты! А как мечталось в эту ночь! И как спокойно было на душе!

В эту ночь впервые на улицах не грабили и не было ружейной трескотни.

Около полуночи на товарной станции возник пожар: горел вагон с патронами. Его зажег или большевистский снаряд, или подожгли на вокзале большевики, которых было множество между железнодорожниками. Железнодорожные служащие были сильно развращены революцией, и так как в их руках было сообщение, то с ними считались большевики и петлюровцы. Но сомнения их были направлены в сторону революции. Они и теперь грабили вагоны, которые не успели увезти большевики. Но и сами большевики, желая напасть перед уходом, часто поджигали вагоны с ружейными патронами: такие картины мы видели и потом не

раз. Из окна мне было ясно видно зарево: станция была недалеко. Диким аккордом гудели тревожные свистки паровозов, и им аккомпанировали удары разрывов. А в промежутках между ними дробью рассыпались выстрелы сотен и тысяч рвущихся ружейных патронов.

Картина была величественна, и временами тревожно думалось, что могут взорваться рядом стоящие вагоны с артиллерийскими снарядами. Этот номер ведь любили большевики.

Над городом висела ночь. Через открытое окно виднелось зарево. Много дум носилось в психике созерцающего эту картину человека, давно не ведавшего ни покоя, ни надежд. В эту ночь, несмотря на выстрелы, спалось так мирно, спокойно, точно цепи спали с души. Сквозь пламя пожара и звуки канонады вновь грезилась жизнь настоящая, свободная, без миражного покрывала «белоснежной» революции.

Рано утром меня позвали в операционную. Туда принесли из соседнего дома женщину, раненную в ногу, с оторванной снарядом ступнею. Снаряд влетел в комнату, когда она спокойно спала. Самый факт уже никому не казался ужасным, и даже сама раненая не возмущалась и не роптала на судьбу. Я долго возился с операцией, и это отвлекло мое внимание от творящегося кругом меня.

Стрельба затихла. Прекрасное утро навевало в душу мир. Улицы были пустынные, и жизнь в городе замерла.

Все задавали друг другу вопросы: «Вошли? Кто?»

Но победитель не входил... А главное, до сих пор не знали, кто он. Скоро, однако, поползли слухи один другого противоречивее: в них чувствовалась тревога и опасение. Теперь, когда большинство русского населения надеялось на добровольцев, украинские круги торжествовали, ожидая входа Петлюры и Директории, а с нею и воцарения социалистического универсала № 4, узаконивающего большевистский режим. В этом случае не стоило надеяться ни на что: одни разбойники сменяли других.

И скоро наступило полное разочарование: со стороны вокзала вступили галичане. Говорили, что «в три часа торжественно въедет на белом

коне в Киев Петлюра». Для меня это было ушатом холодной воды на голову, который залил все мечты, и я, махнув рукою, ушел в лабораторию, чтобы в работе забыть от нового кошмара. Однако и сюда долетали слухи. Сообщали, что галичане, которые вошли теперь, не те, что грабили и убивали зимою. Эти будто бы вошли в полнейшем порядке, и их всюду приветствовали киевляне, засыпая цветами и выражая свой восторг освободителям. Но тут же рассказывали, что где-то галичане вырезали партию евреев, а в другом месте, арестовав собрание еврейской молодежи, всех увели на расстрел. Это и подтвердилось впоследствии: я видел в анатомическом театре свыше 150 трупов евреев. Это был первый трофей Петлюры, который то заключал с евреями союзы, то устраивал еврейские погромы. Позже я видел эти войска: чужие, австрийские.

Около двенадцати часов ко мне пришел мой приятель полковник В. А. Шарепо-Лапицкий. Три дня тому назад с опасностью для жизни он сбежал от большевиков и скрывался на чердаке у ремесленника-чеха, с трепетом ожидая освобождения.

Во время отхода большевиков все, кто мог, удирали. Все, кто мог из офицеров, вынужденных служить в Красной армии, бросали свои части и скрывались самым фантастическим образом, ежеминутно рискуя головою. Большевики не спускали с них глаз, сами усаживали на пароходы. При каждом офицере был комиссар из подонков рабочей массы.

В. А. Шарепо-Лапицкий воспользовался случаем и, усыпив бдительность комиссара тем, что отправил свои вещи на пароход, сам в чем был ушел и скрылся. В это время многие скрывались по норам, и находились сердобольные и храбрые люди, рисковавшие головой, и носили спрятавшимся пищу.

Теперь В. А. пришел ко мне торжествующий и позвал меня к своему хозяину на пирушку по случаю освобождения: есть жареного гуся. Он сообщил мне, что в город уже вошли разъезды добровольцев.

На улице мы видели галичан. Это были австрийские войска. Я смотрел на них с презрением. Они называли себя культурными, на самом же деле были сбродом полунинтеллигенции.

Добровольцы появились на улице с трехцветными русскими флагами, и появление их вызывало восторг. Город занимался одновременно и добровольцами, и петлюровскими войсками. На улицах чувствовалось смятение: что-то будет?

Мы шли по направлению к Святошинскому шоссе. Во дворе запущенной фабрики, на чердаке, в клетушке нашел себе приют бежавший от большевиков полковник русской Императорской армии. Хозяин, чех с женою, чествовали его теперь обедом. Эти люди спасали русского офицера совершенно бескорыстно, только из омерзения к большевикам. Когда мы сидели за столом с кусками непривычной еды – жареного гуся, – хозяин подошел к стоявшему в углу сундуку, бережно раскрыл его и, вынув икону, снял сзади ее картон. Он молча вынул спрятанный там портрет Императора Николая II и повесил его на стену..

Так чтит в тяжелое время Русского Царя чех. А русские?..

После обеда я вышел в город. Почти у самого выхода я натолкнулся на труп китайца: уже начиналась расправа с этими чужеземцами, усердно служившими большевикам. По улицам возбужденно бродила публика. Передавали, что из-за Днепра входят в город добровольцы и что у Никольских ворот стоит отряд генерала Бредова, который будто бы ожидал, что киевляне сами выразят желание, чтобы добровольцы вошли в город.

В один и тот же день, почти в один и тот же час с востока и с запада вступили в Киев две армии, и никто не понимал их взаимоотношений. Эта встреча произошла как раз в то время, когда их общий неприятель ловко ускользнул из-под самого их носа. Уже говорили о том, что между разъездами галичан и добровольцев возникли столкновения. Было ясно одно: добровольцев встречали с гораздо бóльшим энтузиазмом, чем галичан.

Я встретил офицера-сапера в погонах и пошел с ним. Его на каждом шагу приветствовали, аплодировали, кричали ему «ура», махали руками. На углу против театра его обступила толпа. Интеллигентная дама возбужденно обратилась к нему:

– Послушайте, вы офицер Добровольческой армии! Что же это делается? На Городской думе вывешен украинский флаг. Почему же не наш – трехцветный? Что из этого всего выйдет?

– Да! Почему? – заволновалась публика и, перебивая друг друга, обращались к офицеру.

Он громко, уверенно и спокойно сказал:

– Будьте спокойны. Будет единая неделимая Россия!

Буря радости и восторга охватила толпу, осыпавшую сапера овациями.

Я вышел на Крещатик, весь запруженный публикой. У Думы стояла густая толпа, и люди были взволнованы. Незадолго перед тем разыгрался крупный инцидент. Галичане, войдя в Киев, водрузили на балконе Думы украинский желто-блакитный флаг. Украинцы торжествовали. Слышалась галицийская речь, и вслух ругали москалей. Киевляне хорошо знали петлюровский социальный рай. Кто-то потребовал, чтобы рядом с украинским водрузили русский флаг. В этом было отказано. Тогда какой-то человек сам вынес на балкон трехцветный флаг и поставил его рядом с украинским. Тотчас же на балкон ворвался какой-то украинский деятель, сорвал и сбросил русский флаг. Поднялась целая буря. Мне стало мерзко, и я пошел дальше.

В это время у Никольских ворот разыгралась другая драма. Из-за Днепра в Киев входил отряд добровольцев под командой генерала Бредова. Здесь произошла встреча этого отряда с украинцами, которые будто бы потребовали оставления Киева добровольцами. Бредов категорически поставил ультиматум об очищении Киева галичанами и об отходе их на тридцативерстный переход. Что вышло, в точности никто не знал, но генерал Бредов заявил, что займет город силою оружия. Возникла краткая перестрелка, в результате которой весь галицийский корпус обратился в паническое бегство. Люди, видевшие это отступление, утверждали, что оно носило быстрый и беспорядочный характер.

Узнав об этом только на следующее утро, я в тот день вернулся домой хмурый, в полной безнадежности за русское дело.



В ночь на 30 августа над городом вновь рвались снаряды. И опять было непонятно, кто и зачем стреляет. Утром я вышел на Крещатик уверенный, что дело погибло. «Не все ли равно, – думал я, – который из разбойников будет править Киевом? А если добровольцы действительно вошли в контакт с петлюровцами, то это значит, что возвращаются времена Керенского... Тогда, следовательно, погибла и Добровольческая армия с ее лозунгом единой и неделимой!»

Однако на улице я встречал только добровольцев.

По первому взгляду их трудно было распознать, ибо они одеты были не в русские, а в английские шинели. Но на левом рукаве был угол из ленты национальных цветов. Они ходили по городу небольшими группами и патрулями в полном порядке. Их всюду приветствовали, но недоумевали, что происходит, ибо полагали, что хозяевами положения являются галичане.

На Крещатике я встретил много знакомых, и кто-то из них поразился моему равнодушию и пессимизму относительно будущего.

– Вы разве не знаете, что случилось? Украинская комедия кончилась, и галичане отошли на один переход от Киева. Город занят добровольцами, а не галичанами.

Сразу на душе у меня отлегло. Значит, действительно освобождение!

Тогда мне стал понятен восторг толпы.

Лица были радостны, все приветствовали друг друга. Мне показали ворота дома, разрушенные снарядами, и зияющую дыру в стене: это Петлюра повторил прием большевиков и, отходя, громил мирных жителей снарядами.

Первые часы вступления Добровольческой армии в Киев (29 августа 1919 года) напоминали светлый праздник. Еще недавно никто не верил тому, что небольшая группа людей, собравшихся под флагом Алексеева и Корнилова, могла противостоять великому развалу и победить его.

Когда раннею весной армия Колчака победоносно надвигалась с востока, к ней стали прислушиваться и с надеждою ожидать. Летом 1919 года большевики крикливо объявили, что Колчак разбит и отбро-

шен. Но после Пасхи 1919 года стало слышно, что на большевиков с юго-востока надвигается армия Деникина. В нее мало верили, пока Троцкий открыто не заявил, что опасность велика.

Либеральная интеллигенция и украинские круги были недовольны: надо было-де заключить договор с украинцами и войти с ними в соглашение. «Надо было сговориться». Никак не могли забыть глупых лозунгов Керенского «уговаривать», «договариваться», не понимали, что во время катастроф это ведет только к обострениям.

Вздохнули, освободились от ужаса, но, увы, слишком скоро стали это забывать.

В толпе я услышал не раз повторяемые реплики:

– Вы посмотрите, что там делается!

– Где?

– Да на Екатерининской, в чрезвычайках. Вы поглядите, что они там наделали!

Я направился туда. То, что я там увидел, не поддается никакому описанию. В Липках, в части Киева, когда-то населенной аристократией, на углу Институтской и Садовой под № 5 стоит особняк богатого еврея Бродского. Наискось от него по Институтской расположен бывший генерал-губернаторский дом. Там при большевиках помешалась губернская чрезвычайка, сокращенно называвшаяся «губчека». В этом доме в подвалах сидели арестованные, в наскоро приспособленных клетках, а наверху в кабинетах, гостиных и залах помещались бесчисленные канцелярии чека. Теперь дворец был покинут и пуст, а внутренность помещений разгромлена – обломки мебели, посуды и горы бумаг. Все перевернули и изломали большевики. Не догадались только поджечь. Не забыли и русского обычая нагадить в комнатах, оставив кучи испражнений на коврах, в гостиной и в церкви, где все было разгромлено. Повсюду валялись бутылки от вина и склянки от кокаина. Всюду разрушение и разгром.

Туда, к этому дому бесконечную вереницей шли теперь киевляне. Казематы, где еще три дня тому назад томились люди, носили следы

своих жильцов. Все стены были исписаны трогающими душу надписями людей, уводимых на убой. Но главное дело не здесь. Толпы людей входили в ворота особняка дома Бродского и, ошеломленные, замирали от ужаса. Здесь была человеческая бойня. Через двор в ряде хозяйственных построек находился каретный сарай с асфальтовым полом. Он был обыкновенной вместимости, на четыре-пять экипажей. Ворота были открыты настежь. Весь пол был залит человеческой кровью, ею же были забрызганы все стены и потолок с прилипшими к нему кусками мозгов. Кое-где, запекшись темными кусками, виднелись части внутренностей. Внутри сарая – квадратный мелкий колодезь-яма. Теперь к нему сделан сток – туда потоком стекала человеческая кровь. Над ним торчало древко, к которому заботливая рука успела привязать образок на голубой ленточке. Невыносимо тихо. Люди притихли и замерли. В присутствии покойника люди понижают голос, и движения их замирают. На дворе стоит нестерпимый смрад.

Здесь убивали сотни людей. Направо – сад, наполненный людьми. Там еще страшнее. В саду разрыты глубокие рвы с громадными буграми по краям. Навалены горы земли пепельно-серого цвета, мелкой и сухой. Это разрытая братская могила в саду особняка. В ней груды трупов. Все голые. Часть их уже вырыта и разложена рядами в стороне между деревьями. Застыли в невероятных позах, как были сброшены в ямы. Страшно глядят стеклянные глаза в неограниченную высь неба, и искажены землистые лица. Все тело покойников обсыпано пепельно-серою землей, и кожа местами отслоилась целыми пластами

Головы у большинства размозжены. А дальше в яме, засыпанные землей, торчат конечности и части тела. Человеческие трупы беспорядочно навалены и перемешаны с землей.

Молча стоит на склоне невиданной могилы заочневшая толпа.

Не нужно слов. Глядя на сделанное дело, говорили:

– Так вот они, большевики! Вот их настоящее лицо!

Какой-то рабочий только теперь размозговал, в чем дело, и говорил: «Так вот они какие, а нам говорили...».

Запоздалое оправдание: ведь рабочие и евреи совершили весь этот ужас. В один голос все твердили: «Жиды, жиды...» Передавали, что все эти последние убийства единолично выполнил еврей – гимназист или реалист Вихман.

В ужасе стонала толпа и не верила своим глазам. Раньше интеллигенты не верили рассказам о чрезвычайках, теперь они видели результаты ее работы воочию. Что было ужасно издали, здесь было еще и гнусно. Как в зеркале, здесь отразились большевики. Но непрочно было впечатление большой революционным психозом толпы. Уже через месяц добровольческого режима неизлечимый либеральный интеллигент ворчал, а еврейская интеллигенция обрабатывала русский ум, крича о преследованиях евреев и об устройстве добровольцами погромов.

Весь особняк Бродского внутри также был выворочен и разгромлен. Всюду обломки, груды бумаг, ящиков и кучи человеческих испражнений. Уютная спальня буржуев Бродских носила следы супружеского счастья коменданта чеки Угарова, который жил здесь с женою. Этот зверь-человек, которому впоследствии на Генуэзской конференции пожимал руку итальянский король, был портняжным подмастерьем из Воронежа. Он был художником своего дела. Он упивался кровью буржуев и почивал со своею супругой под звуки выстрелов, которыми размозжали черепа обреченных: окна спальни выходили на двор против сарая, в котором были бойни. Бутылки от шампанского дополняли картину разгрома, перекидывая мост между падшим миром старого режима и передовыми завоеваниями революции.

И эта картина во всех чрезвычайках была одна и та же.

Перед бывшей библиотекой чека на тротуаре улицы были разбросаны билетки-карточки. У большевиков повсюду царил картонная система. На этих карточках было обозначено название книг. Я наступил на Михайловского, и вспомнился мне этот растлитель русской интеллигенции, сын жандармского офицера, подтачивавший государственный порядок. Его посева теперь пышно всходили.

В дни большевиков на тротуаре против библиотеки чека можно было видеть веселые группы еврейской молодежи. Тут они чувствовали себя как дома. Молодые янкели беседовали со своими хайками, не обращая никакого внимания на оберегавшую их своими штыками русскую сволочь в виде красноармейцев специального охранного батальона чека.

Отсюда публика валила через весь город к анатомическому театру университета. Пойдем туда и мы.

В Киеве анатомический театр расположен по-старому, на одной из людных и магистральных улиц, на углу Фундуклеевской и Тимофеевской. Теперь над всем кварталом стояло невыносимое зловоние и смрад. Публика широкою волною входила в открытые ворота старинного двора, почти сплошь поросшего даже сквозь булыжники мостовой травой. Люди подносили платки к носу и ко рту: тяжело было вдыхать отвратительный, отравленный трупными испарениями воздух...

Большая зала театра с каменным полом была сплошь уложена по всему полу останками того, что еще недавно было людьми. Покойники застыли в разных позах, скорченные и зачоченевшие, какими были в момент смерти. Они непослушно укладывались в ряды и своими изуродованными членами касались один другого. Лишь на немногих уцелели обрывки тряпья. Даже рванью не брезгал богоносец русский народ, превратившийся в чекистов и красноармейцев. Он грабил в дикой пугачевщине погибающих. Ну пойдем еврея: он будто бы мстил за свой народ. Они вместе с латышами были инструкторами бойни. Но кто же, как дикий цербер, охранял, то есть сторожил, в чрезвычайках заключенных? Кто стройной цепью с винтовкою наготове окружал ведомых на расстрел русских людей? Кто ревниво оберегал комиссара? Кто алчным жестом срывал в последний час одежду с жертвы, толкая голого буржуя в сарай, и передавал его в руки палача? Под чьей заботливой охраной совершались все эти ужасы?

Деревенский молодой парень, сын рабочего, железнодорожника, отец которого еще давно, при царском режиме, на сбережения купил домик в Слободке. Теперь превратившись в полубуржуя, он убивал и

грабил. Цвет пролетарской молодежи в слепом рабстве у фанатиков-изуверов своими руками разрушал завоевания культуры во имя завоеваний революции.

Латыши и евреи опирались на разнузданные массы русского народа. Раньше всюду слышалось: «мы проливали кровь», «попили нашей кровушки», а теперь низы опивались кровью.

В страшных позах, с размозженными черепами, неузнаваемые лежали трупы. У одного лицо спокойно, точно спит. Другой, широко раскрыв глаза, вперил свой оловянный взор в пространство, и ужас зачоченел в чертах лица.

Объединный до половины собаками покойник отпрепарирован понастоящему: все мясо на ногах покусали четвероногие друзья мудрого человека, и кости таза со связками так четко обработаны, что впору их демонстрировать на лекциях анатомии.

Молчаливо и медленно проходит волна людей по узким проходам между рядами покойников. Не говорят, а только стонут. Деформация человеческого тела видна во всем безобразии, вселяя ужас в душу зрителей. На некоторых телах записки с фамилиями: каким-то чудом родные узнали обезображенные тела. Увы, не всегда легко их узнать! В глубине зала трагическая сцена: женщина в сомнении переходит от одного покойника к другому и не решается сказать, который из двух ей брат. Узнавали трупы по родимому пятну, по изуродованному пальцу на ногах.

Убивали людей по-фабричному: пулей из колыта в затылок. Череп разносился вдребезги и брызгами разлетался мозг, в котором еще недавно хранились мысли.

И это ужас еще не весь. В комнате направо от входа до самого потолка навалена гора трупов. Туда валили их, не успевая укладывать в ряды. Теперь эта куча имела неопределенные контуры голых человеческих тел, которые расплывались в слизь. Сотни тел смешались в куче, и никакая картина ада в воображении не могла бы превзойти действительность.

«Неужели, – думалось мне, – человечеству еще нужна картина мучений загробного ада, когда освобождаемый от старого режима

свободный человек так полно воплотил его в реальной жизни? Что нового мог выдумать царь зла в своих подземных владениях? Покорный ученик людей – сатана – мог бы только позавидовать изобретательности чекиста Угарова. Он мог бы обратить свой взор в глубь прошлого, на инквизицию, и сравнить ее устаревшие методы с новой техникой чека».

В анатомическом театре, как в зеркале, отражались они, эти загадочные для Европы большевики, у которых она в будущем будет учиться брать заложников и устраивать концентрационные лагеря, нарушать договоры и пр.

Сквозь пелену неземного ужаса добродушно улыбались лица парней пролетарского происхождения, одетых в форму красноармейца.

Вот она, душа русского человека: то дающая гения, подобного Пушкину или Лобачевскому, то порождающая страстотерпца и богоносца, то героя, чудо-богатыря, то терпеливую серую скотинку, то труса-дезертира или бандита-пугачевца.

Входили и выходили люди. Казалось, что навсегда отравлена душа всем виденным и что недоступна ей больше будет радость бытия.

На этом фоне обрисовывается невероятная картина. К трупам своих жертв влечет убийц. В толпе меж трупами спокойно бродит политический комиссар большевиков Петников. Он сын буржуя-домовладельца в Харькове на Старомосковской улице, дом № 56. Если когда-нибудь эти строки дойдут до харьковцев, пусть прогуляются и посмотрят на эту страшную картину экзальтированной низости. Этот человек с лицом Христа, с кристально чистым выражением глаз, был страшен. С милою и доброю улыбкой он посылал на смерть людей и сеял кругом себя уничтожение. Теперь, одетый в приличный костюм, он беспечно глядел на свои жертвы, и выражение его лица не говорило о его дурных переживаниях. Он был поэтом революции, как и Максим Горький, только помельче. Он мирно смешался с публикой, и трудно было сказать, что переживал этот человек. Его влекли к себе убитые, как стрелку компаса влечет к себе Полярная звезда.

В стороне одевали покойника, которого узнали родные. Без слов, без слез. Контраст смерти нарядной на фоне страшной и безобразной смерти был поразительный. Покойник был убран, и тело его вытянулось в порядке, накрытое белым. Кругом затихли. Из уважения к покойнику снимали шапки и говорили шепотом.

«Обряды?» «Какая чепуха! Пережитки старого режима!.. Вот тут кругом – это настоящее. По-большевистски! Смерть так смерть! Пусть здесь будет ад», – говорили большевики. Через него большевики введут вас прямо в обетованный коммунистический рай.

Сходные картины видели на кладбищах. В братских могилах навалены сотни покойников. Убитые в чрезвычайках трупы хоронились группами. Когда уже не было возможности спасти живого, близкие с опасностью для жизни выслеживали место упокоения останков. Отыскивали могилу, подкупали сторожей и хоронили. Теперь раскапывали могилы, находили дорогих покойников и хоронили их по-человечески. Большевики плевали на все обычаи и предрассудки. Им казалось дикой фантазия перенести покойника на другое место и соблюсти обряд: они признавали только красные гражданские похороны.

Каюсь: и мне безразлично, где будет лежать мой труп. Но каждый раз, когда я встречаю покойника, со всеми вместе и я снимаю шапку. Мне нравится обычай – отдать дань уважения человеку, ушедшему от нас. Длинной жизнью, полною страдания, он выполнил подвиг. За это воздадим ему...

История народов и философия религии выработала обряды, и без них не может жить человечество. Только зная историю культуры, можно понять смысл символов и обрядов. По памятникам и усыпальницам можно судить о душе народа. И теперь большевики поставили себе на кладбищах хороший памятник, в котором отразилась их душа.

Восставали в фантазии и памяти картины пережитого.

От показаний свидетелей стынет кровь. Для упорядочения труда и для избавления от излишних расходов коммунистического государства



большевики пригоняли партию обреченных на кладбище и заставляли их рыть себе заранее могилу. Забавно!

Кончили земляную работу... «Теперь становись на край ямы!»

Смеялся безусый парень пролетарского происхождения, отводя винтовку: как чудно ковырнулся ногами вверх буржуй и как ловко свалились все в яму. А теперь засыпай скорее! Плевать, что есть недобитые.

Сын отыскал могилу своего отца, которую выследил раньше.

По новому революционному евангелию, семейные узы, близость, дружба – пустые предрассудки. Не глупо ли таскать истлевшие останки на другое место?

В тюремных дворах тоже разрывали ямы. В одной из них похоронены отец и дочь Стасюки и жених дочери, поручик Бимонт. Заключенные в Лукьяновской тюрьме хорошо помнят эту ночь, когда матрос с «Авро-ры» Алдохин привез в автомобиле свои жертвы. Их долго расстреливали: никак не могли прикончить сразу. В камерах насчитали восемнадцать выстрелов на троих. Доносились крики молодой женщины. Могилу для них заранее вырыли выведенные из камер буржуи.

А в каземате, на стене у окна, я прочел написанный на штукатурке карандашом дневник Бимонта. Отрывки мыслей и чувств. Сквозь поэзию слов сквозит глубокая драма. Рядом другая надпись: «Ведут, я так молод. Мне всего семнадцать лет. Сообщите близким... Серж Кормицкий».

Теперь об этих драмах остались одни воспоминания. Реакция освобождения и радость безопасности, быть может, мешали их переживать как следует.

Радость и горе смешались. Свободные люди гуляли и не убивали друг друга на улицах. Власть объявила восстановление собственности и порядка. В семидневный срок должны были оставить квартиры жильцы, внедренные по большевистским ордерам. Говорили о том, что военно-судные комиссии приступят к работе и что суд будет законным. Опубликован был приказ генерала Бредова о предании суду полковника русской службы Якубовича, японского подданного Матусаки и еврейки Розы.

Инцидент с Розой был у всех на устах. Черноволосая молодая еврейка-чекистка приветствовала добровольческие войска и поднесла офицеру, шедшему в главе взвода, букет. Он узнал чекистку, которая его истязала, ведя на расстрел, когда он сидел в чека, откуда чудом спасся.

Власть добровольцев в лице генерала Драгомирова была гуманна, но вместе с тем и слаба. В первую неделю их власти добровольцами было вынесено всего три смертных приговора.

По занятии Киева добровольцами казалось, что жизнь налаживается и что скоро наступит покой. Но над освобожденным Киевом носились иные веяния: революция так скоро не выдыхается. Неспokoйны были евреи. Добровольцы официально евреев не громили. Но прошлое забыть было нельзя. Ведь почти весь ужас большевизма приписывали евреям, и взаимная ненависть была сильна.

Еврейство отрицало свою ответственность за большевизм, и надо было удивляться их выдержке: все говорили как один, отрицая даже очевидность. Теперь говорили, что антисемитизм есть черносотенство, а черносотенство для интеллигентного человека – величайший позор. Кричали о преследовании евреев, об их несчастной судьбе и утверждали, что они являются жертвою революции.

На улице против бывшей библиотеки чека стояла как-то еврейка и злобно смотрела на толпу. Наконец не выдержала и стала раздраженно говорить:

– Подождите, не радуйтесь! Недолго будете властвовать. Попьем еще вашей крови... Заплатите за все!..

Глупым тогда казалось для наивных русских слушателей, и не верилось, что такое пророчество может осуществиться. Еврейку арестовали, но благодушная добровольческая власть ее выпустила, а еврейская интеллигенция в один голос твердила: «Все это вам послышалось». Свидетели стушевались...

История никогда не вскроет истинной роли еврейства в русской революции. Никто правды не напечатает и побоится ее сказать, а особенно

русский интеллигент, который пуще всего боится, чтобы его не заподозрили в черносотенстве и антисемитизме.

Еврейство действовало русскими руками, которые им усердно служили, и сила их в предреволюционной России была колоссальна. Стоило общественному деятелю выступить против еврейства, и песня его была спета: затравливали до положения заживо погребенного.

Для меня не подлежит сомнению, что вся гибель России, большевизм, гражданская война – дело еврейства. Говорю я это не в осуждение их. Они умны и дают слабую русскую интеллигенцию. Я несколько не отрицаю высоких достоинств этой нации, но для России еврейство – враг жестокий и беспощадный.

По своей натуре евреи вовсе не большевики, а чисто буржуазный элемент западного мира.

Когда еще только приближались добровольцы, евреи, чуя расправу, жалобно твердили о том, как их будут громить. Но они ни словом не обмолвились о том, что они делали во время большевиков с русскими людьми.

В Гражданской войне евреев знали хорошо. Они были противниками добровольцев. Каждый раз, когда войска отступали, им в спину стреляли из окон. Это приписывали евреям, которые это потом отрицали. На этой почве всеобщего возбуждения против еврейства Добровольческая армия, вопреки ее официальной программе, фактически расправлялась и мстила им. Иначе и быть не могло. Выступали же против нее чисто еврейские батальоны. Нельзя было скрыть роль евреев в чека. В жестокой гражданской войне не приходилось ни шадить, ни просить пощады.

В первые дни прихода добровольцев возбуждение против евреев было страшное. Народ правильно оценил их роль, но знал, что денкиницы не допустят еврейских погромов. И русская интеллигенция по своему добросердечию скоро забыла прошлое. Однако евреи сами не сумели стусеваться, как было надо в эти дни. Публика уже привыкла к парадированию евреев-комиссаров и коммунистической еврейской молодежи

на улицах. Они беспечно и весело гуляли в дни большевизма по улицам, чувствуя себя господами положения.

И улица теперь припомнила прошлое. Ходили слухи о том, что большевики, уходя, оставили много своих агентов, раздав им большие деньги. И в первые же дни встречались на улицах чересчур знакомые лица. Они даже не потрудились скрыться.

Первой жертвой пал секретарь чрезвычайки Богуславский, спокойно шедший по улице. Его узнала толпа. На него набросились, схватили и тут же убили. Я видел его труп с перебитыми и изуродованными руками в анатомическом театре. На теле молодого еврея была записка: «Секретарь чека Богуславский». Наглость Розы и Богуславского – а вместе с тем и своеобразный героизм – породила всеобщее негодование. Возбужденная толпа уже в каждом молодом еврее стала узнавать комиссара. Их хватали, избивали самосудом и затем обрванных, окровавленных, волокли на Фундуклеевскую, где тогда помещалась контрразведка.

В один из этих дней я видел настоящую охоту на евреев, хотя до погрома и не допустили. Тысячная толпа стояла против контрразведки и смотрела, как их вели. Злорадство царило кругом. Сначала ходили легендарные рассказы о том, что будто бы чуть не задержали всю чрезвычайку и ее главарей. Будто бы узнали знаменитую Евгению Бош. Но большинство этих фантазий оказалось вздором: большевики ушли чисто и умно, а добровольцам досталась только мелкая рыбка, которую ловили без толку. Я видел, как на извозчике везли еврейку, всю в крови, в разорванной одежде, жалкую и плачущую, а вся улица в экстазе злобы ее проклинала. В эти часы нельзя было еврею показаться на улице. Там загоралась месть. Однако до погромов дело не дошло. Потом, с падением авторитета добровольцев, снова начались грабежи «под добровольцев», и много досталось и им. Но систематических убийств не было.

На третий день после прихода добровольцев открыла свою деятельность контрразведка. Туда водили сотни задержанных людей, и скоро выяснилось, что здесь не только нет системы, но и происходит

что-то странное. Ходили слухи и о том, что Добровольческая армия имела здесь свои разведки во время большевиков и что эти агенты теперь выдавали ей лиц, замешанных в преступлениях большевиков. Однако многих деятелей большевистского периода, даже чекистов, теперь видели в контрразведке в форме добровольцев. Их задерживали, но, когда приводили в контрразведку, они оказывались ее агентами. Доносили контрразведке, сообщая о большевиках, но скоро убедились, что это бесполезно. Задерживали тех, кто больше служил добровольцам, а лиц, имевших связи с большевиками, выпускали.

Войска в первые дни не трогали евреев, а погромы быстро прекращались властями. Евреи били тревогу и обвиняли добровольцев в погромах. Они отрицали право мести. Еврейская интеллигенция обходила молчанием прошлое. По их словам, теперь «угнетали невинных». За каждого арестованного еврея являлись в контрразведку ходатаи из русских известных деятелей, и однажды я встретил у начальника контрразведки княжну Волконскую, которая усердно ходатайствовала за большевистского комиссара. И добилась своей цели.

В боях Добровольческая армия с жидами не стеснялась: она их «пускала в расход» – так тогда называлось убийство человека, – комиссаров, жидов и матросов, которые попадались с поличным. Но добровольцы убивали не без разбора, как делали это большевики. И добровольцы грабили, как грабят во всех войнах, особенно в гражданских. Каждый раз, когда добровольцев постигала неудача и приходилось уходить, евреи поднимали стрельбу и замучивали оставшихся офицеров, попавших им в руки. Война с обеих сторон велась жестоко и пощады не знала.

Много говорили о добровольческих грабежах. Опыт Великой войны показал, что реквизиция и грабеж – это почти одно и то же. Но в Киеве грабили часто бандиты, называвшиеся добровольцами.

С приходом добровольцев физиогномика улиц изменилась. Теперь уже не попадались на каждом шагу красные еврейские звезды и серебряные большие нагрудные знаки коммунистов. Нередко встречались

те же лица на улицах в погонах старой Русской армии и государственной кокарде. Исчезли и кровавые плакаты большевиков. Многие офицеры надели форму, а чиновники – свои фуражки. В витринах магазинов появились портреты Деникина, Алексеева и Корнилова. Это было уже лишним. Ясно было видно, что еще многое предстоит впереди. Скоро эти портреты сменят физиономии проходимцев, которых выкинет на поверхность революции следующая ее волна.

Жизнь была так разрушена, что быстро ввести ее в колею было нельзя. Она принимала прежние формы сама, но очень медленно.

Продукты в город не подвозились и цены не падали, а это было плохим симптомом. Аннулировали советские деньги, и это вызывало в обыденной жизни большие затруднения. Все соглашались с тем, что это надо было сделать, но надо было придумать какой-нибудь переход. Техника городской жизни была сильно расстроена. Водопровод и электричество работали плохо, а невежественная городская эсеровская управа не справлялась с делом. Главнначальствующий генерал Драгомиров пробовал назначить старорежимных людей, но и из этого ничего не вышло. Топлива не хватало, и получение такового было безнадежно: за эти годы привыкли сидеть в нетопленых помещениях.

Дореволюционная власть сильно считалась и даже заигрывала с рабочими. Но доверять им было нельзя. Транспорт не функционировал. Старые губернские учреждения начали понемногу оживать и восстанавливаться. Но и здесь встречались непреодолимые затруднения. Керенщина и гетманщина развратили бюрократический аппарат. Назначения чиновников были неудачны, и появилось много полуинтеллигентов. Возник вопрос: кого из них признать? С другой стороны, потянулись на службу к добровольцам все военные и гражданские служащие, только что покинувшие службу у большевиков. Что было делать с этими «бывшими советскими служащими»? Ведь большинство из них было захвачено вместе с учреждениями.

Вступил в свои обязанности во многих отношениях неудачный аппарат реабилитационных комиссий. Нечего греха таить: на службе у

большевиков не все были джентльменами и часто под них подделывались. По идее, эти комиссии должны были разобраться в деятельности каждого работавшего при большевиках, а в члены комиссии вошел, например, отчаянный большевик врач Майданский – конечно, еврей. Служили у большевиков почти все, потому что не служить было нельзя. Но встречались и карьеристы, и большие пакостники. Главными мотивами службы какой бы ни было власти были личная безопасность и кусок хлеба. В те времена покупать людей было нетрудно. Переходили теперь к белым потому, что считали это выгодным и надеялись выкрутиться от обвинения в старых грехах.

Военный аппарат у добровольцев работал неплохо, но беда была в том, что при громадном проценте офицеров солдат было очень мало, а принудительной мобилизации делать не решались: ведь Добровольческая армия и не шла под флагом восстановления Императорской России. Ее лозунги были мало понятны населению, а крестьянство прозвало ее «кадетскою» армией.

Несколько слов о крестьянской массе. При царском режиме крестьянское население жило установленным веками укладом жизни, который мне хорошо известен, как бывшему земскому врачу, работавшему в деревне и в тяжелые годы холерных эпидемий. Но уже в течение более полувека крестьянство отравлялось пропагандой, шедшей от интеллигенции под лозунгом передачи всей земли крестьянам. Этот лозунг вылился в эсеровскую формулу «Земля – народу» и возбуждал крестьян к насильственному, путем революции, отобранию помещичьих земель. Отсюда – пропаганда грабежа и сожжения помещичьих хозяйств и обе последние революции, сделанные вовсе не крестьянами. Привлекали их на свою сторону общим переделом земли и ее отображением в их пользу. Однако инерция старых форм жизни была велика, и крестьян раскачать было нелегко. Полуинтеллигентный элемент земских служащих, учителей, фельдшеров многие годы разжигал аппетиты крестьянства, но только революция вызвала грабежи, пожары и уничтожение усадеб по всей России. Но революция и развратила кре-

стьянина. Царь был для него все-таки эмблемой, исторической эмблемой. А когда его сменила власть бар-помещиков в лице Временного правительства, а потом социалистическая власть, которую он привык видеть в облике фельдшеров и акушеров, она ему мало импонировала, и он по существу стал анархистом. Он не примкнул ни к одной из промежуточных властей. Ближе всего подошел потом к большевикам и петлюровцам, которые не мешали ему грабить, а потом, когда очередь дошла до него и большевики и жида стали грабить крестьянина, он завопил и стал их врагом.

Никаких революционных идеалов крестьянин не имел, и всякую другую власть он понимал меньше, чем царскую.

Но крестьянин во время междоусобной войны превратился в бандита. В нем пробудилась жадность, он объявил войну городу. Однажды я слышал мудрое замечание крестьянской женщины во время керенщины: «Вот и хорошо, господам пусть будет служба, мужикам земля».

Крестьян по необходимости грабили и добровольцы, ибо иначе снабжаться продовольствием они не могли, крестьяне же – как показал опыт колхозов, до мозга костей собственники, не терпящие социализма, – в озлоблении роптали. Вожди добровольчества были им чужды с их «единой и неделимой», «хозяином земли Русской». Из всех лозунгов революции они приняли только один – «грабь награбленное» – и громили усадьбы.

В начале добровольцев принимали хорошо, а потом стали тяготиться и ими. Большевики хоть давали грабить...

Больше всего крестьянам были по душе «зеленые». В добровольцы крестьянская масса не шла. В Красную армию их гнали, и молодежь легко входила в роль красноармейцев. А доброволец все же был «кадет», то есть полупан.

До восстановления России крестьянину не было никакого дела: это было дело Царя, а раз Царя нет, то не все ли ему равно, кто из «панов» захватит власть.



Интеллигенты и евреи очень муссировали слухи о грабежах Шкуро и Мамонтова. Конечно, в набеге Мамонтова доставалось самим же русским, а казаки, награбив чрезмерно, потеряли свою боеспособность.

Зато в верхах командования, к которому я приобщился, порядок был полный, и никакие грабежи не поддерживались. Между тем общественное мнение возмущалось Драгомировым и обвиняли его противно тем тенденциям, которые он проявлял.

Во время большевизма служилый люд вел себя небезупречно. Совесть не у всех была чиста. Было много мотивов для оправдания, но, когда надо было давать ответ, многим пришлось призадуматься. При всех режимах революции чиновники и офицеры были загнаны до полной безнадёжности. Казалось, что никакая борьба больше не возможна и что на спасение больше надеяться нечего. Пришлось смириться и приспособляться. Чувство меры, однако, было потеряно. Вместо борьбы и саботажа, которые карались смертью, пошло в ход подслуживание. Многие хорошо устраивались и с пафосом входили в новую роль. Метались от Керенского к Петлюре и от Петлюры к большевикам. Многие офицеры сражались против добровольцев – пусть вынужденно, а все-таки вновь «перелететь» теперь было не так легко.

Когда вступали добровольцы, все мечтали об освобождении, о переходе к ним. И, приди настоящая Императорская армия со своими лозунгами, все стало бы на место и кошмар рассеялся бы.

Новая власть, конечно, пожелала осведомиться о деяниях своих чиновников и офицеров в смутное время. Ведь Красной армией руководили офицеры Императорской армии, и особенно Генерального штаба. Много генералов и полковников с крупными именами остались у большевиков, а набрать себе изменников было невеселой перспективой. Но реабилитационные комиссии не достигли цели. В первые дни пошли реабилитироваться наиболее ловкие люди, глубоко замешанные в большевизме. Покрывали друг друга, а если кто делал замечания, требовали точные доказательства. У них-то именно все оказалось в по-

рядке. И свидетели, и контрразведка оказались к их услугам. С другой стороны, люди ни в чем не повинные не могли реабилитироваться, а главное – стесняла волокита с ненужными формальностями. Это раздражало офицеров, из которых многим для этого пришлось ехать в Таганрог. Много большевиков попало в Добровольческую армию, и между прочим главный военно-санитарный инспектор большевистской армии Кричевский, наделавший много пакостей. А сотни офицеров не могли добиться ни службы, ни оправдания.

Недовольных было много. Добровольческая армия была вновь сформированною, а не была непосредственным продолжением Императорской, а потому естественно, что она выдвигала своих.

Потом, когда головокружительные успехи привели ее к победе, те, кто попал от побежденных к победителям, пришли уже на готовое. Последним показалось обидным, что все места заняты «молокососами» и что «старые заслуженные генералы устранены», что «их не позвали». Они забывали, что именно в это тяжелое время они служили у большевиков, а следовательно, «вольно или невольно работали на них». Зависть и претензии были неосновательны. Однако пришлый элемент оказался плох, и киевская армия не выполнила своего назначения.

Пошла запись в добровольцы, которая в первые дни шла успешно. Говорили, что записалось 18 тысяч, но это оказалось выдумкой. Набора сделано не было. Сначала армию приветствовали, и ее авторитет победителя стоял высоко. Но еврейство и либеральная интеллигенция вместе с украинцами сделали свое дело. Власть систематически дискредитировалась. Больше всего добровольцам инкриминировался грабеж, хотя он был ничтожен по сравнению с таковым прежних режимов. Очень непопулярна была контрразведка. Интеллигенция, при большевиках молчаливая, ничего не прощала добровольцам.

Первый месяц военное положение продолжало быть хорошим. Армия наступала на Чернигов, взяла Курск и Орел. Но около Киева наступление захлестнулось, а фронт остановился в 30 верстах от Киева на реке Ирпень. Дальше не могли продвинуться, и это указывало на слабость армии.

В городе ежедневно слышалась канонада, к которой скоро привыкли. Но были и зловещие симптомы. Недели через две после прихода добровольцев цены на продукты возросли, и хлеб стоил до 8 рублей за фунт. Как только приближалась канонада, цены поднимались. Базар знал положение дел лучше, чем политика, а еще лучше знали его евреи. Начинали учитывать положение. Поняли, что армия вовсе не так сильна, как это казалось во время ее наступления на Киев. Евреи стали всеми силами агитировать против нее.

В десятых числах сентября я читал лекцию в фельдшерской школе, как вдруг послышались какие-то выстрелы. Мы так привыкли к этим звукам, что нам и в голову не пришла мысль о катастрофе. Я спокойно кончил лекцию и вышел на улицу, заметив на ней смятение. У ворот стояла группа людей во главе с директором школы. На мой вопрос, что случилось, он с недоумением ответил:

– Подошли!

– Кто?

– Большевики! Подошли на пароходе и бомбардируют город.

Народ, влекомый любопытством, шел к Владимирской горке. Пошел туда и я.

С горы открывалась широкая картина на Днепр. Было ясно видно, как со стороны Десны шел настоящий бой. Туда большевики подошли от Чернигова и бомбардировали окраины города. Там, видимо, добровольческих частей не было, ибо было бы так легко несколькими орудиями обстрелять эти суда и перерезать им отступление. Видны были разрывы шрапнелей. Им отвечала откуда-то наша батарея. В результате большевики отошли. Но это напомнило киевлянам, что положение далеко не из прочных. Люди побогаче с первых дней начали уезжать из Киева. А военные и чиновники бросились паломничать в Ростов и Таганрог, где находилось главное командование. Ехали за получением мест.

Это предостережение сильно охладило публику.

Голод, который чувствовался со времен Керенского, опять вступал в свои права. При большевиках все выдавалось по карточкам, и люди были поставлены в необходимость служить.

Добровольческая армия была слишком слаба для выполнения поставленной ею себе задачи. Идеалы ее не были определены. С приходом добровольцев гражданские учреждения вяло приходили в порядок, а главное, армия не имела средств. Печатались бумажные деньги, но в их ценность никто не верил. Люди стремились получить места, но не работать. Университет, весь разваленный большевиками, приостановил свои занятия, постановив содействовать Добровольческой армии.

Одним из самых худших элементов на протяжении всей революции был железнодорожный мир. Беспринципный, он служил всем режимам, которые в нем нуждались, а при начале революции он первый изменил Царю. В полуинтеллигентной среде служащих царили инстинкты самообогащения и самоудовлетворения. Но царили инстинкты грабежа: воровство, взяточничество, спекуляция. Демократизм их выражался в неподчинении никакой власти. Они ладили и с украинцами, и с большевиками. Вернуться к честному труду старого режима они не желали. Они при всех властях жили лучше других, потому что владели артерией жизни – общением и транспортом. При добровольцах революционные железнодорожники устраивали крушения, портили подвижной состав и паровозы.

Новая власть не была достаточно сильна, чтобы заставить служащих и рабочих повиноваться.

Она заигрывала с ними и тем готовила себе провал. Рабочие притихли, но к добровольческой власти были равнодушны.

## **ГЛАВА VIII**

### **История киевских чрезвычайек**

С приходом в Киев Добровольческой армии я был назначен членом комиссии генерала Рерберга по исследованию злодеяний чрезвычайек, а позже, с приездом специальной комиссии при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России под председательством Мейнгардта, я был назначен членом этой комиссии. Эти назначения дали

мне возможность ознакомиться с материалом, какой попадает в руки ученого раз в тысячелетие.

Одновременно и параллельно я поступил в ряды Добровольческой армии сначала врачом Кинбурнского кавалерийского полка в формирующейся 7-й дивизии, а затем, с учреждением штаба Киевской области, я был назначен врачом штаба тыла на правах корпусного врача. Таким образом, я параллельно работал и в войсках, и в качестве члена Комиссии по расследованию злодеяний большевиков.

Передо мною развернулась вся картина революции со всеми ее тайниками. В моих исследованиях прошло много большевистских деятелей, лиц, с ними соприкасавшихся, и длинная вереница чекистов и палачей, которых я исследовал по тюрьмам и контрразведкам. Многие лица и деятели прошли по документам, ибо в мои руки попали не только бумаги всех чрезвычайек, но и архив или, вернее, все делопроизводство большевистского Министерства внутренних дел в период времени, когда министром был Ворошилов.

Я в качестве члена Комиссии имел вход в контрразведку и Особый отдел, в тюрьмы и места заключения, и часто мне приходилось работать вместе с офицерами и начальником контрразведки. Вся деятельность этих учреждений в их положительных и отрицательных чертах развернулась перед моими глазами. Пришлось одной ногой погрузиться в авантюрные и опасные приключения, ибо деятельность эта была связана с большой опасностью. В первые же дни нашей деятельности из Чернигова, куда отошли большевики, было послано оповещение, что мы поставлены вне закона. Позже, когда шли убийства из-за угла и на всех боровшихся против чекистов шла охота, работа была своего рода охотничьим спортом, так что параллельно с работой ученого приходилось быть и в роли борца. Работа была в высокой степени интересная, ибо перед глазами проходила борьба беспощадная, ловкая, со всеми приемами сыска, выслеживания, обмана и предательства. Среди офицеров контрразведки были очень храбрые, честные и решительные люди. Их противники были не менее активными и умными.

Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Упрекали контрразведку во всевозможных преступлениях, и, конечно, таковые были. О них в своем изложении я буду говорить открыто. Но есть и другая сторона этой деятельности: без контрразведки или Особого отдела армия была бы совершенно слепа, ибо надо было иметь большое искусство, чтобы агентурными методами раскрыть сложные большевистские организации, проникнуть в заговоры и предусмотреть их планы. Тайны этой борьбы открылись мне как исследователю полностью.

Хотя и замаскированную, но проходила здесь и борьба верхов, как, например, убийство генерала Романовского, борьба монархических течений с республиканскими и измена отдельных деятелей, как, например, начальника одесской контрразведки.

Мы были окружены шпионами и предателями, которых распознать было трудно, и если каждый наш шаг был известен большевикам, то и мы были в курсе их начертаний.

Одновременная моя служба в войсковых частях освещала мне картину с другой стороны. В этой главе я отдельно изложу материал, относящийся к киевским чрезвычайкам, а остальные факты изложу параллельно развитию событий. Могу уверенно сказать, что более интересного фильма, чем тот, который в живых образах проходил предо мною, я не видал.

Моя роль была наблюдательная и роль ученого, изучающего эти явления, но в моей военной деятельности она сплеталась с исполнительною. Приходилось принимать участие в боях, в консультациях на тему, что делать, а иногда изрекать и слова, от которых зависела судьба людей.

Материал, добытый Комиссией и зафиксированный в документах, представлял бы исключительную ценность, будучи добросовестно и объективно разработан. К глубокому прискорбию, весь материал попал в Прагу в руки левых деятелей, и можно уверенно сказать, что истина, побывавшая в руках Кизеветтера и его кадетских коллег, света не увидит.

Ни один из бесспорных документов, мною доставленных, не был опубликован.

Кто попробует воспроизвести русскую революцию по опубликованному в Архиве русской революции, впадет в большое заблуждение. Все, что не отвечает интересам левых, будет изъято и скрыто. В этом читатель убедится, прочтя эту главу.

Чека в моих исследованиях выявилась в следующих формах. Она является самым изуверским аппаратом и твердою опорой большевистской власти. Но для правильного понимания деятельности этого учреждения надо помнить, что «чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» представляет собою лишь один из многочисленных аппаратов большевистского строя. Не все зло сосредоточено в чека. Будучи как бы самостоятельным учреждением и независимую, чека стоит в тесном контакте со всею большевистскою организацией. Злодеяния этого строя рассеяны по всем его учреждениям. Преступления совершаются всеми его аппаратами и представителями. Наряду с падением и извращением духовных ценностей наблюдается повальное расхищение богатств и уничтожение человеческих жизней. В чека преступность и порочность только концентрируются. Поражает дисгармония ее деяний с провозглашенными революцией идеями. Чека приводит преступления и пороки революции в систему и, впитывая их в себя, до некоторой степени разгружает от них другие учреждения.

Если ознакомиться с официальной идеологией чека, она окажется далеко не столь ужасною, как воплощение этой идеологии в действительность. Целью учреждения чрезвычайка была борьба с контрреволюцией и со спекуляцией. Фактически чека боролась вовсе не с контрреволюцией, а уничтожала деятелей старого режима: буржуазию, интеллигенцию, главным образом офицерство и целые группы населения. Она действовала устрашением и террором, которые позаимствовала от Французской революции. В то время когда определился большевизм, настоящей контрреволюции не было, ибо все чиновники, большинство офицеров и вся

интеллигенция приняли революцию. Открытых сторонников старого режима не существовало. Вся Россия отреклась от старого мира. Идея гражданской войны и расправы с прошлым всецело принадлежит Троцкому, который и должен быть признан величайшим преступником, какого только знал мир. Чека *не боролась, а уничтожала* расслабленных, потерявших способность к сопротивлению и обезоруженных людей.

Объявляя войну преступлениям, чека сама воплотилась в сплошное преступление. Со спекуляцией она никогда не боролась, а сама спекулировала и грабила. Чека руководила грабежом частного имущества и государственных учреждений. Было объявлено, что в чека должны идти «лучшие идейные революционеры, самоотверженно и честно служащие делу». На самом деле в ней сосредоточились отбросы человечества и порочные элементы. Чека превратилась в бойню и разбойничий притон. Желая приобщить всех деятелей революции к преступлению, большевики сделали ценз чекиста обязательным для всех коммунистов, занимающих высшие командные должности.

Возникает вопрос: было ли это учреждение задумано заранее, а затем планомерно проведено в жизнь, или оно само выкристаллизовалось, приняв формы, которые выковала революция? По-моему, надо склониться к последнему. Революция есть повальное безумие. В обширном симптомокомплексе ее все явления между собою связаны.

Большевистский режим имеет свою патологическую физиогномику, свои больные верования, свою порочность и свою преступность. Безумные и импульсивные действия проявляются в разрушении и всеуничтожении. В период организованного террора чека жестокость концентрируется в ее руках, но зато обуздываются неистовствующие толпы и самосуды. Число жертв и разрушения все же уменьшаются, будучи приведены в систему. Деятельность чека направляется на определенную цель. Умственная тупость и фанатизм главарей достигает максимума, но роль дезорганизованных толп отходит на второй план.

В общем масштабе разрушение старого строя и уничтожение богатств при Временном правительстве было сильнее, чем при больше-



виках, которые пришли на готовое. При большевиках были попорчены все права человеческие, и они расправились с интеллигенцией, создавшей революцию.

Каждая революционная власть имеет свою методику убийств и грабежа. Временное правительство арестовывало неудобных ему лиц и предавало их на расправу толпе. Керенский своими исступленными речами на фронте наускивал солдат на убийство офицеров. Петлюра убивал русских офицеров из-за угла и на улицах, и все пристреливали в спину арестованных под предлогом попыток к побегу. Большевики действовали «начистоту»: *dura lex sed lex*\*. Все-таки была чека и комедия суда. На каждого казненного существовал протокол за подписью семи членов «коллегии», в котором значилось, что казненный приговорен «к высшей мере наказания». Совершенно невозможно выяснить, кто выработал ритуал убийства в подвалах пулею в затылок, но то, что это выполнялось всюду совершенно одинаково, показывает на подражание и психическую заразу. Придумать подобную нелепую процедуру и провести ее в жизнь приказом едва ли было возможно. Поражает бессмысленность расправы чека: убивали массами людей, ни в чем не повинных перед революцией. Это уничтожение никому не было нужно. Это учреждение всосало в себя весь фанатизм и всю ненависть революции. Чека есть плоть от плоти революции с ее искаженной психикой и моралью.

В деле террора чека есть непосредственный наследник эсеровской террористической организации, методики террористов – Чернова, Азефа, Брешко-Брешковской и других. Убийства и экспроприации в самой жестокой форме применяли и эсеры. Савинков, Пилсудский, Сталин были мастера своего дела, и по их стопам пошли большевики.

Парадоксален вывод, к которому я пришел, исследуя чекистов. За исключением небольшого числа отъявленных мерзавцев и фанатиков, садистов, огромное большинство чекистов представляют самых обыкновенных, средних людей, и даже не психопатов. В нормальных

---

\* Закон строг, но это закон (*лат.*).

условиях жизни они не сделались бы преступниками. Только революция преобразует их в чекистов. Иначе было у эсеров: там главари были фанатиками, но редко сами выступали, посылая глупых и слабых людей под своим внушением в качестве фактических убийц. Поэтому там дифференцировка этих двух элементов резкая, чекистов же – стереотипнее и однообразнее.

Когда прекращается большевизм и террор и восстанавливаются нормальные условия жизни, тысячи чекистов превращаются снова в самых обыкновенных средних людей. Это я и наблюдал в эмиграции, где двое из исследованных мною причастных к самым гнусным преступлениям чека уже много лет живут совершенно благополучно, и никто даже не верит в их страшное прошлое.

В революции встречаются самые причудливые метаморфозы людей. Одни меняются из страха, другие – в поисках земных благ. Деяния чекистов зафиксированы в документах, но психика в этих актах мало отражена. Убивая свои жертвы, чекисты совершали словно обыкновенное дело и душевно на это свое действие не реагировали.

Методическая слежка, шпионаж, доносы, провокации в чека доходили до виртуозности, но систематической изощренности достигли только в ГПУ, где руководителями были люди более высокой марки в смысле революционной идеологии.

Никакой проверки и доказательств не требовалось при предъявлении обвинения.

Во всякой революции честные люди превращаются в бесчестных. Революция выдвигает типы необыкновенно свирепые, как Робеспьер, Фукье-Тенвиль, Дюма-дед, Дзержинский, Бела Кун. Но какая сила превращает подмастерье портного из Воронежа Угарова в поэта своего дела по убийству людей и возводит его на европейские высоты члена Генуэзской конференции, где итальянский король пожимает ему руку?

Можно ли утверждать, что чекисты представляют собой психопатологический тип? Но в таком случае мне думается, что Эрио и Ллойд Джорж должны быть признанными морально помешанными, ибо без их

покровительства террор большевиков давно сошел бы со сцены. В этом явлении мы больше имеем дело с социальной патологией, чем с индивидуальными биологическими и психическими аномалиями. Разве не причудлива дружба и трогательный симбиоз Максима Горького с кровавым палачом Дзержинским? А Лига Наций, ни одним словом не обмолвившаяся о кровавом маскараде большевизма, о соловецком рае?

И когда на большевистской бойне резали людей, весь цивилизованный мир молчал, приобщаясь к этому преступлению.

В умственных эпидемиях существуют темы, которых затрагивать нельзя. Таков вопрос еврейский с его «табу». Если его затронуть в неблагоприятном смысле, автор будет стерт с лица земли, а его труд будет предан анафеме. А обойти этот вопрос при изучении чека невозможно. Роль еврейства в русской революции колоссальна, и этому есть свои объяснения, но это нисколько не снимает вины с самих русских.

Другую трудность работы при изучении чека представляют господствующие течения в общественном мнении. Если работа пишется для публики, она должна быть написана в определенном духе. Историки Французской революции так исказили ее, что отравили ложью целые поколения, и освободить ее от этих искажений оказалось нелегко.

В «Вестнике чрезвычайек» – был такой журнал – я нашел указание, что мысль об устройстве сети чрезвычайек и красного террора зародилась во время похорон Урицкого, когда за его гробом шли его друзья. Некий Бокий обсуждал вопрос: как лучше расправиться с интеллигенцией за это убийство.

Во всех большевистских учреждениях всегда властвовали личности. Коллегия была лишь маскою. Впоследствии была выработана схема построения чека и напечатаны особые инструкции, хотя действительность шла мимо них.

Большевики ничуть не думали скрывать деятельность чека. В «Вестнике чрезвычайек» был напечатан хвастливый полугодовой отчет о казнях. Все чрезвычайки были организованы на один лад. Одни и те же были методы допросов, убийств, грабежей, даже форма одежды,

манеры и образ жизни чекистов. Ночью по улицам мчались чекистские автомобили, у ворот «боев» заводили мотор грузовика, чтобы заглушать стоны погибающих. В документах моей комиссии имеются печатные указы и инструкции, как утверждают, во многом скопированные из образцов департамента полиции Империи. Уходя, чекисты бросили свои бумаги, из которых можно было установить все их делопроизводство. Там были списки служащих, раздаточные списки на жалованье, ордера на обыски и аресты, даже на ограбление спиртных напитков. Я изучил весь этот материал. Все это было крайне неграмотно. Тут же я нашел свыше 400 оригиналов смертных приговоров, подписанных и составленных по всей форме этого оригинального учреждения.

В некоторых городах было по несколько чека. Так, в Киеве их было четыре: всеукраинская, или «вучека», губернская, или «губчека», железнодорожная и Особый отдел. Из них специализировался только Особый отдел, который ведал борьбой с контрреволюцией в армии и уничтожал царских офицеров. Офицерство уничтожалось по возможности поголовно. Создавались мифические заговоры, под предлогом которых уничтожали целые группы людей. Теоретик чека Лацис объявил, что подлинная виновность человека вовсе не нужна. Достаточно выяснить прежнюю службу обвиняемого, происхождение, чин, владение имуществом и в случае положительных данных – уничтожить его.

Чека была вполне самостоятельна и не подчинялась даже высшей коммунистической власти в лице ЦИК. Согласно воззванию, чекисты должны были работать идейно и безответственно. Революционная совесть провозглашалась высшим критерием правосудия.

Я не раз задумывался над причудливым сплетением мелочной и педантичной честности с самой большой подлостью, грязным воровством и дерзким разбоем в чека. Например, для того чтобы заповздавший чекист мог получить обед, он должен был иметь записку за подписью председателя чека, а из хранилища несметных богатств, награбленных при обысках, молодой еврей Каган раздавал своим родственникам щедрою рукою все что угодно. Фактически сыск произ-

водился бессистемно и больше всего опирался на доносы прислуги. К счастью, в составе чека преобладал элемент пришлый, местные низы, еврейские подмастерья и латыши, мало знакомые с интеллигенцией, и потому они не могли хорошо вылавливать людей старого режима. Там, где, как в Чернигове, деятелем чека был бывший билетер кинематографа Извошников (еврей), знавший в лицо местную интеллигенцию, число жертв было много больше. Швейцары и дворники были в чека желательными гостями-доносчиками.

Соотношение чрезвычайек и других большевистских учреждений на Украине определялось следующей схемой. Все руководство революцией, поскольку оно существовало, находилось в руках Коммунистической партии Украины, сокращенно называвшейся КПУ. Она насчитывала до 10 тысяч человек, причем 80 процентов были евреи. Это была по преимуществу молодежь из местечек, но было и много студентов. Для того, чтобы поступить в партию, надо было предъявить ручательство двух членов и свое революционное прошлое. Горделиво заявляли о своем участии в убийствах городских или жандармов, и этого было достаточно. Коммунистическая партия имела свой центральный комитет – ЦИК. В него в незначительном числе входили представители рабочих и политических партий – эсеров и еврейских организаций.

Здесь мы сталкиваемся с очень трудным вопросом: существовали ли за кулисами русской революции организованная разрушающая сила, руководящая всей революцией, что часто приписывается масонам? Во всех моих исследованиях, несмотря на колоссальный и разнообразный материал, обнаружить такого руководства не удалось. Скорее приходится думать, что все революции совершаются по законам социальной психопатологии и что люди являются в них марионетками.

Партийная дисциплина у большевиков была колоссальная. Если масоны и были, они были очень хорошо маскированы. Чекист Валлер в своих показаниях упомянул о загадочной личности молодого еврея К. (фамилии не помню, но она есть в делах комиссии). К этой личности вели нити управления событиями. Но других указаний не было.

Также неясны и указания на возглавление революции верховным органом мирового еврейства. Личность К. все время остается в тени. Но, по показанию чекиста Валлера, она обладала абсолютным могуществом. Подойти к ней в расследовании не удалось. От этой таинственной личности будто бы директивы шли в ЦИК, деятельность которого была только формальной. В ЦИК никогда не было прений типа парламентских. Вся работа его была анонимной. Он был монолитен и безответствен. Никто не знает отдельных ораторов, как это было, например, в Конвенте. В нем не было партий, не было демагогов и оппозиции. Состоял ЦИК из всякого сброда, подбираемого сплоченной шайкой главарей. Преступные интеллигенты здесь терялись в массе полуинтеллигенции и отбросов еврейской молодежи. ЦИК вотировал декреты, которые ему диктовали свыше, но он был лишен инициативы и мог действовать только в пределах указанного.

Исполнительным органом был аппарат комиссаров. Формально существовало два органа власти: Совет народных комиссаров и ЦИК. То есть своего рода республиканский аппарат. Совет наркомов распределял места в министерствах и как будто бы владел машиною власти. Однако и эта власть была фикцией. Фактически народными массами никто не управлял тогда. В хаосе разрушения наркомы играли роль подстрекателей. Их творческая деятельность была равна нулю, ибо тогда был только период разрушения.

Комиссары действовали самостоятельно в области охоты на людей. Однако деятелям большевизма приходилось считаться с настроением рабочих масс, на которые они формально опирались. Рабочие на Печерске не любили евреев. Рабочие уже были одурачены и втайне надеялись на лучшее будущее.

В первой фазе своего возникновения киевская чека была творением рабочих Арсенала, но потом из них в ней играл роль только рабочий Савчук. Председателем ЦИК был авантюрист Раковский, но даже ему не была подчинена чека.

Внешняя декорация чека была импозантна. Занимали чрезвычайно лучшие здания в Киеве. Мне случалось проходить во время большевиков мимо этих зданий. Громадные вывески-плакаты с нарисованными на них кровавыми сценами, изображавшими казни буржуев. Двор особняка, в котором помещалась чека, представлял собою военный лагерь. Шум, движение, галдеж и смех. Тут же матрос учился верховой езде, а красноармейцы охранного батальона чека над ним хохотали. Без всякого порядка тут же стояли пушки и пулеметы. Чекисты были вооружены до зубов и были одеты в кожаные куртки, штаны и шнурованные сапоги. У пояса – маузер или кольт. Охрана по сравнению с таковой дворцов старого режима была доведена до совершенства. Уничтожая царских офицеров, чекисты им подражали в своей внешности.

Все большевистские учреждения работали в контакте с чека и на нее опирались. Большевистская пресса была хорошо вымуштрована. К ним на службу перешел и Союз литераторов.

Военную силу чека представлял собою охранный батальон, составленный из обыкновенных молодых красноармейцев. Они охраняли чекистов, караулили заключенных и водили их на расстрел. Красноармейцы этого батальона жили вольготно и хорошо.

**Состав чека.** Вопреки предназначениям, мало там было «людей лучших». Там был сброд и сволочь. Через стаж чекиста и через участие в расстрелах должны были пройти все видные коммунисты. Это была несомненно умная мера, ибо, запятнав их, они тем самым страховали себя от измены в будущем. В обысках должны были участвовать самые видные коммунисты, даже такие, как Раковский и Коллонтай. Никто, таким образом, не может впоследствии сказать, что он был невиновен в деяниях чека. Средние люди, попавшие в чека, превращались в негодяев. На фоне сволочи выделялись две-три личности из типа «бесов» Достоевского, о которых он изумительно верно говорит: «Эти чистые и привлекательные люди были много непонятнее бесчестных и грубых». Такие люди направляли идейно деятельность чека.

Обычный тип руководителей чека был тип мерзавца. Таковы фигуры Лациса и Петерса (оба латыши), Яковлева-Демидова. Это были люди тупые, жестокие, без всяких идеалов, проникнутые только революционной ненавистью. Тут же фигурировала целая плеяда студентов, почти все из евреев. Ее ввел туда комиссар университета, мой ученик Мицкун, соблазнив их идейностью работы.

Что касается национальности состава, то до 80 процентов чекистов были евреи. Они были крикливы, экспансивны, беспорядочны и декоративны. Они были беспощадны, но вороваты, и иногда заключенным удавалось откупаться. Другая, сравнительно небольшая, но страшная группа чекистов были латыши.

Только теперь я оценил мнение одного моего фельдшера, высказанное им в психиатрической больнице, где мы часто исследовали латышей: «Это люди низшей расы». Да, это люди низшей расы, которым не должно быть места среди культурных народов. Необыкновенно тупые и упрямые, с узким кругозором и зверской жестокостью. К тому же способные к восприятию приличных манер и дисциплины, с военной выправкой. Лацис и Петерс были латыши. У них в убийстве, в противоположность евреям, была педантическая система – они вообще педанты.

Из имевшегося у меня списка 40 палачей чека, убивавших собственноручно в губчека, значится 36 евреев, один поляк и трое русских. Состав самой коллегии почти сплошь был еврейский. Из комиссаров евреев было 60 процентов. Только среди следователей было довольно много русских. Цифры слишком достоверны, чтобы можно было хоть сколько-нибудь оспаривать национальный состав чека. Евреи были вороваты, латыши – аккуратны и близки к честности. Евреи были трусливы, латыши – храбры.

Евреи в чека мошенничали: намечали жертвы, имуществом которых хотели воспользоваться, и заставляли откупаться. Мошенничали даже верхи коммунистов (случай с Анжеликой Балабановой). Роль латышей в русской революции колоссальна. Жестокость их бессмыслен-



на. С самого начала латышские батальоны были опорой большевиков. Они сконцентрировались в Особом отделе, где племянник Лациса, Иван Иванович Паррапуц, корректный, вежливый и прилизанный латыш, тонко истязал и со вкусом убивал русских офицеров. Полуобразованные латыши обладали удивительным хладнокровием, невозмутимостью и методичностью. Фанатически ненавидели русских, от них пахло бириновщиной. Их фанатизм был национальный, а не большевистский. Народ без прошлого, без всяких заслуг перед человечеством, теперь мечтал о самоопределении.

В деле изуверства в чека все нации в лице своих отбросов конкурировали между собой. Русские – Угаров и матрос Алдохин, еврей Михайлов-Феерман, польский еврей Феликс Кон. Русская народность в чека играла пассивную роль, но едва ли она почетнее других. Из русских палачей зверскими были матросы Алдохин и Асмолов. Грубость и матерщина были характерными чертами русских палачей.

**Организация чека.** Не надо забывать, что во время революции существует необычайное передвижение людей по всей стране, особенно революционного элемента. С необычайной быстротой разносит сведения и беспроволочный телеграф всевозможных слухов. Поэтому и революционные порядки и учреждения все организуются на один лад. Организация чека была громоздкая. Формализм и бумагомарание в буквальном смысле были большие. Помещения генерал-губернаторского дворца и другие здания были использованы как они есть. Поставлены были нары, кое-где двери, наружные подступы были переплетены колючей проволокой. Во главе чека стояла «коллегия». Председатель коллегии в административном смысле был диктатором, а в других случаях, как, например, Дехтеренко в губчека, был простым статистом. Членами коллегии были малообразованные, иногда полуграмотные люди. В вучека они были поопрятнее (латыши), в губчека погрязнее (еврей). Были здесь студенты, приказчики, и старались привлечь рабочих. Сильных людей здесь не было: все прятались за коллегия.

По теории дела решались коллегией, фактически – единолично. Заседала коллегия два раза в неделю и судила. По странному обычаю бóльшая часть работы происходила по ночам.

Форма журнала заседания была такова:

ПРОТОКОЛ  
заседания чрезвычайной комиссии  
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией

Присутствовали: (перечень фамилий)

Слушали  
Дело Армашевского по делу  
контрреволюции.

Постановили  
Присудить к высшей  
мере наказания.

Подписи

Присудить к «высшей мере наказания» значило расстрелять.

Неизвестно, почему чекисты, уходя, не уничтожили всех документов. Решение «освободить» бывало в исключительных случаях. Суд происходил заочно, без обвинителей и без защитников. Заключение следователя, допрашивавшего обвиняемого, докладывал член комиссии, заведующий юридическим или секретным отделом. Подсудимого в заседание суда не вызывали и до момента исполнения казни приговора ему не объявляли. Материал поступал в комиссию через заведующих отделами и был распределен между ними.

Во время проведения «красного террора» все арестованные просто переписывались и составлялся приговор, не входя ни в какие сношения с подсудимыми. Надо было только установить принадлежность обвиняемого к офицерам, чиновникам, помещикам, дворянам и проч.

К формальной стороне дела чека относилась с пренебрежением. Председатель вучека Лацис духовно руководил и остальными чрезвычайками в Киеве.

В чека было много отделов, функции которых еще не вполне определились. Бюрократический порядок старого режима революция не только не упразднила, но довела его до абсурда.

Самым важным был *секретный* отдел. В нем сосредоточивались дела по контрреволюции. Но было непонятно, как мог вести такой отдел полуграмотный рабочий Савчук. Второй отдел, *юридический*, ведал институтом следователей. Это была пародия на судебный институт, занимавшийся оформлением убийств. *Хозяйственный* отдел кормил чекистов, занимался грабежом и реквизицией, ведал продуктами. При нем было хранилище награбленного имущества. *Оперативный* отдел ведал комиссарами, обысками и арестами. *Инспекторский* отдел был с неопределенными функциями. *Иногородный* отдел ведал спекуляцией. Администрацию вела комендатура, а *тюремный* отдел заботился о заключенных. Внешнюю охрану несли красноармейцы охранного батальона. В ведении отделов чека находились три большие группы чекистов.

1. *Институт комиссаров*. В губчека их было около шестидесяти, и все они были равны. Они производили обыски и аресты по ордерам, обычно подписанным заведующим секретным отделом. В одной из ордерных книжек я нашел около тысячи безграмотных приказаний «сделать обыск и арестовать». В других случаях это предоставлялось свободному решению комиссара.

Иногда на корешке значилось: «Не оказалось» или: «Надо найти 80 ведер портвейна». Удивительно, как во время революции всех тянуло к спирту, а еще больше к кокаину. Не надо забывать, что обыски с грабежами выдумали вовсе не большевики, а Керенский, ибо при нем они происходили в гораздо большем масштабе и без всяких ордеров. Ловили, запирали, ограбляли. Награбленное частью сдавали в хранилище. Арестанта сдавали в комендатуру. А помощники коменданта вместе с тем были и палачами.

2. *Институт следователей* был пародией на настоящий институт судебных следователей. Что хотели сделать из этого института творцы

чека, сказать трудно. Некоторых из этих следователей я допрашивал в качестве члена Комиссии. К стыду, между ними было несколько студентов юридического факультета, конечно евреев. Были злостные полуинтеллигенты. Они обладали страшной властью над судьбою допрашиваемых. Арестанты распределялись между ними по очереди или по выбору заведующего отделом. Существовали даже печатные цветные бланки для допроса. Допросы велись различно. Были следователи равнодушные, но были следователи страшные, допрашивающие с револьверами и избиванием. Издевались над допрашиваемыми. Допрашивали с глазу на глаз. Что писал следователь в протоколе, никто не знал. Его заключение мало интересовало комиссию. Огромное большинство людей ни в чем и не обвинялось. Кличку контрреволюционера можно было пристегнуть каждому. Следователь передавал свое заключение заведующему отделом, и тем вся процедура следствия кончалась. Иногда допроса не бывало вовсе.

3. *Третью активную группу составляли палачи и тюремный персонал.* Кроме палачей по должности – помощников коменданта, они же тюремные надзиратели – убивали любители, которых было множество. По профессии среди палачей, кроме евреев, преобладали матросы и фельдшера. В их числе был и мой бывший фельдшер Любченко, который впоследствии стал председателем Украинской Республики.

Любченко был ротным фельдшером в Киевском военном госпитале и привозил ко мне партии душевнобольных солдат. Исправный, расторопный солдатик, он производил хорошее впечатление. Я слышал потом, что он попал в чека на какую-то роль, а затем уже через много лет узнал, что он занимал высший пост председателя Украинской Республики. И кончил, как кончают все авантюристы революции: он застрелился, боясь расправы Сталина.

Были убийцы и женщины. Садизм у палачей играл ничтожную роль. Психология палачей чека, в общем, ничем не отличалась от таковой привычных рабочих на бойне.

*Тюремный режим и жизнь заключенных* очень хорошо изучены и тогда казались ужасными. Но впоследствии мы познакомились с услови-

ями, мало чем лучшими, – в трюмах пароходов и в плену за проволочными заграждениями у англичан. Общежитие вповалку в переполненных и грязных помещениях. Заключенных запирали в комнаты и предоставляли самим себе. Их даже не кормили. Продовольствование их взял на себя международный Красный Крест под руководством доктора Лодыженского. Но так как средств у него не было, то заключенные жили впроголодь. В то время людей еще не измучила революция и им казалось это тяжело. Допускалось приношение пищи, называемое передачей, но она раскрадывалась, а дошедшие продукты по правилам коммунальной жизни делились между заключенными.

Очень характерно, что в первый период деятельности большевиков загадочную роль играл датский Красный Крест. Он несомненно был в связи с большевиками и играл роль посредника, а его деятельность во многих отношениях была сомнительной.

Тогда люди еще не падали морально так, как впоследствии, во время скитаний и эмиграции, и переход к такой жизни был тяжел. «Общество» еще держало себя с достоинством. Самым тяжелым было то, что никто не знал своей судьбы. Каждый вечер, между 10 и 11 часами, в камеры являлся помощник коменданта с конвоем из красноармейцев и по записке, с трудом разбирая грамоту, вычитывал фамилии обреченных.

– Забирайте вещи и идите.

Это значило идти на расстрел. Люди поднимались, собирали вещи, которые должны были достаться палачам, и шли пассивно, без всякого протеста, покорные судьбе.

Эти минуты, когда каждый ожидал услышать свое имя, были страшны: замирало сердце, и когда жребий падал на другого, невольный вздох облегчения вырывался из измученной груди. Душевные переживания людей были сложны. Когда надвигались эти грозные вечерние часы, оживленные беседы замолкали, улыбка застывала на губах, и люди уходили в себя. Кто признается в том, что шептал ему внутренний голос и какие нечистые мысли заползали ему в душу? Когда уводили обреченных, жизнь понемногу пробуждалась, люди опять

заговаривали друг с другом и оживали до завтра. Молчанием обходили совершившееся и не упоминали о погибших. А издали доносились глухие выстрелы и аккомпанирующий им рев мотора грузовика.

Режим заключенных в чека – это тип того общежития всвалку, которым потом и во время Гражданской войны, и в странствованиях эмиграции жила вся Россия. Никаких прав заключенные не имели. Никто их не выслушивал, не предъявлял обвинений и не принимал оправданий. Без срока и без надежд.

Бывали разные поведения и разные душевные состояния. Резкое малодушие проявлялось редко. Неожиданный приговор часто ошеломлял, пришибал жертву. Человек шел на расстрел автоматически, с помраченным сознанием. Про обреченных говорили: «Они уже как мертвые».

Вели сначала в комендатуру для какой-то сверки, а затем на бойню. И преступление имеет свой шаблон. Все бойни были устроены на один лад: каретный сарай или подвал, в который надо было спускаться по нескольким ступенькам. Я осмотрел их несколько, еще с кровавыми следами и мозговыми брызгами по стенам. У входа в помещение бойни, по заветам «деления риз» избранного народа, обреченного заставляли раздеваться, вещи отбирали и человека голого или в одном белье загоняли внутрь и ставили «к стенке». Обычно жертвы покорно исполняли требования, становились или даже сами ложились рядом с покойником в ряд, лицом вниз на каменный пол, и ждали пули в затылок. Стреляли в упор из револьвера, и череп разлетался, а лицо становилось неузнаваемым. Жертвы падали кучей, а нового обреченного подводили к куче убитых. Что переживали эти люди, вообразить невозможно, несмотря на то, что мне пришлось выслушивать показания нескольких лиц, которых водили на расстрел только как на устрашение. В последнюю минуту, когда он стоял «у стенки», его отпускали со словами: «Ну, пошел вон, до тебя очередь не дошла, придешь в другой раз».

Таково было показание полковника Козловского. Убивали одинаково, лишь с небольшими вариантами. Надо признать, что у средневековой инквизиции изобретательности и поэзии в убийствах было

больше. Каждая чека имела свою Розу, Дору, княгиню Оболенскую или княжну Мансурову.

Молва и общественное мнение жаждало отыскать в деяниях чека элементы физических пыток и увечий. Говорили о снятии скальпов, вырезании погон, сдирании кожи и ногтей. Таких увечий и замучиваний на полях сражений Гражданской войны было множество, но в чека они были редкими исключениями. Здесь преобладали пытки душевные. В Комиссию поступили даже заявления о машине в виде бочки, набитой гвоздями, и о горячем масле, которым обливали пытаемых. Исследования этого не подтвердили. Я исследовал вместе с профессором судебной медицины Таранухиным одну «перчатку», снятую с трупа. Так и не выяснилось, было ли то результатом мацерирования трупа в сырой земле или каким-то невероятным образом снятая бескровно с живого человека кожа. Но это была настоящая перчатка из верхнего слоя кожи, целиком снятая. Были отдельные случаи исключительной жестокости. Такие случаи зарегистрированы в харьковской чрезвычайке, где подвизался рабочий Саенко. Не было и ясных проявлений настоящего индивидуального садизма, как его понимает психиатрия. Не подтвердились также показания о том, будто бы трупами казненных кормили свиней. Объединенные собаками трупы попадались часто, так как они подолгу валялись на улице неубранные.

В общие ямы, вырытые в саду дома Бродского на Садовой улице, трупы сваливались как попало, голые и еще теплые. Они приходили в соприкосновение с пересыпавшею их мелкой илистой землей, и кожа мацерировалась. В мужских трупах мошонка раздувалась до величины арбуза. Наши заявления о том, что мы не нашли следов физических пыток, даже раздражали публику, которая в своем озлоблении хотела, чтобы они были.

«Как же вы говорите, что не было пыток, когда мы знаем, что были?»

Больное воображение толпы видело образы своей фантазии и не видело, что есть.

А было кое-что гораздо худшее, чем пытки физические. Вот что проделывали люди над себе подобными.

Первой моральной пыткой была полная неизвестность своей судьбы. Невозможность защищаться и оправдаться, что дают все суды мира. Мучительное ожидание неизбежной казни, в большинстве случаев без всякой вины.

Как возмущалась в былое время русская интеллигенция, когда левые газеты кричали о том, что арестованные жандармами политические преступники сидят по несколько дней без допроса. Тогда требовали, чтобы по образцу «свободной» Англии – тогда этих варваров считали цивилизованными – заключенному допрос был сделан в первые 24 часа. Теперь не допрашивали по месяцам, а иногда и вовсе не допрашивали. Попавший в чека был заживо погребен и отрезан от внешнего мира.

Во время революции тюремный режим мирного времени изменяется: становится фактически невозможным регулировать содержание заключенных и даже кормить их. Права арестанта мирного времени ограждены законом. В революционное время хватают кого попало, и места заключения превращаются в свалочные пункты, от которых требовать организации нельзя. Обращение с заключенными в чека было грубое и пренебрежительное. Но не менее грубо впоследствии обращались с нами и англичане в лагерях за проволочными ограждениями.

Из моральных пыток в моде было *устрашение*. Обреченного выводили на расстрел и, проделав всю процедуру ставления к стенке, отпускали. На его глазах убивали других, наваливая целую груду трупов, и затем целились в него. Это называлось «водить на испуг».

Особенная латышская жестокость была в вучека, руководимой Лацисом. Там стоял ящик-гроб на четверых. Осужденного заставляли раздеться догола и лечь в этот гроб. Там его пристреливали в затылок. Следующего, также голого, заставляли ложиться рядом с трупом и также убивали. Третий ложился вторым ярусом на нижний труп и также убивался. А с последним иногда проделывали такую штуку:

– Ложись!



Жертва ляжет и ждет. Палачи закуряют, поговорят, не обращая на обреченного никакого внимания и, продержав так полчаса, отпустят. Я не знаю, может ли читатель представить себе переживания человека в таком положении!

Огромное число казнимых умирало пассивно. Автоматически, трепеща мелкой дрожью, они раздевались и, шатаясь, шли на место. Иногда не добивали сразу: стоны и крики раздавались из кучи дымящихся тел, и виделось содрогание членов. Но на это никто уже не обращал внимания. Чекисты продолжали делать свое дело и добивали только тогда, когда стоны становились уже слишком назойливыми.

Первое время в чека убивали выстрелами в грудь и в живот, но для этого приходилось тратить по несколько пуль.

Редко наблюдались случаи иступленного отчаяния со стороны убиваемых. Они валялись по земле, целуя ноги палачей, умоляя о пощаде. Над этим только издевались. Комиссар вучека рассказывал, что так умирал чекист-студент Гончаренко. Во время его работы вскрылось его прошлое. Он когда-то был членом клуба националистов, и его ничто не спасло. Сидя уже в чека в качестве арестанта, он хотел купить себе спасение предательством. Доносил без конца. Его любезно выслушивали и, когда он считал себя уже спасенным, его вызвали на расстрел.

Гончаренко обезумел, доказывал, что это недоразумение... Его поволокли насильно. Он сопротивлялся, умолял. Уже в погребке, когда ему командовали: «Ложись, мерзавец!», он извивался по полу, грыз землю и... доносил. Даже палач Извошиков возмутился этой низостью и с презрением его пристрелил. Были и случаи пафоса смерти.

Молодой украинец, распропагандированный деревенский парень, почти мальчик, умирал с криком: «Хай живе вильна Украина!»

Однажды не хотела умирать сестра милосердия и не легла рядом с трупами. Ее тело в рубашке нашли лежащим в стороне «не по порядку». Я однажды был свидетелем, как группу около ста человек обреченных вели из тюрьмы в чека. Зрелище было потрясающее. Публика впереди разгонялась и сама разбегалась в стороны, почувствовав тяжелую руку

революции – это были настоящие ее завоевания. Группа обреченных шла скученно и мрачно. Она была вплотную окружена цепью молодых безусых красноармейцев, которые держали винтовки наизготовку. Плоды работы русской предреволюционной интеллигенции были налицо: нельзя же было безнаказанно в течение десятилетий развращать народ. Молодые деревенские парни, восприняв поучения передовой интеллигенции, теперь отводили ее на казнь.

В первые недели существования чрезвычайки убивали ночью в сквере у Золотых Ворот, а позже – в саду генерал-губернаторского дома. Осужденных выводили на полянку сада под живописно раскинувшиеся своды высоких тополей и убивали под деревом. Я видел еще на земле темные пятна запекшейся крови, засыпанные белой известью.

По окончании операции в ворота въезжал грузовик и забирал трупы. В те времена славился своими убийствами первый по времени комендант киевской губернской чека Михайлов-Феерман. Он жил в состоянии экстаза, опьяненный кровью, и был, по-видимому, садистом. Он наслаждался убийствами и муками своих жертв. Однажды в саду он убивал молодого человека. Тот просил пощады, сопротивлялся. Тогда Феерман сказал ему: «Беги». Юноша метался по всему саду, а тот его стрелял, как зайца.

В тюрьме на Лукьяновке как-то забыли про трех осужденных матросов. Ночью приехали люди в кожаных куртках и по списку вызвали всех трех. Привели первого.

- Вы, товарищ, такой-то?
- Я.
- Ну вот, товарищ, идите так влево.

Тот пошел, а сзади в него пустили пулю. Когда же он упал, к нему подошли и еще раз пристрелили. Просто, без пафоса. Пришел второй.

- Видите, там лежит? Так вы идите немного правее.

И повторилось то же.

Третий матрос, увидев картину, тоже пошел, но снял шапку и перекрестился. Палачи кончили свое дело и, сложив бумаги, уехали. Было поздно. Хотелось спать...

Убивали и иначе. Однажды утром вели на кладбище группу в двенадцать человек, среди которых был инженер в форменной фуражке. На кладбище «буржуев» заставили рыть большую яму. Когда они кончили эту работу, их заставили всех раздеться, стать на краю могилы и расстреляли, засыпав потом землю могилу, в которую они все повалились. Этот вид убийства отмечен во многих случаях. Все должен был сделать казнимый сам, чтобы не утруждать товарищей.

На моих глазах разрывали последнюю могилу большевистских жертв в саду дома Бродского, куда были свалены 127 трупов расстрелянных в ночь перед приходом добровольцев. Это была картина историческая. И у могилы депутация представителей бывших союзников французов, англичан и американцев, которым я показывал эту картину, изрекли горькое пророчество:

– Если мы расскажем об этом и даже покажем фотографии, нам не поверят...

Ничего нет на земле нового. Деление риз и несение креста времен Христа было тогда приемом избранного народа. Он повторял это в иной форме и теперь. Психика человечества не поддается прогрессу и совершенствованию. Цивилизация сменяется варварством, а варварство – цивилизацией.

Об убийстве 27 августа мне рассказывал дворник дома, на обязанности которого лежало после завершения операции из брандспойта обмывать от крови трупы.

В эту памятную ночь от 10 до 2 часов из казематов генерал-губернаторского дома на Институтской, № 40, подходили осужденные группами в 5–10 человек через улицу к бойне.

Люди, контролируемые красноармейцами, шли, по словам очевидцев, «как обыкновенно». Всю ночь в квартале слышались выстрелы. Реалист седьмого класса Вихман (по другой версии, Элькинд) сам пострелял всех 127 человек, заживо уложив их рядами и ярусами. Один ряд укладывался за другим и один ярус над другим, ибо по площади пола не хватало места. Живых людей поочередно и систематически по

системе Угарова (будущего члена Генуэзской конференции) превращали в трупы. Понимала ли западная демократия, когда принимала Угарова, что она была морально ниже его, ибо там еще не царило повальное безумие в той мере, как тогда в России?

В этот день трупы не увезли, как обыкновенно, городским обозом в анатомический театр, а тут же закопали в саду. Это был памятник Ворошилову и Мануильскому, которые санкционировали эту масакрацию.

Обычно уборка трупов происходила так: по телефону вызывали городской обоз. Оттуда цинично отзывались:

– На сколько?

Дешево тогда стоила жизнь. Трупы увозились в анатомический театр непонятно зачем. Был даже назначен студент-медик для «заведывания трупами». Позже добровольческая власть не тронула этого студента – он не был «настоящим чекистом», как и многие приобщившиеся к чека. Обоз приезжал и ждал на улице. Извозчики покуривали, беседовали. Им не было ни жутко, ни печально – дело как дело... Потом трупы, нагруженные на подводы, увозили. Я видел однажды такую подводу, груженную трупами, в дни первых большевиков. Это было настоящее лицо революции, а не глупые речи в Думе или подлые телеграммы ее председателя Царю.

В залах трупы складывали штабелями. В Комиссии зарегистрированы невероятные случаи. Случалось, что трупы оживали уже в куче сваленных тел. Они оказывались недобитыми. Подавленный голос умолял служителей о спасении. Но не таково было время, чтобы можно было спасать людей: животный страх за собственную жизнь и страх доноса побуждал служителей бежать за милиционером. Тот снимал с плеча винтовку и добивал жертву. Установлены факты, когда «убитые» воскресали и, очнувшись, голые, окровавленные спасались, перелезая через заборы и чудом убегая.

Однажды расстреливали одиннадцать человек, а одного трупа недосчитались. По кровавым следам обнаружили, что он исчез; его так и не нашли.

Еврейка Роза, черноволосая, некрасивая женщина небольшого роста, с хмурым выражением лица, сопровождала обреченных вместе с конвоем, держа в руке револьвер. Когда у ворот сарая те не слишком быстро раздевались и входили, она торопила их и входила вслед за жертвою в сарай, откуда сейчас же слышался выстрел. Любопытно сопоставить ее поведение в роли палача с тем, как она сама себя держала, когда ее при добровольцах расстреляли. Об этом мне передавали лица, присутствовавшие при этом. Она оказалась до омерзения малодушной: плакала, молила о пощаде. Умерла трусливой и жалкой. Другие палачи, убивая, издевались над жертвами. Терехов, «поэтический палач», перед убийствами отравлялся кокаином.

Однажды расстреливали матроса-большевика. Увидев Розу, он завопил: «Не хочу, чтобы меня расстреливала жидовка!» Но комиссары не обратили внимания на протест, и тогда матрос ловким скачком набросился на Розу и ударом сшиб ее с ног. Цели достиг: его схватили, но вместо Розы его пристрелил еврей Берман. Труп буйного матроса валялся в липкой и скользкой крови буржуев.

Роза, как и одесская Дора, была артисткой своего дела. В промежутках между расстрелами она молча сидела в стороне, и трудно сказать, какая драма была в ее душе. А когда ее осудили на смертную казнь, долго не находилось желающего палача.

В анатомическом театре и в обозе велись записи, и благодаря им точно установлено число убитых в чека – 759 человек. Сюда надо прибавить последнюю партию расстрелянных на Садовой и там похороненных и несколько групп отдельно расстрелянных. Общее число убитых за семь месяцев владычества большевиков надо определить, не считая жертв Куреневского восстания, от 1000 до 1500 человек. Несколько сот человек было вывезено в качестве заложников в Москву и там заключено в концентрационных лагерях.

Концентрационные лагеря – это тоже выдумка большевиков, но уже позаимствованная Западною Европою.

Любопытные порядки царили в мертвецких и на кладбищах. После случая с Верою Чеберяк, описанного ниже, было запрещено кого бы то ни было из убитых показывать или выдавать родным. Денег на погребение не отпускалось, и в анатомическом театре образовались ужасающие залежи гниющих трупов.

Целые горы их разлагались, расплываясь в бесформенную массу. С одной стороны, шла спекуляция трупами, а с другой – наблюдалось трогательное и бережливое отношение родных к погибшим. Подкупамии склоняли служителей заметить место погребения близких. Закапывали трупы в общие ямы. Выполнения обрядов не допускалось. В делах комиссии отмечены случаи, когда с опасностью для жизни родные караулили тело близкого покойника и выслеживали место погребения. Потом, когда палачи уходили, находили могилы, отрывали трупы и хоронили по христианскому обряду.

**Красный террор.** Периодически проводимый красный террор был массовым уничтожением арестованных, чтобы путем устрашения «воздействовать на умы населения и предотвратить контрреволюционные выступления». Он проводился тогда, когда положение большевистской власти становилось неустойчивым и когда определялись успехи Добровольческой армии. Гибла при этом интеллигенция, чиновники, офицерство, но мало настоящих контрреволюционеров. Бессмысленно гибли и «свои» рабочие, горожане, случайно по доносам попавшие в чека. Только евреи были почти застрахованы. Восемь евреев, попавших в число расстрелянных, были либо предатели, либо спекулянты, не поделившие добычу. Даже богатая еврейская буржуазия уцелела. Списки выведенных в расход опубликовывались в газетах, чтобы «ударить по нервам интеллигенции и буржуазии».

Впервые в Киеве красный террор был объявлен 1 мая 1919 года в торжественной обстановке революционного праздника на Софийской площади главою украинского правительства Раковским. Утверждался красный террор ЦИК. Чека являлась только исполнителем. Убить «в по-

рядке красного террора» значило не интересоваться ни виновностью, ни деятельностью убиваемого. Надо было просто уничтожить как можно больше людей с целью утратить буржуазию. Красный террор не был организован по образцу Французской революции, ибо здесь уничтожались все без разбору, а не только аристократия.

Я помню характерную сценку, отражающую взгляды большевистской молодежи на красный террор, за несколько лет перед революцией в Вильно, где я жил и преподавал в превосходно поставленной еврейской гимназии Кагана психологию. С учениками у меня были самые лучшие отношения, и на экзаменах все в комиссии проходили блестяще. Теперь все очутившиеся в Киеве студентами бывшие мои ученики были, как полагается, комиссарами, а один из моих любимых и лучших учеников, Мицкун, был комиссаром университета. В августе 1919 года я встретил группу моих учеников на улице. Мы разговаривали. Они были очень встревожены наступлением Деникина. Подошедший другой юноша с горящими глазами взволнованно прервал наш разговор словами: «Надо показать буржуям! Надо усилить красный террор, ударив по нервам!»

И действительно ударили! Волн красного террора было три. Всех жертв красного террора насчитывается около двухсот. По масштабу Керенского и Петлюры, которые, по существу, занимались тем же, только без ритуала, это сравнительно немного, ибо там убитых без суда было во много раз больше.

Впечатление на население красный террор действительно производил. Но он был бесполезен для предотвращения заговоров, которых и без него не было. Гипноз революции был так силен, что никто не рисковал против нее выступить. Контрреволюционные мечты и надежды, конечно, были, но переживались они в тайниках души.

Либеральная интеллигенция подделывалась под большевиков и потеряла свое достоинство. Храбрая при царском режиме, она теперь вела себя смиренно. Поэтому она была права, когда говорила, что гибнет в чека

невинно. Большие группы чиновников и либералов выслуживались перед большевиками и искали протекции для получения мест. Шли даже в чека, не брезгуя и этой службой.

Многие чекисты говорили, что они были мобилизованы и посланы в чека против их воли.

Грабежи чека по существу были не больше таковых предшествующих режимов. Это говорят цифры. Конечно, главное разграбление было сделано при Керенском, когда во всех домах поголовно вторгающиеся банды дезертиров-солдат опустошали все. Теперь и в этом была введена система. Школа Пилсудского и Савинкова сказала и на чекистах. Здесь только все делалось по ордерам. В официальных инструкциях и программах нигде не говорится о грабежах. Теоретически конфискованные вещи и деньги должны были сдаваться в хранилище. Но туда поступала только незначительная часть награбленного. Награбленные и сданные на хранение ценности забивались в ящики, опечатывались и сдавались на хранение в Государственный банк. Там хранилось много ящиков с ценностями, которые числились за чека и были в ее распоряжении. Я все это констатировал на основании произведенного мною в банке расследования. При Государственном банке кроме еврея-студента Рубинштейна состоял какой-то комиссар, не то Смирнов, не то Семенов, на удивление революции честный. Он верил, что все награбленное принадлежит «народу», и периодически отправлял эти ящики в Москву, не распечатывая и не проверяя их содержания. Всего он переслал около 40 ящиков. По сообщению, сделанному мне чинами Государственного банка, в некоторых из них заключались большие ценности. Называли дорогие ожерелья и золотые часы Бобринского, в которых одного чистого золота было семь фунтов и которые по мирному времени ценили в три миллиона. Все, что не было отправлено в Москву, было забрано чрезвычайками обратно и полностью разграблено.

Комиссаром Государственного банка был студент 2-го курса Киевского университета еврей Рубинштейн, который, конечно, ничего не понимал в делах банка. От большевистских комиссаров, впрочем, как



и от парламентских министров, не требуется специальных знаний. Он многое прозевал и не уничтожил важных документов.

В Государственный банк являлись люди с записками от чека, вскрывали ящики, вынимали из них, что нравилось, и уходили, вновь запечатав их. Любительницей бриллиантов оказалась героиня большевиков Анжелика Балабанова и ее товарищ Ефим или Ефрем. Я сам исследовал документ, подписанный Раковским, который предписывал банку выдать товарищу Е. все, что он найдет нужным. Парочка говорила, что эти деньги им нужны на пропаганду, что, конечно, было вздором, ибо в те времена шла не пропаганда, а резня. Они вдвоем облюбовали жемчужное кольцо и очень ценную бриллиантовую вещь, которую и забрала себе Балабанова.

Люди старого режима, конечно, возмутятся таким грабежом. Однако позже вся Европа и Америка покупали эти краденые вещи, а Ллойд Джордж эти кражи санкционировал своим знаменитым афоризмом, что «торговать можно и с людоедами».

Губчека сдала на личный счет 29 миллионов рублей и все забрала обратно.

Чека особенно громила все места, где было обнаружено что-либо царское. Так разыгрался инцидент в госпитале Мариинской общины, где я тогда работал.

В зале общины были царские портреты в больших золоченных рамах. После революции их оставили висеть, но «из приличия» завесили простынями – чтобы и честь приобрести, и невинность соблюсти. Но это двуличие не укрылось от наблюдательного взора жиденка, находившегося среди больных. Он приподнял уголок завесы и, столкнувшись со взглядом Императора, не вынес его. Он заорал «гевулт» и бросился к телефону, зовя чека.

– Уй! Царские портреты! Поймал контрреволюцию с поличным...

Три дня и три ночи подряд грабили чекисты общину. Сейчас же прачка донесла, что в чулане были скрыты ценности и вещи попечительницы общины Воронцовой-Вельяминовой. Обобрали сестер и аре-

ставали пять человек во главе с доктором Киричинским. Пошло гонение на общину, и все мы долго висели на волоске от расстрела.

Лацис написал против общины громовую статью в «Коммунисте». И очередь ареста дошла до главного врача. Ему пришлось скрыться, выбравшись куда-то в лес к знакомому. Я должен был его заменить и нес эту тяжелую службу до прихода добровольцев.

Здесь отражались нравы большевиков.

Мариинская община была одним из лучших лечебных заведений, а профессор, главный врач, был знаменитый хирург. И этот госпиталь стал скоро лейб-учреждением большевистской головки. Сюда привозили на перевязку председателя губчека Сорина, когда он был ранен при усмирении Куреневского восстания. И надо признаться, он держал себя геройски.

Затем произошла изумительная сцена с Блюмкиным.

Привезли паршивенького жиденка с резко выраженными знаками дегенерации. «Один глаз смотрит на вас, другой – в Арзамас». Отвислая, почти негритянская губа шлепала, когда он, брызгая слюной, изъяснялся на типичном жаргоне. Низкого роста, со взглядом исподлобья, он глядел волком. Держался довольно бодро.

Сейчас же вызвали профессора. Тут же стояли молодые люди в кожаных куртках. Хирург осмотрел раненого и ахнул: пуля попала в рот, прошла сквозь мозжечок и вышла через затылочную кость. Но жиденок держался и нахально торопил профессора. Профессор к его заявлениям остался равнодушен и делал свое дело. Тогда тот с большим апломбом, словно весь мир его знал, спросил:

– Вы знаете, кто я?

И действительно, весь мир знал его...

– Я – выразительно ткнул он себя пальцем в грудь, – Блюмкин.  
Я – Блюмкин.

Но и к этому имени профессор остался равнодушен. Тогда еврейчик поставил точку над і.

– Я – убийца графа Мирбаха! (Германского посла в Москве.)

Приступили к очистке раны и перевязке. Всякого другого такая рана уложила бы на месте. Но еврей был живуч и держался изумительно. Ни стопа, ни защитного движения. И присохло, «как на собаке». Даже без повышения температуры. И уехал домой.

Однако здесь пахло большой драмой. Его подстрелили сами большевики как левого эсера. Своя своих не познаша.

Роясь в бумагах чека, я отыскал изумительный документ. Это был клочок бумаги, на котором была безграмотной рукой написана пока- янная Блюмкина, где он клялся перед «дорогими товарищами», что он не враг революции, и просил пощады, зная, что они хотят с ним расправиться. И вот расправились-таки. Но не приняли во внимание, что Блюмкин человек особенный и может ходить с простреленным мозжечком, и что это ему нипочем!

Уже впоследствии, в эмиграции, я прочитал, что Блюмкин – «таки да», расстрелян большевиками. Фаланги и скорпионы революции ненавидели и уничтожали друг друга.

Другая сцена дала мне случай встретиться с Раковским.

Уже когда я исполнял обязанности главного врача, получаю однажды по телефону приказание прислать к Раковскому сестру милосердия. Его революционное величество изволили захворать. Я долго думал, кого послать, и остановился на скромной демократической сестре Федоровой. У Раковского она пробыла пять дней и, вернувшись, дала мне поучительный рапорт о том, как живут новые монархи от революции. Жил Раковский в роскошной квартире какого-то буржуя, которого выселили куда-то в подвал. Вся обстановка была краденая. На столе – яства старого режима: икра, семга, вина. Сестра рассказывала, как Раковский над ней посмеивался, что, «вероятно, вы ненавидите нас, только скрываете»...

«Но, – говорила сестра, – видимо, он не дурак».

Мне часто говорили русские интеллигенты того времени, что не надо судить о большевиках по низам, а что во главе их есть несомненно крупные и интересные люди. И вот в моем психофильме прошел

один такой великан большевизма, сам Иоффе, подписавший Брест-Литовский мир.

В один далеко не прекрасный для меня день мне, как главному врачу, говорят по телефону: «К трем часам дня приготовить отдельную комнату для роженицы, которую обставить так, как если бы Императрица Мария Феодоровна собиралась родить наследника Российского престола».

– Слушаю.

– Если не исполните, будете иметь дело с чрезвычайкой.

– Слушаю.

Консультантом по акушерству состоял профессор Яхонтов. Я вызвал его и сообщил ему приятную честь, выпавшую на его долю, и, отдав все распоряжения, с невеселым чувством сел за микроскоп. Было одиннадцать часов утра. Мало-помалу работа затянула меня, и когда я очнулся и посмотрел на часы, с ужасом увидел, что уже половина пятого. Я схватился с места и пошел проверить, все ли сделано, ибо иначе чека разнесет весь госпиталь. Попавшаяся навстречу сестра сказала, что профессор Яхонтов был, что роды кончились благополучно. Я должен был проведать больную и, тихонько постучав в дверь, вошел. На чисто убранной кровати в белоснежном белье, в кружевном нарядном чепчике на кровати лежала молодая красивая женщина, еврейка Мария Гиршберг, гражданская жена знаменитого большевистского дипломата Иоффе. В ногах кровати стояла колыбелька с младенцем, которого телефон провозгласил наследником Российского престола. Привычным взглядом я окинул комнату. Все было в порядке и блестело чистотой. Я подошел к кровати. Роженица снисходительно кивнула головой и величественно спросила: «С кем имею удовольствие говорить?» Я отрекомендовался как временно исполняющий обязанности главного врача и осведомился, не нужно ли ей чего-либо. На это великая особа сооблаговолила выразить желание, чтобы я доставил ей ванну «получше» для ее ребенка и... «нельзя ли лишнюю прислугу?».

Бедные русские глупцы! Делая революцию, они заботились об упразднении унижительного звания прислуги и утверждали, что боевые генералы должны сами чистить сапоги. А тут: «лишняя прислуга!» Я поклонился. Забегали сестры, полетел в город заведующий хозяйством доставать ванну... А мы ожидали великих и богатых милостей, надеясь, что сильные мира переложат гнев на милость и освободят наших арестованных в чека. Не тут-то было! Претендентка на мать наследника престола величаво отлежала свои девять дней. Сам Иоффе, похожий на откормленного приказчика, с брюшком, в обыкновенной пиджачной паре, спокойно шел по коридору, когда я его встретил, навестив его супругу. А на следующий день профессор Яхонтов встретил меня совершенно растерянный: ночью к нему в дом явились чекисты, произвели обыск и опустошили весь его винный погреб, которым он так дорожил.

Мы посмеялись: это был гонорар за помощь рождению наследника. Наши арестованные лишь чудом спаслись впоследствии.

Мария Гиршберг належала в больнице на три тысячи рублей. И тут-то разыгрался скверный анекдот. Она выписалась, ничего не уплатив: ведь теперь все было «народное», а единственным народом был ведь народ еврейский. Я со счетом отправился к начальству.

Начальник спросил:

- Это что?
- Счет за лечение Гиршберг.
- Ну так что же?
- Прошу уплатить.
- Ну так спрячьте это в карман.
- То есть как?
- А так. Хотите иметь дело с чека?

Я понял. Так вот они, «кристально чистые». Гм...

Я исследовал много доносов и отчетов о слежке в чека, но большинство доносов делалось устно. Писания были смешны и жалки, но окупались они человеческой кровью. Техника сокрытия вещей была изумительная. Но чекисты всегда находили спрятанное.

Легенды о том, что сыск у большевиков был поставлен на должную высоту, не отвечают действительности. Чека была подозрительна, труслива, всюду видела контрреволюцию.

Настоящей связи с армией Деникина не было, и те, кто впоследствии приписывал себе эти заслуги, редко имели их на деле. В казематы чека сажали шпионов, но арестованные скоро их разгадывали. В то время институт секретных сотрудников еще не был усовершенствован. Смертным грехом было юдофобство: за слово «жид» человека ждал верный расстрел.

Из типов предателей у меня зарисованы следующие: еврей-подросток Краснов, 15 лет, подслушивал, юлил между заключенными. О разговорах, ведшихся в его присутствии, сейчас же узнавали следователи. Среди арестованных находился бывший председатель железнодорожной чека. Они арестовывали и даже расстреливали и своих. Его фамилия была Болденко. Он изводил заключенных, издевался, говорил, что он большевик, несправедливо арестованный за взятки. Каждый вечер он с Фишером уходил к следователю и докладывал о том, что слышал. Фишер был красивый еврей, сидевший также за взятки.

Предательница Шварц была красивая женщина, жена генерала, который был расстрелян в ГЧК. Когда ее арестовали, она занялась предательством.

До какой степени трудно бывает распознать чекиста в обыденной жизни, показывает следующий пример. На приведенном снимке киевской губчека под знаком «мой пациент» имеется чекист, который долго находился под моим наблюдением в отделении госпиталя с диагнозом «неврастения». На этот диагноз мы смотрели сквозь пальцы, ибо под этим диагнозом часто спасались офицеры, которым грозил расстрел. Это был спокойный, уравновешенный молодой человек, молчаливый, довольно симпатичный, и, помнится, я по его просьбе продлил ему срок пребывания в госпитале. Решительно ничего подозрительного он в своем поведении не проявлял. Однако сестра мне однажды конфиденциально сообщила, что это чекист. Я не поверил и даже не запом-

нил его фамилии, так как запомнить фамилию каждого пациента было невозможно. И только впоследствии по фотографии я узнал в чекисте своего пациента.

**Киевские чрезвычайки.** Первая чрезвычайка организовалась в Киеве около 1 февраля 1919 года. Ядро образовали рабочие Арсенала. Можно даже допустить, что намерения у организаторов чека были не дурные. Они хотели бороться с бандитизмом, который так широко развился за время владычества Керенского и Петлюры. Они хотели бороться со спекуляцией и поддерживать дисциплину в армии. Последним были недовольны красноармейцы и не раз грозили разнести чека. С самого начала в чека попали рабочий Савчук и Дехтеренко – по одним сведениям, рабочий, по другим – бывший фельдфебель. Оба полуграмотные, озлобленные.

Савчук был распропагандированный, так называемый сознательный товарищ с очень узким революционным кругозором. Дехтеренко был тип грубого, неотесанного и необузданного солдата. Он любил повторять где-то слышанную фразу, что он «так и сгорит на костре революции». Он был простым орудием в руках большевистских вождей.

В начале февраля в один из вечеров я натолкнулся на оцепление чека готовящимися к бою красноармейцами. Но чека уже имела свой охранный батальон, и во главе его стоял экспансивный комендант Феерман. Чека арестовала несколько солдат Тарашанской дивизии и теперь красноармейцы требовали освобождения своих товарищей и осадили чека. Чекисты отбились, и инцидент был улажен.

Около 20 февраля приехала в Киев из Харькова настоящая чрезвычайка с председателем Сориным и с целым кагалом молодых малограмотных евреев. Она быстро захватила дело в свои руки и наладила его по-своему. Сорин был опытный чекист, работавший уже в Саратове и в Харькове. Он раньше служил в частном банке, и я встречал людей, знавших его в это время. По их рассказам, это был обыкновенный человек типа приказчика, не дававший никакого основания видеть в нем будущего чекиста. Он обладал большим апломбом и невероятным нахаль-

ством. Был сообразителен, решителен и умен. Никакой коммунистической идеологии у него не было, и он использовал блага лично для себя. Он был фанатиком еврейского национализма, последователем Троцкого и соблюдал исключительно еврейские интересы. Чрезвычайное дело он знал в совершенстве, как один из его создателей. Киев же был благодатной почвой для расправы еврейства за бейлисовский процесс.

В марте определилась деятельность чека. Сорин перенес центр внимания с борьбы против бандитизма на борьбу с врагами еврейства. Прежде всего он решил расправиться за дело Бейлиса и уничтожить всех к нему причастных, что почти полностью ему и удалось. Первым пострадал Размитальский, у которого было найдено пять корзин ритуальной литературы. Эти корзины, которыми хотели заняться чекисты, так и остались после убитого в чека. Затем разыскали двух сестер Разумихиных, из которых одна была председателем Союза русского народа. Ее убили, а другую, которую я впоследствии допрашивал, заболела сыпным тифом и чудом спаслась, потому что про нее «забыли». Эти две сестры были большие русские патриотки и убежденные контрреволюционерки.

Выловили членов суда Вигуру и князя Жевахова, а заодно начали уничтожать всех деятелей судебного ведомства, списки и фотографии которых я видел в бумагах чека. Убили и прокурора Виппера, выступавшего обвинителем в деле Бейлиса.

Расправа была короткая:

«Вопрос: Вы участвовали в деле Бейлиса?»

Ответ: Участвовал.

Резолюция: Уничтожить».

В работе по Комиссии мне пришлось беседовать с двумя уцелевшими деятелями процесса: со следователем Фененко и с сыщиком Красовским. Оба они говорили мне, что существует сильное подозрение по адресу Веры Чеберяк и некоего Латышева. Но тайны бейлисовского процесса не знали и они.

Удивительно, как сплетаются нити жизненного кинематографа. Когда мне едва было два года, у моего отца на сахарном заводе слу-



жил фельдшер Латышев. Он заболел и умер, оставив трех маленьких детей. Мои отец и мать взяли на себя заботу об этих детях. Старшего приспособили к кухонному делу, и из него впоследствии вышел великолепный повар, который служил в Харькове у корпусного командира генерала Свечина. Младший, по имени Жолька, от слова Егор-Жорж, приспособился к моей семье и многие годы впоследствии также был великолепным поваром. Но со средним мальчиком дело не пошло. Сколько его ни пытались учить, из него ничего не вышло, и он куда-то сбежал. Через десяток лет, когда моя семья жила в Харькове, однажды к матери явился этот Латышев и на вопрос моей матери, что он делает, ответил: «А так что в раклы поступил». В Харькове так назывались жулики. Мать отпустила его с добрыми пожеланиями, а через несколько дней ночью у нас ограбили каретный сарай, унеся всю сбрую, армяки и прочее.

Вот этот-то Латышев и фигурировал теперь в бейлисовском процессе. Как известно, евреи и левые хотели приписать убийство Ющинского бандитам при участии Латышева и Веры Чеберяк, которая будто бы укрывала эту шайку. Доказать эту версию не удалось. Теперь настала очередь Веры Чеберяк, ставшей большой знаменитостью. Пишу эту историю со слов чекиста Валлера.

Вера Чеберяк была весьма неглупая особа и отлично уловила курс времени. Она во время революции вышла замуж за рабочего, коммуниста Петрова, и даже сама участвовала в революционной работе, пока еврейство в лице шайки Сорина не спохватилось и не обнаружилось ее.

По показаниям свидетелей, ликвидация бейлисовского процесса прошла так ясно, что картины не подлежат сомнению.

Все показания говорят, что Вера Чеберяк погибла героически. Чекист Валлер с восторгом рассказывает о ней как о героине. Ее арестовали и привели в губчека. Там на нее с необычайной злобой набросилась компания Сорина. Ее ругали, упрекали за то, что она своими показаниями навлекла подозрение на Бейлиса. Грозил. Вера Чеберяк держала себя

с необыкновенным достоинством. Когда ее забрасывали вопросами о том, какие она давала показания на суде, она с невозмутимым спокойствием отвечала:

– Что вы меня спрашиваете, когда вам все известно? Теперь ваша сила, ну и делайте ваше злое дело!

Чекисты неистовствовали, топали ногами и, не ожидая суда комиссии, позвали коменданта Феермана, которому приказали Веру Чеберяк вопреки обыкновению, не арестовывая ее, среди бела дня немедленно вывести в расход.

Но Вера Чеберяк не торопилась. Когда ее били кулаками и толкали, она спокойно сказала:

– Подождите, дайте проститься с мужем.

Подошла к нему, перекрестила его, поцеловала и спокойно пошла за чекистами.

Евреи еще долго неистовствовали и кричали, пока вернулся Михайлов-Феерман и, нагнувшись к уху Сорина, почему-то вполголоса, как это делал всегда, доложил:

– Исполнено.

Это еще не был конец дела Веры Чеберяк. Ее труп отвезли в анатомический театр, и его или выдали, или показали кому-то. Об этом узнали, арестовали профессора Таранухина и чуть не расстреляли.

Я не знаю, было ли убийство Ющинского ритуальным, но страшная ликвидация этого процесса говорит в пользу такого верования.

По делу Бейлиса оказывалось и благоволение. Была арестована жена Григоровича-Барского, защищавшего Бейлиса. Ее спросили: «Это ваш муж защищал Бейлиса?» И когда она подтвердила, ее отпустили.

Когда были уничтожены все лица, связанные с процессом Бейлиса, Сорин обратил внимание на существующий в Киеве клуб националистов. Быть русским националистом в глазах еврейства было величайшим преступлением. Постановлено было уничтожить всех членов.

Вот вам и сильная большевистская власть! В это время в Киеве парадировали Раковский, Коллонтай, Иоффе, позже Ворошилов. А Со-

рин делал что хотел и плевал на мнение головки Коммунистической партии, которая не мешала этим убийствам и санкционировала красный террор.

Выкопали старый календарь издания Оглоблина за 1911 год, выловили по имеющемуся в нем списку членов русского национального клуба и всех поубивали.

Хорошая революция! Туда попал и чекист Гончаренко. Перед Пасхой разыгралось так называемое Куреневское восстание, которое мне не удалось достаточно изучить. Это была слабая попытка свергнуть большевиков и еврейство. Она обошлась около трехсот жертв убитыми.

На Подоле упорно царил антиеврейское настроение. Ненависть к евреям росла, и на Пасху там вспыхнул погром. Этому погрому сочувствовал весь Киев, возлагая на него большие надежды. Но Сорин оказался на высоте. Он проявил большую храбрость и умирил восстание. Победа на Подоле окрылила чекистов, и Сорин, по выражению Валлера, начал «зарываться».

В комиссию «по проведению красного террора» вошли еврей Рубинштейн, украинец Лашкевич и украинский левый эсер Яковлев-Демидов. Это «проведение» сводилось к тому, что надо было набрать для убийства достаточное число жертв.

Как можно было в XX веке додуматься до этого и на глазах Европы проделать столь позорное дело, можно объяснить только влиянием мирового еврейства.

Сорин воспользовался случаем и в порядке красного террора уничтожил всех националистов. В два приема в мае было расстреляно 45 человек, в том числе профессора Армашевский и Флоринский. Это произвело на интеллигенцию потрясающее впечатление. Перед чека стали трепетать.

Когда в разговоре с моим учеником Мицкуном, бывшим тогда комиссаром университета, я спросил его, за что они расстреливают профессоров, он ответил, что было доказано их сношение с денкинской ар-

мией. Это, конечно, было вздором, и я не понимаю, как мог такой умный человек, как Мицкун, этому верить. Это был еврей-фанатик, а у фанатиков вера преобладает над разумом.

Я могу понять фанатика типа Мицкуна, даже Троцкого, с которым Мицкун был связан, но не могу понять таких типов, как Кизеветтер, который, конечно, только лгал из чисто демагогических побуждений. Мицкун между прочим сказал, что это явление только временное, и что когда все успокоится, этого больше не будет. И все-таки благодаря Мицкуну по просьбе профессора Чаговца мне удалось спасти от расстрела профессора химии. Мицкун искренне верил в революцию и не был лишен добрых намерений.

В это время в губчека разыгрывались нечистые делишки. Чисто еврейская деятельность Сорина обратила на себя внимание рабочих на Печерске, а слухи об исключительной жестокости Михайлова-Феермана достигли ЦИК. Был дан приказ арестовать Феермана, но Сорин не только не подчинился этому приказу, но сам пригрозил арестовать Центральный комитет.

В то время царило еще двоевластие. Какой-то комитет тоже считался властью. Сорин на этот раз победил, но Михайлову пришлось уйти. Он переправился в Одессу, где продолжал свои похождения и был убит своими же, чекистами. Внимание рабочих было привлечено чисто еврейскою национальною деятельностью Сорина, и оттуда слышался ропот, к которому пришлось прислушаться и безымянному ЦИК. В это время поднялась история Покровского монастыря. Было арестовано несколько популярных священников. Сорин поручил разыграть это дело и подготовить арест 26 священников, которых имел намерение расстрелять. Это начало волновать рабочих. Сорин в это время был на высоте своей силы. Окруженный компанией близких друзей, он вел своеобразную широкую и разгульную жизнь.

Снимок представляет собою киевскую губернскую чрезвычайку, так называемую губчека. В верхнем ряду стоят слева направо, считая с точки зрения читателя:

1. Шварцман, еврей, рабочий с Подола. Старый член партии Бунда, впоследствии большевик. Еврейский националист-фанатик.

2. Угаров, русский, портняжный подмастерье из Воронежа, полуграмотный. Творец тюремного режима чека и изобретатель метода укладывания заживо штабелями и ярусами расстреливаемых пуль в затылок. Впоследствии – член Генуэзской конференции, которого чтит демократическая Европа и которому пожимал руку итальянский король.



*Киевская губернская чрезвычайная комиссия (губчека)*

3. Максимов-Гониотский, еврей, студент. Свирепый следователь, избивавший заключенных во время допроса.

4. Михайлов-Феерман. Фанатик, еврей-мститель. Необыкновенно свирепый палач и комендант чека. Известный своим блудом и развужданной жизнью.

5. Мой пациент, долгое время находившийся в моем госпитале и там ничем себя не проявивший. Русский. Фамилию его забыл.

6. Михайловский (?), русский, бывший гетманский офицер. Заведовал хозяйством чека.

7. Сутугин-Гониотский, брат Максимова. Член коллегии чека, подписывавший смертные приговоры. Еврей.

8. Савчук, русский. Рабочий Арсенала, один из творцов киевской чрезвычайки. Свиреп и полуграмотен, с тупыми мозгами, понимающий революцию как бойню. Заведовал самым важным отделом чека – секретным. Революционер-фанатик, не ведавший того, что творил.

9. Рубинштейн, крайний сидящий в нижнем ряду слева. Еврей, студент, юрист 2-го курса. Наиболее умный и развитой. Руководитель

красным террором. Сифилитик, отличавшийся своим блудом и заражавший многих женщин, которых брал насильно. Грабитель захваченных ценностей.

10. Каган. Еврей-жулик, родственник председателя чека Сорина, заведовавший хранилищем награбленных вещей, грабивший их и раздававший своим родственникам.

11. Сорин, председатель чрезвычайки, еврей, в центре группы сидит в краденой шубе и боярской меховой шапке.

12. Рядом с ним Яковлев-Демидов, украинский эсер, необыкновенный по своей жестокости и фанатизму

13. Лашкевич, украинец, довольно интеллигентный, свирепый фанатик, из породы «бесов» Достоевского. Организатор красного террора.

14. Лившиц, еврей-ремесленник с Подола, наводнивший Киев в первые дни большевиков призывами к убийствам и теснению буржуев. Свирепый мститель, еврейский националист школы Троцкого.

15. Дехтяренко, русский, второй председатель чека после Сорина. Герой романа с Толмачевой. Статист революции, не имевший собственного творчества, но собиравшийся, по его словам, «сгореть на костре революции». Впоследствии деятель ГПУ в Киеве.

Пять лиц мне неизвестны, их фамилии забыл. В верхнем ряду над Максимовым видна голова женщины в белой папаше. Кто она, не знаю, но едва ли это Роза, на которую мне указывали.

В этой группе не хватает Валлера-Бальфосова и будущего председателя Украинской Республики Любченко. Нет также студента Пахромовича, казнившего своего учителя профессора Флоринского.

Глядя на этот снимок, не скажете, что это преступники, каких не видал мир. Подумайте только: 18 человек награбили 80 миллионов золота, убили свыше 500 человек в чека, 300 человек в Куреневке и держали в трепете миллионное население города. И это были *обыкновенные* люди. Только некоторые еврейские юноши имели черты вырождения.

Правой рукой Сорина был заведующий хранилищем Каган. Ничтожная личность еврейского типа с оттопыренными ушами, почти юноша.

Вся компания жила со своими девками на положении коммуны, в общей квартире, сильно охраняемой красноармейцами батальона чека. Вели они жизнь разгульную и распутную. Устраивали попойки и оргии. Имеются свидетельские показания о том, как однажды Сорин должен был принять посетительницу с письмом от влиятельного лица. Он принял ее в зале, где на сцене фигурировали две голые женщины. Вино лилось рекой, на столе было шампанское, закуски. Здесь же были проститутки. Жена Михайлова была, например, для всеобщего употребления. Верхи коммунистов, а особенно чекисты, быстро усваивали нравы нездоровых слоев старого дореволюционного общества. Теперь мир проституток обслуживал их. Перед ними гнули спину официанты, шоферы. Чекисты разъезжали на автомобилях. По ночам в пьяном виде они поднимали бессмысленную стрельбу на улицах. Безделье, веселье, гульба и всюду кровь. Внешний шик Михайлова мешался с аскетической простотой Шварцмана. Когда я исследовал квартиры чекистов после их ухода, всюду был разгром. Они, видимо, мало ценили предметы роскоши и искусства, хотя наволокли их в свои помещения достаточно. Среди коммунистов было много евреек-консерваторок. Всюду, где появлялась такая Берта, сейчас же появлялся и рояль Блютнера, реквизированный у русской буржуазии.

На службе в чека соблюдалась высокая дисциплина. Дома это была компания близких друзей. Но такую жизнь вели лишь верхи чрезвычайек. Состав комиссаров и следователей жил поодиночке на реквизируемых квартирах и в коммуны не допускался. Их точно учитывали, а потому они и грабили осторожно. Следователи получали по 2000 рублей в месяц, что по тому времени было немного.

Были и предостерегающие надписи: «Кто сюда войдет – будет убит».

Большую роль евреев-мстителей играли два рабочих с Подола – Шварцман и Лившиц. Оба свирепые, необразованные, типа ремесленников. Это были старые деятели социалистического Бунда, а потом Коммунистической партии. Они тупо и убежденно следовали девизам революции и думали, что делают свое дело честно. При вторжении

большевиков Лившиц выступил со свирепой прокламацией, в которой призывал к убийствам.

Характерна была семья Гониотских, евреев из Слободки. Их было четыре брата. Первый служил в чека под фамилией Сутугин. Был членом коллегии и заведовал отделами. Второй, под фамилией Максимов, был следователь, выдающийся своей жестокостью. Проходившие через его допросы были все обречены на смерть. Он избивал свои жертвы и издевался над ними. Третий брат был фотографом чека. Четвертый брат был комиссаром городского театра. Революция кормила четырех братьев. Сутугин и Максимов, кажется, были студентами. Эта семья произвела страшное опустошение среди киевской интеллигенции. Видным деятелем чека был приехавший вместе с Сориным из Харькова студент-юрист 2-го курса Рубинштейн. Это был самый образованный из чекистов. Он руководил красным террором, был необычайно развратен – хотя болел сифилисом, – всегда посещал проститутку. У одной из таких дам полусвета он встретился с одним профессором, который отозвался о нем, как о человеке крупном.

Странной личностью был заведующий хозяйством Михайловский, который прошел через мое исследование. Этот человек служил образцом того, как во время революции самые обыкновенные, ничем не замечательные люди выступают иногда в крупных ролях. Михайловский был офицером военного времени с довольно темным прошлым. Он, по видимому, служил в каком-то кавалерийском полку, хотя настоящим офицером, может быть, и не был. Высокого роста, худощавый, он не имел никаких внешних черт чекиста. Он объяснил, что его роль заведующего хозяйством ничего преступного в себе не заключала, ибо он ведь не расстреливал. Это был авантюрист, раньше служивший в гетманских войсках. Он шел туда, где платили деньги и где можно было чем-нибудь пожить. С приходом Петлюры он попадает к нему. Когда после Петлюры входили большевики, из их приверженцев образовался какой-то отряд по охране города, который и приняли к себе большевики. Оттуда Михайловский был откомандирован в чека. Лич-



ность эта была совершенно беспринципная. Когда его арестовали при добровольцах, контрразведка его выпустила. Вторично он был арестован при мне в контрразведке, куда его привел офицер Добровольческой армии, указав на него как на коммуниста. Он был настолько беспечен, что не потрудился даже уйти с большевиками.

Рабочий Савчук – многосемейный человек, худощавый, несколько изможденный, был суров, туп и отличался фанатизмом. Был нечист и на руку. В июне он выкинул довольно глупую попытку грабежа. Имея смутное понятие о порядках Государственного банка, который захватили большевики, но который продолжал работать со старыми чиновниками, он однажды пришел туда за получением 200 тысяч рублей «для чека», а потом довольно наивно заявил, что их не получил. Но старые чиновники банка делали свое дело осторожно, и Савчук был пойман с поличным. Чека и коммунисты, однако, это ему в вину не поставили, и Савчук до конца остался на службе в чека.

В конце мая положение Сорина сильно пошатнулось. Стала крепнуть большевистская власть. Сорина стал теснить Лацис, который терпеть не мог евреев. Сорин, как умный человек, сообразил, что ему выгоднее уехать, и ликвидировал свою деятельность с честью. Он организовал великолепный поезд, забрал с собою награбленное и своих близких товарищей и целым составом вновь сформированного чека поехал открывать свою работу в Симферополь.

На место Сорина председателем губчека был назначен Дехтеренко. Деятельность ГЧК вступила из «еврейской» фазы в «кровавую». Не надо думать, что число еврейских элементов в ней уменьшилось. Только фирма была удобнее. Дехтеренко был русский, и рабочие на Печерске получили подачку.

С этого момента выступает на сцену очень крупная фигура чекиста Валлер. Картина деятельности этого человека очень типична и для этого времени, и для самого учреждения чека.

Помощник присяжного поверенного из Кишинева, молдаванин, еще молодой человек, 32 лет, Михаил Бальфосов фигурировал под

кликлой Валлера. И это характерно: какой-то сильный в грамоте чекист умудрился прочитать неразборчивую подпись «Бальфосов» как «Валлер», и тот этим псевдонимом и воспользовался. Он окончил Одесский университет и был единственным экземпляром чекиста с высшим образованием. Надо сказать, что вся история чека в значительной мере изложена мною на основании показаний Валлера, и подтвердились эти сведения всеми другими допрошенными свидетелями и чекистами. Валлер был очень умный человек и не всегда лгал, а истину обращал в свою пользу. Он презирал «большевистскую сволочь», но утверждал, что другого пути теперь нет. И он верно схватывал положение и верно оценил силу добровольцев и контрреволюционеров.

Думается мне, что это он снят в группе между Максимовым (№ 3) и Михайловым (№ 4). Но снимок не слишком похож на знакомый мне оригинал. Во всяком случае, есть много общего. Валлер, назвав мне всех членов группы, себя не опознал.

На войне Валлер был прапорщиком запаса. Потом попал в гетманские войска офицером. Судьба смешала карты, и Валлер сделался чекистом. Как это произошло, понять не так легко. Валлер умышленно путает свое прошлое и дает ему выгодную окраску. Хитрый, без всякой морали и стойких убеждений, находчивый, он жонглирует людьми, как пешками. Низкого роста, коренастый, приземистый, с молдаванским типом лица, с большими усами, он прикрывал свое выразительное лицо темными очками. Говорил умно, хорошо. Выслушивал мнения противников и часто театрально позировал. Много говорил и на все смотрел с цинизмом. Правильно оценивал как большевиков, так и добровольцев. По существу, он не был большевиком и тем менее коммунистом. Он характеризовал чекистов как «мерзавцев». Дал обширные, осторожные и умные показания, в которых путал факты и события так, как это ему было выгодно. Система его защиты была необыкновенно цельная. Чувствовалось, что имеешь дело с хорошим юристом-практиком, знакомым с психологией следователей и судей. Он на суде призывал добровольцев не идти против большевиков, которых они все

равно не победят, а идти с ними, чтобы заставить их эволюционировать. Попал он в чека еще в феврале, в первые дни ее возникновения; он шел на это потому, что там был будто бы его двоюродный брат Ордынский-Баратынский как следователь. Это оказалось враньем: Баратынский, которого я исследовал, и не думал быть Валлеру братом. Последний – убогая личность психопатического типа. Лгал Валлер и о том, что он поступил в чека для того, чтобы спасти людей. Вся его деятельность есть сплошная и беспощадная гибель людей, против которых он не мог иметь ни личной, ни социальной злобы. Я думаю, что Валлер поступил в чека, физиономия которой тогда еще не была выявлена, просто из выгоды, как личный карьерист, без всякой идеи и цели. В чека его долгое время держали в черном теле, да в последнее время, жаловался мне Валлер, коммунисты считали его чужим. По-немногу Валлер увлекся своим делом и в дальнейшем участвовал во всех кровавых преступлениях чека.

В первое время он кое-кому оказывал мелкие протекции и услуги в чека и впоследствии пользовался этим в своей защите. Он скоро усвоил себе метод «страховки».

В мае он был назначен заведующим юридическим отделом и таким образом попал в члены коллегии, устанавливавшей смертные приговоры. Ему были подчинены следователи. Он задумал провести ряд усовершенствований, написал несколько инструкций, думая ввести порядок в дело допроса, и ввел ряд формальностей. Ввел даже дежурства следователей. Валлер и сам не отрицает, что все это было ни к чему. Это он охарактеризовал период Сорина как еврейский. Видя всю беспорядочность работы следователей, набранных из низов, он задумал привлечь к этой работе студентов-юристов. Он обратился к комиссару университета Мицкуну, который и предложил студентам занять эти места. Группа студентов во главе с честолюбцем Пахромовичем, бывшим тогда председателем союза студентов, отозвалась на этот призыв и в числе около шести человек явилась в чека как раз в то время, когда там проводился красный террор и осуждался на смерть учитель Пахромовича профессор

Флоринский. Пахромович, которого я также допрашивал, был элегантный, проницательный честолюбец, с начала революции взявший демагогический курс и увлекший за собой студенчество. Он раньше был прилежный и хороший студент и давно обратил на себя внимание профессора Флоринского. Эгоцентризм и честолюбие побудили Пахромовича искать популярности, и он добился высшего поста председателя объединенных студенческих организаций. Он также не был идейным коммунистом. Мицкун, как человек умный и проницательный, наметил его в чекисты. «Должны были идти туда идейные и лучшие студенты».

И Пахромовичу пришлось перейти от слов к делу. В данных мне показаниях Пахромович говорил, что он ужаснулся, когда вместе с товарищами очутился в чека. Действительность предстала совсем в другом свете, чем революционные мечты, и студенты стали всеми правдами и неправдами стремиться уйти оттуда. Однако это было не так легко. Валлер здесь выгораживает себя и путает. Пахромович говорил, что он думал о «спасении» жертв чека. Оба эти крупные чекисты аттестуют чека как место гнусное и страшное и вовсе не пытаются оправдать ее деятельность. Им трудно было объяснить свое участие в этом деле. Оба были чужды разгульных оргий Сорина и в тесное общение с верхами чека не входили. Тем более интересен диалог этих лиц. Валлер говорил, что он придает участию студентов в чека большое значение. Они лучше сумеют разобраться в виновности, чем безграмотные рабочие Арсенала. Когда же студенты – к их чести – сбежали из чека, Валлер с пафосом говорил: «Ну что же! Я хотел упорядочить дело, а если лучшие интеллигентные люди не идут в следователи, придется набрать из рабочих». Он забывал, что бойня, как ее ни упорядочивай и сколько ни вводи в нее гуманности... все же останется бойней. В чека и раньше было несколько студентов-евреев.

Валлер, как заведующий юридическим отделом, держал в своих руках ключ красного террора. Если он даже не одобрял его, он ничего не мог сделать, чтобы смягчить его, ибо революционная машина давила жизнь во всех ее формах и не знала милости. Вместе с Савчуком он

должен был поставить на убой определенное число людей и сделать отбор: спасая одних, он губил других. Нигде не видно смягчающего влияния этой личности на деятельность чека. При своих посещениях тюрем Валлер нагонял на заключенных трепет своими угрозами и парадировал там, как настоящий большевик. Валлеру были поручены такие ответственные дела, как разбор ритуальной литературы, отобранной у Розмитальского. Это очень характерно: чекисты, несмотря на свой еврейский фанатизм, были слишком безграмотны и поручили разобраться в этом материале христианину.

С отъездом Сорина этот материал остался забытым. Валлеру будто бы Сорин поручил подготовить арест 26 священников. Он не успел выполнить этого не по своей вине, а потому, что к этому времени назрели антисемитические течения среди рабочих на Печерске.

Вначале в чека набирался всякий сброд. Но к лету пошла чистка, и стали требовать, чтобы членами коллегии были только партийные коммунисты. Валлер утверждает, что он не был ни членом ЦИК, ни членом коллегии чека. Это ложь. По своей должности заведующего юридическим отделом, а впоследствии «наркомюста», он был членом коллегии и подписывал все смертные приговоры, что и установила Комиссия.

В дальнейшем исследовании дела Валлера раскрылось очень интересное сплетение интриг и нитей, которые опутывают лиц из высших слоев старого русского общества и связывают их с чекистами и деятелями революции. В этом деле промелькнула личность светлейшей княгини Витгенштейн, сестры известного кадета Н-ва. Во время войны она, по показаниям Валлера и барона П., служила в контрразведке. Во время Петлюры она была замешана в каком-то шпионаже. Достоверно известно, что она имела аудиенцию у Раковского и вела с ним какие-то дела. Раковский был у нее с визитом, и ему очень льстило, что он говорил со светлейшей княгиней на чистом французском языке. Говорили даже, что Раковский привез ей цветы. Эта женщина путалась в политические и революционные интриги из-за денег. А она была дочь министра Императорской России времен Александра II.

Во время службы в чека Валлер устроил ей какие-то документы и способствовал ее отъезду в Румынию. На допросе в суде он обратил эту услугу в спасение.

Вместе с княгиней фигурируют два молодых барона П., отец которых, полковник Добровольческой армии, оказывается в каких-то отношениях с женою чекиста Валлера. Тут что-то путается вокруг чека. Оба брата жили безыдейно, ни в чем политическом замешаны не были, но были знакомы со светлейшей княгиней. Валлер предлагал даже одному из братьев служить в чека.

Когда был объявлен красный террор и им будто бы грозила опасность, что по существу неверно, ибо во время красного террора не хватили новых лиц, а уничтожали уже арестованных, – то Валлер будто бы предупредил семью барона П.

Молодой П. в разговоре со мною не отрицал, что какое-то содействие со стороны Валлера было. Кому служила княгиня Витгенштейн, неизвестно, но сомнительно, чтобы она служила России. Многие говорят за то, что она сносилась с Австрией по делам Украины. Валлер на суде выставил себя спасителем княгини Витгенштейн и молодых баронов П. А старый барон выступал на суде как свидетель в пользу Валлера.

Конец Валлера представляет изумительную сцену революции. Еще в сентябре он был арестован добровольческой контрразведкой, и к этому времени относится мое изучение его и мои допросы. При вторжении большевиков 1 октября на моих глазах, так как я был в рядах офицерской роты, которая вела бой у тюрьмы, тюрьма была оставлена, тюремная охрана отошла, а арестованные разбежались, в том числе и Валлер.

После того как мы отбили большевиков от Киева, исчезли все чекисты и документы следственного о них производства в контрразведке. Валлера вторично арестовали. Он оказался скрывавшимся у полковника Добрармии барона П., и его нашли спрятанным под кушеткою. Я вновь представил, уже в Особый отдел, смертные приговоры чека, подписанные Валлером, и дело о нем было закончено. Но его упорно не ставили под суд. Подозревали, что была дана крупная взятка и пу-

щены в ход другие пружины, и это кажется вероятным, потому что однажды начальник Особого отдела полковник Сульженков заявил мне, что они только тогда могут поставить дело Валлера на военно-полевой суд, когда я, как член Комиссии, соглашусь выступить на суде в роли свидетеля-осведомителя. Я согласился. Оказывается, что даже оригиналов им подписанных смертных приговоров было недостаточно для предания чекиста суду. Суд над Валлером состоялся в середине ноября, когда добровольцы были уже на отлете. Какие-то тайные пружины действовали, парализуя власть. Когда я сидел в военно-окружном суде по делу Валлера, глядя на идиллию любовного отношения к подсудимому, я думал: «Какой контраст: мы – и они, чекисты!». Гуманная и правовая форма противопоставилась разбою и бесправию. Но эта мораль не годилась для суда над чекистами. У судей-офицеров не было ни тени злобы, ни следа раздражения. Четыре члена суда были боевые офицеры Царской армии, судившие теперь убийц своих товарищей. Полная законность и соблюдение всех форм Императорской России. Внимательно выслушивали подсудимого.

Перед открытием заседания суда в коридоре наблюдалась совершенно мирная картина: здесь стоял и свободно расхаживал караул из государственной стражи в старой форме дореволюционных городских. Величайший и опаснейший преступник стоял свободно, одетый в штатскую пиджачную пару. Около него стояла его жена, молодая, довольно красивая женщина. Тут же запросто гуляли и разговаривали семь лжесвидетелей защиты, выдвинутые большевиками. Было совсем не похоже на то, что судят убийцу, на совести которого лежит свыше пятисот смертных приговоров, им подписанных. Никто не мешал свидетелям разговаривать с подсудимым. Стража обращалась с Валлером деликатно. Все свидетели были со стороны защиты. Со стороны обвинения был я один. Время было тяжелое: добровольцы висели на волоске и никто не решался выступить со стороны обвинения, боясь расправы большевиков. Непонятно было, зачем понадобились эти свидетели: документы были неопровержимы, и виновность чекиста доказана абсолютно.

Ввели Валлера. Я знал, что мне нелегко будет выполнить свой долг и что за всякое слово придется впоследствии расплачиваться. Я предстал перед судом уже не в качестве свидетеля, а в роли обвинителя, или, как характеризовал ее Валлер, «осведомителя». Мне пришлось защищать затоптанную и погибающую Россию. К Валлеру у меня не было ни малейшей злобы, но в характеристике его губительской деятельности я был беспощаден. После суда судьи с удивлением говорили мне: «Как в такое время вы решились так открыто и смело говорить?» Один из лжесвидетелей, поляк-студент, секретарь грузинского консульства, несмотря на то что я говорил против него, подошел ко мне и выразил мне свое уважение по поводу того, что нашелся хоть один человек, который решился смело говорить в защиту Родины. Вот какое было подлое время, и вот как низко пали люди.

Мне пришлось изложить историю чека и роль Валлера так, как она прошла в нашей Комиссии. Валлер не ожидал, что я выступлю на суде, и наивно думал, что обошел меня, как и других. Он знал, что в контрразведке весь материал затушеван. Я говорил совершенно спокойно, приводя совершенно неопровержимые доказательства. Вся свою защиту Валлер строил на том, что он будто бы не был членом коллегии, но его подписи на смертных приговорах это опровергли. Валлер заявил суду, что он спас инженера Павловского. Я дал справку: инженер Павловский расстрелян тогда-то.

Второй факт, который привел Валлер, не ожидая, что он мне в точности известен, было будто бы спасение им семьи Стасюка. Я развернул перед судом мрачную сцену этого убийства. Валлер приписывал себе спасение 26 священников. Это было опровергнуто. Но Валлер выкинул очень ловкий номер, подготовленный им заранее. Он предъявил суду открытку митрополита Антония, который чисто по-христиански ответил ему на просьбу о ходатайстве за него. В этой открытке митрополит, не касаясь истории 26 священников, подтвердил, что от одного из спасенных священников он получил о нем благоприятный отзыв. Это спасло Валлера, но погубило Россию, ибо впоследствии Валлер был одним из крупных деятелей большевизма.



Потянулась плеяда лжесвидетелей. То, что я здесь слышал, превосходит все границы лжи. Во фраке и белом галстуке вылощенный поляк, присяжный поверенный Пиотровский, ставший дельцом при большевиках, хитро сплетал факты с небылицами. По данным Комиссии, именно этот адвокат взял от жены Павловского выкуп, несмотря на который Павловский был расстрелян.

Пред судом предстал полковник П. Он аттестовал Валлера, «которого не знал», как вполне порядочного человека и подтвердил, что тот спас двух его сыновей. Такой симбиоз кровавого чекиста и полковника Добровольческой армии был тогда мне совершенно непонятен. Секрет был найден потом: женщина в купе полковника П. на станции Бирзула оказалась женой Валлера.

Уже впоследствии в эмиграции я встретился с одним из сыновей полковника П. Он подтвердил свою встречу с Валлером, но точно не мог сказать, действительно ли его спас Валлер. Отец его будто бы из чувства благодарности не мог покинуть г-жу Валлер, и она стояла ему много денег. И только через три года она получила известие, что муж ее находится в Киеве и там в силе у большевиков. Достоянная супруга стала к нему собираться.

Выступление последнего свидетеля на суде над Валлером было сногсшибательно. Появился офицер кавказского типа в погонах – личный адъютант генерала Габаева, коменданта города Киева. Он совершенно точно рассказал факт, мне неизвестный и выдуманный. Будто бы Валлер присутствовал при произведенном у него обыске и пощадил его, скрыв обнаруженный им револьвер и письма. Все чувствовали, что факт вымышлен, но он был удостоверен на суде. Какие же нити связывали Валлера с адъютантом коменданта? Давно ходили слухи, что окружающая генерала, который был сам грузин, организация грузин имела связи с большевиками.

Валлер мастерски сказал свою защитительную речь. Он с пафосом говорил, что бороться с большевиками оружием нельзя, а что надо идти другим путем, идя к ним на службу в чека. Он был отчасти прав:

бороться с большевиками без лозунгов, как делала это Добровольческая армия, не имело смысла, но отсюда не следовало, что всем надо было превратиться в чекистов.

В ожидании приговора все стояли в коридоре. Была глубокая ночь. Я стоял одиноко. Жена Валлера и вся группа свидетелей окружила его и ободряла. Тут же, поставив оружие к стене, стояли и бродили стражники. Валлер рыдал по-женски и держал себя без всякого достоинства, выкликая: «Пропал я!»

Когда он губил сотни жизней, ни один мускул не дрогнул на его лице, теперь же, когда его жизнь висела на волоске, он впал в отчаяние. Все бросились его утешать, а конвойный, поставив винтовку в сторону, отпаивал его водой.

Так он выл и метался целый час. Жена его подскочила ко мне и стала меня упрекать, что я погубил его своими показаниями. Вся группа свидетелей подготавливала себе протекцию у большевиков в будущем, а я своими показаниями писал себе смертный приговор.

После полуночи суд вынес приговор – двадцать лет каторги. Это было равносильно освобождению: со дня на день добровольцы уйдут, а Валлер будет выпущен на свободу, что и случилось. Все воспряли духом. Картина была умирительна.

На дворе завывала вьюга. По улицам стреляли и грабили. Большинство присутствовавших решило остаться в доме до утра. Одного меня охватила злоба и негодование. Я вышел на улицу, держа в руке револьвер. Кругом все словно вымерло, и только звери в облике людском вылезли из своих нор, чуя добычу в этой оргии сатаны над Русской землей. На душе у меня было чернее ночи. Кругом был мрак и гибель. Судьба России была решена.

Я не хочу бросать тень на генерала, впоследствии скончавшегося в лагере непредрежденцев в эмиграции, и не знаю, был ли он пассивным орудием окружавших его грузин, но что он не отдавал себе отчета в положении – несомненно. В комиссию поступило заявление, что за освобождение Валлера уплачен миллион. Что генерал его не получил, для

меня не подлежит никакому сомнению. Но это показывает, какими нитями были оплетены все учреждения и деятели того времени.

Судьба играет людьми. На моем психофильме памяти воскресает тот же образ генерала в облике подполковника, командира батальона Орловского полка на позициях впереди Ляояна, у Анпина, в первые дни ляоянских боев. Красивый, статный подполковник. Начальник авангарда князь Орбельяни, при котором я тогда состоял, объезжает со мною передовые линии, и командир батальона ему горделиво говорит, что он удержится на своей позиции и в случае наступления японцев позиции не сдаст.

В ночь на 13 августа разразился жестокий бой, и я был послан при сотне наших всадников Кавказской конной бригады в ущелье для поддержки батальона Орловского полка. Батальон не выдержал, дрогнул и в панике оставил позицию. Сильно врезалась в мою память эта грандиозная картина остановки бегущего батальона, путь которому был пресечен кавалерийским полком. Под страшным перекрестным огнем были построены пришедшие в смятение ряды, и командир батальона повел их вновь в бой. Тогда психика его была тверда. Существовала еще Великая Россия.

Будут ли когда-нибудь судить чекистов? Опыт показал, что приложить к чекистам нормы правового суда невозможно. Практически возникал вопрос: кто является ответственным за расстрелы. Мы говорили о палачах-чекистах. Но ведь это, как и обыкновенные палачи, только исполнители. А приговор выносят коллегии, в которых личная ответственность прячется за решение коллектива.

Сорин, узнав о недовольстве ЦИК еврейским направлением чека, даже расстрелял двух евреев Зильберштейнов, с которыми не поладил в дележе добычи. С уходом Сорина деятельность чека не улучшилась, а стала еще свирепее. В соринский период в течение трех с половиной месяцев в чека было убито около двухсот человек, а за три недели власти Дехтеренко и Савчука – триста.

С этого периода начинается падение престижа ГЧК и возвышается вучека, во главе которой стоит Лацис. Лацис уже раньше стремил-

ся подчинить себе Сорина, но тот был слишком своенравен, дерзок и не подчинился.

На этом фоне выдвигается одна из самых страшных фигур чека – любимец демократической Европы, чествующей его на Генуэзской конференции, – комендант Угаров. Этот выродок человечества поистине был ужасен. Русский по национальности, он в своей кровожадности затмил все преступления еврейских чекистов. До революции он был портняжным подмастерьем в Воронеже. Ему около 25 лет. У него курчавые волосы и на диво нежный цвет лица. Слегка угрюмого нрава. По природе – настоящий зверь. Он сам убивал людей и в то же время был теоретиком, поэтом тюремного дела и людской бойни. Он принял комендатуру по уходе Феермана, у которого прошел недурную школу. Мало говорил, но много делал. Любил порядок и завел укладку заживо убиваемых рядами и ярусами, а также омовение трупов от крови из брандспойта. Тюремное дело он организовал с любовью. Был совершенно непреклонен и неподкупен. Он жал буржуев вовсю и искренне ненавидел их своим сердцем подмастерья. Эта личность оставила наиболее сильный след в памяти арестованных. Один вид этого человека наводил ужас.

Угаров с женою и Савчук с семьей жили в помещении чека на Садовой, № 5. Окна их комнат выходили во двор против сарая, где помещалась бойня. На роскошных кроватях богачей Бродских нежались тела супругов, и снились им сладкие революционные сны под звуки выстрелов. Тут же угощались они шампанским и закусками.

Я видел эти неубранные комнаты четы Угаровых. Мадам Угарова едва ли понимала толк в предоставленном ей комфорте. Рассуждения не были доступны первобытному уму Угарова. Да и ненависть его была больше привита освобожденцами, чем была продуктом его ума. В своем роде Угаров был талантливым администратором.

Исследовал я еще чекиста еврея Рабичева. Это был самый обыкновенный человек, который упорно отрицал свою виновность и тождественность с чекистом той же фамилии. Такой прием защиты был довольно распространен. Не надо, однако, думать, что у всех чекистов

были окончательно погашены все человеческие чувства. Ко мне в лабораторию повадился ходить чекист-матрос, находившийся на излечении в госпитале. Фамилии его я так и не узнал. Это был чистый разбойник. Сначала он выпрашивал у меня кокаин, но, когда убедился, что у меня такового нет, он просто привязался ко мне. Это были изумительные беседы. Я по целым часам сидел за микроскопом, а он усаживался недалеко от меня, и мы дружески разговаривали. Это дитя природы, слушая мою спокойную речь, разверзало передо мной бездну своей души, и под обликом бандита раскрылась добрая психика русского человека. Он как-то раз махнул рукою и сказал: «Теперь уж все равно! Погрели мы довольно. Возврата нет! Прошлого не вернешь!».

Он не исповедовался подробно в убийствах, но было видно, что не по душе ему была кровь, опутавшая его существование. Кокаин и забвение – вот чего искала эта первобытная душа. Моя лабораторная сестра Соломонова не раз меня предупреждала: «Как не боитесь вы так говорить с этим человеком!» А я сказал ему много правды.

Другой чекист из московских Бутырок, еврей Янковский, часто торчал около меня в лаборатории, когда я работал, и рассказывал мне, как они расстреливали буржуев. И даже ноты сожаления слышались в его голосе. Он же первый рассказал мне о войсках Деникина, на фронте которого он был, и говорил мне, что они хорошо вооружены и что техника у них прекрасная. Этот чекист тоже был привязчив и любил меня, потому что в госпитале мы сделали ему операцию сшивания нерва. К этому времени относится роман Дехтеренко с Толмачевой.

Причудливыми нитями оказываются связанными хам-чекист и «женщина из общества», претендующая на звание аристократки. Компания чекистов и группа бывших титулованных дворян и аристократов. Революция родит и такие диссонансы, и всех вместе влечет на дно глубокого и безнадежного падения.

Героиня романа – Варвара Алексеевна Толмачева – жена предводителя дворянства и дочь управляющего Государственным банком. Ей лет около тридцати. Когда я видел ее и допрашивал в тюрьме, она была не-

интересна как женщина, скорее отвратительна. С худощавым испитым лицом и с тщедушной фигуркой. Бойко и хитро запутывая свои показания, она написала свою исповедь, похожую на авантюрный роман, на пятнадцати листах, заполнив их изворотливой ложью и фантастическими узорами похождения недюжинной авантюристки. Но и в тюрьме она проявляла претензии на женственность и даже кокетство. На первом же допросе она буквально бомбардировала меня именами своих петербургских знакомых и связями, называя по имени и отчеству бывших сильных мира и пытаясь импонировать своей близостью к ним. Она много врала, но, видимо, была знакома с петербургским светом.

Ко времени нашествия большевиков на Киев компания Толмачевой состояла из небольшого числа сплоченных дружбою лиц. Здесь фигурировали «камергер» Ч., ныне под честным обликом проживающий в эмиграции, барон Т., граф Б. и бывший губернатор Ш. Среди всеобщего разорения эта компания жила беспечно, правя пир во время чумы, ловя моменты, пьянствуя в своем кругу. Они проводили время праздно, и точно не выяснено, откуда они доставали средства. Докатилась, однако, волна революции и до них. Какая-то организация вздумала реквизировать квартиру Толмачевой на Крещатике, № 25. Бойкая авантюристка, однако, не испугалась. Беспечно, смело она отправилась в чека, добилась свидания с председателем Дехтеренко и попыталась опутать его своими чарами. Замечательная черточка революции: хам, воюя с аристократами, поддается их обаянию. Самолюбие солдата Дехтеренко пощекотало то, что аристократка просит его милости. На еврея бы это не подействовало. Дехтеренко размяк и стал позировать перед авантюристкой. Ей этого только и надо было. Своеобразно умная женщина закрутила председателя чека и одурачила неотесанного хама.

Игра, однако, завязалась опасная: Толмачева добилась права звонить по телефону Дехтеренко, и нить романа была завязана. Она вернулась домой торжествующей. Квартира была забронирована от реквизиции, и кутежи «бывших людей» шли бурно и беззаботно. Бывшим

губернаторам и камергерам мало было дела до феерической картины всеобщей гибели и свержения старого режима. Найдут они себе место и в новой жизни! Под опекою чекиста они чувствовали себя в безопасности и мало печалились о будущем.

Однажды вся компания сидела вечером у Толмачевой. Подпили здорово, развеселились, и Толмачева вдруг вызвалась «выкинуть номер», пошутить с огнем. Позвонила по телефону Дехтеренко. Завязался телефонный флирт, который кончился тем, что Дехтеренко однажды явился к ней. Толмачева приняла его, играя с ним, как кошка с мышью, а хам гордился тем, что он в гостях у аристократки, роль которой Толмачева успешно разыгрывала. Компания немного струсила, но скоро привыкла. Через несколько дней компания опять пьянствовала у Толмачевой. Много выпили. Авантюристка расхвасталась и опять вызвалась «выкинуть колено». Не успела компания понять, в чем дело, как разыгралась сцена, достойная пера Достоевского. Сцена была невероятно дикая, смелая до безобразия и опасная. В душевном надрыве звучали и вызов, и дерзкий юмор, беззаботность и жуткий страх.

Вызвав по телефону Дехтеренко, Толмачева, слегка охмелевшая, стала говорить ему невозможные вещи. Она дерзко дразнила его, называла хамом... Присутствовавшие остолбенели, а Толмачева зарывалась все дальше, пока расвирепевший Дехтеренко не бросил трубку телефона.

Толмачева опомнилась. Но было поздно. Теперь она поняла, что кроме расстрела ей ждать нечего. Гости съежились и молча, хмуро разошлись, спасая свою шкуру.

Наутро, проспавшись, Толмачева бросилась к телефону. Чисто женское чутье подсказало ей путь к спасению. Ответа нет. Она заволновалась. Бросилась в чека – не пускают. Три дня металась она, как безумная, охваченная тревогой и страхом. Бродила по городу и дожидалась на улице Дехтеренко. Бросившись к нему, она умоляла простить, каялась, ласкалась, просила только дать ей свидание. И упросила. Дехтеренко пришел к ней, и она бурно отдалась ему из страха и жажды спасения. Так завязался роман падшей аристократки с неотесанным солдатом из чека.

Толмачева гордилась связью, а Дехтеренке льстило попробовать барского тела. Он часто говорил своей любовнице, что по-настоящему ее, аристократку, следует расстрелять, а он-де ее щадит и любит. Толмачева же, как ловкая особа, использовала эту связь вовсю. Ей льстило, что всесильная власть чека – у ее ног.

Отшатнувшиеся в минуту опасности друзья снова потянулись на огонек авантюристки, и любовники ее по очереди делили ложе с чекистом. У нее на квартире поселились ее обожатели, и она познакомила их с Дехтеренко. Квартиру ее уже не трогали, и блага она получала от председателя чека не только для себя, но и для своей компании. Под защитой чека компания бывших людей продолжала жить беспечно, без цели, без идеалов и без морали.

Однако бурный образ жизни Толмачевой обратил на себя внимание комиссаров милиции, которые однажды предъявили ей ультиматум убраться. Она вызвала Дехтеренко, и тот выгнал комиссаров вон. Дело дошло до драки и бурного скандала, но Толмачева победила даже милицию. Она уже бравировала своей связью. Она обеспечила охранными листами своих друзей, и первым через нее получил охранный лист от чека бывший губернатор Ш. Можно себе представить, какого мнения были чекисты о представителях старого режима, судя по такому типу. Он в роли сутенера пользовался протекцией чекиста! Перепали блага и графу Б., и мнимому камергеру Ч. Компания была достойна своей председательницы.

Толмачева была наверху благополучия. Но этого ей было мало. И вот что она надумала. Прослышав про ее связь и силу, к ней стали обращаться с просьбами: слаб человек и все человеческое ему присуще. Если надо поклониться чекисту – поклонимся.

Попробовала как-то Толмачева попросить Дехтеренку за кого-то из обреченных. И помогло. Тогда авантюристка стала брать деньги за выкуп обреченных, а камергер, губернатор и граф сделали ее поставщиками. К чести Дехтеренко надо сказать, что хам оказался порядочнее аристократки: расследование не установило, чтобы Дехтеренко



получал от нее свою долю. Он пользовался ее телом «по любви» и по любви же исполнял ее просьбы.

С этого времени начинается позорнейший период деятельности шайки Толмачевой. Бывшие графы, камергеры – на службе чека, в роли ее мелких агентов, выслеживающих своих знакомых, которых можно и стоит ограбить. Революция создает и такие положения. Ренегаты-чиновники и аристократы на службе революции есть всегда. Это нарост революции.

Толмачева получает от поляков взятку в 120 тысяч рублей за спасение четырех ксендзов, хотя сомнительно, грозила ли им действительная опасность. Она берет деньги даже с заключенных, хлопоты о которых не удавались и которых все же расстреливали.

Шайка вырождающихся аристократов промышляла и иначе. Следствие установило, что Толмачева сделала агенткой чека и действовала через свою компанию. Я сам допрашивал ее знакомых, которые показали, что однажды она дала даме совет зашить золотые вещи в ковер. Через два дня пришли чекисты и сразу направились к потайному месту.

На допросе Толмачева пускалась на многие хитрости. Как и остальные, она утверждала, что кого-то спасала, и даже связь свою с Дехтеренко объясняла самоотвержением и жертвой, имея цель спасти людей.

Она таинственно сообщила мне, что в России имела связь с очень высоким лицом, но это был такой вздор, что ее выходка сразу была разгадана. Толмачева была больна венерической болезнью. Лишенная рамки, в которую одеваются женщины, она была отталкивающе противна. Но, вероятно, умела нравиться на подмостке театра жизни. Толмачева торжественно объявила, что она беременна, думая, что это спасет ее от расстрела. Но добровольцы ее и без этого не расстреляли бы.

Дехтеренко среди лета был смещен с поста председателя ГЧК и отправлен на фронт.

Первого октября, во время вторжения большевиков в Киев, двери тюрьмы были открыты и все заключенные разбежались. Исчезла и Толмачева, которая раньше была арестована контрразведкой, и больше в руки добровольцев не попала.

После занятия Киева большевиками Толмачева вернулась в Киев, где вновь сошлась с чекистом Дехтеренко, продолжавшим быть членом коллегии киевского отдела ГПУ. Вместе с Дехтеренко, гражданской женой которого она являлась по советским законам, она живет в Киеве, ни в чем не нуждаясь, и занимает прекрасную служебную квартиру своего мужа-чекиста. Вскоре после ухода добровольцев из Киева у Толмачевой родился сын, носящий фамилию Дехтеренко. Толмачева за время большевистского режима несколько раз подряд приезжала из Киева в Варшаву. Большевики снабдили ее заграничным паспортом на имя Варвары Дехтеренко, но в Варшаве она называла себя Толкачевой и проникла сравнительно легко в круги русской эмиграции. Во время своих поездок в Варшаву Толмачева встречалась с сомнительным русским эмигрантом Я. Только случайность помешала Толмачевой сделаться почетной гостьей на русском благотворительном балу, устроенном княгиней М. Также промелькнула Толмачева и на берегу Адриатики, где живет благополучно среди русской эмиграции и ее бывший собутыльник «камергер» Ч., не тревожимый местными властями.

В ГЧК выдвинулся Яковлев-Демидов, молодой человек, сравнительно более интеллигентный и более свирепый, чем другие. Не то бывший офицер, не то студент. Был левый эсер, потом ставший фанатиком большевиком. Это был тупой фанатик идейного толка, а такие всегда более опасны, чем простые жулики. Часто рассказывают про революционеров, что при всей своей жестокости они иногда бывают сентиментальны. У Яковлева где-то на окраине жила старушка-мать, и передавали о необыкновенно нежной любви к ней зверя-сына. Деятельность Яковлева была сильная, но не экспансивная, как у евреев. Он был более честен. ‘

Стоит остановиться на одном отрицательном типе, который играл в русской революции очень дурную роль. Это так называемый третий элемент, или земские служащие. К ним относился и значительный контингент врачей и, конечно, все фельдшера. Ультралиберальные раньше, с оттенком толстовщины, эти люди теперь подлаживались под большевиков. Такова была убогая личность популярного земского врача-

статистика Корчак-Чепурковского. Он был петлюровец в смысле украинства. Его сестра на его даче держала притон левых эсеров во главе с Михайличенко, который и был ликвидирован осенью 1919 года Особым отделом штаба Киевской области на большевистский лад. В том числе была ликвидирована и сестра Яковлева-Демидова. Это я опишу ниже, как характеристику деятельности контрразведки.

Рядом с крупными личностями в чека попадались и жалкие, слабые натуры. Такими были арестованные при добровольцах секретарь вучека. Иерусалимский и мнимый брат Валлера Ордынский (он же Баратынский). Иерусалимский был бледный, развинченный молодой человек, поразительно безвольный. Он убивал сам, хотя и тяготился убийствами. Не раз говорил, что когда придут добровольцы, он надеется спастись, «если первая волна его не захлестнет». Он говорил, что служба в чека была не хуже всякой другой. Он был мягок, женствен и все же был палачом. Ордынский же напоминал мне Ставрогина из «Бесов» Достоевского.

Другие две чрезвычайки, всеукраинская (вучека) и Особый отдел были творчеством латышского гения, как ГЧК была продуктом еврейской расы. Среди латышей царили тупость, жестокость и порядок. Было больше революционного фанатизма и ненависти. Кто был Лацис, тогда точно выяснить не удалось. Одни говорили, что он с университетским образованием и бывший педагог. Молчаливый, с твердой волей, с серьезным лицом. На фотографии я видел его с бородой. По описанию одного заключенного, он блондин очень интеллигентного вида, плотный, с окладистой бородой. Производил впечатление образованного и воспитанного человека. При обходе тюрьмы в камеры он не входил. Его секретарь производил впечатление аристократа. Когда появлялся этот секретарь – ходил он всегда с револьвером, – это значило, что предстоит обыск.

Однажды Лацис на Печерске сделал смотр заключенным. Вывели во двор всех. Мужчин на одну сторону, женщин на другую. Он торопил и требовал, чтобы поверку совершали бегом. Стояли, выстроенные в ряд. Им командовали: «Бегом по камерам!» На ходу их хлопали по затылку,

отсчитывая. Этому унижительному требованию первые заключенные подчинялись угодливо. Лацис стоял, окруженный свитой матросов и штатских. Когда очередь дошла до одного полковника, тот совершенно спокойно засунул руки в карманы и медленно прошел. Его не тронули.

Пожалуй, типична фигура матроса Алдохина, коменданта вучка. Наглый бандит, мясник революции, мститель низов. Он любил сам возить своих жертв в автомобиле на расстрел, и сам, забавляясь, их расстреливал. Бесшабашный, самодовольный, среднего роста, с зелеными прищуренными глазами; лицо толстое, румяное. Большею частью одет в матросскую форму. По характеру груб. Любит показать свою власть. Убивает шутя, но иногда раскисает «как баба». В камерах издевается над заключенными, и вдруг неожиданно расплечется от жалости. Говорил арестантам в лицо: «Мы вас расстреляем». Однажды привезли в чека женщину необыкновенно избитую. Когда пришел Алдохин, он не мог вынести этого зрелища. У него подкосились ноги, и он горячо грозил расстрелять избивавших. В другой раз к арестованной еврейке пришли дети и начали плакать. Алдохин при виде этих слез и сам прослезился.

Так буйствовала душа русского человека в убийстве и заливала слезами благородные порывы, не погашенные еще революцией.

В обращении Алдохин был вежлив только с теми, кто с ним был груб. Над теми, кто к нему подделывался и называл его «товарищ Миша», он издевался. Когда однажды заключенная крикнула ему: «Эй, комендант!», он добродушно откликнулся: «Ишь, какая выискалась!» Если его начинали просить, он издевался: «Хочу – дам, хочу – не дам». Часто называл арестантов на «ты» и бывал фамильярен.

Была арестована некая княгиня Эристова, ненормальная, со странными ужимками. Попала она в чека по недоразумению. Хотела похлопотать за человека, которого она «когда-то любила». Она хотела «пождать дорогого коменданта» и ходила около чека. Ее сцапали. Она приставала к Алдохину. А тот, развалившись, издевался: «Не понимаю, чем вам плохо. Здесь такое хорошее общество». Эристова нервировала заключенных. Однажды она обратилась к Алдохину с вопросом: «Мо-

жет быть, вы меня расстреляете?» Тот захохотал: «Ну, на такую пулю жалко! У нас каждая на учете».

Тень русского интеллигента, поэтическое олицетворение террора представлял собой главный палач вучека Терехов. Под конец своей деятельности он дошел до галлюцинаций и должен был на время прервать свои занятия. Я не видал этого человека, но заключенные дали мне его полную характеристику. Он был нежен в манерах и мягок в обращении. Но жестокость его была изумительна. Облик имел цивилизованного человека. Какова была его психология? Кому и за что он мстил? По слухам, раньше он был гетманским офицером. По Достоевскому, в нем сквозил тонкий душевный разлад. Однажды он затруднился расстрелять женщину, которая ему нравилась. Когда от него это настойчиво потребовали, он попросил дать ему пять минут отдыха. Уединился, подбавил кокаину и, выйдя, объявил, что он готов. Это был высокого роста, стройный молодой человек, с красивым интеллигентным лицом, с задумчивым отсутствующим взглядом. Одевался небрежно, без френча; много курил, говорил тихим голосом, слегка насмешливо. С заключенными в беседы не вступал.

Вторым помощником коменданта в вучека был Никифоров. Похож на латыша, но хорошо говорил по-русски. Одевался с шиком, в синем френче и в панталонах-галифе, в хороших сапогах. Любил играть стеклом перед носом арестованных. По манерам это был полуинтеллигент. Лицо плоское, бесцветное, наглое. На арестантов смотрел как на собак. На вопросы отвечал дерзостью. Если его о чем-нибудь просили – делал наоборот. Однажды посадили в женскую камеру пьяных мужчин. Красноармейцы в дни его дежурств устраивали под окнами женских камер оргии и пели непристойные песни. Никифорова арестованные ненавидели больше всех. В нем не видели никогда проявления человечности. Прогулок не разрешал: «А мне какое дело, пусть хоть все передохнут». Заявлений не принимал.

Еврей Анцель Извоицкий, бывший билетер кинематографа в Чернигове, был исключительный по жестокости палач. Одет был в военную

форму со шпорами. Одни говорили, что его даже любили. Ему около 20 лет. С первых дней революции в Чернигове он занял видное место. Он знал весь интеллигентный Чернигов и потому с ними жестоко расправлялся. Тех, кто когда-то был ласков с ним и давал ему на чай, он жаловал и щадил. Он выдал чеке большинство старорежимников. Одного слова Извощикова было достаточно, чтобы быть расстрелянным. Где он появлялся, там была смерть. Любил пугать и терроризировать. Семья Анцеля была бедна: отец его был папиросник.

Число жертв в вучека было меньше, чем в ГЧК, ибо дело велось более идейно.

Фамилии деятелей вучека установлены. Членами комиссии были Алексеев и два брата Шишковы. Эти люди не так крикливы, как евреи из ГЧК.

Интересна фигура Андриюшина. Он был следователем. Убежденный коммунист, сын богатых и интеллигентных родителей-помещиков. Он сошелся с коммунистом Рязановым, который теперь был следователем в вучека. Рязанов был сын начальника округа сообщения старого режима. Таким образом, оба они не были пролетарского происхождения. Это молодое поколение старой России. Андриюшин был арестован за гуманное обращение с арестованными и сам теперь превратился в арестанта, получив возмездие за свои революционные порывы. Он был учеником Фигнера и хорошо пел. Некоторые его подозревали в шпионаже. Постепенно он сошел с ума, принимал от 10 до 15 порошков веронала. Он много делал для арестованных. Многие считали Андриюшина порядочным человеком, пострадавшим за свои убеждения. Тоже из типов Достоевского.

Среди заключенных было много атаманов партизанских шаек, боровшихся против большевиков: Сметана, старик Струк. Сметану схватили после долгих преследований. Он вошел в камеру совершенно спокойно, заявив, что через 45 минут его расстреляют. Был весел и вышел на расстрел с большим достоинством. Когда за ним пришли, он спросил: «Что, умирать уже? Подожди, дай закурить!».

Был среди арестованных какой-то рябой человек. Пять раз бежал он от немцев из плена. Будучи начальником комитета бедноты, стащил 60 тысяч и сбежал.

Один из краснокрестных деятелей держал себя крайне недостойно. Сваливал вину на своего брата. Валялся в ногах и умирал подло.

Промелькнул в вучека какой-то негр, которого «видели входящим, но не видели выходящим».

Очень характерно дело инженера Павловского, начальника Подольской железной дороги. Среди комиссаров находился некий Колесников, которого когда-то уволили со службы с железной дороги. Теперь он свел счеты с начальником дороги. Он донес на него как на контрреволюционера. Павловского арестовали и расстреляли.

**Женщины в чека.** Одну из самых гнусных фигур революционных женщин представляет собою медичка-коммунистка Цитович, дочь известного в Киеве и пользовавшегося уважением деятеля, бывшего убежденным контрреволюционером. Когда к нему явились убийцы, чтобы забрать его, он с презрением клеймил их: «Каким я был – таким и умру, а вас я презираю». Но что было презрение для людей, не имеющих чести? Родная дочь-медичка присутствовала при обыске у отца. Она бесстрастно стояла у окна, словно дело ее не касалось. Комиссар шарил в бумагах отца. Но вдруг «дочь века» встрепенулась: комиссар потянулся за фунтом чая в шкафу. «Этого не трогать! Мое! – сказала коммунистка. – Бог с ним, – кивнула она в сторону отца, – делайте что хотите, этого не троньте». Отца расстреляли, а чай остался. Где-то теперь эта фурия революции? И что она об этом думает теперь?

В большевистской революции женщины играли большую роль, особенно еврейки. Я лично не видал главных героинь того времени в Киеве, но мое исследование коснулось и Евгении Бош, и Коллонтай. Коллонтай была дочь генерала. Ее фигура цельная – фанатичка и храбрая, но бесстыдная и циничная. Перед самым отходом большевиков она бесстрашно появлялась всюду. Я видел много женщин-врачей, ря-

довых коммунисток, которые, надо признать, с присущей им добросовестностью и убогим умом делали свое дело.

Красочна была и наивна в своей преступности фигурка дочери царского генерала Маньковского, служившей в чека переписчицей. Женственная и милая, она была изящно одета. Она явилась к председателю Комиссии, генералу, знавшему ее отца. Он обласкал ее и поручил мне отобрать от нее показания. С милой улыбкой, совершенно не чувствуя своей вины, она рассказала мне: «Да, я служила. Да, я знала, что убивают...» Но ей «надо было служить». За кровь человеческую, как писарь на бойне, получала милая девушка эти деньги. На машинке, сидя перед окном, выходящим на бойню, переписывала она смертные приговоры. И не было ей теперь нисколько не стыдно. Ее мило приняли и отпустили. Да, добровольческая мораль всепрощения не могла победить большевистскую власть всесокрушения! Если когда-нибудь эти строки дойдут до детей этой женщины, пусть они задумаются над образом своей матери. Быть может, они поймут, что такое мораль.

Красочную фигуру представляет собою и чекист Егорова. Русская, молодая, красивая, сильная, с ясно выраженными вторичными половыми признаками. С симптомами садизма. Хорошего происхождения – ее даже считают княжной Мансуровой. Жила до революции в Париже, где сошлась с революционными кругами. Вышла замуж и разошлась. Вторично вышла замуж за рабочего Егорова, который теперь где-то углублял революцию. Вторично разошлась. Мне о ней дала подробные показания знавшая ее женщина-врач. Егорова была умная и интеллигентная женщина. Она носила немножко по-мужски фуражку мужского покроя с пятиконечной звездой. В ее порывистых движениях было что-то, указывающее, что гормоны ее не в полном порядке. Любила кутить, участвовала в оргиях и не раз старалась ущипнуть свою красивую подругу – женщину-врача. Однажды надо было кого-то спасти, и для этого чекистам с Егоровой устроили пикник. Егорова веселилась, много пила и стала шутя за кем-то гоняться. Она вдруг вошла в азарт и серьезно стала кричать, чтобы тот, за которым она гонится, остановился, иначе



она будет стрелять. Егорова рассказывала своей подруге, как она расстреливала. Со вкусом производила допросы, и тот, кто попадал в ее руки, живым не выходил. В пьяном чаду она хвалилась, что ей приятно расстреливать. Это была карамазовщина в юбке, полная телесных и душевных диссонансов. Революция сделала ее чекисткой.

Другая женская фигура – это полька-фанатичка Касперович. Олицетворенная жестокость и ненависть к русским. Эта женщина до такой степени свирепствовала при постановлении смертных приговоров, что даже матерый волк революции Феликс Кон однажды покачал головою и сказал: «Однако».

Русская революция не нашла своей Шарлоты Корде, но добрые ангелы между ними были. Обслуживали чека сестры из международного Красного Креста и были безупречны. Они не были героинями, ибо там нельзя было проявлять геройства, но долг своего служения они исполняли до конца. У меня остались в памяти образы сестер Медведевой и баронессы Толь. На фоне мрака революции это светлые образы русской женщины.

**Отдельные процессы чека.** Время от времени чекисты создавали искусственно процессы, вроде тех, которые впоследствии применяли большевики в виде показательных. Таково было дело Солнцева. Незначительный чиновник банка возведен был в организаторы заговора. Арестовали всех его знакомых. Следствие не дало никаких данных. Тем не менее подозреваемых мучили в казематах вучека. Солнцева неоднократно водили «на испуг», били так, что он возвращался в камеру весь в кровоподтеках. Расправа была необыкновенно жестока. От истязаний Солнцев в конце концов сошел с ума, и его застрелили уже сумасшедшим.

В связи с этим делом истязали в особом отделе жену артиллерийского капитана Спекторскую. Я видел маленький чулан, в который была заключена несчастная: там нельзя было ни стоять, ни лежать, а можно было лишь сидеть в скрюченном положении. И так днями.

Очень характерным было дело бразильского консула Перро. Здесь имелась настоящая провокация. Прием столь же редкий, как часто не-

правильно применяется этот термин. Провоцировать значит предумышленно вызвать определенное выступление. А это вовсе не так легко и встречается редко. С провокацией часто смешивают доносы и слежку.

В деле Перро была ловушка. Большевики задумали выловить контрреволюционеров и от имени бразильского консула объявили покровительство офицерам, которые будто бы принимаются туда для охраны. Несколько офицеров неосторожно отозвались и погибли. Консулом Перро оказался переодетый чекист, который будто бы был даже осужден вместе с другими. Но в числе казненных его не оказалось, история так и осталась загадочной. Из дипломатов никто бразильского консула Перро не знал.

Характерно также дело Стасюка – Бимонта. По одним сведениям, Стасюк был раньше жандармом, по другим – мелким помещиком. Он был убежденный и смелый контрреволюционер. Когда к нему пришли с обыском, он довольно хитро завлек комиссара в свой кабинет и, уловив момент, выстрелил в него. Револьвер дал осечку, и тогда он стал избивать чекиста револьвером. На крик чекиста вбежали его товарищи и обезоружили Стасюка. Почему-то в этом обыске участвовал сам Савчук. Стасюк был посажен в чека вместе с дочерью и ее женихом, поручиком Бимонтом. Сидя в чека, Бимонт писал карандашом на стене свой дневник. Всех трех мучили на допросах – и, переведя в тюрьму, там однажды расстреляли, как это описано выше.

Типично и дело Гальске, которого я видел в тюрьме уже осужденного на смертную казнь. Во время большевиков я встречал его у моего знакомого врача-грузина и его жены-медики, моей ученицы. Ничто не давало основания думать, что видишь перед собой чекиста и шпиона-предателя. Вырождающийся барон Гальске был слабой натурой. Происходил из хорошей семьи и рано вступил на путь морального падения. Это был молодой человек, ничем не выдающийся. Он любил пожить и нуждался в деньгах. Сначала он был студентом в Москве, потом в роли крупье в каком-то игорном притоне. Непонятным образом он попал в руки чекистов. Узел завязался, и, чтобы спасти свою шкуру, он выдал свою невесту, свояченицу и жену офицера Глинского, которые и погибли

в чека. Самому Глинскому, которого я лично допрашивал, удалось бежать. Этот побег превосходит по авантюристичности все похождения Монте-Кристо и выполнен самым невероятным образом. Я видел взломанную решетку в окне погреба Особого отдела на Елизаветинской улице, где содержались арестанты. Глинский умудрился согнуть железный прут под влиянием большой дозы кокаина. Четверо заключенных вылезли в окно и ушли от большевиков через сад между их рук. Такие приключения бывают только в романах.

В прошедшем передо мною фильме чека я видел трагедии, драмы, романы и водевили куда более сильные, чем это дает самая изощренная фантазия писателей. Только действительность была как-то проще, как и самая моя жизнь в роли участника революционных авантур. Только теперь, когда заносишь их на фильм моего повествования, я удивляюсь силе этих картин и переживаний и часто говорю себе: «Совсем как в романе!»

В борьбе Белого движения с чека мы видим, с одной стороны, слабость, мягкость с претензией на гуманность и соблюдение правовых норм, а с другой – дикую отвагу, дерзание и решительность. Никакой морали и никаких правовых норм, и ясно, что первая сила не может быть противопоставлена второй.

Если бы во главе Киевской области стоял такой генерал Императорской армии, как Меллер-Закомельский, действия которого я видел в 1905 году, он, быть может, и справился бы с чека. Но что мог сделать генерал, уже тогда окруженный кадетами и эсерами, а впоследствии ставший пророком «непредрешенства?» А бессильный комендант Киева, находящийся в руках своего адъютанта, крадущего мешки с сахаром и лжесвидетельствующего на суде? Разве не была такая власть и возглавляемое ею движение осуждено на гибель? А военно-окружной суд над Валлером? Разве это не добровольческая оперетка? Разве такая власть могла бороться с большевизмом и победить его?

Настоящая контрреволюционная власть должна была бы по приговору военно-полевого суда в первые три дня расстрелять всех причастных к чека. А расстреляна была одна Роза, да и то через несколько дней

после приговора, потому что не могли найти палача и потому что приговор должен был быть выполнен по форме.

Во всех показаниях заключенных в мрачных тонах проходила деятельность одного лица, служившего в губчека, которого обвиняли в жестоком обращении с заключенными, в неподаче помощи, в дружбе с чекистами и, наконец, подозревали в доносах на заключенных. Эти показания закреплены в целом ряде актов и зафиксированы в документах, которые впоследствии странствовали по канцеляриям четырех государств, когда это лицо находилось уже в эмиграции. В этих документах приводились все его поступки, и он трактовался как бывший чекист. С приходом добровольцев произошла обычная метаморфоза: этот деятель остался в Киеве и явился с предложением своих услуг в одно из управлений Добровольческой армии. Однако он был разоблачен и арестован. Но прочные связи быстро нажали пружины, и он был освобожден, а впоследствии очутился в эмиграции. В одном городе с ним очутился и другой деятель чека, соратник известной Толмачевой, которая уже во времена эмиграции также однажды посетила этот город. Прошли года, и бывшего деятеля чека обнаружили. Разоблачения появились в прессе со всеми тонкостями и фактами. Но прошло уже много лет, и доказать в судебном порядке эти факты было трудно. Этот бывший служащий чека возбудил дело о клевете, и за недоказанностью фактов два совершенно достойных лица из числа русской эмиграции за разоблачения бывшего деятеля чека были обвинены в клевете. Официальное учреждение, ведающее русскими делами в этом государстве, обратилось ко мне, как к бывшему члену комиссии по расследованию деятельности чека, с просьбою, не могу ли я дать показания. Я таковые дал. Инкриминируемое лицо возбудило дело о клевете. Несмотря на все документы и показания, дело в первой инстанции было решено в пользу бывшего деятеля чека, хотя служба в ней была доказана, но документально его жестокость и предательство не были признаны доказанным. Во второй инстанции я дело выиграл, и дача моих показаний была признана судом правильной.

Но в этом деле обнаружились чрезвычайно странные обстоятельства. В русском учреждении, которое просило меня дать ему показания о деятельности инкриминируемого лица, находилось подлинное дело об этом деятеле, где были все документы о его разыскании от контрразведок четырех держав, все показания свидетелей, которые совершенно совпадали с моими. И когда эти документы понадобились для предъявления в суд, их не оказалось. Они были похищены. В скором времени лицо, в руках которого эти документы находились, было арестовано и предано суду по обвинению в связи с большевиками. Есть и еще непонятные странности. Мои показания на суде были опубликованы прессой. В них я, между прочим, сослался на бывшего начальника контрразведки полковника Сульженкова. Через четыре месяца после этого в Канаде, в Монреале, где в качестве эмигранта жил Сульженков, коммунисты завлекли его в ловушку и убили. Еще через два месяца ко мне на прием является женщина и начинает меня мистифицировать, симулируя болезнь и указывая, что у нее по ночам бывают какие-то таинственные припадки. Она просила меня приехать к ней во время припадков и говорила, что прийдет за мною автомобиль. Ловушка была довольно наивна, ибо я не мог не понять, что припадки эти выдуманные. Я стал присматриваться к мнимо больной и узнал в ней уже обнаруженную полицией большевистскую агентку. Я ее тут же разоблачил и, выпроводив любезно через приемную, в которой сидели больные, рассказал им о походе авантюристки.

Конечно, все это могло быть и «случаем», но тем не менее совпадение странное, как и скоро приключившаяся со мною болезнь с симптомами отравления.

Из этой эпопеи видно два положения. Во-первых, бывшие чекисты могут превратиться вне революции опять в обыкновенных людей, которые могут жить в обществе вполне мирно, ничем не проявляя аморальных качеств. А во-вторых, что преступления революции, даже самые кровавые, через много лет очень трудно доказать. Свидетели лжесвидетельствуют или из трусости, или из партийных соображений,

документы же исчезают, или вообще эти преступления не закрепляют. Как общее правило, все преступления революции не наказуются, и ее деятели могут жить в послереволюционном обществе и пользоваться полным уважением.

Предреволюция очень много кричала об ужасах царского самодержавия, о насилиях и бесправии, чинимых жандармами. Вот картинка из прошлого, списанная с натуры, которую полезно привести как пример тому как жандармы относились к своим клиентам, и провести параллель с описанными выше деяниями чекистов.

На Дальнем Востоке царская армия вела неравный бой с сильным и благородным противником, пробивая великой Державе Российской путь к Тихому океану. Изнемогая под напором превосходящих сил, славный 12-й Восточно-сибирский стрелковый полк, истекая кровью, за десять тысяч верст от столицы, под Тюренченом, геройски защищал ворота своей Родины от вторжения неприятеля, сражавшегося почти что у себя дома.

На берегах Невы, в столице Империи, бушевала молодая кровь, отравленная ядовитыми газами революции. Курсистки Лесгафта и студенты Императорского университета посылали японскому микадо телеграмму с пожеланиями победы над варварской Россией, дабы на крови русского солдата воздвигнуть знамя свободы и приблизиться к осуществлению земного рая.

В это время в Харькове волновалась студенческая молодежь. В тускло освещенной студенческой комнате шло собрание. Смешались потертые студенческие мундиры с тужурками технологов и ветеринаров. Между ними маячили в тусклом освещении накуренного помещения темные платья курсисток. Слышались речи, одухотворенные радостными надеждами на скорое наступление социалистического рая и на победу революции. Звучали старые напевы об ужасах царского самодержавия, и смаковались неудачи Маньчжурской армии. Неприемимые эсдеки на этот раз сходились с подхлестываемыми террором эсерами в своем презрении к черносотенной студенческой сволочи, ко-

торая позорит своими патриотическими выступлениями славные революционные традиции студенчества.

На выдавшем лучшие времена растрепанном диване у стены, в полумраке, развалившись, сидел восторженный юноша, вдохновляемый взглядами своей соседки, и с пафосом цитировал отрывки из только что полученного для распространения зарубежного органа Петра Струве «Освобождение». Там поносился Император Николай II и русские силы призывались к свержению самодержавия. «Господа военные, – декламировал юноша, – нам не нужно вашей пассивной, бессмысленной храбрости в Маньчжурии! Обратитесь против истинного врага страны. Он в Петербурге, в Москве. Этот враг – самодержавие и самодержавники. Революция должна стать в России правительством...»

В экстазе впивались блестящими глазами в студента курсистки, и ропот одобрения пронизывал накуренную атмосферу студенческой комнаты.

«И станет!» – вопил призыву дружный хор молодых голосов. По обычаю студенческих собраний был выставлен маячащий на сторожевом посту. Но молодой студент замечтался и прозевал шпииков.

В самый разгар пафоса и пожеланий провала Маньчжурской войны в запертую дверь раздался стук: «Именем закона отворите!»

Короткое смятение. Суета. Но нет времени замести следы, спрятать «литературу». Находчивая курсистка собрала быстро тонкие листки «зарубежного органа» и неумело засунула пачку под подушку на ветхом диване, на котором только что наслаждалась героизмом юноши, желавшего гибели русских солдат во имя революции. Быстро расселись по местам и приняли независимо-невинный вид.

Дверь отворилась, и среди общей тишины в комнате появился жандармский полковник Кобылинский с городовым и классическими «шпииками» в гороховом пальто.

– Что у вас тут за собрание? – обратился к молодежи полковник.

Обычная нерешительная мотивация: обсуждаем-де учебные дела. Тогда молодежь еще не умела так нагло лгать.

Опытным взглядом обвел пожилой полковник комнату. Медленным, спокойным шагом подошел к дивану и добродушно опустился на него, спиной к той самой подушке, под которую неумело засунула курсистка пачки «Освобождения». Отчески повернувшись лицом к молодежи, полковник поучал ее тому, что собрания без разрешения не допускаются.

– По долгу службы должен произвести обыск. – И он махнул рукой помощнику пристава.

Агенты и городовые пощупали столы, слегка пошарили и, не обнаружив ничего преступного, кроме нескольких бумажек с глупыми стихотворениями типа «Буревестника», обратились к начальнику:

– Прикажете обыскать господ студентов?

Полковник отрицательно махнул рукой и отпустил свой персонал.

Стояла тишина. На лицах пламенных и некрасивых курсисток, недавно вдохновлявших юношей, появилось смущение, а сердце радостно трепетало в надежде: «Не нашли!».

Полковник молчал. Все стояли и сидели в ожидании. Спокойно засунул руку назад, за спину, и невозмутимо вытащил из-под подушки растрепанные листки «Освобождения».

– Ну, а это что? И на что вам нужна эта гадость? Вы, цвет России и будущий мозг ее, читаете эту мерзость, жаждущую поражения Русской армии! Скорее сожгите это, иначе я должен буду вас арестовать и причинить вам неприятности...

Немного говорил царский опричник и не задевал чутких струн самолюбивой русской молодежи. Спокойно встал, ласково простился и вышел...

Немного было сказано и после его ухода. В печке вспыхнул очистительный огонь, и пламя поглотило ядовитую отраву, которую вселял в душу молодежи растлитель земли Русской. Из страны, недостижимой для рук царских жандармов, он вещал первый лозунг пораженчества: «Чем хуже, тем лучше». На крови русского солдата он сокрушал весь старый мир.



А в трагический для России день встретивший меня в одном обществе студент торжественно заявил: «Сегодня для меня радостный день: наших разбили под Цусимой!».

Через мои исследования прошла фигура крупного статиста русской революции, впоследствии возведенного в звание красного маршала, Ворошилова. Лично я его не видал, но в мои руки попал весь материал чека и Министерства внутренних дел Украины того времени, когда Ворошилов был там министром внутренних дел. В то время большевики еще не находились в фазе созидания своего режима, а стихийно разрушали старое. Поэтому министры были бездеятельны и никакой роли не играли.

Ворошилова мне охарактеризовала служившая в его министерстве русская княжна, моя хорошая знакомая. Не надо удивляться такому симбиозу: в это время служить у большевиков не считалось зазорным, ибо другого выхода для русской интеллигенции не было, и все стремились стать советскими служащими. Иначе предстояла перспектива умереть с голода. Она охарактеризовала Ворошилова как тупого, но честного идеалиста, целиком ушедшего в революционную идеологию. Последнюю же он понимал как кровопускание русской буржуазии и интеллигенции, ибо его тупой ум и невежество не могли одолеть тайн революции. Раньше, в период от Царицына до Киева, этот рабочий котельного завода оказался чуть ли не руководителем военных операций, и отсюда взошла звезда будущего маршала. Тогда передавали, что он вместе с офицером-латышом Круседем брал Екатеринослав. И опять переплелись нити жизни: Крусель когда-то во времена моего студенчества играл на скрипке в оркестре, которым я дирижировал. Он был убит под Екатеринославом, а его победные лавры пожал Ворошилов. Впрочем, насколько все это отбечает истине, не ручаюсь, так об этом говорили тогда.

В Киеве Ворошилов руководил всеми преступлениями большевиков и попал во главу чекистского триумvirата: Ворошилов – Петерс – Лацис, который и осуществил все августовские убийства в Киеве. Впоследствии палач-убийца превратился в красного маршала: надо

думать, что в мировоззрении большевиков различия между бойней и битвой не существует...

Каким образом Ворошилов стал знатоком военного дела, об этом повествуют революционные легенды. Передавали, что будто бы он прошел курсы академии красного Генерального штаба и самообразовался. Сомневаюсь, чтобы его тупые мозги могли воспринять военную науку, ибо чекистская бойня и поле сражения не одно и то же. Но характерно, что впоследствии даже эмиграция идеализировала Ворошилова и видела в нем чуть ли не спасителя России от большевизма. Как перед ним пресмыкались русские спецы и бывшие интеллигенты, видно из одной фотографии, которая мне попала через пятнадцать лет после киевской эпопеи. На ней был снят Ворошилов в группе профессоров Военно-медицинской академии, а рядом с ним мой бывший коллега, профессор психиатрии Осипов. Весь томик журнала низко льстил Сталину и Ворошилову, попирая те достоинство и честь, которые когда-то были присущи русским ученым.

Через многие годы только опыт показал, что ни бандит Ворошилов, ни террорист Пилсудский не могли быть военными маршалами, и что войска, ими ведомые, осуждены на разгром. Оказалось, что для военного дела нужно немного и знания.

По моему психофильму прогулялся и другой красный маршал, Тухачевский, правда еще тогда, когда он, будучи незаконнорожденным младенцем моего соседа-помещика и деревенской девки Мавруши, красовался в голубом пакетике, в пеленках, перевязанных ленточкой. Эта картина описана в моей книге «Без будущего».

Перед нами прошла длинная галерея чекистов и частью руководителей большевизма в реальных образах. Это были палачи революции, в большей или меньшей мере облитые русской кровью. Вне моего непосредственного кругозора остались многие главари этого движения и его идеологии. О многих из них, косвенно прошедших в моем поле зрения, я могу судить не лучше, чем другие, по рассказам очевидцев. В дальнейшем моем фильме пройдет другая галерея деятелей Белого

движения, и также фигуры главных его руководителей непосредственно не попадут на мою ленту зрения. Сравнение этих двух групп очень поучительно. Много будет у белых вождей заблуждений, много будет вокруг них порока, и много неумного найдет историк в их идеологии, но нельзя же будет отрицать, что, насколько фигуры революции были проникнуты преступностью, пороком и злыми идеалами насилия, настолько вторая группа была одухотворена идеологией борьбы со злом и верила в светлые идеалы. Если она в целом сбилась с пути, это объясняется той психической эпидемией, которая захватывала решительно всех людей. Революционное движение было сплошь аморально, Белое движение стояло на строго моральных началах в абстракции. И если на руководителях его и лежит грех измены Царю и отречения от императорских заветов, то и это было не чем иным, как страшным симптомом повального предреволюционного безумия.

В смертной борьбе этих двух начал мы увидим и массакрации, и зверства, и пытки с обеих сторон, когда ожесточение дойдет до крайности. На полях сражения белых армий мы найдем повальный вывод в расход целых групп комиссаров, еврейских и латышских бойцов. Найдем и грабеж. Но все же его физиономия будет другая, и как основной мотив здесь найдем месть и возмездие, но не зло как принцип.

Одной группы мы совершенно не найдем на фильме русской революции – это настоящих контрреволюционеров, каковые имелись налицо во Французской революции. Не было совершенно контрреволюционных вождей, боровшихся за восстановление Императорского Престола и исторической России. Все Белое движение пошло под лозунгом построения новой России и воплями, что к старому возврата нет. Мы, контрреволюционеры, в преобладающем количестве влившиеся в белые армии, должны были таить свои вождедения, так как не время было бунтовать против белых вождей, из которых многие находились в добросовестном заблуждении момента. Оба движения – и монархическое, контрреволюционное, и непредрешенческое вылились уже впоследствии в эмиграции в новую, уже бескровную войну, также проникнутую ненавистью и

страстями. В самом деле: старая Императорская Россия не дала ни одного борца за историческую традицию, и вся Россия безмолвно смотрела, как распинают ее Царя, не сделав ни одной попытки его спасти.

Это, пожалуй, можно было бы поставить в вину русскому народу, если бы пример других великих империй не показал бы, что и там сметалось прошлое и отрекались от исторических эмблем, корон и скипетров. Таково было время, и таков был в эти годы повальный бред всего человечества.

Во второй половине моего фильма мы уйдем от большевиков, ибо будем видеть их через завесу фронта, и если душа будет сжиматься от ужасов картин, нами переживавшихся, то надо всегда держать в памяти, что это было болезненное и подлое время, от которого валились все устои морали и права.

Но зато в конце фильма выплывут новые элементы: смрад концентрационных лагерей, в которых бывшие союзники будут лупить остатки белых войск дубинами чернокожих. Пышные речи лидеров мировой демократии, которые будут возвещать, что «краденые деньги не пахнут» и что «торговать можно и с людоедами». Мы познакомимся с моральными ценностями нового послевоенного мира, которые старому миру казались бы невероятными, а в Лиге Наций на долгие годы воцарится ореол бывшего фальшивомонетчика, героев ограбления казначейств и террористов. Пожалуй, полезно было бы изучить и эту группу деятелей. К счастью, это не входит в мою программу.

Во всем ужасе чрезвычайное и в трагедии русского народа есть одна психологическая черта, которая указывает на полное падение общечеловеческих моральных ценностей и на порочность так называемого цивилизованного мира. В то время, когда в России гибли миллионы людей в муках и несчастье, весь цивилизованный мир молчал и признанием разбойной власти над русским народом санкционировал преступления большевизма.

В то время, когда по поводу смертной казни двух террористов в Америке над всем миром звучал вопль негодования и раздавались про-

тесты мировой прессы, в то время, когда несправедливость по отношению к малым народам вызывала и протесты и военные выступления движимых состраданием великих держав, только русские стоны были гласом вопиющего в опустошенной душе культурных государств и их правителей. Ни Лига Наций, ни мировая пресса, ни мощный голос правителей мира не поднимался в защиту погибавших. Оказывается, что по отношению ко всем самым малым народам, не имеющим мировой истории, существует и право, и мораль, и долг защиты, только по отношению к великому в своей истории и духовных творениях русскому народу слышится один клич и один призыв – «Ату его»...

Пройдут десятилетия, и колесо событий повернется. Удастся ли тогда стереть с лица действительности этот позор цивилизованного человечества, поддержку изуверского режима и унижений народа, который в прошлом умел быть великим и который, смеем надеяться, сумеет быть таковым и в будущем?!

На моем психофильме русской революции нанизано много страшных картин гибели России и образов людей, к ней причастных, но в нем отмечены лишь те события, которые прошли в поле моего зрения. Главная сцена предательства в Ставке и ее герои прошли мимо моего созерцания, и я мало кого из них даже видел, а образы ее героев чертились в рассказах очевидцев слишком различно, чтобы дать им определенность. Где была главная сцена русской революции? В Ставке? В Петрограде? На фронте? – Едва ли можно ответить на этот вопрос определенно. Революция захватила всю Россию и одурманила весь русский народ, а потому в тех картинах, которые зачерчены мною, она достаточно полно отразилась. Но мало кто обращает внимание на то, что все мы, русские люди, были отравлены ядом революции уже очень давно. Люди моего поколения, детство которых прошло в семидесятых годах, а юность охватили восьмидесятые годы, чуть ли не с пеленок были увлечены вихрем революции. В моих воспоминаниях проходят не столько образы отдельных нигилистов того времени – этого прообраза большевиков, – сколько рассказы о них старших, которые так красоч-

но врезались в детскую психику. Я помню те длинные и оживленные разговоры конца семидесятых годов, происходившие за обеденными столами, где повествовалось о социалистах и террористических актах, подготовлявших царевбийство. Детскую психику щекотала таинственность этих приключений и влекла к себе.

Гимназические годы времен реакции Императора Александра III также были пропитаны этой заразой. Все еще царил ореол «новых людей» типа Базарова. В старших классах гимназии распропагандированные юноши распространяли издания «Народной воли», и помню, как гимназистом шестого класса я впервые прочитал «В защиту правды» Либкнехта, «Автобиографию» Александра Михайлова и «Процесс 193-х» – все издания «Народной воли» в зеленых обложках.

Нечего говорить уже о том, что и гимназисты и студенты того времени зачитывались Писаревым, Чернышевским и Добролюбовым. Здесь надо искать корень формирования будущего «красного профессора» и большевистского деятеля профессора Гредескула, моего школьного товарища по Харьковской третьей гимназии. А разве не причудливо стечение обстоятельств, выдвинувших впоследствии на поверхность большевизма братьев Межлаук, сыновей учителя той же Харьковской третьей гимназии, да еще ненавидимого гимназистами за его строгость, злобу и несправедливость. В школе тогда отравлялось молодое поколение, а педагоги не видели надвигающейся опасности. На первом курсе университета веяния были чисто революционные. Там тогда формировался будущий террорист товарищ Пилсудский. И, конечно, они наложили печать на всех нас. Я лично очень скоро выбился из революционной колеи благодаря увлечению научной работой. Но, конечно, отпечаток тех веяний тяжелым ярмом лег на душу и остался в ней навсегда. Под этим влиянием в моей психике сложилась нелюбовь к семейной жизни и форме. Отсюда охлаждение к религии и чуждость ее обрядовой стороне, глубокий смысл которой ум впоследствии научился понимать, но на которую в течение всей жизни слабо резонировало сердце. Отсюда это постоянное искание новых форм жизни и неудовлетворенность стары-

ми, критика господствующих форм и искание новаторства. Душевная отравка наложила свою печать и на мою душу, и я ее чувствую до сих пор. Революционное мирозерцание не дает человеку счастья.

Резко я возненавидел революцию с первых годов моей врачебной деятельности, когда мне пришлось работать среди народных масс во время бедствий холерных, а позже чумных эпидемий, наконец на войнах, где вся революционная грязь концентрировалась в земских отрядах и велась под флагом общественной деятельности.

Революционный яд не дает радости жизни и отравляет психику. Освободиться от него не так легко, и мы видим на протяжении долгих лет те муки превращения, которые сопровождают перемену идеологии и характера деятельности многих лиц на протяжении уже наступившего повального помрачения мозгов во время революции.

Часто говорят и думают, что революция дает какие-то завоевания, что она рождает новый уклад жизни и ведет к прогрессу. Я утверждаю наоборот, что революция не дает никаких завоеваний, не созидает новых форм жизни, а только разрушает, и после нее наступает застой. Стоит взглянуть на послереволюционный мир для того, чтобы увидеть прелесть так называемого нового строя.

Каждое государство забронировано бумажными стенами в виде клирингов, виз и т.п. Человеческая личность заменена кипом документов, ее удостоверяющих, нет ни свободы труда, ни свободы передвижения, ни свободы торговли. Ученому, который должен следить за мировой литературой, невозможно выписать книгу или журнал, ибо на это надо брать десятки разрешений. На языке демократии это называется свободой, а на языке революции – ее достижениями. Революция в лучшем случае закрепляет идеи и проводит в жизнь то, что уже давно выкристаллизовалось в идеях задолго до революции. Во время революции думают чужими мыслями, говорят чужими словами, а действия людей становятся безумными и разрушительными.

Есть, однако, один спасительный закон, который после больших потрясений возвращает человечество и народы к нормальному состоянию:

это самокристаллизация форм социальной жизни. Не парламентарии и не владыки народов создают законы жизни человеческого коллектива. Они созданы Творцом природы, или, лучше сказать, сами законы природы регулируют и определяют жизнь человеческого коллектива. Революции приводят к альтернативе – или к полной гибели государства и народа, или к его оздоровлению. Последнее совершается по естественному ходу саморегулирования, когда все становится на свое место и принимает нормальные формы.

Психика народов и их социальная жизнь обладают большой инерцией, а потому эти катастрофы длятся десятилетиями.

Прочитав эту часть моей книги, читатель поймет, почему я стал таким непримиримым контрреволюционером. Я ближе, чем многие, столкнулся со всем ужасом революции и изучил ее во всех деталях. Конечно, большевизм ужас, но разве не больший ужас измена в Ставке, похождения Корнилова, программа Врангеля? Разве не бóльшая гнусность – вся керенщина с ее клоунами революции? Число жертв большевиков колоссально, но разве бойня русских офицеров на фронте времен Керенского, массакрация жандармов и городских, самосуды над сановниками старой России этого периода меньше большевистских? И притом совершались они без всякой идеологии. Разве повальные грабежи, обыски и насилия первых месяцев революции мягче большевистских? А главное – расчленение России во имя бреда самоопределения народов – разве меньше большевистской федерации, и разве программа Врангеля не полностью провозглашала это расчленение? В ней также говорилось не о России, а о «государственных образованиях, создавшихся на территории России» (Записки Врангеля // Белое дело. Т. 6. Стр. 146). Разве большевики разрушили старый строй России? И если они преступны до мозга костей, то у них есть утопический фанатизм и созидательные попытки на бредовых идеях построить земной рай. Они все же создали мощную большевистскую державу, перед которой трепещет западноевропейский мир. Что же создали кадеты, изменники-генералы и сановники, русская интеллигенция первого пе-



риода революции? Я смело утверждаю, что Февральская революция хуже и пагубнее для России, чем Октябрьская, а в смысле разрушения исторических основ и старого строя жизни кадеты, общественные деятели, дореволюционная интеллигенция и новые чиновники периода после 1905 года – хуже большевиков. Быть может, другим нравится отрывка Февраля в виде ее плода – непредрежденства, – но для меня он не обладает никаким вкусом, и я считаю, что непредрежденство для эмиграции есть осиновый кол, вбитый в спину погибающей России.

Конечно, надо иметь смелость, чтобы признаваться в таких мыслях и вкусах, но они есть в моей душе и пусть проявятся и в моей книге. Я ведь тоже не ангел.

Конечно, фигуры и типы обеих революций – Февральской и большевистской – совершенно различны. Первые – это глупые, хотя в большинстве образованные и культурные люди, слабовольные, мечтатели, охваченные повальным предреволюционным бредом, не понимающие того, что делают, и охваченные дешевым честолюбием. Вторая галерея – это тип людей сильных, твердых волей, своеобразно умных, но охваченных безумным утопическим бредом. Они дики в своей преступности, но склонны к созиданию утопического, карикатурного строя. Здесь широкий простор неограниченному честолюбию, здесь хищнические инстинкты выливаются в лозунг «Грабь награбленное», тогда как непровозглашенный официально лозунг керенщины был «Все принадлежит народу». Фактически же грабили и присваивали оба режима. Насчет честности оба режима были слабоваты, но афоризм Пуришкевича именно относится больше к керенщине, чем к большевизму. Керенцы только разрушали, большевики дико созидали свой нелепый режим, но в этом дерзании было больше красоты, чем в низком подлаживании первых дней революции под низы. Но главное – мне думается – от большевизма есть спасение и переход к восстановлению исторических традиций, Февральская же революция ведет только к гибели. Большевизм – это смертное воспаление легких. Керенщина – это рак, медленно, но окончательно убивающий государственный орга-

низм и душу народа. Вот уж именно про всех этих кадетов, керенцев и непредрешиенцев можно словами Горького сказать:

Ни сказки про вас не расскажут,  
Ни песни про вас не споют...

О диких же разбойниках-большевиках русский народ впоследствии споет свою народную песню о «Соловье-разбойнике» и об «иноке святом Питириме – бывшем разбойнике Кудеяре»...

И когда русский народ в насилии и разбое забирает назад то, что ограбили у него иноземцы, снова пробивая путь великого Петра, и вопреки нежным вздохам непредрешиенцев отбивает дикой силой и «бесправием» свои поруганные исторические права, – разве это не историческая карикатура, которая возвращает нас к давно прошедшим временам, когда разбойнические банды великого народа пробивали себе пути и завоевывали мощное царство. И кто знает, не здесь ли лежат залогов того волшебного превращения Кудеяра, о котором так любили петь в Добровольческой армии, ведомой в бездну ее вождами!

## ГЛАВА IX

### Перелеты

Революция калечит психику людей. Она всасывает в себя честолюбцев, авантюристов, мошенников и криминальный элемент. К ней идет элемент, не преуспевший при свергнутом режиме. Сюда стягиваются обиженные и недовольные. Но странным образом в ее рядах встречаются люди и деятели, взлелеянные старым режимом. С наступлением слома, когда валятся все ценности, выбрасываются за борт и все те, кто не желает расстаться с достигнутыми благами и с приобретенной славой. Кто желает сохранить свое положение, должен приспособиться к новому порядку. В русской революции идеалы и мораль обоих режи-

мов были слишком различны, чтобы можно было безболезненно совершить нужное преобразование. Социальная революция поглотила даже техников-специалистов, которые не могли сохранить значения только «технического аппарата». На попрание культуры, науки и искусства старый русский режим создал слишком крупные фигуры и славные имена. Новый режим не мог сразу создать им смену, и потребовались бы десятилетия для того, чтобы пролетарская культура создала своих ученых, композиторов и артистов. Поэтому не оставалось ничего другого, как использовать старые силы. Часть их выведена «в расход» большевиками, часть ушла в эмиграцию, третья приспособилась. В этом корректном приспособлении не было бы ничего унижительного, если бы люди не переходили границ сохранения своего достоинства. Действительность, однако, показала обратное. Люди, получившие в старой России громкое имя и высокое положение, легко отреклись от Императорской России, которая их создала, и стали заискивать и пресмыкаться перед советской властью, которая относилась к ним с презрением. Если революционный барьер перешагнул легко Горький, это было в порядке вещей. Он всегда был одновременно революционером и кумиром русской интеллигенции. Но такому идолу русской культуры, как Шаляпин, сделать это было труднее, ибо он был продуктом старого режима. Он был великим артистом, но и большим хамом. В царские времена он становился на колени перед Государем, когда на сцене пели державный гимн, а с первых же дней революции пел застольные песни всероссийскому бунту. Императорская Россия столько же считала Шаляпина своим творением, сколько революция считала его своим. И обе стороны были правы.

Гений Шаляпина принадлежал царской России, его хамство – революции. Другие перелеты из артистического мира были скромнее. Собинов из артиста императорских театров и солиста Его Величества превратился в носителя ордена Красного Знамени. Сначала служил одному барину, а затем столь же добросовестно другому.

Гораздо красочнее метаморфозы ученых, которых я хорошо знал лично. Таковы Ипатьев, Павлов и Бехтерев. Это были крупные ученые

старого режима, им созданные, а Ипатьев к тому же и русский генерал. Павлова в буквальном смысле слова создал принц Ольденбургский. Бехтерев, получив все чины и звания Императорской России, получил от Императора в подарок «царский городок», в котором он создал Психоневрологический институт, подготовлявший революцию, и, в свою очередь создавший большевика Рошаля, взбунтовавшего Балтийский флот. По существу, эти трое ученых ничего в себе даже либерального перед революцией не имели. После революции они отлично ассимилировались у большевиков и умудрились получить и от них не только лавры, но и материальные блага. Продались с публичного торга и превратились в красных спецов.

Я был учеником и сотрудником профессора Бехтерева.

Это был несомненно крупный ученый, и по длительному сотрудничеству с ним во времена Империи я хорошо знал, что в душе он был против левых течений. Но неудержимое честолюбие и искание популярности побуждало его на всех съездах выступать с либеральными речами и заискивать у левых. Он без всякой совести перелетел к большевикам и умер, будучи их покорным слугою.

Павлов незадолго до своей смерти заявил, что он ошибался в большевиках и что они делают великое дело создания новой России.

Профессора Ипатьева я знал по Петербургскому университету: будучи студентом математического факультета, уже имея ученую степень и две всемирные премии за свои ученые труды, я держал у него экзамен по химии и слушал его лекции как доцента университета. Это был выдающийся химик, тогда полковник Императорской армии, а впоследствии генерал. И этот генерал легко перелетел на службу к большевикам, создав там отдел авиационной химии, и работал на их пользу не за страх, а за совесть, которая не помешала ему, однако, удрать от них в Америку, где он вновь получил заслуженные лавры за свою ученую деятельность. Итак, три режима – русский императорский (его создавший), большевистский и американский одинаково ценили ученого и венчали его своими лаврами, тогда как он поочередно служил им. На-

емники меняют своих хозяев, воображающих, что они им служат искренне. Если им был невыносим царский режим, почему они взяли от него все блага жизни? Если же они были убежденными революционерами, зачем удрали от большевиков?

Непонятно, почему Императорская Россия сама культивировала своих предателей и перелетов. Таковым, например, был пресловутый сенатор Кони, который был кумиром либерального общества и вредителем Империи, окончившим благополучно свое существование у большевиков. Таким же примером является инженер Ломоносов. Еще в 1905 году участник смуты, он был «прощен» правительством и, будучи врагом императорского режима, сделал блестящую карьеру и административную, и профессора Института путей сообщения. Это он, сняв маску, в февральские дни измены осуществил травлю царского поезда и загнал его на станцию Дно. Это он одухотворял первые дни Викжеля и творил революцию. Впоследствии ему, однако, не понравилось у большевиков, и он надул их, как и царское правительство, сбежав в Америку. Его постыдные мемуары рисуют его похождения во всей их аморальности. Русская эмиграция в своем ослеплении мнимыми кумирами все еще продолжала будировать легенду о его талантливости, выразившейся только в свержении Императорской России.

Мне вспоминается еще один разрушитель Императорской России, сыгравший в ее гибели большую роль. Еще будучи молодым врачом, я в течение трех лет специально работал в химической лаборатории Харьковского технологического института у профессора И. М. Пономарева, где и сделал свою работу, удостоенную всемирной премии. Директором института был тогда Кирпичев. Это был хороший механик, но резко левого уклона и личный друг Витте. Он и придал сначала Харьковскому институту, а затем и Петербургскому политехникуму, в который он был переведен директором, левый колорит и характер деятельности и сделал его одним из очагов революции. Вся семья Кирпичева впоследствии примкнула к эсерам и много потрудились над разрушением России. А сам Кирпичев от Императорской России, опе-

каемый Витте, получил все те блага, которые так щедро дарило царское правительство своим врагам.

В моем фильме памяти обрисовывается фигура известного клоуна Дурова. Его знала вся Россия как великолепного дрессировщика зверей. Однажды он обратился ко мне, как к психологу, с просьбой проэкзаменовать математические способности его зверей. Мы сделали ряд интересных опытов в присутствии членов Психологического общества, которого я был председателем. Дело шло о внушении и «чтении мыслей» животными. При царском режиме Дуров жил в полном довольстве и славе: звери были сыты. Когда революционный вихрь потряс Россию, Дуров пишет: «В феврале в воздухе громко прозвучал клич свободы, и я вздохнул радостно и свободно как никогда. В феврале были великие дни свержения самодержавия...»

Рабская душа клоуна, привыкшего получать пощечины, сказалась. Он бесстыдно описывает, как он вручил своему слону Бэби древко с красным флагом и пропутешествовал по улицам Москвы, приветствуя гибель России. И, однако, на следующее утро нашелся человек, который возмутился подлостью Дурова и по телефону сказал ему: «Слушай ты, шут Дуров! Если ты еще раз появишься со своим слоном и воззваниями на улице, то пуля пробьет толстое пузо твоего слона...»

Шут остался только шутом, который повествует о завоеваниях революции. Пули залетали в цирк и убивали его зверей, а другие из них дохли от голода. Трагическая смерть «красного слона» от голода революции была апофеозом ее завоеваний.

Как пример необычайной низости «перелетания», вызываемого жаждой выгоды и подлаживания к низким инстинктам толпы, приведу следующий. Много десятков лет в старой России существовал патриархальный семейный журнал для домашнего чтения «Нива». Этот чисто русский, если хотите по-модному – «национальный», орган был чрезвычайно распространен во всей России, и никому не могло прийти тогда в голову, что его издатель, А. К. Маркс, латыш, враждебно

настроен по отношению к России. После революции в Риге этот журнал воскрес, даже с такою же обложкой. Но, вторя вкусам февральской интеллигенции, он стал «лягать» бывшую Россию и специализировался на поношении династии Романовых, чем, между прочим, занимался и Союз русских писателей и журналистов в зарубежье того времени. Грязные и плоские статьи, оскорбляющие чувства русского человека, были писаны с революционным пошибом, напоминая о вечной истине басни Эзопа, воспроизводящей осла, лягающего впавшего в немощное состояние царя зверей. Когда я, живя в дебрях эмиграции, увидел знакомую обложку, в моей душе пахнуло добрым старым временем, я соблазнился и выписал этот журнал. Но, ознакомившись с ним, я отказался от выписки этой мерзости.

## ГЛАВА X

### Период добровольцев в Киеве

Это было время наивысшего развития успехов Добровольческой армии, которая докатилась до Орла, но оно длилось всего месяц и характеризовалось сильным снижением того душевного подъема, с которым встретили добровольцев.

В первых числах сентября я, как член Комиссии по расследованию злодеяний большевизма, посетил вместе с генералом Рербергом тюрьму. Мы обошли камеры и здесь услышали, что арестован начальник контрразведки полковник Щучкин. Мы так и не узнали, в чем дело, однако Щучкин был смещен и переведен в Курск. Перед тем мы были у него, и он произвел на меня впечатление дельного и осведомленного человека. Было много неправильно арестованных по доносам, как всегда бывает в эти времена. В тюрьме работало несколько настоящих следователей, но разобраться в делах было трудно.

Старые жандармы имели опыт и нюх, но в это смутное время возможны были и злоупотребления. Поэтому бывало, что многие чеки-

сты выходили чистыми только потому, что доказать их преступления было невозможно.

Очень характерна была взаимная страховка. И вот, если большевик спас контрреволюционера, в свою очередь, когда контрреволюционеры приходили к власти, они спасали большевиков. Это получило форму взаимного договора: «Я спасу тебя, а если мне будет угрожать опасность от твоих, ты спасешь меня». И эти договоры свято выполнялись. Люди были осторожны, чтобы не скомпрометировать себя в глазах революции, которую далеко еще не победили.

Порядок в тюрьме при добровольцах был правовой, и никаких незаконных притеснений не делалось. Но она была набита битком. Перед нею стояла длиннейшая очередь для «передачи». Родные носили заключенным пищу. К арестованным относились вежливо и корректно.

Администрация сохранилась прежняя, она пережила и большевиков. Нельзя было добиться очереди допроса. Расследование не поспевало за жизнью. Обнаружить юридически виновность было очень трудно. Агентура и тайная разведка добровольцев, будто бы работавшая во время большевиков, приписывала себе заслуги и деятельность, которых она не имела. Это были в большинстве случаев самозванцы. Мы посетили двух приговоренных к смерти военно-полевым судом. Они содержались в одиночных камерах. Один из них, молодой человек обычного скромного вида, был бандит Струк, осужденный за разбой. Другой, интеллигент, был тот самый предатель Гальске, который выдал чека своих родственников. Они ждали исполнения приговора, ибо добровольческая власть не могла найти исполнителей, которые добровольно пожелали бы взять на себя роль палача. На лицах этих смертников не было ничего характерного, и вид их был самый обыкновенный, как обыкновенной была и смерть в эти времена. Они спокойно сообщили, что они невиновны.

Когда я ближе познакомился с Добровольческой армией, я понял, что дело ее обречено. Тем не менее я сознательно пошел в ее ряды, чтобы бороться с революцией, хотя и без малейшей надежды на успех.



Тогда еще не знали идеологии вождей, и имена Драгомирова и Бредова напоминали о старых добрых временах. О Царе в Добровольческой армии не говорили ни слова, но открытых противомонархических выступлений не было.

Состоя врачом Кинбурнского кавалерийского полка, а вместе с тем и единственным врачом всей 7 формировавшейся кавалерийской дивизии, я посещал казармы. Всего-то было триста человек без лошадей и с недостаточным количеством винтовок. Это, конечно, не были старые полки Императорской армии. Но налицо было около десяти кадровых офицеров Кинбурнского полка, и это были достойные офицеры старого времени и старых традиций. В состав солдат влилась учащаяся молодежь, гимназисты, студенты.

Однажды, идя по улице, я заметил, что молодой драгун отдал мне честь. Лицо его показалось мне знакомым, и я узнал в нем моего племянника Андрея Краинского, который поступил в кавалерийский полк. Он скоро погиб в боях Добровольческой армии.

В это время я жил чисто демократической домашней жизнью. Жалованья я не брал, столовался в дешевых кухмистерских. Одежда моя поизносилась. Ходил в погонах военного врача и всегда был вооружен. В будущем была пустота, и часто, пробуя себе представить будущее, я почему-то рисовал себе картины, которые позже полностью сбылись. Мне рисовался бивак боевой части, а я будто бы сижу за костром и в котелке варю для себя пищу. Я вспоминал, как во все предшествующие войне годы я постоянно видел во сне войну во всех видах, и я любил эти сны. И странно – я видел себя солдатом кавалерийского полка. И теперь не раз мне приходилось выступать именно в этой роли. Даже мечты не шли дальше этих картин. «Все равно убьют», – думал я.

У меня были великолепные сапоги, и я часто шутил, что большевики упустили случай поживиться ими: в те времена за хорошие сапоги убивали. Проводил я время между казармой, штабом и комиссией, а все-таки забегал в лабораторию университета, где вел свои научные работы. В это время я сначала жил в лаборатории госпиталя, а потом переселил-

ся в комнату, которую снял в семье пожилого доктора, служившего директором какого-то малого банка. В моей лаборатории во времена всех режимов было полно врачей, студентов и курсисток. Лекции мои охотно посещались, и были у меня любимые ученики. Но при добровольцах научная работа стала отходить на задний план, а политическая борьба меня все больше затягивала.

Возвращаясь из театра, где я играл в оркестре, я до глубокой ночи записывал свои исследования и писал доклады Комиссии. Жизнь моя была полна, и мне не приходилось задумываться над личными переживаниями. Сравнивая с нею полную унижений и попреков жизнь эмиграции, я уверенно могу сказать, что тогда я был счастлив.

У моего хозяина-доктора была дочь, которая хорошо пела, и по вечерам иногда мы играли с ней дуэты – я на виолончели, а она на рояле.

Кругом было всеобщее разорение и гибель. И в один далеко не прекрасный день я узнал, что мой хозяин-доктор повесился в своем банке. Не сладка была большинству жизнь в те времена, и люди уходили от нее в недра небытия.

Жильцы ютились в одной комнате, которая отапливалась. И этой скудной по обстановке жизни все время вторила канонада с Ирпеня, то затихавшая, то обострявшаяся. Временами росла тревога. Да, тревога! А что было делать? Ведь выхода не было никакого. Об эмиграции тогда никто не мечтал. Придут большевики и начнут расправу. И никуда от них не скроешься.

Добровольческая власть по образцу большевиков ввела и уголовный розыск, но это было бесполезно. Всюду царил бандитизм, и преступность была колоссальна. Всюду оставались агенты большевиков, которые агитировали, угрожали, распространяли слухи. Все еврейство было против добровольцев.

Галичане как-то сошли со сцены. Сначала они отошли к Ирпеню, а потом о них забыли. Там были уже большевики. Правительство большевиков ушло в Чернигов и оттуда слало строжайшие декреты, ставившие нас – особенно членов Комиссии – вне закона. Прилив добровольцев

захлестнулся. Но зато отовсюду повылезали военные, чиновники и потянулись за местами. Идея добровольчества уже не владела психикой. Возобновляющийся бюрократический аппарат слишком был отравлен керенщиной и гетманщиной, и в нем с новой силой вспыхнули старые пороки: протекция, связи, кумовство. Набрать годных людей было трудно. Реквизиции переходили в грабеж: понравится какому-нибудь полковнику квартира – он ее и реквизирует.

Население не поддерживало Добровольческую армию, и она должна была сама добывать средства к существованию.

Добровольцы, несмотря на реабилитационные комиссии, широко брали к себе большевиков. Эвакуационным пунктом заведовал врач-большевик доктор А., женатый на родственнице Раковского.

Однажды меня позвали на заседание Общества возрождения России, в котором выступали общественные деятели – еврей Брамсон и профессор Ильин. Боже мой, что это был за ужас! Стоя на краю гибели, они плели кадетский бред и давали программу дальнейшего разрушения России. Речи были подлые, и ужас был в том, что этой подлости не понимали. Я не выдержал этой мерзости и ушел. За мною в переднюю вышло трое: молодая дама и два инженера.

– Однако, – сказала дама. – Я не думала, что они так вредны!

Нашлась все-таки русская женщина, давшая им должную оценку.

Я понял, что мы гибнем и что спасения никакого нет.

Мне поручено было расследовать деятельность Наркомздрава за время большевиков. Грустная картина развернулась перед моими глазами. Все тот же «третий элемент» и все те же «общественные деятели». К большевикам приспособились превосходно, не ведая того, что творят. В «наркомздравах» и «губкомздравах» фигурировали армянин Христофоров и еврей Хайкес. Эти не церемонились с врачами. Кристально чистые врачи-статистики марали бумагу своими таблицами, тогда как кругом без всякой регистрации валила людей смерть, а они все еще бредили свободой и земным раем. Этих «кристально чистых» людей типа «бесов» Достоевского я встречал только среди русской предреволюционной

интеллигенции, и меня всегда поражало, как вязались их святые идеалы с кровавыми деяниями, в которые они обмакивали свои руки. Нигде так ясно не сказалась растлевающая роль общественных деятелей, как в этой отрасли большевистского дела. Нужно ли говорить, что никакой врачебной помощи все эти «здравы» во время революций не дали.

## ГЛАВА XI

### Октябрьское нашествие большевиков на Киев\*

Уличный бой гражданской войны с психологической точки зрения вполне своеобразен. И картина его, и внутренние переживания бойцов представляют много странного, оригинального. Этот бой самый жестокий и беспощадный, не знающий ни милости, ни сожаления.

На поле сражения неожиданно появляются люди, которые по программе там вовсе не должны быть. Гимназисты-мальчики вдруг появляются около батареи и под сильнейшим огнем подносят к орудиям снаряды. Сестры милосердия появляются в наступающих цепях и перевязывают раненых. Раненые, остающиеся на поле битвы, беспощадно добиваются, а иногда изуверски замучиваются. Особенно поражают партизаны и временные участники, присоединяющиеся к сражающимся группам. Эти люди погибают *без имени*, никому неизвестные, и их потом никто не вспомнит. Беглецы из города мешаются с бойцами, и встречающиеся группы бойцов с недоверием всматриваются друг в друга, стараясь угадать: свой или неприятель?

Озлобление против врага сильное, и радость победы охватывает бойца, убившего врага или видящего, как атакуемая батарея снимается с позиции. Опасность грозит непрерывно и отовсюду. Она держит бойца в постоянном напряжении. Страх – это доминирующее чувство – то охватит человека жуткой вспышкой, то на время совершенно исчезнет.

\* Эта глава в сокращенном виде перепечатана из моей книги «Без будущего» (издание которой разошлось) для того, чтобы не прерывать изложение событий русской революции так, как я их видел и переживал.

Самые неожиданные встречи с мирными обывателями врезаются в память, но она искажает прошлое, дополняя картины фантазией. Ни один человек не бывает героем длительно: и у него наступают минуты малодушия и появляются подленькие мысли, в которых он никогда не признается другим.

В домах и на окраинах поля боя царит тревога и напряженное стремление угадать, кто победит: от этого ведь зависит судьба людей, которым часто предстоит резня. Много мирных, невинных жертв гибнет в этих боях. Отовсюду чудятся выстрелы, и часто жестокая расправа ожидает жителей домов, из которых, быть может, никто и не стрелял. Паника, по большей части неосновательная, охватывает войсковые части, находящиеся на окраине боя, и здесь же жмутся дезертиры всех видов, ушедшие из боя под разными предлогами. Сквозь строй бойцов теперь уходят либеральные общественные деятели и «земгусары», заживавшие революцию, а городской голова, возведенный на высоту революцией, сидит на скамеечке у заградительной заставы рядом с членами военно-полевого суда и угодливыми кивками головы поддакивает смертным приговорам, выносимым судом.

Резкие перескоки в душевных переживаниях: проколотое штыком тело человека, а затем полное наслаждение, которое дает рюмка водки и кусок сочной колбасы на столе, покрытом белоснежной скатертью, в мещанском домике окраины города.

Полное удовольствие насыщения усталого в бою тела с еще пылающей впечатлениями пережитого душою! Никакого сожаления к убитым врагам и торжественное равнодушие к своим, судьба которых лишь случайно пощадила вас.

И когда вы окинете взглядом трупы убитых, увидите на стороне красных только лишь деревенских безусых парней. Ни одного «сознательного» рабочего, ни одного интеллигента и, конечно, ни одного еврея. Те, кто своей пропагандой и пафосом загоняли скот на бойню, сами ловко ускользали. Здесь не было ни латышей, ни китайцев, ни «красы и гордости русской революции» – накрашенных матросов: был только

рабочий революционный скот, совершенно чуждый идеологий тех, которые посылали его на смерть.

Едва минут эти страшные дни, люди возвращаются к обычным формам жизни полуосажденного города.

С вечера 30 сентября канонада стала тревожить киевских обывателей. В эту ночь слышал я сквозь сон, как усиливались раскаты канонады, и, помню, видел подходящий сон на эту тему. Мой покойный отец словно будил меня и торопил вставать. Несколько раз я приподнимал с подушки голову и прислушивался. Тогда казалось, что бой идет слишком близко, тут, в городе. Слышались ясно пулеметы. К пяти часам утра гул выстрелов стал усиливаться непомерно. Я понял, что дело обстоит неладно, и еще до света поднялся, оделся и вышел на улицу. Здесь было пусто. Но со стороны Святошина и Шулявки шла сильная канонада. Когда начало светать, я встретил на Житомирской улице милиционера, который спокойно шел мне навстречу. Я был в военной шинели с погонами, и он на мой вопрос с улыбкой ответил: «Бой идет в Святошине».

Выйдя на Крещатик, я увидел, что происходит нечто серьезное. Улица была довольно пустынна, но время от времени показывался короткий обоз с повозками, груженными офицерскими вещами. Они торопливо двигались по направлению к Царской площади и сворачивали по Александровской улице вверх к Цепному мосту, ведущему через Днепр. Подводы подходили со стороны Бибиковского бульвара, откуда и слышалась канонада.

У подъездов гостиниц, где размещались офицеры, грузили на повозки вещи. У «Гранд-отеля» стояли конный отряд всадников и коляска, запряженная четверкой. При мне вышел полковник Стессель, сел в коляску и, окруженный конвоем всадников, рысью поехал по направлению к месту боя. Но в то же время продолжали грузить подводы, и направлялись они не к месту боя, а назад.

Утро было светлое, хорошее. Около шести часов утра разнесся слух, что Кабардинский полк изменил, что фронт прорван и что большевики надвигаются на Киев.

Для меня выход был один: стать в ряды сражающихся войск.

Уже много раз в жизни приходилось мне быть в этом положении, добровольно вступая в боевые части – то в роли бойца, то в роли врача. Конечно, и в данном случае принять это решение было не так просто. Остаться с большевиками после того, что я им наделал, и думать было нечего: приговор мне был подписан давно.

Можно было бежать, уходя с отступающими обозами под прикрытием войск. Но это было не в моем характере. Я просто сказал себе: «Не всех же убивают в бою, и не все части гибнут, быть может, останусь цел и я».

Было страшно, но как только решение было принято, как и всегда в этих случаях, почувствовался подъем и некоторое чувство гордости по поводу победы над собой. Движения стали живыми и энергичными. Я не имел оружия, а потому быстро направился домой, взял несколько перевязочных пакетов, набор инструментов, деньги, документы, надел шинель, сапоги получше и вышел на улицу. Уходя в таких случаях, надо помнить, что, быть может, на это место и не вернешься. Я знал, что части соберутся у коменданта, и скоро нагнал группу идущих туда офицеров. Я присоединился к ним. Говорили, что у коменданта собираются офицерские роты, которые оттуда будут направлены к месту боя. В комендатуре мы уже застали толпы офицеров, из которых формировался батальон, и я попросил принять меня рядовым в одну из рот. Был назначен в первую роту, третий взвод. Меня направили к заведующему оружием, и я выбрал себе хорошую новенькую винтовку, американского изделия, но русского типа со штыком, и взял себе 50 патронов. Мы собрались в большом зале бывшего генерал-губернаторского дома. Стоявшие здесь кровати были сдвинуты и сложены в кучу. Мы строились, разбивались на номера и собирались к выступлению. Батальон был сборный, из офицеров всех чинов и всех родов оружия. В моем взводе была и молодежь, и кадровые ротмистры, и бывшие чиновники. Время тянулось, и мне казалось, что сборы идут слишком медленно, а раскаты канонады по-прежнему доносились ясно. Все держались со

строгой военной выправкой, как всегда бывает перед боем, в ожидании выступления на позиции. Передавали слухи, будто бы положение улучшилось. Моя рота имела 140 штыков. Ею командовал полковник Клеопа, а моим взводным был также полковник – военный юрист. Мы построились в каре – тут же в зале – и рассчитались на номера. Наконец после приблизительно часовых сборов нас вывели на улицу. Когда мы спускались по лестнице, группа молодых офицеров, мимо которых мы проходили, бросили шутку по моему адресу:

– Смотри-ка, доктор в строю с винтовкой! Ишь, пистолет!

Настроение у нас было приподнятое. Ни уныния, ни тревоги не было. На улице, против здания, нас выстроили в две шеренги. Мы получили приказ выступить на западную окраину города и занять район Шулявки за тюрьмой. Скомандовали зарядить винтовки на четыре патрона, не подавая пятый в ствол. От излишнего усердия кто-то при этом нечаянно выпалил в воздух. Вперед выдвинулись подводы с пулеметами, а затем и нас построили в колонну. Мой взвод шел последним, и я оказался фланговым в последнем ряду. Рядом со мною шел мещанин-доброволец из торговцев, одетый в теплый пиджак и подпоясанный поясом. Он, как и я, добровольно явился в роту.

– А что же, *так* смотреть на них? Живым в руки не дамся! – объяснил он мне.

Он был слеп на один глаз.

Я был доволен своим местом флангового: идя по улице, я мог хорошо наблюдать тротуары и публику. Когда мы тронулись вперед, я переживал это странное чувство подъема, которое охватывает человека, выступающего в строю на позицию. На такую часть как-то особенно смотрят остающиеся и стоящая на тротуарах публика. Как будто сам чувствуешь себя больше, чем есть на самом деле. На челе этих людей, идущих на близкую возможную смерть, есть что-то отчетливое. Совсем другое, чем когда отходишь назад. Иногда становилось страшно, но я обуздывал в себе это чувство, повторяя в мыслях: «Не всех же убивают».



Мы шли в боевом порядке с дозорами впереди. Тронулись по Институтской, пересекли Крещатик и, пройдя Житомирскую, потянулись по Львовской. В городе уже почти повсюду рвались снаряды. Публика стояла по тротуарам в тревоге и недоумении. На колонну, идущую к месту боя, она смотрела особенно. Многие можно было читать на этих встревоженных лицах. Когда они глядели на войсковую часть, бодро шагавшую вперед, на их лицах светилась надежда. Мы шли стройно и быстро. Со стороны публики мы видели сочувствие и одобрение. Вслед нам посылали благие пожелания.

– Дай Бог, помоги им Боже! – шептала дряхлая старушка.

Другая женщина, шедшая навстречу, потихоньку крестила нас.

И как чувствовали это люди! Картина была сильная. Мы чувствовали на себе все эти взгляды, и их переживания передавались нам. Под взглядами других все приободрялись. Ноги тогда легче несли вперед к опасности.

На площади у входа на Житомирскую улицу мы встретили медленно отходящую в полном порядке артиллерийскую батарею с орудиями, запряженными мулами. Этот отход противоречил успокоительным известиям об улучшении положения: дело, видимо, было далеко не кончено. Мы прошли мимо. Удивительно это состояние духа, когда идущая вперед часть пропускает мимо себя отступающую другую часть: тот, кто идет вперед, приободряется, а отступающий притихает.

Кто был впереди, мы не знали. Чем дальше двигались мы вперед, тем пустынное становилась улица.

Разрывы снарядов раздавались влево от нас. Изю всех окон на нас глядели люди. На одном из перекрестков мы поравнялись с Волчанским отрядом. При нем был артиллерийский взвод из двух орудий. Этим взводом командовал молодой капитан Васильев, красиво разъезжавший на великолепном рыжем коне. Сам он был элегантен и приветливо-спокоен. Волчанский отряд был партизанский, стяжавший себе в Добровольческой армии довольно громкое имя. Его считали дерзким и храбрым, говорили, что он отчаянно дерется. Но говорили

и другое – что он грабит и мародерствует. Странно! То, что мы видели теперь, была небольшая группа людей-воинов, оборванных и грязных, в самых разных одеяниях. Для роты она была слишком малочисленна, человек 40–50. Одежда была истрепанна. Ими командовал очень высокий пожилой полковник с седой бородкой. Поражало это отрепье и внешний вид. Здесь были кавказцы в бурках с башлыками, и выделялись два кадета-подростка. Один постарше, худой и истощенный, другой совсем почти мальчик. Несмотря на октябрьский день, они были в одних оборванных мундирчиках-куртках, в драных башмаках и оборванных штанах. Глядя на этот отряд, я думал: «Грабители?! Но где же сокровища? Ведь не напоказ же так оделись. А как кричали в Киеве о грабежах Волчанского отряда! Это оборванцы – нищие, голодные и холодные, которые спасали гибнущую Россию, не дававшую им даже одежды и пищи».

У Волчанского отряда сведений о неприятеле не было. В части города направо, к Подолу, все было тихо.

Здесь на минутной стоянке и отрывочно на протяжении пути все чаще раздавалось слово «жиды».

По беспроволочному телеграфу человеческой молвы и через разведчиков к отряду долетали сообщения, и все они говорили одно: с момента вторжения большевиков определилось отношение еврейства, сразу ставшего на их сторону. Молодые евреи уже несли разведывательную службу и повсюду стреляли из окон в добровольцев. В некоторых местах выступали открыто, и озлобление против евреев росло с каждой минутой.

– Ну вот видите, – говорили кругом, – все отрицали, все не верили. А чего же вам больше? Все зло в жидах.

Близко влево слышалась ружейная стрельба. Мы остановились на улице против ворот тюрьмы. Уже вошли в сферу редкого ружейного огня. Недавно здесь падали снаряды.

Командир роты вызвал меня вперед и приказал держаться около него. Мы стояли в строю против фасада тюрьмы. Люди, бывшие здесь, говорили, что незадолго перед тем снаряды падали в сквер перед тюрь-

мою, и показали нам воронку, вырытую в земле ударившей гранатой. Все это говорилось совершенно просто и спокойно: в Киеве видывали все и не такие виды. В этот момент нас еще не обстреливали, и мы ждали, пока высланные вперед дозоры не выяснят положения, которое было совершенно темным.

На пути к тюрьме ко мне, увидев мои докторские погоны, подошли две сестры милосердия и просили взять их с собой. Это были Наталия Михайловна Холодовская и ее подруга, племянница киевского профессора Зеньковского, имени которой я не помню. Меня такая просьба поразила: рота шла не на прогулку, а в бой. Эти две девушки шли к незнакомым людям, присоединяясь в ответственный момент к роте, самоотверженно выполняя свой долг. Тут не могло быть ни рисовки, ни спорта. И с этого момента они все время были с нами.

Перестрелка разгоралась. Где-то недалеко стояла большевистская батарея и громила город. Но точно определить ее положение не удавалось. Показания встречных людей были сбивчивы. Все эти люди были растерянны. Влево, близко от нас, лежали цепи большевиков. Мы совершенно не знали, кто находится от нас влево и вправо, и не имели связи с другими добровольческими частями. Выслали небольшие группы людей в цепи на улицу налево и за тюрьму, в сторону неприятеля. Разведка пошла вперед.

В это время Волчанский отряд подошел к нам, так что против тюрьмы скопилась бóльшая часть.

И вдруг здесь разыгрался характерный эпизод, рисующий нравы этой войны. Еще прежде, чем мы подошли к воротам тюрьмы, откуда выходил судебный следователь. Его тут же ограбили свои: осетин-доброволец из Волчанского отряда снял с него меховое пальто. Вслед за ним вышел начальник тюрьмы, указавший на грабителя, которого тут же поймали с поличным и с триумфом отобрали награбленное. Внимание всех на минуту было занято этой забавной сценой. Но действительность скоро вступила в свои права: над нашей головой высоко разорвалась шрапнель и как градом обсыпала деревья, обивая листву

и ветви. Все инстинктивно встряхнулись, и рота прижалась к дощатому забору, расположившись вдоль него, словно деревянная ограда могла дать какую бы то ни было защиту. Защита была только психическая. Стреляли откуда-то из-за тюрьмы, но здание не защищало нас от высоких разрывов шрапнелей.

Начался жаркий обстрел нашей стоянки, о месте которой кто-то уже сообщил большевикам. Снаряд за снарядом рвался в высоте над нами, но как-то счастливо: раненых не было. Люди владели собой и стояли под огнем прилично. Я тщетно пытался прочесть на лицах их переживания. Свой жуткий страх каждый человек уже привык скрывать. Сестры держали себя совершенно выдержанно и, пожалуй, спокойнее, чем некоторые молодые офицеры, суетливо спрашивавшие друг друга, зачем мы здесь стоим. Напряженно ждали выяснения положения. Время тянулось долго, и нетерпение вместе с тревогой росли.

Вперед выдвинулся Волчанский отряд и их два орудия. Как и обыкновенно в бою, передвигались шагом, медленно, не спеша. Наши цепи держались за тюрьмой. Этот артиллерийский огонь по нашему адресу длился около получаса. Потом большевики начали обстреливать тюрьму со страшным остервенением и ружейным, и пулеметным огнем. Становилось жутко, и бездеятельность части, стоявшей у стены тюрьмы, начала тяготить. Пули градом обсыпали стены тюрьмы и жужжали вокруг нас. А мы тревожно поглядывали на мрачное здание.

В тюрьме суетились. Там стояла охранная рота, находившаяся во дворе. Арестанты волновались. Было приказано камеры не раскрывать и, если будут попытки бегства, стрелять. Во время обстрела в камерах началось буйство, и слышалось несколько выстрелов. Картина была мрачная.

Рота стояла без дела и без задачи. Где был противник, точно никто не знал. Волновались, в душе проклинали положение, но стояли довольно стойко под огнем и ждали приказаний. Когда по веткам деревьев хлестала шрапнель, люди инстинктивно жались к забору. Но большевики стреляли наугад и довольно плохо. Потерь у нас до сих пор не было.

Мое внимание обратил плотный молодой поручик в мундире Корниловского полка. Он вел себя так, что за него было стыдно. Вслух роптал, почему напрасно держат здесь роту, и говорил, что пора отходить. Я его пристыдил. Подействовало.

В это время кто-то обратил наше внимание на площадь, находившуюся сзади нас со стороны Львовской улицы. Там мы заметили короткое смятение, и площадь как-то сразу опустела.

– Смотрите, стреляют из окон!

И действительно: со всех сторон летели пули, хотя сзади не было никаких неприятельских частей.

– Опять жида. Вот сволочь! Наш путь назад отрезан, – слышалось кругом.

В это время к роте подбежал солдат и спросил командира. Он назвал себя посланным от какого-то струковского партизанского патруля и сообщил командиру, что сейчас большевики высадились с парохода на Подоле и что он послан предупредить нас. Его указания были сбивчивы и неясны. Командир ему не поверил. Да если бы и поверил – что могли мы сделать? Было ясно, что эта часть города уже потеряна.

Большевики надвигались спереди и слева, а справа, по нашим предположениям, должен был находиться отряд партизана Струка, который, однако, не подавал признаков жизни.

Спереди, медленно отступая, показался Волчанский отряд. Свернувшись, он прошел мимо нас, отступая под сильным огнем. Борьба и ведение боя в лабиринте улиц небольшими кучками, не имеющими связи между собой, была нелегка, тем более что силы противника были совершенно неизвестны.

Командир нашего отряда пошел в канцелярию тюрьмы переговариваться по телефону со штабом. Положение роты становилось опасным: противник обстреливал нас со всех сторон и был совершенно невидим и недостижим для нас. Скоро из ворот тюрьмы вышла охранная рота и тоже отступила, вероятно, получив соответствующее приказание. Камеры остались запечатными, и во дворе оставались только тюремные надзиратели. По

временам изнутри слышались беспорядочные крики: то волновались заключенные. Тюремная администрация держалась около нас и решила до последнего момента не бросать тюрьмы и отойти только с нами.

Полковник Клеопа долго добивался у телефона связи со штабом. Когда он наконец добился, оказалось, что штаб уже ушел, и по телефону никто не ответил.

По-прежнему стоял ясный осенний день, солнце приветливо светило на взбаламученный город. На улицах кроме боевых частей никого не было. Люди, хотя и волновавшиеся, не суетились, не теряли ни строя, ни дисциплины. Но зато на душе у каждого был далеко не рай. Всякий понимал, что на этой окраине города наша часть теперь одна, отрезана от своих и каждую минуту может быть окружена и уничтожена. Тянуло назад, и ропот на то, почему не отходим, готов был сорваться с уст каждого. Поминутно спрашивали друг друга, где полковник, почему он так долго задерживается у телефона.

Наконец командир вышел из калитки. Мы были здесь одни. По полученным сведениям, большевики уже далеко продвинулись в глубь города и зашли нам в тыл, отрезав отход. Артиллерии у нас не было, а натиск усиливался. Послали отозвать назад цепи и, свернувшись в колонну, пошли назад.

Арестанты сами раскрыли камеры, и тюрьма в мгновение ока разбежалась. Тюремная администрация присоединилась к нам, и мы стали отходить вместе медленно и в полном порядке.

Отход был жуткий. Сзади напирали большевики. Отовсюду из окон на нас летели пули. Говорили, что Галицкий базар уже занят большевиками и что через Сенной базар нам придется пробиваться. Однако там еще стояла в боевом порядке наша третья рота. Она теперь свернулась и стала отступать вместе с нами. На Житомирской стало известно, что вся часть города до Крещатика оставлена Добровольческой армией. Время от времени над нами рвались шрапнели, но мало на них уже обращали внимания: большевики бессмысленно обстреливали весь город. Ближе к Крещатику на тротуарах попадалась пу-

блика. Горожане уже давно привыкли к уличным боям, и путешествия под огнем ни для кого не было новинкой.

На одном из перекрестков стояли люди. Теперь они глядели на нас иначе, чем утром. Мне становилось стыдно: зачем отходим, не выполнив своей задачи, не сбив большевиков и только напрасно простояв под обстрелом много часов?

В одной группе выделился высокий лавочник-еврей, довольно прилично одетый. Он сильно жестикулировал, лицо его было возбуждено, он иронически улыбался и кричал по нашему адресу. Его сначала не понимали. Но когда я поравнялся с ним, то ясно услышал:

– Уходите! Уходите! И чтоб вам не возвращаться, чтоб вам!..

Стало горько на душе. Так вот как нас теперь провожали, уже побежденных и изгоняемых... Его старались не слышать и, потупив головы, ряды проходили дальше. Не до расправы с негодяем было теперь. Надо было успеть занять переход через Крещатик. Не хотелось слышать этого издевательства.

Морально отступление несравненно тяжелее наступления. Все время люди с тревогой озираются и назад, и вперед. Боятся не успеть и быть отрезанными. На душе не бывает ни радостно, ни спокойно. Пассивный бой утомительнее активного наступательного порыва. Мы должны были отходить потому, что все слева и сзади нас было оставлено. Говорили, что евреи давали знать о каждом нашем движении большевикам, и трудно было решить, сколько в этом было правды и сколько боязливой фантазии. На Институтской, недалеко от комендатуры, над нами совсем близко один за другим разорвались два снаряда. Вся рота инстинктивно шарахнулась в сторону к тротуару и пошла вдоль забора, как будто бы опасность там была меньше.

Замечательна эта защитительная реакция. Каждый раз уже после того, как разорвется снаряд, люди шарахаются и жмутся к стенам здания, хотя разум говорит, что это не имеет никакого смысла.

В здании генерал-губернаторского дома уже никого не было. Весь город до Крещатика был оставлен нашими частями, и мы медленно

стали отходить к Никольским воротам. Говорили, что на Московской улице за Арсеналом мы найдем генерала Непенина, который командует боем и даст нам новые боевые задания. Туда стягивались добровольческие части. В восточной части города в широком масштабе и ярких красках проявилась новая и своеобразная картина. Начиная от Крещатика, по тротуарам к Днепру тянулись вереницы беженцев. С утра, когда обрисовалось положение, жители стали уходить сплошной лентой вслед за отходящими войсками. Это был настоящий *исход*. Уходили тысячи людей, в чем есть, с узелком и лишь в лучшем случае с чемоданчиком в руке, пешком. Шли горожане, мужчины, женщины, старики и дети. Преимущественно интеллигенция, но были между ними и сотни простолюдинов. Уходили потому, что знали большевиков и выхода другого не было. Вместе со вторжением большевиков начнется резня, уничтожение тысяч людей и грабежи. Пойдет расправа за встречу добровольцев. Начнется месть евреев, которые сделали точный подсчет всем тем, кто запятнал себя сочувственным отношением к добровольцам. Уже передавали, что на окраинах идет резня.

Уходившие шли без всяких планов и надежд, стараясь лишь уйти от места боя. Картина была грандиозная и хорошо показывала отношение населения к большевикам.

Ликовало только еврейство, повсюду радостно встречая большевиков. На крышах домов и в окнах уже показались пулеметы, стрелявшие в спину отходящим добровольцам. Повсюду шел уличный бой, управлять которым было необыкновенно трудно.

Сильно запутало положение опубликованное около 11 часов утра объявление властей о том, что вторжение большевиков ликвидировано и что опасности больше нет. Успокоенные жители в большинстве поверили и спокойно оставались в домах, думая, что большевики отбиты. Это объявление было основано на заблуждении и преждевременном оптимизме и послужило для многих ловушкой: многие оставшиеся были убиты большевиками.



Около часу дня большевиками была занята часть Крещатика, и все, кто только мог, бросились уходить. Наш отряд отошел последним к четырем часам дня. Даже учреждения и власти не успели эвакуироваться, и около полудня начался беспорядочный отход каждого за свой страх.

Выехал за Днепр и генерал Драгомиров со штабом, и самый штаб генерала Бредова, командовавшего войсками. А за ними, по большей части пешком, потянулись беженцы.

Печально и стыдно было видеть, как вместе с гражданским населением и жителями-беженцами уходили сотни военных – офицеров, солдат, вся государственная стража. Военные в этой волне людей частью были вооружены, частью без оружия. Они забыли свой долг и не считали нужным стать в ряды с винтовкой в руках в защиту погибающих.

У Никольских ворот уже стояли воинские части, и медленной лентой двигались вереницы повозок отступавших обозов вперемежку с беженскими фурами. Отход шел на Дарницу через Цепной мост. Здесь мешались густою массой войска и жители. Все шли мерно, спокойно. Не было ни бегства, ни паники, ни суеты, ни даже давки.

Наша рота вышла на Московскую улицу и остановилась колонной против здания 5-й гимназии. Там, у поворота на спуск к Днепру, посреди улицы спокойно стоял командовавший боем генерал Непенин. Наш командир направился к нему за приказами.

Стоя в строю, я с интересом наблюдал грандиозную картину отхода.

Около меня невдалеке держались сестры милосердия, все время нас не покидавшие, и присоединившийся по пути мой коллега доктор Яковлев, военный врач. В это время нас обогнала двуколка Красного Креста. На ней уезжали врачи Управления Красного Креста доктора Андерс, Исаченко, Тылинский. Они были в недоумении и совершенно не знали положения дел. В последний момент перед занятием большевиками улицы, где они жили, они собрались и ушли, наскоро забрав немного перевязочных припасов.

Положение было неясное. За добровольцами оставался только берег Днепра с горой до Никольских ворот. Бой шел не с таким оживлением, как раньше. Точно не могли сказать, заняты ли вокзал и железная дорога. Но было ясно, что мосты через Днепр в опасности.

Наша рота получила приказание занять все три моста, а нас было всего 140 человек. Мы должны были пропустить войска, отходящие за мосты, затем в случае наступления большевиков вести с ними бой. Центром был самый ответственный мост – Цепной. Часть роты должна была занять железнодорожный мост, другая – так называемый Черниговский. Мы двинулись по спуску и вышли из сферы огня. Сзади рвались снаряды и трещали пулеметы. Где-то что-то делалось. Генерал Непенин был вполне выдержан и невозмутим.

В здании 5-й гимназии работал перевязочный пункт. Туда непрерывно поступали раненые, и, увы, как всегда во всех войнах, около него вертелись всевозможные дезертиры и уклоняющиеся от участия в бою. А их было немало и в Добровольческой армии.

Всеякие бывают люди, и поучительно, что каждая группа, каждый тип людей имеет вполне определенные приемы своих действий, и в каждой картине жизни они занимают свое место. Но здесь этих дезертиров было слишком много...

Надвигался тихий, ясный вечер. Природа не замечала того ужаса и гнета, который царил теперь в душах людей, и заходящее солнце посылало свои мягкие осенние лучи на спокойные воды Днепра. Зеркальная гладь воды не отражала ненависти и злобы, которые теперь царили в сердцах людей. Природа спокойно засыпала в осеннем вечере, когда людская буря только начинала завывать, и звонкая дробь пулеметов немолкающими переливами разносилась в прозрачном воздухе.

Наша рота длинной вереницей гуськом спускалась с крутой лестницы от Аскольдовой могилы к Цепному мосту и рассыпалась в охранение, пересекая шоссе. Мое место было около канавы у самой дороги, по которой тянулась волна беженцев. Меня кто-то окликнул по имени и отчеству: в простой повозке, груженной вещами, на которой разместилась вся

семья, уходил в беженство мой коллега профессор М. Н. Лапинский. При этих встречах мы перекидывались несколькими словами со знакомыми. Утешать их было нечем – цепи у мостов красноречиво говорили об участи Киева. Я думал о том, что в случае полной неудачи и наступления большевиков за Днепр их положение будет хуже нашего. Мы все же боевые части, а беженцы – жертвы, обреченные на произвол судьбы. Их убивали и большевики, и бандиты, и просто мужички, прельщенные грабежом.

Рота рассыпалась в охранение, а я прошел с командиром роты в отведенное помещение, где надо было на всякий случай устроить все необходимое для перевязочного пункта. Там были и присоединившиеся к нам сестры. В нашем штабе теперь сосредоточилось все управление по охране мостов.

Рота прошла Цепной мост и выстроилась у входа со стороны Слободки. К нам подходил генерал Бредов. Он поздоровался и обошел роту.

Бредов был моложавый, красивый генерал, командовавший 7-ю дивизией, которая занимала Киев. Он очень спокойно дал задачу, и взводы направились каждый по своему назначению.

Полки Бредовской дивизии были в составе немногих сотен людей, и громкие названия не отвечали содержанию. Была здесь так называемая гвардия, то есть части ее с полковником Стесселем во главе. Направо, впереди Черниговского моста, вели бой части 15-й дивизии, а где-то впереди дрался партизанский отряд полковника Струка, об измене которого с утра разнеслись слухи по городу.

Этим громким именам отвечала в действительности буквально горсточка людей. Были отряды в 20–40 человек. Каждый отряд действовал вполне самостоятельно. Здесь были выработаны особые приемы боя, совершенно непохожие на то, к чему мы привыкли во время настоящих войн.

Мы заняли мосты. Роли были расписаны поодиночке. Центр командования перекинулся за Днепр. Я снова встретил здесь коляску, запряженную четверкой, в которой сидел Стессель. Этого достойного офицера здесь уважали, и я много раз в эти дни встречал его в районе

боевых действий. Вдоль шоссе и по дворам стояли обозы. Знакомый навозный запах коновязей у биваков мешался с дымом костров, на которых грелись неизбежные котелки с чаем. У одного из таких костров я узнал чеченца в бурке из Волчанского отряда, того самого, который утром ограбил судебного следователя у тюрьмы. Он раздувал теперь костер и шомполом выкатывал печеные картошки из золы. Об этих кавказцах теперь говорили с пренебрежением: мастера грабить, а не сражаться. Как он очутился здесь у костра?

У моста я встретил знакомого, содержателя колбасной фабрики, у которого недавно вылечил тяжело больную дочь. Я улучил свободную минуту и воспользовался его предложением накормить меня. Мещане Слободки жили великолепно. Стол ломился от яств. Мы говорили весело и оживленно. Нас, добровольцев, принимали хорошо и на нас надеялись. Были уверены, что мы отобьем большевиков, и во всем были предупредительны. Мы сидели за столом так дружно и уютно, как будто там, за мостом, не рвались снаряды, не гибли люди, и грозные раскаты пулеметов и ружейной трескотни не нарушали нашего мирного разговора. Глухо слышались удары орудий. Они становились реже, и сведений о ходе боя дальше не получалось.

Я вернулся к мосту. Пришло донесение, что железнодорожный мост нами занят и что там есть наш бронепоезд, что вокзал еще в наших руках. Возмущались тем, что среди беженцев было много офицеров, даже с винтовками, которые уходили с места боя.

Рассказывали, как генерал Драгомиров останавливал их, формировал из них отряды и посылал в состав офицерских рот.

Все еще надеялись, что удастся удержаться, хотя Бог ведает, на чем основывалась эта уверенность. Каждый надеялся на других и верил в других, но не в себя и не в свою часть. Все грезилась миражи подкреплений. Сколько дерется и наступает большевиков, никто не знал. Линия Днепра, во всяком случае, была защитой, и ее надеялись удержать. А там придется вновь брать Киев.

Носились слухи, что подходят знаменитые полки Добровольческой армии: Дроздовский и Корниловский. Киевляне хорошо знали Якутский полк Бредовского отряда, но он теперь был под Черниговом, взятым только три дня тому назад, 27 сентября. Один и тот же полк в немного сотен человек брал Царицын, Киев, Полтаву, Чернигов. Передавали, что этот полк теперь экстренно вызван и ждут его с часу на час.

Но не было заметно ни страха, ни даже излишнего волнения. Когда теперь взвешиваешь положение, то удивляешься, как спокойно переживали люди эти невероятные катастрофы. В жизни все это происходило гораздо проще, чем на сцене или в романах, которые потом будут описывать это время.

Было удивительно то, что еще мало понимали всю мерзость и грязь революции. Даже наша офицерская рота в эти тяжелые дни на привалах и в часы отдыха заводила разговоры, проникнутые керенщиной. Больше всего опасались, как бы не показаться монархистами и не запеть русского гимна.

Мимо нашей позиции продолжала катиться волна беженцев. Передавали, что видели среди уезжающих всех знакомых: профессоров, врачей, юристов, чиновников, людей свободных профессий и самых либеральных общественных деятелей. Только не было ни одного еврея. Их сердца тяготели к большевикам, и они оставались в городе.

Русский интеллигент даже и теперь, уходя от смерти и ограбления под защитой добровольческих штыков, не клеймил своих врагов и палачей, а изливал свою критику на распоряжения добровольческого командования и поминал лихом не революцию, а старый режим. Тем страннее было видеть этот почти поголовный отход всех тех, кто как-нибудь мог уйти от наступающего рая большевиков.

И подумать нельзя было высказать вслух сочувствие монархии в обществе офицеров нашей роты на привалах, когда мы под звуки канонады пили чай. Сейчас махали руками и говорили: «Что вы, что вы... только не монархия, не старый режим...».

Конечно, не признавалось и здесь никакого авторитета и все критиковалось. Сейчас нападали на генерала Драгомирова, и каждый считал своим приятным долгом лягнуть начальство. И чем дальше в тыл, тем больше. Лучшие идейные борцы и мстители гибли в боях, а благодушный интеллигент-керенец уходил в тыл и пускал фонтан словесных шрапнелей не в неприятеля, а в своих. Не слышалось критики и ругани по адресу большевиков. О них даже мало говорили.

Временно мы были вне сферы огня, и только несколько снарядов случайно разорвалось вправо от нас над рекой, вблизи шоссе.

Слободка встретила нас приветливо. Здесь ненавидели евреев и вместе с тем боялись их. За время добровольцев здесь уже громили их, и теперь они почти все скрылись в городе. Остались немногие.

Как и всегда, нас окружили жители, глядевшие на нас с любопытством и вопросительно. Они жаждали утешительного ответа: удержимся ли мы?

– Ну конечно! Это недоразумение. Конечно, большевиков отобьют! Ведь это только на один день они заняли Киев.

Но мы хорошо знали, что значит один день расправы большевиков. Там могли погибнуть тысячи невинных жертв.

К ночи бой усилился. Холодало. Устраиваться на ночлег в эту ночь было нельзя. Мы ежеминутно ждали боевых приказаний, и за мостами надо было следить зорко.

Когда стемнело, человек двадцать офицеров со штабом нашего отряда столпились в телефонной комнате. Это была небольшая клетушка в деревянной избе, во втором этаже, куда вела темная кривая лестница. У аппарата сидела барышня. Телефон еще работал с Дарницей, но с Киевом уже некоторое время переговоры не удавались.

Мы расположились кто как мог. Я сидел на полу у стенки, протянув ноги. Все были наготове, с винтовками в руках, и настроение духа было напряженное. Шли обычные разговоры, какие ведутся на постах у линии огня. О чем говорилось? По существу – ни о чем. Повторяли те же слухи и верили, что отобьют большевиков.

По телефону из Дарницы сообщили, что там спокойно. Но несколько позже, около 10 часов вечера, когда было очень темно и тускло горевшая лампа мрачно освещала берлогу, в которой мы ютились кучей на полу, в полусидячих позах, разыгрался довольно глупый инцидент.

Командир роты, охранявшей мосты, соединился с Дарницей, желая получить сведения о состоянии железнодорожного моста. Телефонистка вызвала станцию и с недоумением на лице чуть не выпустила трубку из рук:

– Кто у телефона?.. Что такое?..

Полковник, услышав тревогу в голосе телефонистки, поспешно взял трубку в руки:

– Кто говорит?

– Что нужно, товарищ?

«Черт знает что! Ведь невозможно, чтобы Дарница была в руках большевиков!»

– Кто у телефона?

– Комиссар... – потом глупый смех.

Шутка... в этот жуткий час!

Железнодорожники и телеграфисты оставались верны себе. Среди них трудно было найти порядочного и интеллигентного человека.

В Слободке все было тихо. До 11 часов ночи на улицах горело электричество. Движение из города почти замерло. За горами со стороны Никольских ворот и Арсенала по-прежнему слышались раскаты стрельбы. Очень мы боялись за Арсенал. Пока однако сведений о его измене, ожидавшейся с часу на час, не было.

Около 11 часов телефон соединился с Киевом. Станция отвечала, но ответы были кратки и неопределенны. Мы заключили, что что-то стесняет телефонистку: уж не комиссар ли торчит у телефона? Добиться сведений о положении дела в Киеве не удалось.

Через мост провозили раненых, но я их не задерживал: за вторым мостом, верстах в трех, работал перевязочный пункт, открытый врачами Красного Креста. Однако надо было точно ориентироваться,

куда направлять раненых, и мне поручено было сходить на этот пункт и наладить дело.

Ночь была холодная, октябрьская, темная. Было плохо видно, но по шоссе можно было идти свободно. Слободка спала. В непроглядной тьме все было тихо. Второй мост тоже охранялся, а за ним недалеко проходила ветка железной дороги на Черниговский железнодорожный мост, откуда все еще грозила опасность. Туда напировали большевики, и держать связь с этим мостом было трудно.

Перевязочный пункт был расположен в здании волостного правления. Это была одна из самых мрачных картин, какие мне приходилось видеть во время войн. Не могло уже здесь быть управления медицинской помощью: врачи должны были ориентироваться сами. Там работали врачи Андрес, Исаченко и Тылинский, с которыми я встретился вечером по ту сторону моста. Тут же орудовал большевик-врач А., женатый на родственнице Раковского. Этот предатель уже внедрился в ряды Добровольческой армии, чтобы лучше делать свое разрушительное дело.

В полуосвещенной комнате оперировали и перевязывали раненых. Несколько десятков их уже перевезли сюда из города, с места боя. Были тяжелораненые. Все было приготовлено наскоро. Работали тревожно, беспокойно, не будучи уверены в том, можно ли здесь долго держаться. На месте боя никого из врачей, кроме меня, не было, а потому я был в курсе дела, и мы сговорились, что в случае тревоги я своевременно дам им знать, и тогда они уйдут в Бровары. Мы полагали, что Чернигов еще наш и что путь отступления еще существует. На пункте не было самого необходимого. Люди были измучены и голодны.

Перевязочный пункт во время боя – место, где лучше всего можно ориентироваться в положении дела. Раненые прибывали из разных мест, и мы знали, что Киев еще держится, что идет жестокий бой у Никольских ворот и на спуске за Арсеналом.

Как раз оттуда привезли теперь на извозчике тяжелораненого. С ним был его товарищ, вольноопределяющийся Корниловского полка с тремя «Георгиями». Последний был крайне возбужден. Задыхаясь от устало-



сти и усилий при внесении раненого в комнату, он не прерывая хриплым голосом возмущался:

– Нет никого... Никого там нет... Мы бьемся одни... Все в тылу... Любят воевать в тылу...

А сам-то он?.. Разве его дело – везти раненого и уходить из строя?

Но так уж построена психика человека, что он тушит свою совесть в осуждении других. Обвиняют других в том, в чем виновны сами... Он сообщил нам, что в упорном бою они горсточкой отбили большевиков и продвинулись теперь до самой Бессарабки.

Другие сообщили, что у Никольских ворот идет жестокий бой и что большевики напирают через Мариинский парк. Там отчаянно сражаются маленькие самозванные отряды. Там был Волчанский отряд и какой-то особый гвардейский кирасирский эскадрон, само собою разумеется, без лошадей. Эти горсточки бойцов отбивали пока все натиски большевиков и не допускали их к спуску. Все же этот успех уже давал кое-что.

Я поспешил назад к мостам.

Эти три версты я шел один в совершенном мраке. И вправо и влево Слободка, весной заливаемая водою и напоминающая Венецию, теперь лежала внизу от насыпи, и в ней все было жутко тихо. Со стороны города, спереди, неслась не умолкающая канонада. Симфония эта отбивала свой ритм мерными ударами орудий. Бой не только не затихал, но все усиливался. Как трудно было угадать по этим звукам, куда клонится успех.

Наверху, на ясном небе, холодно сверкали неприветливые осенние звезды. И вспоминались такие же батальные ночи, когда под этим сверкающим алмазными точками куполом люди предавались самоуничтожению, в дикой борьбе лились потоки крови, и страх своими оковами сжимал души тысяч гибнущих людей.

Сколько их в моей длинной, полной приключений жизни! А я ведь был только гость-любитель в этих драмах.

Мрак ночи на войне тяжел, и многое переживает человек в своих тайных думах, и сумрачной становится душа его.

Я всегда внимательно вглядывался в эти необычные картины и часто думал: какая сила заставляет эти маленькие группы героев-борцов, самых серых и малоизвестных людей, героически драться и незаметно гибнуть? Против них шли опьяненные кровавыми лозунгами и инстинктом грабежа толпы красноармейцев, гонимые фанатиками и лжецами, как бессмысленное стадо. Красная волна все разрушала в бессмысленном экстазе и топила свой стыд и рассуждение в злобе и зависти покою и богатству.

А эти люди? Что двигало ими? Они не искали славы, ибо гибли *без имени*. Потомство не узнает о них и не оценит их подвига. Для тех, кто знал соотношение сил и печальную действительность положения борцов с революцией, – немного было надежды победить. А дрались они в эти дни как львы. Волчанцы сегодня, говорят, без счета ходили в атаки. Из всего отряда кирасир счетом 80 человек осталось в живых пятеро. И не бежали, а держали город в своих руках. Никто свыше ими не командовал. Эти маленькие группы людей сами знали, что надо делать.

Их скоро забыли. И Родина потом забудет, что были люди, которые за нее боролись отчаянно, бескорыстно, безнадежно.

У Никольских ворот десятки людей держались против тысячи и отбивали все атаки.

Евреи говорили, что «добровольцы – это грабители».

Нет, те, кто дрался там в ту ночь, были не грабители. Это были герои. Это были русские юноши, слепо преданные долгу и беззаветно умиравшие во имя Родины.

Я весь ушел в созерцание. Это полное одиночество во мраке черной ночи и жуткой тишине наводило на мирные и глубокие думы. Становилось на душе хорошо, и она примирялась со смертью. Красива была эта глубокая и страшная для людей ночь. И царила над ней душа человека, одиноко размышлявшего над ее тайнами. В глубокой, стального черного цвета вышине, усеянной мерцающими звездами, царил вековой покой и величаво-стройное движение светил. Внизу, в непроглядном мраке, ко-

роткой вспышкой бурлила ненависть и злоба; люди дрались и убивали друг друга для того, чтобы бесследно смести с поверхности земной коры свою историю, мелькнув короткой блестящей на ленте прошлого.

Я вернулся в телефонную комнату. Усталые люди томились в полусне, стараясь принять возможно удобное положение и вытянуть затяжелевшие ноги. Дремалось, и время, не существующее для Вселенной, медленно тянулось в душе человека. Хотелось, чтобы ночь минула скорей.

После полуночи в комнату вошел генерал Непенин с начальником штаба и подошел к телефону. Отсюда он теперь должен был руководить боем. Нам пришлось очистить комнату, и мы приютились в зале кинематографа, неудобно прикорнув на стульях и впав в полузабытье.

Время для усталой психики перестало существовать. К рассвету канонада со стороны города еще усилилась. Всю ночь томились мы в тревоге и рано поднялись. Передавали, что в городе большевики отброшены за Крещатик, до которого наши проникли вчера, и что бой для нас идет успешно. Передавали утешительные слухи, что к нам подходят войска, и называли Дроздовский полк. Но то, что видел я, мало говорило о полках, то были горсточка солдат и офицеров. Рассказывали о героической борьбе партизанских отрядов и повторяли слух об измене Струка, который потом не подтвердился. Оказалось наоборот: Струк был отрезан от Черниговского моста и оставался в тылу у неприятеля со своим Малороссийским отрядом. Говорили, что уже видели в Киеве народных комиссаров – Раковского и Затонского. Последний – лаборант физической лаборатории, как и многие профессора и преподаватели Политехникума, делал свою карьеру на левой политике, а не на науке. Грязный, грубый и жестокий, он был одним из главных виновников киевских убийств. Такая же кровожадная и глупая была его жена. Трудно было разобрать, был ли он простым мошенником или глупым фанатиком, но нагл был до беспредельности. Жена же его была столько же глупа, сколько и плохим врачом.

Однако появление комиссаров в Киеве вчера было лишь слухом. В один голос все говорили только о евреях. Они предавали, доносили, стреляли из-за углов и окон, ставили пулеметы на чердаках и помогали большевикам.

Всю ночь редким потоком шли беженцы через мост. К утру этот поток приостановился, и с первыми хорошими известиями люди потянулись обратно. Так неустойчива толпа.

Наша рота должна была остаться на мостах, и я получил командировку в город, чтобы разузнать там положение и использовать свою работу в действующих отрядах.

Утро было ясное и светлое, и я медленно шел в гору. Уже у Аскольдовой могилы стали попадаться трупы. Наши части действительно продвинулись вперед, и на Московской улице против 5-й гимназии можно было видеть картину преддверия боя. На перевязочном пункте опять кипела работа, кормили офицеров и солдат с позиции. Но позиций в тесном смысле слова не было. По всему городу по ту сторону Крещатика шел уличный бой. Я шел налегке, имея при себе только винтовку с патронами и привинченным штыком и несколько перевязочных пакетов, направляясь к Никольскими воротам. Там всю ночь шел бой. На Мариинский парк напирала большевики, их отбивали небольшие кучки добровольцев. Кирасиры и волчанцы десятками ходили в атаку против сотен красноармейцев. Теперь здесь было пустынно. Движение по Александровской улице было малое. Мариинский парк был пуст. Со стороны Бибиковского бульвара и Шулявки слышалась ружейная пальба и переливы пулеметов. Я шел один и спустился к Царской площади. На углу в различных положениях на мостовой валялось около десятка трупов красноармейцев. Это были безусые деревенские парни. Фанатики-интеллигенты, разжигавшие костер революции, умели посылать на убой этот скот, пробудив в нем инстинкты грабежа и ненависти. Глядя на них, я думал: каков смысл всей этой бойни? Трупы были уже раздеты и ограблены дочиста.

Так было везде и всюду за эти годы войны. На полях сражений обирали убитых и раздевали. Кто грабил? Все. Тут не было ни пред-рассудков, ни излишней сентиментальности. Идет человек-воин мимо, смотрит – у убитого сапоги получше. Недолго думая он, отложив винтовку в сторону, сядет, примерит, переменит, бросит тут же свои и пойдет себе дальше, нимало не придавая значения тому, что сделал, и даже не вспомнит об этом потом.

Здесь уже рвались редкие шрапнели, и Крещатик был безлюден. Тревожно проходили люди. Меня не раз останавливали жители, сообщая о том, что тут во дворе у них лежит убитый, и спрашивали, что делать с трупом. Что можно было делать? Пожмешь плечами, и только. Повсюду ведь шел бой, и люди как будто существовали для того, чтобы их убивали.

Я шел по направлению к огню. Дошел до Думской площади. Временами становилось жутко, когда вблизи ударяли гранаты, и немногие люди, бывшие на тротуарах, бросались под защиту стен, прижимаясь к ним. Со стороны Шулявки большевики обстреливали город, без плана, без системы. Встречные офицеры сказали мне, что направо, у Владимирской горки, стоит гвардия и что бой идет теперь на Владимирской, у театра, и распространяется по Бибииковской и Фундуклеевской к Святошину.

Я поднялся по Маложиитомирской и, проходя мимо моей квартиры по Михайловскому переулку, на минуту зашел к себе. Хозяева рассказали мне, как тревожно провели они вчерашний день. Это место вторые сутки непрерывно бомбардировали. Ко мне в комнату заходили какие-то люди и под предлогом нужд раненых забрали бутылку спирта и перевязочный материал, предупредительно отданные им моими хозяевами. Конечно, спирт пошел не на раненых...

Надо было спешить, и я пошел дальше.

На Софиевской площади было жутко. Здесь часто рвались снаряды. Вдоль фасада присутственных мест бодро ходил стражник с винтовкой

и всем, кто показывался на площади, знаками и криком давал сигналы, чтобы переходили на ту сторону под защиту здания: там от снарядов было безопаснее. Вот исполнял же здесь свой долг человек в одиночку, хотя никто его и не контролировал.

Привыкнув все анализировать и наблюдать, я залюбовался на стражника, несшего свои обязанности с пафосом заботливости о безопасности других, и думал: ну а меня сейчас какая сила гонит сюда? Зачем я пробираюсь и куда, когда мог бы спокойно сидеть за мостом? И не было во мне никаких логических мотивов этого торчания в районе боя, не было ни героизма, ни фанатизма долга. Так просто, черт знает что меня тянуло вперед... Я только знал, что оставаться вне этого безобразия я не мог. Конечно, можно найти поэзию и в бое. Но, право, когда участвуешь в этой каше и вся душа ваша трепещет, объята страхом, – поэзии и красоты здесь мало. По крайней мере, ее надо уметь найти. Или, вернее, ее находишь позже, когда вспоминаешь, как умирали люди, как помогали другим. Подвигов тут можно найти несчетное число. И порою душа человека предстанет пред вами во всей своей красе. Но не верьте человеку, говорящему вам, что разрыв снаряда около него, или стон умирающего, или разодранное ударом штыка тело вашего соседа было красиво... В эти жуткие моменты в душе человека царит один лишь смертный страх...

И теперь, когда мне надо было перейти эту площадь, на которой часто ложились снаряды, в душе моей царил животный страх, и я должен был делать большие усилия, чтобы победить его. Ноги невольно подгоняло что-то вперед: хотелось не идти, а бежать.

Ко мне присоединился молодой поручик, и мы, перейдя площадь от Михайловского монастыря, пробрались вдоль стен присутственных мест и направились к Владимирской улице.

Гвардии я не видел. Направо, на Подоле, говорили, сражался Струк. Главный же бой шел налево, у театра. Мне попались два-три раненых, которых я перевязал. Они сообщили мне, что главная опасность в уличном бою – сзади. Стреляют из окон евреи.

Здесь улицы были совершенно пусты. Повсюду визжали пули, но на них уже не обращали внимания. Но когда с грохотом рвался вблизи снаряд, каждый раз замирало сердце. Здесь, не на виду у людей, а в одиночку, труднее было бороться со страхом и владеть собою. Меня не тянуло идти назад, а просто было страшно, пока не подойдешь к своим. Надо было зорко смотреть, чтобы не попасть случайно к большевикам. А где были наши цепи, я точно не знал.

Когда я подошел к театру, большевиков уже отбили дальше. Видно было, как редкой цепью шли наши по улице и велся напряженный бой. По временам навстречу попадались самые обыкновенные обыватели, шедшие по своим делам по обстреливаемым улицам. По ассоциации вспомнилась сцена из романа Золя, как крестьянин в районе поля сражения спокойно пахал свою землю. Сейчас же мысль пролетела в далекую Маньчжурию, где во время одной рекогносцировки я видел повторение этой сцены в другой форме: китайский «ходя» – так называли их русские – мотыгой ковырял свой участок поля, по которому только что прошла наша наступавшая цепь.

Жизнь идет своим порядком, и ничто не собьет ее с пути, наметенного вековым течением событий и привычек. Удивительно, как даже в такие моменты часто в психике проносятся короткие ассоциации прошлого.

Мелькнет обрывок кинематографической ленты памяти, восстанет из давно забытого яркая картина прошлого и снова погаснет. Действительность вновь завладеет психикой, и снова слышится неопределимый звук полета пуль, и грохнет невдалеке граната.

Я озирался иногда кругом, и взгляд мой падал на окна домов. Часто и мне казалось, что оттуда стреляют. Потом я сомневался и думал, не плод ли это боязливо-возбужденной психики. По большей части в окнах ничего не было видно. Но иногда оттуда на меня, одиноко шедшего с винтовкой в руке по улице, глядело любопытное лицо. Выглянет и тотчас скроется, словно опасаясь, что именно вот теперь, сейчас может влететь туда непрошенная пуля, а тогда, когда лицо выгляну-

ло, было безопасно. И боязливо спрячется. Иногда я приободрялся и думал: «Бог знает, сколько правды в этих повальных сообщениях о стрельбе сзади из окон».

И при этой мысли невольно оглядывался назад. Там все было также пусто.

Печальная действительность, однако, скоро убедила меня: на моих глазах был ранен в спину солдат.

Теперь, чем ближе к цепи, тем осторожнее надо было пробираться. Часто попадались навстречу наши без погон. А ведь погоны были единственным отличием наших от большевиков.

На углу Фундуклеевской и Тимофеевской улиц стреляло наше орудие. Добровольцы шли редкой цепью, и тут же среди улицы на руках подвигали орудие, почти в упор паля из него в большевиков. Сражались беспорядочно, то группами, то в одиночку.

Я со встреченным поручиком влился в немногочисленную цепь, в которой было человек сорок. Это были части Волчанского отряда. Цепь продвигалась по направлению к Святошину.

Как обыкновенно бывает в бою, стреляли, перебежали, но почти не ложились и не задерживались. Путь вперед пробивала пушка, и большевики легко разбежались. У одного из переулков, у Коммерческого училища, вправо от меня обнаружилась группа из трех-четырех (пересчитать точно не было времени) большевиков, быстро отходивших к своим. Они стреляли в нас, и как-то вышло так, что один из них очутился совсем недалеко от меня. Он навел на меня винтовку, выстрелил, и пуля пролетела мимо моей головы. Я вовремя заметил красноармейца и, хорошо прицелившись, выстрелил в него в тот момент, когда он щелкнул затвором, чтобы выстрелить в меня еще раз. Он пошатнулся, опустился на землю, но, не выпуская винтовки из рук, вновь стал наводить ее на меня. Я не могу сказать, не имел ли я времени вновь натянуть затвор винтовки или просто чувство самосохранения побудило меня броситься к нему. В тот момент, когда он пытался прицелиться в меня в упор, я сбил его винтовку в сторону и в него, по-



лузапрокинувшегося назад, воткнул штык в живот. Он издал какой-то неопределенный звук.

Я сознавал, что делаю, и мне казалось, что я ясно наблюдаю как свои переживания, так и то, что происходит. Но как психолог, я хорошо знаю, что, быть может, все это дополнила фантазия и память потом. Да и чем же, по существу, отличалась эта картина от других, ей подобных?

Теперь убивал я. Кроме чувства злобы в душе моей ничего не было, и я жадно глядел в лицо человеку, лежавшему на земле, охваченный радостью победы.

– На! Получай, мерзавец!..

Так мыслил и чувствовал, или, по крайней мере, теперь думаю, что так чувствовал, я, человек, бывший раньше ученым, интеллигентным и гуманным.

Но долго рассуждать не приходилось. На пальцах рук, сжимавших винтовку, еще оставалось ощущение мягкого, когда острие штыка пронизывало тело человека. Чувство самосохранения заставило меня обернуться – ведь где-то близко были и его товарищи.

В этот момент раздался оглушительный удар, и нас обоих засыпало целым ворохом земли и мусора: снаряд ударил в стену рядом.

Когда я отряхнул одежду и убедился, что цел, – я уже не смотрел на человека, которого только что убил, а, зарядив винтовку, бросился к своим. Красноармейцев здесь уже не было, а наши уже ушли вперед.

Мы подвигались все дальше к Святошинскому шоссе. Шла ожесточенная стрельба. Бой был тяжел. Отставать от своих теперь было нельзя. Сзади шел тот же беспорядочный уличный бой без плана, без руководства.

Удивительные были люди эти добровольцы, здесь сражавшиеся. Никому неизвестные, они шли, делали свое дело и умирали. Приходил какой-то человек, никому неизвестный, жил с отрядом несколько дней, сражался, умирал, и никто даже не интересовался потом узнать, кто он был, зачем он пришел сюда. Кто был трусом, мог отлично уйти, отстать от цепи, и о нем никто бы и не спросил.

На войне настоящей я никогда не видал таких боев.

Цепь залегла в канаве на виду у большевистской батареи, которая все продолжала стрелять по городу. Лежали под защитой вала, а впереди нас спокойно похаживал под неприятельским огнем высокий полковник, командовавший ротой. Он все наводил бинокль вправо и чего-то ждал.

Я лежал и думал. Временами становилось жутко. Так никто и никогда не узнает, кто ведет этот неравный бой. Как фамилия этого полковника? – думал я. Непременно узнаю потом. Говорили, что фамилия его была Яковлев. И, конечно, потом я больше не видал его, как не знаю и окончательной судьбы партизанского Волчанского отряда, с которым меня свела судьба на несколько часов.

Большевики у батареи заволновались. Где-то справа что-то произошло. Полковник вдруг насторожился, еще раз пристально посмотрел в бинокль, потом вложил его в футляр и, взяв в правую руку свою тросточку, решительно и радостно сказал:

– Ну, теперь пора. Вперед!

Все сразу поднялись и жидкой цепью по полю бросились вперед, по направлению к батарее. И вдруг я ясно увидал, что батарея перестала стрелять и снялась с позиции.

Трудно передать то чувство радостного экстаза, которое охватило нас всех. Теперь уже не чувствовалось усталости, ноги несли вперед легко. Но добраться до батареи уже было нельзя. Большевики уходили, а мы яростно и с подъемом стреляли вслед. Вправо от нас наступали другие наши части, и задача отряда была выполнена. Неприятельская батарея отошла недалеко. Одно орудие приостановилось, повернулось и два раза выстрелило в нашу сторону. Потом батарея свернулась и ушла, скрывшись от нас за поворотом улиц.

Такие же группы, как наша, в несколько десятков добровольцев, сходились вместе. Говорили, что город до Святошина уже почти очищен и что в районе вокзала хорошо действует Дроздовский полк.

Бой затихал, и большевики невидимо для нас отходили на запад. Я был радостно возбужден.

Назад я шел один. Кругом еще стреляли. Кое-где встречались раненые. Изредка попадались трупы. В подворотнях стояли кучки людей и часто спрашивали меня, как обстоят дела. Ближе к Крещатику уже попадались прохожие. Из очищенных кварталов шли новые беженцы.

Приближаясь к Крещатику, я заметил на углу одной из улиц группу, человек десять солдат, тесно сжавшихся и стоявших с винтовками, но не в боевом порядке. Они как-то странно глядели на меня, и мне эта группа показалась подозрительной. Они были обращены лицом к большевикам и словно ожидали чего-то. Так именно передаются неприятелю группы сражающихся в боях гражданской войны. Погон на их шинелях уже не было. Меня проводили хмурыми взглядами.

Около Николаевской улицы я встретил двух солдат, стрелков 15-й дивизии. Их обоих только что ранили на Николаевской улице сзади из окон. Я их перевязал, и мы вместе пошли по направлению к Днепру.

На углу Царской площади и Александровской улицы я остолбенел от неожиданной встречи. Мило улыбаясь, меня окликнула жена знакомого профессора. Она спокойно шла к себе домой на Тимофеевскую улицу, как раз туда, где часа два тому назад я заколол красноармейца. И в этот самый момент над нами пролетели два снаряда. Елизавета Ивановна в простоте душевной наивно думала, что все уже кончено, и шла к себе домой. Вчера она ушла в Слободку и теперь не знала, что с собой делать, куда идти. Я убедил ее не возвращаться домой, и мы направились вместе с нею на гору.

Навстречу мне попался начальник тюрьмы, также уходивший за город, и я сдал ему Елизавету Ивановну, дав адрес моих пациентов в Слободке, где, я знал, она найдет себе приют.

Я не хотел спешить за мост. Было стыдно уходить от места боя, и было здесь виднее, как обстоят дела.

Перед зданием участка полиции была в сборе почти вся государственная стража. Здесь я встретился с полковником Мамонтовым, который командовал бригадой. Я рассказал ему ход дела и узнал от него, что из числа государственной стражи около 300 стражников солдат раз-

бежалось. Офицеры же все были на местах. Теперь они налаживали порядок в отбиваемом от большевиков городе.

Было около двух часов пополудни. В это время мимо нас на автомобиле из города проехал генерал Драгомиров.

Заметив стоявшего здесь городского голову Рябцова, он остановил автомобиль и говорил с ним.

Присяжный поверенный Рябцов (или Рубцов – не помню), эсер, выброшенный взбаламученной стихией на поверхность, был одним из первых героев революции. Он стоял посреди улицы, разговаривая с главноначальствующим в группе офицеров государственной стражи. Раньше он и ему подобные на митингах метали гром и молнии на «эту сволочь». Думал ли он, что будет уходить от настоящих революционеров под ее защитой?

Сведения получались хорошие. Успех был на нашей стороне.

После двух часов дня я отправился к своим на Цепной мост, где все было спокойно. На мостах все было благополучно, за исключением Черниговского моста. Там был окружен и разбит партизанский отряд Струка. Затем стали отходить наши войска, и так как мост был без настилки, то на нем провалились и застряли орудия с лошадьми. Несчастные животные покалечили себе ноги, а большевики в это время стали крыть их огнем артиллерии. По донесениям, картина была ужасная. Однако напор большевиков сдержали. И теперь оттуда еще доносилась пальба.

В нашей роте шла обычная военная жизнь. Мосты надо было охранять зорко. У самого входа на мост на наших глазах офицеры стреляли из орудия. Видно было, как снаряды рвались над городом. Орудия откатывались, и артиллеристы работали, мало обращая внимания на окружающих.

Мы поместились в двух маленьких комнатах в квартире зубного врача-еврея и сидели за небольшим столом. Сюда поступали все донесения, и сюда же приводили задерживаемых подозрительных лиц. Теперь каждый человек казался подозрительным. С двумя такими задержанными пришлось иметь дело и мне.

Первым задержали еврея-прапорщика в офицерской форме стрелка, с георгиевской лентой, по фамилии Шварцман. Фамилия была не из приятных. Его задержали как знаменитого комиссара чрезвычайки, свирепого полуграмотного чекиста, который упивался кровью русских интеллигентов. Этот человек уже попадался мне в руки в тюрьме, когда я вел расследование киевской чрезвычайки. Он был арестован и сидел в тюрьме. В губернской чрезвычайке одним из самых свирепых комиссаров был Янкель Шварцман. Но было очень трудно выяснить, то ли самое это лицо или нет. Установить это точно не удавалось. Он называл себя прапорщиком Сибирского стрелкового полка. Вчера его вместе со всеми офицерами выпустили из тюрьмы, а сегодня задержали как подозрительного. Собственно говоря, задержали его потому, что все были страшно обозлены на евреев, а физиономия у него была такая типичная, что одного вида было достаточно, чтобы повесить его без разговоров. Его привели к нам, и мне пришлось решать его судьбу. Одного моего жеста было бы достаточно, чтобы этого жалкого человека, с надеждою и мольбой глядящего на меня, расстреляли.

Но кто мог точно сказать, кто такой Шварцман? Его никто точно не опознал. Предъявили его мне. Так как он числился в нашей роте, мы отпустили его. Он ушел с добровольцами в Одессу, и я еще там видел его и слышал излияния благодарности за спасение.

Вечером мы сидели перед домом у края шоссе, когда к нам привели второго подозрительного. То был полковник Лебель, бывший воспитатель военного училища. Его поведение показалось странным. Он говорил несурзные вещи и странно путался, будучи беспечно-веселым. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы узнать в нем душевнобольного, одержимого прогрессивным параличом. Мое слово на сегодня спасло и его, и он был отпущен с миром.

Перед вечером я зашел к моему знакомому колбаснику. Там стол был полон всяких прелестей. На столе, накрытом белоснежной скатертью, стояла бутылка водки и красовалась колбаса, а тарелка вкусного

борща испускала аппетитный пар. После утренних походов я был голоден и ел как волк.

Хорошо здесь жили. Мы сидели в этой мещанской обстановке, полной уюта и довольства, и вели беседу, словно над нами не висела гроза.

В соседний дом принесли труп замученной большевиками сестры милосердия, и никто не мог узнать, кто она.

В Слободке, как будто бы заранее зная, что произойдет, исчезли все евреи. Их теперь страшно ненавидели: они слишком рано открыли свои карты.

К вечеру бой в городе опять усилился, положение запутывалось. Много надеялись на подкрепления, которые будто бы откуда-то подходят.

Вечером мы сидели в комнате и пили чай, как вдруг раздался тревожный колокол, и, заглянув в окно, мы увидели, как все кругом вдруг озарилось заревом пожара. То – каждый вечер и ночь – горели еврейские дома, которые поджигали ненавидевшие евреев жители.

Когда мы выскочили на улицу, против нас уже пылал деревянный дом. Все кругом радовались, ликовали и проклинали евреев. Офицерам стоило большого труда наладить тушение: работали одни лишь военные, жители же бездействовали, говоря: «Так им, проклятым, и надо, пусть горит!»

Картина была зловещая. За мостом гремела канонада, здесь пылал пожар. Холодная осенняя ночь придавала картине особенную жуть.

Когда я наблюдал такие картины, какими жалкими казались мне потрясающие драмы, которые я видывал в кинематографе! Здесь все было проще, а потому ужаснее. Это были не актеры и не бутафорский пожар, а люди во всей их наготе и зверстве. Смерть, гибель, разрушение царили кругом, а люди не понимали этого. Когда убивали кого-нибудь, к этому относились спокойно, равнодушно.

Мы вернулись в дом, и было беспокойно на душе. Уверенности в положении не было. Мы легли на полу не раздеваясь, каждый при своем оружии: катастрофа могла разразиться ежесекундно. Не спалось.

В одной шинели было холодно. Твердо и неудобно было лежать на полу, и ночь тянулась долго.

На утро следующего дня как будто стало лучше. Канонада звучала дальше, и одно время даже не было слышно ружейной трескотни. Утром у моста скопились тысячи людей, стремившихся обратно в город. Нетерпеливая толпа металась зря, в панике бежала, но, чуть в городе стало спокойнее, рвалась назад. Теперь не велено было пропускать через мост, и потому шли пререкания. Мост по-прежнему охранялся.

Делать было нечего, и я снова отправился в город посмотреть, что там делается, и поработать в боевых частях. По дороге не замечалось ничего необыкновенного. Казалось, что дело улучшается. Говорили, что наши части продвинулись вперед и вытеснили неприятеля из города. Войск двигалось мало, но по Александровскому спуску движение было живее. Я видел, как в городе по направлению к месту боя спокойным шагом, верхом проехал генерал Бредов. Он ехал не торопясь, медленно, в сопровождении немногих всадников. Около 11 часов дня сюда же прошел только что спешно прибывший из Чернигова Якутский полк. Он проходил мимо меня в составе около 300 человек знаменитых бойцов, имевших вид далеко не прежних вымуштрованных людей. Но шли они прямо к месту боя спокойно, хорошо. Одна беда – их было слишком мало.

В этот раз я не заходил далеко. Работы как врачу по перевязке раненых и здесь было достаточно, а бой шел уже далеко на окраине. Медленно подходили раненые.

Около часу дня я работал у Мариинского парка, когда заметил, что снизу от Крещатика торопливо двигаются сначала отдельные повозки, затем обрывки обозов. Появились отдельные люди в шинелях с винтовками. Эта волна молчаливо отходила наверх, и никто не знал почему. Опытный глаз сразу узнавал в этой картине отход, и притом отход неровный: там что-то случилось впереди. Я стал внимательно следить. Вскоре обнаружились небольшие группы вооруженных лю-

дей, и росло число одиночных. Вдруг быстро покажется автомобиль и так же молча прокатит к мосту.

Я подвинулся к Никольским воротам и продолжал следить за движением. Через какие-нибудь четверть часа поток отступающих повозок и людей пошел уже быстрее. Части, пока тыловые, начинали неудержимо отступать. Меня удивило, что у поворота на спуск эту волну никто не удерживает, и я медленно пошел туда по тротуару, наблюдая, как быстро развивалась волна паники. Повозки уже начинали обгонять друг друга, уже хлестали по лошадям. Лица были тревожные, и все это совершалось молча. Никто не понимал, в чем дело, но все чувствовали, что совершается что-то неладное. Против гимназии я увидел, как вся толпа торопливо заворачивала на спуск и никто не останавливал. Начинаясь беспорядок и толкотня. Я остановился и искал глазами кого-нибудь из старших, удивляясь, почему не остановят этой чепухи, но никого из старших офицеров здесь не оказалось. На углу стояло в запряжке подбитое орудие и при нем поручик-артиллерист. Я спросил его, в чем дело и почему не останавливают этого безобразия. Он, пожав плечами, ответил, что и сам ничего не понимает. Снаряды здесь не падали, и если бы даже большевики прорвали линию, то так отходить нельзя.

Мне такие картины приходилось видеть и переживать не раз. Как всегда в такие моменты, меня охватывало чувство жгучей злобы и презрения к этой бегущей сволочи: опыт боя ведь хорошо учит, что именно в панике гибнут люди. И в эти моменты тех, кто не поддался панике, захватывает упорное чувство противодействия. Я остановился на углу и видел, как все торопливее заворачивали повозки, готовые столкнуть друг друга с дороги.

Один солдат, сидя на облучке повозки, погонял белую лошадь и прямо наперся на меня.

Быстрым порывом я схватил лошадь под уздцы и властно крикнул:  
– Шагом! Не торопись!

Солдат растерянно взглянул и подчинился. Повозка пошла шагом.



Этого толчка было достаточно. Толпа, беспорядочно стремившаяся к повороту, как бы очнулась от одного слова, сказанного спокойно и властно. Она инстинктивно осела. Я уловил момент. Толпа мне подчинилась безмолвно и слепо. Я пригрозил кое-кому винтовкой и громко скомандовал:

– Стой! Помогите мне, – обратился я к поручику. Мы вдвоем, став поперек дороги, задержали головные повозки угрозой стрелять в них, если они двинутся с места. В толпе было много людей с винтовками, бежавших из цепей. Мы задержали первых пять-шесть и приказали встать в шеренгу, преградив дорогу. Шагом стали пропускать по одной повозке тех, кто ехал по делам за Днепр. В первый же момент на нас наперлась группа человек в десять государственной стражи.

– Вы кто?

– Стража.

Они были с винтовками, но, почуяв тревогу, также стали отходить.

– Назад! Стройся здесь, налево. Задержать толпу и не пропускать!

Солдаты, случайно бывшие в толпе с винтовками, с момента, когда паника была пресечена, сами становились в шеренгу. У меня под командой образовалась заградительная застава. Поручик строил людей, а многие из беглецов сами превратились в останавливающих. В каких-нибудь пять минут вся эта каша организовалась, воцарился полный порядок, и вся масса людей слушала мою команду беспрекословно. Отдельные фигуры пробовали молча обойти цепь и пробраться на спуск. Пропустить их – значило потерять дело, и я приказал их задерживать. Беглецов мы отсылали назад, и многие уже сами останавливались, поворачивая к месту боя.

Мы медленно и в порядке пропускали обозы на спуск, задерживая всех беглецов.

Я не успел осмотреться, как задержали какого-то подозрительно-го субъекта, у которого не было документов. Но зато у него в портфеле оказался чисто большевистский счет из гостиницы «Континенталь». Так во время большевиков могли платить только комиссары. Счет за

ужин на 17 тысяч рублей. Куриная котлета стоила 500 рублей, другое блюдо – 300 рублей и т.д. Он не мог дать никаких объяснений о происхождении счета, и его в сопровождении солдата отправили в штаб охраны мостов. Он подчинился, но, отойдя несколько шагов от заставы, бросился бежать и скрылся от сопровождавшего, который не решился в него стрелять. Этот факт повлек за собой печальные последствия для тех, кого задерживали потом. Я прошел на несколько минут вперед, чтобы навести порядок в стоящих обозах, ибо фактически командовал всем я за неимением никого из старших начальников, кто бы взял на себя распоряжение.

Когда я вернулся к заставе, там уже расстреляли четырех человек.

Цепь заставы упиралась с правой стороны от поворота на спуск в сторожевую будку. Здесь на скамеечке сидел городской голова Рябцов в штатском пальто и черной фетровой шляпе, а рядом с ним сидел сформировавшийся тут же военно-полевой суд из двух военных юристов и какого-то офицера.

Я ужаснулся решительности их действий. Но все делалось правильно, расстреляны были настоящие большевики-коммунисты, пойманные с поличным. Не трудились даже далеко отводить осужденных – шагах в пятидесяти от заставы лежал труп. Я подошел к нему. У края дороги, разбросав руки, с раной в черепе, на спине лежал спасенный мною вчера прогрессивный паралитик полковник Лебель. У него оказались коммунистические документы и список офицеров, преданных большевикам. Увы, в это время многие не только душевнобольные, но и просто слабые волей люди становились большевиками, ибо за ними была сила.

Я на минуту задумался. Эта подлая привычка моя всегда и во всех случаях жизни все анализировать и рассуждать иногда мне становилась противной. У ног моих лежал труп, открытые глаза которого спокойно глядели вверх. На лице покойника играли пробивавшиеся сквозь листву развесистого тополя золотистые лучи склоняющегося к горизонту осеннего солнца. Вдали открывалась дивная картина Днепра с

беспредельным простором заднепровских лугов, лесов, открытой плоскостью уходящих до самого горизонта. И опять вся эта борьба кучек людей показалась мне такой малой в масштабе природных явлений. Уже тысячу лет так заходило осеннее солнце над Аскольдовой могилой, и, вероятно, тысячу лет будет каждый день рисоваться эта картина на Днепр будущему человеку. А этот маленький эпизод суеты на спуске, этот безмолвный труп полковника под тополем и невдалеке от него ничком лежащий другой труп, китайца, неведомым сплетением нитей судьбы переброшенного из недр Небесной империи сюда для того, чтобы умереть здесь в этот тихий вечер, – все это не что иное, как тонкий намет на ленте исторических событий в жизни человечества, до которых бесстрастному течению процессов нет никакого дела. И завтра так же будет заходить солнце, освещая других людей, другие картины из жизни «бескровной» революции на фоне тех же декораций. Когда-нибудь закончится и эта житейская драма, а гуляющая здесь в осенний тихий вечер влюбленная парочка, остановившись под тополем и любуясь на Заднепровье, едва ли сможет себе в фантазии представить труп полковника под деревом и никому неведомого китайца, покончившего здесь свои невеселые странствования.

Мне эти расстрелы были омерзительны. Я понимал, что идет война, что колебаться не приходится. Шла охота на людей, месть и расправа за преступления путем преступления.

Труссы и дезертиры стремились уходить с линии боя через линию заставы.

Против нас на перевязочном пункте в 5-й гимназии также бродили сотни солдат и офицеров, уклоняющихся от участия в бою.

Я наблюдал за Рябцовым и думал. Теперь он был мил с добровольцами. Сидел на скамейке рядышком с членами военно-полевого суда и ласково поддакивал им, когда они осуждали человека на смерть. Был он и свидетелем всей этой паники, и того, как я ее остановил, и был очень любезен со мной. Лично он меня не знал, а видел только по форме, что я военный врач.

Да, как все меняется: эсер, демагог, прогрессивный интеллигент, присяжный поверенный! Во время войны тыловой прапорщик запаса, уловивший курс жизни, – его любило старорежимное начальство, и он был на хорошем счету. Несколько глупых, экспансивных демагогических речей, – и нечистая пена революции выкинула его на поверхность взбаламученного моря. Дешево досталась ему шапка Мономаха, но нелегко было ему нести ее теперь. И жалкая приниженно-приветливая улыбка на его лице дисгармонировала с его внутренними переживаниями. Этот молодой человек бежал теперь от настоящей революции, которую создал сам. Впоследствии его унесла с нами волна до Одессы и Новороссийска. Это был обыкновенный мягкий, милый русский человек. Он в числе ему подобных создал весь этот хаос, от которого погибал теперь сам. Социалист он был такой же, как и мы все. Глядя на него, я раздумывал: в чем же, собственно, заключается социализм?

Я тщетно искал кого-нибудь из старших начальников, которому мог бы сдать командование заставой, и только около пяти часов я увидел полковника гвардейской части Рутковского, которому изложил положение дела и спросил, что делать. Он шел в штаб на Банковскую, № 11, и посоветовал мне пойти туда же за получением инструкций. Сдав команду артиллерийскому поручику, я пошел вместе с полковником.

Против штаба стоял отряд кавалерии в боевой готовности. Мы вошли в комнату, где сидел генерал Непенин. Я доложил о панике, об организации заставы и спросил, что делать дальше. Ответ был лаконический:

– Держитесь дальше.

Я направился к заставе и передал поручику приказание Непенина. Поручик принял на себя командование, а я отправился к мостам.

И снова поздней ночью ударил набатный колокол, и снова горел еврейский дом, а мстящая толпа, спокойно созерцая, наслаждалась. Неизвестно было, кто поджигал. Просто не тушили и радовались. Не грабили, и порядок не нарушался.

Рано утром 4 октября у моста скопились толпы людей, стремившихся в город. А утро холодное, осеннее, ясное и светлое было великолепно.

Поверхность вод Днепра была зеркальна и слегка дымилась утренним туманом. За Днепром сверкали золотом купола Лавры.

У нас не было продовольствия, и меня командировали в Дарницу, где было интендантство и земский союз. Мне надо было раздобыть для нашего отряда хлеб. Я пошел пешком. По дороге шли люди, военные и штатские. Двигались повозки. В Дарнице скопились штабы и тыловые части. Дарница напоминала военный лагерь.

Я направился в земский союз. Здесь сразу запахло третьим элементом. Это позорное учреждение сыграло немалую роль в гибели России и теперь продолжало свою гнусную работу по деморализации армии. Вместо хлеба для команды мне преподнесли ругань по адресу интенданта, который что-то-де запретил. Мне стоило много слов, чтобы доказать, что роте, охраняющей мосты, нужен хлеб.

Все говорили одно и то же, что натиск большевиков отбит, но пожимали плечами, и чувствовалось, что люди в чем-то сомневаются. Настоящих войск нигде не было видно: их было очень мало.

Этот вечер мы провели спокойно. В мыслях офицеров нашей роты царил удивительный сумбур политических взглядов. Это были не настоящие добровольцы, а присоединившиеся только теперь, со взятием Киева. Под шкуркой офицера обнаруживался со всеми своими качествами русский интеллигент.

За чайным столом болтали, спорили и рассуждали. А ночью горел очередной пожар в Слободке, на который уже никто не обращал внимания. Во всех мозгах была отрыжка революции, и видно было, что плод ее далеко не созрел. Не было конечной цели, и что будет в случае победы добровольцев, никто не знал. Старой России не хотели, а что такое новая Россия – никто не знал.

5 октября рота получила приказание отправиться в город. Мы шли строем. Город уже имел другой вид. Бой слышался лишь издали. На улицах попадались трупы. Мы входили в город в роли победителей, и поэтому, идя в строю, люди чувствовали подъем и взгляды публики на себе. Всюду нас встречали приветливо, кое-где аплодировали нам и

даже бросали цветы. Я получил разрешение на минуту забежать к себе на квартиру и воспользоваться временем стоянки роты, рассчитывая догнать ее на обратном пути.

Пришлось и мне пережить тяжелый душевный конфликт. На столе у себя я нашел отчаянное письмо, не с мольбою, а с воплем о спасении. Мать просила о погибающем сыне. Еще весной на своих лекциях я обратил внимание на необыкновенно способного юношу – восемнадцатилетнего еврея Кранца, поразившего меня своей начитанностью и бойким соображением. Я подружился с ним, и он стал заниматься у меня в лаборатории. Мы в шутку называли его «приват-доцентом», и я надеялся, что из него со временем выйдет талантливый ученый. Отец его был управляющим типографией «Киевской мысли». По внешности и по складу психики Кранц был типичным еврейским юношей. Он всей душой ненавидел русских, презирал их и имел чисто большевистский кодекс суждений, что, однако, не мешало ему очень дорожить своей собственностью в виде великолепного микроскопа, который подарила ему мать, и нескольких книг. Мы с ним много и долго вели за работой научные беседы, но, как только дело доходило до политики, он нес нестерпимый бред. Закусив удила, он оправдывал самые дикие деяния чекистов. Было ясно, что в лице этого юноши мы имеем непримиримого врага России, талантливого и сильного. Я его очень любил как своего ученика, хотя мы непримиримо расходились во взглядах. Тогда, под игом большевиков, наше положение ведь было безнадежно, и ничего удивительного в большевистском мирозерцании не было.

Однажды ко мне пришла его мать, превосходная женщина, добрая и умная. В ней было столько любви к своему Бобе, который, между прочим, был столь же некрасив, как и талантлив. Она знала, что сын ее дружен со мною, и пришла тайком от сына спросить меня о нем. Сердце матери радовалось, когда я рисовал ей блестящие перспективы жизни ее сына. Я сказал ей: «Держите его подальше от политики». А Боба вращался среди еврейских юношей, чекистов и комиссаров, горевших революционным фанатизмом. Мать понимала меня, но не сумела повернуть руля судьбы.

Письмо матери гласило: «Спасите, Боба арестован». Быть арестованным в эти страшные дни значило погибнуть. Что мог сделать я теперь? Письмо было написано вчера, а в это время еще везде шел бой. Мне нужно было догонять свою роту, и я не мог отлучиться из строя.

Мне стало нестерпимо жалко. Я знал, что гибнет талантливый юноша, гибнет мой личный друг и любимец. Но знал я и другое: в его лице гибнет непримиримый враг моего народа и России. Нас не жалели. За эти дни на улице в меня стреляли из окон, как в зайца на охоте. Идет война. Кто из наших попался в руки – не видел пощады. Я вспомнил труп замученной сестры...

«Пусть завершится рок судьбы», – решил я. Как человека, друга, мне жаль его. Но после смерти непримиримого врага России ей станет легче. Спасти его значит изменить Родине. Конечно, он попался недаром. И я не ошибся. Его арестовал тот самый полковник Рутковский, которого я встретил накануне у заставы. У него была найдена пачка большевистских воззваний и шифр, принадлежащий большевикам. Его повели в штаб Стесселя и тут же на улице «вывели в расход». Я вспомнил, что его мать – давнишний личный друг Виктора Чернова, с которым она жила во время эмигрантства за границей.

В эти дни погибали многие. Жалеть друг друга было нечего. Бой ведь еще не кончен. Быть может, сегодня участь Бобы постигнет и меня, и, уж конечно, не стану я просить моих врагов о помиловании.

Я бросился догонять свою роту. На тротуаре у Крещатика я столкнулся со своим братом. Он удивился немного, увидев меня в такой роли, но одобрительно улыбнулся.

Теперь у нас на биваке уже шла обычная военная жизнь, какая бывает вне огня. Едва миновала первая волна опасности, по русскому обычаю воцарилась беспечность.

Слободка успокаивалась, и жизнь входила в обычную колею.

Опять многострадальный зал анатомического театра университета был полон трупов, но это были трупы не из чека. То были жертвы

страшной междоусобной войны, где братья убивали братьев. Тех, кто руководил этой бойней, среди трупов не было. Они были слишком умны для того, чтобы гибнуть в бою.

Во время большевиков все трупы были изуродованы выстрелом в затылок. Теперь покойники лежали вплотную, рядом, какими они были подобраны на поле битвы. Все почти молодые деревенские парни, безусые красноармейцы. Все сплошь «демократия» на стороне красных и офицеры у белых. На лицах нет выражения ни злобы, ни страданий. Сотни жизней гибли без смысла и цели в угоду демагогам... Вся зала была уложена рядами трупов большевиков.

Я пошел туда, чтобы отыскать среди них тело моего любимца-ученика. Евреи не могли сюда показаться: толпа их слишком ненавидела. Тут только я узнал, что Борис Кранц был лютеранином. Я нашел его среди других. Он лежал на полу с окровавленным лицом: пуля попала в череп. Руки были перебиты, вероятно, ударами прикладов. Так добивали в экстазе мести врага, а Кранц ведь был непримиримым врагом русского народа. Мозг, носивший, быть может, задатки гения, теперь был раздроблен.

Перед зданием анатомического театра я застал величественное зрелище: хоронили первую партию погибших в боях добровольцев. Улица была полна народом. Длинная вереница катафалков, а за ними площадки ломовых извозчиков стояли у подъезда. На каждой платформе стояло по два-три гроба. Покойникам отдавали воинские почести. Каждая колесница была покрыта поверх гробов русскими национальными трехцветными флагами. Повсюду были венки цветов. Играл оркестр военной музыки. Был выстроен батальон местного гарнизона. Под звуки «Коль славен» выносили все новые гробы, и батальон держал «на караул». Спокойно, торжественно и тихо. Часть гробов была открыта; в других гробах – закрытых – были останки деформированных и разорванных снарядами тел. При звуках гимна толпа замерла. Сжималось сердце, подступали слезы, и многие тихо плакали.



Мы видывали картины иные – гражданских похорон жертв революции. Все там было огненно-красное, кровавое, и лица были озарены экстазом ненависти и злобы.

Здесь было иное: вековые формы жизни заковали в обряды вечно юные переживания, украшающие жизнь из тьмы веков. У открытых гробов никто не ненавидел и не поносил отбитого врага. Отдавали дань уважения за других погибшим на поле брани. Плавно, не жестикулируя и не волнуясь, провожала толпа покойников. Это ведь не последние! Их много еще там неопознанных, смешавшихся с врагами. Завтра будут хоронить другую партию...

Когда на фронте под гром канонады мы хоронили своих товарищей, особенно торжественно звучал церковный хор. С этими символами была связана история великого народа, который теперь так жестоко казнил и истреблял себя в угоду своим врагам и честолюбцам.

\* \* \*

Читателю этой книги не может не броситься в глаза много повторений. Я безжалостно вычеркивал их, пока не убедился, что это неправильно, ибо по существу вся революция есть непрерывное повторение одного и того же. На ее протяжении нет почти ничего нового. Повторяются даже люди, а особенно пороки и преступления. Лейтмотивы революции очень стойки: в главном это грабеж всех видов, уничтожение материальных и духовных ценностей, разрушение старого и несоздание нового. Во взаимоотношениях людей – звериная ненависть, недоверие, подозрительность. В деяниях по отношению к себе подобным – предательство, доносы, интриги. В головке революции – утопические и бредовые идеи, в массах – больные верования, а в низах – звериная психология толп с ее насильственными и импульсивными действиями. Вот почему все явления на протяжении революции повторяются до надоедливости, и при изложении событий их избежать нельзя: это повело бы к искажению истины во имя улучшения формы литературного изложения.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТКАТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ И СКАЧОК В БЕЗДНУ ЭМИГРАЦИИ

## ГЛАВА XII Развал

После октябрьского нашествия Киев переменял свою физиономию. Большевиков отбили, но не отогнали далеко.

Непрерывно слышалась канонада, а временами раскаты пулеметного и ружейного огня. Над городом висел вопрос: придут большевики или не придут? А ведь деваться фактически было некуда, ибо в это время откат Добровольческой армии от Орла уже начался, и никакие силы не могли его остановить. Это отлично сознавал наш штаб, и начальник штаба полковник Х. однажды с карандашом в руках точно вычислил мне, сколько времени будет длиться откат и как распылится армия. Это осуществилось математически точно. Кто только мог, уезжал в Таганрог. Одесса и юг были еще в руках добровольцев. Большевики шевелились по всему фронту. Армия же Колчака в это время погибала.

Евреи временно притихли и по своему обыкновению все как один отрицали факты, утверждая, что ничего подобного тому, что им приписывают, не было, что стрельба из окон есть черносотенная выдумка и клевета на ни в чем не повинный еврейский народ. Кричали всюю о погромах и о том, как их обижает Добровольческая армия. За это время в Слободке разыгрался инцидент между генералом Драгомировым и гвардией. Учинили небольшой еврейский погром. Генерал Драгомиров сделал перед войсками очень резкий разнос, обвинив гвардию в грабежах, и гвардия сочла себя обиженной. Началось помрачение ореола Драгомирова и потеря им авторитета. Его обвиняли в покровительстве жи-

дам. Но вскоре еврейская интеллигенция снова развила яркую агитацию против добровольцев, а русская – повторяла легенды о том, что кто-то кого-то давит и что режим добровольцев недостаточно либерален, что нет свободы. Только режим большевиков русская интеллигенция сносила покорно и даже видела в Ленине и Троцком черты гениальности.

Начался развал психики, и это определило гибель армии. Добровольцев было мало, население их не поддерживало, и хваленая «народная воля» склонялась в сторону большевиков.

С мобилизацией медлили, да ведь это была не императорская власть, которой бы послушались. Имя Драгомирова по отцу импонировало, но других вождей никто не знал. Удивлялись, как могли добровольцы с ничтожными средствами отбить октябрьское нашествие на Киев. Много говорили о том, что на этот раз рабочие Арсенала, всегда бывшие на стороне большевиков, не только не изменили, но сражались с большевиками в составе рабочей роты под начальством инженера Кирсты. Устроен был парад, на котором генерал Драгомиров торжественно надел крест военного ордена рабочему, захватившему большевистский пулемет.

Контрразведка 1 октября бежала в Дарницу, бросив все дела и документы. Большевики туда не ворвались, и тем не менее все там было разгромлено и все документы исчезли, в том числе и свыше 400 смертных подлинных приговоров, сданных мною туда для привлечения чекистов к суду. Эти документы могли стать уникалом в истории преступности революции. Кто уничтожил их? И надо было думать, что это сделали те самые агенты большевиков, которые были оставлены в контрразведке и теперь держали связь с большевиками.

После октябрьского вторжения большевиков в Киев контрразведка Добровольческой армии была переименована в особый отдел. Станным образом и название, и организация были взяты целиком от большевиков и построены по образцу чека. Во главе его стоял полковник Сульженков. Были открыты отделения: оперативное, судное, политическое. Состав был пестрый: были хорошие и храбрые офицеры, убежденные борцы с революцией и монархисты, но были и люди с сомнительной моралью,

и настоящие авантюристы. Я всех их знал и сталкивался с ними по моей деятельности члена Комиссии.

Полковник Сульженков был активный и честный деятель, но человек сумбурный, легкомысленный и мистик. Как юрист он был законник, но скоро это оказалось неосуществимым, ибо вся революция основана на тайных деяниях, в борьбе с которыми легальные приемы совершенно бессильны. Особый отдел должен был вылавливать большевиков, чекистов, агитаторов и шпионов. Для этой цели он должен был иметь агентов и использовать доносы, большинство которых в это время были ложными. Служба в контрразведке была исключительно опасная: служившие в ней были обречены, и жизнь их висела на волоске. Поэтому подбор людей был очень труден.

Политическим отделом заведовал бывший жандармский полковник Каменский – спокойный, выдержанный и знающий свое дело человек, без авантюризма и без предосудительных приемов в своей деятельности. Он хорошо дополнял полковника Сульженкова, не вносил в свое дело страстности и казался человеком порядочным и честным.

Начальником оперативного отделения был кавказского типа офицер Арзамасов. Это был чистого типа авантюрист, страстный, энергичный предприимчивый, иногда с двойной загадочной ролью. Появился он из штаба Деникина, как сам высказывался, с особыми тайными поручениями, и все нити, насколько их можно обнаружить, связывали его с одной из самых отрицательных фигур русской революции и Белого движения, генералом Лукомским.

Кроме официальной деятельности по Особому отделу, он образовал таинственную террористическую группу, в которую вошли офицеры-контрреволюционеры, но цель которой так и осталась невыясненной и которая никаких террористических актов не выполняла.

Особый отдел не выполнил своей задачи, и большевики не были выловлены. За все время было «выведено в расход» около ста человек, в большинстве случаев по способу революции, под видом убийства при попытке к бегству. Для законного суда не хватало ни документов, ни

свидетелей, ибо все деяния революции были тайными, и расследование ничего не выясняло. «Усмотрение» же и «нравственное убеждение» в эти времена были палкой о двух концах.

Борьба между умным и организованным еврейством и слабой, глупой русской интеллигенцией была, конечно, неравна. Арестовывали видных чекистов и большевистских деятелей, Особый отдел заключал их в тюрьму, а затем они передавались в ведение военно-судных комиссий. Однако в конце своей деятельности Особый отдел стал энергичнее. Агенты охотились за видным чекистом Яковлевым-Демидовым. Они выследили притон левых эсеров на даче популярного земского врача Корчак-Чепурковского, в которой его сестра укрывала главарей этой свирепой партии. Ночью нагрянули на дачу и застали там трех мирно спавших людей: двух мужчин и одну женщину. При обыске сначала ничего не нашли, а потом случайно наткнулись на склад оружия и документов. Один из арестованных был свирепый украинский террорист Михайличенко, другой – секретарь партии левых украинских эсеров, а женщина была сестра Яковлева-Демидова. Их привезли в Особый отдел. В силу исторической правды должен констатировать, что их там били смертным боем, и упражнялся в этом главным образом Арзамасов. Секретарь признался, а двое других упорствовали, отрицая свою виновность. Предстояла та же история: за неимением документов и свидетельских показаний – освободить. Но офицеры решили задачу по большевистскому способу. Их вывели ночью для отправки в тюрьму и вблизи Тимофеевской улицы «пустили в расход», подав рапорт о том, что их застрелили при попытке к побегу.

Это был метод революции, одинаково применявшийся и при гетмане, и Петлюрой по отношению к генералу графу Келлеру, и большевиками, и добровольцами. Храбрые и честные русские офицеры прибегали к этому потому, что другого выхода не было.

Некоторых из этих офицеров, участвовавших в этих делах, а позже в убийстве начальника одесской контрразведки Кирпичникова, я знал лично и встречал их позже в эмиграции. Они тщательно скрывают свое

прошлое, ибо если бы это узнала февральская интеллигенция, доминирующая в эмиграции, она бы стерла их с лица земли. И я от души забавлялся, когда видел одного из доблестных и честных русских офицеров, бывшего членом военного суда в деле Валлера, в роли секретаря одного из самых бесчестных деятелей русской революции, занимавшего долгое время высокий пост в русской эмиграции. А ведь когда-нибудь воскресшая Россия оценит эту опасную и самоотверженную их работу во имя спасения гибнувшей Родины. Привет вам, храбрые русские офицеры, не сложившие оружия тогда, когда уже все гибло и не было никакой возможности бороться с мерзавцами революции иными путями, чем те, которыми шли вы!

Канцелярии были полны всякого сброда, оставленного в наследство от демократических режимов. Для обывателя жизнь была довольно свободна, если не считать того, что уже с наступлением темноты нельзя было высунуть носа на улицу из страха быть ограбленным. Домашние обыски в форме нашествия бандитов-товарищей прекратились. Никто не притеснял, не насильничал, и не писались нелепые декреты. Это корректное отношение к населению власть наследовала от императорских времен. Даже не нарушалось право собственности, и некоторые награбленные советскими учреждениями вещи были возвращены их собственникам. Все чего-то хотели, но думали, что русская «дубинушка сама пойдет». Однако не все обстояло хорошо: всевозможные комиссии под видом реквизиции часто обирали население и делали это не хуже большевиков. Таковы законы гражданской войны. Честные люди в эти времена были исключением: слишком велик был соблазн, а человеческая натура слаба. Всех развратила революция, все опустили нравственно, и преступление красной нитью вплелось в дела людей. Порочны были и обыватель, и чиновник, и солдат. В университете занятий не было. В лаборатории работа шла вяло, хотя студенты и курсистки по-прежнему наполняли ее. Когда мы голодали, курсистки жарили в лаборатории оладьи. Я однажды подшутил над ними: когда нельзя было достать жиров, мы жарили оладьи на миндальном масле, запас которого у нас был. Я им предложил

бутылку красивого золотисто-желтого жидкого масла. Оно выглядело очень соблазнительно, и когда они уже совершенно приготовились жарить на нем, я раскрыл им секрет – это был человеческий жир, вытопленный мною из опухоли, которую оперировали у одной больной.

В это именно время разыгрался гнусный инцидент, показавший всю низость революции. Задумали поставить оперу «Жизнь за Царя» Глинки. Михаил Иванович Глинка приходится мне двоюродным дедом, ибо моя родная бабушка – двоюродная сестра композитора. Каково же было мое возмущение, когда заявили, что опера пойдет под названием «Иван Сусанин», – русская интеллигенция не выносила самого слова «Царь»... Я отказался играть в оркестре на этом представлении, заявив, что кости моего деда перевернутся в гробу от этой пакости.

Оказывалось, что вожди Белого движения уже поперли к чертям Империю, отреклись от царей и в мечтах лелеяли наполеончиков на белых конях. Однако они все еще носили маски, и настоящей физиономии их тогда никто не знал. Все они, так называемые вожди, в эмиграции впоследствии не забывали носить на своих пиджаках Георгиевские кресты, а в официальном альбоме георгиевских кавалеров Императорской армии его издателями был вычеркнут самый титул «императорского» военного ордена. Это два карикатурных шага, знаменующих всю подлость революции.

Когда я однажды заговорил с генералом Гербергом о том, что будет «через месяц»... он махнул рукой и безнадежно прервал меня: «Ну, через месяц бог знает что будет...» Эти слова прозвучали в моей душе мрачным и, увы, верным пророчеством. Однако ни у кого не было тогда окончательной уверенности в гибели Добровольческой армии, да ведь в таком пессимизме невозможно было бы и жить.

Командир Кинбурнского полка, полковник Перемыкин, будущий деятель северо-западных армий, был симпатичный, воспитанный, культурный человек. Штаб-офицеры были полковники Меликов, Насонов и Васильев. Общество было порядочное, с традициями былых времен. Среди солдат были гимназисты, студенты и просто городские

парни с пошибом фабричного разгула. Некоторые из этой молодежи уже проделали поход с добровольцами. По утрам собирались в казармы. На службе царила дисциплина и порядок. Обращение с солдатами было вежливое и выдержанное. Вопреки легендарным слухам никто здесь ничего не крал. Пополнение шло туго.

В качестве врача штаба Киевской области в моих руках сосредоточивалось управление санитарной частью огромной области. Но именно руководить-то было нечем. Не было никаких средств. Дело было глубоко безнадежно.

Штаб тыла был отделением штаба главнокомандующего генерала Драгомирова. Начальником тыла был доблестный генерал Ф. С. Рерберг, командовавший раньше 11-й армией. Это был генерал в высокой степени образованный, герой Великой войны и джентльмен в полном смысле слова. И не его вина, что сделать ничего было нельзя.

Каждый вечер в штабе получались донесения, и, разбираясь по картам, мы со скорбью видели, как откатывалась Добровольческая армия все дальше назад, а сзади было только море...

У добровольцев не было людей, у большевиков их была туча. Было видно, как вокруг нас сжималось кольцо, и ясно было, что надо делать. Указывая на карту, где обозначалось движение банды в тысячу человек на Яготин, говорили:

– Сюда надо послать отряд.

Генерал пожимая плечами, отвечал:

– Да, конечно, но кого? У меня нет ни одного кавалериста.

Весь город кричал о грабеже еврейских квартир. А когда еврейские коммунисты и комиссары в повальных обысках грабили целые кварталы и уничтожали в чека русскую интеллигенцию, об этом молчали, а теперь даже не вспоминали. Евреи же нагло отрицали свое участие в этих делах.

Русское самоубийство углублялось. Безумие и развал чувствовались всюду. Цены росли, товаров не было, а повышение цен на хлеб было лучшим барометром революционной непогоды. Жизнь стала



походить на ту, которая была при большевиках. Прихода большевиков ожидали уже с уверенностью, но генерал Бредов с непонятным упорством писал воззвания к «родным киевлянам», чтобы они не тревожились, что положение прочно и что добровольцы уходить не собираются. Невольно возникала параллель: большевики никогда не обманывали, а наоборот, перед уходом даже служащих обеспечивали жалованьем вперед. Кто мог, собирался уезжать на юг.

23 октября пал Чернигов, и войска медленно стягивались к Киеву. Полтавская линия железной дороги еще работала, но банды крестьян нападали на поезда, разбирали пути и грабили пассажиров. Неутомимо работали эсеры. Эта страшная партия убийц и экспроприаторов для России была губительнее большевиков. В Киеве им уступили городскую управу, а потом этим мерзавцам пришлось бежать от настоящих большевиков под защитой штыков Добровольческой армии.

Каждый день в штабе «что-нибудь давали». Таков был обычай того времени. Доставали и по-социалистически делили. Так как купить что-либо было невозможно, то армию снабжали из больших запасов, которые до революции накопила царская Россия. Три года грабили эти запасы все и не могли разграбить. Они поочередно доставались большевикам, Петлюре и добровольцам. Усердно к ним прилагали руку и рвали себе куски. И поражало то, что делали это люди, стоявшие лицом к лицу со смертью... На складах еще оставались сокровища, к которым не успела прикоснуться еврейская рука. В пылу своей ненависти они как-то просмотрели эти богатства. Получали по дешевке то кожу, то сукно, то сахар. Получал свою долю и я, и все это было брошено при отходе. Изощрались в получении спирта. Его получали за деньги из склада по требованию врача. Слишком много интереса было сосредоточено вокруг этих получек, и они развращали людей, будя в них алчность. Жалованье получали большое, но деньги уже теряли всякую ценность.

Несмотря на дисциплину, в Добровольческой армии соблюдалось демократическое равенство. Писцы были на одной ноге с начальником

штаба, и все получали одинаковое жалованье. Градация окладов по должностям была ничтожная.

В штабе было два полковника: первый, Луценко, был георгиевский кавалер, типичный боевой офицер, который заведовал строевым отделом. Любил выпить. Однажды он где-то набедокурил и был генералом Драгомировым смещен. Второй полковник Р., поляк, был почти развалина и имел с собой трусливую старуху-жену, которая во время отхода проявила много малодушия. Не лучше ли было сохранить буяна-героя, чем трусливого корректного инвалида, неспособного к борьбе?

Я должен был наладить санитарную часть, но для этого не было средств, и я надумал такую комбинацию. В Киеве существовал еще Красный Крест Юго-Западного фронта. Теперь он находился в моем ведении. Во время революции в нем образовался комитет, но каким-то чудом удержался главноуполномоченный сенатор Иваницкий. С нашествием большевиков Красный Крест захватила коллегия евреев, и, работая в Мариинской общине, я слышал, что в ней заседает какой-то еврей Френкель. В один прекрасный день, теперь, ко мне явился мой старый знакомый, типичный интеллигент, инженер из Вильно. Это оказался тот самый Френкель, перед которым трепетали как перед большевиком и о котором я много слышал. Мы расцеловались. Вот что делает маскарад революции: ведь я отлично знал, что Френкель не большевик. Теперь он просил у меня защиты и вступить за него в случае, если со стороны контрразведки встретятся какие-нибудь затруднения.

Преступлений коллегия Красного Креста не сделала, и прежнее управление в лице докторов Андреса и Исаченко приспособилось к совместной работе. Когда пришли добровольцы, члены коллегии остались при Красном Кресте. Конечно, Френкель и его коллеги теперь «уже не были большевиками» и тоже превратились в «охранителей» дела, которое на них было возложено. Это, конечно, чепуха: надо же где-нибудь служить, и те, кто не были большевиками, притворялись таковыми. Френкель был симпатичный и прогрессивный человек, его жена была моей ученицей. В нем не было ничего коммунистического, и было уди-

вительно, как такие люди могли выступать в роли большевистских деятелей. «Конечно, – говорил мне Френкель, – это ужасная система...» Френкеля я взял под свою защиту, и он несколько ночей у меня скрывался. Впоследствии, при уходе добровольцев, этой коллегии отдали Красный Крест обратно: по крайней мере, это не были разбойники.

Сейчас Красный Крест служил добровольцам, и я вошел с ним в соглашение. Доктора Андрес и Исаченко были хорошие и честные люди, но они были боязливы и слабы, а около них на страже сидела еврейская коллегия. Властвовал умный и хитрый врач-еврей Майданский, а слабодушные русские врачи ему подчинились. Майданский нацелился на прекрасную лабораторию Мариинской общины, которой я заведовал, и потребовал передачи ему приборов, в том числе моих собственных превосходных химических весов Сарториуса. Я едва их отстоял. Я выработал следующую комбинацию: Красный Крест брал на себя обслуживание санитарными отрядами и средствами штаба и наших воинских частей, а мы в случае отхода гарантировали им отступление с нашими войсковыми частями. Наша комбинация удалась: части были обеспечены медицинскими средствами, а Красному Кресту было обеспечено отступление.

Моя домашняя жизнь шла серо. Комната у меня была хорошая, но в мелочах чувствовалось много неудобств. В углу комнаты стояла винтовка, а между книгами на столе валялись обоймы патронов. Утром я ходил в лавочку и знал, что если сильно звучит канонада, значит, хлеб подорожал. Психика обывателя была сильно занята вопросом: чего бы купить получше и подешевле. Как ни странно, но в это время у меня было много флиртов.

Была глубокая осень, и рано наступили холода. Квартиры все стояли нетоплеными. Я не располагал возможностью часто топить в комнате: разовая топка стоила 100 рублей, и я сильно страдал от холода. Днем сидел не раздеваясь, в шинели, а ночью наваливал на себя всю одежду, какая была в комнате. Спал в валенках. Электричество горело по часам, и с каждым днем все меньше. Приходилось долго сумерничать в вечер-

ние часы, когда читать уже было нельзя, а света еще не было. Скучно бывало на душе в эти часы.

Когда повесился мой хозяин, это мало кого поразило. Был человек – нет человека. Оставшиеся в живых метались, сами не зная, чего им надо. Все ждали конца. Войска сражались все слабее. Я по целым часам работал на своей пишущей машине, приводя в порядок свои научные работы и исследования чрезвычайка. Я знал, что все это погибнет, но упорствовал в работе. Лично я не страдал. Ко мне заходило много знакомых. Мне часто приходилось ссужать их деньгами, ибо кругом всюду царилла нужда.

Наступил ноябрь. Было холодно. Поздно вечером на фоне черной ночи тускло светились огни в отдельных окнах, и люди тревожно проходили, озираясь друг на друга.

Теперь Добровольческая армия медленно умирала, а бандиты выходили на широкую дорогу. На улицах лежал мокрый снег. Один темный вечер был особенно жуток. В атмосфере разыгралось странное электрическое явление. Всюду кругом вспыхивали зарницы, дул ветер, и мокрым вихрем снег обдавал прохожих. Сквозь мглу плохо обрисовывались контуры домов, а с фронта слышалась сильная канонада. На Софиевской площади я встретил нерешительно блуждающий броневик, растерянно двигавшийся в полной темноте. Запахло большевиками. В штабе читали донесение: «Наша гвардия не имела успеха». Мне думалось: «Какая гвардия может быть без императора?» Она ведь не смеет петь державный гимн и вспоминать о величии и славе Империи. «Белозерцы вынуждены были отойти». А ведь это был славный полк Добровольческой армии, который под командой доблестного генерала Б. А. Штейфона, героя Кавказского фронта, совершал чудеса во время Гражданской войны. «Большевики взяли Конотоп и Нежин». Медленно, но верно надвигались они на Киев, и руководили ими офицеры Генерального штаба Императорской армии... Не сегодня-завтра отрежут путь на Ростов.

Банда в тысячу человек собиралась около Яготина, грабила поезда и мешала сообщениям. Это было в тылу наших частей, и было решено по-

слать туда отряд из состава нашей формировавшейся дивизии и пехоты из Дарницы. В восемь часов утра отряд наших кавалеристов без коней должен был погрузиться на товарной станции, а оттуда двинуться через Дарницу на Яготин. Я получил приказание организовать санитарную летучку для этого отряда. У меня в распоряжении не было ни денег, ни людей и ни одного врача. Весь вечер бегал я по городу, чтобы собрать летучку. Охотников ехать не находилось. Утром я встал, когда было еще темно, и отправился на станцию, но там никого не было. К воинской площадке только были поданы вагоны. Я понял, что Красный Крест обманул, и бросился в Мариинскую общину. В полчаса я снарядил двух вызвавшихся ехать сестер, снабдил их медикаментами и перевязочными средствами и с ними отправился на станцию. Около девяти часов утра прибыл отряд из 150 человек из 5-го уланского и 8-го Астраханского полков под командой ротмистра Скальского. Отряд был в великолепном состоянии, одет, снабжен. Люди были веселы, бодры, радовались, шутили. Острили, кто больше отобьет пулеметов. Под звуки марша военного оркестра в десятом часу поезд отошел.

Глядя на бодрое настроение отряда, я думал: «Не все еще пропало, если у добровольцев есть такие отряды». Отряд Красного Креста не пришел, а врач, назначенный в отряд, сбежал. В Дарнице отряд получил два орудия и был двинут не на Яготин, а на Черниговскую линию, где он два дня вел бои с большевиками. Он вернулся, потеряв четырех убитыми и тридцать ранеными. Их окружили большевики, и они с трудом отбились.

Продолжая работать по исследованию чрезвычайек, я снова столкнулся с деятельностью контрразведки.

Не надо думать, что смертный бой гражданской войны ведется всегда рыцарскими методами. Кто попадался, «выводился в расход» без всякой пощады и любыми методами. Однажды меня позвали по «совершенно секретному делу». Наши проследили шайку атаманов, которая нам делала большие пакости в тылу. Нападали из-за угла, вырезали небольшие части, чуть те зазеваются. Но разбойники любили

выпить и время от времени запасались спиртом в количестве нескольких ведер. Тут их и выследили. Возник вопрос, нельзя ли уничтожить эту сволочь, отравив спирт. Предполагалось в одну или несколько бутылей подсыпать цианистого калия, в том предположении, что, когда они перепьются, с ними будет покончено. Цианистого калия у меня был большой запас, и я всегда носил его с собой в баночке «на всякий случай». Мы обсудили вопрос, но возникло правильное опасение, что спиртом могут соблазниться и наши. План должен был держаться в большой тайне, и яд должен был подсыпать я. Зрело обдумав план, мы его отвергли. Если бы я был уверен, что он попадет куда следует, я бы ни минуты не поколебался уничтожить таким образом эту сволочь. И не было бы в моей душе к ним ни малейшего сожаления. Вот как-вы были авантюры этой войны. Конечно, добровольческая власть на это открыто никогда бы не пошла. Начальнику штаба пришлось бы взять ответственность на себя, а тайна осталась бы между нами, тремя участниками этого мрачного совещания.

Решено было в случае катастрофы разделить всех заключенных в тюрьмах на три группы. Чекистов и отъявленных большевиков расстрелять на месте при оставлении тюрьмы, более легких преступников выпустить на свободу, а третью группу, дело о которых не кончено, но которые относятся к чекистам, взять с собою, чтобы, смотря по обстоятельствам, или судить их, или расстрелять во время отхода. Как увидим дальше, это и было выполнено с той разницей, что на месте мы никого не расстреляли.

В контрразведке был ценный материал: подлинные документы, фотографии. Я долго просиживал над этим материалом и исследовал всех задержанных чекистов. Порок <...> человеку не надо было культивировать, он разрастался сам.

Около 10 ноября симптомы стали грозны. Уже стояли на очереди поезда на случай отхода армии, и в один прекрасный день велено было быть наготове и держать связь со штабом. Но никто еще не думал, что это конец Добровольческой армии. Говорили, что штаб Драгомирова

уйдет в Белую Церковь и оттуда будет руководить военными действиями. В это время обозначался успех на одесском направлении, и с похвалой отзывались о генерале Шиллинге.

В один из вечеров мы погрузились на товарной станции в вагоны и простояли в них дней пять, с минуты на минуту ожидая отправления. Бои шли уже вплотную перед Днепром, и мы были в полной неизвестности о положении дел. Для санитарных частей я получил четыре вагона, в которые погрузился Красный Крест, свернувшийся в отряд с большим запасом имущества. Мы переходили к обычной военно-походной жизни, которую я временами любил. Через два дня прошел слух, что положение улучшилось и что эвакуация отменяется. Русская душа отходчива: как только наших основательно разбивали, через день-два обыватель утешительно говорил: «Дальше не пустят» – и успокаивался до новой катастрофы.

Эти дни посадки прошли довольно спокойно. Но в это время обнаружилось обстоятельство, причинившее мне много хлопот и неприятностей впоследствии. Красный Крест преподнес мне сюрприз. Отряд, мне вверенный и всецело находившийся в моем распоряжении и под моею ответственностью, оказался имеющим в своем составе свыше 50 процентов израильского племени. Отъявленный большевик Майданский был тут как тут. Сестры милосердия были еврейки. Заведующий хозяйством Каневский – бывший большевистский комиссар, теперь объявивший себя спасителем Красного Креста, был еврей. Недавно я по мягкости русского характера, не желая ссорить штаб с Красным Крестом, спас его в контрразведке, поручившись за него вместе с доктором Андерсом. Обнаружился настоящий еврейский исход. И непонятно было, от кого они уходили. Но ведь была и другая сторона дела, на которую обратил внимание начальник штаба. Отряд был вблизи штаба – первоисточника всех сведений о Добровольческой армии. Через посредство Майданского эти сведения легко могли попасть не по тому адресу, по которому было желательно. Начальник штаба поставил мне это на вид, и мы долго обсуждали вопрос, как выйти из этого

положения. Принять решительные меры значило бы объявить войну еврейству и войти в конфликт с Красным Крестом.

В эти дни я выходил на несколько часов в город. Но там было спокойно. Государственная стража, в которую была переименована царская полиция, была еще на местах и в полной форме. В это время наблюдалось весьма характерное явление: если начинали грабить еврейскую квартиру, поднимался всеобщий вой целого дома, и эта мера помогала, ибо грабители разбегались. Когда же евреи грабили буржуев, те не смели выть, да это бы и не помогло. Железная дорога – эта артерия жизни – напоминала военный лагерь. Кругом было беспокойно, и мы поочередно стояли у вагонов дневальными с винтовками на случай неожиданной пакости и предательства большевиков. В одно из таких дежурств, стоя у вагонов, я заметил на одном из путей движение. Я подошел туда и застал с полчищем группу железнодорожных полуинтеллигентов, грабивших вагоны с мукой и солью. Одна партия выбрасывала из вагона мешки, а другая забирала выброшенное по рукам, загребая муку в мешки и горстями набирая сахар в карманы. Я взял винтовку наизготовку и разогнал эту сволочь. Они, как мухи, разлетелись от наведенной винтовки во все стороны. Мародеры бродили между вагонами группами и в одиночку. В одну из таких стоянок моих на посту ко мне подошла группа бродячих сербских цыган, которые тоже промышляли воровством, а у офицеров выпрашивали милостыню. Я отогнал их прочь. Но одна молодая цыганка предложила мне погадать. Быстро схватив мою левую руку и взглянув на ладонь, она торопливо проговорила:

– Эти дни берегись... Ходи осторожно... Будет тебе далекий путь и длинный... Но потом... ничего... Вернешься домой нескоро... Встретишь блондинку... Умрешь нескоро... летом, в июньский день Петра и Павла...

Я не люблю гаданий и отогнал цыганку, но все же дал ей денег. Лучше не знать своего будущего. И, конечно, не думал я, что ее предсказания так основательно и скоро сбудутся. В самом деле, как странно. Через две недели под Киевом я был под градом пулеметного огня в бою. Пуля



пробила мне сапог и царапнула ногу. Я уцелел в тяжелом отходе армии в Одессу. В Новороссийске перенес сыпной тиф и попал на Лемнос... Долгий и длинный путь, которого мы вовсе не предвидели и не ожидали. А затем эмиграция. Часто, задумываясь над пережитым, я спрашивал себя: какие законы управляют этим вихрем разрушения? И почему, несмотря на невероятные приключения, риск и опасности, какая-то невидимая рука хранит отдельных людей, выводя их живыми из страшной катастрофы, в которой топит беспощадно других?

Так было и со мной. Из самых опасных передраг я никогда не выходил собственными стараниями – выносила посторонняя сила.

Очистительный огонь большевиков делал свое страшное дело. Он смывал гнилую и слабую русскую интеллигенцию, уготовившую себе самоубийство.

Такие мысли бродили у меня в голове, когда в морозный вечер я стоял у буфера вагона с винтовкой у ноги на своем посту. Люди забирались в свои берлоги – нетопленные теплушки – и устраивались на грязном полу, чтобы коротать длинную и темную ночь, полную тревоги и неизвестности.

Постояв пять дней в эшелоне на товарной станции, мы возвратились в город. В это время Петлюра был разбит на Украинском фронте, и с галичанами, занимавшими Жмеринку, было заключено перемирие.

Добровольцы переживали последние дни. Гвардия на фронте сражалась все хуже. Восточные отряды грузин и кавказцев превратились в разбойничьи банды и грабили кого попало. Население озлоблялось и говорило, что между добровольцами и большевиками разницы нет. В самой армии шло разложение. С особенной ненавистью будировало еврейство. По адресу генерала Драгомирова пускались инсинуации. На Ирпене фронт держался тонкой нитью. Притока добровольцев не было. Оружия не хватало. Транспорт разрушали бандиты. За Днпром орудовал Махно. Бывало поставишь себе вопрос, что будет дальше, и словно закроешь какой-то клапан своей психике: «Лучше не думать».

Подонки, как говорили тогда, поднимали голову.

Наш штаб по-прежнему помещался на площади против театра. Во второй половине ноября у нас произошла перемена начальства. Генерала Рерберга сменил генерал-лейтенант Розалион-Сошальский. Говорили, что генерал Рерберг разошелся во взглядах с генералом Драгомировым и был причислен к его штабу. С моим новым начальником мы потом прочно сошлись и вместе испили всю чашу мытарств. Это был необыкновенно благородный и воспитанный человек старых традиций. Но при его появлении я не знал, как повернется дело. Впоследствии генерал рассказывал о моем первом ему представлении. Дел по приему должности было масса, и прошло несколько дней, прежде чем я представился ему официально. Начальник штаба доложил генералу, что надо принять корпусного врача, и генерал назначил мне время явиться. Пришел, говорит он, профессор в полной форме, но опытный кавалерист сейчас же усмотрел, что все не так сидит на корпусном враче, как на заправском кавалеристе, хотя тот и проделал в свое время японскую кампанию в составе Дикой бригады. Хлястик шинели сзади был предательски растегнут. Но зато исчерпывающим докладом генерал остался доволен.

- Персонал есть?
- Никак нет, ваше превосходительство.
- Средства и перевязочный материал есть?
- Никак нет, ваше превосходительство.
- Как думаете справиться?
- Достанем, ваше превосходительство, и обеспечим всем необходимым, войдя в сношение с Красным Крестом и добровольными сестрами.
- Хорошо, благодарю вас.

И повернулся налево кругом и вышел.

В это время ширилась эпидемия сыпного тифа, и я посещал многих офицеров по квартирам.

Вечерние сводки наводили тоску и уныние. Повсюду добровольцы сражались плохо и отходили почти без боев. Зараза отхода охватила всю армию. Это было мрачное время. Однако никто из нас, на-

строенных пессимистически, не предвидел того, что вскоре пришлось пережить всем нам. Даже на порядке работы не отражалась висящая над всеми нами гибель.

У меня было много работы. Вместе с врачами Красного Креста я выработал программу отхода. За нами остались те четыре вагона, в которых мы сидели во время первой стоянки на станции. Но получилось и осложнение. На меня выпала неприятная обязанность поставить управлению Красного Креста условие очиститься от израильского племени и взять на себя ответственность за эту меру. Она вызвала, конечно, много злобы по моему адресу. Один из евреев-врачей грозил мне расправой со стороны большевиков. Но приказание мне было дано, и я должен был его выполнить. Нелепо было пускать в свой штаб отъявленных большевиков, каковыми были Майданский и Каневский.

Со дня возвращения в город мы должны были держать связь со штабом, а я – еще и с Кинбурнским полком. Я часто рассуждал так: «Будь я человек молодой и имей я впереди будущее, все то, что я видел и переживал, было бы глубоко интересно. Если бы все это можно было изучить и обработать впоследствии». Но я не могу сказать, что и в то время я ринулся в омут событий, руководимый жаждой научного исследования. Я был человек со всеми страстями и пороками моей среды и моего времени. Состоял ли мой долг в том, чтобы работать в Добровольческой армии только в качестве врача или в роли бойца – это был вопрос высшей философии. Но я должен сознаться, что меня гораздо больше увлекала роль бойца.

Все, кто переживал драму того времени, не находили в ней ни прелести, ни поэзии. Проклинали судьбу и мечтали о лучшем. Созерцать драму приятнее, чем быть ее участником. Я часто спрашивал себя, что лучше: эта ли полная приключений тревоги и опасностей жизнь или тихое, безмятежное мещанское счастье, которое всегда было так чуждо моей душе? Думаю, что перетянули бы весы авантюры и покоя.

Однажды я зашел в контрразведку, офицеры которой ехали в тюрьму. У меня там было дело, и я поехал с ними на грузовике. В камере под

видом арестанта сидел агент контрразведки. Его вызвали на допрос, и он давал свои показания. Надо было иметь много отваги, чтобы играть такую роль. Он верно охарактеризовал беспокойное состояние тюрьмы, которая уже чувствовала провал добровольцев.

Многие колебались. Много революционной интеллигенции было теперь скомпрометировано своим отношением к добровольцам, и их ждала при возвращении большевиков жестокая расправа. Им не оставалось другого выхода, как уходить. Но никто тогда не знал, что такое *уход*. Некоторые превращения были поразительны и весьма характерны для этого времени.

Мой старый приятель доктор Г. был в течение многих лет партийным эсером. Это был умный, идейный и своеобразно честный человек из породы «кристально чистых». Он понимал как психиатр не меньше меня то, что происходит. Но шел в ногу с революцией. С наступлением революции он выдвинулся в число ее главарей и стал диктатором психиатрического дела, сразу заняв места сброшенных революцией старых коллег. Долго плыл он по поверхности революционного моря, но, как человек умный, ставший пассивным орудием высшей силы революции – еврейства, жестоко внутренне страдал от уязвленного самолюбия. Во время Керенского он ловко приложил руку к разграблению моего госпиталя, посадив туда в качестве врача свою жену. Ему пришлось подделываться под комитеты, состоящие из служителей и кухарок. По отношению к революции он был мягок и не противился злу. Пришла украинская власть, Г. стал украинцем. Пришли большевики, он сразу оказался большевиком. При гетмане он был лояльным. При добровольцах он прозрел и на этот раз, по-видимому, искренне.

В один из мрачных ноябрьских вечеров я шел с винтовкой наготове по беспокойной улице и вдруг столкнулся с доктором Г. Он был тогда главным врачом Кирилловской больницы и был встревожен сведениями о будто бы готовящемся нападении местных большевиков на добровольческий пост, стоящий у телефона в больнице и поддержи-

вающий связь с передовыми отрядами фронта. Когда он сообщил это мне, я забил тревогу и предложил ему отправиться со мной в контрразведку, чтобы сообщить об этом. Убежденный и идейный революционер сделался доносчиком и предателем своих и оказал Добровольческой армии услугу. Меры были приняты, попытка предотвращена, но доктору Г. потом пришлось отходить с нами на Одессу, покинув свою больницу. Впоследствии он вернулся к большевикам, где, вероятно, и «сгорел на костре революции».

Деятельность коменданта Киева, генерала Габаева, была ужасающая, непонятно только – вследствие ли слабости и непонимания положения или влияния его грузинского окружения. Он оказывал давление на военный суд, настаивая на оправдании Валлера, а затем вопреки всем законам помиловал этого чекиста, снабдил его документами офицера Добровольческой армии и в момент отхода освободил его из тюрьмы, послав для этого своего адъютанта. В такие времена комендант должен быть тверд и непреклонен, а если генерал совершил свои преступления по слабости и непониманию, это не есть оправдание.

Последние ночи перед уходом добровольцев были кошмарны. Мрак, стрельба, разбои. Отсутствие воды и электричества. Путь на Фастов был еще свободен, и говорили, что можно отходить на Жмеринку, где соглашение с галичанами было обеспечено. Путь на Полтаву был уже отрезан. Там оперировали банды разбойников, которых называли «зелеными». Поезда проходили под обстрелом. По Черниговской линии большевики подходили к Броварам.

27 ноября мы получили приказание к 6 часам вечера быть с вещами в штабе. В эти дни по улице военному можно было ходить только в полном вооружении, ибо на них открыто нападали. Я собрал необходимое в мешок и, бросив на произвол судьбы свое имущество, забрал в сумку рукописи моих работ и ушел из дому, чтобы навсегда покинуть Киев. Мы шли не на беженство, о котором тогда и не помышляли, а на последнюю борьбу в рядах отступающих войск.

## ГЛАВА XIII

### Отход от Киева до Белой Церкви

Все офицеры были в сборе. Около шести часов вечера пришел приказ грузиться. Поднялась суета. Надо было *реквизировать*, то есть просто насилием и угрозой захватить подводы. Эта операция производилась чисто разбойническим образом: хватали на улице подводу, приставляли к груди возчика револьвер и заворачивали к себе.

Был темный, мрачный ноябрьский вечер. У театра еще горели огни, и на площади было немного света. Картина выноса тюков была жуткая. Грузили на несколько подвод. Мы стояли группой на тротуаре, когда к нам подошел генерал Розалион-Сошальский. Ему только что сообщили об эвакуации. Сам он должен был ехать в поезде генерала Драгомирова и пришел осмотреть свой штаб прежде, чем он тронется. Обоз стоял наготове. Я раздобыл небольшой мешок с кусковым сахаром и думал, что он очень пригодится для штаба в походе. Я положил его на одну из подвод. Но не успел я оглянуться, как кто-то его спер.

Было около семи часов, и генерал должен был решить, идти ли с нами или отправиться в штаб генерала Драгомирова. Он решил идти туда. Надо было дать генералу провожатого. Начальник штаба осмотрелся кругом, ища подходящего человека, и вдруг обратился ко мне:

– Доктор, проводите генерала.

Мне очень польстило такое поручение, Я зарядил винтовку, и мы вдвоем пошли. На улицах было жутко. Кромешная тьма, всюду стрельба, мелькавшие иногда вблизи неясные силуэты людей. Надо было пробираться осторожно и не подпускать к себе близко встречных. Я держал оружие наготове и гордился своею ролью конвойного. Нечего греха таить: мне нравились эти авантюры. Я думал:

«Вот, черт возьми, какими делами занимаюсь!»

В штабе был свет: значит он не ушел. Охрана штаба была слабовата, и если бы местные большевики имели больше инициативы, они могли

бы захватить его голыми руками. В штабе был порядок, и начальник штаба генерал Вахрушев был совершенно спокоен.

Пока генерал Розалион-Сошальский сидел в кабинете у начальника штаба, я стоял в пустой комнате перед дверью, как часовой, с винтовкой у ноги. Вышел генерал, сказал, что он остается здесь и чтобы я передал штабу приказание двигаться на станцию немедленно. Черно было кругом, когда я пробирался к своему отряду, а когда пришел, он уже двинулся.

Со штабом шли женщины, жены офицеров. Улица была пуста, ни зги не было видно от черноты ночи. Все казалось подозрительным, и все боялись друг друга. Люди, как хищные звери, рыскали кругом. Местами мы попадали под редкий огонь. Когда мы проходили мимо университета, я вдруг услышал в тишине ночи знакомый голос. Я окликнул. Да, это была М. А. Сливинская с мужем, полковником Генштаба. С этой женщиной мы встречались уже не раз, и всегда в самые трагические моменты революции. Она опять кого-то спасала.

И все-таки картина была жутка, но красива. В двух шагах не было видно человека. Со всех сторон можно было ждать нападения, и никто не мог сказать, доберется ли он до цели.

Действительность будит ассоциации. Я вспомнил такую же феерическую ночь отступления армии на Мазурских озерах. Ночь была так же зловеща и черна. Кругом пылали пожары, и зарево их временами прорезывало ночную тьму. Сплошным потоком шли по шоссе отступающие войска, обозы обгоняла конница, вереницей заполоняла шоссе автомобильная рота. И когда зарево пожара на время освещало это шествие, картина была грандиозна. Здесь – в нашу ночь отхода – не было грандиозности. Это уже не была великая Императорская армия, а тень ее, без императорских знамен, без будущего. Уже валяющаяся в бездну неопределенности.

Приблизительно в одиннадцатом часу ночи мы добрались до станции. Товарный двор станции напоминал военный лагерь. Мы долго узнавали, на какой площадке нам грузиться. У воинской платформы уже стояли наши вагоны.

Разместились, как обыкновенно бывало на походах. Но с нами были дамы, и нельзя сказать, чтобы в их присутствии у их мужей было много воинского духа. Не место женщинам в таких передрягах! Семейства волновались и трусили. В первый раз я выступал в поход с женщинами. Вслух рисовали всякие ужасы, и кто мог тогда подумать, что это были только слабые наброски фантазии того, что фактически пришлось пережить впоследствии и что многим из присутствовавших уже не придется пережить надвигающихся событий.

Всех тянуло скорее тронуться. Куда? Не все ли равно! Только подалеже от надвигающейся опасности. Я был в задирательном настроении и слегка поддразнивал храбрых воительниц.

– Отрежут... Окружат... – шептал голос из темноты.

– Ну что же, и окружат. Пробьемся! – отвечал я из своего угла.

Но всякое волнение проходит. К утру все заснули. Утром мы огляделись. Наш поезд состоял из 15–20 вагонов-теплушек. В одном из них, переднем, помещался штаб, четыре вагона были отведены под отряд Красного Креста, а остальные вагоны занимала 7-я кавалерийская дивизия. Под этим громким названием было около трехсот всадников без лошадей, составлявших четыре полка. Опытные люди устроились даже недурно. У командира Кинбурнского полка в теплушке получилось даже нечто вроде гостиной. Зажили мы в эти дни настоящей военно-походной жизнью. Красный Крест устроился даже с комфортом и приютил меня. Генерал и начальник штаба ехали в поезде генерала Драгомирова. В вагонах дивизии было оживленно.

С утра все ждали, что поезд скоро тронется, но узнали, что вся станция забита поездами, что паровозов мало и что с трудом выпускают один поезд за другим. На второй день нашей стоянки обнаружилось, что дело идет уже не о перемещении штаба, а о настоящей эвакуации города. Всюду было полно людей. Военные и гражданские части грузились эшелонами. Уходило не только либеральное, но и революционное прошлое. Эвакуировались власти, общественные деятели, городская управа, чиновники, профессора, люди свободных про-



фессий. Здесь был цвет русской интеллигенции, теперь прозревшей, которая стремилась уйти от большевиков. Похоже было на настоящую эвакуацию, когда еще на что-то надеялись и думали, что где-то еще удастся пожить по-человечески.

Накануне посадки я зашел на мою прежнюю квартиру, где уже умер мой школьный товарищ Заламатьев. Его сестра мне напророчила: «Да, уйдете вы, добровольцы. Будут большевики. Уйдете совсем и больше не придете».

Я шутил: «Вернемся, когда зацветет сирень».

Но многие уже уверенно говорили: «Это конец Добровольческой армии, совсем конец. Она погибла, и ничто более ее не спасет».

На станции тревога росла. Было очевидно, что посадить-то посадят, а вывезти не смогут. И счастье, что люди не знали правды. Завидовали тем, кто был половчее и умудрялся уходить в первую очередь. Ходили слухи, что путь на Одессу пресечен. Со стороны Слободки слышалась неумолкающая канонада. Передавали, что отряд полковника Удовиченко с 2000 человек пошел в тыл большевикам, но скоро выяснилось, что он потерпел неудачу и с трудом спасся.

В эти первые дни я еще ходил в город. Люди были растерянны, пришибленны. Радовались одни евреи. Остальные знали, что ждет их впереди. Всюду выражали сожаление по поводу нашего отхода и надеялись на скорое наше возвращение. 16 ноября стали обстреливать город из-за Днепра. Временами большевиков несколько оттесняли, и тогда обстрел ослабевал. Цены в городе росли, мародерство усиливалось, и в этом особенно усердствовали кавказцы, присосавшиеся к Добровольческой армии. Однажды я натолкнулся на такую сцену: в переулке я услышал раздирающий крик женщины и выстрелы. Я был в офицерской шинели, с докторскими погонами, при заряженной винтовке и револьвере. Бросившись туда, я застал двух восточных людей в черкесках и погонах, открыто грабивших на улице старую еврейку. Мое вмешательство спасло ее от убийства. Грабители были из грузинского отряда генерала Бабаева и не решились расправиться со мной.

На Мариинско-Благовещенской улице, против общины Красного Креста, куда я зашел по делу, на мостовой лежал труп бравого унтер-офицера, добровольца, которого кто-то только что ухлопал. Я задержал ехавшего мимо ломовика, пригрозив ему револьвером. Мы взвалили труп на подводу, и я приказал ему отвезти покойника в анатомический театр. Никто не знал, кто убитый, и, конечно, никто из близких никогда и не узнает о его кончине. И черт знает, зачем я это сделал! Вероятно, ломовик по дороге просто вывернул труп и не довез его туда, куда было приказано.

Повсюду происходили сцены отказа в приеме добровольческих денег. И это было знаком полного их падения. В одном месте я застал толпу, окружавшую торговку, которая не хотела продавать товар, требуя советские деньги. Опять мой беспокойный дух толкнул меня вмешаться в это дело. По существу – не хочет брать, ну и черт с нею. Но меня взорвало добровольческое самолюбие: ведь мы еще не ушли. Я пригрозил ей револьвером: это ведь был единственный язык, который тогда понимали. И толпа осталась довольна моим вмешательством. Тут же, вслед за этой сценкой, разыгрался другой эпизод, столь характерный для того времени, что, умолчав о нем, я искажил бы фильм, отражающий действительность, и не отметил бы тех причудливых переливов событий и переживаний, которые так типичны для революции. Отойдя на несколько шагов от торговки, я столкнулся лицом к лицу с милой женщиной, с которой у меня недавно был флирт. Нас потянуло друг к другу. И в этой невероятной обстановке, когда я должен был торопиться к эшелону, когда кругом витала смерть и все висело на волоске, я соблазнился и на четверть часа завернул к ней. <...> Выстрелы на улице вернули нас к действительности, и мы расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться.

Я посетил Галицкий базар. Там спекулировали. И кажется, что, когда рушится весь мир, люди все еще гонятся за наживой. Интеллигенты продавали свои вещи в поисках продовольствия.

В эшелоне походная жизнь шла своим порядком. По утрам солдаты Кинбурнского полка в полном боевом снаряжении уходили по наря-

ду за провиантом, который покупали, а не грабили. Офицеры были на общем котле. У Красного Креста был даже спирт, а он много значил в это тяжелое время.

Первые дни стоянки прошли даже сносно. Я люблю эту жизнь. Переряжаешься в шкуру солдата и живешь беспечно сегодняшним днем.

В вагоне Красного Креста я помещался на носилках с хорошей подстилкой. Тогда нас еще не заедали вши, и это был райский период наших скитаний. Бараница – теплое одеяло из бараньей шерсти – хорошо грела. На счастье, дни были не слишком холодные. В вагоне каждый устраивался по своему вкусу. Доставали в теплушки железные печи. Еще с царских времен этого запаса было неисчислимое количество. Доброе старое царское время! И теперь еще оно нас грело, питало и одевало. Если бы не было его запасов, давно бы все погибло. Даже железнодорожники, грабители из грабителей, не могли все уничтожить. А теперь никто этого добра и не охранял: «Бери что хочешь!» Теперь это «ничье» – «народное». «А мы? Кто были мы? Русский народ или его отщепенцы, лишенные быховскими генералами великого прошлого, императорских эмблем, лозунгов, гимна? Были ли мы русским народом?»

Большинство людей не понимало серьезности положения и не верило в опасность. Мы перескочили из третьей очереди в одиннадцатую и стали сильно тревожиться, что нас не вывезут. А ведь мы все-таки были отделением штаба главнокомандующего. Некоторые боевые части силой захватывали паровозы и заставляли себя везти. Бывали случаи, что вооруженные люди отбивали паровоз от другого поезда и, прицепив к своему поезду, уходили. По долгу истины должен констатировать, что ничего подобного при эвакуации у большевиков не происходило. Там она совершалась в величайшем порядке, никого не покидали, и сохранялась строгая дисциплина.

В это время жуткий страх охватил наш храбрый штаб, в котором, однако, было 13 офицеров. Своими сетованиями и стонами жены развращали своих мужей. 29 ноября во мраке наступающей ночи, которая давала возможность невидимо краснеть, в вагоне штаба завязался по-

стыдный заговор. На совещание позвали и меня. Таинственно шептали, что мы обречены, покинуты, забыты, что мы не получим паровоза, будем окружены и вырезаны. Говорили о том, что штаб должен перейти в другой поезд, и уже разыскали вагон, в котором можно поместиться. Гнусным и постыдным показался мне этот заговор. Я резко запротестовал. Я доказывал, что мы не имеем права покинуть отряд и без приказа бросить дивизию. Я говорил, что в последнюю минуту мы вместе с нею с боем отойдем. Я дерзко заявил, что своей части не брошу и что считаю бегство позором. На этот раз я победил. Но на следующий день, потихоньку и подло сговорившись, кто-то кого-то подкупил, кого-то попросил, и темным вечером штаб бежал от своей дивизии. Старший полковник на этот раз без лишних разговоров заявил мне, что они решили перецепиться к другому поезду: «А вы, доктор, как хотите». Мы молча расстались: я – с презрением, а они – с ненавистью ко мне. И больше в эти дни я о них не слыхал. Дело ухудшалось. На беду, настали редкие для Киева туманы, почти непроницаемые. В десяти шагах не видно было человека. Маневрировать в бою было почти невозможно. Большевики заняли Дарницу, и Днепр стал замерзать.

Мы хорошо понимали, что, как только окрепнет лед, большевики перейдут Днепр. Говорили о каких-то 800 орудиях, делавших будто бы Киев неприступным со стороны большевиков. Войск было мало, однако впоследствии отошедшая в Польшу армия Бредова насчитывала около 22 тысяч человек. Такие силы могли дать отпор, и, если они его не дали, дело было не в количестве: части просто уже потеряли свою боеспособность и не принимали боя.

На следующий день после бегства штаба заволновался и Красный Крест. Врачи стали наседать на меня: «Мы не уедем, нас бросят»... Отрицать факт было нечего. Хотя нас никто не бросал, но было ясно, что мы обречены. Но обречены лишь не следовать с поездом. Впереди нас и с нами ведь оставались боевые части. Я говорил: «Мы выгрузимся и с боем пойдем пешком». Но люди словно обезумели. Меня упрекали в донкихотстве. Но на меня это произвело только подхлестывающее дей-

стве. Я категорически заявил, что своей дивизии не брошу, а разделю ее судьбу. На моем попечении находились раненые, и бросить их было невозможно. Они говорили о бесполезности риска, которого никто не оценит, и убеждали меня бежать. Но чем больше они меня убеждали, тем приятнее становилось сознание, что, оставшись, я выполню свой долг. Воспретить это бегство я не мог. Они отправились на поиски и вечером привели к себе в вагон молодого офицера, накачали его спиртом. Ночью к поезду бесшумно подошел паровоз и, отцепив четыре вагона Красного Креста, увел их к другому поезду. Я едва успел выкинуть на платформу свои вещи и выскочить сам. Среди ночи я остался один на темной платформе у поезда с оторванной головой. Но в поезде все же была боевая часть. Пусто было кругом меня, но радостно на душе от одержанной над собой победы, и я был горд ею. Меня не тянуло уйти, и в силу своей натуры я не мог бы этого сделать. Но в тайниках души соблазн, вероятно, был, и его надо было победить. Куда мне было деться? Я не стал стучаться в офицерский вагон-теплушку. Но в эшелоне были пустые вагоны, хотя и без печей, и я забрался в один из них и расположился на холодном полу. Ночью же сюда перебралась группа в 27 солдат Кинбурнского полка, и я прожил с ними эти последние три дня нашей стоянки. Это было поучительно.

Предо мною вскрылось теперь настоящее лицо гибнущей армии. По внешности в строю, в казарме полк еще походил на воинскую часть. Но здесь, в вагоне, в своей компании это были настоящие бандиты-большевики. Солдаты разделялись на две группы – добровольцев и мобилизованных. Добровольцы были беспечны, бравировали и веселились. Мобилизованные были унылы и молчаливы. Добровольцы презирали мобилизованных. В вагоне царило полное нестеснение и совершенная разнузданность. Никто ничего не хотел делать. Каждый наряжался с руганью по-матерному, с отказами и пререканиями. Каждый приказ обсуждался. Боялись, чтобы, боже сохрани, как бы случайно не перенести офицерских вещей и не унизить своего солдатского достоинства. Офицеры были корректны с солдатами до крайности, и это иногда

носило оттенок слабости, в ущерб дисциплине. Никто не решался попросить солдат помочь в чем-нибудь. Лежа на своих носилках, поставленных в углу теплушки, я приходил в отчаяние и злился. Эти солдаты для боя уже не годились: от них так и несло приказом № 1, который здесь стремились соблюдать в полной чистоте. Грязь в вагоне была невыносима, и никто палец о палец не ударит, чтобы прибрать. Все было заплевано. Залихватски распевали добровольческие частушки, в которых повествовалось о подвигах добровольцев и поносились жида и комиссары. У этих людей совершенно не было идеи спасения России. Они шли против большевиков, а сами были чистые пугачевцы, набитые глупой фанаберией керенщины.

Впечатление о моих сожителях стало совершенно безотрадное, и это был перелом в моей душе, после которого я перестал идеализировать тип добровольца. Я лежал у самой печки. Было очень неудобно, и я пожалел о своем спартанстве, не перейдя в офицерский вагон.

В ночь с 1 на 2 декабря туман был непроницаем и мрак абсолютный. Канонада гремела вовсю. Эшелон мирно спал, и на станции все было тихо. Ночь на 3 декабря опять была до невозможности туманна. Грохот орудий еще ни разу не достигал такой силы. Днепр буквально гремел своими орудиями, а мы не подозревали, что это стреляет неприятель, подготавливая переправу через только что замерзшую реку. Всю ночь канонада владела вниманием. И вдруг она сразу затихла. С первым проблеском рассвета над станцией пронеслась весть: «Большевики переправились через Днепр и занимают Киев».

Мы по-прежнему стояли без паровоза. Почти все поезда ушли, и теперь снимались последние. Два наших офицера бросились искать паровоз. Все было готово к высадке, чтобы успеть отходить пешим порядком. Было приказано выслать разведку из семи всадников, и я отпросился у командира полка пойти с ними. В жуткой тишине морозного утра мы тронулись по железнодорожному полотну по направлению к мосту. Пустынно было кругом. Мы шли сначала по насыпи, затем я спустился влево и пошел вдоль нее. Солдаты рассыпались и

шли параллельно. Нас обогнал бронепоезд «Доблесть витязя» с двумя пустыми платформами впереди. Навстречу часто попадались нам отдельные отходившие солдаты и железнодорожники. От них мы впервые узнали, что в шестом часу утра большевики в двух верстах южнее железнодорожного моста перешли Днепр гуськом по льду. Батальон Белозерского полка, занимавший здесь участок, прозевал переправу и вместо того, чтобы отбросить большевиков, сам стал отходить. На поддержку была двинута офицерская рота, и надеялись, что большевиков отбросят. Но они уже начали распространяться по нашему берегу и открыли россыпной огонь. Мы не успели еще пройти второй версты, как показался обратно идущий бронепоезд. Теперь обе его бывшие пустыми платформы были набиты солдатами батальона белозерцев. Впереди оставались одни большевики. Мы определили их число приблизительно в 600 человек. Они рассеялись между домами, и их пришлось бы выбивать уличным боем. С минуты на минуту ожидали выступления местных большевиков. Мы возвратились, и я доложил полковнику Перемыкину о положении. Было велено разгружаться и запрягать обоз.

Всем отрядом командовал полковник 8-го уланского полка Жевалов. У нас было два автомобиля и около десятка подвод. Один автомобиль был отдан мне для раненых, и я вступил в отправление обязанностей врача отряда, ибо кроме меня врачей не было. Теперь уже шло дело, и я весь ушел в работу. Не было ни страха, ни мыслей о будущем. Я погрузил трех раненых. Рядом на возу сидела супруга командира Кинбурнского полка, великолепно державшая себя. Обоз выравнился, а дивизия выстроилась в две шеренги вдоль перрона. Обоз в полном порядке шагом тронулся по направлению к Соломенскому шоссе. Когда я взглянул туда, то увидел форменный отход добровольческих войск и верениц беженцев через мост, перекинутый над полотном железной дороги, по шоссе. Туда же по полотну медленно ползли поезда, получившие паровозы в последнюю минуту. Шли без суеты и паники. Потом обнаружилось, что наши офицеры захватили паровоз, и машинист обещал вывести поезд, но в критический момент стрел-

ка оказалась запертой: какой-то мерзавец обрекал людей на гибель. Я проводил обоз глазами, оставив при себе автомобиль с ранеными на случай, если придется посадить вновь раненных, и, когда кончил его снаряжение, доложил об этом командиру отряда. Мы стояли на левом фланге выстроенной дивизии. Командир подошел к автомобилю, осмотрел этот жалкий «Форд». Один из больных тащил туда тяжелый мешок с вещами. Я без разговоров вывалил мешок на землю: не до вещей теперь было.

– Все готово, доктор? – спросил командир.

– Так точно, господин полковник.

Шофер выразительно и нетерпеливо смотрел на командира: екало, видно, его сердце. Кругом уже стреляли, и пули со свистом пролетали в воздухе. Сзади и вправо от нас стояли выстроенные полки. Ожидание было напряженное, но люди держались стойко. Осталось одно место в автомобиле: кого посадить? Молчание. Командир поглядел кругом, взглянул на меня и спокойно сказал: «Доктор, садитесь вы!»

Меня эти слова хлестнули, как оскорбление перед целой выстроенной дивизией. Я посмотрел ему в глаза и медленно произнес: «А вы меня после этого станете уважать, господин полковник?»

Так же спокойно захлопнув дверцы автомобиля, я сказал шоферу: «С Богом!».

Теперь я взял в руки винтовку и присоединился к группе офицеров. Радостно стало на душе. Мои коллеги называли это донкихотством. Пусть так. А все же эти моменты давали наслаждение.

В полном порядке, спокойно перестроился отряд в колонну. Велика духовная мощь строя! Кругом уже рассеялись большевики и шел редкий огонь.

«Шагом марш!» – послышалась команда, и мы двинулись на дорогу. Со мною из всего бежавшего штаба остался поручик Котлов. Это был милый, храбрый офицер, и мы вместе с ним совершили дальнейший отход в атмосфере мелких боев. Когда мы тронулись, послышался мерный ритм пулемета, и рои пуль зажужжали над нами и среди



нас. Направо от нас убило штатского и ранило на паровозе машиниста. Дальше упала проходящая женщина.

– Это нас из пулемета обстреливают, – заметил Котлов.

– Ну что ж, – возразил я. – Убьют так убьют.

Было спокойно на душе. Не всегда в психике во время боя царит животный страх. На людях бойцы подтягиваются. Конечно, тянет скорее выйти из сферы огня, но на глазах других люди бодрятся, и никто не ускоряет шага. Но пройденное расстояние мысленно отсчитывается. Под сильным огнем местных большевиков, которые еще вчера жили вместе с нами, отходящие части тянулись к посту Волынскому и по полотну дороги, и по шоссе.

Меня толкнуло в левую ногу. Пуля пробила складку сапога и задела кожу. Даже сильной боли я не почувствовал. Это был выстрел слева, со стороны вокзала. Я вспомнил предсказание цыганки: «Эти дни ходи осторожно!».

Мы вышли на шоссе и были вне сферы огня. Большевики тоже не имели наступательного порыва и не пытались отрезать отступающие части. Ко мне подошел живший здесь служитель физиологической лаборатории, приветствовал меня и пожелал счастливо выбраться отсюда: «Дай вам Бог выбраться. Много тут есть всякого народа, что еще стрелять в вас будет». Население провожало нас благожелательно, опасаясь за наш благополучный отход. Наше счастье, что здесь мало жило евреев.

Было тихое и нехолодное утро. Туман рассеялся, и небо сплошь было покрыто серыми тучами. Слева от нас отступала офицерская рота, и я видел в ней моих соратников по октябрьским боям. Как будто сама природа благопритствовала большевикам: как только добровольцы отошли, туман рассеялся и настала тихая погода. Подходя к Жулянам, мы увидели рассыпанную до невероятности редкую цепь добровольцев, охранявшую отход. Здесь стояла гвардия под командой полковника Никонова. Солдаты стояли на расстоянии 20 шагов один от другого, пропуская через цепь отходящие части и беженцев. Командир

уланского Литовского полка, в строю которого я шел, решил усилить цепь, и мы влились в нее.

Со стороны Киева было тихо. Беженцы шли в большинстве без всякого багажа. Каждый спасался в чем мог. Многие из них были обречены на гибель, как были бы обречены и в том случае, если бы остались в Киеве. В момент отхода я бросил в вагоне свой мешок с вещами. На мне была летняя офицерская шинель с погонами военного врача, хорошие сапоги, фуражка, винтовка и сумка с 50 патронами. Под шинелью был очень теплый костюм, доставшийся мне от умершего год тому назад моего отца. Из ценностей при мне были золотые часы с цепочкой и кошелек с 20 тысячами добровольческих рублей. В кармане шинели случайно зашляпалось несколько кусков сахара. Они буквально усладили мне жизнь во время этого похода и доставили мне столько радости!

Стоя в цепи, утомленно шагая по дороге, отстреливаясь от банд, я с наслаждением сосал куски сахара. Увы! Их было не так много.

Когда я стоял в цепи, перед моими глазами открывался простор, по которому из Киева отходили группами и в одиночку люди. Вправо от меня я заметил темную группу, двигавшуюся особняком. Когда она проходила близко от нас, от нее отделился человек и подошел ко мне. Это оказался помощник начальника киевской тюрьмы, который вел группу арестантов, выведенных из тюрьмы. Он пришел ко мне спросить совета, что делать. Я был единственным представителем власти, как член Комиссии по расследованию злодеяний большевизма, оставшийся в Киеве. Контрразведка уже ушла. Арестанты в тюрьме, согласно выработанному плану, должны были быть разбиты на три группы. Первую – отчаянных чекистов – надлежало расстрелять при оставлении тюрьмы на месте. Никого, однако, там не расстреляли. Вторую группу – более легких обвиняемых – надлежало выпустить, а третью группу в числе 45 чекистов вывести с собой, чтобы, смотря по обстоятельствам, или предать их суду, или расстрелять, если обстановка не позволит их вывести. Теперь он с небольшим конвоем и вел эту группу. Что было делать? Кругом шел бой. Отход был почти безнадежен. Я не мог дать никаких приказаний,

но я не поколебался напомнить ему инструкции, и мы выразительно поглядели на ближайший лесок. Впоследствии, в Одессе, тот же помощник начальника тюрьмы рассказал мне, как их расстреляли в этом леске, ибо не было никакой надежды их вывести. Под пулеметным огнем тела людей корчились на лесной поляне, получая возмездие за совершенное ими. Но что значил этот эпизод по сравнению с той смертью, которая косила теперь сотни и тысячи людей, ни в чем не повинных, десятками отстающих, замерзающих, умирающих в теплушках от сыпного тифа и замучиваемых бандами грабящих крестьян?

Наши потери были сравнительно ничтожны. И в то же время на улицах Киева снарядом был убит профессор Брюно, с которым я только несколько дней тому назад обсуждал возможность его отхода.

К полудню Литовский полк передвинулся к посту Волынскому. Когда я на станции возился с ранеными, Кинбурнский полк ушел вперед, и я остался с Литовским. Поезда непрерывной лентой один за другим уходили, вернее, ползли по направлению к Василькову, и сколько видел глаз, тянулась эта лента. Люди, как мухи, облепляли крыши и буфера, стояли на ступеньках. Никому не хотелось отставать. По обеим сторонам полотна непрерывно шел поток людей – и вооруженных, и невооруженных. Некоторые воинские части, потеряв надежду, что их поезда будут увезены, разгружались и, бросая свои базы, трогались пешим порядком. Я натолкнулся на такую картину оставления своей базы Якутским полком. Это был хороший боевой полк. Командиром его был хромой генерал.

Наш полк отправился по дороге к Боярке, в 21 версте от Киева. Кое-где вдоль дороги стояли в боевой готовности орудия добровольцев, наведенные на Киев, а вблизи их были установлены пулеметы. Но странно: я не видел ни коноводов, ни зарядных ящиков. Добровольцы бросили в Киеве все свое имущество. Орудия не на чем было вывезти. Потери были невелики, и если бы дух армии не был сломан, можно было бы дать отпор. Некоторые небольшие забытые части погибли целиком, как, например, часть, охранявшая деревянный мост. Мы по-

пали в части, которые должны были идти на Васильков, а оттуда на Белую Церковь. В этот день нападений банд на нас не было. Душевное напряжение делало этот переход в смысле утомления малозаметным. Вечер был теплый и тихий.

Полк вступил в Боярку, – здесь был объявлен привал. Сплошной кучей набились в хату, чтобы согреться. Даже присесть было невозможно. Курили и, конечно, плевали. Здесь мы встретили наших двух офицеров Кинбурнского полка, полковника Васильева и корнета Падалку, отбившихся от полка, так как они были в разведке. Мы решили дальше держаться вместе и догонять наш полк. Опыт боевой жизни научил меня всеми силами стараться не отбиваться от своей части. Но офицеры любили устроиться поудобнее. Отыскав комнату в доме священника, они звали нас туда. Я долго уговаривал их, но должен был уступить своим спутникам, хотя ничего хорошего от этого не ждал. Мы действительно нашли прекрасную комнату, где нам дали самовар, и мы удобно расположились. В это время к нам явились офицеры Кабардинского пехотного полка, с которыми мы и поделились помещением. Часть этого полка еще отходила с боем и теперь выставила охранение. Мы хорошо поужинали и растянулись на соломе, уговорившись, что во время отхода Литовского полка нас разбудят. На боевой линии было тихо. Мы сладко спали, когда раздался голос: «Литовский полк прошел на Васильков». Мы вскочили, но, пока мы шарили спички и собирали вещи, от проходящего полка не осталось и следа. Я бросился вдогонку полка, но улицы были безлюдны, а новые части не проходили. Мы вынуждены были вернуться и дожидаться утра. Был первый час ночи. Случилось самое скверное: мы оторвались от нашей дивизии и найти ее в сутолоке отхода было нелегко.

Мы встали в пять часов утра, когда было еще совершенно темно. В шестом часу мы вчетвером выступили в путь. Деревня еще спала. Было сравнительно тепло и совершенно тихо, как бывает в зимнее утро, когда даже петухи не поют. Кое-где у дворов стояли обозные повозки, но значительных скоплений войск здесь не было. За точно вымершей деревней шел лес. Идя между деревьями, мы обогнали группу штатских бежен-

цев. Пешком уходила группа членов и служащих Киевской городской управы. Социал-революционеры уходили теперь под охраной штыков Добровольческой армии. Все было теперь безразлично, и даже напор желаний не пробивал неизвестного. Куда мы шли? Всюду кругом была пугачевщина, от которой гибла и наша армия.

С уходом из Киева опустилась занавесь на все, что там происходило. Это начиналась глубокая ночь над Матерью городов русских, где безвозвратно хоронилась прежняя счастливая жизнь с ее сказками о киевских богатырях. Большевики легко могли перерезать нам путь, а люди шли тысячами.

Первая деревня была верстах в семи. Мы добрались туда, когда начало светать. Там все спало. Обнаружилась знакомая картина русской беспечности. По дворам, забившись в хаты, мирно спали небольшие группы добровольцев, не выставив никаких охранений. Если бы сюда ворвалась банда, она перерезала бы всех как гусей, что и случилось в эти ночи. Тихо надвигался рассвет. Багряную зорьку на востоке приветствовала доносившаяся с северо-востока оружейная канонада. Начиналась дневная работа уничтожения людей.

Когда мы вышли из деревни, дорога стала оживляться. Небольшие отряды трогались в путь. Шли группы беженцев самых разных типов. Одеты они были во что попало, и горе было тем, кто был одет лучше, ибо их сторожили на пути хищники. Шли с котомками, без суеты и неторопливо. Путь предстоял далекий. Войсковые части шли уже без строя и без команды, простыми группами. С восходом солнца вся дорога заполнилась людьми. Вышедший впереди нас Литовский полк заночевал в одной деревне и был обстрелян там бандитами. Но полк отбился без потерь. По дороге валялись разбитые автомобили, повозки, кое-где дохлые лошади. С быстротой молнии дорогу облетали слухи. Сзади напора большевиков не было.

Так начались эти безнадежные скитания и мытарства, которые смели с лица земли Добровольческую армию. Картина ее гибели была грандиозна. Человеческая личность была ничтожной былинкой в этом вих-

ре, и ее бросало вне управления личной волей. Не было ни разума, ни мудрости, ни веры. Еще менее было надежды, и вовсе не было любви. Была лишь всюду ненависть и скорбь. Тихая зимняя ночь близилась к рассвету. Мы шли вчетвером по лесной дороге, которая вилась среди оголенных, посыпанных снегом деревьев. Все было бело кругом. Но снег не был глубок, а воздух был неподвижен. Декорация располагала к размышлениям. Ночь мы отдохнули и потому шли бодро. Обозы из деревни еще не трогались, и потому кругом было пустынно.

Я думал: «Что было удивляться добровольцам, которые не смогли противостать стихии, сломившей французскую армию-победительницу? Добровольцы все же отступили вчера с некоторым сопротивлением, тогда как французы в Одессе бежали от григорьевских банд, как зайцы. Вчера передавали, что две роты Якутского полка перебили своих офицеров и передались большевикам».

На второй день отхода обрисовалась тяжелая картина. Вся дорога кипела бандитами, крестьянами-грабителями и убийцами, которые нападали на отставших и безоружных. Вчера я хорошо надел сапоги и приладил портянки, а потому прошел 21 версту свободно. Сегодня я поспешил обуться, и сапог стал тереть ногу. Я вовремя спохватился, и тут только внимательно осмотрел ссадину на ноге, которая начала меня беспокоить. Пуля вчера счастливо скользнула по поверхностному слою кожи, и рана присохла. Я перевязал ее. На походах надо внимательно относиться к обуви: от нее иногда зависит жизнь.

Около одиннадцати часов мы подошли к Василькову. Городок лежал в котловине. Здесь скопилось много войсковых частей и беженцев. Город напоминал военный лагерь. Мы прошли уже 20 верст и решили отдохнуть полчаса, надеясь догнать наш полк, который недавно тронулся дальше. До следующей деревни было 15 верст, и мы рассчитывали там переночевать.

В Василькове я впервые увидел следы уже прошедшей здесь волны еврейских погромов. Много домов стояло заколоченными, пустыми и разбитыми. Окна и двери зияли черными дырами. То были дела Пет-

люры. Большинство евреев поуходило из местечек и малых городов – главным образом в Киев. Обиженные Петлюрой и добровольцами, они протягивали свои объятия большевикам. Петлюровцы устраивали настоящие погромы с уничтожением имущества и с убийствами.

Крестьяне были хитры и себе на уме. Они грабили усадьбы, горожан, но грабили и друг друга. С уничтожением помещиков все блага и плоды земные достались им, и деревня объявила бойкот городу, лишая его хлеба и съестных припасов. Крестьяне жадно держались за награбленную землю и, погубив хозяйства и инвентарь, не могли ее обрабатывать. Русская же интеллигенция щедро раздавала землю, ей не принадлежащую. Психика крестьянина была подлая и жадная. На фронте он превратился в дезертира и бунтаря. Идеи Родины у него не было. В нем пробуждались кулаческие наклонности. Он сетовал на тяжелые времена и требовал, чтобы все в новом государстве служили ему. Но доставалось и ему самому. Поочередно те самые элементы, которые провозглашали лозунг «Земля – крестьянам», – обирали его и реквизировали продукты, которые он считал своей неотъемлемой собственностью, тогда как собственности других не признавал. Усадьбы были сожжены, их владельцы изгнаны и частью выбиты. Но крестьяне воздали и евреям. Я видел разбитые еврейские дома по всему пути через местность, теперь называемую Украиной, от Киева до Одессы.

Корнет Падалка нашел еврейский уцелевший дом, в котором нас напоили чаем. По счету мы заплатили 300 рублей. Пили мы чай с наслаждением, но чай-то был уже не настоящий, а из сушеных листьев калины. Я купил на дорогу колбасы и взял с собой хлеб. Обстановка еврейского дома была обычная. Здесь по всем деревням уже царил эпидемия сыпного тифа. Почти в каждом доме был больной. Но проходившие добровольцы на это не обращали внимания. Они заражались, и через неделю-две пути стали валиться с ног и гибнуть.

Мы вышли из этой деревни около полудня и направились по шоссе, которое сплошь было заполнено отходящими людьми. Нас обогнала государственная стража. Она была великолепно оборудована и отступала

в полном порядке, хорошо снабженная и с хорошим обозом. В твердых руках она могла бы быть сильной боевой частью, а ушла совершенно неиспользованной. Все отступление шло автоматически, без руководства, как всегда совершается всякий отход. Если бы нашелся начальник, эти части могли бы дать хороший отпор большевикам и бандам.

Ни одна часть не знала, куда она идет. Путь становился все труднее и утомительнее. Временами нас обгоняли обозы, и мы на большом протяжении дороги оставались одни. Это было невыгодно в случае нападения бандитов, и мы старались ближе держаться к войсковым частям. В этот день уже много отходящих погибло от этих нападений. Но сами нападавшие были трусливы и при малейшем отпоре разбегались, обирая и убивая только безоружных. Страху у нас не было, мы шли спокойно и уверенно.

К вечеру мы утомились. Но мои более молодые спутники утомлялись больше меня. Мы жаждали достигнуть конечной цели пути. Там, в Белой Церкви, я рассчитывал застать поезд штаба генерала Драгомирова. Кругом простиралась равнина, слегка подернутая снегом. Все было пустынно, только по дороге, как муравьи, с перерывами ползли люди. Попадались и отдельные повозки знакомых частей. Обогнал нас и Волчанский отряд, с которым я участвовал в бою в октябрьские дни. Неизменно удирали в тыл грабители-кавказцы. В боях их не было видно, в тылу их можно было видеть всегда. Последние десять верст пути были мучительны. Надвигался вечер, и части торопились попасть в деревню. Декабрьские дни ведь были коротки. Там уже скопилось много войск, которые разместились по всей деревне. На площади большого села, раскинувшегося на просторе, я встретил полковника Генерального штаба М...ва, который отходил со штабом бригады государственной стражи. Мы уговорились остановиться вместе и заняли помещение школы. Государственная стража выставила охранение. В одной из комнат нетопленного здания мы расположились на полу, на куче соломы. Вечером мы узнали, что два дня тому назад в деревню нагрянула банда в 500 вооруженных кавалеристов с артиллерией и учинила здесь осно-



вательный грабеж. Они застали здесь семь добровольцев, приехавших за фуражом, вывели их за деревню и там пристрелили. Несмотря на слухи о банде, спали мы великолепно. Было лишь холодновато. Это был еще райский период наших скитаний.

5 декабря мы поднялись с рассветом и тронулись в последний тридцативерстный переход на Белую Церковь. По слухам, там еще находился штаб генерала Драгомирова, с которым я должен был следовать дальше. Этот день был тяжел и беспокойен. Уже шли повсеместные нападения на отставших.

День был по-вчерашнему теплый и тихий, но зимний и не солнечный. Мы уже считали шаги. Часто садились отдыхать. Наметишь себе какой-нибудь бугорок по дороге и считаешь число шагов до него. Дойдешь, останется меньше. Колбасу и хлеб я давно поел и теперь, как ребенок, сосал сахар, борясь с соблазном сразу запихать себе в рот весь десяток кусков, который оставался в кармане. Широкая дорогахля шла степью. Земля замерзла и местами была кочковата. В первой деревне, которую мы проходили, был сахарный завод. Мои два спутника – офицеры Кинбурнского полка – решили остаться здесь на ночь, ссылаясь на усталость. Они соблазняли и меня, но я твердо помнил, что надо стремиться соединиться или со штабом, или с полком. Так гибли люди, разъединяясь.

Они отделились от нас, и больше я их не видал. В эту ночь всюду действовали бандиты, и я не знаю, удалось ли им спастись. Я продолжал путь вдвоем с поручиком Котловым.

Крестьяне, у которых мы остановились, напоили нас отваром листьев калины, заменявшим чай. Жили они чисто, жаловались на тяжелые времена и на то, что все их грабят. И здесь на печке лежал больной сыпным тифом. Мой спутник-поручик стал сдавать: в двое суток мы прошли, временами отстреливаясь, 82 версты.

Чем ближе мы подходили к Белой Церкви, тем пустынное становилась дорога. Конные части нас обогнали, а пешие остались далеко сзади. Дивизия наша была недалеко. Нас обогнал автомобиль, в ко-

тором сидели полковник Жевалов, командовавший дивизией, и жена полковника Перемыкина. Мы обрадовались им как родным. Полковник похвалил меня за выполнение долга, и мне это было очень приятно. Он сообщил, что Кинбурнский полк идет сзади, и мы успокоились. Полковник Жевалов не добрался благополучно до Белой Церкви: на него напали бандиты и отобрали автомобиль. Снегу было мало, и ноги мерзли. Моя рана ныла. Мороз крепчал. Уже в сумерках, усталые, доплелись мы до станции Белая Церковь. Последние версты были мукой. Считали шаги и еле передвигали ноги. Встречные сообщили, что поезд генерала Драгомирова стоит, кажется, у вокзала. Мы подошли к станции со стороны поля. От дороги завернули вдоль полотна. Здесь уже были «свои», и как будто бы опасаться было некого. До станции оставалось около версты. И в этот момент со стороны окраины города раздались один за другим два выстрела, и пули просвистали над нашими головами. Мы даже не прореагировали на них. Кто стрелял? Ведь мы же считали город «нашим». Стрелял какой-то бандит в двух одиноко плетущихся офицеров. Совсем измученные, мы подошли к поезду. Я узнал, где находится генерал Розалион-Сошальский, и явился к нему. Он сидел в купе второго класса, битком набитом. Принят я был весьма сухо. Своего начальника я тогда не знал и подумал, что он остался недоволен мною за то, что я остался при боевых частях, а не ушел со штабом. Это произвело на меня удручающее впечатление. Генерал ни о чем меня не расспросил. Он сказал, что я могу поместиться в теплушке штаба. «Там спросите, где она.» Но спросить было не у кого. На путях стояло несколько поездов. Измученный и разочарованный, я присел на подножке вагона и впал в уныние. Гордость исполненным долгом сдунуло, как ветер сдувает перышко. Действительно «донкихотство», подумал я, никому не нужное. И стало мне все безразлично.

Станцию никто не охранял. Она была забита. На вокзале догорал пожар, недавно начавшийся. Наконец нашелся кто-то, кто указал мне вагон штаба. Я влез в полутемную берлогу, сплошь набитую людьми. Встретили меня, впрочем, довольно радушно. Они все-таки ушли во-

время со своим поездом. Но кто из нас выиграл – не знаю, по крайней мере в собственном самосознании. Я забыл свой «подвиг», а они – свое малодушие.

## ГЛАВА XIV

### От Белой Церкви до Одессы

С этого момента начинается второй период нашего отхода в цепи медленно ползущих поездов-эшелонов, состоящих из товарных теплушек, среди вечных опасностей и приключений. Часть людей, отходивших от Киева, грузилась в переполненные поезда, другая двигалась на Одессу пешком, по степям и оврагам Малороссии, сквозь местность, кишашую разбойниками, убиваемая и преследуемая как бандитами, так и местными крестьянами. Третья часть рассеялась и, будучи выловлена, погибла. Дошли немногие. Некоторые вернулись в Киев. Это было начало крестного пути. По дороге люди валились от сыпного тифа и голода. Умирили неизвестными, и трупы их пожирались бродячими собаками. Это был период берложной жизни, среди грязи, в царстве вшей, в атмосфере тифа и нападений. Восемнадцать дней тащились мы в этом мерзком кошмаре, висая на волоске. Кругом было моральное разложение и духовная грязь. Вне личной воли, влекомые потоком, люди заживо разлагались и морально и физически.

В освещенной огарком штабной теплушке на фоне нагроможденных вещей с трудом можно было разглядеть фигуры людей, вповалку заполнявших каждый клочок пола, приткнувшихся к стенам вагона и друг к другу. Вагон был набит битком. Мне отвели кусочек пола недалеко от печки. Рядом со мной очутился чиновник – писарь штаба. Ноги мои почти упирались в печку: нельзя было ни раздеться, ни выпрямиться. Тут же сидел начальник штаба полковник Х. Я рассказал ему нашу эпопею, и люди, слушавшие меня, радовались тому, что они избежали катастрофы и ушли из ловушки. Меня даже напоили чаем. Я

собирался уснуть, но увы! Первое, что меня отрезвило, были плевки, которые сыпались со стороны «демократического» элемента нашего штаба. Что эти плевки попадали нам на одежду, не смущало передовую демократию. С точки зрения мировых событий ведь это был сущий пустяк. Но я оказался зараженным и классовыми предрассудками. Мне это не нравилось. Я только что попытался укрыться от холода попавшим мне под руку большим куском войлока, как мой сосед обратил мое внимание: «Смотрите, доктор, вши ползут...»

На полу около печки кишели эти твари, отныне владевшие и телом и душой нашими не дни, а месяцы. Пришлось смириться. Эта берложная жизнь была ужасна. Несколько десятков поездов с остатками Добровольческой армии и беженцами тянулись сплошной вереницей целый месяц среди страшной опасности через богатейшую страну, теперь опустошенную войной. Все, что в детстве приходилось читать в романах Густава Эмара и Купера, воплотилось в реальную действительность. Крестьяне устраивали крушения и грабили разбитые поезда. Отдельные эшелоны отстреливались и вели настоящие бои. Станции и пути были неисправны. В поездах не было кондукторских бригад, приходилось самим вести наряд на тормозных площадках, тормозить на уклонах и с винтовкой в руках охранять поезд от бандитов. По всем теплушкам гулял сыпной и возвратный тиф. Сначала с покойниками церемонились, и подолгу рядом с умершим лежал живой. Потом привыкли: отволокут за ноги к дверям и на ходу поезда сбросят под откос. Вечная им память и покой среди степи, где воет зимний ветер и темной ночью справляют тризну бродячие псы, полакомившись человеческим мясом. Очередь и здесь стерегла жертвы социализма и человеческого равенства. Валялись в болезни все и уже не боялись заразы: уклониться от нее было невозможно.

Мы тронулись в ту же ночь, когда я погрузился. Опоздай я на три часа, пришлось бы идти пешком. Было приказано выставить наряд на тормозную площадку с винтовками. Конечно, для этого надо установить очередь. Молодежь из демократии сейчас же закричала, что надо

ставить в очередь и полковников. «Ишь-де, завелась аристократия. Будет выезжать на нас! Теперь все равны!»

С каждым днем продовольствоваться становилось труднее, и надвигался голод.

По селам, вдоль дороги, вокруг станций еще стояла государственная стража. В общем, даже было как будто некоторое руководство отходом. За поездом генерала Драгомирова с классными вагонами шли два поезда с товарными вагонами, так называемыми теплушками. В одном из них комендантом был генерал Петров, а в другом – бывший комендант Киева генерал Габаев. Надо было торопиться, чтобы проскочить опасные места со стороны Днепра, а тут, как назло и на смех, нас задержала чисто опереточная сахарная история, для психологии того времени необыкновенно характерная.

Наши генералы соблазнились сахаром. Проезжали мимо сахарных заводов и вздумали запасть «валютой». Правда, говорили, что сама администрация заводов предлагала добровольцам воспользоваться запасами сахара, так как все равно придут большевики и все разграбят. И вот в то время, когда сзади напирала банды и многие эшелоны могли спастись, лишь проскочив вовремя опасные места, два поезда образовали пробку, остановившись на много часов, и стали грузить и прицеплять вагоны с сахаром. В глазах населения эшелонов это был простой грабеж. Генералов ругали бандитами и обвиняли в том, что они крадут сахар в свою пользу, что, конечно, было неверно. Людей тянуло вперед, а их задерживали из-за этого сахара. Если бы даже сахар забрали легально, этого не следовало делать. Фактически сахар стали раздавать, по-социалистически делить, пошли злословия и даже спекуляция. С этого момента сахарная эпопея была на языке у всех, и о сахарных генералах говорили с презрением, хотя полученный сахар ели с большим удовольствием. Мы из-за сахара преградили путь другим эшелонам. Но по общему психологическому закону во время отступления царит эгоизм и о других не заботятся. Коммунальная жизнь стесняла публику.

На станциях все кругом было загажено. Запаса дров на станциях не было. По счастью, этот месяц погода держалась теплая. Для паровозов же пассажиры должны были сами пилить шпалы, сложенные на станциях. Были устроены наряды, от которых очень скоро стали сильно уклоняться все, особенно демократическая молодежь, то есть полуинтеллигентны. «Пусть-де пилят другие!» Возникали препирательства, слышались угрозы, что не поедем дальше, если не напилят шпал. Общественную повинность нести никто не желал. Мы часами стояли на станциях, «пока не напилят дров». И все же находилось нужное число пильщиков. Работали всегда одни и те же люди, и я в том числе.

Ссорились и пререкались все больше. Отводили душу в ругани начальства, хотя начальства уже и не было. Начинали ненавидеть друг друга. На одной из станций мы простояли два дня, ежечасно собираясь тронуться в путь. Картина разгрома проявлялась все резче.

Вагон штаба Киевской области находился в поезде генерала Петрова. В этом поезде я и ехал первые несколько дней. На одной из «сахарных» станций, где мы без всякого смысла тормозили все движение, сбились два «сахарных» эшелона. В поезде генерала Габаева я нашел свой отряд Красного Креста и перебрался к ним. Таким образом, вторую половину пути я совершил уже со значительно бóльшими удобствами.

Теплушки были неприспособленны. Каждый вагон добывал себе лесенку, по которой люди с трудом взбирались в вагон, и ночью эти лесенки воровали друг у друга. Взобратся по ним было своего рода гимнастическим упражнением. Настоящей мукой было отправление естественных потребностей. В вагонах, где не было женщин, это делалось просто, и всякий стыд скоро был отброшен. Воспитанные женщины должны были на остановках тут же, у вагона, отправлять свои потребности на глазах у всех.

В вагоне штаба женщины были до крайности малодушны и мелочны. Те, кто не понимал опасности, трусили меньше. Многие же были совершенно беспечны и не заботились о будущем. Они даже посмеивались над рассказами об опасностях. Большинство людей было неспо-

собно к самозащите, и, если бы их стали резать, они бы только просили пощады. Это и бывало часто на деле. Говорили, что сопротивление только ухудшает положение и что защищаться не следует, ибо тогда не будет пощады другим. Между тем все бандиты трусы, и достаточно самого легкого отпора, чтобы они бежали.

Жизнь наша напоминала жизнь в юртах, как она описана у Джека Лондона. Лежа в полумраке на носилках, покрывшись бараницей, я подолгу наблюдал эту картину. Она была дикая и оригинальная. Здесь ведь был цвет русской интеллигенции. Боже мой, какие слышались разговоры! Время от времени привычный ропот, жалобы на всех и все. Но надо было еще глядеть в оба, чтобы на станции свои же не отбили паровоз: и такие случаи бывали в этом мрачном шествии.

Поезд шел неровно, дергаясь. На уклонах он летел стремглав, подавая отчаянные тормозные гудки. Но они не трогали сердца тормозных дневальных, которые были храбры своим неведением и, забравшись внутрь вагона, философски говорили: «Плевать!» Не верили, что поезд может сорваться с насыпи: «А рельсы на что же?» Находились «храбрые» люди, которые ничему не верили и на все замечания отвечали: «Чепуха, панику разводят!» Эти были счастливы своею глупостью.

На станциях поезда стояли в затылок друг другу.

Уже не раз крестьяне обстреливали поезда. Тогда эшелоны разгоняли пары и уходили. Все чаще на полотне попадались трупы выкинутых из вагонов сыпнотифозных. На стоянках публика вылезала из вагонов. Через несколько дней почти все знали друг друга. Но и здесь, в этой атмосфере ада, процветала любовь и флирт, Половой инстинкт не угасает даже в этой берложной обстановке. Любовь упрощалась иногда до скотских форм. В вагонах было темно. Часто не хватало то дров, то воды. Иногда поезд в изнеможении останавливался на пути. Но когда раздавался клич идти резать шпалы на дрова, каждый старался свалить повинность на другого. Русская дубинушка даже в песнях «сама идет», и теперь я понял философию этой народной песни. Убеждали, звали – ничего не помогало.

«Авось доедем! Ничего!» – утешали философы и заваливались «отдыхать» в теплушках.

Все труднее становилось покупать на станциях съестное. По привычке мирного времени мы еще берегли деньги, ведя им счет, которого не признавала революция.

В Христиновке нам сообщили, что из Белой Церкви не все успели уехать поездами и что целая вереница людей тянется пешком через Умань на юг. Банды украинских атаманов их все время преследовали. Однажды они, не рассчитав, напали на отряд казаков, которые отбили бандитов и разделали их «под орех». Казаки отбили у них даже орудия.

Скоро жизнь эшелонов вылилась в определенную форму, и один день протекал как другой. Мелочны были помыслы и желания людей. Куда только делись высокие идеалы революции! От опасностей и сильных переживаний оправлялись очень быстро. Предавались беспечности и о погибших говорили так спокойно, словно их самих этот удел не мог постигнуть каждый миг.

Переселившись в вагон краснокрестного отряда, я почти в течение двух недель ехал в сносных условиях. У меня было место на поставленных на пол носилках. Мы проводили время в кругу своих товарищей-врачей. Мои спутники относились к своему положению беспечно и не допускали возможности катастрофы. В банды они не верили. Жили и ели лучше, чем в других вагонах. У нас, слава Богу, не было женщин, а сестры были в особом вагоне. Украшением жизни был спирт. Никто не опивался, но этот спасительный яд делал жизнь легче. Был хлеб, консервы, и пили чай.

Обряд утреннего пробуждения был стереотипен. Поодиночке подымались сонные фигуры, спускали ноги с нар и протирали глаза. Кто-либо пробирался к двери и с трудом ее отсовывал. Она у нас за-скакивала, и иногда приходилось наваливаться на нее целой группой. Все двери товарных вагонов были испорчены. Приходилось мобилизоваться по несколько человек и открывать ее общими усилиями. Приотворив дверь, человек оглядывал открывшееся его глазам. Обыкновенно



в это время поезд стоял на каком-либо глухом разъезде. Однообразная картина: степь бесконечная, пустынная, занесенная снегом. Морозный день. Поезд, громыхая своими расшатанными членами, устало режет эту даль. По утрам в общежитии почему-то люди любят острить. Завелась эта привычка и у нас. Растрепанная фигура терапевта отряда, когда-то известного врача, теперь опустившегося, раздражительного и капризного, появлялась у щели вагона. Сверху, с нар, раздавался стереотипный голос с декламацией нараспев:

Уберите вы с порога  
Эту сволочь носорога.

Собственно говоря, трудно было решить, при чем тут «носорог» и «сволочь». Но эта утренняя бомбардировка казалась забавной, и люди заливались хохотом. Тряхнув косматой головой, терапевт оглядывался и вновь каждое утро по несколько минут смотрел в поле, высунув в щель голову. Затем следовал обряд умывания. Некоторые делали его со вкусом, раздеваясь до пояса, и долго сопели, утираясь полотенцем. На дверях вагона висел жестяной умывальник. Шутили, переливали из пустого в порожнее. Но было это куда приятнее, чем малодушные сетования трусливых дам нашего штабного вагона.

Доктор Исаченко, умный, энергичный человек, не лишенный юмора с большой долей цинизма (в смысле привычки смотреть в корень вещей), не верил ни в черта, ни в банды. Он смотрел на все с наплевательской точки зрения и только пускал в атмосферу «е-ну» мать. Он не признавал опасности. Матерщина облегчала душу. Мягкий и милый доктор Андерс, типичный краснокрестный деятель, вступал в беседу с тонкой иронией, слегка диссонирующей с унылой жизнью вагона. Подтягивались. Пили чай. Соображали, что будем есть, и судеб Европы и гибнущей России не решали. Брели поход и жизнь как она есть. Потом по доброму русскому обычаю садились играть в винт. Все как следует, с глубокомысленными думами, с «такою» матерью при неудачной взятке, что воздух трещал

в вагоне. Винт войны и походов. Начинался винт мирно, с обычными перефразировками и стереотипными замечаниями. Казалось, что это не воинский эшелон, который вез людей на Голгофу, а холостяцкий старый русский винт. Брали взятки. И вдруг сыпался целый град упреков:

– Пропустил – вот туды его мать, куда же ты смотришь?! Надо было с короля бубен, а он режет, нет, так нельзя!

– Нет, – вопил отчаянно Исаченко, – так играть нельзя.

– Ты шутишь, что ли?

Добродушная и мягкая улыбка Андерса показывала, что ему известно, откуда гремит гром, и говорила: «О чем гремите вы, народные витии?»

И снова стук колес и монотонный ход.

Доктор Киричинский в своем подполье на низких носилках глотает какой-то раздирательный роман, хотя, кажется, что уж более раздирательного не придумаешь, чем то, что видит теперь всюду глаз. По крайней мере, в десятый раз в половине дня доктор Андерс вспоминает: «Ну, Кудеяра!»

Доктор Минаев, только что побивший пятеркой пик червонного туза, заводит густым басом торжественно на церковный напев:

Господу Богу помолимся,  
Древнюю быль возвестим,  
Так в Соловках нам рассказывал  
Инок святой Питирим.

И вторил пестрый, но стройный хор о том, как «жили двенадцать разбойников и с ними атаман Кудеяр». Как захватил Кудеяр русскую княжну, как тешился он со своей полюбовницей и как ночью грабил честной народ. Рисовался в фантазии Архангельск, глушь и суровый Соловецкий монастырь с иноком смиренным Питиримом... И вспоминались другие разбойники... Превратятся ли они когда-нибудь в смиренных иноков?

И странным лейтмотивом революции, а впоследствии эмиграции, отзывается другая разбойничья песнь, о Стеньке Разине:

Из-за острова на стрежень, на простор родной реки  
Выплывают расписные Стеньки Разина челны.

Словно из подсознательной сферы русского народа выплыли на поверхность эти разбойничьи песни, так олицетворяющие окружающую действительность. И долго, долго будут петь их на чужбине русские люди, пока не наступит пробуждение Кудеяра и песню разбойников не сменит гимн покаяния. Стенька Разин, Пугачев теперь витали кругом в различных образах, а душа русского человека тянулась к ним в причудливых переливах своих исканий.

Так тянулось время до обеда. Еда оживляла жизнь. Возбуждались аппетиты. Заводятся разговоры в духе чеховской «Сирены». Стаканчик разведенного спирта будит фантазию. По телу разливается трепет, и воображение аккомпанирует кусочку хлеба с консервом. Грезятся давно забытые яства и уют старого режима. Любят говорить о селедке, блюде осетрины, хорошо сервированном шницеле.

Недостижимые идеалы и миражные видения!

И пустятся по ассоциации в мир воспоминаний. Как странно: когда мы все жили как цивилизованные люди, не замечали прелестей жизни и хорошего блюда осетрины, которое тогда было реальностью, а теперь неосуществимой мечтой. А как хорошо бывало посидеть за чайным столом, накрытым чистой скатертью! Теперь же не стеснялись: рвали пальцами консервы, а если на стенке банки застынет кусочек студня, снимешь его пальцем и оближешь. Вкусно, да, черт возьми! Поживем ли мы еще когда-нибудь культурной жизнью? И как мы не ценили того, что так легко имели?

Дверь вагона открывается: однообразная, засыпанная снегом степь. Неподвижная равнина притягивает взгляд. Земля спокойна. Неспокоен только человек, ныне как зверь рыскающий по ее поверхности

в погоне за себе подобным... Знает ли земля, что вытворяют люди на ее поверхности?..

После обеда сон. И в этом сне уносится человек в мир грез, и грезы иногда бывают прекрасны. А там, после пробуждения, опять, пожалуй, винт. Совсем как раньше бывало в России, в помещичьих усадьбах.

Стоянка. Меня зовут. В вагонах опять сыпнотифозные. Ползешь в берлогу-теплушку и щупаешь в полутьме пылающую голову. Тут рядом здоровые. Лежат вплотную. Давно махнули рукой на заразу: социалистическая очередь и здесь.

Бедные женщины в каракулевых саках с трудом вылазят и стремятся отойти подальше. А далеко отойти страшно: поезд двинется. И это бывает.

В эшелоне смакуют слухи. Их жаждут. Но сколько висит в воздухе лжи!.. И щекочет она нервы... А истина, самая страшная, голая, проходит перед глазами, почти не волнуя души. Ее не всегда понимают и ей не верят.

Время тянется томительно медленно. Все жаждут движения вперед к неизвестной цели. Кажется, что дальше безопаснее. Рано темнеет. В берлоге тускло мерцает огонек. По углам вагона непроглядный мрак. На черном фоне причудливо играет отблеск. Фигуры и лица кажутся мрачными. Я часто говорил себе: когда-нибудь интересно будет вспомнить. Ведь даже на ленте кинематографа не увидишь подобного.

Образы памяти и сновидений переплетались с действительностью. Потом не разберешь, что видел сам и что грезилось по рассказам других. Одно можно сказать: действительность была всегда проще грез.

Наш поезд шел сравнительно счастливо. Банды пока не нападали. Но и своих бандитов было достаточно. Однажды по распоряжению коменданта объявили сбор с пассажиров в пользу машиниста: чтобы лучше вез. Собрали несколько тысяч рублей. Так вот как: начальство подкупало машиниста. Иначе, говорили, «испортит паровоз». Власть пролетариата!

Однако и в этой берложной жизни можно было найти черты обыденной, повседневной, с ее привычной психологией. Заводились разговоры, споры, шутки, как когда-то в те времена, которые теперь ушли в невозвратную даль прошлого. Странно было подумать, что жили когда-то люди спокойно, и можно было одному идти ночью по улице, и что тогда не грабили и не убивали. Дома за чаем горела лампа... были колбаса и сахар... Говорили, что если бы вернулись те времена, сумели бы оценить.

Иногда завязывались нелепые политические споры. Здесь выявлялись все воззрения – от кадетов до большевиков. Не было лишь сторонников монархии и старого режима. Я думал: на кой же черт очутились вы здесь, в стане борцов с большевизмом, так хорошо воплотившем идеалы революции? Отчего уходите вы от победоносной революции?

С нами ехали остатки какого-то малороссийского полка атамана Струка и полков Кейхеля. В одном из вагонов ехала контрразведка, которая теперь называлась Особым отделом.

Подъезжая к Вапнярке, мы встретили галицийские части, с которыми у добровольцев был заключен договор. Они тоже бездействовали. Говорили, что у них тысячами валяются люди в сыпном тифу. Тут уже трудно было разобрать, кто с кем воевал. Все смешалось и перепуталось. Нападения банд участились.

Люди стали умирать от сыпного тифа десятками. На тогдашнем языке умереть называлось «сыграть в ящик». Эта страшная болезнь убивала не сама по себе. Среди населения смертность была невелика. Отставшие и заболевшие ограблялись и вырезывались крестьянами.

В Вапнярке стали чувствовать себя спокойнее. Одесса еще держалась. По всей сети дорог работали бронепоезда. У них было громкое боевое имя. Но ад развала коснулся и их. Поезда стали грабить под фирмой реквизиции. Я, как врач бронепоездов, посещал их иногда. В этих поездах жили офицеры вместе с женами, и постепенно боевой пыл слабел. Гораздо больше заботились о благах личного существования, чем о боевых успехах.

Здесь до нас дошли слухи о тех, кто отступал из Киева пешком. Особенно плохо пришлось киевским судейским. Остаться в Киеве им было невозможно. Они двинулись на Умань, думая там задержаться, но через два дня Умань была в руках бандитов, и многие погибли там. Жизнь человеческая ничего не стоила. Только и слышались имена погибших. Пока мы дошли от Киева до Одессы, вымерли одиннадцать врачей от сыпного тифа, который уносил жертв гораздо больше, чем нападающие банды. Часть беженцев рассасывалась по местечкам. Их судьба была почти безнадежна. Если не погибнут от разбойников или от тифа – их вырежут большевики-евреи. В украинской анархии шансов на спасение было немного. Мы так привыкли к эшелонной жизни, что потеряли счет дням. Чем ближе мы подходили к Одессе, тем медленнее мы двигались. Поезда стояли по суткам в открытом поле за станциями, и никто не хотел их караулить ночью. Когда очередь доходила до меня, я выстаивал свои часы добросовестно. Но я хорошо знал, что со стороны поля ни один дневальный караулить не будет. Караулить, разгуливая с винтовкой вдоль вагонов, было небольшое удовольствие. Часто нас поливали из приоткрытых дверей непрошеным ночным дождем при отпращивании естественных потребностей.

На одной из станций под самой Одессой я ночью дежурил. Вдоль нашего поезда должны было ходить несколько дневальных, которые должны были подавать помощь друг другу и поднимать тревогу. Ночь была снежная, холодная. Я только что пролез под вагонами на другую сторону поезда, когда в темноте вблизи меня показалась подозрительная фигура. Я окликнул. Фигура, несшая что-то большое за плечами, попробовала юркнуть в сторону и не откликнулась. Я взял на прицел и пригрозил стрелять. Из темноты вынырнул другой бандит, и я, громко позвав соседнего дневального, сам стал спиной к стенке вагона и крикнул бандитам, чтобы они остановились. Они стали шагах в четырех от меня.

– Бросай мешки и стой смирно. При первом движении буду стрелять! – крикнул я.

Соседнего дневального, конечно, на месте не оказалось. Кругом только завывала вьюга. Бандиты опустили мешки на землю. Видимо, не думали ни бежать, ни сопротивляться. В это время в стороне от меня показалась третья фигура и наклонилась ко мне...

– Ах, это вы, доктор? Пропустите, это наши...

Это был адъютант генерала Габаева, тот самый, который лжесвидетельствовал на военно-полевом суде в пользу Веллера. Теперь в ночной тьме он грабил вагон с сахаром и через солдат-мародеров переправлял его к вошедшим с ними в стачку железнодорожникам.

Это было уже полное падение нравов. Но мне не было дела до охранения краденого имущества, и я, поговорив с адъютантом, не стал мешаться в его дела.

Я еще в последний раз видел бледное лицо кавказца через несколько дней в Одессе у вокзала, когда его, больного сыпным тифом, отвозили на извозчике в госпиталь. Жив ли он теперь, и если жив, то продолжает ли разрушать Россию, как делает это его соотечественник, сидящий на российском престоле, и как делали его товарищи: Чхеидзе, Чхенкели, Церетели и другие?

Когда мы стояли вблизи Одессы в Слободке, я увидел знакомую по Киеву картину: целая местность была опустошена взрывами снарядов. Целые кварталы складов военных припасов были разрушены.

В Одессе нас повезли на Пересыпь. Здесь скопились подходящие поезда. Дальше ехать было некуда, и мы не знали, что нас ждет. Удержится ли Одесса? Этот вопрос мы привезли с собой.

## ГЛАВА XV

### Одесса

Это был период передышки, когда мы почти на месяц зажили сносной жизнью. В Одессе еще было спокойно. Мы прибыли туда почти накануне Рождества 1919 года. Станция представляла собой невыра-

зимо загаженное место, где разгружались эшелоны. За время пути накопилась масса грязи и мусора. Теперь голодные, оборванные люди выгружались и выбрасывали хлам, пришедший в полную негодность: обветшавшее тряпье, куски войлока, разбитую посуду. Все это было пропитано вшами и сыпнотифозной заразой. И все же между вагонами бродили тени людей из местного населения и жадно собирали все, что выбрасывалось. Этим тряпичников нельзя было убедить, что собирают они себе смерть. Это были настоящие завоевания революции: жилось и низам плохо, не воцарился мир в хижинах.

При добровольцах жизнь в Одессе текла нормальнее, чем в Киеве. Здесь не было такого разрушения, как там. Находить помещения однако было трудно, и потому поезда разгружались медленно. Хлопоты по неизменной реквизиции квартир затягивались. Непрерывно таскали в госпиталю сыпнотифозных и убирали трупы. А делать это было некому. Вымирали целые вагоны. Было холодно и голодно. Об уходе за больными не было и речи. Не брезгали даже обирать покойников. Люди набрасывались даже на щепки и угольки. О квартирах заботились каждый сам по себе и боялись открыть секрет, где нашел пристанище, чтобы знакомый не перебил приют. А и это бывало. От Красного Креста я получил бараницу и медицинскую сумку. Кто-то сказал мне, что профессора нашли себе приют в клиниках университета. Как приват-доцент университета пошел туда и я. Меня приютили в нервной клинике, где я поместился рядом с моим приятелем доктором Г., который был здесь уже со своей новой женой. Туда попало еще несколько врачей-психиатров, и мы жили дружной группой. В холодных нетопленных комнатах, предназначенных для служащих клиники, мы устроились с давно не виданным комфортом. Денег было мало, но мы здесь в буквальном смысле слова отъедались после киевской двухлетней голодовки. В Одессе всего было вдоволь. Белый хлеб был вкусен. Лотки на улицах и буфеты – завалены сладостями. Мы покупали вино и пиво. От вшей очистились и вымылись. Правда, сидели в теплом одеянии, и ночной мукой было ходить через холодный коридор в уборную. Получили даже постели. К семи часам ве-



чера мы обыкновенно сходились вместе и проводили вечер в дружеской беседе. Собеседники были образованные и интересные люди и говорили больше на научные и философские темы. Читали книги. Жили как никогда за время революции. У меня не было никого близких, кроме брата, которого теперь назначили заведующим местами заключения в Одессе. Этот период я вспоминаю с удовольствием. Врачи помогали друг другу. Я лечил всех беженцев, забелевавших в помещениях клиники. По вечерам нашим постоянным гостем был профессор истории С., который нам много рассказывал о прошлом Смутном времени на Руси. Историк и психиатры подробно анализировали события и находили в них много общего с давно минувшими. И триста лет тому назад предавали, изменяли, грабили и расчленяли Россию. И так же безнадежно было будущее.

Часто гасло электричество, и зажигали плохие итальянские свечи, так как превосходные русские стеариновые давно исчезли. Часто спрашивали: «Как вы думаете, возьмут Одессу?» Жили беспечно. Уже ни во что не верили. И не хотелось признаться, что все погибло.

Каждое событие имеет свой темп и когда-нибудь кончается. Так говорил я себе. Но, во-первых, оно проходило не так скоро. Когда же оно кончалось, вслед за ним наступал период еще более гнусный.

В Одессе еще можно было прилично пообедать. Стол накрывался скатертью. От этого мы давно отвыкли. Глаза разбегались, глядя на вкусные блюда, выставленные в витринах и на лотках. Щупали карманы и накупали, сколько было можно. Но по вечерам засиживаться было нельзя. Щелкали уже выстрелы – первые ласточки приближения большевиков.

В одной из витрин магазина была выставлена карта военных действий. И каждый день нить, обозначающая границы территории добровольцев, сдвигалась к морю. А улицы битком были набиты офицерами, и было непонятно, что делают они в тылу. Все трусливое оседало здесь и на фронт не шло.

Поезд со штабом генерала Драгомирова стоял на путях станции у так называемого карантина. Я продолжал нести службу и лечил боль-

ных в поезде. Ежедневно через весь город я отправлялся к поезду. В поезде жили чины штаба в ожидании отправки в Новороссийск. В этом поезде у меня было несколько больных тифом. Но рядом с ним стоял длинный товарный поезд, сплошь набитый сыпнотифозными и не разгружаемый. Там живые лежали рядом с трупами. Все они были брошены на произвол судьбы. Боже, какой это был ужас! Врачи не посещали больных, и никому не приходило в голову организовать здесь помощь. Я заглянул в этот ад и с тех пор каждый день карабкался в теплушки, куда меня зазывали больные, узнав, что я не отказываю им. Чувство жалости буквально сжимало мне горло, и я с наслаждением лазил по этим трущобам, делая что мог. Каждый день, как дрова, выносили из поезда покойников. Лечить было нечем, но один мой приход туда вызывал моральное облегчение у обреченных. А в санитарном управлении была вывешена дурацкая диаграмма, в которой утверждалось, что умирает всего четыре процента. Кто считал эти трупы!

Заболел возвратным тифом мой начальник генерал Розалион-Сошальский, и это послужило началом нашего сближения и дальнейшей дружбы на всю жизнь. Ухода за ним не было никакого, и мне пришлось самому ставить ему клизмы.

Я получил впервые за время службы в Добровольческой армии жалованье и ликвидационные деньги, около сорока тысяч рублей, и почувствовал себя богачом. Об этом позаботился мой генерал. Но деньги стремглав летели вниз. Я теперь был сыт, купил себе форменную барашковую шапку типа кубанки и часы «Зенит», которые сохранились у меня и поныне. Во время революции и Гражданской войны часто теряешь все свои вещи и идешь, следуя девизу «*Omnia mea mecum porto*»\*. Потом вдруг снова обрастешь вещами. Их крадут, грабят, и опять получаешь новые. Одно только в это страшное время надо держать при себе – это документы. Их от вас требует всякая сволочь, и если они у вас не в порядке или не удовлетворяют моменту, вас без церемоний «выведут в расход».

---

\* Все свое ношу с собой (*лат.*).

На улицах я встречал черниговцев и киевлян. Как-то я попал к ним на большое собрание в зале кинематографа. Обсуждали вопрос, что делать. Говорили глупейшие речи, но никто ничего не предлагал. Я был в форме военного врача при погонах. Я встал и заявил, что здесь, в Одессе, есть десятки тысяч офицеров. Надо раздать им винтовки, поставить их в строй и отбить большевиков. Боже мой, какой поднялся вой! Махали руками, кричали: «Довольно авантюры!», «Только обострим злобу большевиков!» Я посмотрел с презрением на этот сброд, сам себе роющий могилу. Как же – пощадят вас большевики!..

Потеряли способность самозащиты. Как-то еще на пути к Одессе кругом стоявшего эшелона затрещали выстрелы, и кто-то крикнул, что нападают банды. Я схватил винтовку и бросился по направлению к стрельбе, а сзади мне кричали: «Куда вы? Не надо! Это будет только хуже!»

Так и теперь,..

В Одессу приехала большая группа киевской профессуры во главе с ректором Спекторским. Они поместились недалеко от нас, в главной клинике. Я бывал на их собраниях и здесь впервые услышал о намерении профессуры переехать в Сербию. Среди них был приват-доцент, игравший большую роль у большевиков, который мне был известен по моей деятельности в Комиссии. Профессура, несмотря на то что уходила от большевиков, была левой и шла с добровольцами только по мотивам личной безопасности.

Говоря о русской профессуре, ушедшей в эмиграцию, надо остановиться несколько на ее характеристике. В предреволюционный период огромный процент русской профессуры был левый, а те, что ушли в эмиграцию, за малым исключением были люди, проникнутые февральской идеологией, хотя и не принявшие большевизма. За рубежом профессура организовалась и подпала целиком под влияние левых лидеров: Струве, Кизеветтера, Салтыкова и других, которые, надо признаться, были учеными второго сорта, а по существу – политическими деятелями. Возникли и ученые организации, но и в них на первом плане стояла поли-

тическая борьба февральского толка. Быть профессором правого толка, а особенно монархистом, было уже совсем неприлично. Сейчас же начиналась травля, причем не стеснялись ни ложными цитатами, ни насилием над свободой научного творчества. Словом, наблюдалось то, что и во всех других отраслях жизни эмиграции.

Как пример такой расправы левых элементов впоследствии, приведу случай с известным военным ученым, доблестным генералом Императорской армии, героем Кавказского фронта, которому армия Юденича обязана своими успехами, генерал-лейтенантом Б. А. Штейфеном. Этот генерал к тому же был одним из выдающихся начальников Добровольческой армии. Но он имел несчастье сохранить честность своих убеждений, не отречься от присяги и заветов Императорской России и в эмиграции стал легитимистом. Этого было достаточно, чтобы получить волчий билет, и он стал жертвой расправы левых деятелей, свидетелем которой мне пришлось стать.

И в эмиграции был выработан порядок получения ученых степеней, между прочим и для военной профессуры. Генерал Штейфон, как уже зарекомендовавший себя своими военно-учеными трудами, пожелал осуществить свои права и постучался в двери святого святых русского храма науки в зарубежье. И вот начались мытарства. По обычаю левых, никто не отвергал его прав, никто не смел выступать против его компетенции, а представленная диссертация была одобрена самым лестным отзывом знатока военной науки генерала Баева. Началась переброска просителя от Праги к Парижу, от Парижа в Прагу, и наконец эпопея закончилась в ученых организациях Белграда.

Во всей этой истории характерно, что ни один из членов ученых коллегий, ведших эту травлю, не посмел выступить открыто и индивидуально. Вся травля велась, прикрываясь коллегией, бывшей в руках левых лидеров, и анонимно. Не было высказано ни одного слова о недостатках работы, которую и не читали: достаточно было того, что автор ее – легитимист и – *horribile dictu\** – монархист. А монархи-

---

\* Страшно сказать (*лат.*).

сты – люди низшей расы, и им пребывать в составе русских ученых коллегий непристойно.

То, что я видел в заседании Общества русских ученых, членом которого я состоял, было неопишимо. Травлю подняли, как и всегда, левые представители коллегии, руководимые Струве. Они всеми силами не допускали дать ход защите диссертации. Делались самые хитроумные отводы. Казалось бы, какое дело математику и экономисту в оценке специальной работы из области военного знания, в которой они ровно ничего не понимали! Но еще изумительнее было выступление молодого члена коллегии, Жардецкого, ничем не знаменитого математика, нерусского по происхождению, доктора иностранного университета.

Почему ему надо было выступить, чтобы добить русского генерала в бумажном бою, касавшемся каких-то глупых формальностей, – было совершенно непонятно. И с треском провалили диссертацию генерала Штейфона.

История моего столкновения в так называемом Русском научном институте своевременно была опубликована в прессе, и повторять ее не стану. Те же лица и те же приемы, показывающие полное вырождение научных нравов и традиций в эмиграции.

В Одессе говорилось только об отъезде ученых. О военной эмиграции даже мысль тогда не приходила в голову. И только незадолго до сдачи Одессы я услышал от доктора Г. о том, что англичане обещали вывезти «на поправку» несколько тысяч русских раненых офицеров.

В профессорском общежитии появился сыпной тиф, как результат заражения во время пути из Киева. Заболел известный профессор агрономии Богданов, член Государственной думы, и после недолгой болезни умер. Вслед за ним заболела его племянница, жена нашего друга профессора С. Я ее старательно лечил в полуподвальном помещении клиники, и долгое время все шло хорошо. Но и ее настигла смерть. Это внесло в нашу ячейку много горя. Ежедневно теперь до нас доходят вести о поочередной смерти наших спутников по киевскому отходу. За-

болела невеста нашего коллеги доктора Карышева. Общими усилиями мы ее выходили, она поправилась. Но вслед за нею заболел сам доктор и умер. Смерть косила кругом, и к ней привыкли.

Рождество мы встретили в дружной компании. Вспомнили старое и заглянули в себя. Я много читал. Накупил книг. Не обошлось и без встреч. Один знакомый сказал мне, что меня спрашивала одна актриса. Оказалось, что это была особа, служившая в моем госпитале в течение двух лет сестрой милосердия. Она переменяла свое амплуа и теперь подвизалась на арене искусства легкого жанра. Все забывается. В 1917 году комитет моих служащих грабил мой собственный госпиталь и мое имущество, и эта особа принимала в этом деятельное участие. Теперь от этих воспоминаний не осталось и следа. Она выразила желание меня видеть. Почему же нет? Я был человек абсолютно свободный и от мимолетных встреч с доступными женщинами вовсе не уклонялся. Помню, попадал и в оригинальные авантюры.

Она встретила меня приветливо, словно ни в каких пакостях и не участвовала. Одним словом, встретились друзьями. Она жила в обществе двух шансонеток, типичных кокоток времени Гражданской войны. Они жили одиночками в роскошно обставленных комнатах, где принимали «по знакомству» и, конечно, за деньги офицеров. Я познакомил ее со своими спутниками-офицерами, с которыми опять встретился в Одессе. Описание приключений революции было бы неполно, если бы я обошел молчанием эту сторону дела. Рядом со смертью, ужасами жизни и опасностями вдруг на сцену врывались отрывки оперетки и эпизоды с этими дамами. И, право, бывало на этих пирушках и импровизированных вечеринках весело и беззаботно. Я, однако, опасался проституток, зная их хорошее приданое, которое они иногда приносили своим гостям, и меня лично эти феи не соблазняли. Но когда у моих спутников возникла мысль устроить вечеринку с этими созданиями, я с удовольствием принял в ней участие. <...>

Но таково было время. Сцена была так типична для походов офицеров Добровольческой армии.

Карьера моей знакомой также была характерна. Еще в бытность ее в моем госпитале она вышла замуж за служившего у меня классного фельдшера и, конечно, теперь была с ним разведена. А дальше мы встретимся с ее мужем, который игрой революционных превращений вдруг из фельдшера, да и то сомнительного, будет без всякого университета возведен в звание врача и будет нас обслуживать на пароходе Добровольческого флота. Удивительны эти метаморфозы! А раньше тот же фельдшер был акробатом в цирке. Вот и разберите, какое настоящее его амплуа. Актриса пользовалась девизом «Хоть час, да мой» и все напевала частушку Гражданской войны:

«Поручик хочет...»

А я ее дразнил:

«Да не может...»

Такова была этих уже порастающих забвением времен.

Сексуальная социальная жизнь кругом шла полным ходом. Как человек одинокий и свободный от постоянной связи с женщиной, я вращался в среде интеллигентной богемы, а революция наложила на эту жизнь свою печать. Девушки уже не дорожили своей невинностью, полудевы жили всюю, а связи заключались мимоходом, без всяких обязательств и даже без привязанностей. Самые песни того времени приветствовали «прекрасных женщин, любивших нас хоть раз».

Ни канонада, ни трепет перед ночным нашествием чекистов не останавливали этой жизни, а для настоящих романов и поэтической любви не было ни времени, ни подходящей декорации. Свобода связей была прочным завоеванием революции, заимствованным и революционерами, и контрреволюционерами. Часто сетуют на кутежи, попойки и скандалы в тылу армии и любят говорить о гнилости и паразитах тыла. Как социологический факт все эти явления несомненны. Но оценка их неправильна. По существу войны они неизбежны и естественны, будучи вызываемы психологическими и социальными факторами. Для бойцов фронта эти эксцессы в короткие дни пребывания в тылу, настоящие кутежи с вином и женщинами суть отдых и смена впечатлений

от кошмарных переживаний, которыми полна душа на боевой линии, и притом неделями и месяцами. Перед лицом смерти и опасности человек лишен права удовлетворения самых его естественных запросов. В половом голоде, например, лежит ключ к пониманию насилия над мирным населением после боев. Существует алкоголь и на позициях, но есть потребность в пирушке, в веселье, и о нем долгие дни мечтает боец, пока не вырвется в тыл с деньгами, которых на фронте некуда девать. Если залезть в душу бойца, находящегося длительно на позициях, найдем, что она полна грез-желаний. Опьянение наступает легко, и потому так легко возникают скандалы. Что значит офицерский скандал в сравнении с адом боевой схватки или штыкового удара? Недаром и тут сложился девиз «хоть час, да мой». Я видел множество пирушек и кутежей войны. Развратные оргии редки и свойственны паразитам тыла, но безудержное веселье, разряд душевного напряжения, а подчас и горя – это не порок, а разряд иногда совершенно необходимый. После разряда боец становится вновь способным переносить боевую или революционную муку. Разгул и кутежи одинаково свойственны всем армиям мира, как революционерам, так и контрреволюционерам.

Одно из резко отрицательных явлений даже ближайшего тыла есть картеж, притом не простой, а азартный. Риск часто висит на острие расстраты. Предаются ему офицеры, врачи, чиновники. Это дурманящий яд, более опасный и пагубный, чем алкоголь, ибо вожделения игрока ненасытны. Игра часто бывает преступна. Никогда не забуду я потрясающей картины карточной игры на фронте в трагические дни боев на Мазурских озерах, свидетелем которой мне довелось быть. Когда завязывались эти бои, я находился в командировке на левом фланге дивизии в одном из полков, первым ввязавшемся в бой. Я должен был вернуться в дивизионный госпиталь и с первыми лучами восходящего солнца тронулся верхом в длинный путь на расстояние более двадцати верст. Я проехал вдоль всей боевой линии, на которой в различных местах завязывался бой. Передо мной развернулась величественная картина, в которой точно обрисовались действия всех частей, расположенных на позициях



и вступавших на моих глазах в бой. Приближаясь уже к месту расположения дивизионного перевязочного пункта, я въехал в деревню, где находился штаб дивизии. Я встретил начальника дивизии, отдал ему честь и, слезши с коня, явился к дивизионному врачу, чтобы дать ему отчет в моей командировке. Войдя в комнату, я застыл от изумления. В то время, когда решался судьбоносный час Мазурских озер и славные полки нашей дивизии, истекая кровью, вели тяжелый бой, в этой комнате мирно сидели за карточным столом начальник штаба дивизии, дивизионный врач, старший адъютант и кто-то четвертый. Я посмотрел на группу, ожидая, что кто-нибудь поинтересуется узнать о действиях на боевой линии, которую я только что проехал. Не тут-то было!

«Пять пик!» – прозвучало в ответ на мое приветствие. Ни вопроса, ни инструкций.

Конечно, эта сцена гнусная и редкая, ибо в ту же ночь дивизия была разбита, и штаб ее плутал по разбитым дорогам, когда я в одну из следующих ночей обогнал его со своим транспортом. Он ютился в какой-то берлоге, где я узнал от офицера штаба о разгроме дивизии.

Тыл как раз служит громоотводом и дает разряд душевному напряжению. Если на фронте действительно жизнь копейка и если в каждую минуту человек рискует жизнью, что значит риск денежный, когда истомленный военной мукой человек в диком азарте ставит на карту казенные деньги! Я видел это однажды в Маньчжурии, когда одной картой офицер, приехавший с фронта, выиграл лежавший в банке куш в двадцать тысяч рублей.

«Ну а что было бы, если бы вы проиграли?» – спросил его спутник, знавший, что деньги были казенные. «А это что?» – выразительно показал игрок на кобуру у пояса и невозмутимо ушел с туго набитым портфелем, теперь полным уже не казенными, а «собственными» деньгами.

Странным симптомом революционного времени было социальное бродяжничество. Люди массами передвигались с места на место, с севера на юг и с запада на восток, иногда, казалось, без всякого основания. В Харькове заболел какой-то дядюшка, и едут к нему из Киева тогда, когда

уже на поезда нападают банды и выводят в расход буржуев. Не сидится в эти времена на месте. И сколько людей потом уже никогда не возвращалось, погибнув на дороге или затерявшись в вихре революции. В те времена безопасных мест не было: революция бушевала всюду и беспощадно давила людей. Так, между прочим, пропали и мои родственники. В один прекрасный день открываются двери моей лаборатории, и входит моя родственница, которую я не видал много лет, с сыном, одетым в солдатскую добровольческую шинель. Оказывается, его мобилизовали добровольцы, а были они мелкими помещиками Курской губернии. И, совершенно не понимая, кто я, мать и сын, узнав, что я причастен к добровольческой власти, разыскали меня для того... чтобы я помог молодому человеку уклониться от призыва. Не на такого напали. Я отчитал его, обрисовав ему положение. Когда все рушится, гибнет Родина, а он, принадлежащий к тем группам, которые уничтожаются, не желает защищаться, это есть паралич, который ведет к общей гибели. Все мои доводы были напрасны. Каким-то образом он с матерью должен был ехать в Харьков, и как они попали в Киев, для меня не было ясно. У них не было денег, и я им дал. Вечером того же дня они выехали из Киева. До Харькова не доехали и так исчезли с лица земли. Поезд был, вероятно, ограблен бандитами, а уклонявшийся от исполнения своего долга молодой солдат был «выведен» вместе с матерью «в расход».

Многие под влиянием какого-то порыва, инстинктивного влечения к передвижению, вдруг схватывались с места и куда-либо уезжали, чтобы погибнуть на дороге. Мудрое правило революционного времени – сидеть на месте и не двигаться. Но от этого правила необходимы отступления: кто скомпрометирован выступлениями против революции, оставаться на месте не может, ибо вся революция проникнута доносами и предательством, а скрываться на месте долго нельзя.

В Одессе главноначальствующим был генерал Шиллинг – превосходный генерал Императорской армии, оставшийся верным Царскому штандарту и впоследствии, уже в эмиграции. Раньше о нем говорили очень хорошо, теперь же, как принято, вешали на него собак и возлагали

на него вину за оставление Одессы, игнорируя обстановку развала, в которой ничего сделать было нельзя. На военном поле фигурировал что-то все один и тот же Симферопольский полк.

В Одесской тюрьме, где я продолжал свои изыскания, чувствовалось воздействие той силы, которая владела революцией. Один из крупных чекистов, за то будто бы, что спас раньше начальника одесской контрразведки, был освобожден от смертной казни. Чекисты держали себя в тюрьме вызывающе, терроризировали персонал и угрожали сосчитаться, когда наступит их час. Всюду говорили, что начальник контрразведки Кирпичников сам большевик и выпускает большевиков. И здесь повторялась киевская история: тех лиц, которых раньше видели в чека, теперь встречали в контрразведке. Чекистов не предавали суду.

Во времена великих потрясений и катастроф события и лица проходят перед взором наблюдателя с большой быстротой и односторонне. В психике наблюдателя они отражаются весьма различно и наблюдаются с разных точек зрения и в разные моменты. Поэтому реконструкция этих событий по памяти весьма трудна. То, что видит один человек, ускользает от наблюдения другого. Кругозор отдельного наблюдателя ограничен. Воспроизведение события происходит обыкновенно со слов других. Бывают и ошибки и умышленные извращения. Но и нормальная фантазия извращает действительность. То, что утеряно в памяти, дополняется фантазией, и в конце концов, когда дело касается исключительных и выдающихся событий, сам рассказчик не может отделить грез от действительности.

Вот почему многие события запечатлеваются в истории по рассказам очевидцев и современников неодинаково. Искажения дополняют мемуары участников, насилующих факты для собственного оправдания и замалчивающих нежелательные детали. Отдельные факты, как, например, убийства деятелей революции, обыкновенно бывают тайной ограниченного числа людей и остаются навсегда сокрытыми от ока истории. С другой стороны, легенда современности до такой степени извращает истину, что раскрыть ее становится невозможным даже для тех, кто

изучает события подробно. Я не был крупным деятелем российской трагедии и провел ее в мелких ролях. Поэтому никакой ответственности за события на меня не падает, и я имею право иметь свои вкусы и симпатии. Я мог, в лучшем случае, делать свое дело и исполнять свой долг, как я его понимаю. В таком положении, как это указано выше, нахожусь и я ко многим событиям, мною описываемым.

Участник, особенно такой, как я, не может иметь никакой объективности даже тогда, когда он трактует события с научной точки зрения. Одним показаниям веришь, другим нет. В описываемых мною событиях есть много тайн, которые навсегда останутся нераскрытыми. Такова история контрразведки в Киеве. Действительные похождения ее, в которых иногда косвенно участвовал и я, превосходят авантюры Шерлока Холмса.

Печален был конец киевского Особого отдела. Он эвакуировался в Одессу. На пути заболел сыпным тифом полковник Сульженков, и я подавал ему в теплушке медицинскую помощь. В Одессе сформировался штаб обороны города, во главе которого стал доблестный русский офицер полковник Стессель. Начальником штаба был полковник М., с которым я уже не раз сталкивался на путях революции. Брат мой, бывший тюремный инспектор в Чернигове, был назначен заведующим всеми местами заключения в Одессе. Я отправился в тюрьму и там получил ошеломляющую информацию. Оказалось, что тюрьма набита чекистами. Но «хоть видит око, да зуб неймет»! Какая-то таинственная рука их охраняла. А нити этой охраны вели все к начальнику одесской контрразведки Кирпичникову. Мне передали перехваченное письмо видного большевика, который назначал выступление местных большевиков и захват Одессы на 13 января.

Я отправился в штаб Стесселя и сообщил об этом начальнику его штаба. «Ах, – сказал он, – вы по делу Кирпичникова? Все знаем, но ничего не можем сделать!» Генерал Шиллинг уже раскусил Кирпичникова и написал представление о его удалении, но таинственная рука из ставки Деникина оставила его на месте. Полковник М. направил меня к ге-

нералу Глобачеву, который заведовал разведкой в порту. Это был умный и дельный генерал, великолепно понимавший дело, и я почти целый час излагал ему весь имеющийся у меня материал. Одновременно я подал об этом рапорт генералу Розалион-Сошальскому и уверенно могу сказать, что благодаря этому моему вмешательству падение Одессы удалось отдалить на десять дней. Но этого было мало – надо удалить Кирпичникова, Открыто действовать было невозможно, и пришлось стать на нелегальный путь. Я обо всем долго говорил с офицерами штаба Стесселя. Этот шаг санкционировал честнейший генерал Шиллинг, который, несмотря на всю свою власть, не мог прибегнуть к законной мере. Выполнила заговор группа офицеров, в числе которых находились четыре моих знакомых и Арзамасов. План был выработан тонко. Штаб Стесселя, осведомленный о предприятии, за два дня до выполнения плана издал приказ, что ночью все автомобили должны останавливаться по сигналу красного фонаря и контролироваться патрулями, предъявляя свои документы, кто бы ни были пассажиры. В один из поздних вечеров у генерала Шиллинга был назначен сбор начальников частей, на который должен был прибыть и Кирпичников. На пути, в сравнительно пустынной местности, патруль из семи офицеров стал ждать. Первым показался автомобиль, в котором ехал генерал Шелль. Красный фонарь его остановил. Генерал предъявил свои документы и проехал дальше. Вторым показался автомобиль полковника Стесселя. Увидев красный фонарь, Стессель сам поднялся в автомобиле и сказал: «Это я!» Патруль отдал честь и пропустил. Третьим появился автомобиль Кирпичникова. Капитан из патруля поднял красный фонарь:

- Кто едет?
- Это я, Кирпичников, начальник контрразведки.
- Не могу знать! Потрудитесь предъявить документы.

Патруль обступил автомобиль так, что двое стали с одной стороны Кирпичникова, а третий с другой. Остальные двое стали со стороны шофера и охранника, сидевшего рядом. Кирпичников полез рукою за борт шинели, чтобы вынуть документы, а в это время с трех сторон в него

раздались выстрелы. Он сразу осел убитым на месте. Шофера и охранника слегка подстрелили, чтобы не могли поднять тревогу и удрать...

Патруль благополучно рассеялся, и тайну поглотила глубокая ночь. Такова была смерть предателя. Благодаря этому Одесса продержалась еще десять дней.

Времена менялись. Одесская контрразведка сама стала грабить. Арзамасов, вошедший с нею в контакт, действовал на два фронта. Имея опору в Лукомском, он обделывал свои личные дела. Он ненавидел полковника Каменского и поднял против него дело. В киевском Особом отделе были собраны большие суммы денег и ценности, отобранные от арестованных. По существу, это были деньги ограбленные, совсем как в чека. Эти ценности хранились в особом сундуке. Уезжая, Особый отдел будто бы забрал ценности с собою.

Но здесь начинается путаница, которая так и остается неразъясненной. С одной стороны, утверждается, как это было показано на военном суде, что эти деньги, за исключением сравнительно малой суммы, были сданы в валюте высшей власти, а с другой – никаких следов этой передачи не осталось. Да и сами-то ценности едва ли были законные, ибо все это было конфисковано, то есть попросту ограблено по законам Гражданской войны. По приезде в Одессу ни денег, ни ценностей не оказалось. Арзамасов донес, что их изъяли и поделили между собой начальник Особого отдела Сульженков, полковник Каменский, делопроизводитель и заведующий хозяйством. Их предали военно-полевому суду и осудили троих из них на расстрел. Сульженкова, находившегося тогда в сыпном тифу, оправдали. Полковник Каменский утверждал, что сумму передал высшему начальству, от которого требовать расписку в принятии награбленного было неудобно. Он оправдывался тем, что оставшуюся сумму пришлось разменять для кормления и раздачи жалованья служащим. Однако делопроизводитель и заведующий хозяйством часть денег вернули. У Каменского и Сульженкова денег не нашли. Да и деньги эти тогда уже ничего не стоили. О Каменском говорили, что Арзамасов уничтожил его потому,

что «он слишком много знал». А это было опасно в те времена. Убийство Каменского было невероятно зверское: пришел пьяница офицер Фишер, избил Каменского, надругался над ним и пристрелил, как собаку. Расстреляли и заведующего хозяйством. Делопроизводителя же разжаловали и послали на фронт.

Конечно, красть денег не следует. Но в атмосфере всеобщего грабежа разве стоило осуждать на смерть людей, которые со всей храбростью и самоотвержением боролись с такими злодеями, как чекисты? В такие времена мораль и честность – миф. Надо служить делу, а надевать перчатки бесполезно: они все равно будут забрызганы кровью. Есть дела, которые можно делать только кровавыми руками. И если русские офицеры марали свои руки в крови зверей в облике человека, то их искуплением была распятая Россия. Над кровью блещет золото и совращает слабые души.

Похождения Арзамасова не кончились. Так и остается эта загадочная фигура невыясненной. Мы его видим позже в Екатеринодаре замешанным в причудливый процесс офицеров-монархистов, пользовавшихся поддельными грамотами Великого князя Николая Николаевича, пытавшихся поднять монархическое восстание.

Хочу сказать несколько хороших слов об одном честном русском офицере С., недавно скончавшемся в эмиграции. Не раскрою его имени, чтобы на его светлую память не набросили грязи приверженцы февральской эмиграции, среди которой он жил и пользовался любовью и уважением. Это был кристально чистый русский человек. Я встречался с ним и в боях, и на грузовике контрразведчиков, и в военно-полевом суде. Он был военный юрист. Добровольцами он был осужден на каторжные работы за участие в монархическом заговоре... В эмиграции он тщательно скрывал свою доблестную службу по борьбе с революцией. Он же участвовал в убийстве Кирпичникова. Мир праху русского человека, отдавшего все силы на служение Родине!

Не разгадана и фигура генерала Романовского. Никто не может даже уверенно сказать, был ли он антимонархистом и был ли едино-

мышленником генерала Лукомского, фигура которого проходит во всей революции только в отрицательных тонах. Взаимоотношения этих двух генералов неясны. В моем производстве мелькнула загадочная картина, как на одном тайном совещании супруга видного генерала участвовала в обсуждении плана убийства генерала Романовского. О последнем я ничего не знаю. По моим данным, Романовского убил поручик П. с другим своим товарищем, которого невидимая сила сейчас же после убийства сбросила в Босфор.

Арзамасов впоследствии очутился в Земуне (Югославия). Здесь его будто бы арестовали и вывезли по требованию Врангеля в Крым. Там будто бы его военно-полевой суд осудил на расстрел за ограбление жидов. Его помиловали, и он скрылся, а затем его одиссея закончилась будто бы в эмиграции на службе большевикам. Вот оригинальная страничка революции, где смешивается благородство, честь с низостью и предательством. Жизни человеческие сметаются без всякой жалости и своими и врагами. «Сегодня ты, а завтра я!» Переплетается слабая идеология непредрешенческих вождей со звериной доктриной большевиков. За сценой обрисовываются масонские миражи, и никто не может сказать, насколько они реальны. Одни члены головки строят заговоры против других. Герои фигурируют рядом с мерзавцами. Только умные и преступные большевики знают, чего хотят. Но как далеки их цели от мечтаний предреволюционной интеллигенции! Над всем безумием революции высоко сияет пятиконечная еврейская звезда, знаменующая власть сатаны над русским народом.

Одесская контрразведка была заполнена эсерами. Она арестовывала не большевиков, а их противников. В подполье издавался «Коммунист», открыто предсказывавший выступление большевиков. Очень обвиняли начальника штаба Одесской области генерала Чернявина. Уже на новый год и на Крещение по всему городу шла пальба. Тюрьма волновалась. Стессель энергично взялся за дело, но было уже поздно.

Генерал Розалион-Сошальский объявил мне, что генерал Драгомиров вычеркнул меня из списка отправляющихся со штабом в Новорос-



сийск. Врач теперь был не нужен, а это значило погибать, потому что я себя слишком скомпрометировал участием в добровольческой борьбе. Так теперь выбрасывали многих, отпуская на все четыре стороны, хотя по существу сторона была одна: в пасть к большевикам. И только позже меня согласились вывезти в Новороссийск, как члена Комиссии по расследованию злодеяний большевизма.

Около 10 января я заболел, а когда после болезни явился в штаб, дела в порту ухудшились. В один из вечеров поезд генерала Драгомирова обстреляли с мола и убили повара. Готовились к посадке на пароход. Комендантом был назначен генерал Розалион-Сошальский. Число мест на пароходе было ограничено. Служащих распускали, предлагая им идти в пасть к большевикам. Этого большевики никогда не делали. Этим вызвали ропот и вопли, что начальство бежит, покидая своих подчиненных. И в этом была доля горькой истины. Всюду царил глупейшая и никому не нужная формалистика. Бумаги, карточки, писание, штемпеля и печати без конца.

Однажды, проезжая мимо кладбища, я был поражен. Покойников везли массами. Против ворот кладбища стояло много народа. Вдоль ограды – бесконечная очередь гробов. При социализме даже для того, чтобы попасть на тот свет, нужна очередь. На улицах уже встречались обрывки обозов боевых частей. А нить боевой линии в витрине магазина уже спустилась к самому морю.

Я встретил как-то врачей нашего отряда Красного Креста. Доктор Исаченко сыпал матом и говорил, что в этом бардаке ничего не разберешь. Он утверждал, что при добровольцах кавардак хуже, чем при большевиках.

Теперь, когда я обрабатываю мои записки, мне думается, что все это должно было быть гораздо страшнее, чем это кажется теперь.

В Одессе я посещал кино. Однажды я пошел туда с доктором Г. Шел фильм «Жизнь родине – честь никому». Прекрасный патриотический фильм, произведший большое впечатление. Доктор Г. сказал: «Вот как надо действовать на психику публики!» Увы, там, где уже угасла честь,

ее не воскресить фильмом. Я часто сравнивал себя с кинематографическим аппаратом, ибо я мало переживал то, что видел. Ничем я уже не дорожил и все считал потерянным.

В Одессе мы как-то сделали первый подсчет: из 36 человек, вышедших вместе с моим братом из Чернигова, осталось всего двенадцать. Остальные погибли: вымерли от тифа, пропали без вести, убиты бандитами. Разные были и сами спутники. Шел с нами и некий молодой человек, которому впоследствии выпала не вполне почетная роль левого руководителя зарубежной молодежи. Он ловко уклонялся от участия в боевых действиях. Идеология его была сумбурная. Он тяготел к украинцам петлюровского толка. Его фразеология была странная, и непонятно было, почему он уходил от большевиков.

Картина города перед занятием его большевиками была всегда одна и та же. Люди приготавливались к тому, чтобы скрываться. Запасались подложными документами и переодевались, рассеивались среди населения. Состояние хронической паники овладело всеми. Люди вместо того, чтобы защищаться, покорно гибли, и их убивали, как скот, без сопротивления, даже без мольбы о пощаде. Прекрасно организованная еврейская молодежь на выбор расстреливала офицерство и знала момент, когда надо выступить.

Когда люди эвакуировались, они тащили с собой вещи. Я рассуждал проще: «С собой на тот свет ничего не повезешь» – и без всякого сожаления бросал все свои вещи. О деньгах не заботился. Вспомнил об этом потому, что, когда пишу эти строки, передо мной лежит письмо моего начальника генерала Розалион-Сошальского от 19 апреля 1922 года, уже в эмиграции. «Знаю хорошо, что у вас эта сторона природы вашей (забота о получении жалованья и всего, что полагается) преступно слаба. Помню, как следил за вами, чтобы получили от казначея все, вам причитающееся». Действительно, я многого раньше не получил, как, например, жалованья, за все время службы в Кинбурнском полку. И все же я скажу, что не стоит во время этих катастроф много заботиться о житейских благах: все равно покрадут, да еще, пожалуй,

подстрелят за хорошую шинель или сапоги. Если же получишь новые вещи, их надо сейчас же надеть на себя и бросить старые. Иначе все равно ими воспользуется другой.

## ГЛАВА XVI

### От Одессы до Новороссийска

Перед самой эвакуацией из Одессы я пролежал в жару и сильно ослабел. В холодной комнате клиники, куда меня положили, была мертвая тишина, и я находился со своими лихорадочными грезами в полном одиночестве.

20 января я съездил в штаб и узнал, что завтра или послезавтра мы должны грузиться на пароход «Саратов», давно стоящий у мола. Я сказал генералу, что как бы это не оказалось поздно. Я съездил в тюрьму к брату, и там мы условились, что, если мне не удастся уехать с пароходом, я приеду к нему и вместе будем отходить с войсками на Румынию.

Я все-таки получил назначение сопровождать пароход «Саратов» в качестве врача штаба и воинских частей на пароходе. 22 января я быстро собрал свои вещи в мешок, взял винтовку, уже хорошо мне послужившую, и, наняв извозчика, на санях отправился в порт. Там еще было спокойно.

Пароход «Саратов» стоял у мола. Посадка была назначена на завтра, и я, как врач штаба, занял место в так называемой музыкальной каюте. Я приготовил медицинскую сумку и запас нужных средств, которые я получил накануне из склада Красного Креста. Водворившись на место, я вновь почувствовал повышение температуры, и термометр показал 38,5. «Это все же лучше, – подумал я, – помру, так сбросят в море, а не зарежут большевики». Каюта была натоплена до невозможности. Предстояла большая работа. Пароход должен был быть набит битком. Эту ночь я провел почти на пустом пароходе и был спокоен. Уже привык я к этим отступлениям. Вспомнилась Маньчжурия, Ляо-

ян, отход к Мукдену, Мазурские озера и Киев. Видел я Россию во всех ее катастрофах, а теперь сопутствовал ей на ее пути и к гибели. Я часто вопрошал себя: о чем я думаю и чего жду? Но мое воображение не шло дальше нового участия в походе, и я нацелился на красивый медный котелок и купил его за 500 рублей.

Я занял место на диване и впал в полузабытье. Лихорадочный бред рисовал сумбурные картины. Но надо было работать и держаться на ногах, и я делал это с большим напряжением воли. К утру, по-видимому под влиянием невыносимой жары, мне стало лучше, и на следующий день я встал здоровым.

23/1 1920 года утром я вышел на палубу. Было довольно холодно. Бухта замерзла, и пароход «Саратов» был затерт льдом. Недалеко от нас по поверхности льда гулял ледокол, который резал лед, ведя на буксире другой корабль. С утра на пароход стали подходить массами люди, и началась погрузка. Каюты были распределены и места нумерованы. В остальную часть парохода грузились различные части. Кто решал их судьбу и давал им пропуска – не знаю. Здесь были и целые части – полки и роты. Но были и отдельные военные, штатские, семьи. Тащили с собой вещи и тюки, грузили автомобили и лошадей. А еще за два дня в один из трюмов погрузили 5000 пудов пироксилина. Для толпы беженцев это соседство казалось небезопасно. По спущенному трапу непрерывно двигалась лента людей, и всех поглощало в себя обширное чрево корабля. Кто всходил на палубу, вздыхал с облегчением. Какое ему дело до того, что будет дальше: теперь он на время спасен. Да, только на время. И моя каюта заполнилась офицерами штаба с женами и детьми. Штаб был переименован в «ликвидационную комиссию». Я официально числился врачом этой комиссии. Нашей дивизии надлежало влиться в Бредовскую армию, и что с ней случилось, я не знаю.

К середине дня пароход нагрузился. Картина была поучительна. Трюмы, палуба, проходы – все завалено грудями вещей, оружия и грузом. У одного борта вплотную стояли лошади какой-то конной части. Люди кишмя кишели, а пассажиры все подваливали. Из города уже неслись

дурные вести. Шла пальба, убивали офицеров. Начинали тревожиться: удается ли нам уйти до обстрела, которого ждали с часу на час.

Психология людей была скотская. Кто попал на пароход, мечтал только об одном: как бы поскорее отчалить, и со злобой смотрел на добывающихся посадки. Остававшиеся на берегу завидовали и ненавидели тех, кто уже попал на пароход. Часто дети оставались на берегу на глазах отчаливающих родных, и происходили раздирающие душу сцены. Тревога была заразительна и нарастала с приближением вечера. К пароходу должен был подойти ледокол, и долго возились с нужными приготовлениями.

Еще засветло мы медленно тронулись, пробивая лед, вслед за ледоколом и долго огибали мол. На рейде мы стали недалеко от английского броненосца. Был тихий вечер. Город красиво раскинулся на возвышенном берегу и по внешнему виду казался спокойным. Красиво горели огни на броненосце, и море было спокойно.

Это был последний тихий день Одессы. Следующий день стал уже днем ужаса и горя: происходили душераздирающие драмы на берегу при погрузке пароходов, бравшихся с бою и уходивших, обрекая десятки тысяч людей на горе и бедствие. Толпы людей металась по молу под обстрелом бандитов, и тысячи людей отступали к Днестру. За нами опускалась непроницаемая завеса, и только бесконечные слухи передавали о том, как там гибнут люди. Иудейское царство развернуло свой флаг над городом, и пятиконечная звезда испускала свои смертоносные лучи из тьмы средневековья.

В каюте были теснота и давка. Утром мы вышли в открытое море и направились к Севастополю. Море было спокойно, и качка не чувствовалась. Шли очень медленно, экономя уголь. С утра началась моя работа как врача, и этот непрерывный и напряженный, а вместе с тем и бессмысленный, труд длился пятнадцать дней нашего странствования. Пароход имел своего врача, обслуживавшего команду. Медицинская помощь воинским частям лежала на мне. Несколько врачей-пассажиров сошлись в лазарете парохода, и все дружно работали все это время. На

корме был лазарет на 30 кроватей. Но с первого же дня среди людей, плотно набивших брюхо парохода, обнаружались тифозные. Сначала их отделяли в лазарет, но они, напуганные слухами, что их ссадят в ближайшем порту, упорно скрывались по трюмам, валялись между здоровыми и заражали их. В этой общей свалке быстро плодились вши, которых у только что севших было великое множество. Нашествие вшей было поразительно, и размножение их шло невероятно быстро. Никакая борьба с ними не была возможна. Работа шла непрерывно с утра до ночи, а иногда и ночью. Приходилось пробираться между людьми, почти сплошь заполнившими площадь парохода. Приходилось спускаться в мрачные дебри трюмов, и я скоро привык карабкаться по лестницам и пробираться по проходам.

Картина помещений и палубы парохода была неопишима. Такой тесноты мы, русские, привыкшие к широкому раздолью, тогда не могли себе представить. Но настоящий ужас был в трюмах. На каждом клочке пола и на вещах ютились люди. Воздух был спертый. Уборные плохо действовали и были загажены до последней степени. Около них стояла длиннейшая очередь. Такая же очередь стояла за кипятком, тогда еще отпускаявшимся публике. Мне попался приличный фельдшер, что между этой привилегированной революционной полуинтеллигенцией было большой редкостью. Если я теперь сравниваю публику тогдашнего «Саратова» с тем, что приходилось видеть впоследствии, то она мне кажется сравнительно приличной, еще не потерявшей человеческого облика. Но тогда она казалась ужасной. Проявлялись низкие свойства человеческой породы: всюду были пререкания, ссоры, скандалы. Бешено царил эгоизм. Очереди вызывали злобу, и люди начинали ненавидеть друг друга. Не обошлось и без курьезов. Дамы старого режима везли с собой своих мопсов и фоксов как членов своей семьи. Те немилосердно гадили, а демократия кричала: «Пусть сами убирают!»

Заразы никто не боялся: ее все равно не миновать. Врачей тиф не миловал, и они сильно вымирали. Все убеждения наши – не скрывать больных – были напрасны. По существу они были правы: мы ведь имели

намерение их ссадить в Севастополе. Здоровые доносили на подозрительных соседей, и часто тревоги были ложны. За двое суток до прихода в Севастополь у нас в лазарете набралось 30 больных. Начиналась драма с высадкой. Высадить или увезти дальше? Всякий хотел ехать хоть на край света, только подальше, как можно дальше. Разлучить больного с родными было невозможно, и приходилось уступать.

Зал кают-компаний представлял собой бивак. На столах, на полу, сидя на стульях, приткнувшись на вещах, – всюду неподвижно лежали и сидели люди, боясь покинуть место, чтобы его сейчас же не заняли. К счастью, не было качки.

Обедали мы за общим столом в несколько очередей. Служащие парохода спекулировали: у них можно было купить и спирт, и китайский чай, и сахар.

В Севастополе мы простояли пять дней не разгружаясь. Высадилось очень немного людей, но зато вновь погрузилось очень много. Стремилась сесть эвакуированные из госпиталей, уже перенесшие тиф. Большинство из них еще находились в заразительном периоде и были покрыты вшами.

Севастополь жил еще сносной жизнью. Волна отступления сюда еще не докатилась. Город еще имел приличный вид, и в нем сохранился порядок. Но цены уже росли. Город был переполнен беженцами и «тыловыми» военными. Тогда здесь очень хвалили генерала Слащева. Про него я знал еще по Киевской области, когда он успешно действовал против бандита Махно в Екатеринославской губернии. Но о нем говорили как об алкоголике и кокаинисте.

Во время нашей стоянки в Севастополе здесь разыгралась так называемая Орловская эпопея. Она показала, что главным врагом восстановления порядка в России являются не большевики, а именно средняя либерально-демократическая интеллигенция. Что могло быть глупее, чем поднятие в тылу офицерского восстания в критический момент отката Добровольческой армии? Ему к тому же приписывали монархический характер. Все белые вожди были контрмонархисты и обманывали

монархическое офицерство, которое на своих плечах и выносило борьбу. Но выступление все же было бессмысленно. Слащев храбро и решительно разогнал восставших, и капитан Орлов ушел в горы в роли «зеленых». Интересно, что сын и зять генерала Алексеева были монархистами. Зятя его за убийство негодяя эсера едва не приговорили к смертной казни, но он был все же разжалован и позже убит, как есть основание полагать, пулей эсера-часового. Эсеры убивали кого хотели, а зятя Алексеева генерал Драгомиров предал суду за убийство деятеля, которого доблестные офицеры убили ведь не зря.

Тесная дружба верхов армии с кадетами не могла не обескураживать тех, кто дрался за спасение России.

В Крыму и около Новороссийска в это время подвизались «зеленые». Это был характерный элемент революции: ни большевикам, ни кадетам, ни Царю... а сами по себе. Бей всех!..

Через день после нас пришел в Севастополь пароход «Владимир». Нам рассказали про ужасы падения Одессы, которое совершилось 25 января 1920 года. Выступили, как всегда, местные большевики и еврейство. Уличная стрельба, убийство офицеров, которые не могли ни сорганизоваться, ни защитить себя. Все население, причастное к добровольцам, бросилось к гавани, и здесь происходили потрясающие сцены. Толпа рвалась к перегруженным пароходам, а «Владимир» от нее отстреливался. Из города пароход обстреливали большевики. В немногие часы все, что стояло у гавани, снялось с якорей и ушло в море. Англичане оказывали помощь в самом малом размере, холодно и неискренне. Они все шире раскрывали свою враждебность к добровольцам. Наш отход из Севастополя задерживался, и мы даже не знали, куда идем. Предполагали зайти в Феодосию, а оттуда в Новороссийск. Ростов пал, и нить на карте подозрительно делала изгиб на Екатеринодар. А что же предстояло дальше? Монархии боялись пуще огня, а без нее спасти Россию было невозможно.

Настоящие русские офицеры с отчаянием говорили: «За кого же мы, в конце концов, и во имя чего сражаемся?»



Люди в толкучке парохода начинали уставать, и столкновения между ними становились чаще. Все чаще заболевали сыпным тифом. В штабе до конца сохранились дисциплина, порядок и хорошие манеры. Сила традиций все же была велика.

Я близко присмотрелся к генералам, окружавшим Драгомирова. На меня они производили хорошее впечатление. Я видел тогда в Драгомирове старого царского генерала и не подозревал в нем непредре-шенца, проникнутого левыми кадетскими тенденциями и симпатизирующего эсерам. Все генералы были люди культурные. В строю и в штабе ничем не сказывалась быховская программа, а политическими разговорами никто не занимался.

Генерал Розалион-Сошальский был чистейшей воды старого типа кавалерийский генерал, твердых монархических убеждений, из старой дворянской семьи, с членами которой мне по службе приходилось встречаться много лет тому назад. Джентльмен, тактичный, необычайных добросовестности и честности в ведении дел и отчетности. Очень заботливый по отношению к своим подчиненным. С тех пор как я лечил его в поезде от тифа, мы с ним очень сошлись.

Генерал-лейтенант Императорской армии Юрий Петрович Розалион-Сошальский, участник Маньчжурской войны, с первого дня Великой войны находился в строю на фронте, сначала бригадным командиром 11-й кавалерийской дивизии, а затем Высочайшим приказом был назначен начальником Заамурской конной дивизии, на каковой должности оставался до дня разгрома Императорской армии героями Временного правительства.

Распоряжением Гучкова многие доблестные боевые начальники, верные Императорским знаменам, долгу и присяге, были отчислены от должности и заменены новыми людьми, ухватившими дух революции.

16 апреля 1917 года, когда вся русская конница Румынского фронта стояла в резерве в Бессарабии, начальник дивизии, приняв по обыкновению доклад начальника штаба, на вопрос «Что хорошего?» получил ответ: «Очень нехорошее, ваше превосходительство», – и бумагу

за подписью Гучкова о том, что генерал отчисляется в резерв генералов Киевского округа. Вздых облегчения был ответом на это действие «военного министра в пиджачке». Генерал сам в это трудное время не решился бы покинуть свой тяжелый пост, хотя при существовавших обстоятельствах он не считал себя пригодным слугой новых течений. И ответом на это насилие «героя царского вагона», сделавшего нападение на русского Императора, явилась следующая сцена. Как только это насилие сделалось известным дивизионному комитету, который тогда уже решал судьбу дивизии, весь комитет, собравшись, приветствовал генерала, выражая сожаление о его уходе, а солдат Финкельштейн – еврей из Харькова – обратился к генералу с речью, в которой, выражая чувства дивизии, отметил, что генерал всегда был с ними и пользовался общей любовью.

Так беспощадно рвалась деятелями Временного правительства та духовная связь, которая всегда сохранялась в Русской армии между лучшими ее начальниками и подчиненными всех рангов, когда души офицера и солдата сливались в общем порыве служения Родине.

В тот же день генерал покинул фронт, а в его дневнике отмечены следующие строки, пророчески предсказавшие мрачную судьбу России: «Прощай, прости, все хорошее, все светлое, все благородное и честное! Бедная Родина моя, бедный слепой русский народ, несчастная Россия!»

За свои боевые заслуги генерал имеет все российские ордена с мечами до ордена Владимира II степени и Высочайше пожалованный чин генерал-лейтенанта за боевые заслуги. А гучковская награда – волчий генеральский билет.

То, что прошло в поле моего психофильма, ярко обрисовало фигуру генерала, ставшего моим начальником. Мы друг друга не знали, и нас свело только дело, в котором наши душевные струны звучали в унисон. До последнего момента я видел лишь рыцарское выполнение долга, необыкновенную заботливость о своих подчиненных, а из бесед при наших долготетних встречах уже после гибели России я на примере генерала убедился в том, что не так легко в душе русского воина сжечь все то,

чему поклонялись наши предки и чему люди служили в течение всей жизни. И если бы так тверда была идеология всего русского воинства, едва ли Россия докатилась бы до своей гибели и позора, в которые ее свергли февральские изменники и предатели Царя.

Простояв дней пять в Севастополе, мы двинулись к Феодосии. Был сильный ветер, но нас не качало. Шли вдоль берега. Ночь была темная, туманная. Я стоял на палубе, когда вдруг ударила сильно молния. В такое время это было совсем необычно. А природа, вырисовываясь в мрачных красках, иногда ударяла по душе, и становилось страшно от переживаемого ужаса.

В Феодосии опять стояли три дня. Здесь было спокойно. Я выписал здесь группу поправившихся сыпнотифозных и сдал первого покойника. Мне везло: за все время пути у меня умер только один больной. Все чаще попадались типы офицеров-скандалистов. Этот тип в Русской армии существовал всегда – и в мирное время, и во время войны. Обычно это трусы, которые норовят при случае уклониться от боя. Чем нахальнее офицер и чем заносчивее, тем он обыкновенно трусливее. Особенно любят скандалить в госпиталях, где они обыкновенно аггравируют свои ранения и симулируют контузии. За время войны благодаря частым случаям симулирования контузии она сделалась не слишком почетной. Скандалы разыгрывались по совершенным пустякам и принимали дикие формы. Надо, однако, признаться, что наглость нередко помогала. Чистоплотные морально люди, не желая связываться с мерзавцами, уступали.

Выделился и особый тип людей, получивший название «ловчил». Эти всякими приемами обыкновенно ловко устраивались в тылу, уклонялись от боев, получали все, что трудно было достать.

По морю, вблизи пароходов и на рейде, плавало и перелетало множество мелкой породы диких уток, и солдаты наловчились ловить их на удочку. Тут же на лодках ездили охотники и стреляли их.

Мы так привыкли к пароходу, что он казался нам своим домом. Но этот дом с каждым днем опускался и распускался морально. Скученность

людей, когда каждый шаг одного задевал интересы другого, порождала особую психологию, основной чертой которой были злоба, зависть, эгоизм. Царили керенщина и общее хамство. Демократический элемент «поднимал голову» и кричал, что генералы позахватили все каюты, что они, которые «проливали кровь», должны валяться на палубе. К одесской катастрофе относились равнодушно: насыщала душу животная радость собственного спасения. А когда пытались вообразить себе, какая расправа происходит там теперь с оставшимися, фантазия отказывалась работать. Не хотелось и думать об этом. Это характерная черта психики в то время: если в бою рядом с вами ранят или убьют человека – вы избегаете смотреть на него.

За нами опустилась непроницаемая завеса на то, что там делается. Но мы хорошо знали, как разыгрываются эти события, ибо и тут узоры революции не слишком разнообразны. Все происходит по трафарету – в одном городе, как и в другом. Только Бела Кун или Роза вносят некоторую оригинальность в методы мучения людей и издевательства над ними. Охота на людей: обыски, аресты, доносы и «пускание в расход»...

Что случилось с армией Бредова? Куда отошли одесские войска?

Мы снялись в последний переход под вечер. Поднялся сильный, порывистый ветер, и нам передавали, что под Новороссийском началась «бора», то есть знаменитый норд-ост. Когда мы отчаливали, порыв ветра оборвал канат, которым был пришвартован пароход к молу. Непривычному человеку казалось странным уходить в море в такую бурю. Говорили, что во время «боры» по несколько дней приходится трепаться в море перед Новороссийском. Рассказывали еще и о том, что после войны плавание в прибрежных водах затруднено вследствие заложенных минных полей, которые надо было бережно обходить. Одним словом, страху нагоняли много. Иногда будто бы мины срывались с привязи и шли гулять по морю. Как раз о такой катастрофе донеслась весть с болгарских берегов. Так погиб от бродячей мины пароход «Петр Великий».

Наступила темная ночь. Море волновалось, и иногда сверкала молния. Все кругом было черно со стальным отливом. Но, на удивление, нас

мало качало. Говорили, что у Керченского пролива всегда качает. Но нам повезло. Пароход шел на половине котлов и потому в четыре раза медленнее. Ветер выл в снастях, а мы спокойно шли.

Утром, после 13 дней плавания, показался Новороссийск. Это было 5 февраля. Мы далеко обходили поля минного заграждения. Море волновалось. Норд-ост бушевал. Мы вошли в бухту, которая считается одной из лучших в мире. Но зато это одно из редких мест, где с такой силой бушует норд-ост.

Мы прошли мимо величественного английского броненосца «Император Индии», который был потом нашим спутником. Кроме него в порту стояло много английских пароходов и миноносцев. Прошли мимо колоссальных размеров элеватора, который считается одним из самых больших в мире. Порт был оборудован великолепно, как, вопреки рассказам либералов об отсталости, умела оборудовать свои сооружения Императорская Россия. Некоторые пароходы были совершенно обледенелые: все канаты и мачты обросли толстым слоем льда. Говорили, что для судов это очень опасно. Ветер ревел со страшной силой, а машина – плод человеческого гения – спокойно двигала пароход. Тут только мы узнали, что значит норд-ост. Трудно было держаться на ногах. Пароход встал. Надо было разгрузаться. Обычная картина. Все в городе переполнено. Куда переселяться? Никто не пускал к себе новых пришельцев. Вокруг реквизиций шел настоящий бой. Выгружайся хоть на улицу. С парохода гнали, угрожая прекратить отопление и освещение. Война своих против своих. Мы прожили еще четыре дня на пароходе. В город никто не шел. Жаждающие получить назначение ехали в Екатеринодар, где еще была власть.

В эти дни пришло бодрящее известие, что добровольцами вновь занят Ростов. Но скоро выяснилось, что казачество, как это не раз уже бывало на протяжении истории России, изменило. Образовалось какое-то левое правительство Медведева. Следовательно, песня добровольцев была спета и здесь. Армия свернулась в Добровольческий корпус и отходила на Екатеринодар.

Вокруг розысков квартир слышались угрозы, происходили насилия, самоволие. Но с этим никто не считался. Лишь бы попасть под крышу.

Мне очень трудно было ликвидировать своих больных. К концу пути их было около ста человек. Мест в госпиталях не оказалось, а брать их никто не хотел. Порядка в эвакуации не было никакого. Многие больные были безымянные: если они впадали в бессознательное состояние, никто не знал, кто они. Когда они умирали, отдавали труп неизвестного. У огромного числа людей кроме мешка за плечами ничего не было.

Все грузы принадлежали ограниченному числу тыловых счастливых, которым предстояло в близком будущем потерять эти свои сокровища и удирать из Новороссийска в чем мать родила. Казалось бы, дело стояло так просто: надо было разбить на роты эти приблизительно две с половиной тысячи боеспособных людей и отправить завтра же на фронт. Но это могла сделать лишь законная Царская власть. Получилась же толпа, сброд людей, обремененных семьями, которые требовали, чтобы их защищали и спасали, а сами в лучшем случае мечтали только лучше устроиться в тылу.

В Новороссийске еще не было анархии. Это был обычный тыловой бивак. Военного здесь было больше, чем в Одессе. Двигались обозы, автомобили. Вплотную к кораблям подходили поезда. Грузили и разгружали. Повсюду встречались группы англичан – этих злых демонов России. Господствовал всюду военный элемент, но много было и беженцев. На Серебряковской улице можно было встретить «весь Харьков». И в числе имен я слышал вовсе не имена черносотенцев старого режима, а либеральных общественных деятелей. Они, следовательно, уходили от большевиков. Здесь были мои коллеги: известный врач из Харькова доктор Френкель и старый мой товарищ, такой же старый революционер, профессор Коршун. Общество друг друга знало. Я был тоже харьковец и был когда-то там главным врачом губернской земской больницы.

Совершенно неправильно усмотрит читатель в этой жизни одно ужасное. Были здесь и хорошие странички. А многого и самого скверного и безотрадного участник событий не сознавал, так как многие

не сознавали и своего падения. Впечатления были сильны и скоропреходящи. Их не успевали анализировать. Жили минутой, не схватывая размах швырявшей их катастрофы.

Если бы им открыть тогда глаза на будущее, они бы ужаснулись и не поверили. Жизнь проще, чем она изображается на сцене и в кинематографе. Резкие происшествия растворяются в ленте обыденной жизни. Тогдашнее будущее, теперь давно превратившееся в прошлое, было гибель, страдание, разорение, нищета и унижение. Люди не сознавали своей обреченности, и в этом было их счастье.

Теперь люди уже не помогали друг другу, а заботились только о себе. Всюду, куда мы приезжали, мы заставали еще сносное положение, которое на наших глазах разваливалось. Симптомы всюду одни и те же: рост цен, исчезновение продуктов, голод.

Три дня, которые бушевал норд-ост, были унылы. Ветер нагонял тоску. «На душе воцаряется мгла, ум, бездействуя, вяло тоскует» – вспомнились мне стихи Некрасова.

Я с генералом Розалион-Сошальским бродил по Новороссийску в поисках квартиры. Я никак не мог помириться с приемами нападения на хозяев, у которых искали квартиры, а добром не пускали.

Во время бешеной работы на пароходе я не замечал своего болезненного состояния, но теперь чувствовал себя неважно. Приходилось делать большие концы, и я утомлялся. Но надо было сдать больных, а потом позаботиться и о себе.

На пароходе шла суетолака. Станция железной дороги своими путями вплотную подходила к молу. С парохода грузили прямо в вагоны. Целые вагоны, как игрушки, поднимали на стальных канатах в воздух при помощи кранов и ставили на пути. Видимо, здесь когда-то был большой порядок и высокая техника Царской России, которую теперь пакостила революция.

В один из вечеров, когда мы сидели на пароходе, палуба вдруг озарилась ярким заревом. На станции разгорался большой пожар – неизменный спутник войны и революции. Вскоре встревоженные фигуры

капитана и коменданта вышли на палубу. Саженьях в двухстах на путях горели вагоны с патронами. Совсем как раньше в Киеве. Мы вышли на палубу. Какая это была величественная картина! Было светло, как днем. Ровно, не прерываясь ни на секунду, не меняя своих drobных раскатов, трещали выстрелы рвавшихся патронов. Вспомнили, что рядом стоят вагоны со снарядами. А в трюме нашего парохода хранилось 5000 пудов пироксилина. От него взлетела бы на воздух половина пристани. Комендант с капитаном что-то говорили и торопливо сошли на пристань. Были ли эти взрывы результатом хаоса или последствием злого умысла, никто не знал. Но такие картины неизбежны в драме, именуемой социальной революцией и гражданской войной. Как мелка казалась психика отдельных людей в этом хаосе всеобщей гибели! Казалось, стихия сметет и людей, и их психику. Там, где горели вагоны, царилась смерть. Невозможно было подойти. Но то, что было невозможно для простого смертного, возможно было для героя... И психика одного человека победила стихию. *Нашелся герой без имени*, который отцепил горящие вагоны, а подошедший паровоз с другим героем-машинистом отодвинул соседние вагоны с артиллерийскими снарядами. Такой подвиг стоил многих. Как жалею я, что не могу запечатлеть на этих страницах имена этих людей, показавших, что русский человек и на фоне всеобщего озверения может подняться на недостижимую душевную высоту. В душе других ведь царил животный страх. Переплеталась низость душевная с красотой подвига, и, глядя на эту жемчужную нить душевной красоты, вплетенную в хаос порока, я примирялся с психикой человека, которая временами казалась мне растворенной в низости революции.

Пожар и взрывы продолжались долго. Постепенно тускнело зарево, и взрывы слышались периодическими залпами. На счастье, nord-остутих, и небо постепенно чернело. Погасла и тревога в душе людей.

Наутро разыгралась другая драма, которая могла кончиться еще трагичнее. На палубе вдруг пронеслась страшная весть: «На пароходе пожар!»

В панике бросились к трапу. Опять проклятый пироксилин! В момент ока протянулась кишка от крана пристани, и энергично захо-



потали комендант и капитан. Горело в трюме, как раз в отделении, смежном со складом пироксилина. «Товарищи солдаты» не признавали запрещения курить в трюме. Бензиновая зажигалка вызвала пожар. Все растерялись и бросились бежать. Если бы не затушили пожар, волна людей передала бы друг друга прежде, чем пароход взлетел бы на воздух от пироксилина. И опять психика администрации парохода одолела катастрофу. Пока еще отдельные личности владели собой, удавалось спасать людей. Пожар потушили. Злоба на этот скот-демократию, ничего не понимавшую и не желающую подчиняться правилам, у меня поднялась страшная. Вот тебе революция!

Кстати, это курение! Даже интеллигентные курильщики не подчиняются никаким правилам. Они вообще антисоциальны. Курят везде, и никакие угрозы им не страшны. Обращение с огнем в атмосфере революции безобразное. Курит часовой из-под полы на виду у неприятеля. Курит шофер над банкой бензина. Курит охотник, ночуя под стогом сена. И каждый думает, что делает это осторожно. Курит врач-хирург, толкующий об антисептике, склоняясь над раной оперируемого. Курит бактериолог над трупом чумного животного, которое вскрывает и... заражается чумой, как видел это на деле. Немалое число катастроф вызвано этой наркоманией.

Последний пожар послужил поводом к усиленной разгрузке парохода.

И опять дивные картины подвига в атмосфере смрада и гибели. Сходя по трапу, одна интеллигентная дама оборвалась и полетела в море, попав между кузовом парохода и стеной мола. Она задержалась на поверхности моря, уцепившись за вертикальный обледенелый столб. Опять нашелся *безымянный герой*. С опасностью для жизни он спустился вниз и спас женщину.

Если был осужден Содом, ибо не нашлось в нем и семи праведников, то должен был бы гнев Божий смягчиться над русским городом, в котором на протяжении 24 часов выявилось три величайших героя, и притом великих своей безымянностью. Но суров был гнев Божий над Русской землей, и отдельные богатыри не могли уже спасти своей Родины.

В один из вечеров меня позвали в вагон международного Красного Креста, во главе которого стоял мой коллега, с которым мы встречались по работе в Киеве, доктор Лодыженский. Тогда наши пути еще не расходились так, как это случилось впоследствии, когда один из нас пошел направо, к Императорскому штандарту и возрождению Великой исторической России, а другой круто свернул налево, по иудо-масонской линии. Там предполагалось маленькое угощение по какому-то поводу. Там были сестры Медведева и Толь, святую деятельность которых в казема-тах чека раскрыли мои исследования, и я с радостью пошел к ним.

Я долго пробирался между рельсами в полной тьме и наконец нашел товарный вагон, в котором собралось небольшое общество. Была масленица, и ели блины. Блины в атмосфере революции. Когда год тому назад, 10 февраля, за мной пришли большевики, чтобы вести на расстрел, я чудом спасся. И теперь приближалось 10 февраля, и тоже были блины... Оригинальная параллель.

В Новороссийске можно было достать вкусную копченую рыбу. Была водка. Было милое общество, но... я есть не мог. Я уже заболел. Говорили, вспоминали Киев, и казалось, что стояли на обыкновенном привале военного времени. И все же мне было не по себе. Назад я уже пробирался с трудом. На следующий день я встретил на улице товарища председателя нашей Комиссии сенатора Рейнбота. Как сплетаются нити жизни! Когда-то в наши студенческие годы Рейнбот бывал в доме моих родных. Теперь мы вместе работали над изучением проблемы большевиков. Мы пошли вместе к председателю Комиссии Мейнгарду. Они согласились приютить меня на полу в комнате, занимаемой членами Комиссии, и я перебрался к ним. Я сделал доклад комиссии обо всем, что произошло в Киеве, о деятельности контрразведок, о неправильных действиях коменданта Киева, и подал о деле Валлера официальный рапорт, впоследствии напечатанный Комиссией в «Архиве русской революции». Здесь я узнал, что положение добровольцев безнадежно и что они собираются ехать в Сербию. В это время левые элементы в правительстве Деникина брали верх, и дело гило окончательно. Казаки самостийничали.

8 февраля 1910 года я перебрался в комнату и думал употребить время на обработку своего доклада Комиссии. Жизнь здесь была совершенно лагерная. В соседней комнате помещалась семья председателя Комиссии Мейнгардта, одна дочь которого только что перенесла сыпной тиф. Эти комнаты помещались в здании, занимаемом Черноморско-Кубанским банком. Целый вечер я провел в семье Мейнгарда. Это были высокоинтеллигентные и милые люди с честными взглядами, которые становились все реже. Они смотрели на положение уже совершенно безнадежно. Я вспомнил, как еще в Киеве сенатор Рейнбот однажды указал на безобразия, которые творит Донской круг, и сказал, что ожидать от этого добра не приходится. Комиссия поддерживала отношения с англичанами, которые были хорошо осведомлены. История когда-нибудь даст правильную оценку этой беспринципной нации, на совести которой лежит много преступлений по адресу русского народа.

Мы заговорились до поздней ночи, и когда я улегся на полу, накрывшись своей бараньей полостью, я уже метался в лихорадочном бреду, хотя и сдерживал себя, полагая, что это продолжение одесского заболевания.

В то время, когда я отходил из Одессы со штабом генерала Драгомирова, мой ныне покойный брат Д. В. Краинский вместе с отрядом полковника Стесселя и остатками Добровольческой армии попал в части, отходившие в Румынию, где и пережил трагедию днестровских плавней. Привожу в следующей главе отрывки из дневника моего брата, характеризующие этот страшный исход.

## **ГЛАВА XVII**

### **Днестровская трагедия**

(из записок Д. В. Краинского)

Оставление Одессы было страшной катастрофой. Фронт разложился, воинские части разбежались. Осталось на месте, принимая на себя

последний удар, только ядро Добровольческой армии. Одесса одновременно была охвачена восстанием местных большевиков и вступлением 25 января в город красноармейцев. Все окрестности Одессы и, дальше, Херсонская губерния пылали восстаниями. Отступающие войска обстреливались бандитами, а в тылу войскам не давали хлеба. Удачный прорыв Стесселя через Одессу ночью дал возможность многим вырваться из обреченного города, и люди уже считали себя в безопасности. Двинулись к румынской границе. В Ольвиополе возле городской управы были сосредоточены обозы и отдельные группы беженцев, которые постепенно должны были переходить Днестровский лиман. Кадетский корпус, состоявший почти весь из детей, отправившийся еще утром в Аккерман (который теперь уже был захвачен Румынией), возвращался обратно. Кадеты были обстреляны с румынского берега, и снаряд попал в фуру врача. Один кадет был ранен. Начальник штаба Стесселя, полковник М., был в Аккермане и вел переговоры с румынами. Говорили, что произошло какое-то недоразумение. Нас распустили по домам и приказали завтра с утра по группам в известной постепенности переходить лиман. Мы ночевали на соломе в холодной комнате почтового отделения. К 9 часам утра 29 января началась переправа через лиман. Строчными рядами и колоннами первыми на лед пошли кадеты. Потом приказано было идти гражданским лицам, затем госпиталям, лазаретам и слабосильным командам, а в последнюю очередь – воинским частям. Сначала был как будто образцовый порядок, но уже на полпути этот порядок стал нарушаться. Отдельные группы с обозами начали перегонять друг друга. Все чаще и чаще нас стали останавливать. Образовалась пробка. Задние напирали и требовали, чтобы впереди стоящие двигались дальше. Задержка объяснялась тем, что на румынском берегу переправляющихся принимала комиссия, проверявшая документы и списки. Кадеты, по слухам, уже были приняты и вошли в Аккерман. Время приближалось к полудню. Между Ольвиополем и Аккерманом по льду считалось девять с половиной верст. Мороз достигал 7–8 градусов, и дул ветер. Мы стояли на льду. К четырем часам как будто опять

двинулись дальше. Люди не выдерживали. Истошив терпение, озябшие, отдельные части стали обгонять друг друга. Военные группы, которым надлежало следовать сзади, обгоняли передних. Система движения нарушалась. Случилось что-то невероятное. Госпитали со своими обозами обгоняли на рысях гражданские группы. Воинские части и государственная стража обгоняли госпитали. Дороги уже не придерживались. Все эти толпы народа растягивались на льду в ширину, скопившись в одну компактную массу, что представляло опасность в том смысле, что лед мог не выдержать. Ругались, кричали, замахивались нагайками, брали насильно лошадей под уздцы и отводили в сторону. Лошади падали. Женщины истерически взвизгивали, лед местами трещал, вызывая панику и, казалось, что все сейчас рухнет под лед. В одной скважине лежала провалившаяся и уже сдохшая лошадь. В других трещинах стояли загрузшие повозки с вещами. На льду было не менее 8–9 тысяч людей, не считая обозов. Взад и вперед шныряли автомобили. Было жутко, но все стремились вперед и не обращали внимания на опасность. Мы провели целый день на лимане и только под вечер приблизились к румынскому берегу. Люди теряли терпение.

Скоро передние стали возвращаться обратно, сообщая на лету, что румыны никого не пропускают. Мы простояли еще некоторое время на льду, но вдруг толпа дрогнула и стала заворачивать. Уже темнело. Передавали, что если сейчас не повернуть обратно, то румыны откроют орудийный огонь. Лед трещал и был сильно попорчен прошедшей массой и обозами. Сквозь скважины и трещины просачивалась вода и, несмотря на сильный мороз, покрывала огромные пространства. Шли по воде. Идти было страшно. Вновь обгоняя друг друга и толпясь, вся эта масса людей с больными, ранеными, женщинами и детьми, пробыв целый день на морозе, не евши и не пивши, возвращалась в Ольвиополь. К девяти часам вечера мы вернулись в нетопленное помещение почтового отделения. Согреться нам было негде.

30 января кадеты вернулись из Аккермана. Их приняли было и даже разместили в здании училища, но к утру приказали вернуться на рус-

ский берег. Что случилось, никто не знал. Главнначальствующий генерал Шиллинг положительно утверждал, что в отношении перехода границы с Румынией было достигнуто полное соглашение, и никто в этом не сомневался. Нужен только порядок и система. Так говорил Стессель.

В пятом часу дня из Аккермана вернулся полковник М. Я застал его в хате в одном нижнем белье, тщательно вытирающим полушубок «антивошь». Он сказал, что переговоры с румынами кончены и больше с ними разговаривать нечего. Решено сегодня же ночью выступить из Ольвиополя, но так как несомненно придется идти с боем, то пойдет только тот, кто запишется в строй.

«Если вам угодно, то берите винтовку и идите с нами». Я был зачислен в третью роту, а наши лошади – в обоз этой роты, которая была под командой полковника Ярошенко. Я спросил полковника, куда мы идем, на что он, не поднимая головы, ответил: «В Одессу». Я ничего не понимал, но мне казалось, что в этом ответе кроется загадка. Полковник Т. сказал мне по секрету, что мы идем не на Одессу, а пойдем на соединение с отрядом генерала Бредова к Тирасполю, а в случае неудачи будем пробиваться к Петлюре или к полякам. Другого выхода из положения не было. Кадеты младших классов, как равно и гражданские беженцы, остаются на милость победителей. Полковник Т. посоветовал мне стать в роту: «Иначе вы все равно погибли». Публика растерялась и бегала по городу, пытаясь узнать что-нибудь друг у друга и посоветоваться, как быть. В отчаянном положении были гражданские лица, которым стало известно, что они остаются в Ольвиополе. Они не хотели идти в строй и говорили, что все равно будут следовать за воинскими частями, куда бы они ни шли.

К двум часам ночи мы были уже в строю третьей роты. Полковник Ярошенко дал мне записку на получение в штабе винтовки, но таковой там не оказалось. Всех нас, не имеющих винтовок, оставили при лошадях вместе с женщинами, зачисленными в сестры милосердия, и поставили в задних рядах роты. Нашу подводку нагрузили патронами и предложили мне быть при обозе. Наша повозка шла впереди, первой

за ротой, а я шел возле нее с тремя сестрами милосердия. Сначала, при оставлении Ольвиополя, вся эта масса людей шла стройными колоннами с обозами при каждой части. На мосту за городом был даже установлен контроль, но уже в нескольких верстах дальше выяснилось, что сзади двигается громадный обоз с беженцами и, главным образом, с семьями офицеров и домашним их скарбом. Обоз растянулся больше чем на семь верст. В этом потоке двинулось больше 12 тысяч человек. Многие остались в Ольвиополе, но зато к нам присоединились те части, которые прибыли в Ольвиополь раньше нас и тоже не были пропущены на румынскую территорию. Насчитывали, что в нашем отряде имеется до 3000 штыков. Но масса офицеров едет со своими семьями на собственных подводах, так что в строю находится не более 2500 человек. Но если принять во внимание отряд генерала Мартынова, который идет в арьергарде, и отряд генерала Васильева, которому принадлежит общее командование и который идет авангардом, то боевая сила определяется в 4000 бойцов.

У первой деревни на нашем пути были высланы цепи и перерезаны телеграфные проволоки. Шли быстро. Дорога шла по замерзшей колоти, и идти было трудно. Говорили, что генерал Васильев торопил, имея сведения, что большевики идут параллельно и могут выйти наперерез. И действительно, около полудня вдаль послышались орудийные выстрелы, а еще через некоторое время где-то затрещали пулеметы. Эшелон остановился. Наша третья рота была вызвана вперед. Не имевшие винтовок остались при обозе. Скоро выяснилось, что генерал Васильев ведет бой с большевиками у деревни Маяки. На горизонте ясно были видны белые дымки от разрывов шрапнелей. Более часа мы стояли на этом месте. Наконец бой утих. Передовые отряды оттеснили красных. Только большевистская артиллерия продолжала обстреливать впереди лежащую местность. Наша рота вернулась обратно и стала на свое прежнее место.

Мы приближались к тому месту, где по дороге рвались снаряды. Было страшно. Оглушительные разрывы и свист летающих снарядов де-

лали каждого сосредоточенно-серьезным и напряженным. Шли молча. Каждый рвавшийся снаряд был у меня перед глазами, и я мог наблюдать его разрыв. Спереди передавали команду идти скорее и держаться левее дороги. Шедшие впереди роты свернули в неубранное кукурузное поле и шли кукурузою. Только обоз двигался длинной лентой по дороге. Большевики крыли снарядами это место. И хотя во все стороны горизонт открывался широкой далью, но не было видно, откуда стреляют. Местами обоз двигался рысцой. Была уже убита одна лошадь и ранен солдат. На моих глазах чудом спаслась одна женщина: недалеко от ее подводы упал снаряд и, не разорвавшись, зарылся в землю.

По дороге, в лощине, стоял с группой штабных полковник М. Возле него снаряд ударил в сарай одиноко стоявшей крестьянской усадьбы и, разорвавшись, выскочил оттуда целым фонтаном грязной земли и мусора. Недалеко виднелась немецкая колония Перершталь. Обстрел продолжался до тех пор, пока последняя повозка обоза не въехала в селение.

Колония была расположена в лощине, которой предшествовала довольно высокая гора. Многие не выдерживали и спускались с горы полной рысью и даже вскачь. Это был момент, когда чуть было не создалась паника, но присутствие полковника М. сдерживало ее. Стрельба прекратилась. На душе стало легче, и удивительно, что люди скоро забывают о том, что были под обстрелом. Были голодны и набросились на пищу. В колонии нас приняли хорошо. Мы пили молоко, ели яйца, колбасу, сыр. Хата, в которой мы расположились, была хорошо натоплена. Я согрелся и почувствовал себя сытым. Но отдохнуть пришлось мало: через два часа мы двинулись дальше. Стало уже совершенно темно. Прежнего порядка уже не было. Многие выходили из строя и присоединялись к обозу, садясь поочередно на повозки, чтобы отдохнуть. Мы обошли самое опасное место – Маяки, бывшее большевистским гнездом, – и направились к селу Белявка, где предполагалась ночевка. Шли вяло. Где-то впереди работал прожектор. Приказано было идти молча и не курить. Клонило ко сну. Было холодно, и временами трясло, как в лихорадке. Дул неприятный северный ветер.



Хотелось тепла. Руки и ноги невероятно мерзли. Пройдя верст шесть, мы остановились. Говорили, что в село Беляевка посланы разведка и квартирьеры. Мы стояли долго и, сидя на земле, дремали. Впереди слышались выстрелы, а затем церковный звон. В селе Беляевка били в набат. Как потом оказалось, беляевские большевики встретили наших квартирьеров ружейным огнем и обстреляли разведчиков. Большевики ударили в набат, собирая народ, чтобы дать отпор добровольцам. Жутко было слышать этот колокольный звон в ночную пору. Чем-то зловещим отдавал этот набат и будил в воспоминаниях детские годы жизни в деревне, когда набат сигнализировал пожар. И теперь по спине пробегала дрожь.

Мы подкормили лошадей. Я сидел на промерзшей земле, присыпанной снегом, спустив ноги в канаву. Темными силуэтами вырисовывались близстоящие повозки, а дальше обоз терялся во мгле, точно его и вовсе не было. Холодная зимняя ночь, от которой мы зябли, вызывала досаду, что мы стоим, и хотелось идти вперед.

Судьба свела меня здесь со знакомыми и родственниками, и мы по возможности держались вместе. Один из них был раньше либеральным земским деятелем. Теперь он воочию убедился, к чему привела эта глупейшая оппозиция правительству.

Жители Беляевки не пустили нас в село, и после небольшой перестрелки было решено обойти селение лугами и идти дальше. Передали команду: «Обоз третьей роты, вперед». Это было так неожиданно, что мы еще не успели взнуздать лошадей, как стоявшие впереди повозки тронулись. Сообща, волнуясь, начали запрягать лошадей. В темноте и суете мы несколько отстали от своей части. Говорили, что все свернули куда-то вправо, а мы взяли влево. Скоро мы догнали несколько повозок, с которых спрашивали нас, куда ехать. Мы двигались по каким-то замерзшим кочкам, напоминавшим болото. Было очень темно. Мы потерялись, но утешало нас то, что где-то недалеко гудел броневик. Верховые тоже путались и блудили. Одни говорили, что наша рота впереди, другие – что она сзади, и никто определенно не знал, где мы и куда ехать.

Со стороны Маяков пускали ракеты. Нас догоняли другие обозы, и наша группа все возрастала. Нас обогнал фаэтон ротного командира, в котором сидела его жена. Она тоже заблудилась. Обоз тронулся за ней. Наконец мы выехали на открытое место, куда со всех сторон подтягивались обозы и собирались части. Тут же стоял броневик «Россия», грузовики и автомобили. Оказалось, что, обходя Беляевку без всякой дороги, блудили все. Уже немного светало. В центре стоял автомобиль, в котором сидел полковник Стессель с женой.

Скоро привели в порядок разрозненные за ночь части. Колоннами выстраивались отдельные роты. Около грузовика стали два орудия генерала Мартынова. Несколько раз мимо нас проехал верхом генерал Васильев. Выстроенные войска внушали доверие. Откуда-то появилась конница, которой раньше не было видно. Все подтянулись и приободрились. Передавали приказ быть начеку, так как ожидалась встреча с красными. Вторую ночь мы шли совершенно без сна и не отогреваясь и прошли верст сорок от Ольвиополя. Всех клонило ко сну, но надо было идти, и мы шли целый день, делая иногда лишь десятиминутные привалы. В эти минуты отдыха все ложились на снег и дремали.

К вечеру мы добрались до немецкой колонии Кагарлык. Это было небольшое селение. Места для размещения всех частей не оказалось. Кто был впереди, тот попал в хаты, но большинство осталось на улице и во дворах с обозами. Погода была суровая, зимняя. Дул резкий ветер, и временами поднималась пурга. Наш обоз въехал в громадный двор или, скорее, пустырь, где стояли скирды соломы. Все помещения были до такой степени набиты людьми, что нельзя даже было втолкнуться. Улицы и площадь были заставлены обозами. Зажгли костры. Пахло гарью, стлался дым. Кое-где группы, запасшиеся продуктами, варили пищу. Мы варили и пили чай с сухими кусками черного хлеба. Я хотел задремать, но сон не приходил. Есаул Афанасьев с двумя солдатами провел мимо нас пожилого человека в кожухе. Мы догадались, что его будут расстреливать. И действительно, почти тотчас же за углом ближайшей хаты раздалось два выстрела, и патруль возвратился обратно. Я видел этот рас-

простертый навзничь труп большевика возле глухой стены хаты. Было приказано потушить огни и не зажигать костров. Мороз достигал десяти градусов, хотелось спать, но стало страшно холодно, и я не мог заснуть. Слегка задремав, зарывшись ногами в солому, я услышал, как кто-то сказал, что в ближайшем дворе есть место для всего нашего обоза. Мы тотчас же перебрались туда. Но в хату входили только чтобы погреться. Толпа людей стояла в ней, как в тисках. В 12 часов ночи нам надлежало выступить дальше, значит, необходимо было уснуть, чтобы запастись силами. Подмостив соломы, мы улеглись под своей повозкой, прижавшись друг к другу. Соломы было мало, и мы лежали почти на снегу. Я закутался с головой. Сон был беспокойный. Согреться было нельзя, и временами трясло, как в лихорадке.

Меня разбудили. Наши о чем-то горячо спорили. Говорили, что где-то недалеко появился отряд большевиков. Передали команду: «Обоз третьей роты, вперед», а у нас лошади опять были не готовы. Настроение было скверное. Теперь каждый заботился только о себе. Переутомление было сильное. Каждый панически боялся отстать. Инстинкт самосохранения заставлял каждого преодолевать все трудности и идти с обозом. Люди цеплялись за повозки и шли машинально. Кто мог, садился на повозку, но за это удобство люди жестоко боролись. Один сталкивал другого, и на этой почве люди теряли всякую совесть. Безумно клонило ко сну. Обоз шел неровно, ежеминутно приостанавливаясь. Люди моментально засыпали, прислонившись к повозкам. Спали стоя. Особенно давала себя чувствовать дорожная колоть. Ноги в темноте ежеминутно подворачивались и лишали свободы движения. Мороз к утру стал спадать, и днем начало таять. Это было особенно приятно, потому что не так болели примороженные руки.

К полудню мы подходили к немецкой колонии Кандель, находившейся возле лимана. Шедшие впереди уже вступали в Кандель, а обозы еще шли, растянувшись на много верст сзади. Отряд уже не походил на боевую часть, способную дать отпор. Едва двигаясь, офицеры говорили, что даже в германскую войну они не делали таких тяжелых

переходов. Масса военных бросила строй и примостилась на повозках возле своих семейств. Бóльшую часть обоза составляли подводы беженцев. Военного снаряжения почти не было, не было ни продуктов, ни кухонь. Питались на остановках по хатам у местных жителей. Это была толпа беженцев.

Мы беспокоились, что пришедшие первыми в Кандель закупят весь хлеб и мы останемся голодными. Все только и думали о еде. Наша рота рассыпалась цепью, имея назначение прикрывать движение обоза. Мы услышали выстрелы и тотчас же узнали, что наши цепи задержали каких-то людей, ехавших им навстречу.

Сидевшая на этой повозке женщина кинулась к добровольцам и сообщила, что ее, арестованную, везет с пакетом агент чрезвычайки. Документы были налицо, и агент, конечно, был расстрелян на месте. Женщина, оказавшаяся учительницей, присоединилась к нам.

Мы почти уже входили в Кандель. В это время нас оглушил где-то вблизи разорвавшийся снаряд, и тотчас же после этого начался обстрел селения. Произошло замешательство. Полковник Москалев кричал, чтобы не торопились и шли спокойно. Под звуки оглушительных разрывов наш обоз входил в обширный двор, где стояли две скирды. Был такой грохот, что люди побросали свои повозки и укрылись в хату, в конюшни и сарай. Обозы не спеша проходили мимо, но как только подводы заворачивали во дворы, люди поспешно вставали с повозок и, бросая лошадей без присмотра, укрывались по хатам. Усталые, голодные и разрозненные части накинулись на еду и упустили сделать разведку, а накануне большевики были в Канделе. Наша рота залегла цепью у самого входа в колонию. По приказанию Стесселя по хатам стали быстро собирать всех тех, кто был при оружии, чтобы наступать по окраине колонии. Тут проявилась безотрадная картина малодушия и беспечности многих. Не стесняясь публики, эти люди прятались на глазах у посторонних им людей.

Вместе с нами в хату вошло несколько офицеров. Они заняли большую комнату и никого в нее не пускали. Здесь же в сенях сто-

ял какой-то полковник. Вбежал офицер, передавая приказание идти в строй. Офицеры вышли, но неохотно. Вблизи опять разорвался снаряд с оглушительным ревом. Инстинктивно все бросились в конюшню, и полковник оказался с нами. Тот же пришедший офицер заглянул в конюшню и настойчиво предлагал полковнику пожаловать в строй. Будучи поставлен в безвыходное положение, он наконец решился идти. Но в этот момент к нему на шею бросилась его жена и, обняв его, кричала: «Нет, нет!». Хозяйка-немка стала стыдить полковника, но он все-таки не вышел из конюшни.

В это время грянул такой взрыв, что с потолка посыпалась штукатурка, и все онемели от ужаса. Наши лошади испугались взрыва, начали биться и запутались в упряжке. Кому-то нужно было выйти, чтобы распутать лошадей, но никто не двигался с места.

Мне стало стыдно, и я вышел к лошадям. Здравый смысл подсказал мне, что во дворе и в конюшне одинаково опасно. Я заставил себя быть спокойным и под грохот рвущихся снарядов не торопясь распряг лошадей и привязал их к дереву. Я даже принес им сена из соседней скирды. На дворе было как-то веселее, чем в конюшне. Со всех сторон во двор стягивались спешившиеся конные, ведя лошадей в поводу, и становились в ряд под защиту строений. По улице шли воинские части, и было много народа. Броневик «Россия» непрерывно выпускал снаряды из своего небольшого орудия. Из противоположного двора громыхало орудие генерала Мартынова. Я почувствовал подъем духа. Будь у меня винтовка, я тотчас же пошел бы в строй.

Я вышел на улицу. Погода была мягкая, снег сильно таял. Возле броневика стояла группа военных. Выглядывая из верхнего люка броневика, весело кивал мне поручик Иванчич. Положение было критическое. Большевики наступали цепями и заняли уже крайние хаты. Стоило большевикам быть немного решительнее и пустить сюда свою конницу, и Кандель был бы взят без боя. Со стороны колонии Зельц наступала группа комиссара Левензона, а во фланг действовал отряд Котовского. Против него действовал генерал Мартынов с двумя орудиями. Мы ви-

дели неприятельскую конницу и цепи красных. Наша цепь стояла тут же, за хатами. Со всех сторон трещали пулеметы. Главную нашу боевую силу представляла совсем юная молодежь. Любо было смотреть, как шли кадеты, на ходу заряжая винтовки. За них становилось страшно. Я решил пойти по хатам, чтобы достать чего-нибудь съестного. Мне повезло. Одна немка согласилась сварить нам мамалыгу под условием, чтобы я принес ей соломы.

Наступление, предпринятое Стесселем, сделало свое дело. Большевики отступили, и Стессель занял соседнюю колонию Зельц. Обстрел Канделя прекратился. Было приказано выступить немедленно и расположиться на ночлег в только что занятой колонии Зельц. Быстро заканчивая еду, мы бросились опретью к лошадям и, запрягая, видели, что уже вся улица запружена подводами. Торопились оставить Кандель. Мы выехали. Наш фронт стал быстро таять. Солдаты и офицеры возвращались в Кандель – одни за вещами, другие чтобы поесть. Это сейчас же учли большевики. Обходным движением Котовский ударил во фланг, и вновь уже с двух сторон начался обстрел. Улица была сплошь забита повозками в несколько рядов, которые обгоняли друг друга. Произошло замешательство. Мы попали под перекрестный огонь. Люди поворачивали лошадей и рысью гнали их обратно. Произошла давка. Разорвавшийся снаряд свалил почти возле нас лошадь. Повозка с солдатами умчалась дальше, а раненая лошадь, стараясь приподняться, опять шлепнулась в лужу крови. В боку у нее была громадная рана. Бывшая со мной сестра, моя свояченица, вопила: «Бедная лошадь, посмотрите!» Новый снаряд оглушил нас так, что все присели на землю. Шедший вблизи офицер упал и кричал: «Господа, подберите меня, я ранен!» Но никто не двинулся с места. Он ползком перебрался через улицу. Снаряд пробил крышу дома, в котором находился штаб, и разорвался внутри здания. Был убит какой-то чиновник. Разрыв за разрывом не давал нам идти дальше. Затрещали пулеметы.

Пригнувшись и перебегая от хаты к хате, мы дошли до забора, возле которого в совершенном одиночестве стоял полковник Стессель.

Понадобилась подвода, чтобы подвозить патроны, и солдаты забрали наших лошадей. Я наблюдал за полковником Стесселем. Он стоял, опершись локтями на низкий забор, и спокойно отдавал приказания. Мимо нас проехал рысью небольшой отряд конницы. Тут же невдалеке залегла наша цепь.

Мы подобрали раненых. Недалеко, за скирдой, лежало два раненых и один убитый. Здесь местами стояли, местами лежали наши и беспорядочно стреляли, но в кого, я не видал. Я заметил кадета, лежащего на животе и сосредоточенно хлопавшего часто затвором винтовки. Кадет широко раздвинул ноги, и из-под высоко закатившихся брюк виднелись голые ноги. Башмаки были надеты на босые ноги и, видимо, на нем не было и кальсон.

В хате на соломе мы укладывали раненых, устроив таким образом перевязочный пункт. К нам зашел доктор Гречин и дал свои указания.

Раненые страшно беспокоились, вывезут ли их. По-видимому, дела наши были плохи. В разгар перестрелки к нашему пункту подвели красноармейца, который держался за горло, из которого обильно шла кровь и текла по рубашке. Его отправили в штаб.

У генерала Васильева происходило совещание. Прорыв на Тираполь не удался. Положение признавалось безнадежным. Сначала было решено прорываться вперед, бросив в Канделе обозы, офицерских жен и беженцев, но ввиду протеста офицеров решили, пользуясь темнотой, сейчас же переправиться через лиман и идти «на авось» в Румынию. Многие об этом решении не знали и только случайно выскочили из Канделя потому, что сами следили за ходом событий. Каждый думал только о себе и боялся отстать от других. Лошадей нам не возвратили, и мы остались без повозки.

Многие решили остаться в Канделе. Я заявил, что ни за что не останусь. Мне помог врач Гречин, который знал моего брата-врача. Он зачислил меня фельдшером в запасный госпиталь, а мою свояченицу М. К. Воздвиженскую – в сестры милосердия. С другим моим родственником, А. И. Самойловичем, мы окончательно распрощались,

так как он решил остаться. Впоследствии он был «выведен в расход» большевиками.

Часов около восьми к нашему пункту стали подъезжать на подводах офицеры и забирать своих раненых. В это время вернулся из штаба доктор Гречин и сказал, что Стессель уже выехал и что все бегут из Канделя. Мы вышли на улицу. Было абсолютно темно. Обозы спешно проходили мимо. Когда проходил обоз полковника Короткова и доктор заявил ему, что невозможно бросить раненых, то полковник остановил обоз и лично руководил погрузкой раненых. Один офицер был умирающий, с разможенной головой. Его решили оставить. Срезали погоны. Его так и не узнали. Стало одним больше «без вести пропавшим».

Мне и моей свояченице указали место на повозке, но сесть там было негде. У меня была только небольшая ручная котомка и сумка через плечо. Моя невестка не хотела расставаться со своими вещами и погрузила их на край подводы. Мы шли рядом с подводой. Возле лимана, давя друг друга, столпились обозы. Лед был непрочен. Из предосторожности пропускали подводы с интервалами на расстоянии 20 шагов. Каждый нервно ожидал своей очереди. Было запрещено курить и громко разговаривать. Погода была мягкая в этот день, но к вечеру стало морозить. Дневная слякоть начала покрываться гололедицей. В воздухе стояла морозная мгла, так что на расстоянии двадцати шагов вперед не было видно. Мы шли по льду, покрытому снегом, возле десятка подвод, составлявших нашу очередь. Снег был рыхлый, покрытый сверху тонкой ледяной коркой. Местами стояли лужи воды, а местами открывалась на большом пространстве стеклянная поверхность льда. Меня пугали трещины, которые попадались часто и которые гребнями приподнимали в этом месте лед. На снегу глубокими колеями виднелась дорога, а там, где стоял голый лед, дорога терялась, и нам казалось, что мы теряем направление. Мы шли по льду, вероятно, не менее часа и потеряли нить времени.

Я заметил, как неправильно мы судили о времени: иногда какие-нибудь полчаса казались нам часами, а бой под Канделем, например,



продолжавшийся целый день, казался мне длившимся не более трех часов. Противоположный берег лимана был почти отвесный. Он представлял кручу, которую лошади ни в каком случае взять не могли. Приходилось каждую повозку поднимать на руках. Но задержки не было. Появлялась такая масса людей, что повозки одна за другой взлетали на кручу, как перышки. Пока происходила переправа через лиман, в обозе был порядок. Чья-то невидимая рука управляла движением. Но когда мы вступили на противоположный берег, обоз заторопился и гнал лошадей. Мы едва поспевали за нашей подводой. Дорога была в колоти, покрытой гололедицей. Это были луга. Ноги расползались и затрудняли движение. Наши вещи не могли держаться на краю повозки и начали падать на землю. Моя невестка умоляла остановить повозку и взять ее. Но сидящие на повозке дамы даже не отвечали. На повозке развязался узел, и при толчках вещи стали сыпаться на землю. Мы махнули на них рукой. Подвода пошла рысью, и мы уже не поспевали за ней. По дороге валялись брошенные и упавшие с повозок чемоданы, шинели и разные мелкие вещи. Обозы нас перегоняли. Говорили, что большевики идут по пятам, и если мы не успеем перейти Днестр, то попадем в их руки. Это была четвертая бессонная ночь без отдыха. Я просил проезжающих подвезти нас, и на мою просьбу отозвалась баронесса Майндель, ехавшая с мужем: она взяла мою невестку.

Пользуясь темнотой ночи, я попробовал незаметно прицепиться сзади к какой-нибудь повозке, но удержаться не мог, а зацепившись за что-то брюками, я, падая, разорвал их во всю длину. Я отстал, но был не один. Вдруг я совершенно случайно узнал в проезжающей повозке наших лошадей. В ней сидели двое военных. Я бегом догнал их и заявил, что это мои лошади. Они взяли и меня с собой. Мы ехали молча. Так трясло, что невозможно было говорить.

Предстояла переправа на румынский берег. Этот последний переход был для меня необыкновенно тяжел. Это было настоящее бегство, в котором люди теряли самообладание. В селе Коротном мы напились чаю и отогрелись в натопленной хате. Я даже задремал, но спать пришлось не-

долго. Через час мы уже выступили и спустились в «плавни» реки Днестра. Крестьяне села Коротное отнеслись к нам враждебно и никому не дали хлеба. Когда потом на румынской границе произошла катастрофа, они, как шакалы, бросились грабить обезоруженных румынами добровольцев и оставленных в камышах раненых.

Полковник М. с тремя офицерами поехал для переговоров с румынами, но крестьянин, взявшийся их проводить, завез их к большевикам и заявил: «Вот тебе и румыны».

Сначала мы шли по льду, затем обоз двигался по бесконечно длинной «гати». Затем снова ступили на лед и оттуда вошли в густые заросли камыша. Женщины были очень малодушны. Я шел рядом с повозкой, в которой женщины возились в какой-то торбе и начали есть. Я почувствовал запах съедобного, мне ужасно хотелось есть. «Полковник, хотите есть?» – вдруг обратилась ко мне сидящая на повозке молодая дама. Я этого не ожидал, но, конечно, с большой благодарностью принял большой ломоть хлеба с куском сала.

Временами шел дождь. Снег быстро таял, стало скользко и мокро. Дороги как будто бы не было. Шли камышами в несколько рядов по расходящимся в разные стороны колеям. Местами приходилось ступать по щиколотку в воде. Встречались глубокие водомоины и рытвины, покрытые льдом, и лошади с повозками проваливались в воду. Дорога была тяжелая. Каждую подводку приходилось вытаскивать на руках.

К двум часам дня мы подходили к Днестру. Перед Днестром последовало распоряжение бросить повозки и тяжелые вещи. Лед был слишком слаб, чтобы выдержать такую тяжесть. Теперь только стало видно, что люди везли с собой целые склады одежды, обуви, спирта. Все это было брошено в плавнях Днестра. Все, что было брошено, было нарочно разбито и рассыпано. Многие жадно разбирали все это имущество и нагружали на себя.

Переходили Днестр осторожно группами и частями. Было страшно. Артиллерия генерала Мартынова была брошена, а броневик «Россия» был взорван нами еще в Канделе.

После переправы через Днестр по приказанию Стесселя начали группироваться. Мы присоединились к группе больных. Было очень холодно и мокро. По всему лугу начали разводиться костры. На большой площади расположились люди в числе более двенадцати тысяч. Против нас за дорогой стояла группа человек в шесть румынских солдат. Скоро прошли слухи, что и здесь румыны не пропускают русских. Публика волновалась и приходила в отчаяние. Уже темнело. От холода тряслись как в лихорадке. Все понимали, что назад возврата нет. Сзади были большевики, а все села были настроены большевистски. Пробиваться дальше воинские части, конечно, не могли. Достаточно было взглянуть на эту изнуренную, деморализованную, голодную и озябшую массу, чтобы определенно сказать, что не только к бою, но даже к сопротивлению она неспособна. Вновь облетела весть, что румыны положительно отказались пропустить добровольцев на свою территорию. Эти вести шли от Стесселя. Многие отделились и стали самостоятельно пробираться в Румынию выше и ниже села Раскаец. Генерал Васильев и полковник Стессель вели переговоры с румынами и просили хотя бы дать возможность переночевать в селе Раскаец. В конце концов румынский комендант дал слово, что до утра со стороны румын не будет открыта стрельба. Уже темнело, когда было приказано идти на ночлег в село Раскаец. Впереди шли больные и раненые. Образовалась тысячная толпа. До села было версты две. Сначала шли в порядке, но скоро отдельные группы стали перегонять друг друга. В результате возникла невероятная давка, суета и беспорядок. Больные и раненые остались позади. Здесь были переутомившиеся и примороженные. Все стремились попасть в теплое помещение и отдохнуть. Тифозные тащились за толпой, зная, что если они отстанут, то погибнут. Многие падали по дороге, но никто не обращал на них внимания. Один упал с насыпи в канаву, но толпа шла мимо, не обращая на него внимания. Слышались стоны людей. В абсолютной темноте, ежеминутно спотыкаясь о колоты, эта масса еле двигалась и производила жуткое впечатление. Воинские части рвались вперед, сбивая с ног ра-

ненных. Чуть ли не после всех были пропущены в Раскаец больные и раненые. Нам было указано два помещения, но этого оказалось мало, и большинство разместились в сараях и конюшнях. Мы заняли стоявшие на дворе пустые повозки, на которых была солома. О том, чтобы поесть, не могло быть и речи. Ведь здесь было русское население бывшей Бессарабии. Спать пришлось недолго, я был разбужен и сразу не мог прийти в себя. На горе трещали пулеметы, и на дворе ясно слышалось жужжание пуль. Что это означало, мы сначала не могли понять. Мы встали и продвинули повозки к сараю, чтобы укрыться от пуль. Пулеметы стреляли периодически всю ночь. Говорили, что всюду залетают пули и что есть раненые.

Под утро я втиснулся в сени и здесь услышал, что велено немедленно оставить Раскаец и возвратиться на русский берег, а тот, кто не подчинится этому распоряжению, будет расстрелян. Это было 3 февраля по старому стилю. Я вышел на улицу. С горы продолжали стрелять пулеметы. Улицы были забиты народом. Конный чеченец ездил по улицам и передавал приказание генерала Васильева о немедленном оставлении всеми села Раскаец. Я зашел в хату, взял котомку и вместе со своей невесткой направился к штабу. Мы шли, как и другие, вдоль заборов, пригнувшись, и не понимали, что происходит кругом нас: такой невероятной казалась мысль, что нас расстреливают румыны. Все чаще попадались раненые. Толпа становилась гуще. Шли к сборному пункту. Там выстраивались колонны, и в тот момент, когда мы туда подходили, вся масса дрогнула. Румыны направили пулеметы к этому месту. Несколько человек было убито и ранено. Люди начали разбегаться, а воинские части быстрым шагом направились к Днестру.

Стессель собрал вокруг себя отряд, чтобы прорваться на Тирасполь. Но брал только способных к бою. Общего руководства уже не было, и каждый был предоставлен самому себе. Медлить было нельзя. Румыны направили огонь на проходящие группы. Люди и лошади падали на наших глазах. Стоявший рядом солдат упал, крикнув, что он ранен. Мы залегли. Пули визжали над нашими головами. Несколько

раз мы поднимались, но каждый раз визжавшие пули заставляли нас всех вновь ложиться.

Это проклятое место было роковым для многих. Ряды отступающих добровольцев редели. Более ста человек остались убитыми на этом месте. Шли туда, куда шли все, а румыны расстреливали отходящих. В одной хате скопилось много людей, почти все из интеллигенции, которые выжидали, пока затихнет стрельба. Пули залетали в комнаты. На улицах лежали убитые и раненые. Здесь лежала убитая сестра милосердия из Чернигова Мальчевская, а около нее убитая лошадь. Командир винницкой уездной стражи Крыжановский ехал на подводе с женой и сыном, четырехлетним мальчиком. Жену убила пуля, и, пока муж возился, переноса ее в хату, подвода с мальчиком уехала, и отец больше, вероятно, никогда его не увидел. На земле в беспомощном состоянии сидели три офицера и стонали. Мы молча прошли мимо них. Было стыдно и отвратительно на душе, но мы ничем помочь не могли. Мы пробирались канавами. В канаве, согнувшись, сидел пожилой офицер. Проползая мимо него в то время, когда пулемет особенно яростно трещал, я спросил, куда он ранен. Рана была в живот, и он безразлично смотрел перед собой. Мимо нас ползком пробирались десятки и сотни людей. Большинство переносили свои страдания молча.

Румыны обстреливали и переправу через Днестр, где скопились вышедшие из Раскаеца. Мы свернули налево и решили идти без дороги. Скоро мы вышли из сферы обстрела и подошли к Днестру. Нас была группа в пять человек, и мы присели, чтобы отдохнуть и обсудить свое положение. Мы слышали, что собирается группа, чтобы идти на Одессу и сдать на милость победителей. Масса людей очутилась в плавнях в безвыходном положении, но то, что творилось с оставшимися в Раскаеце, не поддается описанию. Когда все воинские части ушли из селения, стрельба прекратилась. Вошли румынские патрули и стали выгонять оставшихся. Врывались в хаты, выкрикивая «раној!» (назад). Они отбирали оружие и производили обыск. Отбирали все, снимая даже верхнюю одежду и отбирая кошельки, часы и кольца. Одурманенные этим грабе-

жом солдаты уходили дальше. Изгнанные из хат больные возвращались обратно, но через некоторое время в хату врывается другой патруль, и вновь начинался грабеж.

Там остался лазарет Красного Креста с доктором Докучаевым во главе. На перевязочном пункте было более 150 раненых. В разгар работы на перевязочный пункт явился румынский патруль и предложил врачу немедленно покинуть Раскаец. Потребовали выдачи оружия и забирали все котомки и чемоданы. Отбирали все ценности. На указание, что среди больных есть безнадежные, солдаты твердили одно «paid» и «rapoј».

Около четырех часов дня к госпитальным хатам подошла толпа местных крестьян (бессарабцев). Староста был пьян и требовал немедленного оставления деревни, угрожая в противном случае применить оружие. Староста хватал больных за шиворот и выталкивал на улицу. Румынский патруль стоял в стороне и как бы не принимал в этом участия. Староста нещадно избил солдата Баушанова, которому пуля попала в затылок и вышла через глаз.

Пришлось уходить. Больные и раненые построились в ряды и, предшествуемые медицинским персоналом, оставляли Раскаец. Их число достигло 300 человек. Что случилось с умирающими и тяжелоранеными, неизвестно. На берегу Днестра доктору сказали, что два румынских сержанта берутся за большие деньги провести больных и раненых на румынскую территорию в село Пуркары, где есть больница. Вступили в переговоры и собрали деньги и ценные вещи. Сержанты просили об этом никому не говорить. Сестры отправились в Пуркары для переговоров. Между тем наступила ночь. Разместившись частью в двух полуразрушенных хатах бывшего русского поста, частью на дворе, больные провели ночь в холоде и голодными. С рассветом возле хат появилась группа местных крестьян, которые начали уговаривать переходить на сторону большевиков... Крестьяне требовали, чтобы добровольцы сдались и шли к большевикам. Они держали себя дерзко и под видом обыска стали грабить и снимать верхнюю одежду, угрожая в случае сопротивления применить оружие. Мужики были вооруже-

ны топорами и кольями. Они говорили, что сейчас придут крестьяне села Завертаевка всем селом и все равно всем присутствующим придется сдать большевикам. Полковник Гегелло вспомнил вчерашнее обещание румын помочь, если беженцев станут грабить. Он с двумя офицерами направился к румынскому посту и сообщил, что крестьяне грабят. Румынские пограничники в числе пяти человек схватили винтовки и, перебежав Днестр, неожиданно появились среди грабителей. Большинство крестьян бросились бежать. Остальных румыны застали на месте преступления. Крича что-то по-румынски, солдат замахнулся прикладом на пожилого крестьянина и ударил его в бок. Мужик поднял обе руки вверх, как бы защищаясь, и упустил награбленное – желтый чемодан и солдатскую шинель. Другой крестьянин, к которому подбежал пограничник и целился ему прямо в грудь, бросил вещи, ограбленные им у полковника Ольховского, и, как бы защищаясь руками, молил о пощаде, выкрикивая, что у него пять душ детей. Румын выстрелил, и мужик упал навзничь, умирая на глазах всех окружавших его. Штабс-капитан Котлубай стрелял по грабителям из оставшегося у него револьвера, догнал пожилого мужика и в упор убил его двумя выстрелами. После этого румыны пригласили всех бывших на русском берегу перейти на румынскую сторону. Наконец их комендант и врач в Пуркарах согласились принять больных в числе не более 50 человек. Партия в 50 человек двинулась в путь, а все остальные последовали за ними. Никакие угрозы и уговоры на них не действовали. Каждый понимал, что остаться – это значит погибнуть. Вся группа людей шла вперед. Но не успели отойти и ста шагов, как с румынского пикета их стали крыть пулеметы. Вся партия легла на землю. Румынский сержант, провожавший партию, махал руками и платком, показывая пулеметчикам, чтобы они прекратили стрельбу, но это не действовало. Сержант побежал на пост и верхом на лошади поехал, чтобы переговорить с пулеметчиками.

Более трех часов люди, больные, изголодавшиеся, лежали на снегу, и никто не мог приподняться, так как румыны тотчас же начинали стре-

лять. Прибывший с горки румынский офицер уладил этот инцидент и разрешил всем, как и больным, следовать в Пуркары. Туда к тому времени привезли раненых и больных, оставшихся в Раскаеце. Больница в Пуркарах была переполнена, и потому прибывших разместили в школе. Местное русское население, бывшие бессарабцы, отнеслись к прибывшим сочувственно и нанесли массу съестных припасов и вина. Явившийся комендант был любезен и распорядился отделить тяжелораненых и отправить в больницу. По словам румынского коменданта, в камышах лежало более 500 трупов погибших при переходе границы.

Люди, бывшие русскими подданными, говорили офицерам, что они приняли бы добровольцев, но румыны не позволяли дружелюбно относиться к ним. Бандиты-крестьяне, как шакалы, хватали выбрасываемых им в пасть обессиленных русских людей. В одной хате находилось пять почти умирающих людей. Разыгралась та же сцена. Один за другим врывались румынские патрули и выгоняли их. Сестра плакала, а больные уже в полном безразличии глядели на неистовствующих варваров и молчали. По-видимому, и на румын действовало это гробовое молчание. У одного русского рана была в горло. При кашле появлялись брызги и сгустки крови, а сестра затыкала рану тампоном. Последний патруль наткнулся на эту сцену, и старший из них точно окаменел от этого ужаса. Сестра со слезами повторяла; «Боже мой, Боже мой!»

Унтер-офицер подошел к ней. Больной хрипел. Румын, схватив себя за голову и взяв сестру за руку, спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Он говорил по-русски. Сестра разрыдалась и не могла ничего ответить.

Патруль исчез, но минутой спустя унтер-офицер пришел с большим хлебом и сказал сестре, что он приказал хозяйке сейчас же приготовить для нее и больных суп. Он спросил, не голодна ли она и как долго она ничего не ела. Та ответила, что она последний раз ела в Канделе, а больных получила вчера утром и не знает, когда они последний раз ели.

Унтер-офицер приказал солдатам не трогать больных и лично проявил о них заботу. К вечеру к хате подъехали подводы, запряженные волами, и больных отправили в Пуркары.



Человеческие нервы не выдерживали, и свидетель международного преступления схватился за голову. Он, видимо, был добрый человек.

Несчастные, не попавшие с вечера в Раскаец, были забыты. Когда давалось распоряжение идти в Раскаец, кто-то объявил, что за тяжело-ранеными будут посланы подводы. Между тем никаких подвод за ними не было послано, и они целую ночь пролежали на снегу. Утром в одиночку и группами появились крестьяне из села Коротное и грабили раненых. Одни за другими группы грабителей отбирали все, что оказалось при них. Оставляли людей в одном нижнем белье при 10–12 градусах мороза. Когда появились первые грабители, раненые начали расползаться и прятаться в камышах. Было холодно. Оставаться там было невозможно. Они ползли дальше. Так дополз полковник Булгаков до ближайшей хаты, в которой уже находилось несколько офицеров. Здесь он узнал, что из Бухареста получено распоряжение, чтобы раненых и больных не возвращали обратно на русский берег. Проходившие патрули искали только здоровых, а больным объявляли, что они будут отправлены в пуркарскую больницу. Хозяин хаты объяснял, что вчера крестьяне не могли проявлять своих симпатий к русским, так как румыны их предупреждали, что все село будет сожжено, если они примут русских с того берега.

Я не попал в группу больных.

Мы сидели на русском берегу Днестра и обсуждали свое положение. Несмотря на большой мороз, нам было жарко – вероятно, от нервного подъема, вызванного пережитым. Мы решили отделиться и действовать самостоятельно. Люди шли в разных направлениях, сами не зная, куда и зачем идут. Наша группа решила идти на север вдоль Днестра и пробираться на Каменец-Подольск, но мы не знали ни расстояния, ни карты. Нам казалось, что около самого берега большевиков не будет, и в крайнем случае будем пробираться по ночам на румынскую территорию. Выбирать не приходилось. Идти сдаваться большевикам было безумием. Боялись замерзнуть или умереть с голоду, если крестьяне отнесутся к нам враждебно.

Из села Раскаец вышли тысячи людей с женщинами и детьми, которые так же, как и мы, находились в плавнях Днестра. В диком ужасе, под пулями, в мороз шли голодные и усталые толпы обратно на русский берег на полную неизвестность! Многие не выдерживали и лишали себя жизни. На глазах всех застрелился барон Мандель, который вчера подвез мою невестку. Некоторые удачно перешли границу выше и ниже Раскаеца, и им удалось от румын скрыться. Громадное большинство осталось в камышах. Часть их замерзла, часть попала в руки большевиков, а что случилось с остальными – неизвестно. Несомненно только, что всех ограбили румыны, крестьяне и большевики отряда Котовского, специально занимавшегося этим ограблением.

Впоследствии, уже арестованными проходя по Бессарабии, мы узнали, что в деревнях повсюду лежат больные и обмороженные русские. Большевикам и крестьянам досталась большая добыча. Больше всего досталось крестьянам, затем румынам и большевикам.

Мы взяли налево вдоль берега; шли без дороги, камышами и местами лозником. Мороз покрыл инеем наши лица и выступал на воротниках. Нас обгоняли люди, идущие в одиночку, группами и спрашивали, куда мы идем. Глаза их горели, лица бледные, худые, грязные. Каждый тащил с собою котомку, чемодан или сумку. Мы вошли в лес или, вернее, в болотистое полесье. Я отлично сознавал, что наш план граничит с безумием и что пройти так 600 верст нам не удастся. Но что делать? Единственная надежда была на крестьян, но уверенности в них не было, и мы решили действовать осторожно. Решили здесь переночевать. Нашли раскидистое дерево, под которым оказалось много сухих листьев и выступал большой корень, делая углубление. Место глухое, покрытое снегом, на котором не было видно следов. Очевидно, сюда никто не ходил. С бессарабского берега периодически со всех сторон трещали пулеметы, обстреливая подступы к румынской территории.

О переходе Днестра не могло быть и речи. Оттуда все равно переправят нас обратно. На этом берегу изредка, но не слишком часто, слышались одиночные выстрелы. За деревьями показался солдат с винтов-

кой, но без погон и без кокарды. Это оказался местный житель. От него мы узнали, что все соседние села уже занимают большевики. Здесь, в селе Глинное, находится штаб отряда Котовского, и вряд ли нам удастся пройти незамеченными. Он советовал нам перейти на румынскую сторону и предложил указать крестьянина, могущего проводить нас через Днестр. Мы пошли за ним, но он завел нас к грабителям, которые преградили нам дорогу и потребовали сдать оружие. Но наш проводник отвел одного из них в сторону и поговорил с ним шепотом. Нас пропустили. Наш солдат привел к нам крестьянина пожилых лет с окладистой бородой, весьма благообразной наружности, который обещал сегодня же переговорить с румынами и условиться с ними о цене. Он указал нам на камышовый курень на ближайшем огороде, где мы можем устроиться на ночь. Мы ему всецело доверились. Он предупредил нас, чтобы мы остерегались грабителей, и обещал со своей стороны оберегать нас. Мы обратились к нему с просьбой достать нам хлеба, но он безнадежно махнул рукой, ответив, что хлеба в деревне нет вовсе. В разговоре мы не заметили, что недалеко от нас по большой дороге шла в конном строю какая-то часть. Мужик встрепенулся и, быстро пригнувшись к земле, показал нам рукой, чтобы все легли в канаву. Это проезжал отряд конницы Котовского. Отряд ехал шагом и состоял приблизительно из ста всадников. Многие из них были в солдатском одеянии, но большинство в кожухах и ободранной одежде. Было совершенно непонятно, как они не обратили на нас внимания. Поведение мужика не внушало нам подозрений, но те молодые люди, которых мы встретили по дороге, пугали нас. Они все время крутились возле и не выпускали нас из виду. Мы решили незаметно перейти в соседний курень, но они нас нашли и, остановившись у входа в курень, молча смотрели на нас. После нескольких глупых и неловких минут они вновь спросили, есть ли у нас оружие. Мы поняли, что попали в руки грабителей или большевиков.

Пользуясь моментом, когда эта молодежь отошла от куреня, мы начали спешно прятать деньги в разные места одежды – в сапоги, в рукава, под фуражку. Едва мы закончили эту операцию, как услышали голоса.

К нам вошел наш мужичок и сказал, что он устроил и спросил, сколько мы можем заплатить. Мы решили дать по 600 рублей с человека.

При выходе из куреня стояли наши парни, и среди них пожилой мужик с окладистой бородой. Вдали стоял еще толстый с окладистой бородой мужик в кожаной куртке. Наш мужичок шепотом говорил нам: «Это тот самый, что грабит людей».

Обстановка была необычайная, театральная, и ничего не предвещала хорошего. Мы тронулись в путь в сопровождении тех самых молодых людей, не отстававших от нас. Среди них находился и солдат с ружьем. Кто-то сзади сказал, что надо поискать у нас оружия. Нас окружили и приказали остановиться, было жутко. Мы не успели опомниться, как шайка набросилась на нас и стала обыскивать. Сначала движения их были спокойные, но через минуту грабители обнаружили необыкновенную порывистость. Быстро расстегивая пальто, мужики ощупывали все тело и, нащупав твердые предметы, рвали одежду, жадно хватая кошельки, бумажники и свертки. У меня в подкладке жилета и пиджака были вшиты пакетики с деньгами. Мужик сорвал всю подкладку и схватил эти пакетики. Лица грабителей озверели. Они нервно рассматривали свою добычу и, подбегая один к другому, проверяли награбленное. Закончив грабеж, мужики с жадностью и со спорами отнимали друг у друга деньги и ежеминутно были готовы с остервенением кинуться один на другого. Денег у нас было много, потому что мы недавно получили ликвидационные. У меня взяли 35 тысяч рублей. Эти суммы опьянили грабителей, так как вещей они у нас не отобрали. Подсчитав и рассматривая награбленное, мужики удалялись, не обращая на нас внимания. Оставшись одни, мы недоумевали, как могли довериться грабителям, и застегивали разодранную одежду. Вырванная кусками подкладка моего пиджака путалась под руками, и я никак не мог своими примороженными пальцами застегнуть пальто. Я опомнился первым и предложил скорее идти в камыши. Мы почти бежали, но едва мы вошли в камыши, как вблизи началась стрельба. По камышам жужжали пули. Положение казалось нам безнадежным. Сердце отвратительно

билось... Казалось, что мы погибли. Но голоса постепенно удалялись. Мы лежали на снегу и не шевелились. Стало смеркаться. Надо было нам торопиться до темноты добраться до берега Днестра.

Наше положение оказалась лучшим, чем группы, шедшей впереди нас. Там была настоящая облава, причем грабили и крестьяне, и большевики отряда Котовского, с той разницей, что большевики отводили задержанных в свой штаб. Крестьяне набросились на группу офицеров и не только отобрали у них деньги и вещи, но и снимали одежду. Ограбившие тотчас же убегали, унося с собой вещи. Их догоняли другие и отнимали у них добычу, вступая в спор и в драку. По окончании грабежа большинство крестьян разбежалось. Один из оставшихся назвал себя помощником Котовского атаманом Яровым и предложил офицерам идти к Котовскому. Под угрозой расстрела они пошли за Яровым. Конвой постепенно уменьшался, так как грабители расходились с награбленными вещами. Около офицеров осталось только пять человек во главе с Яровым. В это время в непосредственной близости началась стрельба. Большевики ловили корнета Деревницкого и поручика Иванчича, также убегавших впереди нас от большевиков. Им удалось ускользнуть от грабителей только потому, что они бросились на лед и перебежали Днестр, не будучи замеченными румынами. Эта суматоха спасла многих офицеров (Чесноков, Стецкий, Берклин, Горбачевский и два солдата). Пользуясь замешательством, они бросились бежать и удачно скрылись от Ярового.

Помимо задержанных в одиночку и группами многие сдались большевикам, видя свое безнадежное положение.

Впоследствии полковник Стессель рассказывал мне, что, пробиваясь к северу, он наткнулся на депутацию от Котовского, во главе которой был есаул Афанасьев. Он передал Стесселю письмо от полковника М. из села Глинное с предложением перейти на сторону большевиков. Письмо начиналось так: «Довольно бесцельно проливать кровь...». Афанасьев докладывал Стесселю, что всем им дарована жизнь и что если Стессель с отрядом не перейдет на сторону Котовского, то будут расстреляны

десять заложников. Есаул Афанасьев чуть не плача уговаривал Стесселя перейти на сторону большевиков. Котовский был известный на Юге России бандит, уголовный преступник, прошедший много тюрем. Начальник хорольской тюрьмы, бывший с нами, знал его лично и говорил, что Котовский был «грозою тюрем». Любопытно, что есаул Афанасьев отличался в Добровольческой армии своей жестокостью по отношению к большевикам и хвастался, что собственноручно расстрелял до 600 большевиков. Потом до нас дошли сведения, что большевики устроили в Глинном оргию с пьянством и расстрелами. В волостном правлении они расстреляли 35 штаб-офицеров, заставляя их перед расстрелом танцевать. Весенний разлив унесет с собой далеко в плавни трупы погибших русских людей и покроет глубокой тайной разгром остатков отступившей из Одессы на Румынию Добровольческой армии.

Мы тронулись дальше. Идти было трудно. С одной стороны местами глубокий снег, а с другой – промоины, покрытые тонким слоем льда, постоянно проваливавшегося под ногами. Они производили громкий треск, пугавший нас в этой обстановке. Мы подошли к Днестру, когда уже было совершенно темно. Берег в этом месте был крутой и открытый. Мы решили взять на север и скоро вошли в лозняк. Шли по самому берегу под прикрытием густо поросшей лозы. Я чувствовал усталость. Пустой живот давал себя сильно чувствовать. Есть, в сущности, не хотелось, но организм требовал поддержки. Возле берега было навалено много снега. Приходилось переходить сугробы.

Поздно вечером мы наткнулись на какой-то плетень. Возле самого берега стояла хата. Мы постучались. Сначала нам даже не ответили. На том берегу, как раз против этого места, периодически минут через десять трещал пулемет, выбрасывая 5–6 зарядов.

Говоря шепотом и осторожно продвигаясь вперед, мы неожиданно наткнулись на силуэт человека, который так же с недоверием отнесся к нам, как и мы к нему. Но страх скоро рассеялся, и мы познакомились. Это был наш земляк доктор Мельников. Он также пытался днем перейти Днестр, но был задержан румынскими пограничниками, и солдат воз-

вратил его на русский берег, хотя обещал пропустить ночью, если ему хорошо заплатят. Теперь доктор выжидал в зарослях ночи и был рад, что мы будем его спутниками. Румын предупредил, что в переходе границы есть риск. Надо было рискнуть. Мы приготовили 1300 рублей, чтобы заплатить пограничнику, а моя невестка вынула зашитое в юбку кольцо.

Пулеметы на противоположном берегу работали примерно через каждые 10–15 минут и даже реже. Следовательно, нужно было воспользоваться этим промежутком времени. Но на Днестре были глубокие трещины, промоины, а у берегов – глыбы нагроможденного льда. Доктор видел эти места, но боялся ночью не разобраться в направлении. Мы говорили шепотом. Ужасно тянуло покурить, но зажечь спичку было рискованно. Я подложил под голову котомку и скоро уснул, утопая в сугробе снега. Около одиннадцати часов ночи меня разбудили. Пулемет не работал уже больше часа. Это была счастливая случайность. Нужно было ею воспользоваться. Внизу видны были глыбы нагроможденного льда, а дальше за темнотою нельзя было разобрать, что было впереди.

Веревки у нас не было, и приходилось кому-нибудь спуститься первым на авось. Первым сполз доктор Мельников. Вышло благополучно. Стоя на льду, он подхватил сидя сползавшую сестру Воздвиженскую. Нас было четверо. Я съезжал с кручи третьим и мягко спустился на Днестр. Было темно, но снег делал темноту видимой. С особым шумом и неловко сполз наш четвертый спутник, приведший нас этим в отчаяние. Мы постояли еще некоторое время возле самой кручи под защитой берега. Доктор спросил шепотом: «Готовы?» Я снял фуражку и перекрестился. Лед на Днестре напоминал уже весеннюю картину. Громадные трещины и местами приподнявшиеся участки льда вызывали жуткое чувство. Там, где был снег, было спокойнее. Мельников шел впереди и, крадучись, осторожно передвигал ногами, чтобы не хрустел снег. Мы переходили Днестр очень медленно. Сзади беспрестанно передавали шепотом «скорее». Но доктор ежеминутно останавливался и прислушивался. Возле противоположного берега была открытая скважина в поларшина и нагромоздившийся лед. Мельников медлил пере-

ступить это место и приводил этим в отчаяние всех. Большие затруднения представляли громадные глыбы льда, нагромоздившиеся друг на друга возле самой кручи правого берега. Большие трещины, в которые можно было легко провалиться при неосторожном движении, пугали нас, и мы не сразу решились взять эти баррикады. Доктор, стоя на такой льдине, подавал каждому руку, и стоявшие внизу подсаживали карабкающихся. Отчаянное положение придавало силу. Переходя таким образом с одной льдины на другую, мы благополучно вскарабкались на крутой бессарабский берег. На берегу не было никого. Мельников стоял за то, чтобы идти на румынский пост и заявиться, но мы боялись, что нас вернут обратно, и решили идти дальше. И торопились. Нужно было подняться на высокую гору, покрытую глубоким снегом. Мы поднимались наверх огородами, садами, канавами и наконец вышли на улицу какой-то деревни, расположенной посредине горы. Мы пересекли улицу, перелезли через забор и поднимались все в гору. Миновали это селение и карабкались чуть не по отвесной плоскости, над которой висела вершина горы. Мы были почти у цели. Под нами была пропасть, в которую страшно было смотреть.

Я изнемогал от усталости. Мы вышли наконец на большую дорогу. Нам нужно было идти в глубь страны. После некоторого разногласия мы сошли с дороги и пошли проселками, едва заметными под снегом. Скоро эти следы дороги сгладились, и мы шли на авось, придерживаясь лишь прямого направления. Была небольшая метель. Перчатки я потерял еще в селе Раскаец, и мои руки окоченели от холода. Мы рассчитывали выйти случайно к какому-либо селению. Это были последние мои усилия. Я шел шатаясь и чувствовал, что расходую последние силы. Мы не спали шесть суток и почти ничего не ели.

В ногах чувствовалась боль. Между тем мои спутники ускоряли шаг и не обращали внимания на мои просьбы дать отдохнуть. Я сознавал, что если отстану, то рассчитывать на них не могу. Кругом была мгла. Ветер с холодным снегом задувал за воротник и в рукава. В спину морозило. Местами снег был по колена, так что идти было невероят-



но тяжело. Ветер дул в правую щеку и несколько сзади. Это было наше спасение. Попутный ветер как бы подгонял нас. Мы ориентировались по ветру. Метель была низовая, хотя и сверху шел снег. Временами выходили на дорогу, следы которой слегка обнаруживались из-под наметенного снега. Мы шли всю ночь и уже приходили в отчаяние, боясь до рассвета не добраться до такого места, где можно будет укрыться на день. Становилось светлее. Мы вышли на обледенелую гору, на которой ясно обозначились замерзшие колеи. Место было открытое. Мы спустились с горы и вошли по колено в сугроб. Здесь отчетливо была видна дорога. Нам повезло: мы наткнулись на хату, которая как бы выросла из-под земли. Это была, как мы узнали потом, деревня Чобричи. Вся надежда была на эту хату. Еще момент, и начнет светать. С волнением и сомнением мы постучали. Пожилая женщина отворила нам дверь и, узнав, что мы «с того берега», как бы даже обрадовалась. Шепотом она сказала нам, чтобы все скорее входили и, «Боже сохрани», не показывались во дворе: румыны ловят русских и гонят их обратно.

Нас приняли отлично, приветливо, ласково. В углу стоял киот с образами, а возле него на стене развешаны фотографии и портреты русских императоров. Хозяйка-молдаванка, ее муж и сын-подросток с интересом расспрашивали нас о России, о том, что творится «на том берегу». Они рассказывали, что многих таких, как мы, поймали и отправили на русский берег. Хозяйка приготовила нам мамалыжку, дала супу, яичницу с колбасой. Мы насытились и улеглись уже с рассветом на лежанке, уснув крепчайшим сном, каким только может спать совершенно обессиленный человек. Первый раз за все это время мы чувствовали себя сытыми. Я спал целый день. В Чобричах был румынский пост, и ежеминутно нас могли обнаружить. Мы ждали ночи, чтобы идти дальше, но тут нам пришла на помощь хозяйка. Она предложила нам, чтобы ее сын свез нас до села, отстоящего на шесть верст, и мы выехали в 11 часов, причем мальчик потребовал, чтобы мы легли в сани так, словно он везет груз. Доктор Мельников в Чобричах от нас отделился, желая действовать самостоятельно. Нам говорили, что надо

спешить уйти из этой пограничной полосы и идти внутрь страны, где нет такой строгости со стороны румынских властей. Но в следующей деревне нас предали и арестовали.

С этого дня начались новые мытарства по этапам. Но уже в конце концов нас не вернули на русский берег, так как, по слухам, нам передаваемым, румынская королева заступилась за русских перед своим демократическим правительством, до того времени предававшим русских, переходивших границу, на гибель.

Этой главой кончаю выписку из дневника моего брата.

Пройдут года, и вновь в обновленной России в модных ресторанах интеллигентная публика и офицерство будут слушать музыку разных Гулеску, Антонеску... забыв Днестровскую трагедию и восторгаясь страстными напевами румынских скрипачей. Все забывается, а русская душа отходчива. Она простит даже кошмары днестровских плавней. Цивилизованный же читатель будущего, ознакомившись с этой ужасной картиной, скажет: «Не может быть. Краски слишком сгущены!»

## ГЛАВА XVIII

### Новороссийск. Болезнь и лихорадочные грезы

Через это горнило в ужасающей обстановке проходили почти все, отдавая дань революции, и потому полезно эту страничку революции описать. Госпиталя и медицина были тесно связаны с революцией. Врачи работали в разных ролях и вымирали. И врачи у нас были разные: были чистые большевики, как доктора Брускин и Шнеерсон или мой ординатор Сегалин, – все евреи. Были «ловчилы», плывшие по ветру и умеющие приспособиться, пока не доедут до тихой масонской пристани. Были и чистые «черносотенцы» вроде меня. Но большинство людей было нейтральных, и, надо отдать им справедливость, они добросовестно работали при всех режимах, делая свое дело. Лечили мы и

большевиков и чекистов. Спасали кого можно. В нас, как и в железнодорожниках, нуждались все режимы.

За годы революции я сам раза три лежал в госпиталях в качестве больного и перенес два приступа возвратного тифа, а в 1917 году – сыпной тиф. По крайней мере, его так диагностировали, и потому я не допускал возможности заболеть им вторично. Организм у меня был здоровый и выносливый, но я злоупотреблял небрежностью к своему здоровью.

Узнав о том, что я заболел, ко мне пришел генерал Розалион-Сошальский и настоял на том, чтобы я вызвал доктора. Я написал письмо доктору Френкелю, моему старому коллеге по Харькову. Он приехал и взял кровь для исследования. Определить болезнь еще нельзя было, но исследование крови показало присутствие плазмодий малярии. Это объяснило мне одесскую болезнь. К вечеру температура поднялась до 40,9. Ночь прошла тяжело. Наутро 10 февраля мне стало плохо, и окружающие – тогда все ко мне относились очень хорошо – забили тревогу. Пошли хлопотать, чтобы поместить меня в госпиталь. Приехал доктор Френкель и объявил мне:

– У вас, Николай Васильевич, сыпной тиф.

«Вот она, – подумал я, – очередь».

– Вас поместят в госпиталь.

10 февраля для меня было роковое число. Второй год подряд меня постигала катастрофа, согласно вещему сну, виденному мною в 1903 году именно по отношению к этому дню. Я припомнил это и рассудил: я еще довольно бодр и физически крепок. Вероятно, сегодняшний день проживу, а если выживу сегодня, то, значит, и оправлюсь. Я передал мешочек с деньгами, с документами и золотые часы генералу и просил в случае моей смерти передать оставшееся в пользу армии.

У меня появилась некоторая бодрость: это было лихорадочное возбуждение. Но я все отлично сознавал... Сестра отвезла меня в госпиталь, помещавшийся в зале кинематографа. Я в своем возбужденном состоянии был как будто бы доволен особенным случаем – что я заболел сыпным тифом во второй раз, и говорил, что в научном отношении

это интересный случай. Потом я убедился, что первый раз тиф был ошибочно диагностирован. То был, вероятно, возвратный тиф. Я гордился тем, что заразился при исполнении своего долга на пароходе, и переоценивал это. Я еще сам вошел в палату.

Большой сарай весь вповалку был завален больными, Мне отвели место на матрасе на полу. Я стал раздеваться. На мне была та же военная шинель, великолепный мягкий теплый костюм и сапоги. Мне помог раздеться бледный санитар из пленных красноармейцев, уже перенесший сыпной тиф. Я был как в тумане, однако созерцал окружающее и, помню, спросил его, откуда он. Он был из Костромы.

– А, – ответил я, – с родины русских царей!

Он спросил меня, куда девать вещи, на что я беспечно ответил: «Хоть к черту!»

Дитя революции поняло это всерьез, и от моих вещей не осталось и следа. Ограбляли в госпиталях больных начисто, рассчитывая, что все равно они не выздоровеют.

Я лег. «Ну, – думал я, – скоро потеряю сознание», – и старался уловить этот момент. Взор мой блуждал по карнизу потолка. И я думал, что болезнь долго будет тянуться.

Кругом лежали больные, почти все без сознания. Все мне виделось как в тумане, и я был словно пьян. Но я рассуждал как врач. Я осмотрелся. По моему расчету, шел пятый или шестой день болезни, потому что сегодня уже появилась резкая сыпь по всему телу. Я с изумлением глядел на свои ладони, которые сплошь были усеяны мелкими кровавыми точками, и считал, сколько дней надо вычеркнуть из жизни, и определил, что день кризиса ждать еще дней восемь. По вечной своей привычке я все анализировал, рассуждал. Думал я и о смерти. При высокой температуре у меня всегда угасает инстинкт жизни. Мысль о смерти переживалась академически, не вызывая никакого страха, и на ней я долго не останавливался. К вечеру я впал в забытие. Появилась очень сильная невралгическая боль в надглазничной области, которая длилась много дней, и я все хотел, чтобы она скорее прошла. Я думал, что и там долж-

ны быть мелкие кровоизлияния, которые я видел, когда мне приходилось вскрывать трупы умерших от сыпного тифа. Мне самому казалось, что я еще хорошо рассуждаю, но мои друзья, навещавшие меня, говорили мне потом, что я бредил и говорил ерунду. Я повторял себе, что все на свете проходит, пройдет и это. Я анализировал свой бред, как делал это часто по отношению к своим сновидениям, и думал потом написать об этом статью, что и выполнил через несколько лет в эмиграции. Но почему-то я не находил в себе бреда, который был в первую мою болезнь. Сыпь у меня была исключительно сильная, и мне ужасно хотелось показать ее доктору, словно похвастаться ею: «Вот-де какой у меня тиф!»

С этого вечера я уже вошел в другую, потустороннюю жизнь. Тело мое лежало без реакции на внешние впечатления, и я ушел от революции. Теперь на сцене обычно тяжелых видений фигурировало тоже мое Я, только другое. Как будто бы не существовало не только что пережитого, но и моего мировоззрения, и словно кругом не творился ужас. У меня сохранились в памяти лишь обрывки из фильма окружающей жизни. У ног моих бредил генерал, и я узнавал в нем черты моего бреда первого периода тифа. Я упрекал его мысленно в агgravировании и даже симуляции, которые находил и у себя в результате самоанализа. Теперь этой симуляции первого периода у меня не было, и я со злорадством говорил про себя: «Ну, брат, меня этим не проведешь, знаю я эти стоны!» Сквозь туман я видел фигуру доктора Кузнецова, обходившего больных. Меня храбро навещал мой начальник генерал Розалион-Сошальский и сообщил мне, что он обо всем позаботился. Это внимание действительно было трогательно.

Потом весь мир перестал для меня существовать, и я зажил в панораме кошмаров и видений. Я странствовал где-то по бледно-фиолетовым проходам кораблей, ползал по небесным светилам между малахитово-зелеными камнями, и помню, как, очутившись на краю пропасти небесного пространства, вдруг увидел нависшую над ним бледно-золотистую громадную луну. Все это без слов. Потом видел бои и награждение меня крестом. Сцена сменилась собранием в поле профессоров и выбором

меня на кафедру, на которую я конкурировал, и, что было интересно, я совершенно реально в это уверовал. Затем я слышал какие-то невероятные, раздирающие душу звуки: это был трансформированный в психике сон моего соседа по койке. Какая-то чудовищная машина надвигалась на меня. Я давно потерял счет времени и жил только в сфере созерцания, без мысли и понимания. Но странно: революция не фигурировала в моих видениях, словно ее вовсе и не было. А мир, в котором жила моя психика и мое Я, был совсем иным, хотя и земным. Особенно была, как молотом, стереотипность: все одни и те же образы без конца. В кошмарах лезешь и не можешь вылезти...

Однажды из состояния небытия я вдруг проснулся. Я лежал совершенно голый на платформе грузовика, завернутый в одеяло с головой. Грузовик стоял. Я хитро отвернул край одеяла и осмотрелся. Так увозят ведь покойников, хотя тогда эта мысль мне в голову не пришла. Я увидел над собой небо, кусок серой стенки грузовика, а у подножья, склонившись надо мной, колыхались ветви обнаженного от листвы дерева. Меня куда-то везли. Стучал мотор. Мне только хотелось дышать, и я ни о чем не думал, я только видел картину. Тотчас же я потерял сознание. Меня перевозили в другую больницу. Опять обо мне позаботился мой генерал.

Только 27 февраля я открыл глаза. Перед этим я был разобщен с внешним миром. Теперь какая-то кнопка повернулась, и я сразу пришел в себя. Я ничего не помнил, что было в эти 16 дней. В тумане над моей головой обрисовался образ сестры милосердия Медведевой, которую я знал как героиню по работе в чека. Она пришла навестить меня. Она окликнула меня, и я отозвался, узнав ее. Сказал, кто она. Это был первый проблеск возвращения к действительному миру. С этого момента я вновь уловил нить времени и спросил, какой день: 16 дней небытия и... отдыха от революции. Быстро стал приходить в себя. И тут мой добрый гений генерал Розалион-Сошальский не забывал меня. Это он с моими ученицами-врачами озаботился перевести меня в городскую больницу. Так как у него были причитающиеся мне деньги, то он поручил поить

меня шампанским «Абрау-Дюрсо». И я помню первое вкусовое ощущение от стаканчика этого нектара, который мне дали с ложечки. Потом приблизилось нечто страшное: не чекисты, а сестра со шприцем. Как врач я делал тысячи впрыскиваний, но никогда их не делали мне, и я струсил, думая, что это будет больно. Руки мои лежали поверх одеяла, и, когда сестра нацелилась и воткнула в предплечье иглу шприца, я даже не почувствовал. Мне каждый час делали впрыскивание камфары. Я долго считался безнадежным. А затем пошла комедия. Очень мне понравилось шампанское, и я просил, чтобы мне дали еще, но мне сказали, что нельзя. На следующий день я проследил, что бутылку ставят мне под кровать, и я изошрился красть свое собственное шампанское. Улучив момент, когда никого из персонала не было в палате, я вытаскивал бутылку, наливал в стаканчик, стоявший на столике, и пил.

Первые три дня по возвращении сознания я был очень слаб. Но я переживал удивительное состояние: уже рассуждая, я как бы носился над стоявшими рядом кроватями и, стремясь воплотиться в тело, не знал, которое из трех лежащих на кроватях мое. Я стал ориентироваться, узнавая персонал и моих соседей. Оказалось, что обо мне позаботились мои ученицы по медицинскому институту и, отыскав меня, устроили при содействии генерала в лучшую больницу. Они и выходили меня. К сожалению, я забыл, кто были они.

Все были уверены, что я умру, но мой удивительно крепкий организм и на этот раз поборол болезнь.

Когда я пришел в себя, меня ждал новый сюрприз: сестра объявила мне: «Вас, Николай Васильевич, привезли сюда голого».

От моих вещей и одежды не осталось и следа. У меня не было даже рубашки. Красноармейцы-санитары обобрали меня до нитки.

На второй день моего пробуждения ко мне зашел доктор Д., один из моих спутников по скитаниям. На мой вопрос, как обстоят дела с большевиками, он ответил: «Да еще недели две продержимся».

Я только тогда понял трудность своего положения. В себя я пришел, но был слаб и совершенно беспомощен. Кто же мне поможет?

Штаб генерала Драгомирова уже уехал в Сербию. Комиссия тоже уехала. Было ясно: Новороссийск покидали. И если меня не вывезут, не стоило приходить в себя.

– О вас уже позаботились и уже записали на эвакуацию, – сказала мне сестра.

Я сильно встревожился, хорошо зная, как бросают больных, и думал, что мне не выбраться. Я едва двигался. Все тело было усеяно темными точками бывших кровоизлияний. В тифозном бреде я показывал их и говорил, что это сифилис. Меня мучила жажда, хотелось кислого и сладкого.

Я узнал, что генерал Розалион-Сошальский, собираясь уезжать, передал сестре свои часы и сто двадцать тысяч рублей денег, тогда уже почти ничего не стоивших.

Я с наслаждением пил сок от фруктовых консервов, которые мне покупали в городе. Тело приходило в порядок гораздо медленнее, чем психика. Душа моя рвалась из перспективы плена большевиков, и инстинкт самосохранения пробуждался в полной силе. Как было выбраться?

И тут по ночам меня охватывал ужас. Ведь у меня был страшный документ члена Комиссии по расследованию злодеяний большевизма.

В комнате со мной лежало одиннадцать очень тяжелых больных. Один больной тяжело кашлял, и я узнал в нем страшные звуки, мучившие меня в моих кошмарах. Мой сосед тоже поправлялся и рассказал мне, что все считали меня уже погибшим.

Пришли ко мне и мои спасительницы – женщины-врачи. Они были мои ученицы, еврейки. Они сказали, что мои вещи и документы находятся у генерала Розалион-Сошальского, который придет навестить меня. Говорили, что беспокоиться мне нет основания, что Екатеринодар еще держится. Когда же я сказал, что был членом следственной комиссии и потому не могу оставаться, то моя собеседница мне тихо сказала: «Об этом не надо говорить. Вам надо уходить».

Все обещали мне помочь, но выполнить это было нелегко. Я не спал по целым ночам и тревожился. Если срок определяют в две не-



дели, то надо рассчитывать на одну. Я много ел, но не мог сидеть в постели. Уныло тянулось время.

На улице ревел норд-ост и наводил уныние. С моего места через окно был виден какой-то странный конус, долго притягивавший мое внимание. Я не мог понять, что это значило. Это оказалась вершина цыганского шатра бродячего табора, стоявшего недалеко от больницы.

Однообразна была жизнь больничной палаты, и я думал, как важно врачу самому побывать в шкуре больного, чтобы знать его мелкие потребности. И я припоминал, как в первые дни моего пребывания в первом госпитале сестра над моим ухом сказала генералу Розалион-Сошальскому:

– Вот эти двое лежат, всеми брошенные.

Но меня друзья не бросили.

В палате была очень милая сестра. Она отправилась на эвакуационный пункт похлопотать о моей эвакуации, но ей там грубо отказали эвакуировать меня.

Пришел ко мне генерал Розалион-Сошальский, которому сказали, что я теперь в сознании и что со мной можно говорить. Он задержался в Новороссийске и почему-то не успел эвакуироваться со штабом. Мы уговорились ехать вместе. Он принес мне документ с отпускным билетом. 105 тысяч рублей показались мне несметным богатством.

Потянулись тяжелые дни выздоровления. Уныло завывал ветер за окнами, а слухи, один другого тревожнее, ползли к нам в палату. Мне сделали ванну. Я стал садиться и пробовать ходить, тренируя себя. Издали уже доносилась канонада. Одни говорили, что это учебная стрельба, а сиделка философски заметила: «Совсем как тогда, когда входили добровольцы...»

Однажды утром фельдшер объявил, что англичане высадили десант и что целый полк шотландцев прошел по городу. Потом сообщили, что сюда пришла Марковская дивизия и что город будут защищать. Никто ничего не понимал и тешил себя несбыточными надеждами. Так отражалась действительность в сыпнотифозной палате.

7 марта сестра сказала, что хлопочет, чтобы достать мне что-нибудь, во что бы я мог одеться. Тогда я решил выйти и с трудом, опираясь на палку, отдыхая через каждые десять шагов, отправился к доктору Лодыженскому, чтобы выпросить одежду у американского Красного Креста. С этого дня начались мои мытарства. Я выходил в город в халате, под которым было только нижнее больничное белье. Валенки мне дал сторож больницы. Доктор Лодыженский дал мне записку в склад американского Красного Креста, и я поехал туда на извозчике. Туда я вошел изможденным и оборванным, хуже нищего, изображая тень человека. Я оброс за время болезни длинной, уже седеющей бородой. Генерал Розалион-Сошальский, увидев меня в этом виде, назвал меня мельником из оперы «Русалка».

Раздававшая вещи дама, видевшая меня во время работы на пароходе «Саратов», ахнула, узнав меня, когда я назвал себя.

– Как? Неужели это вы, доктор?

Я ей чем-то помог раньше, и теперь она платила мне сторицею.

Меня одели, собрав какую-то ветошь. На складе был пожертвованный американцами хлам старых вещей. Но это все же было нечто, и я вернулся в палату в старом пальто, в поношенном пиджаке и старых заплатанных башмаках. Кто-то носил эти вещи в Америке? Наверное, не из миллиардеров!

Я стал усиленно тренироваться. Выходил на воздух и просиживал у домика больницы на скамеечке.

Был март. Но весна наступала туго. С высоты холма, на котором находилась больница, открывался вид на бухту, среди которой стоял броненосец «Король Индии». Было холодно. Норд-ост стих. Трава еще не зеленела. Часто издали слышалась канонада. Рассказывали, что с юга теснили «зеленые», которые взяли Геленджик. Катастрофа надвигалась все ближе. Генерал Розалион-Сошальский, мой добрый гений, выхлопотал мне полное английское обмундирование, и мы поехали получать его. Эти хлопоты были мукой. Повсюду все было обставлено тысячами ненужных формальностей. Надо было писать никому

не нужные и ложные бумаги. Во всех канцеляриях сидели цветники никому не нужных барышень. Ставили штемпеля без счета. Генерал вел меня под руку. Мы ходили по складам, просили, убеждали, и если что помогало, то только генерал-лейтенантские погоны, с которыми все-таки еще немного считались.

Мы хлопотали о выезде. Надо было получить заграничные паспорта. И мы их получили, но как! Целыми часами стояли в очереди, среди невероятной ругани. Я сам видел, как в одной такой очередной группе произошла форменная потасовка, и один офицер, размахнувшись, дал в морду другому. И ничего: никакой реакции. Честь в те времена была предрассудком от прошлого века. Пробуждался чисто животный эгоизм. Паспорта надо было визировать. Мытарства по консульствам и контрразведкам, везде с очередями и препирательствами. На моем паспорте было два штемпеля! И в последующих мытарствах никто никогда не спросил этой глупой, фиктивной, даже лживой бумажки, ибо в ней не значилось даже звания, а только имя, фамилия и года. По старым бюрократическим правилам старые паспорта Империи при этом отбирались служащими барышнями, чтобы их потом растоптали громившие канцелярии красноармейцы.

Зачем и кому нужна была эта нелепость? И надо признаться, что у большевиков эта процедура была умнее и проще. Кто-то выдумал эту чепуху, чтобы мучить и стеснять людей.

Это было тем непонятнее, что руководители Добровольческой армии ведь приняли путь революции с ее заветами и отреклись от старой России, а выдумали такую формалистику, которой никогда не бывало в старое время. Называли имена генералов Владимира Драгомирова, Вязмитинова, которые руководили делом. А ведь Вязмитинов был очень левым генералом, который в данном случае доводил пороки бюрократизма старого режима до глупости. Разве нельзя было простым приказом устранить эту чепуху, а армию барышень – упразднить! На эту бессмыслицу тратили деньги и время, а враг уже стоял у ворот. Вместо того чтобы впоследствии в эмиграции продолжать отстаивать завоевания ре-

волюции, много было бы умнее взять от революции то, что она провозгласила, но никогда не выполнила, и отбросить ненужную канцелярщину. Копировали у большевиков, устраивая бесконечные регистрации.

Сцены, которые происходили в этой толкотне, были отвратительны. И здесь играла роль протекция: без помощи генерала я бы ровно ничего не добился. Я изнемогал от слабости.

Новороссийск был набит отступающими войсками и беженцами. Прибыли обозы и запрудили все дворы и улицы. Тысячи лошадей стояли по дворам. Приехавшие с фронта и официальные сведения сообщали, что армия неудержимо отступает и что Екатеринодар пал. Грозные приказы на большевистский лад говорили о порядке эвакуации, последним сроком которой было назначено еще 1 марта.

Англичане обещали вывести восемь пароходов с больными и ранеными, из которых шесть уже ушло. Теперь грузился уже седьмой, и надежда оставалась на последний. Если никто не поможет – пропадешь. Американский пароход отходил в Крым, и, пропустив его, мы рисковали. Но я был полутрупом, и ехать в Крым было бессмысленно: надо было оправиться, как и генералу. Наше положение было безнадежно. Мы сунулись на эвакуационный пункт. Это был буквально сумасшедший дом, как и все другие учреждения Добровольческой армии в Новороссийске. Трудно было и думать от него чего-нибудь добиться.

Вместо того чтобы реформировать Императорскую Россию на непредрешенский лад, не лучше ли было будущим непредрешенским генералам изменить эти дурацкие порядки и попробовать здесь свои реформаторские таланты?

Пользуюсь случаем исправить несправедливую оценку одного деятеля, вкрадываясь в мою книгу «Без будущего». На основании общего мнения, которое тогда царило в Новороссийске, ответственность за хаотическую, во многих случаях неправильную деятельность новороссийского эвакуационного пункта была отнесена к его начальнику доктору В. Э. Белллину. Это врач и деятель в высокой степени достойный, выполнявший свой долг до последних пределов возможности, и не его

вина в том, что столь важное учреждение, как эвакуационный пункт, было в хаотическом состоянии.

На вопрос «Кто виноват?» не так легко ответить, да моя книга и не есть судебное производство. Но если я допустил неправильное суждение о деятельности определенного лица, я должен его и исправить.

Я был дружен и работал с его отцом, доктором Эмилием Федоровичем Беллиным, бывшим тогда приват-доцентом Харьковского университета и судебным врачом. Это был выдающийся ученый и деятель, и неудивительно, что и его сын полностью усвоил традиции, передававшиеся Великой Россией из поколения в поколение. Доктор В. Э. Беллин самоотверженно служил делу Добровольческой армии, и не его вина в том, что все его усилия по работе и исполнению долга оказались бесплодными.

Дальнейшая деятельность доктора В. Э. Беллина в эмиграции по-прежнему служила русскому делу, и блестящие результаты ее засвидетельствованы руководимым им журналом и работой Каирской врачебной поликлиники. Возникшая между нами дружеская переписка в течение последних лет убедила меня в том, что этот достойный деятель остался верным традициям Великой России и продолжает быть ее честным слугой. Поэтому, свидетельствуя полное наше бессилие достичь плодотворных результатов в нашей прошлой деятельности на пользу Добровольческой армии, я обращаюсь с приветом к моему товарищу-спутнику по крестному пути и выражаю ему знак моего к нему глубокого уважения и почитания его заслуг в попытках служить делу спасения России.

По плану английской эвакуации, каждый человек перед посадкой на корабль должен был взять ванну, вымыться, продезинфицировать вещи. Была установлена масса формальностей и здесь. Карточки и регистрации. Я был записан на эвакуацию по больнице, но она должна была остаться только на бумаге.

Пошел я к приват-доценту доктору Бораковскому, который должен был ехать старшим врачом парохода. Но он просто соврал, что не назначен туда. Поднялось чисто животное стремление каждого заботить-

ся только о себе. Вот она где, самая настоящая революция. Это вам не разговорчики с трибун.

Я шел, шатаюсь, по улице, а генерал поддерживал меня. Вдруг перед моим затуманенным взором обрисовалась фигура, которая мне показалась знакомой. Какое-то воспоминание смутно пронеслось в моем сознании.

Человек посмотрел на меня и окликнул. Я остановился. Это был мой товарищ по университету, доктор Кузнецов, лечивший меня в первом госпитале, в котором я лежал. Я сообщил ему о нашем положении, что мы никак не можем эвакуироваться, хотя имеем на это все права.

– Да это очень легко, – сказал он. – Завтра приходите ко мне в Белый Крест в 10 часов утра, и я все устрою.

Мы не верили своим ушам. Бывают же случаи. Не будь этой встречи – не выбраться бы нам из Новороссийска. Настроение поднялось. Из госпиталя я перебрался на квартиру к генералу, и мы с тревогой стали ожидать парохода «Владимир». Он пришел 11 марта, а 12-го должна была произойти посадка, которую надо было не прозевать.

Томительно было ожидание. Деникин со своим штабом был уже здесь. Армию предполагалось перебросить в Крым. Все улицы были запружены людьми. Доктор Кузнецов дал нам эвакуационные карточки. Около 12 часов дня пришел с разведки генерал и сказал: «Едем!» Он привел подводу, и мы нагрузили вещи, которых у генерала было достаточно. Тронулись, я отдал свою винтовку и револьвер хозяину квартиры, так как оружие брать с собой на пароход не разрешалось. Да и воевать уже было не с кем.

Попад на пароход, я только мечтал несколько дней лежать, не вставая.

Мы медленно двигались по улице к гавани, куда стремился невообразимый поток людей. Это было трудное движение. Местами образовывались пробки, но генерал умело ориентировался. Добрались в конце концов до пристани. Рядом с «Владимиром» стоял громадный английский пароход «Ганновер», на который грузилась какая-то индусская темнокожая часть. Если грузились они, следовательно, оставление Новороссийска есть факт.

Пропуска у нас были. Мы подъехали тогда, когда посадка еще не начиналась, и генералу удалось занести вещи на палубу. Оказалось, что по какому-то праву или, вернее, бесправию врач эвакуационного пункта должен был лично подписать эвакуационные карточки. Это было право жизни и смерти. Он резко заметил мне, прошедшему бои Гражданской войны, бывшему корпусному врачу, и генералу, командовавшему целой областью:

– Вы, господа, не подлежите эвакуации.

Но все же подписал. Какое еще право нужно было иметь людям, выполнившим свой долг, теперь больным и небоеспособным? Получили места в трюме и тот же доктор Бораковский, который нас обманывал накануне, был назначен врачом транспорта.

Весь день и всю ночь грузился пароход.

В гавани в этот день и ночь творилось что-то невообразимое. По счастью, мы еще как-то удачно проскочили. Позже взобраться на пароход было невозможно. Кругом стоял стон и гвалт. Все рвались на пароход. За городом слышалась канонада. «Владимир» отходил за границу. Остальные пароходы должны были перевозить войска в Крым.

На «Владимире» команда была русская, но распоряжались эвакуацией англичане. Ночь на самом пароходе прошла сносно. Я в полном изнеможении лег на койку. Этот трюм № 1 еще имел сплошные леса корабельных коек с матрасами. Рядом со мной поместился генерал Розалион-Сошальский. Я плохо помню, что происходило ночью, так как впал в забытие. В трюм непрерывной волной прибывали люди. Рядом со мной, вплотную на соседней койке, оказался молодой человек Астров, сын известного кадета-разрушителя, теперь работающего около Деникина.

Рядом с ним лежал раненый с повреждением спинного мозга, отправлявший свои потребности под себя.

Из недр кошмарных грез и разобщения с действительным миром я вернулся к жизни совсем другим человеком: слабым, раздражительным, ворчуном, всем недовольным и все ненавидящим. Я волновался и трусил, уже не был способен ни на какой героический поступок и

скоро осознал, что не смогу по-прежнему служить своему врачебному долгу. Тщетно душа старалась победить немощное тело: оно не слушалось. По ночам в периоде выздоровления, когда кругом в палате было тихо, я сознавал надвигающуюся новую гибель, и это чувство полной неспособности к самозащите угнетало, время тянулось в эти ночи нестерпимо медленно.

Наряду с истощением болезнью теперь со всей силой выступала травма, которая была нанесена моей душе перед добровольческим движением. Уже заболевая, я сквозь туман слышал все разговоры о положении, и лицо движения и его вождей начало передо мной раскрываться. Я начал прозревать от своих иллюзий. Тяжело было переварить свое разочарование и уразуметь, что все жертвы были принесены чуждой мне идеологии и поклонению чужим богам.

Вспомнилась фраза встреченного в Новороссийске знакомого: «На г... дело приехали! За кого сражаться?»

Как раз в это время Деникин клонился влево и к демократическим началам, которые мне были так чужды. И я в буквальном смысле слова почувствовал себя в этой борьбе лишним.

Вихрь событий уже нес нас всех совершенно пассивно. Конечно, пробудился и инстинкт жизни, но не было ее радостных перспектив, не было и радости бытия. Инстинктивно и подсознательно хотелось выбраться из этого ужаса, и уже не было той отваги и самопожертвования, которое раньше формулировалось в моей душе словами: «Ну что же – погибать так погибать!», и помогало делать свое дело.

Теперь ни к какому делу я не был способен, был полутрупом, в созерцании которого вместо сыпнотифозных грез рисовались кошмары действительной жизни корабельных трюмов и падение души человеческой. Почти в двухмесячном пребывании на корабле я умудрился перенести еще приступ возвратного тифа и в довершение заразился от больного мальчика коклюшем. И в то время, когда расслабленное тело боролось со смертью, душа мрачно созерцала крушение русской психики, все ненавидела и проклинала.



Теперь, перед полным крушением, критиковали и поносили всех. Генерала Май-Маевского обвиняли в пьянстве и кутежах. Мамонтова и Шкуро – в грабежах.

«Победителей не судят, побежденных топчут». Во всех этих суждениях была только доля правды. Но грабеж есть на всякой войне. Старые боги были сожжены, новые не созданы.

Наутро, в шесть часов, я вышел на палубу, пароход снимался с якоря и отчаливал. Картина покидаемого города была грандиозна.

Все, что видел глаз, было набито людьми, рвавшимися на пароходы, отчаливавшие один за другим. Над городом уже рвались неприятельские шрапнели. Значительная часть войск не успела погрузиться и отступала походным порядком на юг вдоль моря по побережью. Волна войск и беженцев, отходивших от самого Царицына, ударилась в море, и многие рассеивались небольшими группами. Люди гибли без счету. Вот это и есть настоящая картина революции.

Жребий теперь выносил одних на путь спасения, других губил. Армия была перевезена в Крым, бросив свое снаряжение, десятки тысяч лошадей, обозы, орудия. До Новороссийска дошла лишь часть армии. По рассказам, казаки уходили через степь почти целыми селениями, а их вожди самостийничали. Многие остались здесь, в Новороссийске. Только танки спустили в море.

Здесь, как и всюду, выступали местные большевики, стреляя в тыл уходящим. Особенно отличались рабочие цементного завода. Евреев здесь было мало, и потому выступление местных большевиков не было столь сильно, как в других местах. Говорили, что кавалерийский отряд генерала Барбовича двинулся по побережью на юг.

\* \* \*

Только теперь обрисовалась гибель Добровольческой армии в ее полном масштабе. Все, кто мог, уходил под охраной ее штыков. Но огромному большинству уйти не удалось.

На пути от Новороссийска до нас долетали дурные вести. Посадка войск происходила под огнем при самой трагической обстановке. Новороссийск пал в день нашего отъезда.

Когда, отчалив, мы проходили мимо маяка, мы получили приказ от англичан идти на Ялту. Это огорошило всех, как удар по голове. Все надежды уехать за границу для больных разлетелись. Вместо заграницы – Ялта. Заграница казалась обетованным раем измученным людям. В Крыму же нас ждала гибель, ибо никто уже не сомневался, что Крым постигнет та же участь.

Утро было тихое и ясное. Люди молча смотрели на отдалявшуюся бухту, и палуба была битком набита людьми. Трудно было прочесть на лицах то, что переживали люди. Многие из них, несомненно, навсегда или очень надолго покидали родину. И только когда очутились в открытом море, задумались.

Я спустился в трюм и лег, совершенно изнемогающий и от физической слабости, и от морального чувства полной безнадежности.

Благодаря доктору Кузнецову мы с генералом Розалион-Сошальским могли теперь выехать. Во время вторичной эвакуации при Врангеле я узнал, что доктор Кузнецов погиб в Крыму от сыпного тифа. Так сплетались нити жизни. Нельзя знать, кто кого переживет.

Мне приходилось переживать много тяжелого, и я выработал себе хорошую привычку: при всяком затруднительном положении я всегда предполагал худшее и никогда не тешил себя надеждой. Если удавалось выскочить, я считал это подарком судьбы. Вести борьбу активно и вооруженным – это одно. По крайней мере, убеждаешься, что в револьвере есть пуля и для себя. А во времена большевиков после того, как приходили, чтобы вести меня на расстрел, я всегда носил при себе баночку с цианистым калием, и это успокаивало. Думаю, что это было лишь психологическим приемом, и не знаю, мог ли я исполнить это решение. Теперь же я был пассивным поплавком, который нес и которым крутил поток событий, для которых личная моя воля не имела никакого значения.

Когда садились на пароход, у всех было одно желание: спастись. Когда заговорили о том, будут ли нас на пароходе кормить, махали руками и говорили: «А не все ли равно!». Теперь же оказалось, что не все равно. Захотелось есть. Пошла опять критика, недовольство и ропот, Англичане снабдили пароход продуктами, напоили чаем и дали немного консервов.

Как только разместились в трюме, сейчас же стала проявляться психология этой исстрадавшейся, неустойчивой массы людей, только чудом спасшихся от гибели. Все сознавали, что в этот самый момент тысячи таких же людей, как мы, погибают в покинутом городе. Но воображение тускло рисовало картину происходящей там резни.

Публика трюма начала устраиваться и погрузилась в мелочные заботы обыденной жизни. Здесь была пестрая смесь людей: мужчины, женщины, военные, беженцы, солдаты, генералы. Еще не успели оглядеться, уже начались ссоры, и пробуждался ничем не сдерживаемый эгоизм. Люди были больны душевно.

Мой сосед, молодой Астров, говорил, что был контужен в ногу, и он до поры до времени прихрамывал, но, когда в Константинополе на пароход за ним приехал дядюшка, контузия сразу испарилась, и он вприпрыжку побежал высаживаться. Сражаться эти господа не любили. Много было мнимо больных. Но нельзя и винить этих господ: уж очень много они пережили. Пройдя через строй испытаний, люди, казалось, теперь должны бы были предаться радости спасения. Но они уже роптали и жаловались. Были напряженно-нервны.

14 марта мы подошли к Ялте. Теперь пошли волнения ожиданий. То говорили, что сейчас высадят и что пароход пойдет забирать войска, идущие на город Сочи. То вдруг распространялся слух, что будут высаживать то легких, то тяжелых больных. И по мановению жезла тяжелые больные превращались в легких и наоборот. Пристали к молу, и высадилось около 300 человек. Говорили, что Ялта принять нас не может. Когда же стали подвозить продукты, надежда оживилась.

Эти дни я лежал, почти не двигаясь. В трюме был голод: требовали еды. Был беспорядок и сутолока. Многие успели побывать в городе и кое-что купить. Мое имущество увеличилось складным ножом, который мне купили за 300 рублей.

Мы с генералом решили держаться вместе и не высадились в первую очередь.

В трюме заводилась керенщина. Требовали выбора коменданта. Устроили митинг. Говорили глупейшие речи. Выбрали комендантом моего старого знакомого по Вильно генерала Алянчикова. С этим генералом я встречался много раз в жизни. Он был таким же противником революции, как и я. Теперь мы оба ехали искалеченными, я тифом, он – оспой. Он надеялся высадиться в Константинополе, где была его семья.

Началась наша жизнь в бедламе корабельного трюма, описанная в моей книге «Без будущего». Это был тяжелый кошмар наяву. Вся низость человеческой души, ее мелочность и грязь проявлялись во всей наготе. Но надо иметь в виду, что психика моя после болезни переменялась. Я иначе воспринимал фильм окружающей действительности. Исчезла доброта, и я стал ненавидеть и злиться, даже ворчать. И перестал любить людей.

Когда мы двинулись на Константинополь, я вдруг почувствовал, что после трехлетнего гнета впервые нахожусь в положении, когда никто сейчас тебя не зарежет, не ограбит и не засадит в чека. Но... скоро эту радость бытия забыли. Все помыслы стали животными, в психике господствовало стремление не есть, а *жрать*. Итак, я попал к англичанам. Но я еще не знал, какая это так называемая цивилизованная нация.

\* \* \*

Мы подходили к Босфору. Дивные картины разворачивались перед нами. Но больная душа полна была еще тревогой и не воспринимала этой красоты. Вероятно, этот мировой город произвел бы иное впечатление, если бы я ехал здоровым человеком на здоровом корабле.

Была весна. Солнце светило ярко, тепло и заливало голубым светом дивный город. Здесь была другая, нами давно позабытая жизнь. Здесь был порядок.

Союзная эскадра стояла в проливе и красовалась своими гигантами-дредноутами.

Мы встали на якорь. Пошли волнения. Корабль окружили кардаши-торговцы, которые еще брали наши тысячерублевки за пять драхм.

Простояли около недели в Константинополе. Двинулись на Салоники. Дарданеллы, Мраморное море. Голые берега Галлиполи. Все было ново и на здоровую душу, вероятно, действовало бы сильно. Но эти картины врывались в психику только эпизодически. Господствовали кошмары трюма. В проливах мы еще видели следы европейской войны: остовы разбитых кораблей, целые груды развалин деревень.

В Салониках мы стали у пристани. Здесь впервые определилось наше положение военнопленных у англичан. Мы стояли в Салониках как раз на Пасху.

На рейде стоял трехмачтовый парусный корабль, как говорили, со снарядами. В одну из ночей на нем возник пожар. Его отвели в море и там затопили. Нас и здесь преследовали пожары.

Долго грузили на пароход дрова, наше будущее мучение на Лемносе. То были корни и пни твердой породы дерева, которые расколоть было свыше сил человеческих.

С берега нас приветствовала матерная ругань. То русские, бывшие военнопленные солдаты, поносили добровольцев. Они уже были заражены большевизмом и грозили нам, что и здесь с нами скоро расправятся. Невеселая была эта стоянка.

Когда мы снялись с якоря, мы прошли мимо Олимпа. Я глядел на это гнездо богов и изумлялся: где его мифическая красота? Гора была обыкновенная, и помрачение богов было полное. «Обыкновенно» было у меня на душе, теперь пустой, озлобленной и измученной.

Наутро мы прибыли на Лемнос.

\* \* \*

Картины жизни на Лемносе и сценки корабельной берложной жизни первой новороссийской эвакуации описаны мною в моей книге «Без будущего», где описано также начало разложения русской эмиграции, а потому повторять их в этой книге я не буду.

\* \* \*

Читатель этой книги, принимая во внимание непримиримое и отрицательное отношение автора к революции, взятой в ее целом, не находящего в ней ни одной положительной черты, может составить себе представление, будто бы автор является абсолютным ретроградом, сторонником старого режима, оправдывающим все его пороки и недостатки. Это было бы совершенно неправильным суждением. Под старым порядком я разумею исторический уклад русской жизни, мировоззрение, обычаи и традиции русского народа, мощную державу под скипетром русских царей и императоров, тот изумительный государственный порядок, который царил в России до 1905 года. И неудержимый ход Императорской России по пути прогресса. Под старым порядком я разумею ту личную свободу и права, которыми пользовался русский человек в дореволюционной России, а также и превосходные законы Российской державы, которые регулировали жизнь.

После первой революции 1905 года Россия уже была больна, и мы видим неудержимое стремление ее к гибели. Не подлежит никакому сомнению, что в старом порядке, как во всех режимах мира, были и недостатки, и пороки, но они главным образом касались личных качеств и деятельности сановного и чиновнического аппарата, который после 1905 года с введением парламентского строя стал быстро вырождаться. Новые формации чиновников всех рангов, не знавших, кому подчиняться, кого слушаться – самодержавной императорской власти или демократи-

ческого собрания, именуемого Государственной думой, – быстро стали разлагать государственный аппарат и довели Россию до революции.

После 1905 года мы видим со стороны подлаживающихся к новому порядку сановников и чиновников всех рангов беззаконие, произвол, политические интриги и партийность.

Я вовсе не чужд исповедования многих прекрасных идей, легших в основание революции. Но эти идеи были громко возвещены, а никогда не были проведены в жизнь. Революционная действительность развивалась как раз обратно им. Я был и остаюсь противником парламентаризма. Я признаю полностью необходимость устранения сословных привилегий, поскольку они нарушают права человека, но демократическая идеология очень быстро вырождается в порочную и сводится на борьбу партий и политические интриги, где личная жадность и выгода попирают все принципы настоящего демократизма.

Я как психолог отрицательно отношусь ко всем видам коллегий, которые в изуродованном виде выдвигает на сцену революция и которыми прикрываются почти все преступления революции. Я признаю, что в определенной мере государственный социализм необходим, и ограничение свободы, прав и интересов отдельной личности в пользу государства совершенно неизбежно. Но тот социализм, который залил весь мир кровью и опутал его классовой завистью и ненавистью, который сковал окончательно личную свободу человека и превратил его в раба, я отвергаю. Достаточно взглянуть поближе в социалистические деяния всех типов, чтобы увидеть, что они идут вразрез с провозглашенными принципами и служат делу личной наживы и преуспеяния.

Каким образом провозглашение земного рая воплощается в земной ад, представляет собой главную загадку революции. Ведь нет сомнения в том, что мечтатели и идеалисты революции действительно являются людьми кристально чистыми и честными и проникнуты добрыми пожеланиями. Почему же часть из них превращается потом в мошенников и паразитов революции, а другая часть продолжает оставаться слепыми

фанатиками, нашептывая девиз революции «Лес рубят – щепки летят» и закрывая глаза на все ужасы революции?

Все это можно было бы понять и оправдать, если бы действительно революция, особенно социальная, опрокидывая старый режим, создавала бы лучший новый. Факты показывают обратное: революция не улучшает строй жизни, а ухудшает его. Все пороки старого порядка удесятерятся, а люди, сменяющие свергнутых предшественников, являются людьми порочными и преступными, а главное – тупыми и невеждами. Разрушая старую жизнь, революция не создает новой. Но революция еще и калечит людей старого режима, сквозь революцию проносящих только пороки старого. Вот почему ни эмиграция, ни уцелевшие и искалеченные деятели старого режима, отрекшиеся под влиянием бреда революции от того, чему поклонялись, не способны к восстановлению старого порядка в его положительных чертах.

Когда говорится о возвращении к старому – это значит возвращение к историческим традициям и формам, к порядку и законности, а не к порокам и не к преступлениям старого.

## **ГЛАВА XIX**

### **Жестокости и зверства Гражданской войны**

Фильм русской революции был бы искажен, если бы нем вычеркнуть те картины и сцены, которые воплощают в себе весь ужас этой социально-исторической драмы. В главе о чрезвычайках изложены зверства большевиков как система их страшного режима. В этой главе я изложу другого типа зверства, присущие гражданской войне уже не как система, а как ее необходимое и неизбежное явление. В этих зверствах не было инициативы и планомерности, как, например, в муравьевском побоище в виде осуществления криминальных диспозиций Троцкого или в чека, как метода мести старому режиму. В гражданской войне зверство и необычайная жестокость прорываются из недр



больной души как взрыв автоматических и импульсивных действий человеческой натуры, в условиях цивилизованной жизни обуздываемых дисциплиной и законностью.

Надо отличать беспощадность от совершенно бессмысленной и бесполезной жестокости. Уничтожение врага бывает иногда необходимостью в борьбе. Мучение, пытки, издевательства – это проявление социальной ненависти и чувства мести. Таких картин на фильме памяти Гражданской войны у каждого его участника неограниченное множество. Я приведу здесь только те примеры, которые я или лично видел, или слышал о них от лиц, мне хорошо известных, которым я абсолютно доверяю.

Что людей убивают в бою или после того, как враги захвачены на месте действия, – вполне естественно. Вопрос в том, *как* их убивают. В регулярной войне есть традиция: лежачего не бьют. В варварских войнах раненых добивают.

Но именно гражданская война инстинктивно возвращается к приемам древних войн, которые наблюдались и в русской Гражданской войне. Эти приемы применялись обеими сторонами, хотя и не в одинаковой степени: добровольцы все же были и мягче, и справедливее. Эти приемы – заложники, которых не знали рыцарские войны. Затем дань, налагаемая не только на неприятеля, но иногда и на не принимавшее в боях участия нейтральное население. Я не говорю уже об обмане и предательстве. Далее идет вандализм в виде уничтожения целых сел, разрушения городов и всех видов погромов. Пожарища – это неизбежный спутник всякой войны.

Обычным приемом красных было замучивание раненых и пленных, причем изобретательность в этих деяниях доходила до виртуозности. Излюбленным методом было вырезание заживо погон на плечах, выкалывание глаз и прочие увечья. В екатеринодарском госпитале были люди, заживо поджаренные на железных сковородах в виде железных дверок, нагревавшихся на кострах.

История этих случаев передавалась так: добровольцы захватили большевиков, занимавшихся этим делом, и, расправившись с ними, воз-

дали им по талионскому закону: «Око за око, зуб за зуб». Невероятную сцену узнал я от очевидца, офицера, заслуживающего доверия.

Добровольцы захватили как-то на месте преступления небольшой большевистский отряд, калечивший раненых добровольцев. Их обезоружили, а затем, разделив на две равные группы, выстроили в две шеренги одну лицом к другой. Затем дали первой шеренге кинжалы и предложили сохранить им жизнь, если они вырежут у своих визави заживо по куску печени и съедят их. Те будто бы, превратившись в зверей, набросились на своих товарищей, выполнили их приказ и съели их печенки, а затем и сами были застрелены. Эта картина невероятна, но показывает, до какого озверения может прийти человек.

Пытки в контрразведках Добровольческой армии на полях сражений применялись широко и... помогали! Под пыткой выдавали все сведения.

В мамонтовском отряде захватили однажды фанатичную еврейку-большевичку, которая с необычайной смелостью поносила добровольцев и над ними издевалась. Ее отвели в штаб. Она оставалась тверда как камень, и на нее не действовала даже угроза пыткой. Ее раздели и начали пороть. Не действовало и это. Тогда допрашивавший доброволец позвал унтер-офицера из калмыков и приказал привести сифилитиков и отдать им на употребление красивую еврейку. Она взмолилась и стала выдавать своих. Но и этого оказалось мало, и решение осталось в силе.

Какой-то офицер из жалости застрелил ее, но этого офицера за нарушение приказа начальника сейчас же расстреляли.

В Екатеринославе ворвались как-то к добровольцам махновцы. Они застали в комнате за столом группу добровольцев. Окружили их, обезоружили. Затем велели положить правые руки на стол и кинжалами поприкололи эти руки к столу. Потом всех перестреляли.

В отличие от жестокости обычных толп здесь реже проявлялся садизм в виде отрывания половых органов или кастрирования. Любопытно, что еще Французская революция отменила официально пытки типа средневековой инквизиции, но сейчас же ввела пытки более утонченного типа. Эти пытки мы и видели в чека. На полях сражений Граж-

данской войны эти пытки и расправы были более бурными и дикими, но и кратковременными.

Мучение пленных применялось красными. Белые расправлялись только на месте под влиянием возмущения деяниями красных, так что, вообще говоря, эти расправы носили характер мести.

Сознаюсь, что, когда я видел кровавые картины расправ красных и изувеченные трупы, во мне порой закипала такая злоба, что в фантазии возникали картины той расправы, которую я применил к этим зверям, если бы застал их на месте преступления. И должен со скорбью признаться, что эти фантастические сцены расправ в моих мечтах были ничуть не мягче тех, о которых мне рассказывали очевидцы. Такова уже природа человека, и бывают моменты, когда она прорывается наружу. Я ведь видел сотни изувеченных и искалеченных трупов и по этим графикам умел читать звероподобный облик души человеческой. Должен, однако, признать, что человек в этих случаях превосходит зверя. Только кошка, забавляющаяся муками пойманной мыши, наслаждается ими, по-видимому, без всякого смысла. В гражданской же войне противники ненавидят друг друга и от беспощадности легко переходят к зверству, разряжая накипь своей большой души.

Возвращаясь к древности и к Средневековью, видим, что печальный опыт Гражданской войны, чека и контрразведки учит, что пытками можно заставить человека выдать решительно все, что им не могут противостоять герои, а потому, закрыв двери и удалив свидетелей, люди применяют эти методы к себе подобным и добиваются выдачи любых тайн. Нужно ли говорить, что пытаемых затем постигает их судьба, от которой не спасают никакие признания. Просто есть пытки, которых человек перенести не может.

Мечь и выдача тайн помощью пыток – вот два мотива, определяющие зверства Гражданской войны.

Во времена добровольческих операций почти легендарной мстительницей сделалась баронесса Б. Большевики убили всех ее близких, и эта молодая женщина, поступив добровольцем, принимала участие

во всех боях и славилась своей жестокой расправой. Она безжалостно расстреливала захваченных пленных и не знала пощады по отношению к красноармейцам. Ее убили под Екатеринодаром. Несколько таких мстителей за близких в рядах добровольцев видел и я. Однако они все ограничивались простым уничтожением красных, а не занимались их истязанием.

Самым кровавым человеком во всей русской революции я признаю Троцкого, как еврея-мстителя. Все кровавые ужасы первого периода революции, как самое возбуждение Гражданской войны, следовало бы отнести на его счет. Часто слышалось на протяжении революции недоумение: как не нашлось ни одного человека, который бы ему отомстил? Это действительно было характерным явлением революции. Шарлоты Кордэ все же на ленте революции являются исключительными натурами. Тогда как перед революцией добровольных убийц было неисчерпаемое множество, и русская революция сотнями убивала сановников Империи, на всем протяжении революции прежнего типа политических убийств вовсе не было. Троцкий – самый кровавый преступник, каких знал мир, – спокойно доживает свои дни, ускользнув даже от расправы Сталина, от которой погибли все его сотрудники и единомышленники.

Террор революции есть явление планомерное, применяемое ее вождями. Зверства – это автоматическое и импульсивное проявление подсознательной психики охваченного безумием человечества. Зверства существуют, пока длится анархия, и потому во всякой гражданской войне они являются неизбежным социально-психологическим симптомом.

\* \* \*

**Примечание.** Некоторые из событий, изложенных в главах об одесском пребывании и о Днестровской трагедии, могут иметь и историческую ценность. Поэтому привожу выдержки из письма ко мне заслуженного генерала Императорской армии, бывшего главноначальствующего Одесской областью в период добровольцев Н. Н. Шил-

линг. В подтверждение тому, что изложено в записках моего брата о Днестровской трагедии, генерал пишет:

«Румыния дала обещание, что отходящие войска и беженцы будут пропущены через Днестр в Румынию, *о чем меня поставил в известность начальник английской миссии.* Уже будучи в эмиграции, я в Константинополе встретил этого английского полковника, и он возмущался поступком румын. Во всяком случае, Днестровская трагедия на ленте мировой истории представляет собой исключительное преступление, смыть которое народу, его совершившему, не так легко. Только благодаря заступничеству румынской королевы, узнавшей о деяниях своего правительства, спаслось несколько сот больных и раненых, тогда как тысячи безоружных русских людей были застрелены и потоплены в днестровских плавнях – без всякого смысла и без какой-либо цели».

Об изложенной мною картине убийства начальника одесской контрразведки Кирпичникова генерал Шиллинг мне пишет: «О Кирпичникове было много разговоров, а потому я в один из вечеров послал автомобиль с адъютантом на квартиру к помощнику Кирпичникова, если не ошибаюсь, бывшему товарищу прокурора судебной палаты Буслову, с просьбой приехать ко мне по секретному делу. Я откровенно задал ему вопрос: “Верны ли слухи относительно Кирпичникова?” Буслов ответил: “Открытых данных у меня нет, но нос мой, как старого судебного деятеля, слышит нехороший запах”. Я долго с ним беседовал, в течение часа. После беседы с Бусловым я дал согласие на ликвидацию Кирпичникова».

Также и относительно драмы с расстрелом полковника Каменского, с которым мне много пришлось работать, генерал Шиллинг сомневается в его виновности. Он пишет мне: «Полковник Сульженков говорил мне в Константинополе, что виновность Каменского относительно присвоения денег не была точно установлена и что он был расстрелян неправильно. Когда по делу Каменского ко мне прибежала его жена с просьбой о помиловании мужа, я немедленно вызвал к себе полковника Стесселя, но когда он пришел, то я узнал, что полковник Каменский уже расстрелян. Так это и осталось тайной, справедливо ли было это дело...»

Благородный генерал хотел спасти невинно осужденного, но сомнительные элементы добровольческой трагедии поспешили «вывести в расход» неугодного им человека из своих же рядов.

Все это чрезвычайно характерно для борьбы того времени.

## ГЛАВА XX

### Врангелиада. Севастополь осенью 1920 года

Трудно поддаются пониманию современника события революции, и нелегко в них разобраться. Сам человек незаметно для себя меняется и прогрессивно опускается. Справится ли история с правильной оценкой этой страшной катастрофы, сомневаюсь. Прекрасное, великое и мудрое – образ и поведение Императора Николая II – причудливо сплетается с отвратительным, низким и пустым – поведением его предателей. Порывами в душе людей то проносится вера и надежда, мечты и радость, то охватывают уныние, страх и отчаяние безнадежности.

Тот, кто покинул Севастополь в феврале, во время развала армии Деникина, едва ли узнал бы его 1 октября 1920 года, когда я вернулся туда с Лемноса, оправившись от сыпного тифа, после шестимесячного пребывания в английском концентрационном лагере на положении плененного военнопленного.

Город имел вид обыкновенного крупного тылового центра действующей армии. Масса военных фланировала по улицам в своеобразном обмундировании: нерусские шинели английского образца и происхождения. Публика слегка распушена и лишена привычной глазу в старину военной выправки. Их, как всегда, слишком много в тылу. Они слишком веселы и беззаботны для переживаемого момента. И все же это уже не опустившиеся лемносцы и не «товарищи бандиты» времен Керенского. На улицах не убивают, и по ночам не слышно бессмысленной ружейной пальбы.

Много говорили об образцовом порядке на фронте. Жизнь хотя и наладилась, но носила на себе черты пережитой и надвигающейся катастрофы. Она подчинялась авторитету Врангеля, о котором восторженно говорили всюду. Было бы бесполезно описывать обыденную жизнь переполненного города: это значило бы повторять те картины полуберложной жизни, которые уже описаны на протяжении всей моей книги. Она мало улучшилась и при Врангеле. Мы, группа, приехавшая с Лемноса, разместились в казарме. Кормили нас на эвакуационном пункте. Стол был солдатский: вкусный борщ, каша из яшной крупы, так называемая «шрапнель». После лемносской голодовки у англичан было сытно. Каждый дорожил куском черного хлеба. Цены заставляли только пожимать плечами. Пестрели все нули: сотни тысяч, миллионы... Кругом, потеряв понимание действительности, говорили: «Надо печатать больше бумажек». Прокормление интересовало людей больше, чем дела на фронте.

Время в своих логовищах проводили по-свински: ничего не делали, валялись на подстилках, заменявших постели, на полу. Все было загажено. И часто во мраке полуосвещенных берлог резались в винт. Если за столом водилась водка, все пили и, одурманенные спасительным ядом, легче переносили такую жизнь. Рука Врангеля все-таки повелевала, и его перевозносили. Но об окружении его говорили скверно. Около него оказался злой гений России, гном ее гибели, Струве. Осуждали Кривошеина. Это был чиновник-ренегат старого режима, приклеившийся к революции. Чиновник столыпинской формации «новых людей», он пользовался престижем чиновника царских времен. Очень отрицательно говорили о начальнике санитарной части при Врангеле, враче Лукашевиче. Имя одного Врангеля было на устах у всех. Одного его не критиковали. С упрощением жизни исчезла ее прежняя красота. Все опрощалось и «демократизировалось». Все стриглось социалистически под одну и ту же гребенку.

Еще на Лемносе я часто сверял наблюдаемую мною жизнь с пророчеством Ефрема Сирина, которое я еще в 1917 году переписал себе из книги Нилуса с Сионскими протоколами.

На заголовке книги Нилуса, напечатанной в 1907 году, стояло «О том, что так близко и чему никто не верит». И это было настоящим пророчеством. Теперь все это уже пережито, и действительность точно воплотила пророчество Ефрема Сирина. Впрочем, надо сказать, что всякая революция, сопровождавшаяся гибелью государства, протекала бы так же, и потому возможно, что картина, рисуемая пророком, есть результат исторического обобщения. Во всяком случае, она очень близка к действительности.

«Пришла в смятение страна... Вложена в сердца человеческие боязнь и малодушие... Повсюду совершаются всякого рода ужасы... В те времена особенно для верных... с великою властью совершаемы будут знамения и чудеса... Будет летать по воздуху, безмерно устрашая всех людей... Сын Бога скоро увидит сию неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую душу, потому что совершенно ниоткуда нет у ней ни на земле, ни на море никакого утешения, ни покоя... каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, другие, истаявши, как воск, от жажды, и нет милующего... все живущие на востоке земли от великого страха бегут на запад, а также живущие на западе солнца бегут на восток... не будет покоя на земле. Будет же великая скорбь, смятение, замешательство, смерти и глады во всех концах. Такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе печать зверя... начнет он с чрева, чтобы человек, когда будет приведен в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать... Придет всескверный... смиренный, кроткий, ненавистник неправды, как сам будет говорить о себе... добрый, нищелюбивый, в высокой степени наружностью прекрасный, постоянный, ко всем ласковый... станет обольщать весь мир, пока не воцарится... И скоро утвердится царство его, и в гневе поразит трех царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь... смятет вселенную, подвигнет концы ее, всех притеснит и станет осквернять души, не благоговение в себе уже показывая, но при всяком случае поступая, как человек суровый, жестокий, гневливый, стремительный, беспорядочный, страшный, отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бес-



стыдный, который старается весь род человеческий свергнуть в пучину бедствия... и скажет: “Все народы, познайте мою силу и власть!”... Но все это обманом и мечтательностью, а не действительно... Тогда сильно восплачет и вздохнет всякая душа. Тогда все увидят, что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод. Ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется. Тогда младенцы будут умирать на ложе матери. Умрет и мать над своим детищем, умрет также и отец с женою и детьми среди торжища, и некому похоронить и положить их в гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, везде зловоние, сильно поражающее живых. С болезнью и воздыханием скажет всякий поутру: “Когда наступит вечер, чтобы иметь нам отдых?” Когда настанет вечер, с самыми горькими слезами будут говорить сами в себе: “Скоро ли рассвет, чтобы избежать нам постигшей скорби?” Но некуда бежать или скрыться, потому что все будет в смятении – и море, и суша. Глад, землетрясение, смущение на море, страхования на суше. Множество золота и серебра никому не принесут никакой пользы во время скорби, но все люди будут называть блаженными умерших, преданных погребению прежде, нежели нашла на землю эта великая скорбь. Но все поспешат бежать и скрыться, и нигде уже не укрыться от скорби... напротив того, при голоде, скорби и страхе будут угрызать плотоядные звери и пресмыкающиеся гады. Страх изнутри, извне трепет. День и ночь трупы на улицах. Смерд на стогах, зловоние в домах: голод и жажда на стогах, глас рыдания в домах. С рыданием встречаются все друг с другом, отец с сыном, мать с дочерью. Друзья на улицах, обнимаясь с друзьями, кончают жизнь. Увядает красота лица у всякой плоти, и вид у людей, как у мертвецов... Пошлет Господь Илию и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие, дерзновенно проповедовали всем благоведение, научили не верить из страха мучителю.

Никто да не верит нисколько, никто да не повинуется богоборцу, никто из вас да не приходит в страх, так что богоборец сей скоро будет

приведен к бездействию... Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить сей проповеди пророков... Многие с великой поспешностью побегут в пустыни и со страхом будут укрываться в горах и пещерах. А кто имеет ум на дела житейские и любит земное, тому не будет сие ясно, хотя и услышит, но верить не будет... По исполнении же трех с половиною лет власти и действия нечистого... и придет наконец Господь, подобно молнии... придет Святой, Пречистый, Страшный Бог наш с несравненною славой. Отверзнутся гробы, и в мгновение ока пробудятся все колена земные. Мучитель со всеми демонами связанные будут приведены перед судилище... все же, не принявшие печати антихриста, и все, скрывающиеся в пещерах, возвеселятся...»

Когда я записал эти пророчества в Киеве в 1917 году, мне не могла прийти в голову мысль о том, что они так полно и точно исполняются. Я тогда пожимал плечами и думал: «А откуда же возьмутся гады и пресмыкающиеся?» Но когда на Лемносе меня укусила сколопендра и в палатках убивали ядовитых змей, эти слова пророчества полностью реализовались.

В 1917 году странствования с запада на восток и с востока на запад еще не предвиделись, не было ни смятения на море, ни скрывания по пустыням и в пещерах. В моем психофильме революции можно найти все эти картины до мельчайших подробностей позже осуществившимися.

Мой школьный товарищ, у которого я жил тогда на квартире, рассказывал мне, как одна старуха из предместья Харькова в восьмидесятых годах, когда мы были гимназистами, пророчествовала, что настанет война с желтокожими и Россия будет побеждена, что потом настанет война мировая и за нею катастрофа – погибнет Царская Россия и настанет великое бедствие, и брат пойдет на брата на Украине.

«Ну, – говорили мы в 1917 году, – этого еще нет. Украина цела». Теперь все это уже пережито. А пятиконечная звезда – разве это не клеймо «мучителя»?

Теперь уже все видели и все пережили, и Дантов ад представляется жалкой пародией на пережитое. Еще во время войны часто удивлялись:

как все это может вынести человек? Однако революция показала, что он может вынести и больше.

В борьбе с врагом Белая армия сама заразилась пороками революции и теперь, расслабленная, стояла на краю гибели.

\* \* \*

Вернувшись в Севастополь 1 октября, я явился в военно-санитарное управление, начальником которого тогда был Ильин. Оно произвело на меня грустное впечатление. Много формализма и никакого дела. Всем распоряжался умный врач – еврей Штернгольд. Все интересы служащих сосредоточивались на получении «мануфактуры, обуви, съестного, обмундирования». Меня зачислили в резерв и откомандировали в постоянную врачебную комиссию по освидетельствованию военных и по определению категорий, освобождающих от службы. Работа была гнусная: до 90 процентов было уклоняющихся и симулянтов.

Когда 1 октября 1920 года я приехал в Севастополь, все еще были бодро настроены и верили в успех Врангеля. Говорили о поразительных преобразованиях, которые за короткое время успел сделать Врангель в армии. Сознавали, что тыл дезорганизован. Врангель будто бы прекратил грабежи мирного населения. Но в начале октября уже обозначился перелом на фронте. С поляками большевики заключили мир, и теперь они могли всеми силами обрушиться на Врангеля. Перевес большевиков уже чувствовался. Говорили о планомерной эвакуации Мелитополя, но были уверены, что на зиму закопаются в Крыму за неприступным Перекопом.

Поэтому меня очень удивило сообщение моего брата, служившего в санитарном управлении, о том, что Врангелем будто бы получено сообщение, что Антанта в случае эвакуации армии предоставляет ему отход на Константинополь. В Крыму еще были французы, и все хорошо понимали, что рано или поздно они предадут Врангеля, как предали Колчака. Об этом открыто говорили.

События пошли скорее, чем думали. В Севастополе довольно спокойно следили за развитием боев. Напирала конница Буденного, и силы красных росли. А еще недавно ходили слухи о том, что эта конница на польском фронте разбита и предлагала свои услуги Врангелю с тем, чтобы ее командиром был назначен генерал Шкуро. Бог знает откуда рождались такие легенды. Болтали еще, что 80 тысяч красноармейцев хотели сдать Врангелю, но что их условия будто были отвергнуты.

Действительность развернулась иначе, и никто в Севастополе так впоследствии и не узнал истины, как произошла катастрофа с армией Врангеля. Больше недели царили победные слухи.

Но верный барометр фронта – базар – говорил иное: цены неудержимо росли. Сало за фунт с шести возросло до тридцати тысяч рублей. Железнодорожники состояли в несомненной связи с большевиками, а они говорили, что большевики скоро будут в Крыму. После 20 октября узнали, что армия с большими потерями отошла к Перекопу и там остановилась. Затем пошли совсем несуразные слухи, которые не стоит и передавать. В Севастополе не допускали даже и мысли об оставлении Крыма. Все учреждения работали как обыкновенно: не наблюдалось ни нервности, ни паники.

Я думал иначе. Еще уезжая с Лемноса, я понял, что после польского мира песня Крыма спета. Я думал, что через две недели мы будем сброшены в море.

В это время я жил вместе с моим братом, с которым опять встретился в Севастополе, в комнате вблизи базара. После голодовки у англичан мы отъедались соленой комсой и грушами.

С братом жил военнопленный красноармеец Соболев, которого брат привез с Кубани, где находился в составе десанта. Соболев был на положении вестового, но держал себя фамильярно. Прикидываясь простачком, он подслушивал наши беседы. А когда мы возвращались домой со службы, оказывалось, что он заглядывал в наши мешки. Молоко из консервных банок оказалось выпито, табак брата выкурен.

В это время страшно ругали Кривошеина, обвиняли его в спекуляции и говорили, что через него Врангель попал в руки евреев.

Мы не следили за днями и числами: не все ли равно?

В один из этих дней, придя в санитарное управление, я узнал от помощника военно-санитарного инспектора, что «на фронте что-то случилось». Но мы так и не узнали, в чем дело. Уже чувствовалось, что Перекоп потерян. В это время я был назначен председателем противогазной комиссии, так как опасались, что красные применяют на Перекопе ядовитые газы. Я получил приказание отправить немедленно на Перекоп все маски, какие удастся собрать.

Особенно хвалили Дроздовскую дивизию и порицали кубанцев.

– Все дело в том, что кубанцы нам изменили, – услышал я фразу на улице. И странно, что говорили об этом спокойно, без страха, а ведь это означало конец всему, ибо о какой-либо эвакуации в это время не было и разговора.

Если кто-нибудь произносил слово «эвакуация», то с улыбкой безнадежности пожимали плечами и говорили:

– Куда?

Любили утешать себя фразой: «Прорыв ликвидирован».

К нам приехал с фронта врач, передавшийся от красных. Он говорил, что там царит развал, но что их много. Возвратившаяся из Польши конница Буденного будто бы настроена противобольшевистски. Она будто бы, переходя на Крымский фронт, громила на Украине жидов, заливая Украину морем крови. Агитация там шла вовсю. Призывали красноармейцев сбросить Врангеля в море, говоря, что он – последняя опора контрреволюции и что, покончив с ним, покончат с войной. Борьба Белой армии была героическая, и о громадных потерях красных говорили все.

За два дня до катастрофы появился лаконичский приказ Врангеля: «Ввиду тяжелого положения на фронте предписываю генералу Слащеву-Крымскому немедленно отправиться на фронт и вступить в командование войсками».

Ждать от большевиков пощады было нечего.

Однажды в разговоре один из врачей сказал: «Придется капитулировать!»

Приезжавшие из Симферополя говорили, что там настроение спокойное.

28 октября учреждения еще работали. По делам противогазов я был в порту. Там еще виднелись остатки несметных богатств Императорской России. Части кораблей, много стволов отличных двенадцатидюймовых орудий валялось на берегу. В доке стоял корабль. На берегу я видел орудие, вытащенное из воды. Оно сплошь было обросшим толстым слоем ракушек.

Я нашел запас в 40 тысяч противогазов и отправился с радостным извещением в санитарное управление. Но там я застал составление списков на случай эвакуации. Переписывали чинов с членами их семейств и количество грузов. Меня это удивило. Эвакуироваться – куда и на чем? Люди волновались и суетились. И только 29 октября утром стало ясно, что эвакуация начинает осуществляться. Около одиннадцати часов утра я узнал, что на пароход «Ялта» грузят раненых и что некоторые из врачей получили приказ их сопровождать.

Процесс эвакуации развивался так быстро, что у публики не успела развиться паника. Еще рано утром мы узнали, что ночью срочно были мобилизованы офицеры для загрузки угля на пароход «Инкерман», так как грузчики забастовали. Но этому факту тогда не придали значения. Невидимая рука в глубокой тайне подготовила номер, который должен был удивить весь мир, если бы он интересовался русским делом.

Не успела еще публика подумать о том, что с нею будет, как для каждого учреждения был назначен пароход и час посадки. На улицах царило оживление, но порядок был полный. Не было времени понять и разобраться в происходящем. Я уже пережил эвакуации Одессы и Новороссийска – там картины были дикие. Обезумевшая толпа рвалась на пароходы, ломая трапы и сталкивая друг друга. Здесь было иное: был порядок и чувствовалась власть.

У ворот государственной стражи грузились повозки, и в них валяли хлеб. А если уходит государственная стража, значит, город покидается.

Надо было получить пропуска на пароход. Но это оказалось не так легко. Мы с братом отправились в управление Красного Креста, и тут пришлось пережить немало волнений. Те, кто раздавали пропуска, отдавали предпочтение «своим». Мы с братом были «не свои», ибо работали в частях самостоятельно. И только благодаря вмешательству сенатора Иваницкого нам удалось получить пропуска. У дверей сенатора мы столкнулись с женой убитого большевиками бывшего министра внутренних дел Маклакова, с которой был хорошо знаком мой брат, и тогда нам выдали пропуска как «своим».

Я невольно вспомнил, как образцово происходила эвакуация у большевиков. Там никто не был забыт. Всех вывезли по праву, а не протекции и связям...

Чины санитарного ведомства пошли еще дальше: заведующий инспекторским отделом Вишневский во всеуслышание заявил, что кто завтра не явится на службу, будет предан суду, а завтра сам первым оказался на пароходе.

О, старый, старый режим, неизлечимый пороками прошлого!.. Сам себя губивший и упорный в пороках прошлого!

Этот вечер был мрачный. Полная темнота царила на улицах. В полуосвещенной комнате сидели фигуры людей, имевших вид заговорщиков с нечистой совестью. Судьба метала жребий. Кто попадет на пароход? А остальные будут перебиты большевиками. Сумрачно молчали. Поглядывали по сторонам... Кто кого перехитрит? Какие сосед нажмет пружины, чтобы получить пропуск? Душа людей в этой берлоге в эту ночь была больной. Тогда еще не знали, что эвакуация задумана и будет проведена хорошо. Надо было внимательно следить за ходом событий, чтобы не прозевать момента посадки.

Картина эвакуации была в достаточной мере омерзительна, и старый режим здесь, становясь рядом с большевистским, позорно проваливался.

Мы с братом имели пропуски. Но этот пропуск был от Красного Креста, а служили мы в военно-санитарном управлении. Чины управления уже получили пропуски, а мы были в боевых частях и только временно прикомандированы, а потому нам обещали дать пропуски завтра. А завтра, как и оказалось в действительности, и управления уже не будет. Мы знали, что ночью все они очутятся на пароходе.

Я и мой брат были людьми долга. Мы могли спастись с пропусками Красного Креста. Но ведь приказа об эвакуации мы не получили. А кто мог думать о моей газовой комиссии? Мы не имели формального права садиться на пароход: с этим оба были согласны. Но, с другой стороны, являлось донкихотством оставаться на несомненную и бесполезную гибель. И все-таки мы решили остаться до утра. Что думал мой брат в тайниках души, не знаю. Но мы оба решили: должны. Было нелегко решиться на этот вызов судьбе и, имея в кармане патент на спасение, рисковать. Мы пошли домой, чтобы лечь спать, а завтра рано утром наведаться на пароход «Ялта». Говорили, что пароход отойдет в шесть часов утра. Был восьмой час вечера, когда мы подошли к нашему дому. Я не питал ни малейшей надежды на спасение. Мы поужинали, рассортировали вещи. Все насущное, необходимое, научные работы и записки о революции я напихал в мешок, который мог носить с собой. Остальные вещи опять пришлось бросить на произвол судьбы.

Улегшись, мы спокойно заснули и ушли от мира действительного в область сновидений, и мне не снилась никакая эвакуация. Спалось, как редко спится. Я проснулся после пяти часов утра и разбудил других. От инженера, жившего в другой комнате, мы узнали, что ночью он получил приказ грузиться к восьми часам утра на пароход «Рион». Это значило, что эвакуация уже шла вовсю. Мы решили идти с вещами на «Ялту» и там выяснить, эвакуируется ли военно-санитарное управление. Надо было торопиться. Мы вышли в 6 часов утра, когда было еще совершенно темно, и сомневались, застанем ли еще пароход на пристани. Мы пошли втроем с присоединившимся к нам доктором Любарским, бывшим дивизионным врачом. Все было тихо кругом. Севасто-



поль спал. Не слышались подозрительные звуки. А когда подходили к воротам угольной пристани, как-то нам жутко было спросить, ушел ли пароход. На мой вопрос какая-то фигура махнула рукой вперед, ответив: «Там». На душе отлегло – значит, успеем.

Мрак ночи был полный, и только подойдя вплотную, мы увидели остов корабля без огней. Мы поднялись по трапу. На набережной не было ни души. На палубе мы узнали, что комендант военно-санитарного управления уже здесь, и брат получил от него пропуск. Если бы мы не зашли теперь на пароход, нас бы покинули. Зато теперь мы ехали легально.

Весь пароход и палуба были сплошь набиты людьми. Давка была невероятная. Но что значило все это по сравнению с перспективой попасть в руки большевиков? Мы сложили свои вещи на палубе, где их были сложены груды. Никто не спросил у нас никаких пропусков. На пароход пускали всякого, кто приходил. Глупая формалистика и вчерашняя горячка были ни к чему. Людей теперь к пароходу подходило мало. Большинство людей на палубе спало. Нам говорили, что пароход отойдет в 9 часов утра. Уходя из дому, мы взяли с собой вестового Соболева и теперь послали его за оставшимися вещами. Он не вернулся, очевидно решив опять перейти к большевикам.

«Ялта» была госпитальным судном, и на меня сейчас же было возложено срочное дело. Меня назначили врачом трюма, и я спустился туда по вертикальной лестнице пожарного типа для размещения больных и раненых. Врачей было много, но желающих работать не оказалось. Не до того было. Спуск по вертикальной лестнице являлся своего рода гимнастическим спортом. Мне сначала казалось, что я не смогу спуститься. Потом подумал: другие лезут – полезу и я.

За работой дело шло быстро. Но вместо медицинской работы требовали составления никому не нужных списков больных. Требовалось писать чин, категории и прочее.

На пароходе царил тишина. В городе с парохода не замечалось пробуждения. Постепенно рассветало. Вокзал безмолвствовал, при-

стань была безлюдна. Но когда около 8 часов утра, покончив работу в трюме, я поднялся на палубу, стало видно, как на все стоявшие кругом пароходы грузились десятки тысяч людей. Мы стояли в южной бухте, загороженные разводным мостом. В девятом часу утра мы тронулись к северной бухте, где должны были стать. Во всю ширь перед нами открывалась грандиозная картина. Наш пароход проходил мимо ряда кораблей, грузившихся полным ходом.

День был ясный, тихий, осенний. Вереницами тянулись по берегу люди и повозки к пристани, но шли они в полном порядке. Оба берега были усеяны ожидающими посадки людскими массами. На палубы всех кораблей поднимались тюки и вещи. По трапам ползли людские ленты, и даже на огромный пароход-мастерские «Кронштадт», о котором давно думали, что он годен только для мастерских, грузились люди. Когда мы проходили разводной мост, там, как обычно, стояла толпа ожидающих, и вид их был такой, словно они шли по своим обычным делам. И даже в этот момент никто не думал, что сегодня мы если не навсегда, то надолго покинем Россию. Самое большое, думали многие, уйдем на рейд.

Передавали, что на фронте еще спокойно, что, возможно, еще все вернемся назад. Это только показывало, как мало знали о настоящем положении вещей.

Всякие бывали грезы...

Дальше весь берег был усеян людьми. Наблюдалась невиданная картина: уходила целая армия! Куда?

Никто этого не знал. Говорили, что судьба наша совершенно неизвестна. Нас будто бы никто не примет. Наученные горьким опытом, в союзников не верили и их презирали. Иногда даже говорили, что предстоит новый десант и что дело идет о перемене фронта. Шутили, что идем завоевывать малоазиатский берег или высаживаться в Одессу.

Эвакуация была подготовлена изумительно. Суда были нагружены углем и готовы к отходу. Когда мы сидели уже на пароходе, получили последний приказ Врангеля.

*ПРИКАЗ*

*Правителя Юга России и Главнокомандующего Русской армией,  
Севастополь, 29 октября/11 ноября 1920 года  
№ 3754*

Русские люди!

Оставшаяся одна в борьбе с насильниками Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок Русской земли, где существует право и правда. В сознании лежащей на мне ответственности я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех тех, кто разделял с армией ее крестный путь: семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и тех отдельных лиц, которым могла бы грозить гибель в случае прихода врага. Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах, согласно установленному расписанию.

Для выполнения долга перед армией и населением все, что в пределах сил человеческих, сделано. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Открыто, как всегда, предупреждаю всех, что их ожидает. Да ниспошлет Господь Бог всем силы и разум пережить и одолеть русское лихолетье.

*Генерал Врангель*

Трудно описать силу впечатления, произведенного этим благородным приказом. Даже те люди, которые отвыкли вдумываться в то, что происходит кругом, испытали словно удар грома над своей головой. Притихли, помолчали и на миг ушли в себя. Уходят люди, не пожелавшие примириться с крайним и логическим проявлением революции в лице большевизма. Уходят на кораблях в море на полную неизвестность, искать приюта в чужих краях, настроенных против них враждебно.

Люди, покинутые союзниками, которых они когда-то спасли на Мазурских озерах, направляются теперь на их попечение. Для многих это гибель. Скитание без будущего и без надежд.

Что с ними будет? Впереди – открытый горизонт моря. Что за ним, покажет будущее тем, кто доживет.

Вспоминается расстрел русской отступающей армии румынами.

– Что же, и это может быть. Не пустят к себе, вернут к большевикам.

Так и случилось впоследствии с казаками на Лемносе.

Вспоминали германцев: «Это не англичане – они не предали бы!»

– Не пустят в Константинополь.

– Пойдем завоевывать себе землю, – шутили сквозь слезы.

Безнадежность оттеняла торжественность момента.

Когда мы проходили мимо Графской пристани, картина была одурачивающая. Солнце ярко и мягко освещало обреченный город. В красивых контурах и песчано-желтых тонах обрисовывались склоны гор. По ним плавным потоком двигались людские массы по направлению к судам. Весь берег был усеян людьми. Созерцался великий исход Русской армии и уводимых ею беженцев. Враг не надвигался, он сдерживался героическими неравными боями армии.

Мы вошли в северо-западную бухту и встали на якорь. Здесь картина была та же. Суда стояли у берегов и грузились. По зеркальной поверхности бухты сновали ялики с запоздалыми пассажирами, загруженные вещами. Сидевшие уже на кораблях волками смотрели на вновь прибывающих. Без всяких полномочий свыше распоряжался комендант парохода или уполномоченный Земсоюза. Ставили на трапах часовых и «не пускали» новых пассажиров. Пароход, правда, был набит битком. Но два десятка лишних не меняли дела. И тут, как змея отживающего режима, вилась протекция. Именем сенатора Иваницкого пускали тех, кто на него ссылался. Кто дал право этому человеку казнить и миловать отдельных людей?

Были и иные картины. У пристани морского госпиталя столпились больные и раненые и требовали, чтобы лодочник перевез их. Тот спе-

кулировал и не хотел везти. Тогда один из офицеров вынул револьвер и выстрелил в воздух. Лодочник повиновался.

И в эту трагическую минуту люди не забывали о своих вещах. Везли десятки тюков и чемоданов.

Казалось, что погрузка будет длиться весь день. Около четырех часов дня на корабле засуетились. Приехал офицер от командующего флотом и разнес капитана:

– Зачем вышли из южной бухты без разрешения? Вернуться немедленно назад и забрать еще раненых!

– Есть!

Рассуждать не полагается. Пошли назад к месту утренней стоянки. Еще более был усеян берег людьми, и все поглощало чрево пароходов. Погрузка шла в образцовом порядке. Говорили, что в городе царил порядок. Развели мост, и мы прошли к месту утренней стоянки. Энергично грузился «Кронштадт». Эта махина вбирала в себя поток людей и грузов. Рядом с нами у берега стояли остовы бывших старых броненосцев. Стоявшие здесь еще вчера подводные лодки ушли. Пристань была совершенно пуста. Там остались кучи угля и валялись разбросанные мешки с серой.

Мы стали ждать. Глупая и беспечная публика совершенно не отдавала себе отчета в положении. Теперь они рвались на берег, будучи уверенными, что мы простоим долго. Им объясняли, что уходить в город не следует. Они настаивали и чуть не скандалили. Им говорили, что можем отойти каждую минуту. Но мне не верили и назойливо приставали повторяя:

– Э! Пустяки. Простоим еще до завтра! – И поуходили.

На пароходе было объявлено, что кто хочет оставаться в городе, может сойти с парохода. Несколько большевиков из бывших красноармейцев сошли.

Быстро темнело. У парохода бродили люди. С палубы им давали поручения: «На 300 тысяч табаку и на 200 тысяч груш!»

Человек в белой папахе вызвался исполнить поручение.

Время шло. Уже в полной темноте поодиночке стали прибывать раненые – пешком. Из города вернулись разведчики съестного с печальной вестью: уже ничего нельзя достать.

Смеялись тому – не правда ли, было забавно? – что уже громят и грабят интендантство. Звонким эхом этому сообщению вторили первые ружейные выстрелы.

– Ну, началось! – В тоне, каким произносилось это слово, слышалось хорошее знакомство с революцией. – Из нор своих вылезают грабители.

Прекрасная картина сразу подернулась зловещим колоритом. В душу закрался страх. Все напряженно ждут.

И началось!

Сначала одиночно щелкали выстрелы. Потом короткая обрывистая дробь пулемета, в стороне вокзала – совсем близко.

Больные подходили вяло. В тишине послышался голос: «Уже зажгли!»

Ночная тьма мягко осветилась отраженным заревом, и постепенно, не спеша, стал разгораться пожар. Совсем близко от корабля зажгли склад американского Красного Креста – высокое пятиэтажное здание бывшей когда-то мельницы, в котором помещался склад перевязочного материала. Бандиты-товарищи грабили. Горело быстро, и зарево пожара скоро осветило весь город.

На душе у всех стало тревожно. Возможно все. Скоро откроется стрельба и по пароходу. Стояли мирно и ждали. Здание горело, как карточный домик. Там был бензин и вата. Летела огненная пыль, и положение корабля становилось невеселым.

По сходням взошел какой-то уполномоченный. Он вернулся из города и таинственно сообщил:

– Положение таково... – И, не кончив фразы, пошел к капитану.

Шушукались, и фигуры выражали тревогу.

Неизвестно откуда поползли слухи о том, что близко около пожара есть склад снарядов. Политика большевиков была известна. В такие

моменты они всегда зажигали пожар вблизи снарядов. Тянуло скорее тронуться и уйти от беды.

Не смели, однако, громко говорить об этом. И как нарочно, только теперь стали усиленно подходить больные, и трап работал вовсю. Я стоял на верхней площадке трапа и принимал их. Несмотря на полный порядок, казалось, что этой ленте поднимающихся людей нет конца. На второй сотне я сбился со счета. Из города возвращались люди, ушедшие вопреки предупреждению.

Собирались к отходу. Нас торопили, и трудно было порой удержать спокойствие. Нервничали. Сзывали караул. Пламя разгоралось все сильнее. Под звуки короткой трескотни и одиночных выстрелов картина напоминала батальную. Освещенные заревом фигуры все подходили к пароходу. Временами на трапе волновались, громко кричали и беспокоились.

В это время на палубе засуетились три женщины. Как им говорили, так и случилось. У одной из них, пожилой женщины, ушла в город дочь. У другой ушел отец. Увидев, что мы собираемся к отходу, они заволновались и метались по палубе, спрашивая: «Что делать?»

Крыша горящего здания обрушилась. Из окон пышными языками вздымалось пламя к безветренному небу. Было жутко и красиво. Нельзя было оторвать глаз от грозной картины.

Чем больше чувствовалась необходимость отхода, тем больше подходило больных. Это волновало тех, кто уже сидел на пароходе.

Сверху кричали: «Поднимайте трап!»

Снизу вторили: «Подождите, не всех взяли!»

И снова торопили поднимающихся по трапу. Навстречу поднимающимся спустился матрос с веслом, чтобы опустить канаты.

Ежесекундно росла опасность со стороны пожара: головни летели по направлению парохода. Все волновались: «Скорее!»

У меня было спокойно на душе, и я любовался величественной картиной и напряжением души человеческой.

Черный остов корабля, не освещенный электричеством, стал отделяться от пристани. Черный борт его отливал бронзой. Вдруг воздух огласился диким воплем: как острый нож прорезал душу крик женщины. Старуха выла:

– А-а а!.. Моя дочь!..

Женщина металась по палубе, хватаясь за голову. Она ничего не слышала и не понимала. Ее дочь не послушалась и ушла в город.

Все понимали, что остановить пароход невозможно, и ждать дочь старухи, рискуя всем, нельзя. Ее отчаяние было страшно. Дочь оставалась на насилии большевикам.

Бушевало пламя, безумному вою матери вторили выстрелы. Тихо двигался остов корабля, а сверху, с высоты безоблачного глубокого неба, спокойно сверкали невозмутимые звезды. Тих был воздух, не шелохнулась зеркальная поверхность вод бухты.

И вдруг заглушенным эхо с берега послышался такой же безумный вопль:

– Ма-ама!..

Всех ударил ужас сцены.

Наверху спокойно прозвучал голос капитана.

– Там на берегу шлюпка с корабля!

И все подхватили:

– Там шлюпка!

– С берега слышалось морское:

– Есть.

Плавно купаясь в отражении огня, шлюпка подошла к берегу, где ломала руки дочь. Другие две женщины, близкие которых остались на берегу, металась в отчаянии. Долго убеждал я их, что оставшихся примет другой корабль.

Все успокоилось.

Незаметно ускоряя ход, мы отдалялись от берега. Все замерло. И в жуткой тишине с палубы сначала мягко и торжественно, потом мощно, широкой волной послышался стройный хор:



«Отче наш...»

Отчаявшись, погибающие люди вспомнили Отца Небесного. Величественно пели древнюю молитву. Душа человека, закореневшая в несчастье, звучала божественным напевом и в молитве слилась с Творцом Вселенной.

Горсть покинутых людей вручала жизнь неведомой и властной силе там, где мощь человека оказалась бессильной. В этой молитве смирилась душа человека. Но вместе с божественным песнопением порвалась последняя нить, связывавшая отныне бездомных скитальцев с родной землей.

Мы уходили в море без надежд и без будущего.

Было светло, как днем. Волшебный отблеск огня на зеркальной поверхности вод проявлял все детали картины.

С миноносца, мимо которого мы проходили, в рупор окликнули:

– Кто идет?

– «Ялта».

– Возьмите на буксир миноносец «Капитан Сакен» и следуйте в Константинополь.

У выхода на рейд мы поравнялись с французским броненосцем «Вальдек Руссо» и с миноносцем. Суда эти в свете своих огней и в зареве пожара сияли чистотой и порядком. Горевший огнями рейд медленно отдалялся. Мы постояли некоторое время, пока прикрепляли к борту миноносец, и в девять часов тронулись в путь, чтобы многим уже никогда не вернуться на Родину.

Когда все части уже грузились на пароходы, Врангель появлялся всюду, как и большевистские комиссары в Киеве во время их отхода. Он приезжал к погрузке войск, и его всюду приветствовали. Когда же все было кончено, он с адъютантом и с французскими офицерами отправился в город. Предварительно он сделал парад войскам, вынес к ним старые русские знамена, сказал речь и отправил их на броненосец «Корнилов». Сам же пошел в город и появился на базаре. Его обступила толпа, бабы его крестили и звали: «Не оставляйте нас».

Врангель отчалил последним.

Кто-то сказал:

– Исход великого вождя и великого народа.

Циник возразил:

– Положим, что этот народ теперь г...о, а все-таки красиво!

## ГЛАВА XXI

### От Севастополя до Константинополя

Я спустился в свой трюм и крепко заснул, скрючившись на мешке. Плавание совершалось при исключительно благоприятных условиях. Море было спокойно, и нас не качало. В первый день мы были в море одни. На горизонте не было видно кораблей. Но к вечеру, когда мы находились на уровне Одессы, люди скрыто переживали тревогу. Опасались большевистских миноносцев, хотя никто не знал, существуют ли они. Ночью обрисовался встречный пароход, освещенный огнями.

Недоговаривали люди, чего боялись. Оба корабля нерешительно и боязливо сближались. Это был пароход «Константин». Он сообщил: «По распоряжению английских властей иду на Севастополь за пассажирами. Можно еще пройти?» Ответили, что можно.

На третий день мы подходили к Босфору. В это утро нас обогнало несколько русских кораблей: уходили, следовательно, не мы одни, а целая эскадра. В городе ходили слухи, что генерал Слащев прислал с фронта телеграмму: «Передайте тыловой сволочи, что дела на фронте поправились, пусть разбирают свои чемоданы».

Море нас миловало, но мелочи жизни уже давали себя знать. Я стоял у борта и жевал корку хлеба, которую держал в руке. Рядом со мной стоял «товарищ» в серой шинели из пленных красноармейцев, теперь отходивший с нами. Он жадно смотрел на хлеб, хотя все мы были на одном и том же пайке. Я услышал заглушенный голос, с мольбою говоривший:

– Миленькие! Дайте мне!

Вместо сострадания я почувствовал омерзение. Я порывисто отдал ему хлеб, но резко спросил:

– Разве вы не получили? Ведь теперь мы все получаем один и тот же паек?

Он не ответил. Он знал, что офицер отдаст ему свой хлеб. А когда они на фронте мучили и убивали офицеров – те отдавали им жизнь.

Революция!

Утром можно было осмотреться. Море волновалось умеренно, вид корабля был необычен. Во всяких одеяниях и позах люди ютились между груд тюков и ящиков. Прохлада ночи, проведенной на палубе, давала себя чувствовать. Кутались и жались. Остальная масса людей была набита в трюмах. Мой трюм был самый многочисленный, вместивший около 900 человек. Это был громадный трехэтажный колодезь с вертикальной пожарной лестницей для спуска. Верхние два яруса железного колодца были густо застроены деревянными клетками с койками. В этом лабиринте, уже днем окутанном мраком, ночью были непроходимые дебри, в которых пробираться к больным было мукой. На этих трехъярусных кроватях по двое на одной постели и в проходах между койками сплошь лежали люди, как думали вначале, больные и раненые. Каждый хотел получить только кусочек места. Сзади ведь была смерть. Ночью трюм не освещался. В непроглядной тьме этого колоссального логовища кое-где мрачно мерцали огоньки самодельных ночников или пламя кем-нибудь случайно вывезенной свечи. Когда я явился в трюм, где носил звонкий титул старшего врача, все места были уже заняты, и хотя моя работа была бешеная, а остальные были только пассажирами, по-демократическому режиму места мне не полагалось. Нужно ли говорить, что никакого вознаграждения врач теперь не получал. Мы втроем с братом и доктором Л. обосновались на маленькой площадке-балкончике на своих вещах. Лежали по очереди, ибо места не хватало. Лес коек с людьми, на них медленно копошившимися, издавал зловоние. Всюду носились демократические плевки и звонко раздавалась матерная ругань. Брюхо корабля глухо рокотало

человеческими голосами. Но в этом рокоте слышались лишь мрачные аккорды и дикие рулады то хохота, то злобных пререканий.

Работал я как вол, но никакой доброты и любви к ближнему у меня не было, и видел я только злобу больных. Мелодии любви были чужды этому отделению Дантова ада. Слышался только мрачный стон людских страданий. Как дикий зверь, забравшийся в берлогу, каждый, оскалив зубы, смотрел на своего соседа и парировал его удары. Спуск в верхний и средний этажи трюма был темный, крутой и неудобный. Там в очередь теснились, пропуская друг друга. Происходили скандалы, ссоры, даже драки – всего я насмотрелся в эти дни. Гуманного языка не понимали. Так озверели люди от страданий и отчаяния.

А темной ночью, когда больному или лентяю приходилось взбираться на палубу для отправления своих естественных потребностей, – тоже в очередь, выполняя почти акробатические упражнения, – вопрос решался просто: присядет тут же под лестницей и наложит кучу. А люди, ступая в эти прелести, разносили их по телам спящих. Но ко всему приспосаблиется человек.

Глядя на этот вертеп, меня брал ужас. Что можно было сделать? И только привычная дрессировка врача заставляла меня лазить по лестнице, ползать по перекладинам деревянных клеток и подавать помощь этим отверженцам, в которые превратился когда-то бывший героем солдат русской Императорской армии.

Велено было закончить составление списков до прибытия в Босфор. Не хотите ли, на 900 человек при одном враче и двух фельдшерах!

В первые часы путешествия люди еще сдерживались. Но затем в этом коллективе проявлялись необузданные порывы толпы. Однообразная масса, лишенная человеческого духа.

Однажды я стоял у перил верхнего трюма, когда на дне колодца возникла суета. Послышался легкий взрыв, и сверкнуло пламя. Я окликнул: «Что случилось?» – и получил в ответ, что белые товарищи, забавляясь, разрядили патрон и зажгли порох. Я властно крикнул, что я приказываю немедленно прекратить эти безобразия. На что в ответ

услышал из дебрей трюма насмешливый голос: «Ишь, старый дурак, еще и приказывает!»

Нужно ли говорить, что в этой реплике я почувствовал почти оправдание моей сдержанной ненависти к этой полуживотиной массе. Если утеряна дисциплина, человек превращается в скота, а такого зверя я не люблю. Я не оправдывал себя, ибо вовсе не был в это время обуян христианским смирением и любовью к человечеству, как когда-то это приписывали мне. Но тогда это была великая Императорская Россия, а теперь это были ее последние остатки в форме опустившихся и почти озверевших людей.

Первый день терпели без пищи и без горячего. На второй день роптали, на третий день требовали и ругались. Не хватало консервов, а главное – воды!

Забылась смерть сзади, и вместо радости бытия вследствие избавления от смерти люди ожесточались, Царь Голод вступал в свои ужасные права.

Ночью перед подходом к Константинополю в моем трюме умер человек. Когда его, завернутого в саван, поднимали на веревке, в трюме шутили и издевались над смертью. Утром его хоронили, и вся битком набитая палуба с любопытством наблюдала невиданный обряд. Некоторые затаили, как бы предвидя и свое близкое будущее. Морская пучина поглотила тело человека, и никто никогда не узнает, кто он был. А много лет спустя, где-нибудь в уголках бывшей России, ветхая старушка будет вспоминать о своем без вести пропавшем во время Гражданской войны сыне.

Утро было великолепное. На мачте высоко над нами вился флаг Красного Креста, а сзади – французский. На корме низко, стыдливо висел Андреевский флаг с синим косым крестом на белом фоне. На разных расстояниях от нас виднелось восемь русских кораблей, также держащих курс на Константинополь.

Каждый пароход нес тех, кто был ему назначен. У всех хватило воды и угля, и даже старый корабельный хлам выполнил свое назначение, как старая кляча, отвозящая на кладбище своего хозяина.

И Бог помог. В эти дни море было тихо. Ковыляя по легкой зыби, приплелись на буксире даже старые корабли, как мухами облепленные людьми. Передавали, что только два судна погибло при этом переходе.

При выполнении эвакуации самым трудным оказалось подобрать надежные команды. От рабочих и профессиональных команд, зараженных большевизмом, можно было ожидать всяких пакостей. Боялись даже постановки адских машин. На одном из кораблей эта сволочь, испортив котлы, покинула корабль.

Много говорили о пароходе «Кронштадт», прочили ему гибель. Однако «старая калоша» доплыла в Константинополь и вывезла пять тысяч русских людей. «Кронштадт» умудрился на пути столкнуться со встречным итальянским пароходом, дав ему пробоину и пустив ко дну. Перепившуюся команду удалось спасти.

Было мобилизовано все, что могло держаться на воде, и мы видели, как подходили небольшие баркасы, буксиры, ветхие пароходы, набитые и облепленные людьми.

Сначала тревожились о Евпатории и Керчи. Говорили, что войскам отрезали путь отступления и что эвакуация не удалась. Однако эти слухи не подтвердились, хотя отход от Керчи был труден.

О том, что творилось в Севастополе после нашего ухода, мы, как всегда, ничего не знали. Но рассказывали, что еще до нашего ухода в одном из госпиталей после эвакуации больных санитары набросились на одну сестру, изнасиловали ее и убили. Так вступал в свои права «русский народ», освобожденный от «тирании» Врангеля.

Подходя к Босфору, люди волновались: примут ли?

Переживались разные опасения: «Выгонят, расстреляют, как румыны, потопят».

К нам подошел французский катер. Было приказано идти через пролив к местечку Мода в 16 километрах от Константинополя.

Сразу ожили. Радость спасения охватила всех. Радовались, что нас приняли французы, а не англичане. Англичан давно ненавидели за вечное предательство и двуличие.

Плавно, как в кинематографе, сменялись картины изящных вилл, садов, дворцов, поочередно показывая нам то профиль, то становясь перед нами во фронт. Зеленели еще деревья и было тепло. По старому стилю было 2 ноября.

Природа и люди как будто бы приветствовали отверженных, покинувших свое Отечество, теперь непрошеными гостями заходивших в Царьград.

Мало нужно для души, чтобы она вновь получила способность радоваться и наслаждаться красотой. А эти проливы и Царьград недаром ведь считаются одною из мировых красот.

## **ГЛАВА XXII**

### **У врат Царьграда**

На якоре стоит эскадра в 120 кораблей с населением около 130 тысяч человек. Малоазиатский берег с предместьем Мода и оригинальным маяком широко купался в лучах склоняющегося к закату солнца. Мраморное море, оправдывая свое название, играло переливами цветов своей пятнистой поверхности. Корабли были изолированы друг от друга, и слухи передавались отрывочно.

Население трюма нашего парохода все больше деморализовалось. Ширилась разнузданность и хулиганство. Глупые остроты, ругань, отрывок хамской песни. Трюм не отапливался, и было холодно. Съедаемые паразитами люди полуголодали. Говорили о том, что «где-то и что-то» есть и что «там едят». Дикий эгоизм царил в каждом человеке. Зависть и злоба проявлялись друг к другу.

Заявляли, что «на палубе у спекулянтов есть табак».

– Отобрать! – вопили из трюма.

Один «ахвицер» из подпрапорщиков вкрадчиво доносил: «У одного наверху есть сардинки. Надо конфисковать и разделить».

А опустившийся военный врач толковал о том, как следует отобрать и разделить весь табак, ибо у него была нехватка в табаке.

Выслеживали, доносили, подозревали, завидовали и вопили:

– Там едят шоколад!

– Там все есть, только нам не дают! – шамкал старый доктор, бог весть почему вообразивший, что кто-то должен ему что-то давать.

– Требовать! – нагло кричала молодежь.

– На пароходе везут обмундирование! Раздать! – доносили трети.

Вот чем были полны думы этих несчастных людей, уже давно потерявших способность узнавать себя в зеркале и переставших понимать то, что говорят и делают.

Красный Крест вез свое имущество. Все приходили к заключению: «Накрал!»

Белый Крест вез белье, – кричали: «Это не его!»

А ведь это были люди, не приявшие большевизма.

Правда, здесь было много дезертиров и уклоняющихся: они-то и были главными скандалистами.

В трюме поднимался гвалт и продолжался до ночи. Однажды вечером раздался крик:

– Команда парохода сгружает хлеб! – Разразился скандал: «Отобрать! Отнять! Бить морду! Отнимают кусок от нас! Расследовать!».

Но была и частица правды в этом бреде: тащили и крали все. Выгружались с парохода и на глазах у всех тащили казенное белье. Офицеры это заметили и подняли скандал. Задержали и осмотрели вещи у молоденькой сестры, носившей громкую фамилию. Увы! Вещи целиком оказались казенными. Бойко огрызаясь, она сошла с парохода без вещей.

Люди были грязны физически и разнузданы морально.

Однажды на месте застали штабс-капитана, гадившего под лестницей. Он поленился подняться наверх.

Весь пароход был обуян манией регистрации. Эта зараза досталась добровольцам в наследство от большевиков. По несколько раз в день составлялись списки и списки без конца. В довершение всей глупости



в трюме завелась керенщина. Начались выборы коменданта. Как только выбирали коменданта, обыкновенно отъявленного скандалиста, он сейчас же превращался в деспота и требовал от других повиновения. Дух критики у него сдувало моментально.

Зато в самой эскадре был полный порядок. С первых же дней шла перегруппировка кораблей. Пароходы один за другим стали уходить по месту назначения: на Лемнос и в Галлиполи. Гражданских же беженцев принимали к себе балканские государства. Говорили сначала об Алжире, мечтали о колониях. Но все боялись англичан, которых ненавидели единодушно.

На второй день стоянки эскадру объехал французский катер и отобрал оружие. Они, французы, будто бы потребовали от Врангеля разоружения военных кораблей. Но Врангель ответил, что у него имеется по сто комплектов снарядов на каждое орудие и что он сумеет погибнуть, как подобает русскому главнокомандующему. Французы съели этот ответ и замолчали. Так стояли мы со 2 ноября до 18-го. Погода стала холодная. В течение двух дней была мертвая зыбь. Корабли качало, а люди ругались и скандалили.

Я был назначен объезжать эскадру и отбирать с кораблей тяжелораненых и заразных больных. Объезжая корабли на паровом катере, я за это время хорошо исколесил весь Босфор и константинопольские пристани. Я сдавал больных на французский распределительный пункт. Побывал в Золотом Роге и видел Царьград вблизи. Там было много русских. Жалкими толпами бродили они по улицам, ища приюта, были назойливы и унизительно вели себя. Я видел французские оккупационные войска. Кавалерия была одета с иголки. Лошади великолепны.

В течение двух дней во время моих странствий море сильно волновалось, и было страшновато переезжать Босфор на довольно паршивеньком греческом пароходике. Возил сыпнотифозных, а однажды у ног моих лежал больной черной оспой, которого я снял с одного из пароходов.

Когда я объезжал эскадру, ко мне в лодку валили покойников. В бурную погоду катер швыряли волны, а сверху мочил холодный дождь.

Я жался от холода и от брезгливости. У ног моих блевал от качки тифозный, а вправо от меня, у борта, завернутый в тряпье, лежал покойник, теперь ни для кого неведомый. И каждый раз, когда мой взгляд падал на него, стеклянный открытый глаз не сводил с меня своего взора. Я глядел через него на море, на эскадру, и всюду видел только гибель Великой России, а за нею страдания и смерть людей. Впереди меня, у носа катера, неподвижно сидела женщина с мертвым ребенком на руках. Мать везла французам труп, ища ему спокойного приюта. Я думал, что если бы море, рассердившись, разверзло бы свою пучину и поглотило нас всех, быть может, было бы лучше.

Я кончал свою работу поздно вечером и возвращался на «Ялту» в полной темноте. В дни качки приставать к трапам кораблей было трудно, и мы разбились у судов четыре трапа. Сгружать больных было невероятно трудно.

Собственно, я взял на себя эту работу потому, что сидеть на пароходе в атмосфере трюма было невесело.

Бесплатно никто работать не хотел, а платить было некому. Чем больше врач работал, тем больше он получал ругани, и потому умно делали те врачи, которые не занимались обслуживанием больных. Клиентам же парохода гораздо больше нужны были «категории», чем медицинская помощь. И когда я был назначен председателем комиссии по осмотру больных, пошла беда. Дезертиры скандалили. Сыпались угрозы. Симулянты дерзили, когда их разоблачали. Нигде врачебная работа не была так омерзительна, как здесь. Я описываю эти мерзости здесь только потому, что, если мы доживем до отрезвления, этим рассказам не поверят.

Мечты людей не шли далеко, и к будущему в большинстве случаев относились с наплевательской точки зрения.

Впервые к нам дошли рассказы о концентрационных лагерях французов. Беженцы стремились ссадиться на берег, а там их загоняли в лагерь в Сан-Стефано, арестовывали, сажали за проволочные заграждения, и зуавы лупили их палками. Конечно, правда, что многие русские вели себя по-свински. Но не надо забывать, что все это хулиганство и распу-

ценность были следствием того, что их систематически морили голодом и холодом. Если хотите, чтобы люди были моральны, – кормите их.

Удивительно, как традиции старого режима, прочно вколоченные в психику человека, держатся и управляют его действиями, независимо от его ума и воли. Сколько раз мне говорили мои коллеги-врачи: «И какого черта вы возитесь с этим развозом больных с пароходов? Это не ваша обязанность, и никто вам за это спасибо не скажет». И я проверил эти старые традиции долга и чести, которых теперь уже не существовало, на следующем случае. Во мне, несомненно, сидел еще человек старого режима.

Как я говорил уже выше, мы все почти голодали, получая беженский паек, который едва мог заглушить чувство голода. Когда я был назначен от санитарного управления развозить больных с эскадры, мне выдали на расходы деньги, около ста турецких лир. Эти деньги были даны мне под расписку на расходы, но мне не было указано, входят ли в эти расходы траты на мое продовольствие, хотя я уезжал рано утром и возвращался поздно вечером на пароход, где брат мне оставлял осточертевшую маленькую порцию консервов и кусок хлеба.

Высадившись в Константинополе и сдав больных, я испытывал собачий голод. Я видел на лотках и в окнах столовых вкусные блюда и меню, и так хотелось истратить несколько пиастров на покупку чего-нибудь съестного, а моих личных денег у меня не было ни копейки. И я все-таки побеждал этот соблазн, хотя по существу имел бы, казалось, право включить стоимость блюда в расход по перевозке больных. И все же я выдерживал характер. Новый режим его не выдержал бы.

Англичане все время морили людей голодом, а потом ставили им в вину творимые ими безобразия. Когда людей не кормят, они становятся злыми – это я видел на себе. А в крайней степени голода и самый просвещенный человек крадет.

В Сан-Стефано людей загнали в пустые палатки, установленные на голой земле, размякшей от дождя, и люди там стояли по колени в грязи. Невозможно было лечь прямо в воду: шел проливной дождь. Бедные пленники томились, вымокнув до нитки, голодные, трясущиеся от холода.

Вот она, хваленая революция. Вот что происходит, когда революция становится правительством и когда «господа военные» начинают слушаться Савенковых и Струве, а не законного Царя.

То же происходило во французских лагерях в Галлиполи. Оттуда уже «задали драпу» два бравых офицера, теперь решивших поступить на службу к Кемаль-паше.

Об этом Кемаль-паше тогда много говорили. Мечты бесшабашных авантюристов, потерявших Отечество, обращались к нему. Он будто бы вербовал через своих агентов русских офицеров и платил по 250 лир в месяц. Эта служба теперь казалась раем. Все буйное и необузданное стремилось теперь туда. Когда им напоминали об армии, эти молодцы, отмахиваясь руками, говорили:

– Армия? Какое там! Довольно этой авантюры!..

С кораблей уходили добровольно, воображая, что горы золота свалятся на них, а апельсины сами полезут в рот. И, конечно, эти люди приходили в себя, очухавшись на улицах Константинополя, беспомощные и слабые. Приходилось умолять французов принять их обратно и пустить на корабли. Не было ни понимания положения, ни серьезного к нему отношения. И это было понятно: люди годами стояли пред лицом смерти в Великой и Гражданской войнах и жили сегодняшним днем. Отводили душу только в ругани, и я часто спрашивал себя, что бы случилось с психикой этих людей, если бы они не разряжали своего горя и злобы в матерной ругани.

Когда было хмуро небо и надвигалась ночь, когда волновалось море, мрак находил на душу людей. Страшил холод, а ведь предстояло три месяца зимы. По целым ночам люди тряслись от холода, стуча зубами. Ни сами беженцы, ни их труд не были нужны никому. Да и сами эти люди, искалеченные революцией, едва ли были способны к труду, от которого отвыкли, беспечно говорили: «Не пропадем!»

Но эта перспектива висела над всеми. Об общем положении европейских дел у беженцев были смутные познания. Вот, что говорили тог-

да: «После разгрома Крыма большевики ударят на поляков и на румын. Об этом уже ходили слухи. Раздавлив этих предателей, они соединятся с немцами и победят Европу. Францию и Англию сметут с лица земли. А немцы скрутят большевиков и будут царями мира». Это записано у меня 21 октября 1920 года.

Европа не понимала большевизма и из бунта, убийств и грабежей делала идейную борьбу.

Как-то утром я, выпив кружку чая без сахара и съев кусок кислого хлеба, сказал брату:

– А ведь привыкаешь!

– Привыкаешь, – ответил он, прихлебывая из своей кружки. А эхом из темного угла корабельной берлоги к нам донеслось:

– А я бы съел к чаю кусок пирога с вареньем!

Рано утром я выходил на палубу встречать рассвет.

На рассвете ежедневно из пролива уходили в море два английских миноносца. Медленно проявляла свою жизнь наша флотилия. Наш корабль значительно разгрузился, и палуба в это время была почти пуста. Сцены внутреннего пробуждения – умывания, стояния в очереди за кипятком были стереотипны. Затем над сонным трюмом проносился скорбный вопль:

– Рабочие, на кухню!

Ропот и ругань в ответ. Не пойдут, пока упреками и понуканиями не погонят. Бог весть откуда у поручика берется вдруг «раздробление позвоночника», и он «работать не может».

На верхних нарах корнет повел неосторожно на свою соседку атаку, без предварительной подготовки ее обстрелом. В ответ капризный мелодический голос:

– Скверный мальчишка! Коменданту пожалуюсь... Я с вами не разговариваю... Какая мерзость!...

– Гм... да... По-видимому, залез дальше, чем следует, – проворчал себе под нос полковник.

Но голос красивой Ольги Николаевны звучал не слишком сердито. А перед этим слышалось шутливо:

– Корнет меня бьет!

Бьет ли? Любовь во мраке трюма с пещерными нюансами!

Вчера в трюме запели гимн «Боже, Царя храни». Сколько воспоминаний для русского воина связано с этим великолепным гимном о славном, могучем государстве, с которым считалась Европа. Теперь он напоминал о великом покойнике, об усопшей мировой державе...

И... никакого впечатления! Даже не притихли, не задумались. Какой-то мерзавец насмешливо крикнул «Ура!», и какой-то большевик пронзительно свистнул на весь трюм.

Так чтили прошлое Родины эти люди, за нее сражавшиеся. Прошлое валилось в бездну без дум и без размышлений.

Пьют чай без сахара. Поручик беспечно напевает романс. Весело перекидываются словами. Потом едят консервы и хлеб. Всюду смех. Нигде не слышно скорби, и даже о политике не говорят.

– Седьмой десяток! Третий трюм, за хлебом! – слышится очередной призыв.

Весь пол заплыван и забросан объедками и сором. Резонерство о том, что надо бы прибрать, не проникает в душу. Уж третий день на лестнице стоит невынесенное подкладное судно, издавая зловоние. Туда нагадил не больной, а просто ленивец. Санитаров нет, а судно само себя не вынесет. Врач, проходя мимо, скорбно думает: «Зачем оно здесь и что с ним будет? Что будет со всеми нами?».

Отхожее место отгорожено на палубе. Но чтобы добраться до этого отделения Дантова ада, надо стать в длинную очередь: направо мужская, налево женская, соприкасающиеся друг с другом. Стыдливость давно утеряна.

Глупый солдат товарищ кривляется и острит:

– Ой, не выдержу! Ой, наложу в штаны!

А сосед вторит:

– Вали на палубу!..

В глухую ночь из трюма вдруг раздавался вопль:

– Что за свинство! Льют сверху! Эй, сволочи, что вы делаете?

Увы! То попадало на голову нижним...

Однажды утром я пил чай и неосторожно не удержал горячей кружки, которая кубарем полетела под нары. Я нагнулся и шарил рукой под нарами. И вдруг угодил рукой прямо в сосуд с жидкостью, в которой потонула моя рука. Можете себе представить мое изумление и ужас, когда я обнаружил, что это был урильник, полный мочи. Наш доктор Л. возил с собой «генерала» и даже не потрудился его вынести. Он счел за лучшее подсунуть его подальше под нары, а моя проклятая кружка словно знала, куда ей надо угодить. Уж я мылся, мылся, мыл и мыл кружку и долго потом с омерзением пил из нее чай – другого сосуда не имел. Даже теперь, много лет спустя, я вдруг вспомню неделикатное путешествие моей чайной кружки, и брезгливый трепет всего меня передернет.

Идет война нижних ярусов трюма с верхними. Если закрыть люк брезентом, в трюме воцаряется мрак и снизу звучит отчаянный вопль:

– Открыть брезент!

А сверху ответ:

– Закрывать! Здесь холодно.

Снизу:

– Мерзавцы! Здесь темно. Что за свинство!

– Давайте поменяемся!

Властный голос коменданта решает:

– Открыть! – И страсти успокаиваются.

На фоне утренней тишины вдруг с нар раздается голос Ольги Николаевны. Молодая женщина с негой потягивается и мечтательно говорит:

– Хочу «загнать» кожаную куртку. Поручик, сколько дадите за безрукавку? Ха-ха-ха! Только поллиры? Не разживешься. Хочу инжиру. Две связки дадут? Что делать, хочется!

Кто-то снизу дразнит:

– А разве можно, Ольга Николаевна, спускать казенные вещи?

Ольга Николаевна беспечно бросает ответ:

– А мне какое дело? Теперь она моя, а не казенная. Хочется инжиру.

И «спускали» все, что было можно. Когда мы стояли весной на «Херсоне» в проливе, турецкие лодочники скупали шинели, одеяла и меняли их на коньяк, на четвертушку табаку...

Опустившийся полковник «предъявлял требования». В комиссии он возмущался, что ему не дали «госпитального лечения». Он требовал «массажа и электричества», хотя все органы у него были в порядке, и врачу было непонятно, какой член тела ему надо было массировать. Теперь он возмущался: «Как? Мне не вернуть руки? Должны лечить!»

Не было Великой России. Не было Императора...

Мы гибли. Питались подаянием и все еще воображали, что кто-то и что-то должен давать. «Но у французов ведь есть!» – «Есть, да не про нашу честь», – вспоминалась пословица.

Ноябрьские вечера были длинные. На нарах трюмов ютились люди, сидя на корточках и в разных позах. Кто резался в карты, кто умудрялся читать обрывок книги. Многие курили. Голые фигуры, приткнувшись к свету, вылавливали вшей.

В одной из деревянных клеток трюма целыми часами возился старик-доктор. Это был отчаянный морфинист. Вся жизнь его проходила в этой возне со шприцами и пузырьками. Он то нагревал их на огарке свечки, то шарил в мешке иголки. Эта фигура гибели и наслаждения отравой была страшна даже среди всего ужаса трюма. И если не хватало яда, старик беспомощно лежал в прострации и мучился. Но много раз глубокой ночью он зажигал коптилку и снова копался в своих вещах. Потом сидел и думал... О чем? О сыне ли, расстрелянном большевиками, а может быть, вспоминал времена Императорской армии, в которой был дивизионным врачом? Но, вероятнее всего, он просто переживал те наслаждения наркомана, которые неизвестны нам, простым смертным. Тогда он уходил из мрачной берлоги современности в тот дивный мир грез, в котором нет ни времени, ни мрачных пыток французской инквизиции трюма корабля.



Ночью мы спали, и спали хорошо. Но нестерпимый зуд от вшей не давал душе уйти из спящего тела: вши призывали ее назад. В сновидениях дух переносился по сценам прошлой жизни и наряжал ее в прекрасный наряд. Под утро неизменно снились яства. На все лады грезились накрытые столы, приборы, сласти, закуски, колбаса и почему-то полупрозрачный поросенок, похожий на фисташковое желе.

Все это видел дух и ел, не насыщаясь, а голодное тело лежало на кровати. Наяву эти грезы были неосуществимы. И странно: большевики уже снились реже. Сказкой казались воспоминания прошлого. И если когда-нибудь Ольга Николаевна, став бабушкой, будет рассказывать об этом прошлом своим внукам нового поколения, им эта сказка покажется слишком фантастичной. Царевнами им покажутся обыкновенные женщины далекого прошлого и призрачными героями те люди, которые, совершая легендарные подвиги на полях сражения, тогда еще не превратились в оборванцев, ютившихся на нарах трюма.

Были тут разные типы: гвардейский полковник с изящной женой, похожей на куклу, беспечно распевавшей шансонетки. Как только муж отвернется, она заглядывалась на поручиков. Были грубые хулиганы, были студенты, потерявшие всякий облик людей, учившихся чему-нибудь, и были настоящие бандиты-товарищи, как будто бы только что вырвавшиеся из Совдепии.

Вожделениями большинства были молоко и высадка.

Перед рассветом на юго-западе сияла в голубоватом свете Сириус и мягко гасла диадема Ориона. Из-за древней Халкедоны – города слепых, – теперь предместье Мода, багряной полоской росла заря.

Далеко справа, из Малой Азии, доносился почти неуловимый знакомый гул далекой канонады.

– Кемаль-паша у врат Европы.

Морфинист-доктор крал у моего брата табак. Проснувшись ночью, брат видел, как старик шарил в его сумке. Он не сказал ему ни слова. А утром морфинист наивно говорил, что он не понимает, кто бы мог ночью взять у брата из сумки табак? Яд делал свое дело и уничтожал мораль.

Предполагалось преобразовать судно в госпитальное, и запросили, кто желает на нем служить. Я подал заявление о желании служить Русской армии. Но у меня не было протекции, и потому назначение мое было безнадежно.

Еще одно преимущество большевиков. Там каждого человека со знаниями и работающего сейчас же использовали. Здесь же труд и знания никому не были нужны. Надо было быть «своим» и иметь связи. Там за человека знающего хватались обеими руками. Здесь важны были только оклады и штаты.

Мы с братом пошли в армию, чтобы исполнить свой долг, и мы его исполнили, но связей никаких не имели и потому чувствовали себя париями.

Назначенный вновь главный врач предложил мне остаться на пароходе и даже обещал назначить консультантом. В это время на пароход приехал помощник военно-санитарного инспектора Коклюгин и объявил, что все врачи старше 43 лет свободны и перечисляются в разряд беженцев.

Так закончилась моя работа в белых армиях. В первый момент мне стало нестерпимо обидно. Так вот зачем, бросив все, с винтовкой в руках ушел я в Добровольческую армию, участвовал в боях, нес тяжелую работу врача в переживаемые ею бедствия, чудом оправился от тифа, а теперь по-чеховски: «Позвольте вам выйти вон!»

Мой коллега доктор Бораковский был назначен на пароход «Владимир», отходивший с беженцами в Сербию. Он пообещал взять меня с собой. В один миг мы с братом собрались и перешли на катер, который скоро отчаливал.

Через час мы очутились на пароходе «Владимир», и я вступил в отправление обязанностей помощника д-ра Бораковского.

Новая и уже последняя страница белой эпопеи.

\* \* \*

С посадкой на «Владимир» я перешел на положение эмигранта, или, как стали его называть, беженца. Психологически я ненавидел это по-

ложение и звание. Я был в армии, всегда уходил с последними и никогда не бежал. А тут вдруг вам налепляют ярлык беглеца.

На пароходе все стали теперь «бывшие» – чины гражданского ведомства с семьями и те военные чины, которые по новому приказу, как и я, остались за штатом и были перечислены на положение беженцев. Такими же стали генералы и штаб- и обер-офицеры, не получившие штатных назначений. Состав публики был иной, чем на «Ялте», и более интеллигентный. Много ехало «категориков» и уклоняющихся. «Владимир» после «Ялты» казался раем. Однако я знал, что законы морального падения одни и те же и что и здесь скоро проявится знакомая картина.

Волновались, опасаясь, примет ли нас Сербия. Из Румынии пришел пароход с беженцами, которых там не приняли. После длинного ряда ненужных мытарств и формальностей их посадили на пароход «Владимир».

Однако не всегда же люди в периоды этих скитаний страдали. В один из дней я записал в дневнике, что мы чувствуем себя великолепно и что настроение вовсе не унылое. Ясный день и хорошо на душе. Секрет сносной жизни при таких условиях – это отучить себя от праздных несбыточных мечтаний и обрывать надежды. Без них живется легче. А этой способностью я обладал в совершенстве. Сиди себе, как в кинематографе, и созерцай. Я тогда считал все погибшим и в личной жизни полностью ушел в свои научные работы, трудясь над математической обработкой своих теорий при самых невероятных условиях.

Я писал тогда: «Мне кажется, что Россия уже кончила свое существование. Она не возродится. Нет для этого ни одной здоровой силы. Интеллигенция – духовно мертва».

Падала страшно и аристократия. Недавно на «Ялте» поручик-граф из «бывших» насмешил весь трюм.

Внизу записывали кандидатов на обмундирование. Граф сверху во весь свой властный голос диктовал:

– Запишите мне обмундирование: френч, брюки, ботинки, две рубашки и два воротничка и галстух.

Всеобщий хохот – «Го-го-го!»

Давно забыли, что значит воротнички и галстух. Как дико! Какая чепуха!

Так и не разобрали, шутил граф или бредил.

Но не лучше была и русская демократия: она сейчас же равнялась по хаму и превращалась в хамократию.

Пройдут года, и в России появится новая интеллигенция – новый высший класс, рожденный в крови и возвращенный на деньги награбленные, как это случилось во Франции. Каждая мелочь обстановки будет напоминать не о подвигах предков, а о кровавых оргиях отцов и дедов. Богатство новых поколений создастся не трудом, а убийствами и преступлением. Потомки бандитов, они когда-нибудь отрыгнут забытое и, как потомки римских каторжников на днестровских плавнях, расстреляют невинных. Деньги перекачуют в другие карманы, а там восстановится и прежний колорит жизни: переменятся только люди. И это будет единственный результат революции.

На пароходе ехало два кадетских корпуса. Боже мой, что это были за дети! Развал коснулся и их. Оборванные, голодные, все во вшах, разнузданные, порочные, как тени бледные, и изможденные. При них персонал с семьями. К нам подошел кадет лет семнадцати – бывший паж Его Величества. Теперь это был хулиган. Полуграмотный: он не читал даже Тургенева. Но зато имел «мануфактуру» в количестве 64 аршин. Видя кругом лишь мерзость революции, откуда могли они почерпнуть основы морали? Зато он бывал уже в боях и видел кровь.

19 ноября мы тронулись в путь. Я был назначен врачом палубы. Но проклятое молоко и здесь мне отравило существование. Я должен был распределять пять банок на сотни жаждущих. Картины были помягче, чем на пароходе «Ялта», но суть одна и та же.

Краснощекый дородный офицер пришел ко мне за молоком. Я отказал, сказав, что его не хватит детям. На это он заявил:

– Тут у буржуев есть разное. Едят окорока. Надо отобрать и разделить.

Так преломлялись завоевания революции в мозгах людей.

Мы видели следы войны. Целые селения разрушены. Из воды торчали мачты потопленных судов союзников.

Ночью ревел ветер, и нас качало. Моряки определили пять баллов ветра и ожидали шторма.

На Лемносе, мимо которого мы проходили, уже были русские войска. Они голодали. Англичане ушли, сжегши горы провианта, а французы еще не подвезли.

Я откровенно сознаюсь, что не люблю хамье, и не раз говорил, что не стоило так самоотверженно служить этой сволочи. И все-таки ей служил, но без любви, порой с ненавистью.

Гибель беженцев уже началась. В Константинополе – так говорили – регистрировали массу русских женщин как проституток. Аристократия пооткрывала рестораны и самые гнусные так называемые комиссионные магазины, в которых за гроши скупали у голодающих беженцев вывезенные вещи. И этим занимались жены генералов и аристократия. Бывшие сановники нанимались в швейцары. Изящная барышня старого режима в кабаках «принимала» гостей и пила с ними шампанское. Несколько сот офицеров записались в Америку, где грезились им золотые горы.

Недалеко от нас на палубе сидел моряк, капитан второго ранга. С ним были супруга и ребенок. Женщина обрюзгшая, вся похожая на обрубок. Но в безобразном теле была еще худшая душа. Она скандалила, дико вопила, нисколько не стесняясь окружающих, и закатывала сцену мужу. Злилась, поминала черта и мрачно грозила ребенку:

– Лежи! Не раскрывайся, простудишься, умрешь!

Столько злобы и раздражительности было в ее голосе! Огрызалась на мужа.

Волны хлестали о борт корабля, обдавая холодной влагой шквала, но меня больше резали слова отвратительной мегеры, чем рев бури.

Другая дама командовала, повелевая мужем. Где-то в темноте затерялся ночной горшок. Все всполошились. Вспомнили и шапку-невидимку, и спиритизм. Много говорили о значении «генералов» в жизни общества;

а на следующий день при свете дня увидели, как «генерал» спокойно почивал, уютно примостившись у постели девочки, которой служил.

Шторм бушевал. За бортом море кипело, и белой тенью проносилась пена на гребне волн. Ветер гнал нас в спину, и даже мало качало. Заснули, и ночь прошла без времени.

23 ноября мы вышли в Ионическое море. Море беспорядочно волновалось. Я думал, что и в волнах революции порядка не больше.

Ко мне явились два вольноопределяющихся, оба испитые, истасканные. Один трясся знакомой дрожью ложно контуженного, на самом деле от слишком большого страха, и искусственно заикался, являя знакомый тип дезертира. Они требовали молока, злобно говоря:

– Генералам и полковникам дают...

«Ахвицер» из прапорщиков роптал, что «крант» не открывают и не «пускают» воду.

С нами ехал известный растлитель России, поп-расстрига Григорий Петров со своей «женой», девицей Зинаидой Красновой, и ребенком.

Когда-то, в девяностых годах, он пошел по стопам отца Иоанна Кронштадтского и стал популярен среди народа. Но потом сблизился с интеллигенцией и свернул налево. Стал модным среди интеллигенции, скоро впал в ересь и перешел на службу предреволюционных сил. Теперь революция его выкинула. Он потерял и Бога Небесного, и своих богов земных, которые его вышвырнули в изгнание вместе с «золотопогонной сволочью». Когда-то он был модным проповедником, и его звезда сияла у предшественниц поклонниц Распутина. Он пошел против правительства и стал модным в либеральной прессе.

Потом он расстригся и ездил в Америку, готовя общественное мнение к русской революции.

Теперь он влачился беженцем с остатками разбитых врангелевских войск. Вид его жалкий, озлобленный, – впрочем, все мы были тогда озлоблены! Выглядел стариком, уже с седой шевелюрой, по-мужицки подстриженной в скобку. В поддевке. Так и пахнет эсером. Эти люди сами кладут на себя клеймо в своей внешности.

Отношение к нему было неопределенное: он пережил свое время.

Теперь он пристроился воспитателем к корпусу. Это похоже бы было на веяния вождей белых армий. В хорошие дебри заведет он русских юношей и хорошие семена посеет этот расстрига! Многие называли его лжецом и уже раскусили эту фигуру.

Кто-то сказал ему на пароходе:

– Мы, слава Богу, едем благополучно.

Расстрига горделиво и злобно возразил:

– Бог такими пустяками не занимается!

Его роль кончилась, хотя он все еще позировал, не получив уважения у пароходных обитателей.

Мы направлялись в Катарро, но вечером разнеслась весть, что едем в Бакар, на 300 миль севернее. Но русский человек не был силен в географии Адриатического моря. Все думали, что в «Новой Сербии» молочные реки и медовые берега.

Заглядывая в свою душу, я иногда приходил в ужас от того страшного опустошения, которое в ней произвела революция. А ведь когда-то я был очень популярным врачом с громадной практикой и ученым, имя которого было известно во всем мире. Как зеницу ока хранил я в течение всей жизни несколько документов, между которыми были приговоры казачьей станицы и волостного схода Старобельского уезда, в которых описана деятельность тогда молодого врача, и несчетное число адресов моих сослуживцев и подчиненных, вырисовывавших эту деятельность в самых лестных красках. Было время, когда население в буквальном смысле слова носило меня на руках. Это были ведь не аттестации начальства, а подлинный глас русского народа, которому я служил. Теперь я служил тому же народу, потерявшему себя в недрах революции, как потерял себя теперь и я. Подвиг тогда – когда существовала великая Россия, – был наслаждением. Душа действительно была полна любви и жалости. Теперь подвига не было, а была одна лишь мука выполнения тяжелого долга. Порой душу охватывала злоба и ненависть. И если бы надорвалось последнее наследие, которое оставила в душе старая рус-

ская жизнь – сознание долга – исчезло бы все то, что отличает человека от зверя, в которого все превращались кругом. И я написал в своем дневнике: «Лучше было бы не дожить до такого перелома».

В трюме корабля, набитого людьми, умер человек. Завернули труп в саван и на веревках подняли на палубу. Не затихли разговоры в трюме, не почтили покойника молчанием, – валялись на койках, задрав ноги кверху, сплевывали курево и равнодушно глядели на качавшуюся в воздухе фигуру, еще недавно бывшую человеком. Хохотали ночью, когда, зацепившись за барьер, покойник страшно качнулся в воздухе. Смерть... Сколько уже погибло! За годы скитаний поток людей передвигался как целое. Те же люди встречались на Мазурских озерах, в Вильно, в Киеве, потом в Константинополе и на чужбине. Так несет поток свои поплавки, а физик судит по их движению о направлении и скорости потока.

На пароходе как-то поймали вора, вырезывавшего дно в чемодане. Его избili до виртуозности. Но этим дело не кончилось. Одни говорили, что его сбросили в море, другие, что он бросился сам. Он долго барахтался там и ревел. Его вытащили испанцы с соседнего корабля. Все громко радовались, что негодяя чуть не убили, и жалели, что его вытащили. Глядя на эту картину, я понял, что значил описанный Густавом Эмаром суд Линча. Ведь в те времена Америка переживала тот же хаос. В этой бродячей жизни, при анархии и прелестях социализма, где не существует власти, возможен лишь один суд с мерзавцами: расправа на месте. Иначе жизнь станет сплошным ужасом. Ко всем бичам еще это воровство.

А воры требовали к себе гуманного отношения. Они содержались под караулом на палубе. И когда их мочил пронизывающий дождь, арестованные воры заявляли протест. По праву арестантов они требовали себе крытого помещения. Я, как палубный врач, сам помещавшийся на палубе под открытым небом, был вызван для решения вопроса, надо ли перевести мерзавцев в каюты, вышвырнув оттуда честных беженцев. Нужно ли говорить, что я на это не согласился.

Во всем этом аде была одна каста людей, несших возмездие справедливо: это были либеральные общественные деятели, создавшие ре-



волюцию. Увы! Они не понимали своих прегрешений и не узнавали дело рук своих.

Накануне февральских дней 1917 года я ехал в поезде с председателем Переяславской земской управы Гамалеем. Он ораторствовал, что скоро настанет рай и прекратится распутииада. И через неделю белоснежная революция началась с того, что его латифундию разнесли вдребезги. И с тех пор я больше не слышал о жаждавшем революции помещике.

Теперь они были презренной кастой буржуев и часто подделывались под пролетарское происхождение. Они терпели и все еще бредили царскими жандармами и городовыми. В начале революции они думали, что им вернут их имения, а мой фельдшер однажды, смачно показав трехперстие, пророчески сказал:

– Кукиш с маслом!

Часто говорили про одного из героев революции – Гучкова. Его все презирали. По лицу его не раз гуляла рука русских офицеров, но другая группа изменников из Генерального штаба волочилась за ним. Хамы давно научили русского интеллигента тому, что дуэль есть глупость, Гучков не дворянин, и в пощечине, по существу, нет ничего символического. Смаковали, когда рассказывали, как ему «побили морду».

Я не стану описывать красот и суровости моря, его прекрасных берегов. Они не гармонировали с душой отверженных. Красоты природы может увидеть каждый человек всегда. Омерзение же революции во всем ее ужасе видят на протяжении веков немногие.

Против нас на палубе дама «из общества» выбирает вшей на своей рубашке и щелкает их. Поднимая руку, она тщательно перебирает ее складки. Она не смотрит кругом и думает, что ее не видят.

Против нас сидел товарищ прокурора и желчно поносил Императора Николая II.

Глупый и наглый товарищ прокурора, бывший член следственной комиссии. Это почти чистый революционер. Придирчив, постоянно входит в конфликты. Пишет дневник. Хотел бы я взглянуть на эти строки. Душа его – кривое зеркало. Он тоже щелкает вшей, бросая их прямо на соседа.

Тот взмолился:

– Ну, прокурор, это оставьте, щелкаете и бросаете прямо на меня.

– Вот странно, – огрызнулся прокурор, – нельзя даже смотреть на свою собственную рубашку! У меня их нет.

– Ну, положим, есть у всех! Пожалуйста, бросайте не на меня.

Пререкания.

Вчера этот, с позволения сказать, прокурор плюнул прямо на палубу у самого нашего изголовья и не мог понять, почему это нам неприятно...

– Ведь не на вас же!

Еще бы этого недоставало.

Он пояснил: «Плюнул и растер».

Несносная собачка Лю-Лю, паршивый песик, был членом нашей компании. Ни породы, ни красоты. По утрам он забавляется с кадетом и лает, раздражая кругом людей. Когда же в людской берлоге люди мирно валяются в разных позах, песик невзначай подкрадется и... подняв ножку, поведет себя ой как неприлично... на одеяло или на корзинку с провизией. Хозяйка посылает мужа водить песика гулять... Куда? На палубу к другим.

Рядом с нашим местом стоит клетка с курами и с петухом. Петух поет, и говорят, что это «на погоду». И петух был прав: буря стихала и небо прояснялось.

Собачка, две дамы, полковник гвардии и три хама-товарища, чистых большевика! Компания! Черт знает что за симбиоз! Полковник везет их с кубанского похода. У «товарищей» вид скотский. Даже вольной птицей не гуляет мысль по их тупым лицам. Они лежат, спят и жрут. В свободное от пищеварения время – молчат. Лежат все в ряд. Полковник-аристократ с ними на равной ноге. И если надо сходить за чаем, хам говорит, что очередь полковника. Скот и культурный человек слились в одно. А корень вещей в том, что вместе крали. Вывезли десятки тюков – консервов, сала, сахару. Все можно было тогда брать, и все это оказывалось общим. Столовой ложкой товарищ лезет в мешок с сахаром и валит в кашу. Лица каменные. Крутят папироски и, зажав

нос двумя пальцами, смачно сморкается тут же на мешки. Полковник словно не замечает. В этой группе нет голодовки: услаждаются с утра до вечера и с вечера до утра.

Привезли на пароход мясные туши и хлеб. Чтобы голодная толпа не расхватала, сгружали, поставив охрану. Но все-таки один полковник стащил кусок сырого мяса. Голод был людям невмоготу.

Бедная Любочка! Рано утром на палубе разыгрался скандал.

Всю ночь шел дождь. Едва мерцал рассвет. Вдруг из логовища напротив, где ютилась все эти дни Любочка с ревнивым мужем, раздался крик: – Мне больно! Ай!

То муж учил жену. Она вскочила и с отчаянием в голосе закричала:

– Я не могу больше! Это невозможно: всю ночь вынимает бритву, угрожая зарезать. Ну, режь! Не боюсь я твоей бритвы.

Муж угрожал публично зарезать жену. И никто не вступился. Кругом молчали. Ну и узы Гименея! Хуже рабства. К вечеру они уже целовались.

А во тьме ночной сосед-гвардеец – лежали ведь вповалку, – прижавшись между своей женой и моей соседкой, гулял рукой там, где не полагается, и наслаждался нащупываемой красотой ее упругих форм.

Мы уже несколько дней стояли в бухте Бакар и готовились к высадке. Опять бесконечные списки и регистрации.

Палубные беженцы ненавидели каютных. Зависть клокотала в душе по отношению ко всякому, кто захватил лучшее место. Однажды десятилетний мальчик заявил: «Лучше смерть, чем такая жизнь».

Жены устраивали скандалы мужьям. Мужья ревновали своих заедаемых вшами жен, потерявших всякий облик женственности. Вся грязь семейной жизни выносилась на глаза публики и заставляла зрителя, не имеющего несчастья в этих условиях иметь жену, содрогаться перед институтом брачного рабства и права насилия одного человека над другим.

Из казней революции стоит упомянуть еще о крысах. На всяком пароходе их тьма, и моряки с ними сживаются. По ночам они бегают по

спящим людям, но их не обижают. Как-то ночью мне на голову скакнула крыса. Я только потом сообразил, что это была крыса, а в момент ее скачка я даже не почувствовал недовольства на обидчицу. Но что значили крысы и вши по сравнению с той нравственной пропастью, в которую свалились люди?

Я вспомнил сцену воровства на «Ялте». Темной ночью я вышел на палубу и созерцал звезды. Вдруг слышу у самых моих ног отчаянный вопль:

– Господи! Грабят! Он схватил мой чемодан и бежит! Вон он! Задержите!

Я бросился по скользкой палубе в полном мраке за воров, крепко схватил его за шиворот, когда он по лестнице уже спускался в трюм.

Ночью меня по тревоге вызвали на палубу к корме. С лестницы упала женщина. Около нее, лежавшей окровавленной и без сознания, толпились люди и суетился ревнивый муж Любочки, ушедшей после сцены ночевать на корму. «Господи! – подумал я. – Неужели это Любочка проделала такую штуку». Теперь муж трусил, каялся за сцену и робко звал ее. Так часто супруги, наскандалив, начинают опасаться, как бы другой не сделал с собой чего, и трусят, не спят и волнуются.

Растолкав толпу, я наклонился над женщиной. Сначала мне самому показалось, что это Любочка, но, присмотревшись ближе, я сказал ревнивцу-мужу:

– Да что вы? Это вовсе не она.

Он стушевался, смущенный и довольный. Судьба чужой женщины его дальше не интересовала. Суетились кругом без меры. Каждый советовал, кричал: «Воды!» Я осмотрел больную. Серьезных повреждений не было. Разбиты были губа и бровь. Теперь появился настоящий муж. Он выл, как пес, и, раза два назвав жену ласкательным именем, вдруг забеспокоился и стал кричать:

– Сволочь! Позанимали каюты, а я на палубе!

Вот так штука! Не о том скорбит, что ушиблась жена, а о том, что другие позанимали лучшие места! Злоба к другим, ненависть и зависть.

Не важно, что человек испытывает лишения, а важно то, что где-то в каютах есть люди, устроившиеся лучше.

Когда женщина пришла в себя, поднялась забота вовсе не о подаче медицинской помощи, а о том, как бы использовать положение и вышвырнуть из кают-компании других, а раненую туда вместить.

– Там мужчины, все здоровые! – кричали женщины. – Согнать!

Пошли в атаку на кают-компанию.

О Боже, что там было! Помещение, когда-то приличное, теперь было мрачным, полутемным. Все сплошь: столы, диваны, пол были завалены телами спящих вповалку. Скорчившись, сидели фигуры на стульях в невероятных позах. Все было тихо и неподвижно. Тяжелый, спертый воздух висел над ними: даже смрад его не обонялся.

Муж упавшей женщины вел ее за собой, протискиваясь вперед. Он громко требовал, чтобы дали место. Доброй волей не уступит никто.

В ответ гробовое молчание. Злобно спросонку глядят на вторгшихся. Делают вид, что не слышат и что это их не касается, или притворяются спящими. А втихомолку каждый думает: «Почему же я? Пусть место уступит другой». Справа пошевелились и дали больной место на полу. Так нет же: муж настойчиво требовал место на диване.

Я посмотрел туда и ужаснулся. На диване в полутьме сидела старуха, когда-то дама из культурного общества. Растрепанные клочья седых волос белели в полумраке, и на меня глядело страшное, изможденное страданием лицо со свинцовым взглядом. В нем было столько отчаяния. Она сидела рядом с девочкой, а дальше чернели еще тела людей.

– Помилуйте, нас трое на одном месте всидячку, – безнадежно стонала старуха.

Кругом молчание, и это молчание было страшнее слов.

Мне стало страшно за человека, и моя злоба и ненависть к искалеченным людям сменилась бесконечной жалостью. Я видел много горя и страданий, но *этого* я еще не видал!

Человек... Да и существовал ли теперь человек?

Низкие инстинкты... Право на жизнь...

Я уложил больную.

Ушел я после этой сцены прежним человеком. Я перестал ненавидеть людей. Сердце сжималось от горя за этих несчастных. И мне стало ясно, что не они виноваты в своем озверении. Вот она, лучезарная революция. Вот реализация вожелений господ Милюковых и Струве.

От печали и страданий людских я ушел в мир сонных грез. Там отдыхал я от горя человеческого.

Если сатана хотел придумать ад со всеми его ужасами, то ему надо было бы поучиться у творцов резолюции.

Когда «Буревестник» Горького летал над Русской землей, он лгал, сворачивая слабые мозги предреволюционной интеллигенции. И только пережив и видев все эти картины, можно понять истинное лицо революции, а поняв – возненавидеть революцию так, как ненавижу ее я.

2 декабря по старому стилю мы вырвались из железных объятий парохода.

Так кончился первый этап послереволюционных мытарств, и вместе с ним окончательно закатилось солнце земли Русской. Мы превратились из граждан Великой Державы в презираемых всеми беженцев. И долгие годы с печатью Каина мы несли свой крест.

Первое приветствие, которое я услышал от местного крестьянина в эмиграции: «А, это врангелевцы! Е... их мать!» Это было благословение на полную морального ужаса и непрерывных унижений новую жизнь. Жизнь не русского гражданина, а бесправного живого существа, заклеенного печатью злейшего врага России Фритьофа Нансена.

## ГЛАВА XXIII

### Лицо Добровольческой армии

В короткие дни моего пребывания в Новороссийске до заболевания сыпным тифом передо мной несколько ближе вскрылось лицо Добровольческой армии. Я узнал многое такое, о чем не подозревал раньше.

Я идеализировал армию и думал, что она идет по пути спасения исторической России и приведет ее к монарху. Монархистов было слишком много среди бойцов, и левизна головки армии не была ясна огромному большинству офицерства, составлявшего ее боевой элемент. Я потому и пошел в ряды Добровольческой армии, что верил ее руководителям.

Алексеев и Корнилов тогда были уже покойниками, но их ореол стоял в Добровольческой армии высоко. Раз я пишу свой фильм русской революции, я должен сказать, как проявились на нем фигуры главных вождей Белого движения. Ни Алексеева, ни Корнилова, ни даже Врангеля я ни разу не видел. Деникина видел в Новороссийске только издали, но все они ярко запечатлелись в моей психике такими, какими их обрисовывала их деятельность и рассказы лиц, с ними непосредственно соприкасавшихся.

Сложилось у меня о них свое мнение, выкристаллизовались свои симпатии и антипатии. Это ведь не частные личности, а деятели определенной эпохи, игравшие в ней определенную роль. И каждый участник драмы имеет право о них судить по-своему. Я не виноват, если моя оценка всех этих деятелей отрицательна.

Прежде всего надо констатировать, что Белая армия войну проиграла. Можно это поражение объяснять, оправдывать ее руководителей, но, конечно, победные фанфары, воспевающие доблесть бойцов, дают напевы, более похожие на похоронный марш, чем на победный гимн. Вполне справедливо отдать дань благодарности генералу Врангелю и генералу Махрову за спасение остатков разбитой армии блестяще разработанной и проведенной эвакуацией.

А затем русский человек может только скорбеть о поражении, которое окончательно закрепило гибель России на долгие десятилетия. Обыкновенно в здоровое время поражение оплакивают, а не гордятся им. В душе отдельный человек может гордиться сознанием исполненного долга и повествовать о подвигах своих соратников.

Величайшее унижение есть плен или интернирование разбитой армии на чужбине. Об этом можно плакать, но этим нечего гордиться.

И когда я гляжу на галлиполийский значок, я вижу в нем символ российского горя и унижения, а не величие подвига.

Но побежденный, хотя и герой, все же остается побежденным, а если это полководец, то он должен оправдаться, не потерпел ли он поражение по своей вине. Вот это-то и есть главный вопрос по отношению к вождям Белого движения: виноваты ли они в поражении ведомой ими армии? Я лично думаю, что виноваты, хотя и имеется много смягчающих обстоятельств.

Война без лозунгов, без осознания, за что и во имя чего борешься, всегда осуждена на поражение, и этого не могли не сознавать полководцы, изучавшие, кроме военных наук, и психологию. Все помнят передаваемое в Новороссийске замечание английского генерала, сказанное русским вождям: «Неизвестно, за кого и за что вы боретесь».

Добровольческая армия дала множество доблестных борцов: Бабиев, Дроздовский, Кутепов, Покровский, Топорков, Туркул, Шкуро и множество других. Все это были офицеры Императорской армии, уже раньше, на полях сражений Великой войны, запечатлевшие свою отвагу. Никто не сомневается в их мужестве и выполнении ими своего долга.

Но политика вождей – тогда этого слова еще не знали – свернула армию русских бойцов с исторического пути и привела их остатки позже, в эмиграции, к печальному лозунгу непредрешенства. Боец, не предрешающий, за что дерется, есть уже живой труп. И в этом, конечно, лежит причина поражения Добровольческой, а позже Русской армии.

Впоследствии февральская эмиграция, проникнутая «завоеваниями революции», воспевала гимн Белой армии, лавры воздавались ее вождям. Это сплошь за исключением Кутепова были отрекшиеся от исторической России и Императорского штандарта и тянувшиеся к «новой», еще никому неизвестной России. Их гимном был девиз: «К старому возврата нет». Из печального поражения и разгрома создали подвиг и самовосхвалялись на ежегодных торжественных собраниях в память неосуществленных побед. Создали легенду «Ледяного похода», забыв гораздо более трагичный исход двенадцати тысяч добровольцев из Одессы и гибель их в днестров-



ских плавнях. Никто не почитает подвигом попытки генерала Васильева и полковника Стесселя спасти брошенные вождями на произвол судьбы дезорганизованные остатки Добровольческой армии в Одессе, а ведь этот отход похлеще «Ледяного похода», и это, конечно, не подвиг.

В то время как вожди были возведены на пьедестал эмиграцией, настоящие боевые офицеры, совершившие на полях сражений величайшие подвиги, остались в тени. Им даже бросили впоследствии обвинения в авантюризме и грабежах. Между тем участники Белого движения не могут не помнить той легендарной славы, которой тогда пользовались генералы и офицеры Белого движения, своими подвигами его и создавшие, которым совершенно чужды были будущие лозунги вождей и непредрешенства и которые оставались офицерами старой Русской армии по своим заветам и идеалам.

По всему Югу России и даже у большевиков гремело имя генерала Шкуро, и если внимательно прочесть историю добровольческого движения, фигура этого боевого офицера вырисовывается во весь рост. Он не попал в число вождей и даже встретил с их стороны отчуждение. Болтовня о грабежах его отряда не считается с горькой действительностью, когда боевая часть сама должна была изыскивать себе средства для содержания. Второе крупное имя – генерала Покровского: его заслуги в движении на Царицын неисчислимы. И от него также отреклись впоследствии непредрешенцы. Сквозь записки Врангеля маячит фигура генерала Топоркова, всюду появляющегося там, где тонко и где рвется боевая линия. Это фигура казака без непредрешенческих лозунгов и без претензии на роль вождя. В сфере моего фильма неоднократно обрисовывалась в лучших красках фигура генерала Слащева, столь несправедливо охаянная впоследствии вождями. Вождизм выкристаллизовался впоследствии, и ему вложена была идеология, по существу чуждая русскому офицерству.

Конечно, были люди беззаветно храбрые и среди ставших вождями. Слишком ярко врезались в память участников Белого движения храбрость и боевая деятельность генералов Казановича и Барбовича, чтобы не воздать должного этим достойным офицерам Императорской русской

армии, и, конечно, их личности, как боевых начальников, стоят много выше их же обликов в роли вождей. Массовый психоз, увлекший их в непредрежденство и на путь вождизма, сбил их с исторического русского пути и отвернул от Императорского штандарта. Но их заслуги прошлого впоследствии выровняют эти сдвиги, и русская история внесет их имена в список имен героев русского дела.

Но есть категория чистых политиков-вождей, идеологов Белого движения, боевые заслуги которых на полях сражений белых армий нулевые, тогда как их роль вождей и растлителей императорской идеологии вознесена высоко. Не стану называть их имена, ибо не мне судить их. Важно то, что идеология Белого движения, отколовшаяся и противопоставленная таковой Императорской России, создана не ими, а группой лиц, вовсе не принадлежащих ни к героям и ни к бойцам, с прапорщиком Цуриковым во главе и с несколькими полковниками Генерального штаба предвоенной формации. Они пройдут бесславно в истории России, и о них не стоит говорить. Но есть еще одна большая группа военных «перелетов», которая, выполнив свою недостойную роль в белых армиях, перекинулась к большевикам и там бесславно кончила свое жалкое существование. Я говорю о генералах Монкевице, Добророльском, Достовалове, Скоблине и некоторых других. Как могли эти генералы служить Белому движению и что они исповедовали? Как мог командир Корниловской дивизии быть предателем и шпионом и так ловко нести свою двойную роль? И почему непредрежденные вожди были так слепы, если они действительно считали непредрежденческую маску лишь тактическим ходом? Есть и еще одно обстоятельство, которое, однако, имеет психологическую ценность: большинство вождей непредрежденчества, носящих звание русских генералов, – низкого происхождения. А это значит, что таковые не имели традиционных связей с великим прошлым Империи и связи с историей государства Российского. Правда, и аристократия играла в Белом движении жалкую роль и не выполнила своего исторического назначения. Да и во всей революции она играла недостойную роль, в начале ее покинув своего Императора.

Дело тут не в крови, а в наследственных традициях и преданиях рода, связанного с военной историей России. И когда Великий князь Андрей Владимирович рвался поступить в ряды бойцов белых армий, ему было грубо отказано. Единственный из вождей и полководцев аристократического происхождения и связанный с Императором, как офицер конной гвардии, барон Врангель, также пошатнулся в своей идеологии и от Императорского штандарта свернул к программе, выработанной Струве.

Вот тот бред революционного психоза, который захватил безусловно честных людей и героев старой России, чтобы повести их на путь бесславия и отречения от всего святого, что на протяжении веков составляло доблесть русского воина и русского богатыря.

Фигура генерала Алексеева, как начальника штаба Государя во время Великой войны, обрисовалась в самых лучших тонах, и никому не приходило в голову, что ему придется стать предателем своего Царя и Верховного главнокомандующего. Драма в Ставке и роль генерала Алексеева в свержении Императора выяснилась только через много лет. Ныне она стала достоянием истории. Называть ли это деяние преступлением или роковой ошибкой – это дело темперамента и вкуса. Во всяком случае, ответственность за его деяния лежит на генерале Алексееве. В нем видят чуть ли не главного виновника русской катастрофы. Это, конечно, неправильно: не генерал Алексеев создал революцию, он был даже чужд ее идеалам. Но роль, которую он сыграл по отношению к Государю, конечно, не может быть ничем оправдана. В силу занимаемого им положения он нанес смертельный удар и Царю и России. На нем лежит грех выполнения лишения свободы Государя и передачи его в руки палачей. Все поведение генерала выяснено историей, и повторять его описание я здесь не буду. Однако все дальнейшее поведение генерала Алексеева не оставляет сомнения в том, что он очень скоро осознал свою ошибку и безуспешно старался ее исправить. Создание им Добровольческой армии было попыткой искупления, и – кто знает – не столкни его судьба с Корниловым, быть может, его попытка и удалась бы. Генерал Алексеев говорил о том, что надеется, что скоро над Добровольческой армией зареют

императорские знамена. Я лично верю в искренность раскаяния генерала Алексеева и как психиатр, знающий силу психической заразы, не питаю к нему антипатии. Возмездие было страшно. Вместо исторической славы и высших почестей, которые по заслугам дала бы ему Царская Россия, – бесславию и забытая могила на чужбине, куда был перевезен его прах.

Очерчивая лицо Добровольческой армии, нельзя забывать злых гениев, витавших вокруг нее. При генерале Алексееве времен формирования добровольческой армии состоял совет (цитирую по профессору генералу Головину) из Федорова, Струве, князя Е. Трубецкого, Милюкова, Вензяговского. Это все были бесы Февральской революции и разрушители Императорской России. А где был Струве, там была гибель России. Позже Белая армия связалась с профессиональным убийцей революции Савенковым и убийцей Гапона Рутенбергом. В письме ко мне крупного генерала Императорской армии, в добровольческой борьбе заведовавшего целой областью, хранящемся в моем архиве, он пишет: «Говорят, что мы должны хранить заветы (вождей) Белого движения. Можно ли лепетать такие глупости?.. Хранить заветы тех, кто нарушил присягу и изменил Государю! Генерал Алексеев мог повернуть колесо истории и раздавить революцию, а он, наоборот, пошел в ногу с заговорщиками. (Впоследствии) он каждый день, ложась спать, говорил: “Никогда не прощу себе, что поверил в честность и искренность людей, послушал их советов и послал телеграммы главнокомандующим фронтами, чтобы просили Государя отречься”».

В очень отрицательных тонах проходит через мой фильм фигура генерала Корнилова и как личности, и как деятеля. О нем также современник имеет право иметь свое суждение. К нему в моей душе нет никакой симпатии. В лице Корнилова мы видим определенного, непримиримого и злобного противомонархиста. Он, по словам генерала Головина, заявлял себя открыто и публично республиканцем и разделял программу Керенского, которая была тождественна с быховской.

О Корнилове я слышал много от лиц, его близко видевших, и рисую его образ таким, каким он обрисовался в моей психике.

В Карпатских горах завершалась драма части Русской армии. При доблестном отходе 48-й дивизии ее командир будто бы пожертвовал собой, остался на позиции, прикрывая отход армии, и был пленен. Так говорит одна версия. В письме ко мне один из крупных военачальников пишет: «Корнилов был обласкан и награжден Государем даже не по заслугам. Он дал ему орден Св. Георгия III степени, произвел в генералы от инфантерии и назначил командиром корпуса после прибытия его из плена. Ныне оказывается из документов, что только благодаря ему дивизия попала в большинстве в плен. У Корнилова всегда было упрямство и неподчинение начальникам, неисполнение приказаний. Об этом подробно описано у военного историка Симанского. “Где генерал Корнилов, там всегда неудача”. Когда Корнилов увидел, что грозит плен, он передал командование дивизией бригадному командиру, сказав, что не хочет попасть в плен, и ушел в лес со штабом дивизии. А вышло наоборот: командир бригады с частью нижних чинов пробился, а Корнилов попал в плен».

А вот и другое поразительное сведение, за которое никак не ручаюсь, но которое очень характерно. В плену генерал Корнилов находился в крепости Петроварадин около Нового Сада, ныне находящейся в пределах Югославии. Там теперь есть русские эмигранты. Бывшие австрийские чиновники рассказывали полковнику Васильеву, будто бы во время нахождения в плену Корнилов агитировал против Императора Николая II или, по крайней мере, высказывал мнение о том, что Государя надо свергнуть с Престола. И будто бы этим объясняется тайна его бегства. Это не так невероятно, если принять во внимание, что в записках Врангеля мы читаем о таком же открытом заявлении, сделанном ему единомышленником Корнилова генералом Крымовым. Насколько это правда, судить трудно, но отношение Корнилова к Императору и Царской семье с этим вяжется.

В югословенских газетах промелькнуло показание срезского начальника из Петроварадина, данное им на суде, где он утверждал, что сам сопровождал генерала Корнилова до русской границы.

Позор плена, однако, не коснулся генерала Корнилова. Он бежал из вражеского плена. Подвиг его был оценен Царем и благодарным Отечеством. Лавры были возложены на голову героя, имя которого прогремело на всю Россию. Ему были оказаны знаки внимания со стороны Самодержавного Монарха. Он был принят как личный гость Государя и жил во дворце как друг Царской семьи. Имя Корнилова легендарно звучало по всей Русской земле, а страницы родной истории жаждали вписать имя героя, которого ждала слава и преуспеяние.

Пронесятся грозные тучи над Русской землей. Великое смятение помрачает русский дух, и летят в пучину бедствия слава, честь и доблесть долга.

Предатели и заговорщики, свергшие Царя, провозглашают весну новой жизни, сулят благорастворение воздухов и в атмосфере преступлений мечтают создать земной рай. Но бушуют страсти, и в хаосе всеразрушения обрисовывается зловещее предостережение – «Мене, текел, фарес»...

Взоры смущенных владык новой жизни, побуждаемые инстинктом самосохранения, обращаются на того, чье имя беспорочно звучало в умах людей. Палачи Царя призывают доблестного воина спасти положение, назначая его на высокий пост командующего войсками Петроградского военного округа.

Как смутился дух героя и почему он, облеченный доверием Монарха, принял власть из рук заговорщиков, можно понять, только зная психические диссонансы этих подлых дней.

Копошилась подлость в сердцах людей, а носитель суровой дисциплины, легковверный генерал, думал, что долг его – повиноваться новой власти. Он надеялся справиться с морем безумия и овладеть стихиями. Мелким бесом подползал к генералу палач Государя – Гучков. И смутил дух храброго воина.

7 марта группа заговорщиков и предателей России в лице Временного правительства совершает самый подлый акт русской истории: оно пишет свое гнусное постановление о лишении свободы Государя и его

Семьи. Вот где коренятся начала царевубийства. На документе, предначертующем екатеринбургское злодеяние, красуются подписи интеллектуальных царевубийц, предтеч Юровского. Санкция на преступление дана русским князем Львовым, Милюковым, Керенским и прочими актерами этого времени. И наряду с Юровским, Белобородовым, Медведевым им суждено будет во веки веков носить подлинный титул настоящих убийц благороднейшего из государей, Николая II. Самый акт написан в непристойных тонах. Его, конечно, постараются скрыть пред лицом истории, но мне о нем говорили люди, которые его читали, и их долг воспроизвести его. В этом акте попирается достоинство и честь прошлого и бросается вызов будущему. В безумии своем эти люди не думают о том, что придет время, когда их имена с клеймом срама будут записаны в историю родной земли, и не найдется русского человека, который без презрения будет произносить их имена.

Постановление сделано. Но кто же посмеет выполнить это вступление к царевубийству?

Бандит царского вагона, Гучков, будущий любимец русской левой эмиграции, подбирается к генералу, вручая ему подлое предписание за своей подписью опереточного военного министра от революции вместе с хамским документом Временного правительства. Гучков соблазняет генерала, льстит ему, напоминая о новом долге революционного воина. Тот должен-де во имя революции поднять руку на своего Царя и пренебречь присягой. Генералу предписывается арестовать Царскую семью в то время, как русский Царь арестовывается в Ставке генералом Алексеевым.

Все это записано мною со слов полковника Генерального штаба, по должности сопровождавшего генерала Корнилова в его поездке к Царице. Опубликование его имени преждевременно, но его показание передано в соответственное место и будет своевременно опубликовано. Моя запись ему прочитана и им подтверждена.

«Фрейдовский конфликт»: с одной стороны, воинское подчинение самой презренной в истории самозваной власти – Временному прави-

тельству Февральской революции, – а с другой стороны, старая воинская честь и эмблемы прошлого. Но не те были времена, когда можно было разбираться в этом смраде! Пиджачок повелевает, а царский генеральский мундир выполняет позорнейшее постановление. Надо было сделать вооруженное нападение на Царицу, и подлые силы революции возлагают это поручение на русского генерала.

По словам его спутника, мрачно ехал во дворец Императрицы генерал Корнилов и говорил, что если Государыня не согласится принять его, придется прибегнуть к насильственному вторжению во дворец. Скорбно приняли вестника смерти гофмаршал Бенкендорф и граф Апраксин, и содрогнулись грядущему: *революция ведь убивает царей*. Но Государыня согласилась принять генерала.

Полк Его Величества и дворцовая полиция уже были разоружены заранее заботливой рукой вождей революции. При оружии остался караул запасного стрелкового полка. Главнокомандующий войсками округа, входя во дворец, обращается к этому караулу с революционным призывом, освобождая солдат от долга, и зовет их к переходу на сторону революции.

С достоинством вышла Царица к послу революции, еще недавно бывшему обласканным гостем в этих самых палатах. Государыня протянула руку, и генерал ее поцеловал.

«На меня выпал тяжелый долг сообщить Вашему Величеству...» – и он прочел послание Гучкова и еще более гнусное постановление Временного правительства. Императрица пошатнулась, но, быстро овладев собою, сказала: «Я подчиняюсь». Генерал обратился к присутствовавшим со словами: «Я прошу вас выйти и оставить нас одних». Разговор наедине длился около 12 минут. О том, что говорилось, известно лишь со слов самого генерала, сказанных сопровождавшему его полковнику Генерального штаба, который передал это мне. Императрица сказала: «Я не удивляюсь, генерал, что эти люди хотели унижить Императора и Меня. Но как они унизили вас, возложив на вас такое поручение!»

Корнилов был груб с Императрицей. В этом сказалось все хамство революции. Вышедший из низов, он не сумел соблюсти приличия.



В императорском кабинете генерал объявил, что желающие могут оставаться или покинуть дворец. Первым отозвался командир Собственного Его Величества полка, генерал, заявивший, что он немедленно покидает дворец. Так понимал свой долг воин, на которого была возложена охрана русского Царя.

Но этим только начались унижения царственных мучеников. Царица-пленница хочет отслужить молебен. Но Государыня уже не хозяйка в своем доме. Для того чтобы помолиться, даже при урезанном тексте богослужения, требуется разрешение того генерала, который недавно был гостем Царицы. Императрица просит разрешения по телефону, единственная связь которого имеется со штабом округа. Полковник Генерального штаба докладывает об этом главнокомандующему, в кабинете которого сидит Гучков в роли военного министра. Прежде чем генерал успевает ответить, вскакивает со своего места Гучков и, стукнув кулаком по столу, заявляет: «Не разрешаю! Отказать!» (показания очевидца). Затем деятельность Корнилова погружается в глубокий мрак революционной низости. Он проваливается в своей роли командующего войсками, бросается на фронт и появляется в роли Верховного главнокомандующего. Еще раз блеснет луч протрезвления, и гибнущая Россия возложит свои надежды на царского генерала в его «бунте» против клоуна русской революции – Керенского. Затем закатится звезда воскресения, и наступит мрачное Быховское сидение, полулегендарный отход на Дон и рождение в муках Добровольческой армии.

Но это уже не старая Россия и не старые русские генералы, не фигуры первой Отечественной войны. Сожжены прошлые девизы и идеалы, запрещен державный гимн и отвергнута монархия. Геройские подвиги Белого движения хотя искупают грехи вождей, но не могут спасти Россию.

Затем выступают мрачные картины: «Сын простого казака» – тогда пролетарское происхождение считалось доблестью – генерал Корнилов вопит о том, что он не допустит восстановления на Российском престоле Царя из Дома Романовых. Он объявляет себя республиканцем и принимает программу, которая, по словам генерала Головина, ничем не от-

личается от таковой Керенского. Он награждает Георгиевским крестом унтер-офицера Кирпичникова, убившего начальника учебной команды, первого русского офицера. Он совершает преступления, которые в пору революционному товарищу солдату. В Добровольческой армии он организует «цветные войска» и внушает им, что «царь им не кумир». У Корнилова нет здорового государственного инстинкта, и он ведет армию, долженствующую освободить Россию, без исторических лозунгов.

В отражениях своих в моем психофильме фигура Корнилова проходит в отрицательных тонах, напоминая казачьего атамана Заруцкого в фильме 1612 года.

Это был убежденный революционер, получивший от Императорской России все возможное и ей изменивший и ее погубивший. Ведь когда фигурировал Корнилов, большевиков еще не было в помине.

Прошлое генерала Деникина хорошо известно и в боевом отношении полно героизма и подвигов. С молодых лет он был левым, и об этом тогда передавалось много рассказов. Тем не менее он попал на верхи Императорской армии и был несомненно выдающимся генералом, имя которого связано с подвигами Железной дивизии, которой он командовал во время Великой войны. В моей душе генерал Деникин из всех вождей белых армий пользуется наибольшей симпатией и уважением, хотя идеология его мне чужда. Стоя во главе Добровольческой армии, он сумел держаться корректно по отношению к монархистам и Императорской России, не оскорблял их и открытых выступлений против прошлого не проявлял. Он выкинул полуимпериалистический лозунг «Единая неделимая Россия», но не превратил Добровольческую армию в Императорскую.

В одно из моих странствований по Новороссийску я видел вблизи станции учение какой-то воинской части и встретил генерала Деникина, который ехал верхом на небольшой лошадке. Мне показали его поезд, в котором находился вагон моего старого приятеля, его нового начальника штаба П. С. Махрова. Этого талантливого генерала я знал еще в те времена, когда он был в Вильно капитаном Генерального штаба и мы вместе с ним работали над вопросами военной психологии. Это был в высокой

степени образованный офицер, о котором лестно отзывается и Врангель в своих записках. Меня потянуло было навестить своего старого знакомого, но я вспомнил, что теперь, с расформированием штаба Киевской области, я – ничто, а генерал был на верхах Добровольческой армии, и я воздержался от выполнения своего намерения.

В конце борьбы, когда армия Деникина уже разлагалась, возник вопрос о создании «союзного казачьего государства» («Записки» Врангеля, стр. 289), причем генерал Деникин заявил, что «ставит себе целью воссоздание России» (какой?). Будущая же форма правления для него – второстепенный вопрос. В телеграмме английского генерала Холмса говорится о «новой демократической политике» Деникина, которая никогда не была «правой». И совершенно верно, что Врангеля считали гораздо более правым.

В Новороссийске выяснилось, что вся группа генералов, окружающих Деникина, имеет левый уклон, а главное, что около него, в особом совещании, фигурируют кадеты и эсеры. Это мало обещало хорошего, а впрочем, в это время армия уже гибла.

В полных контурах и красках предо мной прошла фигура генерала Абрама Михайловича Драгомирова, под начальством которого я имел честь служить и к которому, несмотря на идеологические расхождения, я сохранил свои симпатии и личное уважение. Его имя на протяжении Великой войны безупречно. Он награжден двумя «Георгиями». Но вихрь революции подхватил этого воина, и родом и традициями связанного с Императорской Россией, и свернул его на путь непредрешенства, одним из апостолов которого он стал. Тогда я считал его монархистом, хранящим традиции великой империи.

Только много позже раскрылась передо мной подноготная «особого совещания» и сближение генерала с врагами Императорской России.

Но не один генерал Драгомиров попал в сети Струве и Савинкова. Впоследствии они еще полнее оплели генерала Врангеля и обрекли Белое движение на гибель, свернув его с исторического пути. От этой заразы тогда не было спасения. Лучшие генералы Императорской армии

не были знакомы с историей русского революционного движения, его партиями и с теорией «бесов» Достоевского. Поэтому они так трудно разбирались в этих течениях и попадали под влияние бесов революции.

Скорбным документом слабости духа русских командующих генералов является жалкая фотография, на которой главнокомандующий фронтом, в том числе Брусилов и Драгомиров, сняты стоящими на вытяжку перед Керенским, развязно усевшимся в центре этой группы, символизируя невозможную в нормальное время карикатуру. Как стыдно мне было глядеть на эту фотографию, в которой место славного русского Императора занял клоун революции, и как бы я хотел, чтобы этого позорного документа не существовало. Но глаза мои его видели, а как психиатр я толкую снимок как документ бредового состояния, охватившего достойнейших до того времени русских воинов, не понимавших тогда, что делают.

С этих пор и у Абрама Михайловича Драгомирова наблюдается двойственность. Его настоящее лицо – это лучший представитель генерала Императорской армии, носящий фамилию, освященную историческими традициями, со старыми навыками и честью. С другой стороны, мы видим чуждое его фигуре левое направление, искусственно привитое, усвоенное вследствие психической заразы человека, идущего по пути, ему чуждому. Роль апостола непредрешичества и вождя Белого движения так не идет этому доблестному генералу. Как он свернул с пути своих отцов и попал в стан непредрешицев, для меня непонятно. Как мог он подчиниться тому «навозу», который, по выражению командующего Добровольческой армией, она тащила в своем хвосте во время «Ледяного похода»?!

Я вижу лишь один маяк в черной ночи гибели России – это Императорский штандарт и облик законного преемника Престола царского. Абрам Михайлович думает спасти Россию, заведя ее в дебри непредрешичества. Сойдутся ли когда-нибудь эти пути?

На Добровольческой армии периода Деникина было два вредных нароста: Особое совещание и Осваг. Первое состояло исключительно из

левых элементов, деятелей Февраля и разрушителей России. Вторая организация, Осваг, была сплошь наполнена левым сбродом и только губила дело. Она оценена по справедливости и Врангелем в его записках. Не имея определенных идеалов и целей, что могла пропагандировать Добровольческая армия? А ведь Осваг был аппаратом пропаганды.

Белое движение оставило в эмиграции наследие в форме так называемых заветов его вождей. О каких вождах и о каких заветах идет речь?

Тогда в России вождей еще не знали. Там были превосходные боевые начальники и доблестные русские офицеры. В вождей их превратила эмиграция, и титул этот в моих глазах нисколько не является почетным.

Заветы! Я знаю заветы исторической Императорской России и заветы Императора Николая II. Это безграничная любовь и преданность России. Это шестая часть земной суши, занимаемая Россией. Это завет Царя-Освободителя, данный русскому народу: «Осени себя крестным знаменем, русский народ, и живи счастливой свободной жизнью». Это – честь воинская, благородство и героизм. Символы великой России – это державный гимн и лозунг «За Веру, Царя и Отечество».

О каких лозунгах и заветах говорят вожди?

Считать заветами свержение Императора и арест Семьи? – Это только проявление бредового массового безумия, когда лучшие люди не ведают того, что творят.

Завет генерала Деникина – «единая неделимая Россия?» Но ведь это только кусочек заветов Императорской России! У генерала Деникина на полях сражений Великой войны есть настоящие заветы Великой России: это традиции Железной дивизии, которой он командовал, и пример Луцкого прорыва.

Недосказанный завет Врангеля – это «хозяин земли Русской», под которым тогда в Крыму все разумели Императора Всероссийского.

Об отрицательных заветах быховских генералов, об изъятии гимна, об отречении от исторического лозунга, о приказе № 82 – говорить не стоит: их надо скорее забыть, ибо это есть проявление бреда, а не заветы.

И пусть в будущем, когда апостолы непредрежденства будут говорить о заветах, поясняют – о каких? Я таких заветов не знаю и на полях сражений белых армий о таковых не слыхал. Заветы же Корнилова и Керенского мне чужды.

Заветом первых дней революции было отречение от старого мира. Заветами февральских генералов в Ставке были измена Царю и присяге. Заветами быховских генералов было отречение от идеалов и традиций старой России и искание новых путей, измена идеологии Императорской армии. От суворовских чудо-богатырей – в болото непредрежденства. От Кутузова – к поручику Даватцу и прапорщику Цурикову! Заветы Керенского и Гучкова – слом фронта. Заветы Ленина – «грабь награбленное!». Все есть в этих новых призывах и заветах. Нет только призыва к старой славе и величию свергнутой Императорской России. Наследие всей революции до последнего этапа эмиграции – это великий российский срам. По словам одного русского писателя, «есть дела столь гнусные, что лучше было бы ослепнуть, чтобы не видеть их».

Белое движение не смогло победить этот срам, хотя надо воздать должное его попытке выбиться из ужаса революции.

Очень трудна для выяснения ее облика фигура генерала Врангеля. В тексте моей книги достаточно много приведено положительных черт этого «вождя», порою вызывавшего в моей душе восторг и поклонение. Тем глубже было разочарование впоследствии, когда его роковые ошибки убили идеологию Белой борьбы в эмиграции. Лучше было бы и этому деятелю русской трагедии не писать своих мемуаров, где воспроизведено и зафиксировано то, что лучше было бы стереть со страниц бытия. Во всяком случае, фигура Врангеля в декорации Белой борьбы красочна и имеет много героических черт. Над этим образом в памяти русского человека царит батальная картина ротмистра кавалерийского гвардейского полка, в славной атаке налетающего на германскую батарею и совершающего один из крупных подвигов Великой войны.

Предреволюционная атмосфера была нездоровая и заразила даже те круги, которые по самому смыслу, как гвардия, близко стоявшая к Царю,

должны были бы быть его опорой и быть ему преданы. Между тем гучковский заговор захватил и командиров крупных воинских частей на фронте. Врангель в своих записках («Белое Дело») пишет: «Одни из старших начальников, глубоко любя Родину и армию, жестоко страдали при виде роковых ошибок Государя, видели ту опасность, которая нарастала, и, искренне заблуждаясь, верили в возможность “дворцового переворота”...» По словам Врангеля, ярким примером такого взгляда являлся генерал Крымов, который говорил, что «должны найтись люди, которые ныне же немедля устранили бы Государя дворцовым переворотом».

Вот характерная картина измены в армии: дивизионный командир затевает свержение Царя, а командир полка, барон Российской империи и будущий Правитель Юга России, бывший офицер полка конной гвардии, не исполняет своего долга пресечения готовящегося преступления, забывая слова офицерской присяги. Врангель умалчивает, о каких «ошибках» Государя он говорит, чтобы впоследствии на собственном опыте убедиться, как легко делать роковые ошибки в роли «Правителя» и дать право критиковать его так, как он критиковал Царя. Генерал Врангель в Крыму подпал под влияние старого растлителя России, своего министра иностранных дел Струве, принял выработанную им программу, одобренную тогдашним председателем Совета министров во Франции Мильераном. Согласно этой программе (Белое Дело. Т. 6. Стр. 146), он «в полном единении с русским демократическим и патриотическим движением кладет в основу своей политики следующие начала: 1. Предоставление народу возможности определить форму правления России путем свободного изъявления своей воли». По второму пункту объявлено равенство гражданских и политических прав и личная неприкосновенность всех русских граждан без различия происхождения и религии. Третий пункт полностью закрепил «завоевания революции», предоставляя в полную собственность землю обрабатывающим крестьянам, как законное освящение захвата земли, совершенное крестьянами в течение революции. По четвертому пункту вождения рабочих были ограничены «защитой интересов рабочего класса и его профессиональных организаций».

Пункт пятый касается «государственных образований, созданных на территории России» – «в духе взаимного доверия и сотрудничества с ними правительство будет преследовать объединение различных частей России в одну широкую федерацию..., основанную на свободном соглашении...».

Шестой пункт говорит о восстановлении производительных сил России на основах, общих всем современным демократиям.

Эта программа во много раз левее таковых Керенского, быховской и даже эсеров. Нужно ли говорить, что, согласно этой программе, от Императорской России ничего не оставалось. И если бы она воплотилась в действительность, то, спрашивается, так ли велико было бы ее отличие от большевистской, где все эти вождедения были доведены до логического конца?

Эта струвевская программа впоследствии, в эмиграции, сыграла роковую роль, легши в основание непредрежденства. Если добавить к этому, что Врангелем было санкционировано изъятие народного гимна, лозунга «За Веру, Царя и Отечество, издан приказ № 82 и что министром иностранных дел при нем был Струве, то полное его отречение от Императорской России выясняется во всей полноте.

Это тем более характерно, что огромное большинство офицеров его армии считало Врангеля монархистом. Эти оповещения Врангеля в армии были малоизвестны.

Многие люди, близко знавшие Врангеля, не придают этой программе большого значения и думают, что Врангель сделал этот тактический ход как уступку времени и союзникам. Они думают, что он, получив власть, не выполнил бы ее, а вступил бы на старый исторический путь. Возможно. Но около него стояли две зловещие фигуры: сановник нового пошиба столыпинской формации Кривошеин и злой гений России Струве. Эти охранители мертвой хваткой уже овладели генералом, и едва ли он выпутался бы из их сетей.

Дело Врангеля было безнадежно. Десятки тысяч бойцов совершенно не подозревали, что они воюют за демократию и струвевские идеа-



лы, полагая, что Врангель лелеет в своих мечтах спасение единственной России, которая существовала в истории, – Царской.

Как правитель Врангель не был ни достаточно мудр, ни достаточно государственно образован. Он оставался только доблестным кавалерийским офицером, пошатнувшимся в своих идеологических основах.

Во имя программы, мало отличавшейся от идеологической большевистской, не было смысла воевать, жертвуя десятками тысяч человеческих жизней. Что же касается методики проведения исповедуемых программ в жизнь, то это была методика крови и жестокости, присущая всякой гражданской войне.

Предположим на миг, что армия Врангеля победила бы и его программа полностью осуществилась. Допустим, что народная воля, согласно вожеланиям Струве, высказалась бы за республику, что воцарился бы демократический режим, зафиксировался бы грабеж земли и федеративное устройство России. Чем этот режим отличался бы от большевистского, если бы террор представлялся законченным?

И если все-таки десятки тысяч бойцов шли на смерть, то только потому, что они этой программы не знали и считали Врангеля представителем старой исторической и, конечно, Царской России.

Что касается «народной воли», то надо совершенно открыто признать два положения. Во-первых, народная воля отвергла Белое движение, и народ выбрал красную, то есть большевистскую, ориентацию. А во-вторых, впоследствии большевики отлично инсценировали народную волю как опору своего режима, установив всеобщие выборы, республиканскую форму правления, прикрывшие самую настоящую тиранию. Пусть это есть инсценировка, но никакой другой формы изъясления народной воли не существует, и всякая другая власть, опирающаяся на «народную волю», поступила бы так же. А следовательно, непредрешать тут нечего, раз сам народ выбрал большевистский строй.

Окружение Врангеля было плачевное: ренегаты старого режима во главе с Кривошеиным. В иностранном ведомстве играл роль Базили – изменник и предатель Императора в Ставке, писавший текст отречения.

Фигурировал Маклаков. Многие генералы из ближайшего окружения Врангеля перешли потом к большевикам, а Корниловской дивизией командовал генерал Скоблин – предатель генерала Миллера. Начальник санитарной части доктор Лукашевич создал себе в медицинских кругах ужасающую репутацию. Генерал Шатилов в эмиграции подвергся весьма строгой оценке. Врангель не нашел себе сотрудников из старых и опытных деятелей Империи. В это же время в Польше, в контакте с представителем Врангеля, работал величайший бандит революции Савенков. Спрашивается, что могло выйти из такого симбиоза?

Контрреволюция имеет смысл постольку, поскольку она считает, что старый порядок был лучше и что революция не осуществила своих вождений. Всякая неопределенная и непредрежденческая идеология, отрекающаяся от старого и не приемлющая полностью новых начал, обречена на провал, и именно эта неопределенность лозунгов и программы и послужила основой гибели Белого дела. Получился абсурд: белые армии сражались руками монархистов и контрреволюционеров, которые среди бойцов были в подавляющем большинстве, во имя принципов, мало чем отличавшихся от таковых своего врага.

Врангеля обвиняли в авантюризме. Конечно, доля его была во всем Белом движении. Но это не есть порок, ибо во всякой гражданской войне и революции авантюризм неизбежен. Надо лишь пояснить, что под ним подразумевается. Если идти только на верную победу и не рисковать, то вообще ввязываться в такую борьбу нет смысла. И только потому, что цели борьбы были неясны, так часто слышались в рядах разгромленных белых армий возгласы: «Довольно авантюр! Не хочу больше воевать! Иду на соединение с семьей!»

Обследуя борьбу сил в период Белого движения, мы видим очень сложное соотношение. Если принять во внимание идеологию, программы вождей, то вся междоусобная война представляется борьбой не за восстановление старой, исторической и монархической России, а борьбой двух революций: Февральской (кадетско-социалистической) и Октябрьской большевистской. Между тем огромная масса бойцов, состоящих

из офицеров и процентно малого количества солдат и казаков, отдавала свою жизнь за спасение России старой, исторической, не «новой», неизвестной, к созданию которой стремились обе революции. Эта третья идеология и исповедовалась рядовым воинством и тем множеством превосходных офицеров, строевых и боевых, которых выдвинула Гражданская война на посты боевых начальников. Эти три течения причудливо переплетались. В то время как вожди Белого движения открыто не объявляли своей идеологии, его бойцы воображали, что они сражаются за прежнюю Россию с большевиками, которые хотят смести ее с лица земли.

## **ГЛАВА XXIV**

### **Отдельная страничка психофильма русской революции**

В этой книге описаны события, проходившие в моем созерцании более или менее непосредственно. Но за этими картинами действовали пружины иногда скрытые. Сюда относится деятельность по содействию вызову русской революции и поддержанию большевистского режима в России на протяжении четверти века со стороны иностранных держав. Преступления по отношению к России бывших союзников по Великой войне неисчислимы. Длинный ряд политических деятелей Западной Европы продолжает деяния французского и английского послов в Петербурге, принимавших участие в свержении царского режима, и поддерживает советский строй. Ллойд Джордж, Клемансо, Бриан, Эрио, Леон Блюм – злые гномы России.

Полным ходом поддерживается Февральская революция, альянс с Милюковым – Керенским, затем гибельный для России Версальский мир и отделение от России западных окраин. Затем игра, подобно кошки с мышкой, с Белым движением, крапленые карты которой цинично раскрываются в английском парламенте. Мильеран во Франции при посредстве Струве диктует генералу Врангелю свою скандальную

программу, которую немудрый Правитель Юга России провозглашает как свои вождения. Двадцать пять лет непрерывной тризны над погибающей Россией и поддержка режима, под игом которого стонет русский народ.

Наконец, всеразрушающее деяние народного фронта, грозящего погубить Испанию и обращающееся против самой Франции.

Надо ли вспоминать горделивое величие Польши под водительством Пилсудского, стремившегося окончательно погубить Россию и приводящего в конце концов к гибели свой народ?

А чехословацкий грабеж русского народа, предательство ими Колчака и осиное гнездо центра большевизма в сердце Европы, едва не сгубившее центральные державы!

Как бы ни были запутанны исторические события и каковы бы ни были дела людей, к ним причастных, истина со временем проявляется и получает более правильную оценку. Параллельно с этим странным образом констатируется возмездие за совершенное.

К числу таких событий, имеющих для русского человека громадное моральное значение, относится трагедия Мазурских озер. Таким событиям не следует давать поспешного приговора, а полезно их рассмотреть в аспекте последующих происшествий и тех последствий, которые они вызвали.

В начале Великой войны 1914–1918 годов в Восточной Пруссии произошло столкновение двух мощных армий: Императорской германской и Императорской русской. В результате первого столкновения получилось окружение двух русских корпусов и пленение, как ныне определяют германцы, 93 тысяч человек русских. По тому времени это была почти неслыханная катастрофа, и общественное мнение всего мира накинuloсь на Русскую армию с обвинением в ее негодности. Поспешно был вынесен приговор и руководителю 2-й русской армии генералу Самсонову. С тех пор сражение под Танненбергом стало притчей во языцех, и горделивая Европа тыкала этим поражением русское самолюбие, не допуская никаких объяснений. Храбрая германская армия воздвигла своей победе

грандиозный памятник на поле боя, а одинокая лесная могила генерала Самсонова была не только забыта, но и охаяна.

Между тем сквозь рокот злословия стал пробиваться мираж «чуда на Марне» и стыдливо послышался напев о «спасении Парижа».

Стремительно развивались события Великой войны. В сражениях брались уже не десятки, а сотни тысяч пленных, и по путям России нескончаемыми вереницами шли захваченные русскими войсками пленные. Однако впечатление танненбергской немецкой победы и русского поражения на Мазурских озерах по-прежнему господствовало и осталось основной легендой Великой войны. В последовавшем затем после революционной смуты сплошном унижении и горе русского человека никто не слушал оправданий, и мы, участники боев на Мазурских озерах, нашли свой протест в душе в смутной надежде, что, может быть, настанет час, когда восторжествует истина и будет отдана дань справедливости героям, своими костями усеявшими поля сражений.

Воинская часть, в составе которой я находился, в дни боев на Мазурских озерах стояла между двух небольших деревень, утопавших в зелени лесистых холмов – между Грюнвальдом и Танненбергом. Не тем Танненбергом, где Гинденбург принял свое гениальное и смелое решение, а тем Танненбергом, вблизи которого произошел Грюнвальдский бой со славным подвигом Смоленского ополчения. И я писал в своем дневнике 1914 года, что «кости побежденных русских смешались у Грюнвальда с костями их предков-победителей». У этой деревушки я торжественно хоронил двух первых русских солдат, умерших на моем перевязочном пункте.

В моей памяти закрепилась грандиозная картина передвижений и боев, как и переживания бойцов этой страшной битвы. Я был в составе 2-й армии генерала Самсонова, во 2-м корпусе, которым в эти дни командовал доблестный генерал Слюсаренко, с которым я добровольно вышел на войну. Этот корпус в начале боев был переброшен в армию генерала Ранненкампфа и фланговым маршем совершил свое передвижение, обойдя с востока крепость Летцен.

Известие о самсоновской неудаче мы получили у деревни Швейнемюнде, когда, обойдя два больших озера, стремились выполнить неизвестный нам план. Боевая часть не слишком хорошо знает общее положение дел, оставаясь в пределах своего созерцания. Но общее представление о положении дел у нас все-таки было правильное. В то время как к северу и вправо от нас генерал Ренненкампф удачным маневром отводил свои войска после победы у Гумбиннена, стремясь избежать флангового удара и частичного окружения, на наш корпус выпала задача принять на себя удар германцев к востоку от Ариса и Летцена. Германцы, покончив с двумя корпусами Самсонова, стремились развить свой успех и клином врезались между Августовскими лесами и Роминтьеном, по направлению к Гольдапу, и напоролись здесь на наш корпус. В поле моего созерцания с перевязочных пунктов, на которых я работал, рисовались кровавые бои у [Поссесрна] и впереди от Ариса, где, истекая кровью, вели бой славные полки Ново-Трокский (полковника Николаева) и Пермский (полковника Вахрушева), потеряв свыше 65 процентов своего состава, *но выполнив свою задачу*. Без тяжелых орудий, с не окончательно еще сформированными второочередными дивизиями, наши войска приняли этот удар и, задержав движение германцев, дали возможность войскам генерала Ренненкампфа благополучно избежать удара во фланг.

Не успела наша совершенно растрепанная дивизия пополниться в Олите, как мы были срочно переброшены на Неман к Меречу, куда германцы, изменив направление, наносили новый удар. Здесь наша 43-я дивизия, в составе которой я находился, шла во второй линии. Какая-то второочередная дивизия, шедшая впереди нас, приняла удар и преградила неприятелю путь на Неман. Нас спешно перебросили под Варшаву, на Вислу у Гура-Кальварии, где уже завязались новые бои. Наш корпус попал в 5-ю армию генерала Плеве, и этот выдающийся генерал отбросил противника от Варшавы.

Да, самсоновская армия претерпела поражение, но ее уцелевшие части, как и южные части армии генерала Ренненкампфа, выполнили свою задачу и задержали успех противника на Немане и под Варша-

вой. Много хаяли окруженные и сдавшиеся корпуса. Но стоит только вспомнить, как вели бои войска 15-го корпуса генерала Мартоса – впоследствии в эмиграции ставшего хулителем своего Императора, – чтобы констатировать, что они дрались храбро и доблестно. Один Дорогобужский полк своей кровью искупил позор поражения и выполнил свой долг, не считая потерь.

В чем же было дело? И почему корпуса генерала Самсонова были завлечены в ловушку и окружены?

Конечно, я не стану отрицать гениальности хода Гинденбурга и его начальника штаба Людендорфа. Это были доблестные противники, от которых не так уж стыдно потерпеть поражение, но суть дела была не в том. Наша 2-я армия, как и первая армия Ренненкампа, была брошена в Восточную Пруссию *во что бы то ни стало*. Мы еще не были готовы к наступлению. Тайна нашего стремительного движения вперед выяснилась для нас лишь впоследствии. *Мы шли спасать Париж ценою собственной гибели*. Смелым наступлением мы должны были отвлечь германские войска от Парижа и совершить «чудо на Марне», и *мы* его совершили!

Совершили для того, чтобы потом спасенные нами французы об этом забыли, а некоторые военные писатели их договорились до того, что русские им только мешали. Да. Мы спасали всех, кроме самих себя, для того чтобы убедиться, что на благодарность не способны спасенные нами народы.

Западный мир в течение четверти века свысока третировал подвиги русских войск и твердил о неспособности русского командования. Зачем же мы, как будто бы бессмысленно, толклись и путались между Алленштейном и Млавой? Чтобы завлечь туда два корпуса и дать их окружить? Нет, только для того, чтобы вместе с генералом Ренненкампом навлечь на себя германские корпуса из Франции!

И только теперь мы имеем экспериментальное разъяснение «чуда на Марне». Теперь этого чуда нет, и тщетно его призывают французские маршалы и генералы. Слабым эхом на их отчаянные призывы о помощи

звучат дипломатические обещания глав государств. Напрасны надежды, посылаемые через океан! «Кладите сначала денежки, а затем мы с опозданием пошлем вам устаревшее оружие».

Тогда, в 1914 году, времена и люди были другие. Верность союзникам была выше цены русской крови. Слово русского Императора было словом джентльмена, порода которых вывелась ныне в демократических державах. И русские войска были брошены на спасение Франции, чтобы выполнить обещание поддержки союзникам. У Самсонова, имевшего определенную задачу и ее выполнившего, погиб десяток тысяч бойцов и было пленено 93 тысячи русских воинов. Но русские войска преградили путь к своей границе. Во Фландрии одних французов погибло и было окружено в шесть раз больше, чем в армии Самсонова, причем поставленная им задача не была выполнена.

Весь свет кричит о храбрости плененных и не говорит о гнилости их корпусов, как делал по отношению к войскам Самсонова. Самсонов, верный традициям воинской чести, предпочел позору плена смерть. Два французских командующих армиями сдались противнику, забыв изречение, что только «мертвые срама не имут».

Не есть ли Фландрия реабилитация Мазурских озер? Нет русских корпусов, и нет «чуда на Марне».

И когда мы, участники боев на Мазурских озерах, читаем отчаянные призывы французской власти и слышим туманные обещания в ответ или гробовое молчание, то мы можем с долей гордости и самоудовлетворения сказать: нет больше благородного русского Царя, верившего вам, нет славных русских корпусов, и нет несправедливо охаянного доблестного генерала Самсонова, своей смертью искупившего неудачу кровавого подвига, на который он был послан русским Царем.

Забвение... Но только ли забвение русских подвигов? Припомним немного хронологию.

1914 год – чудо на Марне.

1916–1917 годы. Чуть только прозвучит с запада призыв, достаточно было намекнуть о помощи, – и русские корпуса бросались то на озеро



Нарочь, то в Брусиловский прорыв; и ставили кровавые пиявки на русские спины для отвлечения опасности от Вердена.

1917 год – трагический русский год свержения императорской власти. Где в эти дни и с кем душевно был посол Франции? Что делал приехавший еще в императорскую Россию французский социалист Тома?

1918–1919 годы – жуткая драма адмирала Колчака, выданного французским командованием вместе с чехами большевикам. Далее – повторение в меньшем масштабе севастопольской трагедии, где в тесном симбиозе с французами работает сын Максима Горького, майор французской службы Пешков. Затем следует длинейший фильм на те же темы. Французские концентрационные лагеря у Константинополя, где чернокожие зуавы лупят палками русских офицеров. Полуголодное существование беженцев с полупринудительными работами.

Немощное бессилие или нежелание справиться с похитителями генералов Кутепова и Миллера. Далее яркими блестками на черной ленте русского несчастья вспыхивают Бриан, Эрио и красочная фигура Леона Блюма. Воздается горячая благодарность за чудо на Марне, но не по адресу: чтится полубог демократической Европы, фальшивомонетчик императорской России Литвинов.

И, наконец, апофеоз выражается в принудительной отсылке на фронт рядовыми бывших русских офицеров, командовавших частями, спасавшими Париж, с отдачей под команду французских капралов. В то же положение попали в начале войны и призванные православные русские священники.

Русские забыли о том, что значит благодарность. Но плутократия имеет понятие о плате. Америка ведь не отказывается от платы за обещаемое оружие! Это вам не русский Царь, который, когда союзники спросили, кто оплатит содержание на Корфу сербской армии, ответил: «Платить буду я из личных средств».

Россия давала союзникам все лучшее. На французский фронт была послана русская часть под командой генерала Лохвицкого. Это были образцовые войска, сражавшиеся в рядах французов. Правда, после рево-

люции они разложились. Но разве не разложились в Одессе французские войска и разве не бежали они трусливо от большевистских банд Григорьева? И генерал Лохвицкий получил причитающуюся плату за русскую кровь. Он окончил свою жизнь во Франции, долгие годы прозябая в мансарде третьеразрядной гостиницы, зарабатывая себе пропитание работой ночного шофера.

Вожди «народного фронта» широко использовали закон забвения, но они забыли о законе возмездия.

Версальским договором союзники поделили Россию и отрезали от нее лимитрофы, закрыв России путь Великого Петра. Мы, эмигранты, противники большевиков. Но когда видим, как Молотов теперь забирает ограбленное назад, мы, монархисты, готовы ему аплодировать, видя в его действиях возмездие за преступления против России.

Верные рыцарским заветам, мы посочувствуем горемычной судьбе большой державы, приведенной в бездну вождями народного фронта. Возмездие, на долю французского народа выпавшее, является карой Божьей, показывающей, что не все деяния проходят безнаказанно. Настал действительно день, когда отсутствие русской помощи стало роковым для народа, который в своей истории когда-то был великим. Но, охваченный еще революционным безумием 1789 года, он не сумел учесть действительности и сам погубил себя, на протяжении четверти века губя бывший ему союзным русский народ.

Ныне эта держава получила возмездие, и кажется, что только теперь наступил конец революции 1789 года.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Всякий фильм зависит от съемочного аппарата и от оператора, им руководящего. В данном случае аппарат – это я, а роль оператора играет моя личность, дающая психологическую обработку фильма.

Хотя эта личность и проходит частично в этом фильме, но несколько добавочных черточек кажутся мне не лишними.

Книга эта вызовет резко отрицательное отношение всего левонастроенного русского общества, и автор ее, как личность и общественный деятель, едва ли получит лестную оценку, ибо дерзает говорить то, о чем принято молчать. Он по своему беспокойному нраву не хочет и не умеет приспособливаться к условиям времени и любит идти против течения. Но для того чтобы понять многое в этой книге, касающееся созерцаемого фильма – ибо созерцает его все-таки человек, – я дам несколько характерных черточек личности автора, как ее очертил мой горячо в течение всей жизни чтимый и любимый учитель профессор П. И. Ковалевский, не только давший основу моим научным знаниям, но и вложивший в мою психику многие черты характера того неисправимого борца, которым меня сделала жизнь. Образ моего учителя был путеводной звездой во всех деяниях, которые мне удалось выполнить на пользу ближних. Он же дал и направление всей моей ученой деятельности.

Профессор П. И. Ковалевский скончался в эмиграции в Бельгии и уже в изгнании поддерживал со мной переписку. Вот его в некоторых черточках довольно строгая характеристика, данная учителем любимому ученику, – очерк учителя и друга автора, знаменитого русского психиатра профессора П. И. Ковалевского, напечатанный в «Новом времени» в день 35-летнего юбилея автора.

## **Профессор Н. В. КРАИНСКИЙ**

24/11 декабря исполняется 35 лет ученой и общественной деятельности известного, достойного и полезного ученого и общественного деятеля России Н. В. Краинского. Да позволено будет мне, как бывшему его учителю, сказать о нем несколько слов.

Н. В. Краинский вышел из семьи интеллигентной и состоятельной, но стремившейся не к растрате имущества, а к созиданию, тем более что

и семья эта была немалая: много сыновей и дочь. Я редко бывал в гостях, но у Краинских изредка бывал, и меня всегда поражал в их доме ужасный шум и гам: в одной комнате раздавалась виолончель, в другой скрипки, в третьей фортепиано, пение и проч. Н. В. был еще студентом первых курсов. Как декан факультета, я знал, что студент Краинский – «особенный»: он весьма усердно и тщательно изучает и гистологию, и химию, и физиологию, и общую патологию, и пр. – и не только теоретически, а и экспериментально. При этом он являлся не покорным исполнителем велений профессора и ассистентов, а часто вмешивался в пререкания и споры, причем нередко выходил правым. Это не был лакействующий искатель, а самостоятельный работник. Спина его была очень крепка и неспособна была изгибаться. Я в это время имел летом (с мая по август) грандиозную практику на кавказских минеральных водах и брал с собою 2–3 ассистентов, массажиста и студента-химика. Когда Н. В. прошел 4-й курс, я взял его с собой в Пятигорск в качестве химика для анализов. Его вся моя компания горячо полюбила. Это был юноша чистый, честный, обходительный, откровенный и до невозможности прямой в обращении со всеми, и вместе с тем в житейских делах наивный, как ребенок. В июне – июле на Кавказе явилась холера. В станице Солдатской продолжался бунт против медицины. Врача убили. Вызовы врачей на это место безрезультатны. Никто не хотел ехать. Вдруг Краинский вечером является ко мне и заявляет, что он едет в Солдатскую на холеру. Грешный человек, я его отговаривал, но наутро Краинский уже укатил. Через полтора месяца он вернулся с адресом от жителей Солдатской и иконою – благословением от станицы за спасение.

Возвратившийся студент Краинский пишет сочинение на заданную мною тему по невропатологии и получает золотую медаль от университета, оканчивает курс на медицинском факультете *sum eximia laude*\*, немедленно держит и выдерживает экзамен на доктора медицины и пишет диссертацию по физиологической химии. Ему кафедра улыбается, но, по прямоте своего характера, Краинский сорвался. В своей диссертации он

---

\* С особой похвалой, почетом (*лат.*).

так отработал своего учителя-химика, что факультет возопил: «Краинский прав, но все же...» Кафедра перестала улыбаться.

Краинский – директор Харьковского дома умалишенных (Сабурова дача). Составляет штат молодых врачей. Работа идет идеально. Реформа идет на славу. Но... Краинский требует от врачей непосильной работы, а от земских деятелей – прекращения воровства. Первые поднимают интриги, гадости, клевету, вторые защищают свой карман. Краинский летит. Без места, без средств. Но он имеет уже имя серьезного психиатра, и этого «мальчишку» назначают директором Винницкой окружной лечебницы для душевнобольных на несколько тысяч человек.

Краинский проводит дни и ночи на постройке лечебницы. Лечебница выходит на славу и идет блестяще. Но Краинский разоблачает воровство многих тысяч и уличает в нем не только подрядчика, но и директора департамента с его помощником, причем в своей книге требует суда над собою. Суду он не был предан, а получил орден на шею и отставку.

Краинский возвращает орден обратно, заявив, что, если он уволен, то недостоин награды, а если прав, то не должен быть уволенным. Дело кончилось тем, что Краинский улетел на борьбу с чумой в Персию, в необъятные пустые степи. Но и чума его не взяла.

Краинский на Японском фронте. По пути, в одном из восточных городов России, не будучи ни юдофилом, ни юдофобом, он во время еврейского погрома, рискуя своей жизнью, спасает избиваемого еврейчика и попадает в каталажку.

Краинский имеет прекрасную практику в Вильно. Устраивает свою лабораторию. Работает. Получает за свою работу по химии премии от Бельгийской академии наук, из Америки, выпускает целый ряд ученых работ, держит экзамены в Петербургском университете по физико-математическому факультету и с честью оканчивает его. Он весьма остроумно и оригинально применяет математические познания к отвлеченным наукам. Открывает свою лечебницу близ Киева и ведет дело образцово. Что с ним случилось в революционное время, не знаю. Будучи сам два раза под расстрелом и накануне посадки в Петропавловскую

крепость, я был глубоко убежден, что Краинский погиб у стенки. Но Бог хранил его. Это человек великого ума, широчайших знаний, строгой эрудиции, удивительной, редчайшей честности, детски-наивной прямоты и откровенности, безграничной любви к человечеству и всегдашней готовности к самопожертвованию. Да хранит тебя Господь, мой друг, ученик и товарищ на долгие, долгие годы.

*Проф. П. И. Ковалевский.*

## **Психика и техника как факторы войны**

Одна из современных тем военной науки есть соотношение психических и технических сил в военном деле, причем преобладают два крайних мнения. Одни, опираясь на авторитет Суворова и Наполеона, придают главное значение духу армии, то есть психическому фактору; другие, отмечая колоссальное развитие техники, думают, что в будущей войне она будет иметь решающее значение.

Два других необходимых для войны фактора – суть материальная возможность вести войну, то есть деньги, и количественный состав действующей армии.

Психика людей и войска стара как мир. В ней не констатируется новых форм и эволюции в смысле усложнения. Техника, наоборот, бешено прогрессирует и непрерывно принимает новые формы. Что бы ни изобрел человеческий гений, все находит прежде всего применение в военном деле с целью уничтожения врага и самозащиты государства. С усовершенствованием авиации и применением газов открываются новые перспективы военных операций, и необузданная фантазия обывателя, подогреваемая заявлениями специалистов, сулит в будущей войне ужасы всеуничтожения мирного населения и гибель богатств народов. С этой точки зрения будущая ближайшая война рисуется в страшных красках.

Война на уничтожение не только неприятельской армии, но и мирного населения не представляет собою ничего нового: это форма войны

древности, когда мирное население вырезалось и угонялось в рабство. Эта форма войны может возобновиться в согласии с псевдодемократической идеологией, которой совершенно чужда военная мораль, честь и доблесть. Но осуществление такого всеуничтожения даже при наличии доведенной до полной высоты техники не так легко.

Физическая сила армии зависит от количества бойцов и техники, а техника зависит от денег. Физическая сила суммируется простым сложением и подчинена тройному правилу; вдвое более многочисленное войско *может быть* физически вдвое сильнее. Высота техники уже не поддается учету тройным правилом: сила технически снабженной части может расти в геометрической прогрессии по отношению к количеству бойцов. Главную роль здесь играет качество технической машины.

Теоретически возможно изобрести машину для уничтожения человечества и укрепленных сооружений в любом масштабе действия. Артиллерийская стрельба по площадям уже забрасывала огромные пространства, теоретически уничтожая на них все живое. Но по переходе в наступление атакующий встречал вылезавших из своих нор защитников и бывал отбит. Газы и лучи в теории могут охватить громадные участки земной поверхности. Но практически всему этому всеуничтожающему действию имеется предел, основа которому лежит в трех главных факторах. На первом плане стоит дороговизна всякой машины и технической операции, то есть фактор материальный и экономический. Машинное уничтожение людей, как показал опыт последних войн, стоит дорого и не окупает затрат.

Второй фактор – техническая организация. Чем действительнее машина, тем она сложнее, тем больше вспомогательных средств и материалов она требует. Ни одна машина не работает самостоятельно. Нужны запасные части, смазочные и другие питательные материалы, и потому она всецело зависит от организации сообщения и снабжения, то есть от функции весьма сложных и дорогих аппаратов тыла, которые должны работать без перебоев.

Милитаризация тыла, которая явится необходимой в будущей войне, помимо своей сложности может дать результаты только при полном политическом и социальном равновесии и порядке в стране. Революционные перебои ее подрывают и обессиливают.

Третий и самый важный фактор – психический: индивидуальный и коллективный. Машиной управляет психика человека, а эта психика в бою совершенно иная, чем в нормальном состоянии. Но и психика всего организованного коллектива армии и тыла имеет решающее влияние на функцию технического аппарата на фронте. Малейшая дезорганизация, беспорядок и психическая смута в тылу выводят машину из строя непоправимо.

Эти главные и множество второстепенных факторов определяют *коэффициент полезного действия технической машины на поле боя*. Его исследование и измерение и составляют одну из главных задач военной психологии.

Машиной управляет психика бойца. Всякая техника подчинена психике и от нее зависит. В зависимости от переживаний бойца коэффициент полезного действия не только сложных боевых машин, но и самого простого оружия низводится до минимума и может быть аннулирован полностью. Психика индивидуального бойца всегда связана с психикой организованного коллектива боевой части и всей армии, а следовательно, боевая машина может функционировать с максимальным коэффициентом полезного действия лишь в идеальных условиях порядка, организации и здорового духа армии, которые на практике никогда полностью не осуществляются.

Как бы ни была совершенна боевая машина, коэффициент ее полезного действия на поле сражения ничтожен, а психические влияния могут полностью опрокинуть все теоретические расчеты.

Эволюция боевой техники идет не только параллельно с ее дороговизной, но последняя растет в геометрической прогрессии по отношению к технической сложности машины. Ни одно государство не обладает полностью всем материалом и частями боевых машин. Часто



приходится пользоваться приборами, изготовленными врагом, против которого сражаются.

При прочих равных условиях технический перевес, конечно, является решающим фактором, игнорировать который в пользу психики совершенно невозможно. Но этот перевес может быть аннулирован воздействием психических факторов в форме деморализации и разложения врага, к чему и прибегали обе стороны во время последних войн.

В военном деле мы будем встречать взаимодействие четырех главных факторов: численного состава войск, их психического состояния, высоты техники и экономической мощи. Военачальники должны владеть управлением не только организованными войсками, но и бездушными машинами через посредство психики бойцов.

\* \* \*

Основной проблемой военной психологии является изучение духа армии, исследование его создания, способов поддержания и механизма его разложения. Эти задачи еще далеки от своего разрешения.

Психическая сила армии, ее боевой дух складываются по совершенно иным законам, чем сила физическая. Психика не подчинена тройному правилу. Душевные способности, как ум, талант, военный гений, храбрость, доблесть, честь и честолюбие, не суммируются арифметически, даже не усиливают друг друга.

Действующая армия есть организованный коллектив, всецело подчиненный личности командующих в иерархическом порядке. Он подчинен законам коллективной психологии, но он одухотворяется личной психикой командира. Поскольку дело касается строя, маневра и боевых операций, психика индивидуального бойца ограничена в своих проявлениях и действиях дисциплиной до крайности и всецело подчинена начальнику. Но поскольку речь идет о «духе» боевой части, или «духе армии», а особенно современной народной, или милиционной, армии, мы сталкиваемся со многими факторами и влияниями, *стоящими вне*

армии и простирающимися на нее свои воздействия из психики народа, составляющего воюющее государство. В армии отражаются все веяния общественного мнения, верований и чаяний народных масс, и особенно культурных слоев общества.

Опыт военной истории показывает, что при достаточном числе бойцов и при высоком техническом снабжении воинская часть может полностью потерять свою боеспособность только под влиянием утраты своего боевого духа. Военачальники из опыта знают, что иногда легко его восстановить, выведя, например, переутомленную часть из сферы огня и дав ей отдых.

Факторы и психические элементы, составляющие дух армии, весьма многочисленны, сложны и не полностью изучены. Опытный военачальник практически и бессознательно лучше взвешивает дух своей части, чем это может сделать объективно научно образованный военный психолог.

Суть воинской дисциплины в строю сводится к полному торможению личных волевых действий, к выполнению однообразных приказываемых поступков, которые точно зарегистрированы воинским уставом. В бою требуется полное подавление личных защитительных реакций, типа отрицательного такта, то есть влечения назад из сферы опасности, всегда свойственного психике. По команде боец должен выйти из прикрытия и идти в атаку, несмотря на угрозу верной смерти. Инстинкт самосохранения может быть преоборен только абсолютной необходимостью, а не добровольным подчинением. Поэтому военные законы всех народов и всех времен противопоставляют возможности смерти верную смерть сзади, определяемую смертной казнью.

Вопрос о сознательности и интеллигентности бойца усиленно дебатировался в русском обществе во время японской войны. Утверждали, что боевой успех зависит от этих качеств бойца. Опыт военной истории, однако, показывает, что индивидуальная культурность для рядового бойца не имеет ценности и что дикие народы дают превосходных бойцов. Интеллигентность бойца получает значение с введением техники, но здесь «сознательность» часто связывается с крайней

склонностью к критицизму и политической неустойчивости, почему технические войска легко поддаются разложению и труднее подчиняются дисциплине.

**Государство и власть должны быть достаточно сильны для осуществления принуждения.** От бойца не требуется добровольного согласия на выполнение долга.

Если бы бойцам было предоставлено путем голосования решать вопрос о необходимости сражаться за поставленную цель, война стала бы невозможной, что и показал опыт армии времен Керенского.

Основной закон войны не требует от бойца согласия на участие в войне и ее одобрения: он *должен* идти в бой и умирать по требованию государства. Фактически никто из бойцов не знает мотивов войны, они бывают очень сложны и спорны. В древние и средние века об этом не рассуждали. Но в последних войнах обоснование войны выдвигается не только в общественном мнении, но и прививается самим бойцам. Оно формулируется в коротких формулах и лозунгах и определяет «популярность или непопулярность» войны. Даже организованным массам недоступны рассуждения, а потому им даются лишь короткие лозунги, которые воспринимаются не мышлением, а верованием, и прививаются путем внушения. **Такие лозунги имеет каждая армия и каждая война. Они должны быть кратки и конкретны, выразительны и не касаться подробно мотивов войны, ясно формулируя идеологию:** «За Веру, Царя и Отечество», «За свободу», «Смерть буржуям», «Грабь награбленное». Обсуждение в рядах армии обоснованности войны ведет к разложению ее духа. На полях действий армия об этом рассуждать не может и не должна, ибо все слабое духом, трусливое отзывается на критику, порицание и пацифизм.

Военная психология показывает, что трусость легко воспринимает либеральное, оппозиционное и пацифистское резонерство, заражающее массы и ослабляющее их боеспособность. Армия должна принять войну как факт. Она должна удовлетворяться своими лозунгами и слепо подчиняться дисциплине.

**В формировании духа современных мобилизованных армий идеология данной войны и общественное мнение страны, обычно искусственно создаваемое, играют большую роль.** Этим путем создается тот подъем и экстаз, который нормально сопровождает объявление войны, и выносится приговор о ее популярности. Это общее мнение прививается путем внушения и психической заразы, а не свободного обсуждения и суммирования индивидуальных умозаключений. На него влияют политические течения и борьба партий. Приговор может быть справедлив и ошибочен. Всякое правительство в момент объявления войны старается оправдать и обосновать ее неизбежность, не может поднести народу точную ее мотивировку.

Каждый солдат приносит с собою свою идеологию обоснования войны. Огромное большинство идет на войну принудительно и инстинктивно и бессознательно противится войне. Объективно это выражается в колоссальных размерах уклонения и дезертирства в современных армиях.

Идеология данной войны имеет свои корни вне армии, в общественном мнении страны. Она разжигается политическими партиями и прессой. Одобрение или неодобрение внешним образом выражается в патриотических манифестациях, призыве добровольцев, жертвованиях, попечении о раненых.

Общее настроение, особенно экстаз подъема первых дней войны, торжественные проводы создают настроение действующей армии, которая вдохновляется общественным мнением страны и лозунгами войны.

Дух армии, таким образом, тесно связан и определяется идеологией и настроением общества. Он остается неразрывно связан с настроениями на родине, ибо современная армия не изолирована от общества и связана с ним прессой, корреспонденцией и непрерывным обменом эвакуированных и вновь возвращающихся в армию раненых и отпускных.

Военачальник должен хорошо знать, как формируется и распространяется общее мнение в армии, чтобы вовремя бороться с пропагандой и деморализацией. Помимо цензуры прессы практикуется цензура писем, вообще мало достигающая цели. Существует психический

телеграф, с удивительной быстротой распространяющий слухи, легенды, сплетни, критику и клевету. Особенно чувствительны к этому интеллигентные слои армии. В беседах на биваках, и чем дальше в тыл, тем больше, идет растлевающая воинский дух критика, порицание и ругань начальников, внушая недовольство.

Как правило, чем трусливее человек, тем больше он критикует, тем либеральнее его речи. Он становится антимилитаристом, пацифистом, и когда наступит деморализация общества и армии – пораженцем. Искусственно подрывается дух армии пропагандой.

В создании духа армии играют громадную роль традиции офицерства, их воинское воспитание, военная история, культ военной доблести, славы, подвига и военного долга. Он поддерживается декоративностью, физиогномикой и символикой армии, дисциплиной и строем.

Политика для армии – яд, быстро убивающий ее дух и уничтожающий ее боеспособность. Но аполитичность армии касается здорового государства, живущего нормальной жизнью, и не касается главной идеологии армии – защиты государства от внешнего врага и защиты существующего строя. Если это называть политикой, то, конечно, никакая армия не может быть аполитичной. Только наемные ландскнехты служат тому, кто платит, независимо ни от каких идеологий.

Политикой я называю вмешательство обывателя в вопросы государственного строя и управления. С переменой государственного строя распускается старая армия и формируется новая, с иной идеологией.

Таким образом, психика армии, ее боевой дух, мысли, настроения и воля к победе зависят от господствующих течений мыслей и настроений в Отечестве. Поэтому, изучая дух армии, психолог должен исходить из духа самой страны, выделяющей из себя армию.

Патриотизм, любовь к отечеству, народная гордость являются основными свойствами здорового государства. Псевдодемократические, интернациональные течения выдвигают обратные лозунги – «*Ubi bene ibi patria*»\* и в корне подрывают патриотизм. Патриотическое вос-

---

\* Где хорошо, там (и) родина» (*лат.*).

питание для военного обязательно, и всякое войско имеет отечество своим лозунгом.

Дух армии есть свойство коллектива, обеспечивающее его боеспособность. Потерявшая свой дух армия утрачивает свою боеспособность, организацию и становится толпой солдат, легко превращающихся в бандитов.

Вот почему в настоящее время, когда осознано значение психики армии, с нею борются не только оружием и техникой, но и психическими методами, стараясь разложить противника, и не только его армию и тыл, но и самое общество. В последнее время выдвигается *пораженчество* – этот страшный яд, разъедающий государства и повсюду наблюдавшийся в Великую войну.

\* \* \*

*Методика разложения противника* сводится к двум главным приемам; во-первых, к нанесению паники в ближайшем тылу или на фронте и, во-вторых, к растлению психики неприятельских армии и общества революционной или бунтарской пропагандой.

Первый прием знаком военачальникам. Они им часто пользуются. Второй метод применяется военно-политическими организациями, контрразведкой и отчасти дипломатией. Но одновременно действуют на общество и армию и свои революционные элементы, техника которых хорошо известна политической полиции и почти полностью ускользает от военачальников. Лейтмотивы этой пропаганды – *пацифизм и пораженчество*.

**Пацифизм в основе своей ложен, ибо когда на смену настоящей войне выступит гражданская, инициаторы ее становятся ярыми милитаристами.**

Пораженчество – сравнительно новое учение. Оно сформировалось в подполье русской революции и цинично было провозглашено в начале русско-японской войны в зарубежном органе русской революционной интеллигенции «Освобождение», где впервые открыто было заявлено

пожелание провала войны, чтобы ценой его купить конституцию. Пораженчество встретило отзвук у русской либеральной интеллигенции и было формулировано в лозунге «Чем хуже, тем лучше».

**Как к пацифистской, так и к пораженческой пропаганде очень чувствительна интеллигенция страны, но лучше всего ее воспринимает полуинтеллигенция.**

Это важно для военной психологии потому, что технические войска в роли исполнителей, управляющих боевыми машинами, имеют полуинтеллигентов – механиков, радиотехников, матросов подводных лодок и проч.

Настоящие интеллигенты – инженеры – являются только руководителями. В политическом отношении полуинтеллигенция крайне неустойчива, а фактически технический аппарат в исполнительной части находится в ее руках.

На этом основаны надежды коммунистов, что в будущей войне они будут иметь союзников в неприятельских армиях и что даже война не может состояться, ибо распропагандированные рабочие не желают сражаться.

Чем сложнее машина, тем интеллигентнее должен быть человек, ею управляющий. **Но полуинтеллигент не может переварить мировых вопросов, а потому в душе всегда недоволен, ибо потребности и запросы его растут, а удовлетворение их ограничено.** В течение тысячелетий война выработала свою мораль, военную доблесть, честь и славу. Рядом с убийством и поражением неприятеля применяется великодушные к побежденному и рыцарские приемы боя. Все это отрицается современной демократией: всякие действия, наносящие вред неприятелю, считаются дозволенными. На поле сражения все еще царит доблесть, и не считается согласным с воинской честью пользование подлыми приемами. Есть, однако, одна область военного дела, где героизм сплетается с величайшей подлостью, подкупам, изменой и прочими пороками, – это военный шпионаж.

Современные контрразведки не могут руководствоваться военной моралью и поддерживают любые действия, приносящие вред врагу,

не считаясь с их чистоплотностью. Сплошь аморальна борьба по разложению противника. Здесь все подло, продажно, бесстыдно и грязно. Нет ни тени героизма. А потому руководство разложением противника по существу нечестно, а методы преступны. Тем не менее военная психология должна их изучать, а военачальники вынуждены их применять в полной мере.

Разложение бывает разное. Во-первых, классовое. Оно вызывается классовой борьбой и проявляется в саботаже, вредительстве и в игре на поражение со стороны рабочего коммунистического элемента. В нормальном строе каждый класс должен подчиниться государству, и его можно заставить это сделать. Другой вид разложения – стихийный, неорганизованный, вызывается заболеванием общественного мнения. Такое заболевание является следствием пропаганды. Бредовые идеи, формулированные в кратких лозунгах, охватывают массы и распространяются путем психической заразы. Пускаются в ход легенды, слухи, клевета, подготавливается выход из повиновения как отдельных лиц, так и целых организаций. На деморализацию противника тратятся огромные деньги, как это делал во время японской войны банкир Шифф, и посылаются агитаторы-растлители в запломбированных вагонах. Во время Великой войны все державы работали в этом направлении. Широко культивировалась измена. Распропагандировались пленные...

Большевики первые учли психические факторы разложения неприятеля и организовали специальные агитаторские курсы. Военная психология и психопатология должны изучить указанные ими пути.

К сожалению, военная психотехника пошла по совершенно ложному пути в колоссальных манипуляциях, предпринятых в Америке. Вместо иллюзии подбора подходящей для данного индивида работы военная психология должна обратить внимание на законы коллективной психологии, и особенно на законы разложения армии, в которой особенно легко поддается тыл. Когда уже разложилась воинская часть или тыл, поправить дело и некогда, и нельзя, но предупредить его почти всегда возможно. Оно не наступает сразу и длительно под-



готовляется. Источник его – агитация и пропаганда, которые необходимо пресекать в начале. Русский опыт показал, что никакие уговаривания, разъяснения, призывы и убеждения ни к чему не ведут. Меры против разложения армии должны быть решительны, суровы и быстро осуществляться. Всякие уступки, даже самые справедливые, не могут быть даны сейчас: их только можно осуществить потом.

Главный фактор в разложении есть психология толпы. Если хотят разложить неприятеля, надо стараться превратить его армию в толпу. На поле боя это достигается поражением. Как бы ни была хороша армия, в ней возможны смятения, за поражением часто следует разложение и, как его следствие, паника.

**Каждый офицер должен знать законы паники, методы ее вызывания и меры борьбы с нею, хотя сама психология ее плохо знает.** Многие военачальники лучше знают панику практически, хотя никогда не обучались ее теории.

Уберечь свою часть от паники не может и лучший командир части, но справиться с ней всегда возможно решительными мерами. Она вызывает острое состояние дезорганизации и временную потерю боеспособности. Разложение и паника превращают организованные части в толпу. Толпа безумна, слепа, подла, в ней нет разума. В ней царят зверские инстинкты разрушения и убийства. Ее надо вовремя рассеять, противопоставив ей организованную, дисциплинированную военную часть и физическую силу. Это легко удается, потому что толпа беспорядочна и, несмотря на численность, слаба. Физическая сила масс суммируется арифметически только при наличии порядка и организации.

Одно из величайших заблуждений есть действие на разложившееся общество и массы противоагитацией и противопропагандой. Разложившиеся массы и толпы резонируют лишь на разрушительные призывы, разнуздывающие низкие инстинкты. **Культура и мораль прививаются воспитанием, а не пропагандой.** Упустив момент, власть уже не может овладеть массами, и получается анархия. Не нужно даже, чтобы **власть была умна, – надо, чтобы она действовала сурово, но законно и спра-**

ведливо. Это и есть ее отличие от террора и насилия. Террор может быть действителен временно, для обуздания не масс, а чиновников и служащих. Никогда террор не ликвидировал ни революции, ни бунта. Их ликвидировало войско и законом установленная власть.

Психика обывателя должна быть обуздана. Авторитет власти должен стоять высоко... Политическая идеология всех государств в настоящее время крайне неустойчива. Приемы политической борьбы в огромном большинстве аморальны, и чем напряженнее в стране политическая борьба, тем легче она поддается разложению. Внесение этой борьбы в армию есть верный путь ее разложения, и если желают **деморализовать армию, в нее вносят политическую борьбу.**

То, что поощряется для врага, должно сурово караться у себя. Одним из приемов деморализации неприятельской армии во время последней войны было воздействие на пленных через них. Как скоро распространяется слух о мягком обращении с пленными, целые толпы охотно сдаются в плен. Миллионы пленных – тому доказательство. Привлечение сродных национальностей, обещание удобного плена облегчают сдачу противника в плен. Все шкурное, трусливое охотно сдается при этих условиях, и командующему остается лишь поощрять такую сдачу неприятеля. Надо, однако, иметь в виду, что этой заразы не чужда и своя армия, почему в современных боевых частях в этом отношении надзор возлагается на полевую полицию. Широко практикуется распропагандирование пленных в лагерях, инсценируются побегии уже развращенных пленных, направляемых в свою армию для разложения.

Разложение тыла и общества неприятельской державы ведется путем национальной, политической и революционной пропаганды. Здесь требуются: 1) идейные, хотя и криминальные, фанатики-революционеры, международные и свои мошенники-авантюристы и партийные деятели и 2) большие средства на подкуп прессы, политических деятелей и партий. Они знают, как разлагать общество. Приемы для этого выработаны. Пропаганда ведется не прямая и в первую очередь воздействует на либеральные элементы, которые к ней наиболее чутки.

Возбуждают недовольство, хвалят и переоценивают неприятеля и порицают своих. Муссируют мнения о ненужности и непопулярности войны и – главное – дискредитируют власть. Для этого создаются и распространяются слухи, легенды и клевета, особенно на династию, то есть делается все то, что широко практиковалось в России во время японской и в конце Великой войны, вплоть до открытой клеветы с трибуны парламента. Возбуждение национальной розни, пропаганда национального самоопределения, разжигание классовой ненависти – излюбленные методы разложения. Неприятель входит в общение с оппозиционными парламентскими деятелями и с помощью подкупа поддерживает пораженчество. Оппозиционеры возводятся на пьедесталы, газеты подкупаются.

Очень своеобразен метод вредительства. Вредительство подкупается через революционеров. Ими взрываются неприятельские склады, ж/д сооружения, броненосцы («Императрица Мария») и т.д.

Индивидуальный террор, то есть убийство через фанатиков и подкупленных лиц командующих неприятельскими армиями, почти неизвестен в военной истории. Но большевики и тут проложили новый путь (убийство маршала Эйхорна в Киеве и похищение генерала Кутепова в Париже). Это печальный метод, обесславливающий военный подвиг. Надо думать, что ни одна культурная держава все же не рискнет рекомендовать подобные действия.

Политические партии практикуют и такой прием вредительства. Они посылают своих членов в ставки командующих своих армий... Так, например, в Ставке Верховного главнокомандующего Русской армии находились офицеры Генерального штаба, члены революционных партий и заговорщики против Императора, которые вели свою работу на разложение. Такие элементы должны быть своевременно ликвидированы контрразведкой.

Охрана командного состава должна быть направлена не только на защиту его от покушений, но и на подбор надежных, а не подкапывающихся сотрудников из числа оппозиционных партий.

Политическая и революционная пропаганда в армии производится своими силами и лишь косвенно поддерживается неприятелем.

Внедрение в армию штатского, невоенного элемента является действительным приемом разложения армии. Тут сталкиваются два мировоззрения, во многом диаметрально противоположные. Военное мировоззрение вырабатывается историей, имеет свои традиции, передается нередко по кастам и наследственно. Оно, по существу своему, консервативно, ибо оно охраняет исторические формы жизни страны.

Штатский элемент, остающийся вне армии, не понимает ни духа армии, ни смысла военной физиогномики и символики и относится ко всему военному иронически и с критикой. Насмешливое название «земгусаров» метко показывает, что и штатский элемент заражается военной символикой, несмотря на то что понятия воинского долга и чести ему чужды. С этим элементом (например, с «земгусарами») в ряды армии проникают революционеры и агитаторы.

Борьба с агитаторами и пропагандой должна быть беспощадной, но законной и справедливой и ни в каком случае не должна вестись в форме контрпропаганды, ибо она никаких результатов не дает. Всякие политические свободы во время войны должны быть уничтожены.

Хорошей почвой для разложения армии является так называемое шкурничество. На этот элемент обратило внимание общественное мнение, но он совершенно не изучен военной психологией. Шкурником в известной мере является каждый, ибо никто не желает умирать во имя других, но называется им тот, кто чужд сознания воинского долга и спасается от боя, не разбирая средств. Шкурники составляют полностью массы дезертиров и уклоняющихся от боя, но они и растлевают армию своей критикой. Как бы ни было почетно учреждение Красного Креста, но там не должно быть места боеспособным офицерам различных чинов, которыми он кишит в военное время. Шкурничество – это та пружина, надавив на которую можно взорвать боеспособную армию.

\* \* \*

*Психопатология тыла армии и борьба с его разложением.* Уже много раз было обращено внимание военных ученых на тыл и его разлагающее влияние на действующую армию. В тылу царит спекуляция, хищничество, алкоголь и проституция. Дезертиры всех сортов свивают там свои гнезда.

Управление тылом трудно, и дезорганизация его осуществляется легко. Сюда стекается все трусливое, и сюда же тянутся агитаторы, революционеры и пораженцы. Здесь создаются сплетни, слухи и легенды, отравляющие армию. Деморализация армии рождается именно в тылу. Здесь сеется паника, подрывается авторитет военачальников, выкристаллизовывается общественное мнение и оценка войны.

Психически неорганизованный тыл неустойчив, труслив и продажен вследствие большого наплыва авантюристов, мошенников и хищников.

В технической войне он есть база и ключ техники. Здесь же находится все руководство технической частью.

С военной точки зрения тыл есть весьма важное место, и, конечно, он не заслуживает того презрения, с которым к нему часто относится фронт. Еще недавно это имело свое основание в боевой безопасности тыла, но теперь, когда главной целью неприятельских налетов является тыл, места скопления материальных складов и узлы сообщений, опасность в тылу становится большею, а вследствие боевой пассивности испытание личного мужества не меньшим, чем на фронте.

Военное искусство должно преобразовать тыл. Подобно тому как современному массовому огню противопоставляется рассыпной строй, придется децентрализовать пространственно тыл, рассеять скопление учреждений тыла и отступить от чрезмерной концентрации тыловых узлов. На очередь встает вопрос о милитаризации всего тыла и о большей или меньшей социализации всего государства, что и выполняется

отчасти в форме реквизиции и принудительного труда. Тыл обезвреживается путем цензуры, борьбы с революционной и пораженческой агитацией и очищением тыла от дезертиров.

В будущей войне ожидается, что все старания неприятеля будут направлены на тыл и на мирное население. Однако уничтожение мирного населения не даст победы. Против всеуничтожения жителей имеются меры, выработанные военной наукой. Решающим фактором в будущей войне будет не удушение мирного населения, а нарушение транспорта, уничтожение материальных складов и моральное разложение тыла.

Трудность будущей технической войны сводится к управлению армией, ее тылом и мирным населением. Большевики первые подняли вопрос о милитаризации тыла. Насколько это удастся, сказать трудно. Тыловая машина должна работать без перебоев, ибо залечить перебой иногда бывает поздно. Жадный и развращенный, революционно организованный рабочий класс, на котором будет держаться вся техническая часть, нелегко дисциплинировать. С этим, конечно, можно справиться: нужна твердая власть, хорошая политическая полиция, законность действий и наказания. Удушить все низкие инстинкты невозможно, но с ними надо бороться.

Нежелание отдельных лиц и групп сражаться не страшно, пока существует закон и власть. Но если же целые народы не пожелают сражаться и оставят фронт, этим война не кончится, ибо перейдет в нашествие неприятеля или гражданскую войну. Надо сказать, что милитаризация тыла требует твердой власти, но эта власть не может базироваться на простом насилии. Она должна иметь более прочные психологические основы. Очень будет трудна борьба с паникой не сражающегося, мирного населения. Методы ее: порядок, организация и дисциплина, обеспеченная смертной казнью. Военачальник должен хорошо знать законы психики масс и борьбы с толпой. Он должен иметь в своих руках хорошо подготовленный аппарат исполнительной и политической полиции.

\* \* \*

*Влияние психики на действие боевой машины.* Управление всякой технической боевой машиной, начиная от простой винтовки до сложнейших орудий, броненосцев, аэропланов, газовых аппаратов, вверяется психике индивидуального бойца. Эта психика и есть первый фактор коэффициента полезного действия машины. Во время боя психика человека меняется. Под влиянием возбуждения, волнения и страха бойца точность действия машины нарушается, и коэффициент полезного действия падает до минимума. Хорошо известно, что ружейная стрельба в бою дает ничтожные в смысле поражения результаты. Разность числа попаданий на стрельбищах и в бою определяет коэффициент падения психики под влиянием боевых переживаний. Во время смятения и паники коэффициент попадания падает до нуля. Даже в рукопашной схватке оружие действует неверно.

Чем сложнее машина, тем невернее ее боевое действие. Вот почему современный бой решается штыковой атакой, тогда как технически можно было бы ожидать полного уничтожения противников до их сближения. Действительной остается стрельба по площадям и укреплениям с далеких дистанций, но и здесь опыт показывает, что уничтожить все живое, даже в грудах развалин, невозможно.

Обучение армии дает соответственные приемы защиты. Техника зарывания в землю стремится противостоять массовому огню. Всякий боевой прием имеет свой контрприем, всякая техника – свою противотехнику.

Теоретический расчет уничтожения может быть сделан только против обезоруженного и беззащитного врага. Он может быть нарушен новым изобретением или усовершенствованием у неприятеля.

Надо думать, что техническая война будет иметь ужасающее начало и может нанести страшное поражение неподготовленному противнику. Но для физического уничтожения мирного населения не хватит ника-

ких технических средств и денег. Война будет вестись не против беззащитного. Неприятель будет проделывать то же, что и нападающий. На поле сражения будет царить смущенная психика, в тылах будут возникать паника и деморализация, в государстве будут страдать сообщение и снабжение, возникать смута и политическая борьба. Все это может совершенно обезвредить технические машины.

Пространственно техническая война возможна лишь по линиям сообщений и подвоза материала. По времени она должна выдыхаться по мере порчи машин, расходования материала и выбытия из строя обученных кадровых бойцов, особенно если постоянный фронт сменится подвижной маневренной войной. Только авиация не знает дорог и расстояний, но и она имеет свои базы и метки, она знает бензин и смазочные масла.

Поэтому следует ожидать два максимума в кривой технической войны: один вначале, а другой – через полгода-год, когда воюющие державы, устроив безнадежные и непосильные займы, выбросят на поля сражений весь мобилизованный материал, вновь построенные боевые машины и новый контингент обученных наспех бойцов. Но затем начнется предел возвышения техники, и если война будет продолжаться, она вернется к прежним упрощенным формам. Политические смуты и социальные движения ускорят падение технического периода войны. Вспомним разлагающийся русский, а затем германский и болгарский фронты, уничтоженные не воинской победой, а духовной деморализацией. Если воюющие государства будут продолжать бешено бросать на поле боя все свои сбережения, они разорят весь мир.

Психика человека обладает исключительной выносливостью. На протяжении всей своей истории она выносит войну и революцию. Она удивительно приспосабливается к условиям и формам боя. Любая техника рождает методы защиты и ее обезврежения.

Закидать страну снарядами с любыми газами не удастся даже богатейшей державе, и ни в каком случае не удастся уничтожить даже десятую часть населения. Гораздо гибельнее будет последующая анархия



с голодом и людоедством, которая должна будет неизбежно наступить после технической и денежной войны.

Техническая война требует неисчерпаемого количества денег. Она должна иметь безупречно организованный и действующий без перебоев тыл. Государство должно быть застраховано от политических, социальных смут и революций, что при современных условиях едва ли выполнимо.

В конечном результате все же победит психика, или, говоря словами Китченера, тот, у кого «нервы окажутся крепче».

Что же касается всех видов пацифизма, всевозможных мирных конференций и договоров, то они не будут иметь никакого значения для предотвращения войн, ибо война лежит в природе человечества, и искоренить ее не в силах даже человеческий гений.

### **Военный экстаз и прострация как факторы боевых операций**

Боевой дух армии и одушевляющий ее дух народа есть военная сила, она требует длительной подготовки, организации и воспитания. Она может выковываться только на патриотической традиции и на соответственном мировоззрении.

В агрессивных движениях воюющих сторон следует различать два психических состояния: фанатизм и экстаз. Первое состояние имеет в своей основе господство в психике определенной идеи, обыкновенно недоступной массам, а потому выражаемой в коротких формулах. Это состояние длительное, ибо идеи обладают большой психической инерцией. Они медленно зреют, но, укоренившись, держатся необыкновенно упорно и владеют душой как народа, так и армии.

Иной характер имеет состояние экстаза. Это состояние временное, определяемое не идеями, а эмоциями, иногда достигающее крайнего напряжения. Воинский экстаз обыкновенно вдохновляется лозунгом, личностью вождей, ведущих людские массы. Он сильно обостряется душев-

ными переживаниями обиды, ненависти к врагу и чувством мести. Но экстаз легко надламывается и спадает. Военный экстаз вдохновляется обаянием ведущих личностей. Если гибнет вождь, экстаз легко сдувается и исповедуемые лозунги часто быстро сменяются противоположными. От экстаза легко совершается переход к полной душевной прострации, которая в военном деле является фактором, предопределяющим поражение. В умелых руках полководца и военного начальника боевой экстаз служит мощным фактором; его трудно разжигать и длительно поддерживать. **Разумные и мотивированные войны вдохновляются идеями, а не настроениями, военным фанатизмом, а не экстазом.** Короткий экстаз в форме порыва есть великолепный метод для местной атаки. Военный опыт показывает, как легко такая атака срывается в том шоке, исход которого так трудно бывает предвидеть.

**Армия и народ, лишенные воинского духа, в начале войны ставящие вопросы «зачем» или толкующие о непопулярности войны, в военном смысле уже мертвы.** Они заранее побеждены, как мы видели это на примере русского народа в маньчжурскую войну и на примере Франции в настоящую войну. В процессе войны надо еще учитывать действие психических ядов в форме пораженчества и революционных течений, стремящихся использовать поражение.

Беспочвенное состояние военного экстаза, как это было в Польше, ослепляло вождей и армию и закрывало им глаза на действительность. Обоготворение польского маршала оказалось поверхностным, а оценка соотношения сил – легкомысленной. Экстаз выдохся, оставив за собой страшное разрушение. В настоящее время много говорят о значении пропаганды, и учреждены даже министерства пропаганды. Но пропаганда обыкновенно поддерживает только экстаз, она действует на психику масс при посредстве фраз, лозунгов и демагогических приемов. **Пропаганда не может заменить воспитания и обучения, которыми прививаются идеи.** В лучшем случае она прививает верования. Такая пропаганда ведется обыкновенно больше в пользу личностей, чем во имя идеи.

Идеализм в крайней форме фанатизма и экстаз в форме временного подъема духа суть два главных фактора духа армии. В коллективной психологии верования и настроения преобладают над идеями и мыслями. Поэтому творцы идеологии войны должны выработать ее заранее и преподнести массам уже в готовом виде. Военная физиогномика, символы, лозунги – это уже наряд, который надевает на себя дух армии. Традиции воинской чести, доблести и славы подвига играют в поддержании духа армии колоссальную роль.

**Дух армии есть состояние психики, сохраняющее свой облик на протяжении веков.** Но рядом с ним и тесно связано с ним идет военно-боевая техника, которая, наоборот, непрерывно и быстро эволюционирует, имея свои формы. Временами кажется, что она владеет психикой и перетягивает чашу весов победы. Но военная техника есть громоздкий аппарат, который прежде всего подчинен психике бойцов и без нее мертв. Этот аппарат еще обладает и громадную ранимостью. Он не самостоятелен и зависит от трех главных факторов: от экономики, снабжения нужным материалом и соответственной индустрией, от путей и средств сообщения. Малейший дефект и перебои в механизме быстро обессиливают и обезоруживают военный аппарат и делают его небоеспособным. <...>

Настоящая прострация наступает после разгрома. Мы видим ее в Польше и во Франции. Здесь экстаз и хвастливые угрозы сразу лопаются. Звучат отчаянные призывы о помощи. Сменяют и расстреливают ни в чем не повинных генералов. Труднее свергаются без всякой пользы политические тунеядцы и заменяются такими же никому не нужными говорунами. Но уже ничто не спасет от окончательного разгрома, ибо здание, построенное на экстазе, рушится и давит под собою народ и государство.

Смена экстаза прострацией сопровождается высшей мерой отчаяния. В состоянии прострации побежденный народ бессилен. После военного разгрома победитель диктует свои условия, которые не принять невозможно. Тогда вступает в свои права формула «Горе побеж-

денным», глубокий смысл которой не умеют предвидеть народы и правители, вступающие в войну. Побежденный капитулирует в состоянии прострации, а победитель в экстазе опьянения победою теряет чувство меры и предъявляет требования, осуществление которых бывает гибелью для него же самого. Победа всегда рождает экстаз радости и торжества, а поражение – прострацию.

Говорили, что у побежденного наступает революция и большевизм. Это невероятно. Это бывает только тогда, когда победитель бросает побежденного на произвол судьбы, отобрав у него все что хочет. Если страна останется под игом победителя, то революции не наступают, но зато наступает полурабское прозябание побежденных народов и государств.

Экстаз есть сильный двигатель победы, но он кратковремен, и его надо уметь использовать. Он, как порыв, не терпит перерыва и паузы в военных действиях. Он может выдохнуться. После его падения его уже трудно подхлестнуть и легко может наступить прострация в форме упадка духа и потери боеспособности. Вот почему наступательная война выгоднее оборонительной. В упорной обороне нет экстаза, но временами наступает угнетение и вызываемое им крушение.

Характерным свойством экстаза является торможение им страха. Боевые действия в состоянии экстаза всегда стремительны. Поэтому часто смешивают состояние экстаза с храбростью. Последняя сводится к подавлению эмоций страха, проявляемого в действиях путем воздействия разума и воли, тогда как в состоянии экстаза действия автоматические и не подлежат руководству разума и воли. Все военное обучение стремится сделать действия бойца автоматическими и трафаретными.

Мы видим, таким образом, что военный экстаз есть свойство человеческой психики, могущее иметь большую боевую ценность. Но это состояние не прочно, а иногда опасно, ибо, будучи сломлено, ведет к прострации и к потере боеспособности. Впавший в прострацию побежденный делается пассивною жертвою победителя и сдается без всякого сопротивления.

Воодушевление и экстаз могут быть созданы искусственно... **Движущими силами, порождающими экстаз, являются: патриотизм, исторические предания и слава прошлого. Особенно сильным фактором экстаза является религия.** Именно религиозные войны бывают жестокими и беспощадными. В них религиозный экстаз рождает ненависть. Свирепы и гражданские войны, в которых, наоборот, ненависть к противнику рождает боевой экстаз.

Большую загадку военной психологии представляет собою потеря боеспособности боевой части или целой армии. Она наступает под влиянием прострации, когда нет еще полного разгрома. Однако армии Кутузова 1812 года показывают, что даже систематическое отступление и оставление столицы могут не вызвать ни прострации, ни потери боеспособности. Но в этом случае необходима вся духовная мощь и стойкость духа как командного состава, так и главы государства в ореоле Монарха и исторических традиций.

Мы видим, как без этой основы во Франции отчаянно мечущиеся политики-адвокаты, стоящие во главе власти, без всякой связи их имени и личности с великим народом, который они представляют, были бессильны в своих порывах спасти положение.

Но когда во время великой Войны эти призывы обращались к русскому Императору – совершались на Мазурских озерах чудеса, именуемые «чудом на Марне», и Брусиловский прорыв во имя помощи союзникам.

Стоит несколько остановиться на формуле «Горе побежденным». Когда победоносные римские императоры в своем триумфе волочили за своими колесницами закованных в цепи царей побежденных народов, торжествующий победитель забывал об унижениях и горе побежденных.

Прошли тысячелетия, но судьба побежденных не стала легче. Цепи физические лишь заменены путами душевными и экономическими. Поэтому владыкам народов, вступающих в войну, надлежит помнить о законах военной психологии. Победа – богиня капризная.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Изданное наследие выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России для расследования злодеяний большевиков Н. В. Краинского за его почти что шестидесятилетнюю научную, литературно-публицистическую деятельность весьма велико и разнообразно.

Целый ряд работ (и в том числе монографий) Н. В. Краинского были опубликованы на немецком, французском, польском и хорватском языках. На сербском языке был издан учебник «Криминальная психология», который до настоящего времени не переведен на русский язык. Непереведенными остаются и многочисленные газетные, журнальные статьи на сербском языке.

В последние годы имя Н. В. Краинского стали упоминать прежде всего психиатры. Они и раньше ссылались на его труды (Я. А. Анфимов, В. М. Бехтерев, В. А. Гиляровский, П. И. Ковалевский, Г. Лебон, Л. Бинсвангер и др.). Но в литературе по психиатрии почти не говорится о других сторонах деятельности и воззрений Н. В. Краинского, особенно в эмиграции.

С этой точки зрения интерес представляет издание С. В. Фоминым книги И. П. Якобия «Император Николай и революция» (М., 2005), в приложении к которому были опубликованы и отрывки из работ Н. В. Краинского «Без будущего. Очерки психологии революции и эмиграции» (Белград, 1931), «Преступления революции» (Белград, 1936), статья «Вожди и заветы» (Белград, 1931). Отрывки из «Очерков психологии революции и эмиграции» публиковались и в газете «Русский вестник».

Однако более или менее целостный образ наследия этого удивительного человека до сих отсутствует, в том числе и в такого рода немногочисленных публикациях.

В настоящее издание вошла самая значительная книга воспоминаний Н. В. Краинского, основанная на дневниковых записках. Она была издана лишь единожды, в Белграде (без указания года), и давно стала библиографической редкостью.

Это одно из самых правдивых, объективных описаний трагических лет революций и гражданской войны в России (1917–1920).

Кроме этого, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Орфография большей частью изменена в согласии с современными правилами написания.

### **Фильм русской революции в психологической обработке**

Печатается (в сокращении) по единственному изданию: Краинский Н. В. Фильм русской революции: В психологической обработке. Белград: М. Г. Ковалев (Јефименко и Мартјановић), б.г. 460 с.

Предположительно книга опубликована в 1937–1938 годах.

Она была написана на основе дневниковых записей автора, который подчеркивал: *«На моем психофильме русской революции нанизано много страшных картин гибели России и образов людей, к ней причастных, но в нем отмечены лишь те события, которые прошли в поле моего зрения».*

Глава XVII, «Днестровская трагедия», состоит из записок родного брата Н. В. Краинского – Дмитрия Васильевича, бывшего черниговского губернского тюремного инспектора, который вместе с отрядом полковника Стесселя и остатками Добровольческой армии попал в число тех, кто отходил в январе – феврале 1920 года в Румынию, на границе которой и пережил трагедию днестровских плавней.

Книга печатается с минимальными сокращениями нескольких фрагментов, имеющих сугубо личный характер из жизни автора.

### **Психика и техника как факторы войны**

Впервые опубликовано: Краинский Н. Психика и техника как факторы войны. Париж, б.г. С. 3–16.

### **Военный экстаз и протрация как факторы боевых операций**

Впервые опубликовано: Краинский Н. Военный экстаз и протрация как факторы боевых операций // Военный журналист. 1940. № 19. С. 5–7.

Публикуется в сокращении.

«Военный журналист» – двухнедельный орган национальной военно-общественной мысли. Орган Русского национального союза участников войны (РНСУВ). Белград, 1939–1941.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	5
--------------------------	---

## **ФИЛЬМ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ**

<b>ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Крушение исторической России</b> .....	24
<b>ГЛАВА I. Император Николай II и его сотрудники на моем психофильме</b> .....	24
<b>ГЛАВА II. Вторая половина царствования Императора Николая II</b> .....	58
<b>ГЛАВА III. Первый революционный смерч</b> .....	87
<b>ГЛАВА IV. Личная жизнь во время революции и мое отношение к ней</b> .....	120
<b>ГЛАВА V. Муравьевское побоище</b> .....	133
<b>ГЛАВА VI. Немецкая оккупация, украинский пуппентеатр и гетманство</b> .....	155
<b>ГЛАВА VII. Большевики и освобождение</b> .....	184
<b>ГЛАВА VIII. История киевских чрезвычайек</b> .....	220
<b>ГЛАВА IX. Перелеты</b> .....	306
<b>ГЛАВА X. Период добровольцев в Киеве</b> .....	311
<b>ГЛАВА XI. Октябрьское нашествие большевиков на Киев</b> .....	316
<b>ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Откат Добровольческой армии и скачок в бездну эмиграции</b> .....	362
<b>ГЛАВА XII. Развал</b> .....	362
<b>ГЛАВА XIII. Отход от Киева до Белой Церкви</b> .....	382



---

ГЛАВА XIV. От Белой Церкви до Одессы.....	403
ГЛАВА XV. Одесса .....	415
ГЛАВА XVI. От Одессы до Новороссийска .....	435
ГЛАВА XVII. Днестровская трагедия (из записок Д. В. Краинского).....	451
ГЛАВА XVIII. Новороссийск. Болезнь и лихорадочные грезы.....	482
ГЛАВА XIX. Жестокости и зверства Гражданской войны.....	504
ГЛАВА XX. Врангелиада. Севастополь осенью 1920 года.....	510
ГЛАВА XXI. От Севастополя до Константинополя.....	530
ГЛАВА XXII. У врат Царьграда .....	535
ГЛАВА XXIII. Лицо Добровольческой армии .....	558
ГЛАВА XXIV. Отдельная страничка психофильма русской революции.....	579
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ</i> .....	586
Профессор Н. В. КРАИНСКИЙ .....	587
Психика и техника как факторы войны .....	590
Военный экстаз и прострация как факторы боевых операций .....	609
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b> .....	614

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

---

Редактор Д. В. Орлов  
Корректор Г. А. Островская  
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков  
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 15.10.2015 г. Формат 70 x 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Гарнитура «Times». Объем 30,0 изд. л.  
Печать офсетная. Заказ №  
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

# ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация ( <i>вышел</i> )	Русская икона и религиозная живопись в двух томах ( <i>вышли</i> )
Русское Православие в трех томах ( <i>вышли</i> )	Русская архитектура и скульптура
Русское государство ( <i>вышел</i> )	Русская живопись
Русский патриотизм ( <i>вышел</i> )	Русский театр
Русское мировоззрение ( <i>вышел</i> )	Русская музыка
Русский образ жизни ( <i>вышел</i> )	Русская наука
Русская география	Русская школа
Русское хозяйство ( <i>вышел</i> )	Русское воинство
Международные отношения	Памятники Отечества
Национальные отношения	Русские за рубежом
Русская литература ( <i>вышел</i> )	Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: [www.rusinst.ru](http://www.rusinst.ru).

## **ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:**

### **СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»**

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.  
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.  
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.  
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.  
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.  
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.  
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.  
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.  
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.  
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.  
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.  
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.  
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.  
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.  
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.  
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.  
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.  
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.  
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.  
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.  
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.  
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.  
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.  
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.  
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.  
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.  
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.  
Иван Грозный. Государь, 400 с.  
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.  
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.  
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.  
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.  
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.  
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.  
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.  
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.  
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.  
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.  
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.  
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.  
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.  
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.  
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.  
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.  
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.  
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.  
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.

Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.  
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.  
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.  
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.  
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.  
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.  
Меньшиков М. О. Великоорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.  
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.  
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.  
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.  
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.  
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.  
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.  
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.  
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.  
Кожин В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.  
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.  
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.  
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.  
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.  
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.  
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.  
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.  
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.  
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.  
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.  
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.  
Повесть Временных Лет, 544 с.  
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.  
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.  
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.  
Домострой, 448 с.  
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.  
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.  
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.  
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с.  
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.  
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.  
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.  
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.  
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.  
Русская доктрина, 1056 с.

## **СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»**

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.  
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.  
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.  
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.  
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.  
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.  
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.  
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.

Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.  
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.  
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.  
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.  
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.  
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.  
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.  
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.  
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.  
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.  
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.  
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.  
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.  
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.  
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.  
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.  
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.  
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.  
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.  
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.  
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.  
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.  
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.  
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.  
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.  
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.  
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.  
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верую разумеваем, 704 с.  
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.  
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.  
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.  
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.  
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.  
Аверьянов В. В. Наш дух не сломен, 688 с.

#### **СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»**

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.  
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.  
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.  
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.  
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.  
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.  
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.  
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.  
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.  
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.  
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.  
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.  
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.  
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.  
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.  
Шергин Б. В. Отцово знание. Поморские были и сказания, 704 с.

Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.  
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.  
Русские люди XVIII века, 784 с.  
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.  
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.  
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.  
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.  
Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозерцания у белорусов, 160 с.  
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.  
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

## **РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 с.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.  
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.  
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.  
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.  
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.  
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.  
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.

## **СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»**

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.  
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.  
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.  
Каплин А. Д. Мирозозрение славянофилов, 400 с.  
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.  
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.  
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.  
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.  
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.  
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.  
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.  
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.  
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.  
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.  
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.  
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.  
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.  
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.  
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.  
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.  
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.  
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.  
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.  
Очерки истории русской иконы, 592 с.  
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.  
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.

Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.  
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.  
Русский государственный календарь, 728 с.  
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.  
Русская артель, 672 с.  
Русская община, 1376 с.  
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.  
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.  
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.  
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.  
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.  
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.  
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.  
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.  
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.  
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.  
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.  
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.  
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.  
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.

#### **СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»**

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.  
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.  
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.  
Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.  
Платонов О. История царевубийства, 768 с.  
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.  
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.  
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.  
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.  
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.  
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.  
Платонов О. Заговор царевубийц, 528 с.  
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

#### **ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ**

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.  
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.  
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.  
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.  
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, [mofrs@yandex.ru](mailto:mofrs@yandex.ru), [www.mofrs.ru](http://www.mofrs.ru)), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Себрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, [www.politkniga.ru](http://www.politkniga.ru))